МИТИН ЖУРНАЛ
KOLONNA PUBLICATIONS

СЕРИЯ
Crème de la Crème
ЯВЛЯЕТСЯ
СОВМЕСТНЫМ ПРОЕКТОМ ИЗДАТЕЛЬСТВ
Kolonna Publications и Митин Журнал

ББК 84.4 Нем

Alfred Döblin
DIE DREI SPRÜNGE DES WANG-LUN.
CHINESISCHER ROMAN.

ISBN 5-98144-090-2

Дизайн обложки: Виктория Горбунова
Верстка: Елена Антонова
Руководитель издания: Дмитрий Боченков

© Walter-Verlag AG, Olten, 1960
©Татьяна Баскакова, 2006
©Александр Маркин, 2006
©Нина Павлова, 2006
©Митин Журнал, 2006
©Kolonna Publications, 2006

Альфред Дёблин

Три прыжка Ван Луня

ТРИ ПРЫЖКА ВАН ЛУНЯ

Китайский роман

Перевод Татьяны Баскаковой

ПОСВЯЩЕНИЕ

ЧТОБЫ мне не забыть –

Тихий свист доносится снизу, с улицы. Металлическое позвякивание, гудение, хруст. Подскакивает на столе костяной чернильный прибор.

Чтобы не забыть –

О чем бишь я?

Сперва надо притворить окно*.

Улицы в последние годы обрели странные голоса. Решетки проложены под тротуарами; всюду, куда ни глянь – кучи битого стекла, громыхающее листовое железо, гулкие трубы братьев Маннесман*. Перетасовываются, с грохотом проникая одно сквозь другое, дерево, чугунные глотки-жерла, спрессованный воздух, обломки горных пород. Электричество играет на флейтах рельс. Автомобили с астматическими легкими проплывают, накренившись на бок, по асфальту; и мои двери дрожат. Молочно-белые дуговые фонари, потрескивая, забрасывают широкие лучи ко мне в окна, непрерывно загружают свет в комнаты.

Я не осуждаю эту бестолковую вибрацию. Просто мне делается как-то не по себе.

Не знаю, в чьих голосах тут дело, чьим душам потребны эти тысячетонные резонирующие арочные перекрытия.

Этот голубиный полет аэропланов в небесном эфире.

Эти петляющие между этажами трубы новейших отопительных систем.

Эти молнии слов, переносящихся на сотни миль:

Кому это надо?

Зато людей на тротуарах я знаю. Их беспроволочный телеграф – действительно новшество. А вот гримасы Алчности, недоброжелательная Пресыщенность с выбритым до синевы

подбородком, тонкий принюхивающийся нос Похоти, Жестокость, чья желеобразная кровь заставляет сердца дрожать мелкой дрожью, водянистый кобелиный взгляд Честолюбия... Эти чудища тявкали на протяжении многих столетий, и именно они подарили нам прогресс.

О, я-то это хорошо знаю. Я, кого причесывает своим гребнем ветер.

Да, но я хотел о другом –

В жизни нашей земли две тысячи лет проносятся, как один год.

Приобрести, захватить... Один старый человек сказал: «Ты идешь, не зная куда, стоишь, не зная на чем, ешь, не зная почему. Во вселенной сильнее всего воздух и сила тепла. Как же можешь ты обрести их и ими владеть?»*

Я хочу принести ему поминальную жертву (для чего и закрыл окно)*, принести жертву этому мудрому старику,

Лецзы*,

посвятив ему свою не способную что-либо изменить книгу*.

КНИГА ПЕРВАЯ
ВАН ЛУНЬ

В ГОРАХ Чжили*, на равнинах, под многотерпеливым небом обитали те, против кого снаряжалась, готовя свои доспехи и стрелы, армия императора Цяньлуна*. Они просачивались сквозь города, оседали в торговых местечках и деревнях.

Благоговейный трепет расходился кругами по земле, повсюду, где появлялись «поистине слабые». Их лозунг, *у-вэй*, уже несколько месяцев вновь был у всех на устах. Они не имели постоянных жилищ; но побирались, просили рису или бобовой похлебки, помогали крестьянам и ремесленникам в их работе. Они ничего не проповедовали, не стремились обращать кого бы то ни было в свою веру. Напрасно те ученые, которые тоже иногда попадали к ним, пытались разобраться в их религиозной доктрине. У них не было изображений богов, и они не говорили о Колесе Бытия. По ночам они разбивали лагерь под скалой, или в густом лесу, или в горной пещере. Нередко на их стоянках раздавались стенания и плач. Это печалились самые молодые братья и сестры. Многие из них не употребляли мясной пищи, не срывали цветов и, похоже, поддерживали дружбу с растениями, животными и камнями.

Там был совсем еще молодой человек родом из Шаньдуна, только что с блеском выдержавший первый экзамен*. Он спас от ужасной гибели своего отца, который один вышел в море на рыбачьей лодке и попал в бурю; прежде чем отправиться на поиски, юноша поклялся, что в случае успеха присоединится к *у-вэй*. И вот, как только закончились радостные торжества по поводу сдачи экзамена, он, никому ничего не сказав, ушел из дому. Это был почтительный, робкий молодой человек с вечно прищуренными глазами, который тяжело переживал свой душевный разлад.

Другой, торговец бобами – худой, с выпирающими ребрами – прожил пятнадцать лет в бездетном браке. Он глубоко страдал при мысли, что, когда он умрет, молиться за него будет

некому, что его дух останется без пищи и без присмотра. Когда ему исполнилось сорок пять, он покинул родину.

Третий, Цинь, когда-то был богачом и жил у подножия горы Чжаншань. Он постоянно гневался, потому что, как ни охранял свои деньги, его каждый месяц обкрадывали, пусть и по мелочам. К этому еще прибавлялись вымогательства со стороны полицейских, налоговых чиновников; много раз принадлежавшие ему дома сгорали, подожженные злоумышленниками. Он боялся, что в один прекрасный день останется вообще без крова. Чувствовал себя бессильным и бесправным. Однажды он раздарил все деньги слепым музыкантам, старухам из борделей, актерам; а сам поджег свой дом и ушел в лес.

Молодые развратники вместе со шлюхами, освобожденными ими из «расписных домов», тоже присоединялись к движению*. Часто можно было видеть, как бывшие проститутки, относившиеся к числу наиболее почитаемых «сестер», впадали в странный экстаз под раскидистыми красными катальпами, на просяных полях; и слышать, как они бормочут что-то невнятное.

Шесть подружек из северной части местности, пересекаемой Императорским каналом*, которых просватали еще детьми, в тот месяц, когда их должны были отвести в дом их общего супруга, обвязались одной веревкой и прыгнули в канал*. Но поскольку, бросившись вниз, девушки поранились о каменную облицовку, повисли, зацепившись за что-то, и громко кричали, они были спасены пробегавшими мимо носильщиками, которые и доставили их в ближайший полицейский участок, предварительно связав обессиленных беглянок обрывками одежд. Когда девушки, которых в участке хорошо кормили, поправились и пришли в себя, явились их возмущенные отцы. Услышав шумную перепалку с охранниками, подруги вылезли через заднее окно и убежали. Они перебирались с места на место, прятались от непогоды в пещере, добывали себе пропитание, выполняя подсобную работу в окрестных крестьянских хозяйствах или на мельницах. Самая младшая из них, цветущая пятнадцатилетняя девушка, дочь побочной жены старого учителя, погибла, потому что какой-то разбойник изнасиловал ее и потом придушил.

Скоро этот разбойник вместе с остальными девушками вступил в одну из сектантских групп.

В северо-восточном Китае – в провинциях Чжили, Шаньдун, Шаньси, даже в Ганьсу и Хэнани, – в больших городах с сотнями тысяч жителей, в благонравных рабочих поселках и в подозрительных притонах, чуть ли не каждый день случалось так, что кто-то отправлялся на рынок и под влиянием встреченного там обманщика, проповедника нищенской жизни или хромого ребенка вытряхивал в ясли для скота свои денежки и ценные вещи. Часто исчезали отцы многодетных семейств; а потом, по прошествии многих месяцев, их случайно обнаруживали в отдаленных районах, где они попрошайничали вместе с бродягами.

То там, то тут какой-нибудь низший чиновник неделями ходил как оглушенный, еле волочил ноги, огрызался на любой вопрос, дерзко пожимал плечами в ответ на выговор начальника; потом внезапно совершал ничем не мотивированное преступление: присваивал казенные деньги, или разрывал в клочья важную пачку документов, или набрасывался на не знакомого ему, ни в чем не повинного человека и ломал ему ребра. После приговора суда он переносил свое наказание и позор с полным равнодушием или бежал из тюрьмы и подавался в леса. Таким людям отказ от семьи и собственности давался очень тяжело, и отрешиться от того и другого они могли только посредством преступления.

Они не рассказывали ничего особенного, что не было бы уже известно другим. Старая притча, на которую они ссылались, издавна переходила из уст в уста:

Жил однажды человек, который боялся собственной тени и ненавидел свои следы. Чтобы избавиться от них, он решился бежать. Но чем чаще поднимал ногу, тем больше оставлял следов. И как бы быстро ни бежал, тень не отставала от тела. Тогда он подумал, что движется слишком медленно; он стал бежать быстрее, без передышек, и так продолжалось, пока его силы не иссякли и он не умер. Он не знал, что ему нужно было всего-навсего найти любое тенистое место, чтобы освободиться от своей тени. И что достаточно пребывать в покое, чтобы не оставлять следов.

Умиротворенные вздохи вырывались из сердца страны. Раньше здесь не видали людей с такими подернутыми дымкой счастья глазами. Но семьи жили в страхе. И если вечером за столом заходил разговор о «поистине слабых» и старой притче, все переглядывались, а на следующее утро смотрели, уж не пропал ли кто.

Этой таинственной сладкой напасти, казалось, были особо подвержены молодые здоровые мужчины и женщины. Их, похоже, охватывало что-то вроде горестного томления, свойственного обрученным.

ВАН ЛУНЬ возглавлял новое движение.

Он происходил из Шаньдуна, из прибрежного поселка Хуньганцунь* в округе Хайлин; и был сыном простого рыбака. Позже он рассказывал, всегда как бы между прочим, что его отец числился среди первых в тамошней корпорации рыбаков*; мол, на стене здания этой корпорации до сих пор красуется имя его отца, по чьей инициативе оно и было построено. Однако во всем Хайлине не имелось ни единого общественного здания. Двести двадцать семей поселка упорным трудом обеспечивали себе скудное пропитание. Мужчины выходили в море на лов рыбы; женщины обрабатывали пахотные участки. Земли было так мало, что люди создавали поля на террасах известняковых скал, подступавших к береговой отмели. Мужчины и женщины усердно таскали наверх, по узким извилистым тропинкам, рыхлую землю в деревянных корытах – одно корыто за другим, одно за другим; потом разбрасывали немного навоза, высохшие панцири раков и человеческий кал.

Там, в скалах над морем, целыми днями хозяйничали женщины, дети и старики; плач и другие приглушенные звуки доносились до опустевшего поселка. Раньше здесь жило больше семей. Но однажды направлявшаяся куда-то шайка грабителей из Чжифу по пути завернула сюда и подожгла около пятидесяти домов. Старику старосте бандиты размозжили ступни, зажав их между гнейсовыми плитами, когда он отказался отдать требуемые две сотни лянов; потом, ударив дубинкой, сломали ему левую руку и,

вырубив широкое отверстие во льду – тогда стояла зима, – бросили его в прорубь. Прерывистые крики шести изуверов, которые пытались, орудуя досками, удержать под водой вопившего старосту, стук этих досок по поверхности льда, судорожные всхлипы захлебывающегося человека, нетерпеливое ржание украденных бандитами коней – таковы были детские воспоминания Ван Луня.

Два жарких летних месяца старый Ван Шэнь каждый день с восходом солнца выходил в море на своей двухмачтовой джонке, смотревшей вперед двумя круглыми – нарисованными – зелеными глазами. В джонке, по пять человек в ряд, сидели рыбаки. Паруса наполнялись ветром; весла убирали; джонка скользила по темной глади Вэйхэ рядом с другой лодкой. Выбрасывали за борт крупноячеистую провонявшую рыбой сеть, растягивали ее между двумя джонками. Во́роты, которыми опускали и вытягивали сеть, сперва скрипели и визжали, потом, перестав крутиться, умолкали.

Мужчины до вечера оставались в море. Солнечный жар подобно сухому дождю немилосердно поливал людей и животных. Как-то толстопузый Ван Шэнь, прикрыв голову соломенной шляпой, сидел на скамье для гребцов и камешками разгонял чаек, которые то и дело выныривали за кормой из мерцавшего воздушного марева. Его товарищи курили трубки или жевали табак. Не успел Ван в очередной раз привести в порядок свою пращу, как один коротышка, беззаботно покуривая, уселся перед ним у задней мачты и осторожно вытащил заранее припрятанный ивовый прут. Ван сделал замах, в то же мгновение рыбак-недомерок, звучно зевнув, наклонился, выставив прут перед собой, – и праща обмоталась вокруг его вытянутой руки, а камушек упал на колени ошеломленного Вана. Тот, огорченный, продолжал таращиться на мельтешащих чаек. Лодка сотряслась от дружного хохота четырех свидетелей этой сцены, неживших на влажных досках.

Ван любил с важным видом шататься по чайным, а однажды, когда выдалось свободное утро, прямо со своего крошечного бобового поля отправился подавать ходатайство о предоставлении

ему места сельского старосты, что вызвало гнев и слезы его измученной жены, заранее предчувствовавшей, какие насмешки за этим воспоследуют. Он охотно лежал на песке, рядом с жаровней, которую два его сына наполняли древесным углем, чтобы сушить каракатиц. Когда же во время отлива они разжигали жаровню на самой джонке, уходил на берег, чтобы отдохнуть. Там валялись перевернутые пустые корзины из-под рыбы, по песку были разбросаны высушенные каракатицы, на солнце приобретавшие красивый оттенок. И, если к ним прикоснуться, горячие как уголья.

Толстяк ковырялся в тине, извлекал из нее длинных песочных червей, половину добычи потом отдавал жене, чтобы она их сушила и продавала. Другую половину оставлял для себя, сам тайком сушил, варил и, спрятавшись за корзинами, хлебал восхитительно крепкий червячный бульон.

Через некоторое время возвращались на берег оба мальчика и, поскольку отец, накушавшись от пуза, обычно обильно потел, снимали с его ног обмотки. Сыновья, с их маленькими крысиными хвостиками – косичками, – почтительно усаживались напротив, сложив руки на коленях. Высокомерно-гнусавым тоном, громко, чтобы и соседям было слышно, Ван начинал изрекать что-то поверх их голов, откинувшись тучным телом назад и опираясь на локти; он называл это «наставничеством». Он действительно знал букварь – книгу «Цяньцзывэнь», состоявшую из тысячи шестидесяти восьми слов; если не считать нескольких ошибок, помнил ее наизусть; похоже, выучил также кое-какие изречения из учебных текстов для женщин. Вновь и вновь объяснял он своим детям: он, мол, жалеет, что недостаточно строг с ними; строгость по отношению к ним есть его священный долг, ибо – и тут сыновья должны были нараспев скандировать вместе с ним: «Воспитание без строгости свидетельствует о лености отца».

И его сыну, будущему вероучителю трех провинций, приходилось выслушивать наставленья о том, что радость, гнев, скорбь, страх, любовь, ненависть и алчность суть «семь пагубных страстей». Нечасто детям выпадала возможность просто внимать отцу, не занимаясь никаким делом. Лицо мальчика Ван

Луня было бронзово-загорелым, прямоугольным, широким; как бы очерченным мощными линиями, сообщавшими этой физиономии живость и лукавство. Нежный, скорее желтоватый оттенок кожи второго из братьев-близнецов не темнел невзирая ни на какую жару*; этот мальчик всегда был проворнее (но физически слабее) и серьезнее Ван Луня, которого – из-за его зловредных проделок – не любили товарищи по играм и который, в свою очередь, не обнаруживал особой склонности следовать завету отца, относившего братскую любовь к числу «пяти добродетелей».

Радуясь, будто им предстояла игра, а не работа, братья в своих красных шапчонках усаживались прямо на гальку у большой рыболовной сети. Жирный Ван устраивался повыше, на поросшей травой дюне, в десяти шагах от них; положив одну голую темно-волосатую ногу на другую, он отдирал от грубой ступни впившиеся в нее осколки ракушек. А неподвижной правой рукой придерживал конец сети, которую мальчики красили густым соком, выжатым из мандариновой кожуры. Ван приподнимался на локте; дети ритмично прищелкивали языками, он недовольно сплевывал, бурчал что-то себе под нос. И лишь время от времени звучно выдавал какую-нибудь внятную сентенцию, например: «Тыква издавна считается символом плодородия». Потом порыв ветра швырял ему в лицо горсть песка, Ван, закашлявшись, сползал вниз, опрокидывая плошку с краской. Жалобно-просительно глядя на сыновей, говорил, что это они виноваты – выбрали неподходящее место. Тогда мальчики снова накручивали на его ноги обмотки, и все трое передвигались на пару шагов в сторону.

Важнейшим событием в жизни отца Ван Луня стала его поездка к брату, на свадьбу племянника, за триста ли от родного поселка Хуньганцунь. Старик аж три недели не видел своего взморья и скудных бобовых полей. В доме его брата жил некий цирюльник, по совместительству колдун; по вечерам Ван Шэнь часто с ним беседовал.

И вот на следующее утро после своего возвращения отец Ван Луня со степенной неторопливостью направился к местному столяру, пообещал ему сколько-то сушеных червей на

четыреста пятьдесят монет и попросил изготовить высокий красный щит с надписью: «Ван Шэнь, ученик знаменитого колдуна Куай Дая из Люйсяцуни, заклинатель ветров и погоды». Через шесть дней, в сумерках, он вместе со старшим сыном принес от столяра блестящий щит с черными иероглифами на малиновом фоне и с голубой каймой*, забрался на крышу своего дома (его жена в это время спала) и двумя лодочными канатами привязал вывеску к выступавшей балке, так, чтобы она свободно свисала над входной дверью: «Ван Шэнь, ученик знаменитого колдуна Куай Дая из Люйсяцуни, заклинатель ветров и погоды». Утром, когда жена Ван Шэня увидала роскошный щит и разбудила своего мужа, еще спавшего, с ней – во второй раз после многолетнего перерыва – случился нервный припадок. В первый раз, когда один из поджигателей крикнул в окно – мол, есть ли в доме еще кто, окромя нее, – она в ужасе спрятала обоих годовалых сыновей в складках своих широких штанов и, промямлив «Нет», запрокинула голову вправо, едва не вывихнув шею. Теперь же у нее в сознании всколыхнулась зеленая волна, оба каната, на которых висел щит, прикинулись острыми листьями осоки, перепиливающими ее переносицу; голубая лишенная суставов рука потянулась к ней откуда-то из-за них, растопырив пальцы. Женщина ритмически задергала головой слева направо, справа налево, ее колени стукались друг о дружку, она пританцовывала как марионетка; дети спрятались от нее на теплой лежанке*.

А потом взвизгнули и выскочили на улицу, и тявкающие собачонки за ними, когда со двора в закоптелую комнату ввалился старший Ван, жирная туша на слоновьих ногах: затопал туда-сюда в своей тигриной маске, гнусаво запел над женщиной, уже осевшей на пол, поглаживал ее, нашептывал. Через полчаса их мать заснула. Множество детей и женщин ждали у двери, молчали во дворе; когда все закончилось, разом залопотали и расступились, освобождая дорогу колдуну.

Тот день стал поворотным в жизни Ван Шэня. Жена его так ничего и не сказала по поводу красного щита, вообще теперь в присутствии мужа больше молчала, старалась не попадаться ему на глаза.

Он уже не удовлетворялся ролью скромного отца семейства, поучающего от случая к случаю собственных сыновей. Но, расположившись во дворе под ольхой, усердно изучал странные знаки на бамбуковой табличке, которую ему дал колдун, или с гордо поднятой головой прогуливался между навозной кучей и сараем, повторяя вслух только что заученные строчки: «Восемь раз по девять будет семьдесят два. Двойка управляет парой. С помощью пары соединяют непарное. Непарное управляет зодиаком. Зодиак властвует над луной. Луна властвует над волосами. Поэтому волосы отрастают за двенадцать месяцев...» Время от времени озадаченно смотрел на табличку; задумывался о чем-то, будто стыдясь самого себя, потом, быстро махнув рукой, отделывался от навязчивых мыслей. По вечерам, у моря, расхаживал, важно нахмурив лоб, между прилежно работавшими рыбаками, переглядывался с фиолетовыми шарами туч, останавливался в задумчивости перед комнатной собачкой корзинщика, мечтательно произносил вслух, словно разговаривая с самим собой: «Семь раз по девять будет шестьдесят три. Тройка властвует над полярной звездой. А та – над собаками. Поэтому собаки рождаются через три месяца после зачатия...»

Люди только в первое время смеялись за его спиной, а потом утвердились во мнении, что он, глядишь, и вправду станет лекарем-даосом, хотя прежде был посмешищем всего поселка. Он так много всего знал: например, что ласточки и воробьи, окунувшись в море, превращаются в ящериц; мог назвать по именам* тысячелетнюю Божественную Лису*, девятиголового демона-фазана* и демона-скорпиона; а уж того, что он рассказывал о *ян*, то есть светоносном мужском начале, и *инь*, то есть начале женском – темном и плодородном, – вообще никто не понимал.

Он по-прежнему выходил рыбачить в море. И когда однажды утром «забыл» о своей джонке, жена тихо подошла и остановилась перед его постелью. Глядя на нее сквозь неплотно прикрытые веки, он понял, что она, как всегда, хочет разбудить его тычком в бок, но женщина не сделала этого, а разбудила только пятнадцатилетнего Луня и его брата. С тех пор каждое утро перед

рассветом она будила обоих близнецов; а их отец в приятной полудреме продолжал посапывать на лежанке.

До полудня Ван Шэнь обычно предавался размышлениям в маленьком храме Бога Врачевания*, в предпоследнем здании поселка. Поскольку он был знаком со всеми – и в самом поселке, и в ближайших окрестностях, – люди охотно пользовались его необычными услугами, его искусством осуществлять «прыжок демона» и особенно «прерывание беременности». Так жители этой части Шаньдуна называли один своеобразный обычай. Они боялись, что если вблизи от беременной женщины окажется старик или больной ребенок, он может забраться внутрь ее тела – для того, чтобы снова родиться здоровым и молодым. Ван Шэнь, если существовала такая угроза, в своей белой тигриной маске носился по комнате вокруг сидящей на корточках женщины, закалял ее тело, бичуя его «волшебной веревкой» из волокон тростника, издавал, обливаясь потом, какие-то нечленораздельные слоги. И нередко после подобных упражнений приносил домой по тысяче медных монет.

Но как-то раз, вернувшись от очередной беременной, в криво надетой маске, он пошатнулся и неловко упал на пороге. Жена сорвала с его посеревшего лица деревянную маску. Ван Шэню не хватало воздуха. Он захрипел; потом перекатился на бок и ощупью искал что-то на земле, возле себя. Жена побежала за целебными травами, раскалила два кирпича, чтобы согреть ему ноги. И отослала маленькую дочку; наказав ей собирать милостыню для пострадавшего – как будто у них не было своих денег – в храме Бога Врачевания. Лавочник (он же аптекарь) дал какого-то отвару, выбрав его наугад. Но Ван отвар выплюнул.

Потом, после полудня, перед домом поднялся многоголосый шум. Кто-то непрестанно бил в гонг; звенели колокольчики, слышались отдаленные крики. Шаги носильщиков ковчега гулко вдвинулись со двора в душную комнату больного. Бог Врачевания – грубо раскрашенный деревянный идол – самолично пожаловал к своему ученику, чтобы поставить диагноз и даровать исцеление. Мать мальчиков крикнула в уши спящего мужа: «Покажись ему, да покажись же!» Соседи поддерживали почти

уже незрячего страдальца; тот, зевая спросонок, что-то бормотал. Потом в комнате снова воцарилась тишина.

Оказавшись на улице, бог направился к дому аптекаря; носильщики неуверенно потоптались в лавке, и жезл бога склонился к углу самой нижней полки*. Юный помощник аптекаря, смертельно испуганный, повернувшись спиной к носильщикам, тайком сотворил охранительный знак тигра: посох указал на питье под названием «Черная вода».

И теперь больному ничто не могло помочь.

Бог уже опять пребывал в одиночестве в своем обветшалом доме на краю поселка. Стемнело. Тучный ученик бога – доблестный усмиритель демонов – в третью ночную стражу* вдруг перевернулся на спину. Жена спросила, чего он хочет. Она успела сделать для него только одно: обуть в туфли, в которых покидающие сей мир переходят через Реку Мертвых, – туфли с вышитыми на подошвах цветами сливы, жабами, гусями и белыми лотосами*.

СТАРИК хотел, чтобы Лунь готовился к экзамену первой ступени. Но таланты мальчика лежали в другой, особой области. Когда стригли его волосы, брили круглую как шар голову, близкие замечали продолговатое черно-коричневое родимое пятнышко сбоку от правого виска, которое отец Луня истолковывал как «жемчужину совершенства».

Ван Лунь рос, становился ловким и очень сильным подростком. От его жестокости и коварства страдали ослы, собаки, рыбы и люди. В воровское ремесло его, шестнадцатилетнего, впервые посвятил отец, при несколько необычных обстоятельствах. В поселке существовал обычай, согласно которому в праздничные дни первого месяца года (чаще всего в пятый день)* все воровали овощи с огородов или полей соседей, так как считалось, что эти краденые плоды приносят счастье. В такие дни никто не преследовал вора, если он был из местных; просто владельцы участков сами заранее собирали и прятали всё ценное. Когда Ван Лунь впервые – вместе с отцом и братом – попытал удачу в таком узаконенном воровском рейде, ничего хорошего у

него не получилось; он лишь выковырял пару пересохших земляных орехов. И недовольно поплелся дальше за своими спутниками; потом убежал домой, тихо сидел в низкой комнате, посасывая соленого рака, а мать хвалила его за то, что он отказался участвовать в подобных глупостях.

Лунь, однако, хотя и сидел тихо, но не по той причине, о которой думала мать; ему пришла в голову незамысловатая мысль: если ты хочешь украсть что-нибудь стоящее, то как раз пятый день первого месяца – самое неподходящее для этого время; ведь нелепо и даже абсурдно воровать именно в тот день, когда все воруют и, соответственно, каждый старается получше припрятать свое добро.

Он обещал себе, что отпразднует «пятый день» попозже, что распределит этот день по всему году, потому что любой день вмещает двадцать четыре часа, которые можно разделить; он, Ван, будет воровать на протяжении целого года, но – в общей сложности не дольше дозволенных двадцати четырех часов.

Итак, этот сметливый пройдоха стал вором – всего на двадцать четыре часа в год; и каждая кража имела видимость дозволенного поступка, а он всякий раз испытывал приятное чувство, что облапошил своих односельчан; такие проделки доставляли ему наслаждение.

Однажды, в последний год жизни старика Шэня, Ван Лунь направил свою разбойничью логику против отца: стащил у него бамбуковую табличку, которая уже давно приобрела темно-коричневый цвет и стала практически нечитаемой. Поседевший Ван Шэнь сильно расстроился, когда увидел, как Лунь сидит во дворе с украденной табличкой на коленях, вертит ее и так и сяк, недоверчиво рассматривает. Лунь, застигнутый врасплох, кинулся прочь вместе с этой самой табличкой; старик же заплакал – ему было жаль и таблички, и непутевого сына.

После смерти Ван Шэня в поселке никто не отваживался иметь дело с его наследником-грубияном: собственный брат и тот был у него под башмаком.

И все вздохнули с облегчением, когда Лунь, которому наскучило ловить и вялить рыбу, а в свободное время штопать

рыбацкие сети, которого не устраивала и бедность родного поселка, где даже самый изощренный обман не мог принести ему выручку больше тридцати или сорока *дяо*[*], в один прекрасный день, прихватив шнурок с нанизанными на него двумя медными *кэшами*[*], покинул родной Хуньганцунь и зашагал, не имея определенной цели, по дороге к Цзинаньфу[*].

Была весна. Сперва он бродяжничал один. Потом, когда ему это надоело, присоединился к возчикам, которые развозили по деревням продукцию гончарных мастерских, и заработал какую-то мелочь. Потом, возмущенный столь нищенской платой за свой труд, поднялся из зеленой долины реки Вэйхэ наверх, в дикие горы; там, вооружившись самодельным топором – камнем, привязанным к санталовому топорищу, – он, спрятавшись у какой-нибудь уединенной хижины, поджидал ее обитателя, отнимал все, что тот имел при себе, и шел дальше. На тех жутковатых горных тропах, по которым он карабкался, весна еще не давала о себе знать. Ручьи шумели ниже, в долинах, полноводные от растаявшего снега; но наш бродяга не спускался к ним, чтобы умыться, – трусил. Он постоянно таскал в карманах двадцать украденных драгоценных табакерок из тончайшего стекла, наполненных нюхательным зельем; питался красно-желтыми плодами *каки*, сладкими сушеными яблоками; не брился, не заплетал в косичку свои грязные и липкие космы: однажды, убегая с места преступления, он возле караван-сарая случайно сбил с ног маленькую девочку, она упала и покатилась с откоса, ударилась об острый выступ скалы. Ван не осмеливался спуститься в долину из страха перед духом погибшего ребенка.

В западных отрогах Дайнаня, откуда открывается вид на утопающую в цветах долину реки Дацзэнхэ, Ван оставался почти целый месяц, жил с тамошними попрошайками, ютившимися в жалких хижинах. Он отощал, чувствовал себя скверно; о том, как добывает себе пропитание, своим ленивым товарищам не рассказывал, хотя и играл с ними по вечерам в шашки, используя вместо фигур кусочки кварца. Каждый день около полудня он поднимался вверх по скальной тропе, затем пробирался по голому ущелью; и оказывался на задворках некоей подозрительной корчмы,

хозяин которой держал трех монгольских коров. Деревенского увальня, который присматривал за скотиной, в первый раз пришлось стукнуть по затылку и пригрозить ему топором, после чего Лунь набрал полведра молока; с тех пор бедолага безропотно ждал своего обидчика, появлявшегося раз в три дня, сам давал ему черствую рисовую лепешку и сырые яйца, позволял надаивать столько молока, сколько тот хотел.

Но наступил день, когда сговорчивый парень исчез, а вокруг хлева бегали два злобных пса; Ван, так и не утоливший голода, медленнее, чем обычно, проделал трудный обратный путь: прошел часть ущелья, спустился по скальной тропе. Сперва он хотел было вернуться к нищим и с досады убить одного из них; но вместо этого до вечера провалялся на солнцепеке, заснул на куче щебня, а с первыми лучами нового дня стал спускаться с горы по плоским известняковым уступам. Перед ним, насколько хватало глаз, простиралась щедро орошаемая долина. Несмотря на тусклое вечернее освещение он различал вдали мощные стены большого города, Цзинани.

ЦЗИНАНЬ был окружен невиданно буйной растительностью.

По обеим сторонам широкой глиноцветной реки тянулись поля проса; бурые метелки на жестких стеблях с зелеными лезвиями листьев от тяжести клонились вниз, словно плюмажи боевых коней или нежные перья на шлемах. Когда налетал теплый ветер с гор, по полю будто проводили гигантским гребнем, и казалось, что все стебли дружно кидаются прочь, спотыкаясь на бегу. Совсем молоденькие растеньица торчали даже в междурядьях, по которым на следующее утро шел Ван Лунь; он сорвал пару шелковистых метелок, сунул в рот, пососал. Дрозды и большие во́роны с криками гонялись друг за другом над влажной землей, сидели на стройных софорах, в чьих широких кронах вдруг начинали подрагивать и шелестеть листочки, словно деревья пытались подавить приступ неудержимого смеха.

В передвижной цирюльне, еще перед городскими воротами, одичавший Ван Лунь, расставшись со стеклянными табакерками, помылся, побрился и купил себе дешевую одежду. После

чего, улыбнувшись тучным охранникам и поприветствовав их как старых знакомых, прошел через ворота – одетый в черно-синий халат, в новых войлочных туфлях, с пустым мешочком для табака на обтрепанном зеленом поясе; можно было подумать, будто он возвращается из пригородного чайного павильона, одного из тех, где любят собираться поэты и юные отпрыски благородных семейств.

Необозримо огромным показался ему лабиринт улиц. Торговые лавки вплотную примыкали ко всяким прочим заведениям – харчевням, постоялым дворам, чайным, затейливо украшенным храмам; у самой стены звонили, отгоняя неприкаянных духов*, колокольчики двух изящных пагод. Ван охотно подчинился увлекавшему его людскому потоку, с хитрым и довольным видом посматривал по сторонам, в тесном переулке отодвинул, чтобы освободить себе проход, стоявший на земле паланкин, шуганув заодно и обоих носильщиков.

Хотя оба шлепнулись в грязь, именно они стали первыми в Цзинани друзьями Вана и уже через час привели его к себе – в дощатый плохо законопаченный дом, хозяева которого сдавали комнаты и содержали харчевню, на улице Единорога*. Скромная харчевня располагалась в одном из флигелей, однако запахи пищи и дым проникали также и в другой флигель, и на террасу для чаепития, тянувшуюся вдоль дома со стороны улицы, и в спальни; последние представляли собой каморки позади чайной: с низкими потолками, узкие, каждая – с одной лежанкой и с табуретом. Ван только заглянул в выделенную для него комнату и опять отправился бродить по улицам, высматривать, чем бы поживиться. У него не было денег.

Вслед за двумя торговками, вместе тащившими корзину, Ван вошел в какую-то усадьбу, пересек просторный двор, попал в полутемное помещение, которое, как он понял по густому сладковатому запаху, было храмовым залом. Возле сводчатого входа сидел крепкий еще старик в светло-зеленом одеянии с широкими рукавами*, его волосы были заплетены в косичку; он сидел перед маленьким столиком, заваленным ароматическими палочками и бумажными фигурками*, с самым что ни на есть

елейно-благостным видом: губы поджаты, руки со странно искривленными пальцами лежат на столешнице, глаза прикрыты. Женщины купили у него шесть ароматических палочек и зажгли их перед пестро раскрашенной деревянной статуей в глубине зала: перед сидящим богом, рядом с которым на голой стене висели барабаны, мандолины и флейты.

Ван как бы случайно прошелся мимо корзины, которую женщины оставили на полу посреди помещения, успев заметить, что бонза пересчитал монетки и бесшумно опустил их в денежный ящик, а потом снова скорчил свою благостную рыбью гримасу. Это был храм Хань Сянцзы*, покровителя музыкантов.

Ван уже повернулся, чтобы уйти, но тут бонза вдруг поднялся, поклонился ему, взмахнул руками, похвалил благочестие «благородного гостя», ошарашив его потоком тщательно подобранных льстивых слов. Ван тоже склонился в вежливом поклоне. В заключение своей речи священнослужитель спросил, доставили ли уже в особняк его любезного собеседника подписной лист для желающих пожертвовать средства на заупокойную службу: дело в том, что пять бедных слепых музыкантов утонули, когда возвращались из поселка на другом берегу реки. Богослужения за упокой душ утопших начнутся через два дня. Ван представился, назвав вымышленное имя и фальшивый адрес; он обещал дать деньги и попросил прямо сейчас внести его имя в список жертвователей, прикрепленный к стене храма*.

Когда стемнело, он без труда забрался в один из домов и прикарманил около семи сотен медяков.

Больше недели он спокойно жил в своей гостинице, а потом случайно – на очень оживленной улице Белых Могил – ему встретился тот самый бонза. Когда Ван увидал светло-зеленое ритуальное одеяние, прятаться было поздно. Но, к его удивлению, бонза лишь молча кивнул ему и, ухмыльнувшись, прошествовал мимо.

Тем же вечером Ван Лунь вломился в храм к бонзе. Денежный ящик оказался хоть и запертым, но пустым. В темноте Ван на ощупь обшарил жертвенник; но даже под пеплом ничего не нашел. Только когда он провел рукой по белому покрывалу на

алтаре Восьмерых Бессмертных*, что-то звякнуло: под покрывалом были аккуратно разложены мелкие медные монетки, несколько горстей.

В последующие дни, когда деньги кончились, Ван подрабатывал где придется – разносчиком угля, носильщиком паланкина; однако нищенская оплата этих видов труда вызывала у него ярость, да он никогда и не обманывался на свой счет. Его самолюбивая и склонная к хвастовству натура, вкупе со вспыльчивостью и недюжинной силой, постоянно подталкивала его к более легким, хотя и незаконным способам обогащения.

Так что недели через две он снова посетил храм бога музыкантов. А до того долго раздумывал, где бонза может прятать собранные днем деньги. То, что они хранятся не в постели и даже не в спальне, было очевидно; ведь бонза наверняка догадался, что обокрал его именно Ван, и не стал бы подвергать риску свою жизнь. Почти час Ван потратил на бесплодные поиски, простукивал стены и пол храма. Под конец пододвинул скамеечку бонзы к алтарю и начал ощупывать статую безответного Хань Сянцзы. Шея бога, судя по звуку, внутри была полой; Ван забрался на колени к покровителю музыкантов и обнаружил выдвижной ящичек; три полных горсти *кэшей* перекочевали в кошель, висевший на его поясе.

Когда он уже собирался спуститься вниз, ему почудилось, будто кто-то дернул его за косичку, – оказалось, что красиво заплетенные волосы намертво прилипли к потолку и, отчасти, к задней стене зала. Ван пошарил над головой – там была вязкая масса наподобие смолы или дегтя; рука оторвалась от нее с трудом; он даже испугался, что, пытаясь освободиться, опрокинет тяжелую статую. С неимоверными мучениями, потеряв несколько клочьев волос, он оторвал-таки свою косу от клейкого кома. И, шепотом проклиная бонзу, выскользнул на улицу. Вязкая масса прилипла к его чисто выбритой голове; а левая рука, тоже запачкавшаяся, приставала ко всему, за что он хватался.

Наутро друзья с улицы Единорога, затратив много времени и сил, отскребли грязь с помощью заостренной деревянной палочки – до крови расцарапав ему кожу на голове. Они над ним не

смеялись: они его боялись и любили, восхищались его смелостью. И потом, он ведь всегда делился с ними добычей.

После той ночи Ван, оскальпированный вор, горел одним желанием: отмстить бонзе. Но и бонза, судя по всему, искал своего обидчика: уже через несколько дней после паскудного происшествия Ван заметил человека в сером плаще, который медленно прогуливался по улице Единорога. Сморщенное личико слегка улыбнулось, когда Ван, чтобы получше его рассмотреть, наклонился над перилами чайной террасы. И тут же изобразило искреннее сочувствие, несомненно относившееся к перебинтованной голове Вана. Удаляясь, бонза несколько раз обернулся на несчастного вора, строившего за его спиной злобные гримасы.

Последнюю добычу Ван не стал делить с приятелями, а почти целиком отдал хозяину гостиницы, дабы не встречать никаких помех при осуществлении своего плана. Ведь ему предстояло вступить в нешуточный поединок с бонзой.

Даже не дождавшись полного заживления ран, он в один прекрасный день, ближе к вечеру, отправился к дому бонзы. Тот сидел на обычном месте, всем своим видом выражая смиренное благочестие: храм как раз осматривали приезжие из Удинфу. Увидав степенно приближающегося Вана, бонза почтительно кинулся ему навстречу, поблагодарил за богатое пожертвование в пользу утонувших, спросил, как себя чувствует его – очевидно страдающий от какого-то недуга – благодетель. Затем с самым серьезным видом прибавил, что вверенный ему храм переживает трудные времена. В этом спокойном квартале объявилась коварная разбойничья банда, взимающая мзду с бедного Хань Сянцзы и его скромного слуги Доу Цзэня (так, значит, звали бонзу). Ван, глядя на собеседника сверху вниз, с интересом выслушал эту историю и после глубокомысленной паузы спросил, как мудрый Доу Цзэнь намеревается обезопасить себя от преступников.

И тогда Доу, живо и многократно поблагодарив посетителя за «безграничную благожелательность», повел его осматривать помещение храма – Ван же с любопытством поглядывал вокруг, разыгрывая из себя честного чиновника. Доу Цзэнь показал ему пустой денежный ящик, показал капканы, которые по вечерам

расставляет у входа, и подсохшую вязкую массу на стене. Ван давал советы; порекомендовал, среди прочего, прятать дневную выручку в складках одежды. Доу Цзэнь возразил, сославшись на возможность нападения этих негодяев, которые даже – ... Ван помрачнел, услышав слово «негодяи», и в ответ на улыбчиво-вопросительный взгляд объяснил бонзе, что его уши не привыкли к грубым выражениям, что именно из-за присущего ему тонкого слуха он и испытывает столь глубокое почтение к богу-покровителю музыкантов.

Они, исподтишка изучая друг друга, несколько раз прошлись по залу, смешавшись с набожными посетителями из Удина. Потом Ван небрежно попрощался со священнослужителем, который, со своей стороны, горячо поблагодарил благородного гостя за оказанную ему честь.

В ту же ночь сын рыбака из Хуньганцуни в растерянности прогуливался перед храмом. Он не знал, с какого боку подступиться к этому делу. Боялся, что опять не оберется сраму перед старым насмешником. Оставить же хитрого обманщика в покое после его последнего триумфа было никак нельзя. Несколько раз Ван всерьез подумывал о том, чтобы просто разбудить Доу Цзэня, хорошенько отколошматить его и потом сдать в полицию.

Ван неуверенно двинулся в глубь двора – там было темно как в погребе. В углу, у боковой пристройки, остановился, чтобы глаза привыкли к темноте. И тут увидал валяющуюся перед главным входом длинную приставную лестницу.

Он и не подумал дотрагиваться до нее; он размышлял. Это скорее всего очередная подначка Доу; ведь обычно лестница стоит в углу двора. С другой стороны, внутри храма вряд ли еще осталось место, где Доу мог бы надежно припрятать дневную выручку. Ван осторожно обошел лестницу и попытался запрыгнуть на крышу низкой пристройки. Это ему не удалось, да и шум поднимать не хотелось. Тогда он с трудом, вновь и вновь соскальзывая, вскарабкался вверх по одному из отсыревших столбов. Прошло больше часа, прежде чем он наконец перебрался на крышу самого храма; он боялся, что, если выпрямится во весь рост, его увидят с улицы.

Поэтому он крался, пригнувшись, и каждый раз, когда хлопала какая-нибудь дверь или ночной сторож бил в барабан, распластывался на животе, рискуя скатиться с наклонной кровли. Он клял свою судьбу, принуждавшую его отнимать деньги у такого пройдохи. Ван перещупал одно за другим все кровельные ребра и только потом медленно спустился по водосточной трубе к украшавшей ее фигуре воина с белым щитом. К руке статуи, позади щита, было привязано что-то черное – оно стало раскачиваться, когда труба прогнулась под тяжестью Вана. Это был набитый деньгами кошелек. Ван с трудом распутал узел окоченевшими пальцами. Прошло битых полчаса, прежде чем он снова очутился на улице, озябший и с грязным, перекошенным от злобы лицом – уж больно много невзгод перепало ему из-за коварно-благочестивого старца.

На следующий день около полудня, когда Ван, уже отобедав, баловался на террасе табачком, к нему подбежал запыхавшийся хозяин и протянул длинную визитную карточку Доу Цзэня. Гость, войдя, осведомился о здоровье своего «благодетеля», выразил радость по поводу того, что бинтов на голове Вана уже нет, с сочувствием посмотрел на его оцарапанные руки: мол, господин, похоже, занимался нелегкой работой. После того, как они выпили по чашке чаю, Ван, не таясь, расплатился деньгами из кошелька бонзы, а потом еще и проводил своего гостя до храма, желая посмотреть, что стало с лестницей. Оба прониклись большой симпатией друг к другу, особенно Ван – к Доу, потому что ощущал свое превосходство над стариком, который, казалось, это превосходство признал. Доу Цзэнь по просьбе Вана достал стоявшую в углу лестницу, прислонил ее к крыше храма, полез вверх. Ван, удивленный его ловкостью, вслед за ним забрался на крышу.

Ван внутренне торжествовал: борьба, которую он на каждом этапе одновременно выигрывал и проигрывал, сегодня будет достойно завершена!

Когда наступила ночь, он на ватных ногах и с одеревеневшим позвоночником, голодный и возбужденный, пробрался во двор Доу, поднял лестницу, которая почему-то опять валялась на

земле, приставил ее к коньку крыши и – хотя сердце у него колотилось – полез вверх. Кошелек висел на прежнем месте, на руке воина. Но Ван вдруг встревожился и замер, распластавшись на крыше: он как будто услышал во дворе шорох, да и лестница покачнулась. Он опять быстро спустился вниз, без каких бы то ни было помех.

И – остался стоять под лестницей, словно укорененное в земле дерево. Не мог сдвинуться с места. Его войлочные туфли увязли в густой жиже, доходившей ему до лодыжек. Он застонал; ухватившись за лестницу, все-таки высвободился – но туфлями пришлось пожертвовать. От ярости и перенапряжения Ван почти потерял рассудок. Остановившись – босой и со слипшимися штанинами – посреди двора, он с силой запустил кошельком в дверь бонзы. И крикнул в ночной тишине под звон рассыпавшихся *кэшей*: «На, получай свое, черепашье отродье*!» А потом барабанил кулаками по тонкой дощатой стенке, пока из-за нее не донесся медоточивый голос: «Чего желает мой возлюбленный друг? Чем хочет одарить сына черепахи нынешней ночью?»

«Давай, черепахов выползень, выползай! Я заставлю тебя раскаяться в твоей подлости! Ты мне заплатишь и за погубленные туфли, и за штаны!»

«Но, возлюбленный мой, ты, кажется, уже получил плату за то и другое...»

«Выходи, пустобрех и мошенник! Увидишь, что́ я понимаю под платой!»

Пока продрогший Ван Лунь топтался на дворе, Доу Цзэнь при свете масляной лампы долго облачался в праздничную одежду, поставил на огонь чайник и лишь потом невозмутимо открыл дверь. Ван хотел было броситься на него и поучить вежливому обращению, но из-за слипшихся штанин мог передвигаться лишь маленькими шажками, да и то каждый из них давался непросто. Бонза светил ему лампой, не переставая кланяться. У здоровенного вора, чувствовавшего, как он смешон, от ярости и боли на глазах выступили слезы. Доу Цзэнь шагнул в сторону, пропуская его, и указал на теплую лежанку; Ван, застонав, тут же на нее повалился.

Чашку горячего чая, которую со всеми надлежащими церемониями поднес ему хозяин, Ван опорожнил в два глотка; Доу Цзэнь же тем временем скинул священническое облачение и, макая тампон в какую-то пахучую жидкость, оттирал с Вановых ступней налипший вар. Между делом Доу сбегал на двор, прихватив лампу. «Не ровен час заявится какой-нибудь вор и украдет наши денежки...», – объяснил он, когда вернулся с кошельком и прикрыл за собой дверь. Вану он принес чистые штаны и хорошие войлочные туфли. Сын рыбака из Хуньганцуни уже сидел за столом гостеприимного хозяина, уплетал арбуз и выхлебывал одну чашку чая за другой. Волна злости иногда все-таки поднималась в нем, но потом вновь спадала, потому что чай был горячим и вкусным, а арбузная мякоть таяла на языке.

За разговором выяснилось, что Доу Цзэнь – великий знаток человеческих сердец и столь же великий мошенник. Его недавний противник, признав свое поражение, в задумчивости качал заклеенной пластырями башкой, дивясь многогранным талантам бонзы. Доу Цзэнь, как он и рассчитывал, обрел в лице Вана надежного помощника.

ТАК СТРАННЫЕ ОТНОШЕНИЯ, связывавшие обоих, переросли в настоящую дружбу.

Доу Цзэнь занимался немудреным делом. Он управлял храмом бедной общины музыкантов. Они платили ему крохотное жалование, а кроме того, предоставили в его распоряжение комнатку; предполагалось, что бонза сам будет обеспечивать себе пропитание продажей ароматических палочек и проведением ритуалов – все в конечном счете зависело от его усердия и умения*. Потому что на другом конце города имелся еще один храм для музыкантов; и если бог Доу Цзэня почему-либо не исполнял желания своих почитателей, то они, ругаясь и жалуясь, отправлялись туда, что никак не способствовало процветанию первого храма.

Теперь Ван Лунь и Доу Цзэнь работали вместе. Ван стал зазывалой и помощником бонзы. Когда по утрам они бродили по

улицам и многолюдным рынкам, здоровенный Ван в зеленом храмовом облачении вышагивал впереди, удерживая на плечах концы двух – метровой длины – труб; Доу Цзэнь, следовавший за ним по пятам, время от времени прикладывался к мундштукам; тогда из раструбов вырывались жутковатые гортанные звуки, и прохожие шарахались в стороны, освобождая дорогу. В тех местах, где собирались богатые купцы, торговавшие шелками или фарфором, друзья громко восхваляли великолепные и редкостные способности своего бога: мол, в его храме можно получить самые действенные рецепты от всех болезней, а заказанная посетителем служба будет и полезной, и недорогой. Их кумир, как и всякое божество, нуждался в периодических «подновлениях», и они приписывали ему все новые сенсационные качества: рассказывали, например, что Покровитель музыкантов обладает особым даром раскрывать преступления и, в частности, кражи. Когда их куда-нибудь приглашали, они, совершая ритуальный обход с маленькой статуей бога, старались высмотреть, где что плохо лежит, а после сами что-нибудь крали и – якобы с помощью Хань Сянцзы – «обнаруживали» бóльшую часть пропавших ценностей в каком-нибудь отдаленном месте. Разумеется, если добыча была богатой, они говорили, что бог на сей раз отказал им в своей помощи.

Зная о склонности Вана к дурачествам и мистификациям, Доу подарил ему красивую маску оленя, с роскошными рогами, – из тех, что используют в своих танцах тибетские ламы*. Ван Лунь по-детски радовался подарку, носился в маске по храмовому двору и по улицам – вместе с двумя приятелями, носильщиками паланкина – и даже пугал посетителей храма.

Своими выходками он переполошил полгорода. Наткнувшись где-нибудь на стаю одичавших собак, надевал маску, науськивал псов и мчался впереди них через оживленную площадь: вопли детей и женщин, все бросаются врассыпную, собаки прыгают и лают, люди падают – и свора исчезает в одном из переулков, где Ван пинками зашвыривает воющих животных в затянутое бумагой окно или внутрь паланкина, после чего, очень довольный, продолжает свой путь.

Все это создавало ему дурную славу, следствия которой – в совокупности с некоторыми более серьезными обстоятельствами – позже тяжко сказались на его судьбе.

В провинции Ганьсу жили китайские племена, придерживавшиеся магометанской веры, – своенравные и непокорные. Они называли себя *саларами*, потому что носили белые тюрбаны, но между ними не было единства; их усмирили силой.

С той поры все, что находилось в какой-то связи или родстве с ними, подлежало выявлению, запрету, искоренению – хотя вождь мятежников, как и его приверженцы, давно умер. Почва, правда, уже снова колебалась, ибо ее топтали члены тайных союзов, заговорщики, ненавидевшие воинственного императора и чуждую им маньчжурскую династию, но в Запретном Пурпурном городе* никто не обращал внимания на этот подспудный гул, которому лишь позднее предстояло усилиться, смешавшись со свистом стрел, жиканьем кривых сабель, зловещим пением красно-белых языков пламени, треском и грохотом обваливающихся крыш.

В Цзинани среди других мусульман жила и семья некоего Су. Он производил фитили для светильников, был уважаемым, достойным человеком и даже получил первую ученую степень. Дом Су находился на улице Единорога, наискосок от пристанища Ван Луня, и Ван высоко ценил этого умного, хотя и слишком самоуверенного соседа.

Однако *даотаю** Цзинаньфу доложили, что Су Гоу – дядя того самого человека, который был виновником давних беспорядков в Ганьсу. Сыщики схватили поставщика фитилей и вместе с обоими сыновьями доставили в городскую тюрьму, где его ежедневно допрашивали с применением пыток.

Он томился в тюрьме уже больше трех недель, когда Ван в своей гостинице впервые услышал об этом. Узнав новость, Ван похолодел от ужаса. Вспоминая серьезного, доброжелательного Су Гоу, он вновь и вновь переспрашивал: «Как же это? Почему?» – и не мог успокоиться, пока наконец не поверил, что Су Гоу с сыновьями действительно сидит в тюрьме, где подвергается пыткам. И все только потому, что его племянником был тот самый

бунтовщик, который когда-то в Ганьсу первым стал зачитывать вслух речения из какой-то старой книги!

Каждый день в полдень Ван встречался в гостинице с двумя своими приятелями и тремя нищими, чтобы обсудить с ними, чем тут можно помочь. Он привычным жестом подносил к лицу руки, потом встряхивал их и говорил: «Су Гоу – славный человек. Его друзей и родственников здесь не сыскать, их давно обезглавили палачи. И все же Су Гоу не должен оставаться в тюрьме».

Одноглазый нищий однажды рассказал то, что услышал в *ямэне** *даотая:* через три или четыре дня из Гуаньбинфу должен приехать судья провинции, который окончательно решит участь семьи Су. Ван стал взволнованно расспрашивать, кто именно это сказал, много ли людей в курсе дела, ведутся ли уже приготовления к встрече *нэтая** и сколько у него сопровождающих. Когда Ван услышал, что *нэтай* – старик, посланный специально для этого разбирательства и здесь пока никому не известный, его узкие глазки сверкнули насмешливым огнем, он ухмыльнулся, а потом и загоготал так, что со стола посыпались палочки для еды и пять его собеседников тоже начали смеяться, толкая друг друга локтями и мелодично вплетая свои голоса в общий хор. Потом головы сдвинулись, последовал быстрый обмен мнениями, часто прерываемый гневными выкриками Вана. И все разошлись.

Через два дня посыльные *ямэня* Цзинаньфу – а от них и весь город – узнали, что назавтра (то есть раньше, чем его ожидали) прибудет *нэтай*, дабы завершить некий важный с политической точки зрения процесс

Ван Лунь с двадцатью наскоро навербованными оборванцами привел в полную негодность три моста, по которым должен был проехать судейский чиновник, в знакомом ломбарде (хозяин которого хорошо поживился благодаря ему и Доу Цзэню) одолжил для себя и для своих сообщников богатую одежду и в назначенный день въехал в прославленный город через те самые ворота, через которые несколько месяцев назад входил пешком, один, улыбаясь и доверчиво приветствуя тучных охранников, как будто просто возвращался из пригородного чайного

павильона, в котором любят встречаться поэты и юноши из благородных семейств.

Теперь, в это жаркое утро восьмого месяца, о его прибытии возвещали внушающие почтение звуки гонга. Два брата-мошенника с алебардами на плечах возглавляли процессию, неловко трясясь на хилых гнедых клячах. За ними следовали два хмурых подростка, сосредоточенно ударявшие в гонг, и четыре свитских чиновника с лакированными опознавательными знаками, указывающими на звание судьи. И, наконец, в голубом паланкине с задернутыми занавесками мерно покачивался благообразный старец с седой бородой, которая двумя густыми прядями спадала на черное шелковое одеяние, почти закрывая удивительной красоты нагрудник с вышитым на нем серебряным фазаном: сам Ван Лунь. Круглую черную шапку мандарина украшал сапфир*.

Небольшой воинский отряд замыкал шествие: солдаты из армии провинции, зеленознаменники*. Так двигался Ван через площади и кишащие народом рынки, по местам своих былых приключений, – между двумя шеренгами заворожено глазевших на него горожан; ворота *ямэня* были распахнуты настежь.

Нэтай оставался в управе только полдня. Он решил не выносить самостоятельно приговор политическим преступникам из семьи Су, а забрать их с собой в Гуаньбин и там дожидаться ответа императора на его – *нэтая* – отчет о расследовании.

Даже не переночевав, обладатель шапки с «белым прозрачным шариком» ближе к вечеру покинул взбудораженный город; на телеге, которую конвоировали солдаты из его свиты, стояла узкая деревянная клетка; в ней сидели Су и два его сына, закованные в общие шейные колодки*.

Вечером следующего дня в город прибыли посыльные подлинного *нэтая*, которые первым делом передали в *ямэнь* жалобу судьи на плохое состояние пригородных дорог и на халатность полиции. Чудовищная новость, быстро распространившись, повергла в ужас всех горожан.

Кому-то, выходит, вздумалось поиграть, прикрывшись именем самого высокопоставленного в провинции судейского чиновника. *Даотай* вкупе со своими помощниками пребывал в

растерянности; местным магометанам грозила повальная расправа – ведь преступники наверняка происходили из их кругов. Были основания думать, что император на многие годы вперед лишит всех жителей провинившегося города права участвовать в государственных экзаменах.

Что касается Вана, то он, как и его сообщники, в первом же горном ущелье сбросил с себя маскарадные одеяния. Су Гоу и его сыновья, уже считавшие свою смерть неминуемой, братски с ним обнялись; но как ни велика была их радость, она не выражалась в громких словах: все трое слишком измучились, побывав в руках палачей.

На следующий день Ван вернулся в город, к Доу Цзэню, с которым только теперь поделился своей тайной.

Настоящий *нэтай* задержался в Цзинани еще на пять дней и все это время занимался расследованием дерзкого преступления. В первую же ночь после того, как он наконец уехал, бонзу и его помощника разбудил робкий стук. В комнату проскользнула законная жена Су Гоу; она заплакала, прикрыв лицо уголком белого покрывала, и, не зная, с чего начать, беспомощно опустилась на пол. По ее словам, Су Гоу, раздобыв оружие, вместе с сыновьями вернулся домой; прятаться он не желает и грозится убить всякого, кто посмеет силой вторгнуться в его дом, – убить, если понадобится, с помощью сыновей и единоверцев. Женщина умоляла бонзу и Ван Луня как-то убедить ее мужа, что ему и обоим мальчикам лучше укрыться в горах.

Женщина осталась у бонзы, а Ван побежал в дом Су. Он нашел своего соседа окрепшим, спокойным, по-прежнему исполненным достоинства, но вместе с тем и ожесточившимся. Су Гоу объяснил, что он, конечно, покинет и город, и даже родной округ, но прежде хотел бы без спешки распродать свое имущество, выплатить долги, посоветоваться с муллой о том, какое место выбрать для нового жилища. Ван, недоуменно пожав плечами, предложил, что возьмет на себя и продажу имущества, и урегулирование отношений с кредиторами, и даже разговор с мусульманским вероучителем. Однако Су Гоу наотрез отказался воспользоваться его услугами.

Тогда Ван Лунь решил держаться поблизости от друга и по возможности ему помогать.

На следующий день уже с раннего утра Су Гоу стал ходить по домам перепуганных соседей, которым говорил, что собирается в самом скором времени отдать и собственные долги, и те, что наделала в его отсутствие жена. И спрашивал, не знает ли кто, кому бы он мог продать свой дом – за приличную цену. В толпу, которая следовала за ним по пятам, затесался известный всему городу шутник, помощник бонзы Доу Цзэня, дылда Ван Лунь – болтавший без умолку и очень возбужденный.

Вскоре откуда ни возьмись примчались полицейские. Но Ван и его дружки сумели подстроить все так, что толпа – с женщинами и детьми – окружила Су плотным кольцом и была настроена агрессивно по отношению к представителям власти. Старый Су, который к тому времени успел закончить дела, направился к своему небольшому дому, не реагируя на выкрики обращавшихся к нему знакомых и незнакомых людей. Тут зазвучали барабаны и трубы. Солдаты в синих куртках перегородили улицу, оставив лишь небольшой проход, и принялись загонять толпу в ворота. Командовал отрядом* молодцеватый *дусы**.

Су Гоу с непокрытой головой снова вышел из дома, вежливо поклонился командиру отряда и – не глядя на солдат, не удивляясь происходящему – сделал пару шагов, видимо, с намерением где-нибудь за ближайшим углом справить нужду. *Дусы* подскочил сзади к этому дородному, медлительному старику, ударил его по пояснице рукоятью сабли, схватив за плечо, развернул лицом к себе и отрывисто спросил: действительно ли он – тот самый Су Гоу, сбежавший из-под стражи фитильный мастер? Су Гоу, скрестив на груди руки, ответил, что да, это он; но вот кто такой сам *дусы*? Не разбойник ли с большой дороги? А если нет, то почему он ведет себя столь нагло – почему среди бела дня бьет ни в чем не повинного человека, почему шпионит за ним?

Однако прежде, чем Су успел высказать, что́ у него накипело, *дусы* и два подскочивших солдата зарубили его саблями – прямо у стены*.

У Вана вырвался крик – как и у других, наблюдавших за происходящим с угла улицы. Ван хотел подбежать к упавшему, но весь дрожал, не мог сдвинуться с места, его руки и ноги будто одеревенели. Он вместе с людским потоком зигзагом двинулся через площадь, не вполне сознавая, зачем. И бросая беспомощные взгляды по сторонам – на человеческие лица, втоптанные в землю потроха, золоченые вывески. Впрочем, никаких красок он не различал. Его гнал вперед страх. Вдруг пять сабель рассекли воздух в десяти шагах от него – там, куда он смотрел. И все смешалось в сером облаке пыли.

Су Гоу, его добрый и рассудительный брат, лежал – неспасенный – на улице.

Су Гоу был его братом.

Су Гоу не удалось спасти.

Су Гоу лежал на улице.

У стены.

«Где же эта стена?»

Его прижали к побеленной стене. Су Гоу хотел закончить кое-какие дела. Продать дом; и посоветоваться с муллой; насчет нового места жительства. Он хотел всего лишь пройти вдоль стены. Почему же Су Гоу – его брату – помешали? Ему было жарко, и его знобило.

Он, дрожа, добрался до каморки Доу Цзэня, который его ждал.

Увидав позеленевшего Вана, Доу схватил его – тот безвольно повис в его объятиях, – озабоченно вздохнул, поиграл пальцами, бережно потянул за собой внутрь храма. Там толкнул маленькую дверцу без ручки, рядом со статуей бога; они вышли на площадку, заваленную щебнем и кирпичом, потом забрались в стоявшую на краю улицы кумирню для бесприютных духов – прямоугольное каменное строеньице, внутри которого едва могли разместиться, согнувшись, два человека. Ближе к улице стояла жертвенная чаша для приношений; со строительной площадки они попали сюда через загороженную доской дыру в заборе.

Они долго сидели в темноте, в этом затхлом логове, пока Доу с помощью кремня не зажег масляный светильник. Доу

Цзэнь казался более возбужденным, чем Ван: тот молчал, прижавшись к бонзе и положив голову ему на плечо. Позже, придя в себя, Ван рассказал о страшном убийстве Су Гоу, заплакал, словно раскапризничавшийся ребенок, упомянул и о пяти саблях, о том, как вышло, что солдаты зарубили старика. Потом заговорил Доу, а Ван, внимая его словам, успокоился, задышал ровнее и глубже, опять ушел в себя.

Мог ли он что-то сделать, чтобы Су Гоу, его брат, после падения вновь поднялся на ноги и закончил свои приготовления к отъезду? Взмах сабли исключил такую возможность – Су, только мгновенье назад стоявший, скрестив руки, перед *дусы*, рухнул на землю, и его труп оттащили в сторону, как дохлую кошку. Теперь, может быть, убили уже и его сыновей. Разве Су Гоу причинил кому-нибудь зло? Даже если бы он читал вслух из той старой книги, как его племянник, все равно это не преступление; но ведь о нем вообще не слыхали ничего худого. Потому-то с его братом и обращаются как с отверженным, не дают покоя его духу. Это *дусы* причинил ему несправедливость. *Дусы* зарубил его своей саблей.

Ван повернулся к бонзе и шепотом сказал, что теперь, пожалуй, ему пора сматываться; приходить он будет только по ночам и не очень часто: будет стучать в дверь условным стуком – шесть раз. Бонза этот план одобрил.

Когда Ван опять увидел дневной свет, слезы брызнули у него из глаз. Он стоял, рыдая взахлеб, между площадкой с битым кирпичом и задней стенкой кумирни; распустил косичку, разодрал на себе зеленый халат; не соображая, что делает, грыз костяшки окоченевших пальцев. Кошелек с мелочью, который протянул ему Доу, он оттолкнул; потом, ухватившись за выступ кумирни, перелез через дощатый забор и побежал прочь, даже не стер слез с мокрого лица.

В ближайшие шесть дней Ван шатался вокруг города – то по равнине, то по отрогам гор. На шестой день, ночью, пришел к бонзе и спросил, не знает ли тот, куда подевалась оленья маска. Маску Доу Цзэнь отыскал; он радовался, что опять встретился со своим помощником, что у того теперь более здоровый вид. Ван взял маску, погладил ее, надел; бонза не мог не отметить, как

сильно изменился его ученик. Решительно нахмуренный низкий лоб; под ним глаза – то печальные и полные беспокойства, то вдруг вспыхивающие слепой яростью. И широкий крестьянский рот с выпяченной нижней губой производил такое же впечатление: иногда разъявливался, как голодная волчья пасть, но чаще оставался вялым, безвольным. Хитрые морщинки в уголках губ, казалось, плавали в пустоте, безотносительно ко всему остальному.

Бонза, старый лжец и мошенник, в присутствии ученика вдруг растрогался и ощутил прилив благочестия; он даже поймал себя на том, что с искренним чувством благословляет Вана.

Доу Цзэнь провел остаток ночи в своей каморке, без сна; он думал о Ване, который забрал оленью маску и спрятался в кумирне, не объяснив, зачем ему это нужно.

Ночь прошла. Когда утром на площади Ваньцзин солдаты принялись упражняться в стрельбе из лука, у забора собралось множество ротозеев; пыль, словно тюлевая занавеска, колыхалась над голой – без единого деревца – площадью. После лучников стали показывать свое искусство гимнасты и прыгуны.

Тут вдруг залаяли собаки, зрители отпрянули; какой-то сумасшедший в оленьей маске перемахнул через низенькое ограждение и подбежал к солдатам, выстроившимся перед веревочной планкой для прыжков, – за ними надзирал молодцеватый *дусы*. Собаки – их было не меньше тридцати – протискивались между ногами босых солдат, которые, хихикнув, делали шаг в сторону или же с бранью отбивались от зверюг. *Дусы*, проорав что-то, кинулся за нарушителем спокойствия, но тот хлестнул его по уху смешным детским кнутиком, странно подпрыгнул, нахлобучил на него свою маску, рывком притянул к себе – и отшвырнул на землю.

На площади стало удивительно тихо, все слышали только стоны и хрип упавшего. Никто и опомниться не успел, как жуткий незнакомец (теперь без маски) смешался с толпой зрителей; еще пару раз тявкнули собаки, и он исчез. Псы, повизгивая, бегали по песку вокруг вздрагивавшего тела *дусы*, обнюхивали его. Солдаты отогнали их камнями. И сорвали с *дусы* тяжелую оленью голову.

Лицо *дусы* почернело и отекло. Его удавили; сломав шейные позвонки.

На зрителей обрушились удары кнутов, но проку от это было мало; собачья стая рассеялась по ближним переулкам. Матери хватали и прятали детей, чтобы те не попали под ноги бегущих солдат.

Но и беготня ничему не помогла. Как и попытки разогнать толпу. В конце концов один из солдат нашел игрушечный кнут; это тоже не помогло – из соседних домов тотчас принесли другие такие же, дети погоняли ими своих деревянных осликов.

К полудню по всем рынкам, улицам и лавкам, по чайным, корчмам и постоялым дворам – вплоть до самого *ямэня* Цзинаньфу – разнеслась весть, которая чуть позже выплеснулась через городские ворота, достигла просяных полей, и огородов, и даже темных холмов за рекой: не кто иной, как Ван Лунь, сын рыбака из Хуньганцуни, известный в Цзинани плут, был тем человеком, который, переодевшись судьей провинции, освободил старого Су Гоу и двух его сыновей; именно он обманул *даотая*, набрав бродяг и преступников с гор Таншаня и дав им одолженные в ломбарде лакированные щиты; именно Ван Лунь только что отмстил за смерть своего названого брата Су Гоу командиру карательного отряда. В оленьей маске, которой он прежде пугал на рынках наивных женщин, Ван Лунь среди бела дня, на площади Ваньцзин, задушил командира батальона – прямо на глазах у его солдат.

ЧЕЛОВЕК, о котором внезапно заговорил весь город, в тот же полуденный час устало поднимался по горным тропам. Обойдя ущелье, он прилег отдохнуть, даже не ощущая спиной острых камешков. Он лежал без движения, не поднимая отяжелевших рук, на самом солнцепеке. В сущности, он просто тянул время – да еще прощупывал себя, пытаясь определить, все ли теперь хорошо, все ли он сделал правильно.

В последние недели он испытывал невыносимую душевную боль. Она гнала его, заставляя перемещаться от какой-нибудь хижины к скале и обратно; четыре дня он вообще ничего не ел и не пил: забывал о пище, потому что постоянно стремился куда-то,

слепо кружил вокруг одного и того же места. Когда жажда усилилась, он даже и не подумал, что мучается от недостатка воды; но был уверен, что это растет в нем – и жжет его грудь – горе. Часто ему хотелось раздобыть где-нибудь новые вещи: ведь с него содрали, мерещилось ему, и старую одежду, и саму кожу. Его злило, что он утратил волю, не может решиться ни на что, а только бродит без цели. Он чувствовал себя так, как когда купался на дальней отмели Хуньганцуни в момент начала отлива: только что его вынесли на берег сильные волны, и вот они уже тащат его, слегка покачивая, назад по песку; все дальше и дальше отступает прозрачная вода; его загорелая грудь почти высохла, пальцы ног выглядывают из воды. Море обнажило ему руки и бедра: он, покрытый каплями, лежит на влажном песке и должен упираться, чтобы его не увлек за собой поток.

Теперь ничто уже не могло его увлечь. Он десятки раз поднимал руку, отводил ее в сторону, но не был способен по-настоящему размахнуться и нанести удар.

Перед глазами вновь и вновь вспыхивал блеск сабель, настолько яркий, что Ван невольно смаргивал.

Он прятался от нищих, воров и скупщиков краденого. Не знал, как отвечать на их вопросительные взгляды.

Су Гоу погиб: его убили.

Ван ощущал неподъемную тяжесть горя – на затылке, на языке, во впадинке на груди. И он нарочно, по собственной воле дал своим мыслям новое направление, направил их на идею мести, никак не связанную со страданием, – чтобы исцелить и освободить себя. Он подзадоривал самого себя: основания для мести имелись. Но он не верил себе, не смел себе верить.

И отчаяние от борения с собой перерастало в озлобление против *дусы*, который и был настоящим виновником случившегося. Он, Ван, боялся *дусы*, как испугался в тот роковой миг блеска его сабли. Однако гнев, с каждым часом победоносно и властно нарастая, преодолевал страх. Томление бесчувственного тела превратилось в нечто другое – томление слепой, но уверенной в себе ненависти. Дни уже не казались такими нескончаемыми, и вот однажды ночью он пробежал по сонным улицам

Цзинани, чтобы навестить своего друга Доу. Когда он стучал к нему в дверь, он еще не думал об оленьих рогах. Но внезапно ему вспомнилась веселая маска, и мелькнула мысль, что все, с ней связанное, – в далеком прошлом; в тот же миг он почувствовал, как его мускулы напряглись: маску ведь можно напялить на голову *дусы*, задушить его, отбросить мертвое тело прочь. Хорошая идея. Ван был счастлив. Напялить маску на *дусы*, а самому потом – прочь. Напялить – и сразу прочь, прочь.

Так он потом и осуществил убийство – радостными, движущимися словно в бреду руками.

Теперь он лежал на гнейсовом щебне, недоверчиво и холодно прощупывал себя, пытаясь понять, все ли хорошо, довольно ли того, что он сделал.

Когда через несколько часов Ван поднялся, он был спокоен. Как будто внутри его грудной клетки что-то наконец заснуло, забаррикадировав выход шкафами и столами.

Стемнело. Серп месяца завис над острым краем скалы. Ван вскарабкался выше и решил заглянуть в попавшееся ему по дороге разбойничье логово – деревянную хижину-развалюху, которая ютилась под скальным козырьком. Хижина оказалась пустой.

Но вскоре вернулись, неся фонари, пятеро ее обитателей. Они уже слышали про подвиг Вана и теперь были горды тем, что он к ним пожаловал. Один из разбойников, зобастый и кривоногий, протянул ему, отвязав от шнурка на своей груди, флакон с настойкой женьшеня. Они болтали о молодцеватом *дусы*, имитировали прыжок Вана, подскочившего, чтобы его задушить, – насколько могли это себе представить. Ван пил настойку, безучастный ко всему. Потом вдруг окриком заставил их замолчать и попросил о помощи. Сказал, что его названый брат Су Гоу остался без погребения, ибо его тело разрубили на куски. Он, Ван, на рассвете должен будет уйти; пусть же они ему помогут – нынешней ночью совершат погребальный обряд для неприкаянного духа.

Разбойники тотчас побежали куда-то, разделившись на две группы, и вскоре к хижине стали стекаться другие бродяги, жившие ниже по склону. Мелькали белые бумажные фонари. Люди

вели себя тихо, будто и в самом деле находились в доме умершего, чей покой нужно оберегать. Все чинно пили вино.

С поникшими плечами и оцепенелым взглядом Ван, словно вдова, сидел на глинобитном полу рядом с деревянными носилками, на которых лежал продолговатый ком тряпья – грубая матерчатая кукла*. Ван достал нож, отрезал прядь своих распущенных волос, опустил ее на кучу тряпья*. Старший из бродяг – придурковатый и неопрятный, но добродушный увалень с беззубым ртом – семенящими шажками приблизился к носилкам и положил кукле на место рта обернутый красной бумагой лист чая*. Затем связал «умершему» голени шарфом из разорванных на полосы штанин, чтобы он не вставал из могилы, а покоился в мире*. Было тихо, тишину нарушали только звуки трещотки, какой-то скрежет, шорохи; на шесте перед хижиной колыхался, колеблемый теплым ветром, большой кусок мешковины: приманивал дух умершего*.

Придурковатый увалень отвесил поклоны на все стороны света, потом, подпрыгивая и воздевая руки, призвал Яньлована*, владыку Преисподней, и препоручил ему отправляющегося в его владения духа. И все собравшиеся в хижине молодые и старые бродяги подумали в тот миг о празднике пятнадцатого дня седьмого месяца*, когда маленькая лодка Яньло-вана плывет вниз по реке, Владыка демонов – в черном одеянии, подбитом тигровой шкурой, в фартуке и сапогах из таких же шкур* – держит в руках трезубец; из-под короны на его голове выпрастываются во все стороны черные всклокоченные космы. А сопровождают его маленькие забавные демоны: один в четырехугольной шапке, один – с головой быка, один – с головой лошади, и еще десять толстощеких багроволицых демонов ада, красующихся перед возбужденными зрителями.

Четверо мужчин осторожно вынесли носилки с куклой из дома, Ван шагал впереди; другие, спотыкаясь, тянулись следом, светя себе под ноги фонариками; и так они одолели короткий путь до каменистого поля, разбрасывая тестяные шарики для голодных духов*. Опустили куклу в неглубокую могилу. Вспыхнула порезанная на полоски бумага – деньги для покойного*; чадно задымились тряпки и лоскуты – его лицо.

С пустыми носилками все двинулись обратно, бормоча что-то себе под нос. Фонари покачивались. Над Цзинанью занималось серое утро. Когда пятеро бродяг добрались до хижины, Вана с ними уже не было.

ИЗ СТРАХА перед доносчиками и перед тем кошмаром, который он пережил в Цзинани, Ван Лунь бежал на север. Он перешел границу Шаньдуна, осенью оказался в равнинной Чжили и, следуя по течению реки Хуанхэ, под сильными снегопадами добрался до гор Наньгу в северо-западной части Чжили, где и нашел укрытие. Он избегал городов. И, как правило, не искал попутчиков. Часто голодал; зарабатывал, когда подпирала нужда, несколько медяков, перетаскивая уголь или другие грузы, однако ни в одном месте надолго не задерживался. Любая более или менее постоянная работа его отталкивала. Ван никогда не обладал тем безграничным терпением, что позволяло его односельчанам вести почти растительное существование. Он предпочитал жизнь бродяги.

Когда похолодало и осенние дожди насквозь промочили разодранную в знак траура одежду, Ван вступил в сговор с десятью другими оборванцами; три дня и три ночи они просидели в засаде на подступах к окружному центру Тайаню, пока наконец ранним утром к городу не подошел караван торговцев плиточным чаем, плохо охраняемый. Вопивших купцов заставили скинуть подбитые ватой куртки, но больше ничего брать не стали и, добродушно посмеявшись над пострадавшими, отпустили их с миром.

Всю зиму Ван провел в этих горах. Они кишмя кишели жилищами отшельников, малыми и большими монастырями: ведь до священной горы Тайшань отсюда было рукой подать. Всю зиму и на широких, и на узких дорогах не прекращалось оживленное движение. От более северных горных перевалов стекались сюда путники с лошадьми, вьючными ослами, верблюдами. Эти люди везли подарки, жертвенные дары к расположенной южнее священной горе – в монастыри, венчавшие ее голые отвесные склоны; желтые обрывы казались неприступными; но по

высеченным в них серпантинным тропам караваны путников поднимались наверх, дыша разреженным воздухом высокогорья.

У одной из нешироких, но быстрых горных речек Ван Лунь пережидал самые суровые месяцы. Река прокладывала себе путь сквозь толщу гранита, по обеим ее сторонам отвесно вздымались нагромождения бурых глыб, навеки застывших в поклоне перед своей владычицей – водой. Кое-где над водной поверхностью выступали утесы; вокруг них спиралями закручивались белые гребешки пены. Дальше к востоку – там, где поток устремлялся к нетерпеливо ждавшей его долине, – скалы расступались, образуя новые уступы; совсем вдалеке рельеф местности резко понижался.

Ван Лунь жил у отшельника: на горной тропе, под навесом скалы, окруженной вечнозелеными елями. Ни дождь, ни снег не проникали в надежно защищенную хижину; ледяные ветры из ущелий, и те со свистом проносились мимо. В более теплые дни Ван спускался пониже – туда, где на реке работали маленькие мельницы-толчеи; каменные молоты падали в крепкие ступы, перемалывали древесину и тальковые камни для свечей*. Там внизу Ван встречался с нищими, беглыми преступниками, бродягами. Ван вел двойную жизнь. Он, не зная покоя, мотался по окрестностям и изредка, будто в ожидании чего-то, присаживался отдохнуть. Лишь на мгновения, поджав широкие губы и нахмурив свой низкий лоб, он задумывался о Цзинани, окруженном стенами городе с многотысячным населением. Только упорный взгляд, бессмысленно устремленный в пустоту, свидетельствовал о том, что Ван еще что-то помнит о низкой побеленной стене, о блеске сабли, о том, как долго, долго он сидел в засаде – в темной кумирне для бесприютных духов. В такие минуты правый глаз Вана непрерывно двигался под массивным верхним веком, конвульсивно вздрагивал и слегка косил.

Впрочем, благодаря прогулкам в долину Ван уже вновь обрел свою дерзкую, по-детски непосредственную веселость. Иногда ему приходило в голову, что он мог бы вступить в гильдию кровельщиков. Он легко завоевал уважение новых приятелей с мельницы. Одно то, что он был физически крепок и полон сил, вряд ли помогло бы ему утвердиться среди этих привычных

к насилию отщепенцев. Решающим преимуществом оказалось его умение обращаться с людьми как бы играючи. Он научился этому у старого Доу: слушать другого со смиренным и льстивым видом, но вместе с тем ненавязчиво его прощупывать; будто бы просто повторяя чужие слова, на самом деле слегка их перетасовывать; незаметно и с удивительной беспардонностью, которая лишь прикидывается благородной искренностью, добиваться осуществления собственных желаний.

Бродяги, в обществе которых Ван часто проводил целые дни, толком не знали, что́ о нем думать. Самые молодые не признавали его полноценным мужчиной, а считали придурком с ужасающе ловкими ухватками – чем-то вроде человека-обезьяны. Ван злился, когда его шуток не понимали, в таких случаях любезность спадала с него как маска и он выкрикивал грязные угрозы; потом, мрачный, возвращался к себе в хижину и несколько дней избегал товарищей, что только подтверждало их мнение о его ненормальности. Люди постарше его побаивались. Их поражала его способность по-детски заигрываться, а также те нередкие мгновения, когда он впадал в состояние жутковатой отрешенности. Такие вещи внушали им благоговейный страх. Они чуяли, что в Ване засело какое-то тяжкое страдание, страдание же в их представлении уже само по себе было некоей способностью, или даром. Среди простолюдинов еще витал древний народный дух; тем, кто потерпел жизненное крушение или просто много испытал на своем веку, в гораздо большей степени, нежели начетчикам из ученого сословия, было свойственно глубокое внутреннее согласие со старинным изречением: «Если кто-нибудь силой пытается овладеть страной, то, вижу я, он не достигнет своей цели. Страна подобна таинственному сосуду, к которому нельзя прикоснуться. Если кто-нибудь тронет его, то потерпит неудачу. Если кто-нибудь схватит его, то его потеряет»[*]. Люди с мельницы приняли Вана как своего. Они даже привязались к нему и по-братски о нем заботились; о нем – сильнейшем среди них – заботились чуть ли не по-матерински.

Тихое постукивание молота, равномерный плеск воды у мельничной запруды доносились и до хижины отшельника. Ван

жил в хижине Ма Ноу, у дороги, проложенной в горах, каждый поворот которой был отмечен врезанной в скалу благочестивой надписью.

В первый раз Ван зашел к Ма Ноу, чтобы попросить милостыню. Он рассчитывал найти погруженного в благочестивые размышления седобородого старца, который ласково его поприветствует и разделит с ним свою трапезу. Вместо этого его резко окликнули, едва он поставил ногу на ступеньку крыльца. У входа в хижину чья-то рука дернула его за рукав и потянула внутрь. Востроглазая физиономия наклонилась к его щеке, и Вана спросили – на почти непонятном наречии, – что́ ему здесь нужно. Между тем, его глаза быстро привыкли к полумраку. Он увидел, что Ма Ноу закутан в накидку из пестрых лоскутов, ряды которых перекрывают друг друга подобно рыбьим чешуйкам. Хозяин оказался маленьким, слегка сгорбленным человечком, который вел себя как взбалмошный старик, но при этом лицо его ошеломляло молодостью и свежестью: тонкий нос с горбинкой; изящный маленький рот с морщинками в углах губ, как у человека, привыкшего много говорить; неуверенный взгляд, который, падая на любой предмет, тут же опять отскакивал от него, словно резиновый мячик. Речь старика походила скорее на птичий свист, чем на человеческий язык. Когда Ван окинул взглядом помещение, у него заколотилось сердце; здешняя обстановка напомнила ему темный храм покровителя музыкантов Хань Сянцзы в столь далеком отсюда городе. Ван пробормотал пару заученных фраз, Ма Ноу сунул ему кусок козьего сыра, но гость все не уходил, будто прирос к месту, и задавал вопрос за вопросом – о статуэтках богов, стоявших на маленькой полке. Ма повернулся к ним спиной, отвечал слишком быстро, и Ван его плохо понимал. Тем не менее, любознательный бродяга спокойно и вежливо продолжал свои расспросы и сам рассказал вымышленную историю об одном храмовом служителе из Гэ; отшельник аж подскочил, удивившись познаниям гостя. Наконец Ван упомянул, что живет в часе ходьбы отсюда и работает на мельнице-толчее, а потом попросил «мудрого господина», чтобы тот рассказал ему о силе своих богов – потому что

собственными богами он, Ван, не удовлетворен. Ма Ноу пришлось, хотя ему не особенно хотелось, предложить необычному гостю выпить чашку чаю.

Так началось их знакомство.

Беспокойный отшельник, который вскоре разделил с беглецом из Шаньдуна свой дом, когда-то был монахом на Путо, цветущем южном острове*.

Безмолвно и благостно покоились его будды в глубине хижины. Мочки их ушей спускались до плеч; у каждого под синими волосами*, собранными в пучок, посреди выпуклого лба сиял третий глаз, Око Просветления; у них были томные взоры, светлые, почти испаряющиеся улыбки на круглых гладких лицах, на полных губах; будды сидели, кокетливо прижимая к груди красивые руки, подогнув под себя стройные ноги и развернув ступни подошвами вверх, – словно младенцы в материнской утробе. Ма называл своих будд – или, как выражался Ван, своих *фо* – по-разному, но все они походили друг на друга. Только одно божество выделялось из общего ряда, то, чья слава уже достигла Шаньдуна: богиня Гуаньинь*. Выточенная из горного хрусталя, стояла она среди других будд: с многочисленными руками, которые подобно змеям поднимались от плеч и прикасались к ее слегка изогнутым губам, внушавшим столь сладостное чувство, будто освежающий ветерок вот только что повеял над луговыми травами.

Ван был потрясен, когда наконец услышал, чему учат эти неведомые ему боги: тому, что никакого человека убивать нельзя. Ма Ноу реакция Вана удивила; он посмеялся над гостем: мол, что тут такого – ведь и судьи учат тому же. Ван, смущенный, был вынужден согласиться; и все же брови его поползли вверх, а правый глаз от возбуждения задергался и стал косить. Он наклонил голову и пояснил свою мысль: «*Фо* учат хорошо. И судьи учат хорошо. Но праведны только твои *фо*, Ма».

Ма Ноу беззаветно любил своих будд. Иногда он выкрикивал разные честолюбивые желания прямо в гигантские раструбы их ушей, а если божества не помогали ему, стоял перед ними и плакал. В другие моменты им овладевала беспросветная тоска, и он, не сознавая, что делает, распластывался на каменном полу. Они

смотрели поверх него и вдаль, улыбаясь, и его отчаяние быстро улетучивалось. Он заботился о них, видел в них владык; но, сколько бы ни старался, они для него ничего не делали.

И все же ему никогда не пришла бы в голову мысль, которую однажды, когда Ма в очередной раз обнаружил слой пыли на лицах Всемогущественных и Совершенных, высказал вслух Ван: что давно пора погрузить всех этих кумиров на телегу, отвезти их подальше и бросить в речной водоворот.

Ма возненавидел бродягу за эту мысль. Он почувствовал, что Ван видит его насквозь: ибо, похоже, понимает, что сам Ма на такое не способен. И в глубине души Ма даже позавидовал гостю, который с такой легкостью предложил чудовищный план и, казалось, готов был тотчас осуществить задуманное. Вслух же Ма проклял Вана, распластавшись на молитвенном коврике перед полкой с кумирами, чтобы Амитаба* услышал: какую дурную вещь сказал только что этот чужак – но он, Ма, тем не менее, как принято говорить, справился с собой, преодолел себя, нашел прибежище в законе, в учении, в благочестивой общине*. Ма определенным образом настроился, повторяя шепотом имя Омитофо, и, восторгаясь собственной смелостью, скользнул, подобно виверре, на тропу; эта змеящаяся узкая тропа представлялась ему нитью, которая тянула его: сперва – через первые препятствия, потом – вверх по четырем ступеням, ведущим к блаженству*. Он погружается в поток, единожды возвращается назад, больше не возвращается; он сам – Архат, Лохан*, Заслуженный и Достойный, равно бесстрастно взирающий на золото и на глину, на катальпу и на мимозу, на санталовое дерево и на топор, которым это дерево рубят. А над ним – ликующие небеса, где разделяются, расходятся в стороны, словно под воздействием таинственных лучей, те, что вообще-то стремятся к соединению: Духи ограниченного сияния*, Лишенные сознания, Не чувствующие боли, Обитатели Ничто и, наконец, Пребывающие там, где нет ни мышления, ни не-мышления*.

Безмолвно и благостно сидели будды на полке; мочки их ушей спускались до плеч; у каждого под синими волосами, собранными в пучок, посреди выпуклого лба сиял третий глаз,

Око Просветления; у них были томные взоры, светлые, почти испаряющиеся улыбки на круглых гладких лицах, на полных губах; будды сидели, подогнув под себя стройные ноги и – словно младенцы в материнской утробе – развернув ступни подошвами вверх. Настоянная на времени тишина наполняла темную хижину Ма. Если бы его прежний настоятель, *чэн-по*, сейчас вошел сюда, как прежде схватил своего ученика за плечо и бросил холодный взгляд на его худое отрешенное лицо, то опять раздался бы тихий язвительный смех, который так часто доводилось слышать молодому Ма. Старик всегда уходил, покачав головой, прежде чем Ма успевал задать ему вопрос. И Ма – похолодевшему, униженному – волей-неволей приходилось самому себе отвечать, растирая замерзшие до синевы пальцы: на небо богов нельзя воспарить; ученики Шакьямуни попадают туда, взбираясь по склону горы и преодолевая четыре тяжелые для подъема ступени.

Ма же не хотел ждать, не хотел с того самого мгновения, когда понял, куда ведет Путь. На острове Путо, в Зале Погружения, его после окончания службы для моряков* настигло чувство, которое – одновременно мягко и сильно – прошло сквозь него подобно деревянному столпу и стало медленно поворачиваться; за этим последовало болезненное и горькое ощущение плененности, потом – двойной взмах шелковых полотнищ, красного и желтого, с двух сторон. Полотнища, большие как простыни, непрерывно, кружась и колыхаясь, сплетались между собой; а в середине – в срединной полости – скользил он. Его голени были связаны, как у мертвеца. Струя воздуха от колышущихся полотнищ слегка приподняла его, и все же он продолжал скользить вперед. Появилась Пальма*. Что-то серое, большое стремительно приближалось к нему – Яйцо, гигантская Серая Жемчужина*. Когда он увидал это, в нем шевельнулось безумие; он застонал, собрался с силами, побежал по колосящемуся полю, поплыл, напрягая силы, вокруг Жемчужины – и потерялся где-то напротив нее, в слизнувшей его волне.

Ма ничего не помнил, когда очнулся. Только собственный стон еще отдавался в его ушах. Но из-за этого и последующих подобных снов в нем нарастало беспокойство. Он начал

критически воспринимать правила монастырской дисциплины. Вместо того, чтобы последовательно переходить от «погружения» к «погружению», от одного «преодоления» к другому, как того требует Учение, он с нетерпением ждал последнего высочайшего состояния, как влюбленный ждет свидания с возлюбленной. И – с болезненной отчетливостью сознавал, что при каждом «погружении» обманывает себя, что золотые будды всякий раз остаются для него далекими и непостижимыми.

Все же он должен был добраться до них, если не хотел бесконечных новых рождений; должен был добраться до Берега Спасения, если не хотел гибели в волнах; его направлял Дамо* – тот, что учил благому закону мироздания, закону живых существ, разрушающихся и обновляющихся миров. Однажды он пошел к морю; лодочник переправил его на материк; и начались его странствия. За десять лет, пока он странствовал по провинциям Цзянсу, Ганьсу и Хэнань, в нем самом ничего не изменилось.

Ма Ноу больше не вступил в монастырь. Он чудачествовал много лет – толкал перед собой, как какой-нибудь торговец кокосовыми орехами, свою тележку (с буддами) – и в конце концов поселился у горной дороги, которая ведет к перевалу Наньгу. Он бродил вокруг священной горы Тайшань*, ибо не мог отрешиться от суеверий, к которым его приковывало собственное несовершенство. Сын рыбака из Хуньганцуни вскоре стал для него более плодотворным источником размышлений, нежели сто восемь символов на ступнях Шакьямуни* или Восемнадцать выдающихся достоинств*. Этот парень, на каждом шагу его обманывавший, несомненно, был одним из бродяг, наводнивших провинцию после частичного роспуска армии. Он в буквальном смысле навязался отшельнику. Его вопросы, его прилипчивые взгляды раздражали Ма Ноу. Но более всего сердила отшельника бесцеремонность обращения этого чужака с пятью буддами: сперва Ван вел себя как любой невежественный китаец, будто имеет дело не с богами, а со служащими или адвокатами, которых хвалят либо отсылают прочь в зависимости от того, насколько успешно они выполнили порученное им дело. Позже – со странной фамильярностью, которая удручала Ма. Удручала

потому, что он чувствовал: никакие попытки опорочить или унизить Вана ему не помогут, ибо тот действительно с какого-то момента вступил в необъяснимо близкие отношения с этими безмолвствующими мягкосердечными существами. Ма из зависти на целые дни запирался в хижине, не пускал к себе настырного гостя, в одиночестве пытался воспроизводить перед полкой с кумирами гримасы и ужимки Вана: выпячивал губы, опускал голову, искоса поглядывал на будд. Тем не менее, покой не нисходил на него – и тогда он принимался бранить Вана или плевал себе под ноги, ибо на старости лет оказался таким дураком, что вновь, как когда-то в монастыре, поддался мелочной ревности. Но ведь этот ничтожный штопальщик сетей так истово молился перед полкой с кумирами, как будто сам Ма всего лишь надзирал за принадлежащим ему – Вану – храмом; этот бродяга, наверняка совершивший человекоубийство, считал себя вправе молиться тем буддам, которых Ма десять долгих лет возил по бесконечным дорогам Цзянсу, Ганьсу, Хэнани.

Между Ма Ноу и Ваном не прекращалась молчаливая борьба; отшельник, когда оставался один, без конца пережевывал свои претензии к гостю, чувствуя, как переполняется чаша его терпения. Ван приходил регулярно, не мог насытиться сутрами и изречениями из священных книг; Ма Ноу, хотя и против воли, был вынужден как-то удовлетворять его любопытство; дылда Ван всякий раз кивал, будто и ожидал услышать нечто подобное. Ма Ноу такое мнимое всезнайство казалось верхом бесстыдства, и он в отчаянии заламывал худые руки, ощущал себя изгоем в собственном доме, хотел и не мог решиться закрыть дверь на засов, чтоб больше не пускать Вана. Когда бродяга, устроившись на грязной циновке, неуклюже пересказывал услышанное, маленький монах, затаив дыхание, сидел рядом, со страхом пытался вникнуть в то, что говорил этот человек, чуть ли не обнюхивал его. Дважды, поддавшись внезапному гневу, он указывал Вану на дверь.

Тихое озарение, которое расширило тесный – а каким он мог быть в горах? – горизонт Ма Ноу, пришло однажды вечером, после ухода Вана, когда Ма поймал себя на том, что с ним происходит нечто удивительное: в состоянии как бы расплывающейся

сосредоточенности он созерцал набрякшее снегом небо, одновременно ясно сознавая, что Ван возвысился над ним, – и не страдал. Следующей ночью внезапно всплыло воспоминание о том состоянии. И о маячившем за ним удивлении: «И не страдал...» Он знал, что Ван возвысился над ним, – и не страдал. Странное ощущение приникло к нему, как вторая кожа, превратило сердце в легкое перышко; сладко и безмятежно думалось в нем о Ване, под бременем подломившей его колени Призванности к Служению: «Как же это отрадно – быть Ма Ноу!»

Всего несколько минут.

Потом он воспротивился, все спокойно обдумал, пал ниц перед буддами и странное ощущение отогнал.

Под конец – устрашился и самого себя, и случившегося. Заставил себя заснуть.

В ближайшие дни он не хотел видеть Вана; стыдился его, терзал и мучил себя. Однако тогдашнее видение, во всей его полноте, засело в нем: «Набрякшее снегом небо, и Ван возвысился надо мной». Видение вырывалось из груди, тянуло его за собой, росло. Ма несколько ночей размышлял, не следует ли ему вновь пуститься в странствия. Но, к своему удивлению, остался на месте. Страдая, опять решился на сближение с Ваном. Их странные беседы возобновились. Теперь уже Ма Ноу проявлял нетерпение, если бродяга по какой-то причине не показывался, осведомлялся о его планах, ругал его подозрительных дружков.

Бывший монах хоть и учил бродягу, но сам испытывал страх. Все в нем готовилось к тому, чтобы сложить оружие, сдаться.

К НАЧАЛУ НОВОГО ГОДА* резко похолодало. Скальные тропы стали непроходимыми из-за гололедицы. Выше в горах – как метровый слой пуха – лежал снег. Если человек наступал на эту белую массу, то она не проседала податливо под ногой; нет, раздавался нежный хруст, будто ломались тысячи сланцевых пластин, и снег в кровь ранил хватавшиеся за него ладони. Воздух, сперва зеленовато-прозрачный, вскоре сделался мутным и серым.

Один монгольский караван, спускавшийся от северных перевалов, смог добраться только до гор Наньгу. За ночь у них

замерзли тридцать пять мулов; когда рассвело, два медведя с налитыми кровью глазами неподвижно сидели возле лошадиного скелета, и никто не знал, то ли лошадь сперва околела, а потом ее съели, то ли она была разодрана в клочья еще живая. Тюки с чаем и с шелком, с дорогими мехами так и остались, брошенные, у последнего перевала, сами же паломники решили перезимовать в близлежащем поселке.

После никто больше не пытался пробиться к Тайшаню. Это значило бы обречь людей на ненужные мучения, подвергнуть их риску горного обвала. Мельницы-толчеи прекратили работу. Река, теперь сузившаяся, гнала сквозь ущелья насыщенный водой воздух, от холода уплотнившийся так, что им было трудно дышать.

Часть бродяг и преступников занималась контрабандой в селениях, лежавших к западу и востоку от горного хребта. Остальные еще какое-то время выжидали, не появятся ли паломники, за счет которых можно будет поживиться. Потом, отчаявшись, бродяги начали объединяться в большие и малые шайки. Тропы, близ которых располагались их пещеры и хижины, скоро должны были стать непроходимыми; и тогда вообще всякое хождение сделается невозможным.

В извилистых пещерах, хорошо защищенных от ветра и расположенных вдоль дороги выше хижины Ма, нашла прибежище шайка, к которой принадлежал и Ван, – она насчитывала человек пятьдесят. Однако уже через два дня, когда пятеро ее членов отправились на поиски погибающих от голода и холода бродяг – и осмотрели еще доступные дороги, горные склоны, долины, – численность группы возросла до восьмидесяти человек. Никаких обсуждений планов дальнейшего существования не потребовалось. Девять самых авторитетных разбойников постановили, что необходимо немедленно захватить селение Бадалин, до которого примерно шесть часов пешего хода.

По пути туда, во время спуска с горы, несколько разбойников пришли к единому мнению – потом его поддержали и другие, – что никто из жителей селения не должен избежать общей

участи: они либо присоединятся к банде, либо будут убиты. Спуск банды, к которой перед самым селением присоединилась еще одна группа из тридцати бродяг, сопровождался непрерывными криками, жалобами тех, кто не имел сил двигаться дальше, и их униженными мольбами, чтобы товарищи все-таки взяли их с собой. Сильные тоже настолько оголодали, что готовы были грызть ветер; они бежали вперед, не помня себя. Но по очереди тащили на своих плечах самых старых, уже почти невесомых. Последнюю часть пути, пролегавшую по холмистой долине, разбойники преодолевали в полном молчании, растянувшись длинным клином; самые крепкие неслись, как борзые, впереди, уже не думая о тех, кто ковылял сзади.

Селение состояло из пятидесяти домов, сосредоточенных вдоль единственной улицы, если не считать тех четырех, что окружали неохватный дуб, от которого улица начиналась. Жители этих четырех домов первыми увидали, как какие-то чужаки спрыгнули вниз с утесов, именуемых Шэнъи, как вслед за ними падали и вскакивали на ноги все новые и новые оборванцы. Потом эта орда понеслась, быстро приближаясь, по бело-синему снежному полю – можно было подумать, что их преследуют. Косички горизонтально распластались в воздухе, покачивались над плечами наподобие бичей.

Жена крестьянина Лэ первой пронзительно крикнула, застыв посреди двора: «Бандиты, бандиты, бандиты!» Женщины, дети и – последними – мужчины побежали по улице, волоча за собой перины, заколотили в ворота соседей, попрятались. Вопли, причитания взвихривались над домами, перепархивали с крыши на крышу, дрожали над опустевшей дорогой.

Со стороны холмов доносились топот, хруст и скрипы, оттуда надвигалась широким потоком людская масса – казалось, без единого вдоха или выдоха. Бледные лица, лишенные выражения, руки, раскачивающиеся как деревяшки. Тела бегут, не испытывая никаких эмоций. Оцепенелые торсы, гарцующие на нижних конечностях, которые несутся вскачь, будто кони. За длинной линией бегунов-одиночек – черные группки тех, кто предпочитает чувствовать рядом плечо товарища. И, наконец,

отстающие: они размахивают кулаками-молотами, пробивая бреши в преграждающих путь воздушных стенах.

Немногие жители селения, которые предпочли остаться в своих домах, наблюдали стремительное приближение этого длинного клина, видели также и стаи черных каркающих птиц, покинувших горы одновременно с бродягами.

Первые разбойники бросились на ближайшие ворота с такой силой, будто имели вес камней. И, напирая друг на друга, прорвались внутрь. Подоспевшие чуть позднее кинулись к следующим крестьянским усадьбам. Вновь прибывавшие сбивали с ног своих же. Шум поулегся; бандиты с гор, проникая в дома, распространяли вокруг себя леденящий холод и такой ужас, какой внушают покойники: они, казалось, не могли разжать челюсти; их глаза не мигали. Последние дома оказались забаррикадированными. Снаружи ответили воем, ревом раненых хищников, и женщины в страхе попрятались по углам. Живые – те, что снаружи, – подняли тела упавших, устремились на приступ, держа перед собой, как тараны, трупы с мотающимися головами. Крестьяне внезапно сами распахнули ворота, обрушили на вопивших топоры, кинулись к соседним домам, по пути нанося удары прямо по задыхающимся разинутым ртам. Но тут в селение ворвались последние, самые сильные разбойники, опоздавшие, потому что тащили слабых; они скинули свою ношу в первом же дворе, побежали туда, откуда доносились крики, смяли крестьян, словно были не людьми, а живыми снарядами, душили их голыми руками, детей убивали, швыряя о камни мостовой, – и все это без единого слова, даже не меняя выражения лиц.

Мертвые – тощие и окоченевшие – мерзли на снегу.

Бродяги, дрожа от возбуждения, разбрелись по домам. Эти свирепые животные обнимали и гладили друг друга. На сильных, да и на слабых тоже, напал озноб. Все как-то малохольно хныкали, часами не могли успокоиться. Не прекращая нытья, жадно набивали глотки чем попало. В домах они никого не тронули.

Когда стемнело, двадцать молодых бродяг стали ходить от дома к дому, раздавая «своим» топоры и молотильные цепы, договаривались об очередности несения караульной службы.

БАНДИТЫ решили переждать в селении самые сильные морозы, а потом всем вместе покинуть его. Крестьяне с этим смирились; староста не посылал властям никакого сообщения о случившемся – он, как и его домашние, был убит.

Все жили спокойно, не опасаясь предательства: до ближайшего населенного пункта было шесть часов пути, и дорога туда стала непроходимой.

Целый месяц селение было отрезано от остального мира. Бандиты братались между собой. Ван постепенно приобрел власть над сотней отщепенцев, в конце концов навязавших ему роль вожака. При урегулировании каждодневных конфликтов и осуществлении обмена с местными жителями, налаживании надзора и необходимой разведывательной службы физическая сила Вана и свойственная ему мягкая уклончивость пришлись очень кстати; уважение к нему старейших членов банды имело решающее значение.

Уже через две недели бандиты договорились, что после ухода из селения не разбредутся в разные стороны, а будут по-прежнему вести совместную жизнь – куда более приятную – под началом Вана. Но Ван в одно прекрасное утро от них ускользнул и на два дня исчез в горах.

Он отправился к Ма Ноу; и нашел старика в его хижине, под ворохом одеял и рогож, – как всегда бодрым, даже радостно ухмыляющимся; Ван принес ему в подарок рис, бобы и чайные листья.

Два дня и две ночи разговаривал Ван со своим старшим другом. О том, что оба они – изгои. И что никто не вправе причинять им вред, ведь они сами не причиняли никому вреда. Что нет ничего ужаснее, чем когда люди убивают друг друга; невыносимо даже смотреть на такое. Ма Ноу, бывший монах с Путо, рассказал много хорошего о своих золотых буддах, особенно о тысячерукой богине Гуаньинь, которая дарит женщинам детей. Они, будды, – его друзья, пережившие то же, что и он сам. Столько страданий приносит судьба (не говоря уже о прочем), столько горестей! Почему Небо так ненавидит их? Когда кончатся самые суровые холода, он, Ван, пойдет по селениям и будет объяснять всем, даже чиновникам, то, что думает; это он решил твердо.

Бродяги, которые знали Вана еще со времен посиделок у мельницы-толчеи, не удивлялись, слыша от него такие речи; они даже ожидали чего-то подобного. Они и не думали с ним ссориться, ведь его мнение совпадало с их собственным: Небо ненавидит их; но все равно человеку не следует творить зло.

Они были общительными людьми, с особыми представлениями обо всем на свете, хорошо знали жизнь и во многих отношениях превосходили средний уровень других, законопослушных жителей империи. Среди них едва ли нашлось бы хоть пятеро, которые не казались бы себе гонимыми и не считали бы, что действуют не по собственной воле, а под давлением внешних обстоятельств.

Некоторые из них стали жертвами той или иной пагубной страсти, которую не могли, да и не хотели побороть, и они придумывали, совершенствовали всевозможные уловки, чтобы служить этой страсти, с которой отождествляли себя. К таким относились, например, курильщики опиума или азартные игроки с тонкими чертами лица – всё люди пожилые. Немало было и тех, кто прежде занимался честным промыслом, но очень часто оказывался обманутым, уличенным в мнимых прегрешениях, оштрафованным; кто чувствовал, что к нему придираются полицейские, и в конце концов сам начал отвечать на несправедливость несправедливостью, на ненависть ненавистью; кто перешел границу дозволенного и в глубине души даже радовался тому, что теперь свободен как птица, что убежал от нависавшего над ним Закона. То были счастливцы, почти не ощущавшие в своей свободе привкуса горечи.

К числу наихудших относились горячие головы, люди мстительные и не знающие удержу в своих чувствах. Такие – как правило, еще в юности – из-за честолюбия, или влюбленности, или жажды мести совершали какой-то роковой шаг, порывая связь с семьей, родом, родиной, в пределах которых только и имели смысл их порывы и преступления; потом, озлобившись, бродили где придется, проклинали самих себя, без конца пережевывали жвачку своих страданий. Таким ничто уже не могло помочь; и они были способны на все; остальные предпочитали не иметь

с ними дела. Они не отличались общительностью, но вовремя оказывались повсюду, где что-то происходило или планировалось, неизменно искали пищу для своей злобы, и товарищи смотрели на них с неприязнью.

И еще было много таких, кто просто выжидал, кто присоединился к другим, только чтобы найти себе пристанище хоть в какой-нибудь из восемнадцати провинций*. Солдаты, отпущенные за ненадобностью, еще носившие свои драные синие куртки и надеявшиеся, что их вновь призовут на службу. Калеки, которые раньше жили в маленьких местечках, где близкие не могли их прокормить, а теперь пытались чем-нибудь поживиться на дорогах к святым местам. Трудолюбивые серьезные люди, потерявшие семьи во время наводнения; и те, для кого неурожай стал привычным, ежегодно возвращающимся гостем; и те, что сперва лишь на время, с чувством стыда отправлялись в далекие горы, чтобы просить милостыню, но дела их шли все хуже и хуже, и они уже не видели для себя иного выхода.

Попадались и явные исключения, наподобие Ван Луня: беспокойные души, которые не задерживались нигде, которые в этих местах, как и повсюду, внезапно выныривали среди себе подобных, а потом так же внезапно исчезали: в бескрайней империи вздымается много людских волн.

Постоянное жесткое ядро всей шатавшейся в тех горах братии состояло из четырех или пяти бандитов, которые уже много лет занимались разбоем на перевалах и высокогорных тропах. Это были внешне дружелюбные, а на самом деле лицемерные типы, которые знали множество анекдотов, доброжелательно выслушивали других и грубо подшучивали над самыми молодыми. Один из них из-за своей тучности казался почтенным чиновником; для полного сходства не хватало лишь шарика на шапке. Он придавал большое значение внешней респектабельности и с комической дотошностью соблюдал правила этикета, но, если его что-то раздражало, мог ответить вульгарной бранью. Он был ипохондриком, крайне болезненно воспринимал любые недомогания и бóльшую часть денег, добытых кражами и разбоем, оставлял у знахарок, которые готовили для него

лечебные снадобья. Он обладал множеством своеобразных качеств: скажем, искусно мастерил из дерева табакерки с цветочными узорами, расспрашивал каждого нового человека, какие шкатулочки сейчас в моде у горожан, и с устрашающим терпением – если хотел этого или считал для себя полезным – пытался скопировать заинтересовавший его образец. Знакомым торговкам, которые обращались с ним как с благородным господином, он жаловался на свою бедность, на то, что, если хочет приобрести на рынке хотя бы самую мелочь, вынужден продавать последнее, «вплоть до собственной шкуры». Отправляясь на дело, тот же человек превращался в очень жестокого, уверенного в себе грабителя с мускулами из стали, с неистощимым терпением и хладнокровием. К людям, особенно молодым, которые случайно заставали его на месте преступления и на которых поэтому ему приходилось нападать, он испытывал отвращение, если они не пытались обороняться или если, уже побежденные, молили о пощаде. Двух подручных купца, которые закричали, когда он ночью проник в их комнату, он сперва оглушил, ударив какой-то железякой, а потом – поскольку они, сильные мужчины, несмотря на его запрет продолжали хныкать – задушил одного за другим первым попавшимся шнуром (после чего, обезумев от ярости, вернулся в свое горное логово, так и не взяв ничего ценного). С той поры к нему пристала кличка Шелковый Шнур.

Другой бандит, родом из Кантона, высокий и сухопарый, носил очки в роговой оправе. Этот не любил ни убивать, ни вламываться в чужие дома; он, будучи человеком начитанным, сочинял стихи, трактаты об общественных нравах, а также на всякие иные темы: о мире животных, геологии, астрологии. Его характер для большинства бродяг оставался загадкой. Он не искал их общества; они же приходили в его пещеру, расспрашивали о разных вещах, особенно о болезнях и о благоприятных днях, или просили совета. Он получил неплохое образование, копировал произведения любимых поэтов, чисто писал иероглифы. В этом высоком спокойном человеке через каждые несколько месяцев происходила разительная перемена. Те, кто часто

приходил к нему, подмечали соответствующие признаки заранее: он уже не слушал их так терпеливо, как обычно; в его скромном жилище, как правило чисто прибранном, вдруг воцарялся кавардак. Сам он объяснял, когда к нему приставали с расспросами, что сейчас очень занят собственными делами – именно в эти дни; и просил, чтобы на него не обижались: позже он непременно подумает об их проблемах и предоставит им все нужные сведения. Потом наступал период, когда бандиты в течение нескольких дней хохотали не переставая, буквально до упаду. Потому что почтенный ученый муж, перепачканный с ног до головы и одетый в какие-то отрепья, карабкался по горным тропам, навещал в таком виде своих знакомых, извергал на них потоки высокопарных невнятиц, пересыпанных гнуснейшими непристойностями (которые в другое время никогда не решился бы повторить), – и сам при этом смеялся так, что лицо его покрывалось тысячью мелких морщинок. В период таких блужданий, когда он не позволял себе никакого отдыха и спал не больше двух часов в сутки, но при этом нисколько не уставал, сухопарый безумец время от времени прятался при лунном свете за какой-нибудь скалой у поворота дороги, потом с воплями атаковал целые караваны – и нередко обращал их конвойных в бегство; или с радостными возгласами сталкивал в пропасть одинокого паломника, после того, как долго крался за ним, корча злобные гримасы; или скотски куражился в больших торговых селениях над женщинами и детьми. Через пару дней после подобного приключения он уже вновь сидел в своей пещере и показывал гостям полученные ссадины и шишки. Поначалу он хвастался такими ранениями как священными отметинами, но потом быстро возвращался в привычную колею, возобновлял ученые занятия, и никто – если не хотел подвергнуть себя ужасной опасности – не смел напомнить ему об отошедших в прошлое сумбурных днях. Влияние двух этих одиночек на прочих бандитов было незначительным; друг с другом они почти не общались; остальные же считали их опасными чудаками, которых невозможно привлечь ни к какому общему делу.

В жарко натопленных комнатах захваченного селения бродяги часто заводили разговор о Ван Луне: он казался им человеком, окутанным тайной. Его долгие пребывания у «колдуна» Ма Ноу пугали их; все они полагали, что за этими визитами что-то кроется. Ван определенно был одним из преследуемых, из тех, кто нигде не находит для себя покоя. Горбун, живший с ним в одном доме, однажды за общей трапезой высказал такое предположение: «С этим Ваном в Шаньдуне что-то произошло, и теперь он хочет научиться заклинать духов, чтобы кому-то отмстить. Ведь есть же в горах Ляньфушань человек, который поймал и запечатал в кувшинах демонов всей провинции...» Другой поддержал эту мысль: «Ма Ноу уже давно поселился здесь наверху; он знает всех горных духов. Чего еще может хотеть от него Ван?» Горбун: «Как-то раз я увидел Вана у мельничной запруды; он сидел на земле и хлопал в ладоши, держа их на уровне глаз. Зачем? Потому, наверное, что заметил демонов и пытался их раздавить...» Еще один старый разбойник, доверительно наклонившись к нему, ухмыльнулся: «Ван Лунь – ученый. И повсюду что-то таскает с собой. Чему же тут удивляться, если такой человек умеет колдовать? Кто умеет одно, умеет и другое».

Ван под влиянием бесед с Ма Ноу становился все более задумчивым и серьезным. Он понемногу успокаивался. Преграды и завесы, которыми отгораживалось от мира что-то темное, таившееся в нем, пали; он «выравнивал», преодолевал себя, но все это происходило в сокровенных глубинах. Его внутренний излом обнаруживался лишь иногда, случайно: например, в шутках и розыгрышах, которые обескураживали его товарищей; или в многочасовых состояниях полнейшей безучастности; или в мимолетных вспышках злобы и упрямства. Старые бродяги воспринимали его выходки как нечто сакральное; полагали, что такого рода странности подобны судорогам юродивого.

Однажды вечером, уже к концу их пребывания в Бадалине, Ван, продрогший на морозе, вернулся в горницу; он смеялся, мычал, подпрыгивал, чтобы скорее согреться. На сугробе свежего, совсем свежего, только что выпавшего белого снега – пусть

они напрягутся и вообразят себе это! – он нашел большой кожаный кошель с императорской военной печатью; и когда схватил его, ощутил в руке звонкие золотые монеты. Ван бросил черный кошель на стол. Десять бритых голов с косичками на затылках сдвинулись, поднялся радостно-испуганный ропот. Один из бродяг тут же запустил руку в мешочек – и отдернул, по локоть запачкавшись угольной пылью; другой действовал осторожнее, но и с ним приключилось то же самое. Как и еще с двумя. Бандиты смущенно переглядывались через стол, на котором горел масляный светильник, натужно молчали, подмигивали друг другу, кивая на верзилу Вана, который невозмутимо стоял у теплой лежанки, опять переглядывались, отряхивали с рук уголь. Толстяк, выделявшийся среди других светлым оттенком кожи, поднес кошель к уху, встряхнул, прислушался. Те четверо, что пытались нащупать монеты, тоже притиснулись поближе, вытягивая шеи. Толстяк бросил кошель на стол, отодвинулся, смущенно пробормотал, не глядя на Вана: «Ему, наверно, виднее... Вану то есть». Бедняга настолько растерялся, что не сообразил поступить так, как сделал после небольшой паузы Горбун: тот, не дотрагиваясь до кошелька, попросил Вана показать им императорскую печать и объяснить, принадлежала ли она Цяньлуну или кому-то из прежних государей. Если же Ван не хочет показывать им печать, пусть хотя бы на словах опишет ее (а заодно и золотые монеты). Они, конечно, испуганы, очень испуганы, и сам он тоже, а все-таки они бы охотно послушали и потом пересказали другим.

Верзила Ван между тем давно перестал улыбаться. Его лицо принимало все более тревожное выражение, на левую штанину попал уголек, но он этого не замечал, как не чуял и едва заметного запаха гари. Медленно, очень неуверенно он переходил от одного человека к другому, каждого за руку притягивал к светильнику, с тревогой заглядывал в лицо: «Что такое? Что? Что у вас на уме?» Обойдя стол, оперся обеими руками о край, со всех сторон осмотрел кошель, наклонился и боязливо провел по нему пальцем. Потом обхватил его левой рукой, унес в соседнюю комнату, по пути бросая недоверчивые взгляды на

товарищей, будто опасаясь, что они его ударят. За ним тянулся тонкий след угольной пыли. Дверь в комнату Ван запер на засов – и уселся на полу в этом тесном помещении, заполненном кувшинами, пустыми бочками, сельскохозяйственными орудиями; он повертел в руке деревянную мотыгу, осторожно положил ее рядом. Потом поднял почти опустевший кошель, держа его на обеих ладонях, к своему мокрому от пота лицу и уронил голову на колени. Стуча зубами, громко проговорил, так что в соседней комнате услышали: «Да что же это? Чего они от меня хотят?» Одежда липла к его рукам и ногам. Он встал, увидал дырку на штанине. И тут на него напал такой оглушающий ужас, что он закружил по комнате, осматривая доски у себя под ногами, ощупывая руками пол, простукивая стены.

Затем застыл, выпучив глаза, вжавшись ссутуленной спиной в угол, скрестив на груди руки в складчатых рукавах, и задумался о том, что же с ним происходит. Внезапно все в нем утихомирилось. Он спокойно прошел среди разбросанного по полу хлама к раскрытому окну. Дул резкий ветер. Ван Лунь высунул голову в темноту, но не сознавал, на что смотрит. Маленькие дома казались такими же далекими, как темное небо. Он смотрел на все это с недоумением.

Он плотнее закутался в халат, втянул голову в плечи, вернулся в соседнюю комнату, где пятеро бродяг сидели вокруг стола и играли в шашки. Их поразила неподвижность его взгляда, отсутствие какого-либо выражения на лице. Он остановился возле стола. Тихо сказал Горбуну, приобняв его за плечи и не поднимая глаз, что хочет пройтись по селению.

И, выйдя из дому, пошел по пустой улице; потом повернул к холмам. Побежал, пробивая грудью черноту ночи – скорлупку за скорлупкой, чешуйку за чешуйкой. Прежде чем он сообразил, что́ с ним, его руки уже раскачивались как деревяшки, а изо лба вырос серп, которым он рассекал ночь. Он прыгал по утесам Шэнъ-и. Его тело двигалось, ничего не ощущая; он мчался вперед, все так же ровно дыша, оседлав собственные пружинистые ноги. Он радовался тому, что нечто увлекло его за собой и теперь скачет вместе с ним. По холмам, вверх по скалам. К Ма

Ноу, к Ма Ноу. Тому же, должно, быть, мерещился перестук маленьких копыт серны, которая приближалась к его хижине, выбираясь из тенет разлегшейся на горе Ночи.

На небе еще ничто не предвещало наступления утра, когда Ма Ноу услышал, как произнесли его имя, и спустился с крыльца.

Масляная лампа с плохим фитилем тускло освещала комнату. Безмолвно и благостно сидели будды в глубине хижины: мочки ушей, спускающиеся до плеч, синие волосы, собранные в пучок, томные взоры, расплывчатые улыбки на упругих губах, округлые гладкие бедра. Ван распростерся, коснувшись лбом земли, перед тысячерукой богиней из горного хрусталя – обвинял кого-то, о чем-то смущенно молил. Намеревался так и лежать здесь, не трогаясь с места. Проговаривать вслух, запинаясь, все, что с ним произошло.

«Случившееся с Су Гоу – ничто по сравнению с этим. Су Гоу зарубили саблями у маленькой стены. Его схватили и отправили куда-то за реку Найхэ*. Меня же они заманили к себе, околдовали, не дают уйти. Они хотят приручить какого-то демона в моей груди, этого хочет Горбун, все этого хотят. Я не причинял им зла, не допускал ссор. Если бы не я, многих уже не было бы в живых. Я шел себе по улице. В моем кошельке лежал уголь. Что я могу поделать – уголь и больше ничего. А уголь – не золото и не печать. Откуда бы там взялось золото, как бы попала в простой кошель императорская печать? Почему они требуют от меня этого? Они не должны этого хотеть; не должны этого хотеть. Они обязаны отпустить меня; я им ничего не говорил о кожаном кошеле. Я – Ван Лунь из Хуньганцуни. Я – убийца; ни один судейский крючкотвор мне теперь не поможет. Но я не позволю, чтобы меня науськивали, как собаку. Вы должны мне помочь – вы, пять богов; Ма Ноу, помоги же мне; помолись со мной; помоги мне их одолеть!»

Он привстал на колени, обхватил грудь Ма Ноу, только что распростершегося на полу с ним рядом. «Или я уже околдован? Скажи, Ма? И тогда поздно что-то исправлять, не правда ли, слишком поздно?»

Отвернувшись от будд, он плакал и протяжно стонал, разжимал и вновь стискивал кулаки. «Что теперь будет, Ма Ноу? Что будет с Ван Лунем? Злые духи овладели им. Ван Лунем овладели злые духи».

Ма Ноу отодрал от себя скрюченные пальцы Вана, дал ему соскользнуть на землю, набросил поверх своего лоскутного одеяния желтую накидку с красной каймой, надел четырехугольную черную шапочку – «крышу жизни», ударил по палочке-погремушке, потряс трещоткой. Свистящие слова, которые он из себя выталкивал, тонули в дребезжании жести; и пока он выкрикивал проклятия в адрес омерзительных божественных змеев – *нагов* или *лу*[*] – и их царей, пока, изгнанные звуками трещотки, выпархивали из круга птицы-гаруды[*] – зеленокрылые гаруды с красными женскими грудями, с белыми животами, и у каждой на черной птичьей головке торчало по два рога, – пока он, Ма Ноу, все это проделывал, сердце его трепетало от счастья. Он танцевал, в упоении грез, вокруг Вана, который сидел на полу, опустив голову; он понял все, что говорил Ван; он наклонялся, гладил Вана по плечам, по темени – и ему хотелось, вместо того, чтобы нашептывать заклинания, рассмеяться. Ван же думал об отце и матери, о том, как его мать заснула, когда отец под тявканье собак прыгал в тигровой маске и, наклоняясь над ней, лежащей, что-то хрипло бормотал. Внезапно Ван почувствовал холод под мышками, у него замерзли колени и пятки.

Перед глазами все плыло; он лежал, вытянувшись на полу. Ма навалил на него ворох одеял, потушил свет. Белая лучезарность просачивалась сквозь заклеенное бумагой окно. Что-то скреблось и царапало ступеньки по ту сторону закрытой на засов двери: не иначе как когти и клювы голодных ворон. Кто-то легко взбежал на крыльцо, прокрался, будто шпионя, по низкой крыше, проворной куницей шмыгнул вдоль балок – и исчез. То и дело где-то вдали раздавался треск; затем следовали далекие толчки, скользящие шорохи, глухие звуки падения. Это приходили в движение, катились вниз и обваливались в ущелья снежные глыбы.

Ма Ноу – в серно-желтой накидке, с красным шарфом, в четырехугольной шапке на бритой голове – наконец распахнул

дверь. Гул реки ворвался в комнату с застоявшимся воздухом, где уже умолкла трещотка. Слепящую белизну забрасывала через порог зима. Ма насвистывал, булькающе бормотал. В руке он держал большую чашу для подаяния, наполненную зернами и крошками хлеба. Вороны возбужденно закаркали. Он, резко засмеявшись, отогнал назойливых птиц. Далеко от крыльца, на засыпанную снегом дорогу полетели твердые частички пищи.

ХОТЯ Ван уже в первый вечер начал проявлять беспокойство, Ма Ноу удерживал его у себя больше трех дней. Утром четвертого дня к ним постучались гости: пятеро разбойников из захваченного селения. Они разыскали Вана и принесли неприятное известие: их предали; вчера после полудня тридцать всадников, присланных из окружной управы Чжадао, во главе с силачом Ба Цзуанем ворвались в село. Они, разбойники, с помощью поддержавших их крестьян отбились и даже ранили одну лошадь – но все равно не смогли воспрепятствовать тому, что солдаты схватили четырех старых бродяг, перекинули их через спины лошадей и увезли с собой. Когда разбойники заметили, что их товарищи похищены, всадники уже скакали галопом и, оборачиваясь на ходу, стреляли из луков. Бандитская братия торопится покинуть эти места, рассказывали гонцы. Да и жители селения, повидавшие в своей жизни всякое, просят ускорить сборы, ибо иначе плохо придется всем – и бандитам, и крестьянам. По дорогам уже можно пройти, погода терпимая, весна ожидается стремительная.

Из тех пятерых гонцов, которых послали к отшельнику Ма Ноу, трое были друзьями Вана еще по мельнице. Они относились к числу самых опытных и надежных членов банды.

Уступив настойчивым уговорам Вана, все пятеро остались в хижине еще на полдня.

Вану никак не удавалось овладеть собой. В растерянности от своих противоречивых желаний он подошел к раскаленной жаровне, над которой висел на дубовой рогатине котелок. Широкое лицо Вана от жары будто съежилось. Он неловко повернулся и разлетевшимися рукавами задел золотых будд,

обращавших свои пленительные, мерцающие, радужные лики к Ма Ноу, который молча ловил их взгляды, к страннику Вану, к сидевшим на корточках пятерым бродягам – те сдвинули головы и, прихлебывая чай, неспешно сравнивали преимущества и недостатки разных окрестных мест. Бродяги, закутанные в драные халаты и платки, казались тюками, плотно набитыми человеческой плотью.

Ван, шатаясь от нахлынувших на него чувств и от невыносимого жжения в груди, спустился по ступенькам, и его раскосые узкие глаза на секунду прищурились, ослепленные сияющей белизной. Он стоял у обочины горного тракта. Из речной долины выползали волокнистые сгустки тумана. Увлекаемые круговертью ветра, они, змеясь, быстро поднимались вверх, распускались широким шлейфом над Ваном, над уходившей вдаль дорогой. Река шумела на перекатах, и этот шум был неправдоподобно близким. Ледяная вода кипела в каменном русле, над ней клубился пар. Лишенные мускулов мягкие руки метели тянулись к небу.

А в маленькой – в рост человека – хижине, укрытой под скалой, совещались люди. Среди них выделялся Ма Ноу с поблекшим худым лицом, в пестром лоскутном одеянии, с убранной в узел косой: вежливый, сдержанно-снисходительный, но втайне пыжащийся от гордости, возбужденный и исполненный ожидания. Ван, ссутулясь, сидел, как и все, у печки и непрестанно переводил взгляд с одного лица на другое.

Он начал говорить, взмахнул руками, будто заклиная друзей: «Четырех наших стариков забрали солдаты – их бросят в тюрьму, им отрубят головы. Они не могли бежать так быстро, как вы. Одного из них, хромого, я сам тащил на спине, когда мы спускались с горы. Им никто не поверит, когда они станут рассказывать, как отчаянно мы бедствовали и как лютовал мороз. Хромой – тот-то знает, что почем, ведь ногу ему сломал в драке лодочник. Ему сильно не повезло, его зароют в неблагоприятном для покойников месте, его дух будет просить подаяния, голодать, как и при жизни, мерзнуть. Он еле ковылял на своей укороченной ноге, тогда как у солдат были лошади. У нас

отнимают все. Нам приходится мерзнуть в опустевших горах, вместе с нами тогда снялись с места даже воро́ны, никто больше не находил себе пропитания, не было караванов, дававших нам пищу. А теперь у нас забирают наших несчастных братьев. Горе нам!»

Так жаловался Ван Лунь, заглядывал в печально поникшие лица, страдал. Внезапно к нему вернулись страх и чувство своей отчужденности. Он отвернулся, сглотнул, потому что в горле образовался комок. Усилием воли протолкнул этот комок вниз, поднес озябшие потные ладони к огню. *Они* ничего плохого ему не сделали, *они* ничего от него не хотели; поговорили – и будет, он даже не собирается задавать *им* вопросы. Жизнь – тяжелая штука. К тому же что-то сверкало перед его глазами; сперва ему показалось, что это – разлетевшиеся от очага искры; потом все быстро соединилось в одну картинку: пять сабель и маленькая побеленная стена.

Широкоплечий старик, один из гонцов, – крестьянин, чью землю вместе со всеми домочадцами смыло наводнением, – не утратил решительности, пока слушал сбивчивую речь Вана: «Мы должны спасти наших братьев. Если ты, Ван, сам, на своих закорках, притащил Хромого в село, то тем более обязан его вернуть. Были бы у нас лошади и луки, как у солдат, ничего подобного не случилось бы. Глава окружной управы в Чжадао – по слухам, умный человек, родом из Сычуани. Но только он слишком хорошо образован, чтобы слушать разбойников с перевала Наньгу. Давайте, скажите свое мнение вы – Чу, Ма Ноу, – нам надо откровенно все обсудить».

«Этот Лю, глава окружной управы в Чжадао, – вмешался сидевший рядом гигант, молодой человек с удивительно светлой кожей и большими проницательными глазами, – действительно приехал из Сычуани, и все же даже я, ничтожный Сю, знаю, где он раздобыл свои денежки. В канонических книгах он их отыскать не мог: за знание песен из “Ши цзин”* золотых позументов не получишь. Я однажды услышал о большом городе Гуанъюань – когда странствовал по горам Даба. Там в *ямэнь* окружного префекта прибыл курьер от наместника Сычуани; и

потребовал ввести новые налоги на то-то и то-то, в связи с военными нуждами. Так вот, ничтожный Сю знает ответ, который сиятельный Лю послал высокочтимому наместнику: потому что подкараулил на дороге возвращавшегося домой курьера, чтобы разжиться какой ни есть мелочевкой, прежде чем входить в такой большой город. Лю, заботясь о своем городе, словно был для него родным отцом, отказался облагать Гуанъюань налогом: "Город слишком беден, в нем свирепствует черная оспа, рис так дорог, что недоступен для простолюдинов". Однако когда через два дня, восхищаясь такой любовью чиновника к своему округу, я вошел в этот счастливый город, к каждой стене уже был приклеен длинный бумажный лист, скрепленный печатью сиятельного Лю, с объявлением, написанным ясным и исполненным достоинства языком. Сперва слово предоставлялось могущественному наместнику: "Сын неба воюет с тем-то и с тем-то..." А дальше говорилось о новых налогах на то-то и то-то – каждому предстояло внести свою мзду, каждому человеку и каждой гильдии. Добрые люди в одночасье узнали, сколь ценно все, заключенное в пространстве между их стенами: и то, и другое, и третье... Они радовались и восхваляли Лю, который позаботился о возвышении их города, возвеличивали его родителей вкупе с предками и три года платили экстренные налоги – в личную мошну Лю, мудрого окружного начальника»*.

Светлолицый так громко расхохотался, будто был пьян. Ма строго посмотрел на него; но Ван понял, что этого Сю все равно не призовешь к порядку. Кто-то рядом с Ваном толкнул локтем своего соседа, чье лицо раскраснелось от горячего чая, и шепнул, чтобы тот высказался перед всеми – мол, так будет лучше, чем браниться на улице под чужими окнами.

Ваном опять овладела печаль, которая железной хваткой вцепилась в него и пыталась утопить в темной болотной трясине. Он задыхался. Все, что здесь говорили, было фальшью.

И пока двое рядом с ним продолжали спорить о чем-то, сопровождая свои слова неуверенными жестами, а Сю самодовольно и во весь голос выкладывал очередную историю, Ван начал жаловаться, потянул Ма Ноу к себе, заставив его тоже

усесться на полу. Он заговорил беспомощно и отрывисто, повернул голову, губы его дрожали: «Ма, оставайся здесь, со мной. Не возбуждайтесь так, дорогие братья. Сю, ты молодец, ты все говоришь правильно. Я не буду долго вам докучать, мне просто кое-что пришло в голову, пока Сю рассказывал об окружном *даотае* из Гуанъюани в провинции Сычуань – том самом начальнике, чьи люди захватили четырех наших. Мы, конечно, не бросим их в беде, мои дорогие. Зря вы подозреваете меня в столь дурных намерениях. Мне лишь припомнилось кое-что, случившееся в Шаньдуне, когда я жил в Цзинани, большом городе, и служил у одного бонзы; его звали Доу Цзэнь. Вы его вряд ли знаете, но он – хороший человек, он много мне помогал. Там у меня был друг – его тоже убили. Я хочу рассказать вам об этом друге, Су Гоу, так его звали. И тогда вы поверите, что я не оставлю четырех наших братьев в руках *даотая*. Разве я мог бы – после случившегося в Цзинани, после того, как там убили моего друга Су Гоу? Он был почитателем западного бога Аллаха, который как будто заботится о своих приверженцах. Однако в Ганьсу начались беспорядки, когда эти люди вдруг пожелали молиться вместе, и племянник Су Гоу первым прочитал вслух отрывки из старой книги, и его порубили на куски вместе со всей семьей. Потом в Цзинани власти разыскали моего друга, а он был очень достойный, рассудительный человек и мог с честью выдержать величайшие испытания. Но судьбе не прикажешь. Моего друга снова схватили – уже после того, как я вызволил и его, и обоих его сыновей. Он думал, что ничего плохого ему не сделают, он собрался бежать, но сперва хотел расплатиться с кредиторами, и продать свой дом, и посоветоваться с муллой насчет благоприятного дня. Но тут раздалась барабанная дробь. Некий презренный варан (он же – белый тигр, он же – худосочный *дусы*) нанес ему сзади удар рукоятью сабли: прямо рядом с домом моего друга, у маленькой побеленной стены. И потом, когда мой друг обернулся, они его зарубили пятью саблями. Не смейтесь: в тот миг я ничего не мог сделать. Его дух, только что выпорхнувший из него, вероятно, вселился в мою печень, потому что после того убийства я много дней был вроде как одержимым.

И случилось это в Цзинани – со мной и моим другом. *Дусы* уже нет на свете, можете мне поверить. Но это безнадежная затея – пытаться перейти через реку Найхэ: *они* всегда возвращаются и что-то у нас отнимают. *Они* не дадут нам ни мира, ни покоя. *Они* хотят и меня, и вас, и всех нас полностью уничтожить, лишить жизни. Что же нам делать, дорогие мои? Я, ваш друг Ван из Хуньганцуни, уже ослаб плотью, стал смердящей трухой. Я могу только плакать и сокрушаться». Ван сидел перед Ма Ноу, как больной ребенок; натужно – со стонами, хрипами и всхлипами – работала его грудь.

У него текло из глаз и из носа; его широкое обветренное лицо вдруг сделалось совсем маленьким и женоподобным. Он прислонился к плечу Ма Ноу, впав в подобие беспамятства.

Он не лгал, когда рассказывал о Су Гоу. Ван, уличный бродяга и зазывала, встретился с этим магометанином случайно, в своей гостинице. Серьезная и спокойная натура нового приятеля произвела на него огромное впечатление. Она привлекала Вана даже сильнее, чем – в сутолоке городских будней – казалось ему самому. Но вскоре у него возникло смутное чувство, будто здесь кроется нечто роковое, нечто настолько глубинное, что лучше даже не вникать. Поэтому он редко встречался с Су Гоу и его сыновьями; когда же все-таки разговаривал с ними, то только на будничные темы. Потом Су Гоу арестовали, что и заставило Вана со страхом осознать, как сильно он привязался к этому человеку. Он так и не понял, какого рода связь образовалась между ним и магометанином; только заметил, что необычайно взволнован и неизвестно почему принимает живейшее участие в судьбе Су. Вана угнетало ощущение, что посягнули на него самого, на что-то в нем – пугающее и глубоко сокровенное. И встревожила его не бесцеремонность посягательства, но собственный ужас перед этим сокровенным, которое вдруг сделалось явным и которое он не хотел видеть, во всяком случае, не хотел видеть сейчас – может быть, позже, гораздо, гораздо позже. Пять сабель и маленькая стена соединялись перед его внутренним взором в одну картину – снова и снова, каждую минуту, каждый час; он не мог этого вынести, должен был поскорее это

прикрыть, закопать. И потому идея мести за Су сперва возникла как нечто абстрактное, навязанное ему. Только когда, оказавшись в комнате бонзы, Ван взял в руки оленью маску, когда под воздействием запаха оленьих рогов ожили воспоминания о былых проделках – о «собачьих гонках» на рыночных площадях, о лазании по крышам, – только тогда он впервые с уверенностью осознал, что действительно убьет ненавистного *дусы* и что маска поможет ему всё скрыть. Эта мимолетная мысль тогда осчастливила его и придала уверенности: всё скрыть. Он пытался обмануть себя относительно будущего, которого стыдился и которое его пугало. Казалось, не было никакой необходимости, чтобы наутро он выбрался из кумирни и побежал на площадь: ночью он уже десять, если не пятнадцать раз задушил *дусы*, прикрываясь маской, – все самое главное уже состоялось. Но он все-таки побежал; он должен был побывать на том месте, чтобы оно отпечаталось в его сознании. И в результате произошло реальное убийство: как жертва, которую он принес самому себе. Так Ван отмстил за магометанина, своего друга.

Резкий и будничный голос человека, который прежде толкнул в бок соседа Вана, вдруг перекрыл перешептывания, гневные и угрожающие реплики. Человек крикнул, что тот, кто сидит ближе всех к дверям, должен обойти вокруг хижины – посмотреть, нет ли снаружи посторонних; после этого он будет говорить. Когда дверь распахнулась и долговязый парень, сначала, вытянув шею, выглянул во двор, а потом скрылся за порогом, в хижине на минуту воцарилась тишина, и все услышали шум реки, шелест обваливающихся снежных глыб. Парень вернулся, ухмыляясь: он, мол, и вправду обнаружил нечто «постороннее», но не живое, а мертвое. И вытащил из-под полы халата серо-бурую дохлую виверру. Ма Ноу вздрогнул от отвращения; он хотел было выставить недоумка за дверь, но, увидев серьезные лица остальных, сдержался, только возбужденно втянул ноздрями воздух.

Человек с седой бородкой – тот самый, что послал парня на разведку, – поднялся со своего места у печки и, подойдя к двери, загородил ее спиной; затем заговорил тихо, но отчетливо, то и

дело странно взмахивая руками, будто ловил мух. Еще он время от времени пощипывал бороду. Его старческое лицо с мешками под глазами казалось полным жизни, как мордочка урчащего кота. Дряблая кожа ничуть не мешала игре переменчивых гримас; она собиралась в складки, блестела, волнами перекатывалась по круглому лицу с массивной нижней челюстью. Человек часто клацал зубами, высовывал кончик розового языка, горбил запакованную в ватную куртку спину, сгибал то одно, то другое колено. О нем знали, что он без какой-либо видимой причины бежал из родных краев и стал презренным бродягой. Уже много лет он обретался в горах Наньгу, честно зарабатывая себе на жизнь разного рода подсобными работами в окрестных селениях. Люди из его родного города, которых любопытствующие расспрашивали о нем, сообщали, качая головами, что он непонятно почему вдруг бросил все свое имущество. Они были убеждены, что старик боялся раскрытия какого-то преступления, но оно в итоге так и не было раскрыто; над этой историей они много потешались и через нее пытались объяснить его натуру – таинственную, внушавшую им страх.

Чу начал свою речь, очень тихо: «Поскольку у двери никто не подслушивает, ваш покорный слуга будет говорить. О таком следует молчать, высокочтимые господа, – но молчать не из страха или озабоченности, ибо, думаю, сие было бы странно для людей, у которых нет никаких забот, а по другим, вполне определенным причинам. У вашего покорного слуги Чу имеется много причин, чтобы говорить тихо, предварительно закрыв на засов дверь, и ежели высокочтимые господа спокойно выслушают его и с ним согласятся, они тоже, как и он, будут говорить тихо. У меня сохранились надежные связи с Бошанем в Шаньдуне – городом, где я родился, где мой племянник и мои братья по сию пору управляют моим имуществом. С тем, что пережил наш любимый брат Ван, как и с тем, что пережили жители Гуанъюани, мне и моим родичам приходилось сталкиваться множество раз. Всякое случалось с нами, одно, как говорится, лучше другого, да только стоящий перед вами неразумный отрок не хочет болтать об этом в присутствии тех, кто знает больше него.

Прикиньте: как часто в богатых южных провинциях Желтая река выходит из берегов, и как часто море белогрудо бросается на землю, подминая под себя и дома, и взрослых, и детей? Как часто тайфун проносится над многолюдными берегами или танцует на поверхности Желтого моря, и все джонки, лодки, большие парусники, будто у них внезапно выросли ноги, пускаются вместе с ним в страшный варварский пляс? Я, неразумный отрок, не буду даже упоминать злых демонов, насылающих на поля неурожаи, которые приводят к голоду. Но задумайтесь: люди тоже подражают великим стихиям, и кто уже стал большим господином, стремится стать еще бóльшим. И вот сыны человеческие носятся туда и сюда по всем восемнадцати провинциям, а те из них, что облечены властью, обрушиваются подобно темным морским волнам на плоскую, заботливо обработанную землю, сминая тяжестью своих упитанных тел и рис, и другие полевые злаки. Бывают и такие владыки, что, словно мрачные песчаные бури, кружат над целыми городами и многолюдными селениями, увлекая в свое вихреобразное кружение столько же песчинок, сколько человеческих жертв, – а все свидетели подобных катаклизмов от ужаса забывают дышать. Однако сильнее всего ярится весеннее половодье, уже очень давно излившееся на драгоценную пашню, на благоуханные сады Срединной империи, в которых оно обрывает и листья, и цветы. С севера пришло это половодье, затопившее плодородные нивы и городские улицы. Оно оставило грязь и острые камни на наших тучных полях, погубило мирные города, но смеет именовать себя *Да Цин*[*], "Великой и безупречной династией". О немто я и хочу вам поведать».

Ван уже давно распрямил спину и смотрел на старика во все глаза, устроившись в аккурат напротив него. Другие тоже вытягивали шеи, пододвигались ближе; жилы на их висках вздулись; они неотрывно глядели на Чу, захваченные его рассказом.

«Я не стану подробно излагать эту историю, потому что высокочтимые господа и сами все знают. Когда тигр рычит, его дыхание разносится по долинам. Маньчжуры, жестокосердные татары, которые со своих северных гор, преследуя лисиц,

вторглись на нашу слабую землю, не будут властвовать над нами до скончания веков. Наш народ беден и слаб, однако нас очень много, и мы переживем даже самых сильных. Вы знаете, что́ делают жители морского побережья после того, как прошли семь спокойных лет, миновало время дождей и северо-западных ветров, и несчастье уже случилось, – знаете, что́ они делают, если остались в живых? Они строят дамбы, дни и ночи напролет забивают сваи, заполняют пространство между ними глиной, гибкими прутьями, соломой, сажают ивы. Разве умные люди сочтут меня невеждой, если я, оказавшись в чужом доме, спрошу их, какие дамбы они построили, чтобы уберечься от весеннего половодья и согнать со своих полей лишнюю воду? Ведь даже бедняки долго, помаленьку таскали в ладонях глину; воровали, где придется, пучки соломы, когда никто их не видел; втайне сажали хрупкие ростки ивы и потом защищали их от ветра. По всей стране незаметно выросли стены и дамбы со шлюзами и водостоками, которые мы перекрываем, когда приходит нужный момент: и тогда вода уже не может вернуться к морю, но и не затопляет землю; разжигая и поддерживая огонь, мы постепенно даем влаге испариться, как поступают те, кто выпаривает соль, – и злаки опять выходят на поверхность. Я родом из города Бошань; там у нас нет таких плодородных земель, как на желтой, изобилующей песком реке; зато у нас издавна растет среди кострищ цветок, укрытый от посторонних глаз, но хорошо защищенный: Белый Лотос».

Ни один из мужчин уже не сидел на полу, все повскакивали со своих мест; «Белый Лотос!» – возбужденно восклицали они, окружив Чу, и радостно хлопали его по рукам, кареглазо заглядывали в лицо. Их восхищало неожиданное превращение безобидного Кота в нечто совсем, совсем иное. И они смеялись, каждый по-своему: тихо и удовлетворенно; или вызывающе, с козлиным блеяньем; или как звучит сигнальный рожок – звонко и торжествующе; а в булькающем хихиканье Ма Ноу чувствовалась неуверенность. Губы увлажнились, рты наполнились слюной. Ягодицы согрелись от долгого сидения в теплой комнате. Животы мягко колыхались.

«Мы, высокочтимые господа, собрались здесь, чтобы посовещаться. Каждый может высказать все, что у него на уме. Ван сейчас рассказал нам, что́ произошло с ним и с честным Су Гоу в Цзинани. Я сам родился недалеко от Цзинани, в городе Бошань. Но я не стал дожидаться, пока какому-нибудь ловкому другу придется мстить за меня, а может, такой друг и не отыскался бы. На задворках моей улицы тоже есть маленькая побеленная стена, которая предназначалась для меня. Безжизненная рука Сына Неба* уже начертала красный круг смерти вокруг моего имени. Приговор, потребный для того, чтобы навсегда замкнуть мои уста, уже был готов...»

Старик собирался продолжить, но Ван ему помешал. Схватив за плечо, усадил рядом с собою на пол. Погладил его щеки и узловатые руки, предложил горячего чаю. Чу отпил глоток, щелкнул нижней челюстью, покрасневшими глазами уставился в пространство – в ушах у него звенело.

Бродяги, опустошенные яростью, теперь плакали, освобождаясь от последних остатков внутреннего балласта. Их руки метались, будто попали в водоворот. У каждого горячий комок гнева проскальзывал вниз по горлу, натыкался на жестяную мембрану и, дребезжа и вибрируя, вновь вылетал наружу. Они казались себе выставленными напоказ, обнаженными вплоть до кровеносных сосудов, до изнанки легких, потому что Чу решил их загадку: они были изгоями, жертвами; но у них имелся конкретный враг, что и делало их счастливыми, несмотря на бурлившую в них ненависть.

Тогда-то Ма Ноу и потерял себя окончательно, предавшись душой и телом Вану. Ма перехватывал каждый темный, сострадательный взгляд Вана, чувствовал, как его друг старается привлечь к себе этих озлобленных зверей, видел, как он их успокаивает, целует; и внутри него, Ма Ноу, внезапно лопнула какая-то струна. Что же произошло? В нем не нашлось осмысленного ответа. Да и при чем тут вообще он?! Или – настоятель монастыря, будды, небеса блаженства?! Всякое сопротивление, противодействие разом утратило смысл. Вот у бродяг подрагивают губы; но их переживания не имеют значения по сравнению с тем, что

происходит в Ване. Озноб. Стальная отстраненная уверенность, рвущаяся изнутри наружу. Дать себе упасть – не почувствовав головокружения – в бездну. Опуститься легким перышком к ногам Вана.

Ван молча, с печалью обихаживал старика. Он мысленно видел их всех бегущими – с ножами, зажатыми в зубах – вниз с горы. Они от него ускользали.

Он начал говорить лишь тогда, когда они забеспокоились, заметив, что лицо его изменилось, приобрело отсутствующее выражение. Лицо с еще не высохшими слезами. Ван устало бормотал, часто вздрагивая: «Все это ни к чему не приведет. Будет тянуться бесконечно, даже если мы численно умножимся в десять или в сто раз. Кто мы такие? Мы сто́им меньше, чем прежние друзья Чу, сам же Чу сейчас сидит среди нас и массирует больное сердце. Мы – сборище нищих с гор Наньгу. За убийством последует новое убийство...» Молодой пройдоха, который недавно рассказывал о Гуанъюани, перебил его. Голос этого человека, прежде жестко-насмешливый, теперь был взволнованным, гибким, сердитым. Их с Ваном борьба выражалась, между прочим, и в том, что каждый пытался заставить другого отвести взгляд. Они, объяснял противник Вана, вовсе не никчемные нищие. Кто пережил то, что пережили они, – уже не простой бродяга. Да, правда, они – бедные изгои, почти утратившие способность сопротивляться, доходяги, которым в зажиточных домах дают глотнуть воды, а потом пинком отгоняют прочь – чтобы не окочурились тут же на пороге. Четверым их братьям уже пришел каюк, скоро наступит черед и остальных. Глаза говорившего гневно сверкнули.

Ван поднялся на ноги, осторожно прошел между сидевшими, поравнявшись с Ма Ноу, быстро обнял его и остановился у задней стены, почти неразличимый во мраке; только когда темный жар угольев вспыхивал ярче, люди замечали, что Ван опустил голову, а его отведенные за спину руки вроде бы прикасаются к одному из будд. Ма Ноу был с ним рядом. Вану казалось, будто он барахтается в бушующем море. А потом: будто, еще мгновенье назад не знавший, выживет ли, он случайно нащупал

край крепкого плота и, навалившись на него всей грудью, теперь окликает других тонущих, сам же, отталкиваясь от воды ногами, уже направляет спасительный плот к берегу.

«Нам никогда не делали ничего хорошего: это наша судьба. Нам и не будут делать ничего хорошего: это наша судьба. Я слышал на всех дорогах, и на полях, и на улицах, и в горах, слышал от старых людей, что только одно помогает против такой судьбы: недеяние. Лягушка, как бы ни пыжилась, не проглотит аиста. Я верю, мои дорогие братья, и намерен держаться за эту веру: что путь мира есть нечто жесткое, негибкое, не отклоняющееся в сторону. Если хотите бороться – что ж, поступайте, как знаете. Вы ничего не добьетесь, и я не смогу вам помочь. Тогда, дорогие братья, я вас лучше оставлю: я ныне порываю с теми, кто живет как в бреду и не желает опомниться. Один старик сказал о таких: их могут убить, их могут оставить в живых, но, так или иначе, судьба их будет определена извне. Пусть смерть проносится надо мной, пусть жизнь проносится надо мной – я не стану придавать значения ни тому, ни другому, не стану проявлять ни нерешительности, ни поспешности. И было бы хорошо, если б и вы поступали, как я. Ибо ничто другое не имеет смысла. Я хочу без желаний и без ощущения тяжести нести и малую, и большую ношу, хочу отклоняться в сторону – туда, где не убивают. И еще я напомню вам о Гуаньинь и других золотых буддах, которых почитает Ма Ноу; они – мудрые, достигшие зрелости боги, и я тоже хочу их почитать, потому что они говорили: человек не должен убивать ничего живого. Я хочу покончить с убийствами и местью – они не помогут выйти из тупика. Не сердитесь, когда я не соглашаюсь с вами. Я хочу быть бедным, чтобы ничего не терять. Богатство бежит вслед за нами по дороге; но оно нас никогда не догонит. Я должен – вместе с вами, коли вы того пожелаете – подняться на другой горный пик, более прекрасный, чем все, виденные мною прежде: на Вершину Царственного Великолепия*. Не действовать; быть как прозрачная вода – слабым и уступчивым; соскальзывать, подобно лучу света, с каждого древесного листа. Так что же вы ответите мне, дорогие братья?»

Они молчали. Чу вздохнул: «Руководи нами, Ван. Делай, что сочтешь нужным».

Ван покачал головой: «Руководить вами просто так я не буду. Вот если вы примете мои желания как свои, тогда другое дело. Но вы должны будете признать мою правоту – прямо сейчас, в этот миг. Вам не придется долго колебаться, и тем, что остались в селении, – тоже, потому что, по сути, никто из вас и не желает ничего иного. Вы только на поверхности кипятитесь, бурлите – как кипятился раньше я сам, дорогие братья. Пойдите за мной. Мы отверженные, и нам надлежит признать это. Как бы слабы мы ни были, мы все же сильнее других. Поверьте, никто не убьет нас, ибо любой клинок, соприкоснувшись с нашими телами, погнется. И я не оставлю вас. Всякий, кто нанесет нам удар, почувствует свою слабость. Я сумею защитить и вас, и себя; я, как предложил Чу, отправлюсь в Шаньдун и попрошу помощи у братьев из "Белого Лотоса". Но я отказываюсь защищать разбойников и убийц. Давайте останемся теми, кто мы есть: слабыми братьями, сыновьями обездоленного народа».

Ма Ноу обхватил громадного Вана за плечи и жарко зашептал ему в ухо: «Я тоже хочу странствовать с тобой; хочу быть одним из тех обездоленных слабых братьев, которым ты обещаешь защиту». Другие сидели тихо, переглядывались. Потом все они – сперва Чу, затем остальные четверо – склонились перед Ваном, коснувшись лбами земли.

ХИЖИНА Ма Ноу опустела.

Воро́ны и большие во́роны прыгали по ступенькам крыльца и через распахнутую дверь проникали в комнату, садились на еще не успевшую остыть печь, клювами раздергивали циновку. Две серые виверры свесили головы с крыши, мгновенно, распластавшись в воздухе, перенеслись на кучу тряпья и принялись в ней копошиться; в лучах заходящего солнца переливалась их пятнистая шерсть. Упитанный ворон раскачивался на пустой полке, посматривал одним глазом, что делается внизу; когда более крупная из виверр, опираясь на стену, привстала на задних

лапах и потянулась вверх, он, испуганно забив крыльями, с карканьем поднялся в воздух и вылетел в раскрытую дверь.

В захваченном селении в тот же вечерний час бродяги подтягивались к дому крестьянина Лэ: одному из четырех домов, окружавших вековой дуб, от которого начиналась улица. На заднем дворе этой усадьбы находился просторный амбар, которым крестьяне обычно пользовались как местом собраний. Открытые двери в длинной стене пропускали внутрь широкие снопы света.

О чем говорили на том памятном собрании – в амбаре, где воздух пропитался запахами гнилой соломы, потной одежды и воловьего помета – можно пересказать в немногих словах. Вана там не было; Ма Ноу не расставался с ним ни на миг за все время их долгого пути, когда они вместе толкали тележку с золотыми буддами и ласково улыбающейся хрустальной Гуаньинь; теперь оба сидели в комнате, заваленной сельскохозяйственными орудиями, и неспешно беседовали.

Ма Ноу будто только что освободился от сковывавшей его цепи; и казался необыкновенно счастливым, неловким, смешным. Прежде свойственная ему раздражительность еще сказывалась в голосе: ему предстояло выдержать борьбу с собственными гримасами, с привычной манерой речи, с внезапными приступами гнева, которые уже потеряли связь с какой бы то ни было конкретной причиной, но с которыми он пока не мог расстаться – как то больное животное, что и весной не сбрасывает зимнюю шкуру. Он остро ощущал свою новую задачу: наблюдать за Ваном; со страхом угадывал угрожавшие Вану опасности; видел, как бы на заднем плане, страх самого Вана перед тем безусловным почитанием, которым его окружили бродяги. Они до наступления ночи оставались вдвоем в темной холодной комнате. Ма Ноу с радостью замечал, что в Ване все более укрепляется чувство ответственности – как отца и руководителя – за доверившихся ему братьев.

А в амбаре между тем пятеро посланных к Ван Луню бродяг рассказывали о своих переговорах с ним и о том, что им предложил Ван. Они сумели повторить это почти дословно. Они

стояли посреди продуваемого ветром сарая; другие теснились вокруг. Сообщение гонцов произвело на всех чрезвычайно сильное впечатление.

Даже новое нападение лучников их бы так не взбудоражило. Некоторые – одиночки, привыкшие действовать на свой страх и риск, – обменивались скептическими замечаниями по поводу «зависимости от нового бонзы»; но вскоре они приумолкли, поскольку чувствовали себя неуютно в окружении более впечатлительных членов банды, которые увлеченно жестикулировали, или неподвижно смотрели в пространство перед собой, или задавали поспешные вопросы, или в задумчивости расхаживали по помещению.

Те пятеро, что побывали в хижине Ма Ноу, излучали непоколебимую уверенность; вокруг них теснились люди, и над этой компактной группой постоянно взлетали возгласы: «Но ведь Ван прав!» Всех гонцов – начиная от старого Чу и кончая тем неуклюжим длинным парнем, который принес в хижину окровавленную тушку виверры, – пристально разглядывали, хватали за руки; каждый страстно желал лично пообщаться с ними, дивился их спокойствию. Вана, который сидел в своей комнате, на некотором отдалении отсюда, и о котором сейчас думали все, сюда не звали; его не хотели здесь видеть; предпочитали, чтобы и он не видел всего этого: их хождений вокруг да около главного, их сомнений, их нерешительности; они боялись, что, явись сюда Ван, его присутствие только внесет еще большую путаницу.

Почти на всех собравшихся план Вана действовал опьяняюще, но они пока сопротивлялись этому дурману. То, что им предлагали, означало коллективное очищение от грехов. Они должны будут, защищая друг друга, странствовать по провинции, просить милостыню, работать, но ни в одном месте не задерживаться надолго, не жить в закрытых домах, не убивать людей; им запрещается причинять кому бы то ни было зло, обманывать, искать мести. Кто хочет, может молиться самым мягкосердным богам – богам из свиты Шакьямуни, которых Ма Ноу и Ван принесли с гор. И в результате все они достигнут чего-то

великого – столь великого, что его и словами-то определить нельзя: глаза пяти посредников сузились от восторга и благоговения. Заметнее всего изменился облик неуклюжего парня: в нем теперь проглянуло что-то деревянное, негибкое; он и говорить стал отрывисто, и вел себя очень скованно, как будто внезапно, погрузившись в себя, почувствовал себя-внутреннего чуждым своей телесной оболочке. Другие наперебой спрашивали, чего же они достигнут, – не с праздным любопытством или иронией, а страстно, взволнованно; однако посланцы Ван Луня отвечали только смущенными улыбками; похоже, речь шла о тайнах, в которые сами они еще не проникли, – или тайны сии были не для человеческого ума. Вопрошавшие наконец замолчали, испуганные и одновременно охваченные предощущением чуда.

Они испытывали чувство возвращения к чему-то родному, но вместе с тем и освобождения от цепи. Люди, которые не умели владеть собой и стали жертвами собственных влечений, – эти холодные и ироничные циники – ранее других увлеклись планом Вана. Они ведь были пустыми внутри, влачили как придется свою переменчивую жалкую жизнь, но относились к ней с добродушием, многим интересовались. Они раньше других поддались новым чарам, потому что не могли ничего потерять или выиграть и потому что вообще ничему не сопротивлялись, ибо их ничто всерьез не заботило. Они вели себя мужественно в ужасных обстоятельствах, были неустрашимыми защитниками и нападающими, и они же оказывались самыми беззащитными, когда сталкивались с любым серьезным и сильным чувством. Такое чувство легко обольщало их; они устремлялись за ним, вымаливая его благосклонность; и впадали в дикую ярость, считая себя обманутыми, если их домогательства отвергались. Они были надежнейшим авангардом всякого, всякого учения. А сейчас слонялись по амбару, натужно упражняясь в острословии. Потому что не могли долго слушать речи гонцов, ибо любое излишество их мучило и пленяло; к тому же они стыдились происходившей в них перемены.

Те счастливчики, которым в свое время удалось бежать от бедствий городской жизни, теперь с волнением услышали, что

их призывают вернуться в города. Они, мол, должны простить обидчикам, вспомнить самих себя. Глубоко озабоченные, они переходили с места на место, вслушивались в слова гонцов, часто оглядывались по сторонам и хмурили лбы. Они чувствовали, что их ненавязчиво к чему-то подталкивают, принуждают. Беспорядочный поток прошлых злоключений вновь оживал перед их глазами; и они испытывали ощущение гадливости, будто увидали ров с копошащимися змеями. Они, значит, должны прощать, никому не причинять зла: что ж, может, это и вправду избавит их от душевного смятения. И они протискивались поближе к гонцам, жадно ловили каждое слово, а в глубине души сетовали на свою участь. В них созревала уверенность, что они будут отмщены, – спасительное чувство, примирявшее их с собой и с другими: они вновь пройдут по знакомым переулкам, теперь – как братья из тайного, внушающего страх союза; но никому не причинят зла. И когда они задумывались об этом, вспыхивало желание вернуться в родные места, они уже мысленно видели себя там; их привлекала роль обвинителя. Им предстояло вернуться – это их воодушевляло; и они теснились вокруг гонцов, прислушивались к каждому слову, тосковали.

А по углам разбрелись угрюмые личности, молодые и постарше; друг с другом они не разговаривали – кусали костяшки пальцев, жевали подобранные с полу соломинки. В такие мрачные группы сбивались парии, ощущавшие себя отверженными даже среди бродяг, к которым присоединились в силу необходимости и среди которых еще больше озлобились. Им могли показать источник, но они, даже умирая от жажды, не осмелились бы тотчас приблизиться к нему, потому что для них это слишком часто заканчивалось побоями; и они с привычной горечью дожидались бы, пока напьются другие, – они, презреннейшие из презренных. Пока что они не поняли, идет ли речь и о них тоже, вправе ли они считать себя братьями других братьев. И только когда острословы, пристыженно улыбаясь, стали подходить к ним, ибо именно с ними чувствовали себя увереннее всего, лица этих несчастных расслабились. Среди тех, кто слушал в амбаре послание Вана, основанное на древнем проникновенном

учении, не было никого беспомощнее и ранимее этих парий. Дотронься иголкой до сердца любого из них, и увидишь, как разом выхлестнется наружу вся кровь. Эти люди были бесконечно запуганы. Под воздействием слов Вана они оттаивали; самые старые из них обнимали друг друга и оглашали гулкий амбар своими рыданиями. С девичьей застенчивостью все они ждали, пока другие первыми приблизятся к ним, и потом еще долго не могли избавиться от робости – обусловленной памятью о прошлом – перед своими новыми братьями. Некоторые, потрясенные внезапной переменой своей судьбы, пробивались через толпу, падали на колени перед гонцами, кланялись им до земли, бормотали какую-то невнятицу. Они впали в экстаз: ибо обрели право быть братьями – слабыми и нуждающимися в защите – тех бродяг, которые прежде вообще их не замечали.

Они – вечно ожидавшие своей очереди изгои – ловили непривычные для них слова и выражения лиц, как собаки ловят налету куски мяса. Они чувствовали, что могут положиться на такого вожака; чувствовали, что с ними обошлись по справедливости и что их будут достойно защищать перед всем миром. Именно они уже давно ощущали теснейшую связь с Ваном и ожидали от него гораздо большего, чем другие; Ван, полагали они, был в большей мере их братом, чем братом всех остальных. Сейчас они словно грезили наяву – и торжествовали.

Ни одного из четырех или пяти людей-хищников, зимовавших вместе со всеми в захваченном селении, на той сходке в амбаре не было. Как только потеплело, эти бандиты поодиночке поднялись выше в горы, разбрелись кто куда, откопали занесенные снегом пещеры или хижины – и затаились, ожидая благоприятного часа.

КОГДА пятеро гонцов поздно вечером пришли в дом к Вану и в теплой горнице – той самой, где разыгралась странная сцена с кожаным кошелем, – стали рассказывать ему о собрании, Ван, дрожа, присел на скамью у стола и выслушал их, одного за другим, не задавая вопросов.

Потом сообщил им, что́ он намерен делать и что́ в ближайшие недели должны делать они. Он, один, отправится в Шаньдун; пройдут две, три недели, а может, и целый месяц, прежде чем он вернется. Он объяснил, что они должны рассеяться, нигде не задерживаться надолго, собираться вместе лишь в определенные дни, но постоянно поддерживать между собой связь. Они, если захотят, могут принимать в свое сообщество других, подобных им и желающих к ним присоединиться; но сами не должны прилагать никаких усилий, чтобы обрести новых братьев. Ибо не следует срывать незрелые плоды; лучше подождать, пока они, созрев, упадут сами. Братья должны заботиться только о себе, это он хотел внушить им в первую очередь. Остаток ночи – прежде, чем все разошлись спать – они провели в разговорах о разных таинственных вещах.

Это уже нельзя было назвать совещанием. Измученные треволнениями последних дней, они сидели в темной низкой комнате и, опершись локтями о стол, свесив усталые головы, смотрели в пространство перед собой, просто дышали. Они молчали, но время от времени кто-то начинал говорить, пытался выразить свои путаные мысли, опять замолкал. Каждый из них много чего наслушался за время скитаний; и им не давало уснуть желание узнать от других что-то еще, чего сами они не знали.

Один бродяга рассказал о великих учителях Дунъине* и Тайбо*, которые взмыли вверх на облачной колеснице, поднялись по радуге и затерялись в складках тумана. Они достигли Макушки Вселенной, но не оставили следов ни на снегу, ни в грязи, и даже не отбрасывали тени. Они бродили по горам, пока не пришли к подножию Куньлунь*, к Вратам Неба; потом преодолели эту преграду и увидали над собой небо-балдахин, а внизу – землю, подобную носилкам.

Таинственно и тихо заговорил сам Ван – о Вершинах Мира* и о Трех Драгоценностях*. Но быстро умолк и, смутившись, повернул голову к Ма Ноу, будто искал у него помощи. Ма Ноу проговорил нараспев: «Шакьямуни защищает всех; за ним придет Майтрейя*, коего ожидают благочестивые – как белого царя

драгоценного мира, величавого и благостного». И отрешенно забормотал что-то невнятное – о превращениях.

Все сидели, погрузившись в свои мысли.

Когда рассвело, Ван наотрез отказался от проводов и от провожатых. А после того, как гонцы ушли, совершил обряд бессловесной клятвы: Ма Ноу опалил ему волосы на макушке, сам же Ван подержал пальцы над огнем, бросил на пол свои последние деньги.

В ТОТ ДЕНЬ, когда бродяги покинули селение и, рассредоточившись, поодиночке потянулись к северу, Ван Лунь начал свое путешествие в Шаньдун, к братьям из «Белого Лотоса». Он шагал, почти не останавливаясь для отдыха, и преодолевал по шестнадцать-семнадцать *ли* за день. Снежная буря задержала его на два дня в горах, потом он спустился в предгорье и затем на равнину.

Пока он совершал свой утомительный переход, началась весна. Жители Яньчжоуфу видели какого-то нищего, но не обратили на него внимания; пройдет немного времени, и приверженцы этого незаметного человека будут творить здесь страшное, превратят половину города в руины. Ван переправился через большую реку*, потом через Императорский канал и провел одну ночь в Линьцине – городе, где ему предстояло умереть. Пока весна вступала в свои права, он приблизился к хорошо знакомой ему плодородной долине у западных отрогов Дайнаня. На зимних полях крестьяне еще очищали плоды ситника, выдергивали его длинные стебли, чтобы потом их продать; Ван думал о Цзинани, до которой отсюда было недалеко, и о Су Гоу. После первых дождей на полях начался сев: сажали пшеницу, бобы, рапс. Теперь Вана сопровождали в пути мычание тягловых животных, пение крестьян – близкое и далекое. Он двигался дальше, к юго-востоку, в обход шумной Цзинани.

Пропитание Ван добывал, прося милостыню или подрабатывая как грузчик; еще иногда помогал в полевых работах. В селах, что покрупнее, и в городах он пробовал себя в амплуа рассказчика, держал в руке сигнальный посох*, который, по его словам, ему одолжил великий учитель Ма Ноу, прислушивался к

тому, что говорят люди, и сам бросал на благодатную почву их внимания свои семена.

Он уже оставил пределы Чжили и странствовал теперь по Шаньдуну – родине великого мудреца Конфуция, восстановителя древнего порядка и сияющего столпа государственности; по земле, издавна порождавшей еще и тайные союзы, которые иногда бесстрашно свергали императоров, а потом сами же восстанавливали государственное равновесие. Эта земля когда-то произвела на свет великого мертвеца-гиганта*, а теперь непрерывно порождала обычных живых людей, чтобы его плоть, его кости шли в дело, унавоживали драгоценную почву, а не лежали на ее поверхности мертвым грузом. Тайные союзы были мотыгами, лопатами, граблями этой провинции. Они пережили многих государей и целые династии, войны и перевороты. Они гибко приспосабливались ко всем изменениям, сами же, что бы ни происходило, оставались неизменными, такими, как прежде. Союзы и были самой этой землей с ее длинным телом и незрячими глазами; на ней люди обделывали свои мелкие делишки, справляли праздники, рожали детей, приносили дары предкам; сюда приходили военачальники, солдаты, царевичи, разные авантюристы, и все возобновлялось по кругу: битвы, победы, поражения; по прошествии какого-то времени земля начинала дрожать и колебаться, глаза-вулканы бросали вокруг огненные, но отнюдь не любящие взгляды, и проседали целые долины; гремел, разевая широкую пасть, гром; потом взбаламутившаяся земля, перевернувшись на бок, вновь засыпала; и опять все шло хорошо. Больше ста лет назад династия Мин, к которой народ относился уважительно, ибо она была подлинно китайской, ослабла, потеряла опору, занемогла. В то трудное время государственного разлада как раз и активизировались союзы – братства, объединявшие всякого рода неимущих, преступников и евнухов; члены союзов с ледяной холодностью воспринимали насмешки в свой адрес со стороны безответственных придворных, возведших на трон ребенка. Потом союзы открыто объявили войну новому императору и захватили собственную провинцию; по всей этой земле сиял, внушая страх врагам, белый

шаньдунский Лотос. Союзы и в последующие столетия не забыли счастливую эпоху минских императоров, чьи имена постепенно оплетались легендами. Сменившие Минов маньчжуры не особенно угнетали своих китайских подданных; они предоставляли народу достаточно свободы, лишь бы тот признавал их главенство. Однако каких бы великих императоров ни дарила Маньчжурская династия, сколь непреходящими ни были бы ее достижения, она оставалось чужой для приверженных старине, но ущемленных в своих правах китайских общин. Как бы любовно и самоотверженно ни заботились сильные чужеземцы о китайской земле, им не удавалось пробудить ни одной искренней улыбки на устах этой красавицы-вдовы, которую они насильно – но навечно и нерушимо – сделали своей женой. Маньчжурам пришлось смириться с тем, что сердца китайцев для них закрыты. Мстить они не пытались. Но держали народ под угрозой нависшего меча. И началась борьба одной силы против другой. Китайская земля, безутешная вдова, собирала друзей, которые могли бы ее защитить от нового сурового супруга. Холодное безразличие к нелюбимому периодически сменялось гневом, каждое новое конкретное разочарование тоже порождало гнев.

Ван Лунь обогнул зеленые виноградники у западных отрогов Дайнаня. Когда первые холмы остались позади, он остановился на несколько дней у старых друзей, раньше живших в Цзинани. Хитрого мальчишку-гончара, с которым познакомился в деревне, послал в Цзинань с весточкой для бонзы Доу из храма покровителя музыкантов Хань Сянцзы. Однако возвращения гонца Ван так и не дождался. Храм оказался пустым: бонза сразу же после убийства *дусы* бросил свою комнатенку и сперва прятался в городе, в квартале «зеленых домов», где его приютила одна знавшая Вана проститутка, а потом перебрался в деревушку на другом берегу реки и, воспользовавшись своим знанием гравировального ремесла, принялся покрывать орнаментами оловянную утварь. Там и нашел его пронырливый маленький гончар. Услышав его сообщение, Доу от радостной неожиданности даже выронил стальной резец. Закрыв дверь на засов, он долго расспрашивал подростка, который рассказал и о том, как

выглядит Ван – какой у него приличный, внушающий почтение вид, и о собственных догадках относительно того дела, которое привело Вана в Шаньдун. Оба, Доу и юный гончар, на следующее утро покинули деревню. Но до гор добрались только на пятый день, считая от того, когда мальчишку послали на поиски бонзы; и услышали, что Ван уже отправился дальше, никому не сказав, куда. Только гораздо позже, в период последних испытаний, Вану доведется вновь встретиться со своим бывшим наставником и еще раз убедиться в его преданности.

Полоса красивого горного ландшафта, берез и просвеченных солнцем орешниковых зарослей, через которую до сих пор пролегал путь бродяги с перевала Наньгу, закончилась. В небе летали журавли. Ветер уже не дул так порывисто; скалы здесь были голыми и более высокими. Ван приближался к району углежогов, к городу Бошаню. То и дело ему попадались нескончаемые вереницы мулов, доставлявших вниз, в долину, засахаренные финики и какие-то красные фрукты.

Потом вдруг дороги стали широкими; горы тоже расступились. Впереди простирались широкие темные поля с неравномерно разбросанными по ним входными отверстиями шахт, кучами добытого угля. Воздух, даже днем, казался более вязким и сумрачным. Во многих местах в небо вертикально вздымались плотные клубы дыма, почти неотличимые от тех деревянных столбов, что отмечали границу этого района. Идти стало труднее – повсюду валялись круглые гранитные блоки. Рельеф местности был волнообразным. Посреди голой каменистой равнины раскинулся большой город, Бошань.

Ван получил от Чу адрес богатого владельца рудника. Но не нашел этого человека в его на удивление крепкостенном доме: хозяин, сказали Вану, уехал по торговым делам. Вану пришлось дожидаться его возвращения. Он нанялся рабочим на рудник. Рабочие, до пояса голые и покрытые черной липкой пылью, по пять или десять человек стояли у глубоких шахт и с помощью мощных воротов вытаскивали наверх уголь. Ритмично, рука к руке, тянули они скользкие кожаные ремни; звуки их пения то падали, то вновь взмывали вверх, соответственно тому,

опускались ли или поднимались ведра с водой и углем. Жили рудокопы здесь же в долине, в глиняных мазанках, по несколько человек в каждой.

Вечер за вечером Ван ходил в город, чтобы узнать, не вернулся ли владелец рудника. Шел туда по дороге, которая вилась между грудами угля, напоминавшими остроконечные шляпы. Потом начинались пустые огороженные участки, над которыми стоял удушливый кисловатый запах; здесь в больших сосудах под действием солнечных лучей образовывались кристаллы серы – в щелочном растворе железного колчедана. На шестой день владелец рудника вернулся; он уже был наслышан о настойчивом чужаке, который каждый день о нем спрашивал.

Чэнь Яофэнь оказался рослым широкоплечим человеком с узким, будто выточенным из слоновой кости лбом; говорил он энергично и по существу, короткими фразами, как это свойственно деловым людям; все его вопросы попадали точно в цель. Ван таких собеседников еще не встречал. Он начал свою речь сбивчиво; обычная уверенность на мгновение его покинула; нахлынули смутные воспоминания о мошеннических проделках в Цзинани; он чувствовал, что попал в ловушку. Только когда прозвучало имя Чу – и удивленный купец сразу приблизился к Вану, – начались настоящие переговоры; и уж тогда Ван весь обратился в холодную, все примечающую сосредоточенность. Чэнь застыл, прикрыв рот рукой с дорогим перстнем: он был потрясен злосчастной судьбой Чу. Потом запер двери, усадил гостя, чьих намерений пока не понимал, за столик перед домашним алтарем и пододвинул к нему собственную чашку с чаем. Ван, хотя лицо его, как у простолюдина, было покрыто угольной пылью, сумел коротко и ясно обрисовать ситуацию: рассказал, как бродяги в горах Наньгу бедствовали нынешней зимой, как захватили маленькое селение, как побратались и выбрали его, Вана, своим вожаком; упомянул и о нападении на них лучников из Чжадао. Его друзьям грозит гибель, сказал в заключение Ван, и они просят защиты у истинных друзей отечества, ибо так же неповинны в своих несчастьях, как уроженец здешних мест Чу.

Купец, не сводивший широко раскрытых глаз с человека, который сидел перед ним, устало уронив на колени набрякшие кисти рук, и говорил обо всем этом так, будто хотел получить всего лишь пиалу риса, спросил только, какого рода помощи от них ожидают. И получил ответ: давления на чиновников; в случае необходимости – готовности немедленно спрятать у себя преследуемых и заступиться за них. Затем хозяин, уже более вежливо, предложил Вану сейчас уйти, чтобы не возбуждать ненужных подозрений; завтра они встретятся у цистерн со щелочным раствором, где он, Чэнь, будет испытывать новый метод, о котором узнал во время последней поездки, и тогда смогут спокойно обо всем поговорить. Ван поклонился и взмахнул руками, прощаясь, – но прежде еще раз напомнил о неотложности своего дела.

Оставшись в одиночестве, купец долго не мог успокоиться. Он ничего не понял – не понял, почему Чу, великий молчальник, который, не сказав никому ни слова, бросил свое добро и ушел из дому, вдруг доверился этому бродяге, выдал их всех. Чэнь выскочил на двор, в ночь. А утром, когда одевался, сунул в висевший у пояса кисет короткий широкий нож: если понадобится, он убьет этого странного посланца прямо у цистерн со щелочным раствором. Мысль об убийстве улучшила настроение Чэня; тут требовались жесткие меры, мгновенная реакция. Решив не отягощать других собственными проблемами, он даже не попытался связаться с друзьями по гильдии. Он лишь зажег курительные палочки перед алтарем предков, пообещал пожертвовать сто лянов серебра* на строительство пагоды, если неприятная история завершится благополучно, и кликнул своих носильщиков.

Паланкин доставил его к ограде участка. Потом носильщики притащили, по две штуки каждый, большие глиняные кувшины, налитые свинцовой тяжестью, и, как велел хозяин, поставили их рядом с одной из плоских, величиной с комнату, цистерн для щелочного раствора. Бурая жидкость покрыла дно цистерны, в воздухе начали скапливаться едкие испарения. Носильщиков Чэнь отослал движением руки.

Пришел Ван, по знаку Чэня уселся рядом с ним, на землю перед цистерной. Оба обвязали себе рты и носы шелковыми шарфами, которые принес Чэнь.

Сколько же их всего в горах Наньгу?

Была сотня, когда он уходил, сейчас – может, четыре сотни, может, тысяча.

Почему так неопределенно – может, четыре сотни, может, тысяча? Как могли они так быстро умножиться в числе?

Они едины в своих взглядах. Они все много страдали. Они защищают друг друга.

Еще раз: кто он таков, откуда родом, какова его роль – у них?

Зовут его Ван Лунь, он сын рыбака, родился в поселке Хуньганцунь в округе Хайлин, в Шаньдуне. Он их предводитель; и учит их ничего не делать в ответ на притеснения, а жить как живут изгои, не противясь ходу вещей.

И куда же он метил – став предводителем, раздавая советы? Чего хочет добиться? Почему бы им просто не разойтись по восьми сторонам света и не жить – поодиночке – так, в точности так, как он, Ван, предлагает и как, возможно, им действительно подобает жить? Вместо того, чтобы собираться в сообщество, привлекать к себе внимание местных властей, просить помощи у чужих союзов и так далее?

Если они разбредутся, то пропадут, объяснил Ван. Он – тоже за то, чтобы братья держались вместе; иначе очень скоро они вновь станут убийцами, насильниками, грабителями. Просто быть бродягой – этого мало; нужно еще знать, по каким дорогам бродить.

Только теперь самоуверенный купец по-настоящему удивился. И с интересом посмотрел на человека рядом с собой, который спокойно парировал все его вопросы и не забывал поглядывать на черно-бурую жидкость.

«Ты, Чэнь, даешь своей щелочи отстояться в течении четырех дней. Ты же понимаешь, что недостаточно просто промыть колчедан, который мы добываем в шахте. Ты долго держишь щелочной раствор на свету, и кристаллы серы вырастают, один за

другим, по мере того, как испаряется вода. Попробуй сразу выплеснуть всю щелочь в ручей: и никаких кристаллов не будет!»

Они беседовали и в ближайшие дни, часами. В последний день Ван умело инсценировал впечатляющую заключительную сцену: дал понять, что хотя и просит у «Белого Лотоса» помощи для своего братства, но пришел отнюдь не с пустыми руками. Ведь он, по сути, предлагает этому союзу постоянно растущее воинство, на которое – в случае нужды – можно будет опереться. Ведь если слишком сильно ударить по струнам цитры, они уже не будут жаловаться и мелодично стонать, а новогодним фейерверком взовьются к щеке музыканта и оставят на ней кровавые рубцы.

Вечером четвертого дня Чэнь решился-таки пригласить на следующий день к обеду своих друзей. И после того как они, числом шестнадцать, три часа подкрепляясь редкостными овощами, хвостами раков, паштетами, петушиными гребешками, бараньими фрикадельками, лапшой, сваренной на пару; после того, как с маленьких столиков были убраны сладкое печенье, вина, ликеры и уксус, Чэнь наконец поведал расшумевшимся друзьям о странном нищем с перевала Наньгу в Чжили.

Сперва он рассказывал о нем как бы шутя, словно речь шла всего лишь о забавной истории, но когда гости хотели перейти к другим темам, упрямо застрял на своей, и внезапно, в результате каких-то незаметных отклонений, весь тон их беседы переменился, даже кальяны уже почти не булькали. Тут началось то, чего Чэнь больше всего боялся: смех, негодующие возгласы, непонимание его роли; самые умные будто окаменели от страха.

Они сидели вокруг маленьких, близко сдвинутых столов в богато обставленной зале. Многоцветные ковры и бамбуковые циновки утепляли пол. Колонны из мореного дуба, в два ряда, поддерживали панельный потолок, с которого свешивались – обхваченные когтями грифов или как бы выпадающие из пастей драконов – обрамленные в железо лампы и фонари. Разбросанные повсюду пятнистые орхидеи придавали помещению праздничный вид. Резная ширма у дальней стены отделяла

постав с восемью кумирами от домашнего алтаря. Великолепное, метровой высоты зеркало было повернуто к стене, а роспись на оборотной его стороне, выполненная по черному лаку, изображала цапель, которые летели над волнами, отдыхали на береговых скалах или, едва различимые, парили высоко в небе, купаясь в солнечных лучах.

Чэнь Яофэнь в халате из простого черного шелка сидел среди пышно разодетых гостей. Гости лакомились сладостями, прихлебывали из миниатюрных чашечек чай, щелкали орехи. Они расслабились, наслаждались непринужденной беседой, ждали танцовщиц, которых Чэнь в таких случаях приглашал из города, и совсем не были расположены думать о нищем с далеких гор Наньгу. Но когда прозвучало хорошо знакомое им имя Чу и выяснилось, что в горах Наньгу Чу рассказал кому-то об их союзе, все тотчас разволновались, вскочили, окружили Чэня. Шелест лениво перебираемых сладостей прекратился. Гости столпились у ширмы, перед домашним алтарем.

Байляньцзяо – Белый Лотос – распустился во всей красе.

В адрес Чэня посыпались упреки. Все хотели подробностей, подробностей, подробностей. Что же это, как же это, почему? Чэню пришлось повторить рассказ несколько раз; он настаивал, что нужно предупредить приверженцев «Белого Лотоса» в Чжили, обратить их внимание на изменившуюся ситуацию; пусть они употребят все свое влияние на то, чтобы с новым союзом нищих ничего не случилось; если же все-таки оправдаются худшие ожидания, пусть примут нищих в свои ряды и помогут им спрятаться.

Из-за противодействия со стороны остальных Чэнь, который сперва говорил неуверенно, увлекся, заговорил более энергично и не без язвительности. По настоянию гостей, совершенно сбитых с толку, было решено разойтись, но встретиться еще раз вечером того же дня.

Большинством из этих шестнадцати овладел страх. Теперь – неожиданно для них – дело их жизни обретало лицо. Неожиданно, вот что им не нравилось: без необходимости, без какого-то основания. Правление Цяньлуна длилось долго. У императора

была жесткая, однако не чуждая справедливости рука. И бунтовать против него казалось опасной, легкомысленной затеей. Срок для бунта еще не пришел.

Вечером над накрытыми столами опять светились пестрые лампы и фонари. Упреки, которые гости теперь предъявляли Чэню, были весомее тех, что звучали днем. Мол, вместо того, чтобы вступать с посланцем в переговоры, Чэню надлежало дать какому-нибудь ловкому проходимцу пять связок *кэшей* и маленький острый нож. Кто-то плакал, думая, что сам он и его семья отныне обречены на гибель.

Когда стемнело, Ван постучал условленным стуком с черного хода. И – рядом с алтарем, на фоне ширмы перед ошеломленными купцами вдруг вынырнул высокий, крепкого телосложения оборванец. Он повторил им, почти дословно, то, что раньше объяснял Чэню. Поскольку же от него требовали все новых подробностей, упомянул, как они бежали вниз с горы – неимущие и больные люди, которые жили вместе с ним в опустевших горах Наньгу. Говорил он так, будто его лично все это не касалось. Кому-то из высокомерных купцов даже пришла в голову удачная мысль: сейчас бы накормить этого попрошайку – и, дав ему пару серебряных лянов, отпустить восвояси. Они успокоились, увидев его, даже наслаждались необычным зрелищем. В Ване и вправду не было ничего пугающего, и гости едва заметно заулыбались, кивая друг другу. Может, ему и его приятелям действительно пришлось нелегко; эти бедолаги не должны погибнуть, ни в коем случае. Однако к чему поднимать столько шума из-за пустяков? Ради того, чтобы разобраться с горсткой голодных бродяг, не стоит нарушать покой императора или цензоров*; когда Хуанхэ выходит из берегов, в одночасье могут погибнуть двадцать тысяч крестьян, но империя от этого не пошатнется – разве что Сын Неба в задумчивости проведет рукой по лбу. Чу совершил ошибку, вообразив, будто «Белый Лотос» должен заниматься благотворительностью. Но – кто знает, как повлияли на него постоянное недоедание и та чернь, в окружении которой он в последнее время жил.

Возбуждение улеглось, все теперь задумчиво покачивали головами. И пока Ван отвечал тому или другому, остальные переговаривались между собой. Смешно соблазнять их обещанием, что к ним присоединится множество новых братьев – они и со своими-то не знают, что делать. Они не допустят, чтобы сто или тысяча бродяг увлекли их на дело, ими не одобряемое.

Ван потел, по-крестьянски вытирал нос и лоб тыльной стороной ладони, распространяя среди царивших в зале изысканных ароматов вульгарный запах проселочной дороги. Но он отчетливо видел суть происходящего. Чэнь, привыкший навязывать свою волю другим, все больше негодовал на товарищей по союзу, которые непостижимым для него образом отстранились от трудной ситуации, будто для них никакой опасности не существовало, и уже опять непринужденно болтали, прогуливались по комнате, предоставив ему одному разбираться со странным бродягой и его просьбой. На мгновение взгляды Вана и Чэня встретились.

Внезапно силач-оборванец улыбнулся, заметив пиалы с дорогими вареньями, выставленные на пяти круглых столиках посреди залы. Его губы лукаво раздвинулись, желтоватые зубы обнажились; ухмыляясь, он посмотрел в одну и другую сторону, медленно, с вежливыми поклонами, пробрался между болтавшими господами и провел ладонью над наполненной с верхом фарфоровой чашкой – так, как гладят круглый затылок младенца. Потом присел на плетеный табурет и, аппетитно причмокивая, выел все содержимое пиалы. Господа за его спиной ворковали, хихикали, перешептывались, обступили его, образовав маленькие группки; кто-то протянул ему новую пиалу, с соседнего столика, и Ван, поблагодарив, ее принял. Он громко восхищался замечательным и необычным вкусом этих сладостей, прислушиваясь к советам, выуживал из пиалы особо лакомые кусочки и жадно их глотал. Чэнь так и остался стоять у ширмы; улыбавшиеся господа переглядывались и подмигивали друг другу: странная сцена доставляла им удовольствие.

Потом Ван поднялся, обошел вокруг столика и попросил одного изящного господина, который только что дружелюбно

предлагал ему кусочки десерта, – это был самый молодой из гостей, искренне радовавшийся такому повороту событий, – сесть на его плетеный табурет. Молодой господин, приятно удивленный, направился было к столу, но, дойдя до табурета, вдруг передумал, склонил голову набок и повернулся к Вану спиной. Ван, многократно кланяясь, опять перебежал ему дорогу и, не переставая улыбаться, стал нахваливать великолепные сладости, которые, мол, можно отведать только с этого стола. Когда же молодой человек с холодным высокомерием молча прошествовал мимо, Ван кинулся за ним, прилипчиво настаивая, чтобы господин оперся на его руку или плечо – так ему будет удобнее добраться до стола с совершенно несравненными лакомствами. Тот, опять не ответив, брезгливо оттолкнул локоть Вана. Тогда мускулистый бродяга, вздохнув, обхватил красивого юношу сзади, поднял, перенес как ребенка – не реагируя ни на протестующие выкрики, ни на сучение ногами – к табурету, опустил на шорхнувшее сиденье и пригнул ему плечи. Левой рукой Ван придерживал юношу за шею. Плоское лицо рыбака, теперь исполненное холодной ярости, угрожающе поворачивалось во все стороны, в правой же руке Ван сжимал нож с узким, покрытым тонкой гравировкой лезвием – тот самый, который только что, в виде украшения, висел на поясе молодого господина. Ван вновь и вновь предлагал юноше «что-нибудь пожевать»; пока тот, уступив еле слышным советам остальных, не проглотил наконец одну пастилку. Тогда Ван убрал руку с его шеи, потянулся непринужденно – и зевнул. Сплюнул непрожеванный финик: с такой силой, что тот упал на вышитую туфлю пожилого тучного господина, одиноко стоявшего посреди залы. Затем поблагодарил (при гробовом молчании остальных) хозяина дома – облаченного в черный шелк статного Чэнь Яофэня; поклонился, широко ухмыльнувшись; попросил оказать ему честь: пригласить и на завтрашний ужин; быстро скользнул за ширму – и был таков. Нож, «одолженный» у молодого человека, Ван отшвырнул в сторону, и тот звякнул, ударившись об эбеновую раму ширмы.

Чэнь был единственным, кто не упустил ни одной подробности умело разыгранной сцены; но и другие – те, что еще сохраняли способность мыслить – узнали кое-что полезное для себя, не укладывающееся в их прежние представления. Внезапно раздался глухой удар: это молодой господин, потеряв сознание, рухнул с табурета, с которого после ухода Вана так и не вставал; ножки подломились и теперь валялись на полу. Все сбежались, захлопотали вокруг пострадавшего; юношу вырвало, после чего он пришел в себя, задвигал руками, приподнялся и, вперив мутный взгляд в пустоту, моргнул. Никто не осмеливался первым заговорить. Богатые господа самолично – будто в доме не было слуг – кое-как наводили порядок, шелковыми шарфами оттирали с пола блевотину. Молча слонялись по зале.

Чэнь Яофэнь наконец звонко проговорил, что будет счастлив, если благородные господа завтра или в ближайшие дни вновь окажут ему честь и пожалуют в его скромное жилище; сейчас же он предлагает им ничего не обсуждать, а просто без спешки продолжить вечернюю трапезу. Но гости один за другим стали прощаться; хотя расставаться в такой момент им не особенно хотелось, каждый рассеянно поплелся к своим носилкам.

Ван ни словом не упомянул о случившемся, когда на следующий день встретился с Чэнем у цистерн для производства серы. Только разъяснил ему, чтобы не возникло недоразумений: братья с гор Наньгу просят, собственно, не о помощи, а о *признании* и *братском сотрудничестве.* Они и сами сильны, но могут стать опасными для себя и других, а этого желательно избежать. Пока Чэнь и Ван подмешивали добавки к щелочному раствору в гигантских сковородах, купец вникал в систему представлений своего нового знакомого; для него несколько прояснилось отношение Вана к бедности, к золотым буддам; обвертывая лицо шалью, чтобы защититься от голубоватых испарений, Чэнь думал о Дао, неумолимом мировом потоке, начале и конце всех не вполне понятных для него рассуждений Вана. Он был уверен, что этим мечтателям вскоре – когда они

столкнутся с нуждой, с государственной властью, с суровыми приверженцами Конфуция – придется пережить ужасные вещи. И все же радовался, слушая, что́ говорит бродяга о значимом и для него, Чэня, древнем Дао.

Когда, в молчаньи просидев несколько часов возле сковород с жидкостью, которую нужно было помешивать, они наконец поднялись и Чэнь, прощаясь, дружески всплеснул руками, Ван уже знал, что поддержка «Белого Лотоса» ему обеспечена.

КНИГА ВТОРАЯ
«РАСКОЛОТАЯ ДЫНЯ»

КАК ФЕЙЕРВЕРК, взметнулся лозунг *у-вэй* над западным Чжили; просвистел в воздухе, эхом отозвался в горах.

Западному Чжили ревматически занеможилось – потянуло в локтевом суставе, в плечах, в подъеме ноги; и в зубе болезненно дергало, и над левым глазом покалывало.

Западное Чжили той весной чувствовало болезненный жар: он волнами распространялся вокруг нищих с перевала Наньгу.

Горстка людей – не больше сотни, – которая покинула селение Бадалин, за пару недель разрослась до нескольких тысяч. Бродяг, уличных воров, всякого рода увечных привлекало к новому движению прежде всего ощущение, что у них всех – одна, общая беда. Никто уже не говорил, как в горах Наньгу: Ван Лунь, опасный преступник родом из поселка Хуньганцунь в Шаньдуни, рассказывает удивительные вещи о золотых божках; он помогает нам, он умеет колдовать, поэтому мы пойдем за ним. Теперь сама внушительность этой компактной человеческой массы вызывала желание присоединиться к ней. Крестьяне, даже из отдаленных селений, паломники – не только в горах, но и на равнине: все были наслышаны о людях, которые после окончания самых сильных холодов покинули Бадалин и устремились – нищенствуя, подрабатывая где придется, молясь своим богам – к югу. В первое время кое-кто еще надеялся, что речь идет об обычных бродягах и отщепенцах, чрезвычайное скопление которых сделало небезопасными горные пути к Тайшаню; но очень скоро подобные надежды рассеялись. Распространялись слухи, будто Ван Лунь поскакал на лазоревом коне в горы Куньлунь, чтобы поведать Владычице Западного Рая о новом союзе. Оттуда будто бы он отправился в Шаньдун – за золотым эликсиром жизни и жемчужинами бессмертия. Вере в эти волшебные странствия суждено было сохраниться дольше всего. Отталкиваясь от древних преданий, люди создали в своем воображении удивительный образ

Вана. Они представляли его человеком мягкосердечным, но наделенным огромной физической силой, которую он не знает, как употребить. Время от времени им овладевают опасные демоны, которых, однако, он научился усмирять с помощью ужасного колдовского заклинания. Он сочувствует беднякам и хочет, чтобы все они воспользовались его сказочными способностями.

Ван Лунь исчез, но осталась тень Вана – под ее прикрытием и существовал союз. Как-то само собой получилось, что на первый план выдвинулись два человека, которые пользовались наибольшим авторитетом. Периодически то один, то другой из них возносился выше своего соперника, но решающего значения это не имело. Каждый играл свою особую роль.

Го, родом из Дагу в Чжили, благодаря тому, что был прекрасным наездником и лучником – а также из-за приятной внешности, – уже в тридцать лет получил внеочередное повышение и стал ротным командиром (*баньгэ*[*]) в «Высших трех знаменах»[*]. Он с гордостью, но без глупого зазнайства носил шапку, украшенную лунным камнем, и нагрудник с вышитой пантерой[*]; когда, играя в шахматы, Го лениво приподнимал руку и на его большом пальце переливалось матовым блеском перламутровое кольцо, партнеры по игре вряд ли догадывались, что имеют дело с человеком непреклонного характера. Го много лет водил дружбу с мальчишкой-актером, размалеванным словно женщина, – «молодым господином», как тогда выражались. Император Цяньлун высоко ценил Го; и вообще, именно в его правление при дворе начали выдвигать элегантных молодцеватых военных, которые не обсуждали приказов начальства, отличались ловкостью в гимнастических упражнениях и стрельбе из лука, но при всей своей внешней хрупкости обладали несгибаемой силой воли.

Благодаря редкой неустрашимости, которую Го проявил в одном нашумевшем в свое время деле, он попал в узкий круг тех придворных, что обслуживали Пурпурный город. Произошло это так: Го вместе со своим отрядом нес службу у верхних ворот Пекина – там, где на широкий канал, опоясывающий Запретный город, с внутренней стороны выходят ворота Уди. Непосредственно за этой частью стены – так что Го и его солдаты

могли со сторожевых башен даже заглядывать в них – располагались дворцы императорских жен и наложниц. Осенью, когда поверхность канала кишела лягушками и мухами, распространился слух, будто ребенок одной из побочных жен умер от странных судорог, а другой ее ребенок, еще младенец, заразился той же болезнью. Врачи и священнослужители прилагали все силы, чтобы изгнать духа лихорадки из ребенка, который отчаянно плакал, но имени демона не выдавал.

И вот однажды ночью, когда Го нес вахту, его встревожили громкие крики сразу многих женщин; проникнув в сад и тайком пробравшись к павильону злополучной жены императора, Го подслушал разговор о том, что в павильоне только что видели демона больного ребенка: в образе маленькой летучей мыши, которая, внезапно появившись, задела волосы матери, на мгновение зависла над разгоряченным лицом младенца и потом выпорхнула в открытую дверь. Го по описанию величины животного, белесой окраски брюха, направления полета сразу же понял, что речь идет о той подозрительной тени, которую он, Го, несколько раз замечал возле рва, в компании стрекозы и двух бурых жаб. На следующий день, как только стемнело, он послал шестерых храбрых воинов из своего отряда, снабдив их щитами, луками и стрелами, к воротам Уди, сам же с обнаженным мечом спрятался в засаде у входа в павильон.

В конце первой ночной стражи шестеро солдат заметили, как что-то выпорхнуло прямо из воды; они натянули луки и выстрелили вдогонку; всполошившиеся из-за шума женщины принялись выпускать одну шутиху за другой, чтобы отпугнуть привидение; белые и зеленые хвосты фейерверков вспарывали темноту ночного сада. Демон, ослепленный вспышками, метался между стволами кипарисов; при свете очередной ракеты Го увидал, что он ведет себя, будто оглушенный. Го размахнулся и ударил мечом; гадкая тварь пронзительно заверещала. Потом развернулась и полетела в обратном направлении. Го с воплями преследовал ее, размахивая оружием; в конце концов оба оказались перед домом распорядителя музыкальных церемоний, евнуха; и тут в мгновение ока тварь, перелетев через ограду,

исчезла. Пока отовсюду сбегались женщины с подрагивающими фонариками в руках и света все прибавлялось, проснулся хозяин дома; удивленный, в ночной сорочке, он вышел на крыльцо и спросил, что́, собственно, происходит. Го крикнул: «Демон в образе серой летучей мыши залетел на твой двор!» Перепуганный хозяин неуклюже заковылял вслед за Го и другими обратно в дом; когда они уже обыскали все закоулки – безрезультатно, – распорядитель музыкальных церемоний вдруг хлопнул себя по лбу и шепотом посоветовал им заглянуть за печь в жилой комнате.

И действительно – там притаилась маленькая старушонка, зеленоглазая, с обезьяньим сморщенным личиком, у которой из раны на груди сочилась кровь. Она была вся седая, но якобы не помнила, сколько ей лет. Ее стали расспрашивать, схватили за руки. Ду Шэ, прославленный заклинатель духов из Пурпурного города, в ту ночь дежуривший около больного мальчика и вместе со всеми вбежавший в дом евнуха, издали делал предупредительные знаки людям, которые держали седоволосую ведьму, но они не успели отреагировать. Ведьма вдруг превратилась в черную кошку* и вырвалась на свободу, расцарапав им руки. Ду Шэ тотчас бросился на нее; и в то мгновение, когда подминал ее под себя, обернулся – бросив взгляд в свое восьмиугольное зеркальце – белым тигром*, который и вступил в поединок с кошкой. Оба в крови, они бились, кусая друг друга, на полу, под оглушительные вопли женщин, – пока Го, улучив удобный момент, не отсек негодяйке голову.

Он еще постоял, смеясь и кровожадно радуясь узкой красной лужице, пока другие бежали по темным переходам, чтобы поскорее умыться и стряхнуть с себя жуткое воспоминание о мертвом демоне.

Ребенок побочной жены императора был спасен. Го получил в подарок от Цяньлуна мешочек с мятными леденцами.

После того, как его включили в штат придворных внутренней службы, Го быстро распрощался с прежними привычками, обусловленными суровой солдатской жизнью; здесь ему пришлось привыкать к интригам, сплетням, особой атмосфере, которая определялась главенствующей ролью евнухов. Ему и раньше не

были чужды азарт игрока и порывы любовной страсти, теперь же он предался им безоглядно. Он влюбился в четырнадцатилетнего сына бедной вдовы садовника – мальчика, которого звали Гэн Цзун, – полностью содержал его, поселил у себя, посвящал ему много изящных стихотворений. В покоях когда-то непритязательного воина теперь повсюду валялись баночки с косметическим гримом, флакончики духов, расшитые накидки; тщеславный мальчишка, женственный и не лишенный грации, нежился на коленях мужественного усмирителя демонов и, улыбаясь, позволял, чтобы тот робко целовал его, угощал сластями.

Они любили друг друга – пока Гэн Цзун, щеголявший в шелках как какой-нибудь царевич, не решил, что Го дарит другому мальчику больше подарков, чем ему, и не убежал. Много дней Го рыдал, не переставая, запершись в своей комнате; потом вдова садовника привела сына обратно, так как не одобряла его выходку, опасаясь за свои дополнительные доходы. Го простил его – хотя мальчишка признался, что к нему пристает один евнух и что он, Гэн Цзун, уже принимал от него подарки. Со временем Го разузнал кое-какие подробности об этой новой дружбе, выяснил, о ком именно идет речь, и услышанное было настолько отвратительно, что он начал просить, чтобы ему позволили вернуться к сторожевой службе. На самого мальчика он не сердился; но тот все равно заметил, что внутри его друга что-то надломилось.

И вот – возможно, потому, что благодаря длительному общению с Го сын садовника и сам сделался более чувствительным, – он вдруг сник, затосковал, неделями едва притрагивался к пище, надолго выпадал из реальности. *Баньгэ* сидел у постели возлюбленного, от горя не находил себе места, за долгие недели болезни ни разу не покинул дома. В конце концов мальчик поправился. Их дружба расцвела, они были преданы друг другу, как никогда раньше. И хотя в придворных кругах обычно не обращали внимания на характерные особенности людей, над влюбленностью доблестного и честного Го смеялись все. Гэн Цзун был уже взрослым, хотя и изнеженным юношей; *баньгэ* же оберегал его от любого порыва ветра, вскакивал в страхе, стоило мальчишке нахмуриться.

Баньгэ, погруженный в мир собственных ощущений, не замечал, что окружающие относятся к нему без должного уважения. Мальчик же, и до болезни отличавшийся раздражительностью, сердился на Го, из-за которого стал предметом всеобщих насмешек, в конце концов решил с ним расстаться и уступил домогательствам другого *баньгэ*, вместе с которым теперь смеялся над своим прежним любовником. Го с тех пор, как узнал об этом, целыми днями бродил в полубессознательном состоянии по стенам Маньчжурского города, во дворце же надолго впадал в беспамятство, бушевал; друзья еле удержали его от смертоубийства. И, пусть с трудом, как-то утихомирили страдальца, у которого еще не открылись глаза на нелепую сентиментальность его поведения.

Загнав отчаяние вглубь, Го задумался, что́ ему делать дальше. Армейская служба, каждодневная солдатская лямка больше его не привлекали; оставаться в Пурпурном городе он не хотел. Он попросил, чтобы его перевели в ведомство управления речным транспортом, в Суанькэ на Великом канале. Там Го развернул лихорадочную деятельность, дни его проходили в инспекционных поездках, прогулках под парусами, сочинении стихов; по собственной просьбе он был оставлен в том же ведомстве еще на три года и даже получил повышение, поскольку за время пребывания в прежней должности улучшил речное сообщение и заметно увеличил поступления в государственную казну.

По окончании срока службы в Суанькэ Го отправился в небольшое путешествие, чтобы навестить своего дядю, жившего в Датуне; и из этого путешествия не вернулся; через полгода, поскольку поиски не увенчались успехом, его вычеркнули из должностных списков. Считалось, что он стал жертвой разбойного нападения в горах Наньгу. На самом же деле Го присоединился к «поистине слабым» – в тот момент, когда они ушли из захваченного селения и Ван Лунь их покинул.

Разношерстая братия, которая огибала утесы, именуемые Шэнъи, чтобы двинуться дальше на восток, к знаменитому перевалу Наньгу, сперва испугалась и удивилась, когда одинокий элегантный господин, трусивший на муле, присоединился к хвосту

их растянутой колонны и разговорился с двумя замыкавшими шествие бродягами. Бродяги шагали по длинной узкой долине; всадник не обгонял их и не отставал. Го последовал за ними, повинуясь безотчетному чувству; по сути же его привлекал и чем-то тревожил молодой паренек, которого он заметил в середине колонны нагруженных узлами оборванцев. Сам Го не сознавал, что паренек этот напомнил ему неверного друга из Пурпурного города. Двое бродяг много чего ему рассказали: люди в колонне, похоже, были сектантами и могли, при определенных обстоятельствах, стать обременительными для властей. В полдень Го – подсмеиваясь над собой, но почему-то и радуясь, радостно предощущая что-то – присоединился к остановившимся на привал бродягам, которые теперь обращались с ним как со своим.

Он попал в очень странное окружение, однако ничуть не беспокоился и был настроен продолжить знакомство. Ничто не заставляло Го особенно торопиться к дяде; а рыбу, как говорят, не след упускать, ежели она сама идет в руки; к тому же погода была великолепная, набрякшая снегом: словно ребенок наклонился над пропастью, и шелковые покрывала, тонкие шали округло выгибаются, раздуваемые ветром, над его головой; и ты видишь только эти колышущиеся ленты, полотнища, пестрые матерчатые пузыри, но между ними мелькают, как тебе кажется, еще и хитрый веселый взгляд, и хлопок в ладоши, а нос твой с жадностью втягивает воздух, пропитанный ароматом имбиря.

Го в шапке чиновника, меховой шубе, подбитых мехом сапогах сидел на земле рядом с чайником; его мул был привязан тут же; единственная чашка переходила по кругу; Го пил чай, испытывая необыкновенное удовольствие. Еще прежде, чем стемнело и шестеро бродяг развели в пещере маленький костер, он сказал, что хотел бы остаться с ними.

Получилось так, что уже на следующий день его поставили перед необходимостью выбора. Ма Ноу осторожно объяснил, что они уже истощили запасы продовольствия, захваченные в селении; теперь каждый должен сам заботиться о себе и еще поддерживать слабых; так не согласится ли их гость продать в ближайшем селении свою шубу, чтобы приобрести на вырученные

деньги рис и бобы, – если действительно желает остаться с ними? Произнося эту тираду, бывший монах живо представлял себе, как странно будет выглядеть сей благородный господин с дерзкими глазами, гарцующий на красивом муле, когда облачится, как все они, в толстую ватную куртку и начнет протягивать навстречу прохожим чашу для подаяния.

Го, однако, не сказал «нет»; он попросил один день на размышления. Попросил только один день, так как почувствовал, что не выдержит более долгих раздумий: ему хотелось резким ударом проломить окружающую его каменную стену. И он погрузился в свои смутные мысли. Когда-то ему не помогли ни ученость Мэнцзы*, ни песни из «Шицзина», которые он знал наизусть, как и комментарии к ним. Все это не помешало тому, что красивый большеглазый мальчик со стройными ногами предал его и над ним насмеялся.

С рычанием – словно тигр – выломилось что-то из его груди, рванулось прочь; он, онемевший от ярости, мог бы рубануть это «что-то», будь у него с собой меч. Потом оно тигром набросилось на него, а он, растопырив пальцы, этого тигра душил; потом, не меньше получаса, держал на вытянутых руках уже обмякшее неживое тело и, не помня себя, все тряс и тряс. Большеглазого мальчика с нарумяненными щеками; Гэн Цзуна. Боролся с ним, а после, задыхаясь, упал на промерзшую землю. Никто его не трогал.

Го с силой разжевывал что-то, не разжимая зубов, но ощущая игру челюстных мускулов, и при этом напряженно рассматривал два острых зеленоватых камушка, которые выглядели как необработанный нефрит*.

Маловероятно, чтобы здесь, посреди дороги, просто так оказался необработанный нефрит; возможно, камушки кто-то потерял.

Но, так или иначе, это был нефрит – хотя в здешних местах никто даже не торговал необработанным нефритом.

Го осторожно поднял один камушек, потом другой, ощутил их вес в кулаке; так или иначе, ему хотелось их сохранить, отдать для обработки в Суанькэ, где были хорошие шлифовальщики камней.

Если они настоящие, он распорядится, чтобы их прикрепили к поясу – так, как он сам придумал несколько лет назад, – поместив между зелеными и лиловыми вышивками*.

Да, так он и поступит с этими удивительными камнями.

Два последних бродяги уже скрылись за поворотом извилистой дороги, и он, как ни старался, не мог их отсюда разглядеть. Сейчас, возможно, они идут прямо, потом свернут направо и налево, опять направо и опять налево.

Го прищурил глаза.

Дело, наверное, в том, что они сворачивали то вправо, то влево.

Или во всем виноват этот набрякший снегом воздух, эта серая дымка, льнущая к голому склону, чуть выше осыпи, по которой пролегает тропа, эта таинственная податливая масса, которую никак не стряхнешь, не отчистишь. Но зато ее можно набирать полными горстями, прижимать к щекам.

Внезапно вспомнилось: «Ах, лотосы-лампадки, сегодня вас зажгут, а завтра просто выкинут, на свалку отнесут...» Детская песенка упрямо напоминала о себе, и именно благодаря ей он смог опереться рукой о землю, привстать на одно колено, потом выпрямиться и сделать первый шаг. А вскоре Го уже добрался до того самого поворота дороги и побежал во весь дух, догоняя исчезнувших бродяг.

Он присоединился к тем четверым, из которых один, горбун с умным худым лицом и глазами навыкате, читал вслух сутру – медленно, поскольку страдал одышкой. Го некоторое время слушал его нелепое бормотание. Все четверо сосредоточенно хмурили лбы и поджимали губы. Го, как человек посторонний, не встревал. Он вертел в руках два острых зеленых камушка и спустя некоторое время показал их горбуну, спросил, как тот думает, не нефрит ли это. Горбун взглянул на него, потом все четверо принялись с серьезным видом проверять камушки: терли их друг о друга, лизали кончиком языка. И один за другим отрицательно качали головами; горбун, выразив свое сожаление, вернул камни.

«Я хотел, – сказал Го, в задумчивости шагая рядом, – заказать себе пояс с зелеными и голубыми вышивками; к нему прикрепили

бы камни, так, как я сам придумал несколько лет назад. Но раз вы полагаете, что это не настоящий нефрит, ничего не получится».

Горбун поднял к глазам листок с сутрой и кусочком угля перечеркнул один квадрат в нарисованной «молитвенной пирамиде»*. «Мы хотим еще раз прочитать сутру о Малой Переправе».

Го подождал, пока день истечет – вплоть до последних капель в водяной клепсидре.

И день сменился красивым, мягко обволакивающим окрестности вечером.

Го про себя принес обет бедности, покоя, недеяния. Он не попросил у новых знакомых никакого испытательного срока, а просто сказал, что присоединяется к ним; и взмахнул – холодно-отстраняюще – рукой, будто только что прикоснулся к крышке гроба.

На следующий день, тоже в час заката, этот физически крепкий человек находился уже в тридцати *ли* от пещеры, где Ма Ноу снял с него опушенную собольим мехом шапку и дорогую длиннополую шубу. Теперь по внешнему виду Го ничем не отличался от остальных. Бродяги сидели на мягкой, поросшей травой лесной земле. Они доставали из котелков комочки просяной каши или «собачьего риса», макали их в плошку с уксусом.

Через два-три дня они доберутся до равнины; там в светлое время суток придется разлучаться с новыми приятелями, просить милостыню. И там будут города, будет Пекин.

Го прислушивался к позвякиванию мисок и котелков, к стуку палочек для еды.

Его лицо приняло суровое выражение, глаза закрылись. Он судорожно ловил ртом воздух, но сидел прямо.

РАЗИТЕЛЬНАЯ перемена, которая произошла в ближайшие недели, была связана с притоком женщин и девушек, начавшимся вскоре после того, как сектанты спустились на равнину. Ван Лунь учил, что они не должны отказывать в праве присоединиться к ним ни одному человеческому существу; если появятся женщины, пусть разбивают отдельный лагерь, в стороне от мужчин; потому что не следует потворствовать сладострастию,

которое принуждает человека вернуться в лихорадочную суету повседневности; если такое будет повторяться часто, лучше не допускать к себе женщин. Этот принцип все поняли, и все за него держались. Никого ведь не принуждали против воли оставаться с «поистине слабыми»; кто полагал, что не выдержит земного странствия без мимолетных, но столь желанных удовольствий, всегда мог вернуться к прежнему образу жизни.

Однажды, когда они уже перешли реку Люлихэ, брат Лю – юноша славный, хотя неуравновешенный, добродушный, но не в меру болтливый – вернувшись после двухдневного отсутствия, привел с собой немолодую женщину. Братья хотели отдохнуть пару дней в этой приветливой холмистой местности и по вечерам встречались в полуразрушенном хлеву одного богатого скотовода, поблизости от заброшенной пагоды. Все разговоры вертелись вокруг прибившейся к ним женщины; и то обстоятельство, что ее привел именно Лю, вызывало всеобщие насмешки: хитрая бабенка наверняка хотела женить на себе неопытного мальчишку.

Она, как оказалось, была бездетной вдовой некоего владельца чайной; и, когда впервые появилась у них на пороге – в черных шароварах и неопрятном халате, с суровым широкоскулым лицом, – стала поспешно кланяться на все стороны, расточать сладкие улыбки. Она давно страдала от одиночества. Когда Лю без всякой просьбы с ее стороны помог ей в тяжелой работе, принялся вместе с нею доставать воду из колодца и таскать ведра, женщина сперва подумала, что над ней хотят подшутить; но потом поверила в искренность его намерений и увлеклась наивными рассказами о Ван Луне, о горах Наньгу, о том, что его друзья вовсе не собираются затвориться в монастыре, а свободно живут повсюду, на улицах и в полях. И о том, какой великий колдун Ван Лунь, сколь многого от него ждут.

Вдова искоса поглядывала на юного Лю, ругала собственный несчастливый жребий; Лю, помогая ей, рассказывал то одно, то другое. Она пустила его переночевать в свою комнату, сказав, что у нее есть другая; сама же всю ночь провела на лугу, зарылась в стог сена, думала, не попытаться ли ей склонить этого мальчика к женитьбе.

Однако, когда на следующее утро она вернулась, попытки соблазнить его ни к чему не привели; Лю их даже не заметил; и вдова почувствовала себя полнейшей дурой.

Потом они снова болтали; она расспрашивала о чужаках, разбивших лагерь у старой пагоды, Лю отвечал; она опять спрашивала, повторяла свои вопросы, Лю терпеливо насыщал ее любопытство.

Когда непоседливый юноша вечером вскинул на спину маленький заплечный мешок и собрался уходить, она тоже взяла мешок и сказала, что пойдет с ним. Лю не удивился, а похвалил ее и сказал, что в таком случае поведает ей еще о Го и о Чу; Го, по его словам, был удивительным человеком, которому вскоре, как и Ма Ноу, предстояло стать одним из предводителей их союза.

Вдове не пришлось пожалеть о принятом решении. Мужчины отнеслись к ее появлению с показным безразличием, однако вели себя вполне доброжелательно; Лю, поскольку с женщиной не заигрывал, снискал всеобщее одобрение и радовался этому. Вдова в ближайшие дни ухаживала за двумя братьями, обморозившими ноги, и даже смастерила для них тележку из подсобных материалов, которые выпросила у крестьян.

На пятый день она отправилась в родную деревню, до вечера, чтобы заработать какую-то мелочь, помогала столяру распиливать доски, заодно рассказывая заглядывавшим к ней подружкам о своей новой жизни, – и вернулась в лагерь с красивой пятнадцатилетней племянницей, а еще толстухой-астматичкой, женой кузнеца. Эти двое тоже остались у «поистине слабых».

Жена кузнеца не имела детей, и потому всем в доме заправляла побочная жена, тогда как она, законная супруга, жила в вечном страхе. Она думала, что именно побочная жена как-то ночью наслала на нее оборотня – с того-то времени к ней, первой жене, и прицепилась одышка. Толстуха вообще чувствовала себя неуютно в убогом жилище мужа, которое состояло из единственной похожей на сарай комнаты, пристроенной к кузне. И искренне верила, что ребенок побочной жены был вовсе не от кузнеца, а от жуткого сверхъестественного существа, природа которого пока оставалась для нее неясной. Пятнадцатилетняя

племянница вдовы дружила с молоденькой побочной женой. Когда вдова пришла к жене кузнеца, своей подружке, и стала рассказывать ей о «братьях», та очень возбудилась, услышав, какие сильные колдовские заклятия знают эти люди, и обе женщины поклялись друг другу, что больше не расстанутся: толстуха хотела бежать из дома, над которым нависли злые чары, и вернуться позже, когда узнает у «братьев» действенные заклятия. Твердо решившись отмстить за себя, она собралась в дорогу. Но когда обе уже стояли у задней стены кузни, толстухе пришло в голову, что надо бы прихватить и племянницу ее подруги. Та часто подолгу засиживалась в гостях у побочной жены; а под половицами шебуршилась большая крыса, и поди знай, что́ произойдет в таком подозрительном доме между похотливым зверьком и доверчивой девушкой.

Словом, обеспокоенная вдова, быстро приняв решение, забрала из деревни племянницу, которая совсем этого не желала, и они втроем отправились к пагоде. В сарае уже спали; три женщины устроились в углу на одеялах, которые всю дорогу тащила племянница. Рано утром невыспавшаяся жена кузнеца с кряхтением и вздохами кое-как собрала свои старые кости – и, пока молоденькая племянница курочкой копошилась в ворохе принесенных ими тряпок, стала приставать с расспросами то к одному, то к другому из братьев, пытаясь выяснить, кто из них самый сильный колдун и что же ей теперь делать. Продрогший бродяга, которой палкой ковырял земляной пол, чтобы поставить в углубление свой чайник, дал самый обстоятельный ответ, хотя ни разу не взглянул в ее сторону. Но ей очень понравилась невозмутимость этого человека, ни в чем ей не противоречившего. Он сказал, что вообще с оборотнями и кошмарами, наверное, вскоре будет покончено – когда многие люди сообща ополчатся против них. Однако «поистине слабые» занимаются совсем иными вещами: она еще услышит, что членам их союза всё вокруг представляется пустячным, малозначимым, и оборотни, несомненно, тоже относятся к числу таких пустяков. Вот, например, Ван Лунь... Тут он нечаянно наступил ей на ногу и попросил отойти в сторонку, не мешать.

Женщина выслушала все это с глубоким удовлетворением. Особенно ей понравилось, что, судя по его словам, всякий человек, будь то мужчина или женщина, способен добиться желаемого сам, не прибегая к помощи заклинателей, чьи услуги стоят очень недешево.

Племянница на негнущихся ногах топталась за спиной тетушки и с лицемерным простодушием спрашивала, нельзя ли ей вернуться в деревню. Если бы только не страх перед той взбучкой, что ждет ее дома! А может, родные сами от нее отказались или ее продали? Старик Чу, проходя мимо, заметил заплаканные девичьи глаза, горько искривленные губы, просвечивающие сквозь покрывало. Он посмеялся над лохматой упрямицей. Она прониклась доверием к нему, привязалась с расспросами. Он ей сказал, что насильно здесь никого не держат. И она, улыбаясь во весь рот, отправилась домой в сопровождении трех «братьев», которых он дал ей в качестве провожатых.

Множество монахинь, паломниц, нищенок, всякого рода увечных женщин присоединялось к союзу. К тому времени, когда Ван Лунь обошел отроги Тайнаня, а крестьяне на озимых полях начали срезать ситник и уже выпали первые дожди, поток «поистине слабых», разделившись на несколько рукавов, хлынул в западные и южные долины провинции Чжили.

Однако ни присоединение женщин, ни разделение движения на несколько потоков не оказали столь сильного воздействия на судьбу «поистине слабых», как та перемена, которая произошла с Ма Ноу. Этот бывший священнослужитель с острова Путо, чудаковатый друг воронья с гор Наньгу, оказавшись в Чжили, сперва неимоверно вознесся, совершив княжеский, исполненный страсти поступок, а потом сам погубил, принес в жертву своей распоясавшейся гордыни и себя, и значительную часть «поистине слабых».

В Бадалине Ма Ноу был только зачарованным наблюдателем того, что происходило с Ваном. Этого щуплого человечка переполняли чувства материнского страха за любимое чадо, благоговения, восхищения. Когда однажды утром Ван, вздохнув, отправился в свое одинокое странствие, Ма Ноу растерялся. Он

сидел в голой комнате, заваленной всяким хламом, смотрел на распухшие костяшки своих пальцев, на будд, которых перетащил сюда с тележки, на маленькую, не больше локтя, тысячерукую Гуаньинь, стоявшую на подоконнике. Попрошайки, воры и убийцы сделались теперь его товарищами; а значит, ему предстоит бродяжничать, вечно бродяжничать. Может, хоть иногда будут попадаться виверры, похожие на ту толстую, старую, которая каждый вечер тыкалась мордочкой в его дверь и тихонько, по-воробьиному, верещала*; сейчас, наверное, она бегает по его брошенной хижине, обнюхивает углы – если, конечно, там не поселился какой-нибудь бездомный пройдоха и не спугнул бедное животное. Ворóн-то полно повсюду, их он увидит – если не тех, прежних, так других. Но как его угораздило прибиться к этому сброду? Вана здесь больше нет. Он, Ма, хотел бродяжничать, ничему не противиться, истинно: не противиться. Однако слова эти не имеют смысла, если рядом нет Вана. Никчемным сотрясением воздуха казалось ему теперь Ваново наставление: «К чему бушевать и бороться, ежели судьба все равно идет своим путем? К чему все усилия, ежели судьба – счастьем ли, успехом, болезнью или пресыщением – всегда только удушает человека?» Удивительно слышать такое из уст бродяги!

Недоверчивый, погруженный в себя, двигался Ма в общей колонне. Весь день почти не разговаривал. Когда же, наконец, заснул, ему вспомнилась последняя ночь, и он страшно затосковал по глубокому, твердому голосу Вана. Сперва он сам толкал маленькую тележку с укутанными покрывалом буддами и сердито отклонял все предложения помощи. Но уже через пару *ли*, когда дорога пошла в гору, его тонкие руки одеревенели и он вынужден был уступить дышло другим. Усталость только усиливала нетерпение, и оно больно пощипывало нервы, будто то были струны миниатюрных цитр. Выбившись из сил, он опустился на круглый камень посреди дороги.

Движение колонны застопорилось. И очень скоро Ма Ноу, буравивший взглядом снег, осознал, что все остановились из-за него, вместе с ним. Он, обозлившись, хотел было вскочить, наброситься на того, кто взялся толкать тележку с буддами, но,

обезоруженный устремленными на него серьезными взглядами, посмотрел вокруг. И быстро пробормотал: «Трогаемся!» Пристыжено поморщился. Смех да и только: эти олухи ждали его команды, эти прожженные бестии не хотели двигаться дальше, пока бывший монах не подаст им знак. Как хохотал бы сейчас настоятель с острова Путо! Его ученик, Ма Ноу, стал вожаком разбойничьей шайки, главарем бандитов!

Только теперь ему пришло в голову, что он, собственно, занял место Вана. Но он ведь к этому не стремился, он сам нуждался в Ване. В мгновение ока отчаянное «Я не хочу!», мучительное желание немедленно увидеть Вана, стиснуло его внутренности, комком застряло в горле, выдоило старческую слюну. В отчаянии схватился он руками за сердце. Он чувствовал себя безвозвратно погибшим. Голова пошла кругом, лицо запылало при одной мысли о том, что Ван в одночасье исчез и все сразу обессмыслилось: радостное признание его – Вана – превосходства над самим Ма, приход – вместе с ним – в захваченное селение, последующий исход оттуда нищенствующей братии. Все это продырявливает, опустошает грудь, острым колом вонзается в позвоночник.

Он занял место Вана: эта внезапная безумная мысль потрясла его.

Его затошнило, когда он подумал о невозможности продолжения прежней жизни. Ван ускользнул: что же теперь делать ему, Ма Ноу? Он так испугался, что готов был по-собачьи завыть.

Надо взять себя в руки, взять себя в руки! Где сейчас Ван Лунь? Бродяги и нищие о чем-то спорили. Он слышал обрывки священных доктрин – тех самых, которые постепенно высасывал из него Ван. Его простодушные попутчики еще не освободились от дурмана вчерашнего вечера и ночи. Он уныло наблюдал за ними; и вместе с тем пытался как-то справиться со своим состоянием, не поддаваться страху. Заставил себя: вспомнить тот блаженный час, когда он созерцал набрякшее снегом небо и впервые понял, что любит Вана. Он хотел пережить это еще раз, только это переживание могло его спасти. Он подошел поближе к бродягам; и опять с мучительной ясностью увидел

себя – в роли подслушивающего, примазавшегося, примкнувшего. Как ему разыскать Вана? Они уверенно шагали вперед, вовсе не чувствовали себя покинутыми – сыном рыбака. Ма же бесстыдно замешался в их ряды. Он им льстил, он только притворялся таким же, как они, чтобы эти бродяги не заметили его ущербности. Но неожиданно для себя он задышал ровнее, каким-то образом их радостная уверенность залатала дыры в его душе. И он глубже натянул на уши черную шапку из кошачьего меха.

Тревожное ощущение, что люди, которыми он должен руководить, ближе к Вану, нежели он сам, не покидало его и в следующие две-три недели. Порой из него нельзя было вытянуть ни слова; или он стискивал зубы в бессильной злобе: ему казалось, будто его намеренно искушают. Попрекают тем, что он – такой, как есть. Но потом он опять принуждал себя успокоиться и с удивлением убеждался: что братья ничего плохого о нем не думают, что они ему полностью доверяют. Даже, как это ни смешно, относятся к нему с благоговейным почтением, мало чем отличающимся от того чувства, которое они испытывают по отношению к Вану. Он совестился отвечать на их вопросы. Но, хотя сам стыдился своей новой роли, они, очевидно, не видели ничего такого, что могло бы ему помешать ее исполнять; Ван Лунь не стоял между бродягами и им, Ма Ноу. Они сами – добровольно, настойчиво – предлагали ему себя в качестве объекта его власти. Он же воспринимал как грех каждое распоряжение, отданное этим людям, – как нечто оскорбительное по отношению к Вану. И, тем не менее, все это доставляло ему какое-то извращенное удовольствие.

Потом он привык. Каждодневные заботы притупили остроту ощущений. Вынужденный ежечасно высказывать свое мнение, принимать ответственные решения, он очень быстро оказался именно на такой дистанции от братьев, на какой они желали его видеть, – в положении признанного руководителя. Он действовал. Это требовало не только благочестивых раздумий. Ему приходилось сталкиваться и с сопротивлением. Он уже по горло насытился сомнениями, возвысился над ними. Прежняя жизнь у перевала Наньгу постепенно отступала во тьму. Новые неотложные задачи беспощадно перекраивали личность Ма Ноу.

Учение Вана излучало холод. Многие из тех, на кого оно в первую очередь воздействовало, со временем неизбежно должны были против него восстать. Например, неумехи, которые, разбойничая в горах Наньгу, отучились от всякого полезного дела, ибо в тех бедных краях даже сбором милостыни не могли обеспечить себе прокорм, а за попрошайничество подвергались арестам и побоям: они лишь с трудом и с большой неохотой возвращались к нормальной жизни, и их непросто было подвигнуть к общению с людьми. Их косые взгляды говорили о том, что они очень скоро опять примутся за разбой – единственную работу, в которой знают толк. Ма Ноу всерьез взялся за таких; ведь в планы Ван Луня наверняка не входило, чтобы его последователи бездельничали, сложив руки, или становились нравственно развращенными людьми. Другие тоже требовали тщательного присмотра: кто-то, скажем, радовался скитальческой жизни, утром, бодрый, куда-то уходил, вечером возвращался – оживленный, довольный, слишком уж довольный; потому что встретил в ближайшем местечке своего родича и, не думая об остальных братьях, втихую наслаждался его гостеприимством. Ответственность руководителя чудовищно возросла, когда приток новичков сильно увеличился и уже невозможно было понять: кто пришел последним, как его зовут, что́ у него за судьба, не взбунтуется ли он против «трех драгоценных принципов» – бедности, целомудрия, недеяния, чего ждет для себя от союза «поистине слабых». В тот период в союз начали вступать беглые преступники – чтобы спрятаться от властей; и каждый раз приходилось решать: сто́ит ли по-братски принять какого-то конкретного человека, или нет, предоставить ли ему убежище, или выгнать. В одном случае ты рисковал навлечь на себя месть бандитов, в другом – пристальное внимание полиции и местных властей. Бывало, полиция без долгих разговоров хватала ни в чем не повинных мужчин и женщин, подозревая их в укрывательстве преступников.

«Круг благочестивых», как называли себя «братья», неуклонно разрастался. И они самостоятельно пришли к своеобразной вере. Они полагали, что постепенно, путем «погружений», люди

из замкнутого круга «поистине слабых» обретут ту заветную цель, которую они иногда называли Западным Раем на горе Куньлунь, иногда – царством пятого Майтрейи, а иногда – дарующим бессмертие эликсиром жизни.

Ма Ноу с силой отрывался от себя-прежнего. И врастал в свою новую жизнь. Лишь с трудом и нечасто удавалось ему припомнить те времена, когда он жил у перевала Наньгу. Наньгу было местом рождения их союза; много воды утекло с тех пор, как сын рыбака из Шаньдуна впервые заговорил о древнем принципе *у-вэй*, «недеяния». Ма в своем длинном лоскутном священническом одеянии казался теперь более суровым. Его маленькое треугольное личико походило на профиль ворона. Поразительно живо билась жилка на низком, скошенном лбу; подрагивающие тонкие губы свидетельствовали о напряженной работе мысли. Пока он жестикулировал своими худыми руками, его глаза опутывали слушавших волшебными нитями, от которых те уже не могли освободиться. Он говорил поспешно, как и раньше, но теперь – более внушительно и строго. Таков был кормчий, которого выбрали многие из тех, кто желал совершить Великую Переправу.

МА НОУ с группой из двухсот человек, мужчин и женщин, откололся от общего потока, стремившегося дальше на север. Это произошло недалеко от Тяньцзиня, города в среднем течении реки Фуянхэ, вдоль русла которой они следовали с того момента, как спустились с Тайшаньского хребта. Ма Ноу хотел как можно скорее добраться до пустынной местности – болота Далоу, – расположенной к югу от Чжао. По причинам, неясным для него самого, его притягивал этот безмятежный край. В окрестностях Тяньцзиня к группе Ма присоединились еще несколько мужчин и женщин.

Юная госпожа Лян Ли, первая красавица города, приблизилась к лагерю семенящей походкой, опираясь на плечи двух служанок; она происходила из прославленного рода Цзоу, к которому принадлежал, среди прочих, и великий цензор Цзоу Иньлун, живший во времена минского императора Сы-цзуна*. Госпожа

Лян с самого раннего детства очень привязалась к отцу, который одно время занимал высокую государственную должность, а после вместе с семьей поселился в Тяньцзине, городе своих предков. Хрупкая мать Лян, законная супруга Цзоу, много лет тяжело болела. Ее энергичная дочь и близко не подпускала двух побочных жен: она сама вместе со служанками ухаживала за младшими детьми и самоотверженно помогала отцу управляться с обширным хозяйством. Цзоу очень любил красавицу-жену, на лечение которой потратил половину состояния. Каждый заклинатель духов, впервые приходивший в тот город, тут же узнавал, что может заработать свои первые *ляны* у Цзоу. Цзоу устраивал целые процессии, чтобы помочь жене, которая, тем не менее, с каждым днем все более слабела, бледнела, страдала от горловых и носовых кровотечений и страшно стонала, жалуясь на свою участь. Потом вдруг ее не стало, и сколько бы домочадцы ни прижигали ей пятки, ни втыкали иголки под ногти, пробудить ее они не смогли.

Но, видимо, жуткий прилипчивый вампир, который высосал жизнь из этой женщины, не насытился ею до конца; как бы то ни было, овдовевший супруг – еще моложавый мужчина, превосходный боксер и борец – после смерти жены как-то уж слишком затосковал. И случилось такое, о чем посторонние никогда не узнали: однажды лунной ночью вдовец возжег ароматические палочки для предков, после чего попытался утопиться в пруду. Уловив среди ночи запах благовоний, Лян встревожилась, накинула длинный халат и пробежала по всем комнатам, разыскивая отца, а потом выскочила в парк. Она успела вытащить отца из пруда. Цзоу благодаря заботам дочери вскоре поправился.

Но со времени того ужасного происшествия его отношение к красивой дочери изменилось. При ней он вел себя скованно. И вообще ее избегал, предпочитая общество двух молодых побочных жен, чьи прелести, казалось, только теперь по-настоящему оценил. Вдовец, которому было уже за пятьдесят, хотел заглушить боль утраты, наслаждаясь красотой этих женщин. Дочь же неотступно преследовала его. Ее ненависть к обеим женам перешла всякие границы. Она оклеветала их перед Цзоу

и добилась-таки, чтобы он прогнал младшую – безобидное и беспорочное существо.

Однако и это не вернуло в дом мира. Лян по-прежнему носила траур по матери. Ее шею украшали золотые цепочки и жемчужные ожерелья умершей. Она прикрепила к поясу оба материнских шелковых мешочка с ароматными лепестками лотоса*. Два золотых и два серебряных кольца, которые Цзоу когда-то подарил своей невесте, Лян теперь вытащила из шкатулки и надела на пальцы. Цзоу старался как можно меньше бывать дома. Он посещал театры, одерживал победы на публичных состязаниях борцов. В городе поговаривали, будто у него есть любовница в квартале «расписных домов». Но прежде чем он окончательно загубил свою репутацию, в Тяньцзинь приехал его брат, дипломированный ученый из Дамина, чтобы проверить, соответствуют ли дурные слухи действительности.

Приехавший упрекнул Цзоу, который был старше его на десять лет, в том, что тот навлекает позор на весь их род; а главное, еще во время лодочной переправы убедил брата допустить представителей их семейного клана к управлению принадлежащей ему недвижимостью и, наконец, возвысить побочную жену – которую он прогнал и которая уже после изгнания родила ему ребенка – до положения законной жены. Когда братья переступили порог дома и сообщили обо всем этом Красавице Лян, как об уже принятом решении, та, повертев на пальцах кольца, поклонилась отцу, сняла с себя цепочки и ожерелья, сложила их на пол перед Цзоу и попросила, чтобы еще до новой свадьбы отец выбрал супруга и для нее. Выбор отца пал на некоего Хуцзы, давно потерявшего надежду добиться руки Лян.

Сыграли ту и другую свадьбу. Лян поселилась в доме у Хуцзы, который относился к своей юной супруге с глубочайшим почтением. Но этот умный, холодный человек не мог справиться с ее темной и буйной натурой*. Поначалу Лян жила как затворница и, казалось, отвечала на любовь мужа. Но ребенка она ему не родила. Тогда он подумал, что будет лучше, если Лян станет время от времени появляться на людях; кроме того, он велел слугам украшать ее комнату камнями и полевыми цветами, чтобы она

иногда прикасалась к тем и другим – ведь в них обитают духи еще не рожденных детей. Молодая женщина хотя и подсмеивалась над подобными суевериями, но с мужем не спорила.

Однажды она решила навестить отца. Его не оказалось дома. Она прошлась по таким знакомым комнатам, вынула из шкатулки, которую обнаружила в сундуке за занавеской, давнишние жениховские подарки отца ее матери: низки жемчуга, мешочек с лепестками лотоса. Взамен, насмешливо улыбаясь, опустила в шкатулку камень, который прислал ей Хуцзы. В последующие месяцы настроение ее заметно улучшилось, она с бархатистой коварной нежностью ластилась к мужчине, которому вскоре должна была подарить ребенка. Однако взглянув в первый раз на новорожденного, осунувшаяся роженица безудержно разрыдалась, впала в какую-то странную мрачную строптивость, гневно выкрикивала, всхлипывая и сжимая кулаки, что теперь ее жизнь погублена.

Едва оправившись после родов, она кликнула носильщиков и велела доставить ее в дом отца. Не спросясь мужа, надела на себя все свадебные украшения – следуя мимолетному капризу, как она объяснила обеспокоенным служанкам. На ней были длинные покрывала, кольца, браслеты, цветы из перегородчатой эмали. В таком виде она предстала перед отцом – похожая на мать в ее юные годы, но со следами болезни на решительном лице; поклонилась и просто сказала, что вот она снова здесь. Цзоу пригласил ее в горницу, испытывая безотчетный страх. Они заняли места у накрытого к трапезе стола.

Лян чувствовала себя счастливой, сидя рядом с отцом, у него же вдруг заколотилось сердце, раздираемое болью, тоской, ужасом. Словно муж и жена, прошли они сквозь череду комнат; Цзоу безвольно подчинялся желаниям дочери; она обнимала и целовала его. Бесстыдно обхватила за плечи. Они теперь прогуливались по густому парку. В кустарниковых зарослях Лян вдруг побежала вперед, придерживая зеленый шарф, обвитый вокруг шеи, а потом, обратив лицо к отцу и взмахнув руками, бросилась в маленький пруд. Прошло порядочно времени, прежде чем Цзоу с помощью подоспевшего садовника вытащил ее из воды;

в себя она пришла только через несколько часов. В тот момент она прокляла своих спасителей и, прильнув к груди безутешного Цзоу, разразилась плачем, упреками, невнятными криками. Она не отпускала отца, пока он против воли не обнял строптивую дочь и не шепнул, покрывая ее лицо поцелуями, что желал бы умереть вместе с ней. Потом она еще долго лежала, притулив голову у него на коленях, а ближе к вечеру спокойно опустила веки, приподнялась и с отсутствующим видом сказала, что ей пора возвращаться к мужу. Паланкин Лян так и не добрался до дома. Но назавтра незнакомый посыльный доставил Хуцзы ее письмо: она, говорилось там, чувствует себя хорошо и очень надеется, что муж и сын, которого ей посчастливилось родить, тоже пребывают в добром здравии; она намерена и впредь хранить верность супругу, хотя жить с ним вместе не будет.

Соблазнившись учением о «недеянии», Лян в окрестностях Тяньцзиня присоединилась к группе Ма Ноу, чтобы впредь жить в бедности, целомудрии и безразличии ко всему происходящему.

В лагере Красавице Лян Ли пришлось расстаться с ее служанками. Потому что здесь ни один человек не служил другому. Она, как и все женщины с ножками-лотосами*, каждый день под охраной нескольких «братьев» или сильных крестьянок ходила просить милостыню, петь, ухаживать за больными.

Рядом с ней в высоких зарослях гаоляна* частенько сиживала госпожа Цзин. Это была простая торговка овощами, чьи жизненные обстоятельства лишь на поверхностный взгляд казались благополучными; она уже год как овдовела, воспитывала двух сыновей – двенадцатилетнего рослого мальчика и еще одного горбатого золотушного ребенка, с очень дурным характером. После рождения несчастного уродца она перестала баловать старшего сына. По мере того, как обнаруживались странные качества второго ребенка, которого отец прозвал Старичком, ее внимание все больше переключалось на него. Вопреки своему убеждению, что во всем виновата ведьма-акушерка (не случайно же на их улице родился уже второй неудачный ребенок), и несмотря на то, что она прибегала ко всем мыслимым оздоровительным средствам – золе, воде, прижиганиям, – несчастная

мать не доверяла самой себе: возможно, она не предусмотрела чего-то во время беременности или еще раньше, или слишком легкомысленно отнеслась к рождению своего младшенького, или совершила какие-то другие ошибки. Она ни на миг не выпускала младенца из виду. О старшем же теперь и слышать не хотела, говорила с досадой, что ноги у него прямые – чего ж, мол, ему еще надо. Она ругалась с соседками: ей казалось, они смеются над ее Старичком; а потом дело дошло и до настоящих скандалов, ибо госпожа Цзин побоями отгоняла чужих ребятишек, возмущавшихся тем, что ее малыш во время игры укусил их или поцарапал ногтями. Старичок такие проделки очень любил.

Поначалу, когда ребенку еще не исполнилось двух лет, мать прятала его от людей; она питала безграничную любовь к этому калеке, умоляла, чтобы он вел себя разумно, самолично испытывала на нем всевозможные колдовские практики; то были счастливые недели – когда она применяла какое-нибудь новое средство и потом с надеждой ждала результата, наблюдала, обманывалась то в одном, то в другом. Потом, разочарованная, сердясь на себя за то, что ради этого уродца порвала со всеми, на время оставляла ребенка в покое. Ругала на чем свет стоит маленького недоноска, навязавшегося на ее шею.

Но любовь к сыну каждый раз брала верх. Она приводила свое дитя к другим ребятишкам, вмешиваясь в их ссоры, добивалась того, чтобы никто не осмеливался дразнить Старичка, и даже большего – чтобы дети его боялись, чтобы позволяли ему их терроризировать, от чего его дурные наклонности расцветали еще пуще. Она бы оказалась из-за этого ребенка в полной изоляции, если бы не благоразумие соседок. Госпожа Цзин становилась все более нетерпимой, не желала, чтобы другие судачили о ее неудачном сыне или даже просто упоминали его имя. Она вжилась в роль обороняющейся – и теперь играла ее не только в тех ситуациях, которые напрямую касались Старичка. Ее былая словоохотливость, грубоватая непосредственность безвозвратно исчезли. Она превратилась во вспыльчивую, неуживчивую мегеру.

Тогда-то до нее и дошел слух о новых могущественных колдунах, которые спустились с гор Наньгу и движутся на юго-восток.

Слухи все множились. И женщину словно озарило вспышкой молнии: она стала бегать на двор *ямэня*, на торговые площади, где люди всегда рассказывают разные байки, жадно впитывала новости – и, как добычу, утаскивала к себе домой. Она теперь была ласковой и со Старичком, и со старшим мальчиком, возбужденно болтала на улице со знакомыми; а когда «поистине слабые» приблизились к Тяньцзиню, оставила на попечение соседу и старшего сына, и все хозяйство, сказала, что должна отлучиться на пару дней, и отправилась в лагерь Ма Ноу. Нет смысла подробно объяснять, как там жилось ей и остальным женщинам. Они не нашли того, что искали, – но в конце концов поняли, что обрели всё, о чем только могут мечтать. Ни одно их желание не было исполнено, у них просто отняли все желания.

Отряд Ма Ноу разбил лагерь в роскошной местности к западу от болота Далоу.

Шел пятый месяц с тех пор, как они покинули горы Наньгу.

Всепроникающей нежностью веяло в летнем воздухе. По вечерам от поросших цветами склонов, спускающихся к болоту, наплывали на них смутные шумы, когда же налетал порыв ветра, обрывались, словно перезвон колокольчиков; восторженные духи-утопленники роями носились среди болотных огней, над землей прикидывались темными тенями, пытались цепляться к людям. Далеко друг от друга на продолговатых холмах стояли величественные катальпы. Их толстые узловатые ветви непрерывно обрастали зелеными побегами, соединявшимися в такую плотную и пышную крону, будто деревья никак не могли вволю надышаться голубым воздухом, раскидывали могучие руки, ловя горячие золотые капли энергии *ян*. Каждый лист-сердечко выставлял напоказ блестящую зеленую кожицу, бесстыдно демонстрируя сплетение пищеварительных артерий. Когда с болота налетал ветер, голые листочки дрожали мелкой дрожью и, роняя прикрепленные к ним стручки, с любовью прижимались друг к другу. Из колышущейся зеленой массы – парящего в воздухе холма – свешивались ворсисто-коричневые стручки: они-то и падали вниз, усеивая траву, и, словно разбившиеся при падении дождевые черви, пятнали собою красивый мох. А там, где

холмы разглаживались, в котловинах буйно разрастался нарядный мискант – трава с жесткими стеблями в человеческий рост и узкими, полосатыми как шкура зебры желто-зелеными листьями, на которых радужно переливались дождевые капли.

На этих тучных землях, к которым они приблизились с запада, расположились, никем не потревоженные, люди Ма Ноу. Все ожидали скорого прибытия Ван Луня, который, по слухам, еще неделю назад присоединился к остановившемуся чуть дальше на восток отряду Чу.

Был седьмой день пятого месяца, когда в лагерь доставили молодого сильно ослабевшего брата, которого нашли в бессознательном состоянии прямо на дороге. Пятидневный пост, который он добровольно наложил на себя, явно не пошел ему на пользу. Этого почти невесомого долговязого юношу, одетого в некое подобие подпоясанной вервием монашеской рясы, притащил, бережно неся на руках, коренастый мужчина в солдатской куртке; он шел, наклоняя голову так, чтобы тень от большой соломенной шляпы падала на лицо больного. Куда ни кинь взгляд, всюду стояли хижины и палатки, будто здесь квартировалась целая армия; Ма Ноу распорядился, чтобы двадцать человек, сменяя друг друга, подвозили на тележках новые доски, потому что из-за сырости среди братьев и сестер распространялись простудные заболевания. Солдат – дезертир из провинциального армейского корпуса – положил больного, который еще не пришел в сознание, на сухой мох под катальпой, перед одной из палаток, и из черного пузырька капнул на его обветренные губы зеленую жидкость; еще по две капли втер в кожу за ушами. Больной вздохнул, попытался смахнуть горькие капли, пожевал губами – и открыл глаза. Солдат велел ему сперва задержать дыхание, потом глубоко вдохнуть, потом опять задержать дыхание.

Солнце зашло. Ма Ноу, пока не опустились серые сумерки, сидел, прислонясь спиной к дощатой стене хижины, подсчитывал что-то, смотрел сквозь растопыренные пальцы на звезды, пощипывал себя за бороду; потом распростерся на земле в молитве: завтра будет День просветления Шакьямуни, Чистого, Хранителя Меча Всепроникающей Мудрости.

Выпрямившись и удобно устроившись на теплом мху, Ма мечтательно заулыбался во тьме. Его глаза моргали; желтоватые радужки на мгновение выглядывали из узких щелок, как щенки, выбирающиеся из-под крышки короба. Мимо него проходили люди с бумажными фонарями, многоголосое радостное пение доносилось из женского лагеря, разбитого дальше к востоку, за холмом. Время от времени раздавались жестко-бесстрастные возгласы мужчин. Где-то поблизости вслух молились. Непроницаемое, грузное, толстобрюхое небо вплотную притиснулось к земле, которая вдруг – после того, как его покинуло солнце – показалась ему желанной; устами миллионов мерцающих звезд оно что-то ей испуганно нашептывало, о чем-то молило – хотя в другое время с царственным безразличием смотрело, как она копошится возле его отечных ступней. Жалобные «ва-ва» приблизились и затихли вдали, глухо гурлыкнув о деревянные доски. Это из бамбуковых зарослей выпорхнула стая птиц, пролетела, чуть не наткнувшись на стену хижины, в сторону мискантовой котловины. Ма закрыл глаза; и мысленно увидал тех ярких птиц, что в летнее время летают у перевала Наньгу и в других, более южных горах: бирюзовые хохолки на черных головках, круглые карие глаза; огненно-алое нагрудное оперение; на коричневой спинке и коричневых же крыльях переливаются темные глазки́. Как они ворковали!

Завтра братья и сестры будут праздновать День просветления Шакьямуни. Ма Ноу не хотелось спать. Здесь все держатся за него, доверяют ему. Их благоденствие в его руках. Он почувствовал во рту горький привкус, сглотнул. Все они поплывут, полетят к островам в Великом Океане, и всё у них будет хорошо, всё уже хорошо: корабль снаряжен, кормило на месте, оно прочно укреплено. Гуаньинь – имя госпожи судна, и она, стоя на палубе, будет руководить переправой, отдавать распоряжения ветру. Братья молятся ей, сестры поют для нее, всем им живется привольно в тени госпожи Гуаньинь. А он, Ма Ноу, – слуга на судне, верный кормчий. Его благоденствие в ее руках; он тоже искал себе место меж ее ладоней – и был раздавлен, растерт, сброшен в траву. Мудрый настоятель на острове Путо однажды отказал

ему в наставлениях, которых он ждал; тот настоятель был поистине мудр; теперь у него, Ма, есть и будут свои ученики, столько, сколько он сам пожелает; и они пойдут за ним, куда он укажет, – только почему-то он уже не гордится этим.

Ма Ноу, наклонившись вперед, спрятал холодное лицо в ладонях. И одновременно – спрятал от себя то, что ненавидит богиню тихой, но острой ненавистью; ненависть замаскировалась колющей болью за грудиной. «Ван Лунь...», – выдохнул он. Ма Ноу теперь думал о своем друге так же, как и все другие: видел в нем мифического гиганта. «Ван Лунь, Ван Лунь...», – причитал Ма Ноу; он чувствовал, как в нем зашевелилось что-то дурное, неясное для него самого; Ван Лунь, конечно, мог бы все исправить. Зачем ему понадобилось это ужасное путешествие в Шаньдун, к Белому Лотосу, – и ведь он не вернулся оттуда, не вернулся.

Или, вернее, вернулся, но поздно. К чему это приведет? Они все жили мирно и безмятежно, на что-то надеялись и были счастливы на свой лад. Из самого Ма, правда, ничего не вышло. Его золотых будд и хрустальную тысячерукую богиню возили за ним на тележке – как пищу, которую он так и не отведал. В суете повседневных забот о братьях не оставалось места ни для «погружений», ни для «преодолений». Четырех священных ступеней он даже не касался своей стопой. А ведь было когда-то: он погружается в поток, единожды возвращается, больше не возвращается; он сам – Архат, Лохан, Заслуженный и Достойный, равно бесстрастно взирающий на золото и на глину, на катальпу и на мимозу, на санталовое дерево и на тот топор, которым это дерево рубят. Он больше не видит ликующих небес, где разделяются, расходятся в стороны Духи ограниченного сияния, Лишенные сознания, Не чувствующие боли, Обитатели Ничто и, наконец, Пребывающие там, где нет ни мышления, ни не-мышления. Когда-то, у перевала Наньгу, безмолвно и благостно сидели перед ним золотые будды; мочки их ушей спускались до плеч; у каждого под синими волосами, собранными в пучок, посреди выпуклого лба сиял третий глаз, Око Просветления; у них были томные взоры, светлые, почти испаряющиеся улыбки на круглых гладких лицах, на полных губах; будды сидели, подогнув под

себя стройные ноги и развернув ступни подошвами вверх, – словно младенцы в материнской утробе. Теперь ничего этого больше нет. И нет Вана, нет тишины, безмятежности; он, Ма, не сумел стать причастным к растущему кругу благочестивых. А ничего другого – другого? – у него нет.

Завтра они отпразднуют День просветления Шакьямуни.

Ма Ноу отнял дрожащие горячие ладони от лица, сложил руки перед грудью, соединил пальцы особым образом; и, приняв эту священную позу – *мудру*, – надолго застыл в сладостной летней ночи.

Потом поднялся, нащупал на земле свой бумажный фонарь, заглянул в хижины к некоторым братьям; с невозмутимым спокойствием уведомил их о том, что завтра будет праздник просветления мудрейшего Будды и что к этому празднику они должны успеть соорудить Корабль Счастливой Переправы. Когда он подходил к лагерю женщин, по тому склону холма, где лежали штабеля досок, уже сновали цветные фонарики. На откосе, в двадцати шагах от первой женской палатки, Ма Ноу остановился, качнул фонариком и очень тихо сказал трем подбежавшим к нему женщинам, что завтра будет День просветления Шакьямуни; братья обещали соорудить Корабль Счастливой Переправы; их же, сестер, он просит позаботиться о помогающей при переправе богине.

Наутро с мужского холма протрубили раковины-трубы – пять раз. Мужчины, налегая на канаты, вытянули из-под катальпы грубо сколоченную барку; осторожно, придерживая ее с боков и сзади, спустили со склона в котловину, поросшую мискантом, листья которого корабль раздвигал, словно то были волны. Из зашуршавших зарослей вынырнула длинная вереница женщин и девушек; первыми шли две молодые сестры, державшие на вытянутых руках гигантскую матерчатую куклу. Они направились к хижине Ма Ноу.

Ма Ноу ждал у порога, молча, в полном священническом облачении – в сернисто-желтой накидке, с роскошным красным шарфом, в черной четырехугольной шапке; голова его была опущена, руки сложены в священную *мудру*. Женщины с куклой

преклонили колени. Прошло много времени, прежде чем он удостоил их взглядом. Они попросили, чтобы он осенил их куклу духом богини из горного хрусталя, чтобы открыл *их* богине глаза. Ма Ноу был очень бледен; отвечал вяло. Он долго лежал на полу в своей хижине, куда женщины внесли – и положили у ног богини – куклу; казалось, он молится. Потом женщины снова вошли в хижину; одна держала деревянную чашку с красным соком, в котором плавала тростинка. Ма обмакнул тростинку в красное и нарисовал на матерчатом лице: глаза, рот, ноздри, уши; теперь кукла могла видеть, вкушать пищу, обонять, слышать; она получила душу и стала Гуаньинь, Богиней Священной Ладьи.

Десять мужчин и десять женщин отправились в тот день по окрестным деревням, чтобы лечить больных, работать, просить милостыню. Другие много часов молились в зарослях мисканта, мужчины отдельно, женщины отдельно; а перед самым кораблем – Ма Ноу. Звонили колокольчики, люди отбивали земные поклоны; священнослужитель монотонно читал молитвы; время от времени слушавшие падали ниц. Когда солнце начало клониться к горизонту, мужчины и женщины – вперемешку – расселись вокруг судна, к мачте которого была прислонена пестрая богиня, и приступили к трапезе.

Рассказчики историй расхаживали меж ними, прыгуны и фокусники показывали свое искусство; несколько бывших куртизанок, которые прежде музицировали каждая сама по себе в разных концах долины, собрались вместе и, поднявшись на корабль, взялись за руки, стали водить вокруг Гуаньинь хоровод, запели радостную песню о зеленых скалах; многоголосая нежная песня полилась, снова и снова повторяясь, над холмом, стволы деревьев отбрасывали ее назад.

На вершине Женского холма братья утрамбовывали заранее принесенную землю, ударяя по ней досками, чтобы получилась удобная площадка; потом пригласили для исполнения танца юного евнуха и стройную большеглазую куртизанку. Евнух с грациозными ногами газели и гордо-мечтательными глазами первым ступил на площадку, хорошо видный всем, кто сидел в зарослях мисканта или на склоне Мужского холма; и огляделся. На

нем был обычный халат и широкие штаны, то и другое черного цвета; а ведь все знали, что он, когда бежал из Пекина, прихватил большой сундук с дорогой одеждой. В этом черном свободном одеянии, с убранной в узел косичкой, он вскинул легкие руки и – затанцевал.

Он двинулся по кругу, пружиня в коленях, приседая все ниже, пока чуть не сел на пятки; потом рывком поднялся и всплеснул над головой руками, соединив на миг тыльные стороны ладоней; потом – еще и еще, чаще и чаще. Потом вдруг замер, повернул лицо, так что все увидали его лучезарную улыбку, и, выставив одну ногу, начал совершать странные движения корпусом. Он изогнулся вправо, сложил руки перед грудью, изогнулся влево, описал полный круг; потом, уже с неподвижным туловищем, уронил руки, и они волнообразно заколыхались, будто ловя что-то. Он резко вскинул их – и опять они заколыхались, затрепетали. Теперь он сблизил стопы и как бы побежал на месте, руки же полетели вверх и вбок – и все тело, вплоть до кончиков пальцев, участвовало в этом порыве; казалось, тело зачаровано каким-то злым заклятьем и напрасно пытается пуститься вдогонку за ладонями, пальцами. Маленькие подошвы переступали все отчаяннее и быстрее, все более дробно, пока танцору не удалось отскочить далеко вправо, потом далеко влево от «зачарованного места» и он, охваченный ликующим безумием, не принялся высоко подпрыгивать – наклоняясь вбок, когда опускался на землю, и почти дотрагиваясь до нее; затем, еще весь трепещущий, он вернулся на прежнее место. Но уже выплывала навстречу ему большеглазая куртизанка с низким выпуклым лбом, с черными волосами, уложенными в «Тринадцать завитков», с полным, красивой лепки лицом: маленькая фигурка задрапирована в длинный светло-серый халат, из-под фиолетовых шаровар, на лодыжках, выпрастываются белые кружева, травянисто-зеленый кушак – в левой руке. Девушка склонила голову к одному и другому плечу, потом кивнула, вскинула подбородок, изящно и плавно стала поворачивать шею. Когда спина ее вновь расслабилась, пришла очередь кистей рук, до того совершенно неподвижных: они ожили, зашевелились на фоне

фиолетовых штанин, сперва едва заметно, потом – заметнее и быстрее; и локти отделились от туловища. Раскинув руки в стороны и вращая запястья, танцовщица вдруг резко качнула бедром; и это движение передалось ногам. Сперва ноги заразились раскачиванием бедер и тоже вздрогнули, упоительно колыхнулись – шаг вправо, влево, и вот уже крошечные ступни обрели самостоятельную жизнь. Сильные бедра оставались плотно сжатыми, а ниже колен ноги расходились, снова сходились. Танцовщица легко подпрыгивала, держа на вытянутых руках нарядный зеленый кушак, описывала круги вокруг молодого евнуха, который в такт ее движениям покачивал головой и ударял в ладоши. Они танцевали один вокруг другого, один рядом с другим. Евнух упал на землю, потом, ритмично выбрасывая руки вверх, медленно, в несколько сильных рывков, приподнялся на коленях; куртизанка неподвижно застыла над ним, скрестив руки перед своим лбом. Когда юноша, в последний раз взмахнув руками, выпрямился во весь рост, она быстро присела на пятки, и теперь он, нависнув над ней и протягивая раздвинутые пальцы – притягивая к себе, – заставил ее подняться. И оба заскользили рядом, словно две рыбы, соприкасаясь вертикально поднятыми ладонями.

Потом, переодевшись в костюмы из сундука молодого евнуха, они еще станцевали перед ненасытными зрителями «танец павлиньих перьев, красных и черных ленточек». И уже невозможно было различить, кто из них мужчина, а кто – женщина. К вечеру все участники праздника оживились. Кораблю предстояло отправиться в плавание в то мгновение, когда солнце скроется за горизонтом. Женщины, сбившись вместе, сидели на корточках, переговариваясь друг с другом; на коленях у них лежали цветные полоски бумаги, на которых они надписывали свои имена или имена дорогих умерших, а также заклинания против злых духов и болезней; они по очереди подбегали и бросали эти бумажки к ногам куклы. Днем мужчины пышно разукрасили корабль красной бумагой, привязали к мачте длинный вымпел, подняли маленький парус, усеянный тысячью красных глаз. Теперь зрители плотным кольцом обступили волшебное судно; зазвонили колокольчики. И наконец – вспыхнул огонь, загоревшиеся

бумажные полоски разлетелись по доскам палубы. Толпа отпрянула. Пожар начался с носовой части; светло-алое пламя взбежало по снастям, лизнуло парус, и через мгновение весь такелаж уже полыхал, превратившись в слепящее зарево. Общий выдох восторга: «Ах!»; и взметнулись руки. Свет померк. Богиня все еще стояла на месте; дощатый остов горел чадно, потрескивал, разбрасывал искры. Люди испуганно падали ниц, молились, чтобы богиня взяла с собой в плавание их пожелания и просьбы. Дым все уплотнялся, треск усилился; пламя трудилось, не жалея сил. Белесое сияние, быстро набирая яркость, то исчезало, то вновь прорывалось сквозь дымную пелену. Дым уже окутал и мачту, и саму богиню; но сквозь него еще можно было различить неподвижный черно-бурый силуэт судна. Шире и выше делались языки пламени; соединялись наподобие облаков. Они извергались струйками рыжего песка из стыков между бортовыми досками, роняя капли, хватались руками за резные весла, налегали на них – лишенные мускулов гребцы. Наряднее, чем флажки из красной бумаги, развевались огненные вымпелы. Но потом вдруг сияние утратило все красноватые оттенки; белый равномерный свет тоже померк, и тогда – ... Люди подошли ближе. Шипение, голубоватый пар посреди белесого моря; длинная неподвижная полоса дыма над слоем раскаленных углей.

К тому времени, когда гул огня прекратился, Гуаньинь исчезла. Сквозь тяжелую дымовую завесу братья и сестры устремились к останкам корабля. Чаша с полосками бумаги сгорела; все рылись в тлеющих головешках, с радостью убеждаясь в том, что не сохранилось ни одной записки с их пожеланиями; значит, богиня забрала эти бумажки в счастливое плавание. Люди, тихо переговариваясь, начали расходиться.

Наступила ночь. На холмах, под катальпами, на мху, в зарослях мисканта – всюду спали притомившиеся за день братья и сестры. В темноте меж неровными рядами палаток осторожно пробирался рослый старик, без фонаря; вот он упал, покатился вниз по склону, поднялся, гордо прошествовал дальше: то был ночной сторож. Он шагал в совершенном мраке, но посматривал направо и налево; и нес под мышкой маленький сундучок. Он называл

себя Полуночником; настоящего его имени никто не знал, но все очень уважали этого брата, присоединившегося к отряду в нескольких *ли* от Тяньцзиня. Бывали дни, когда он приходил в дикое возбуждение и с рычанием пускался вдогонку за каким-нибудь караваном, держа в руке маленькое металлическое зеркало: по-собачьи облаивал испуганных путников, отставшим угрожал, предупреждал их о чем-то, с криками показывая свое зеркальце*. На его груди под халатом висел меч, сплетенный из конского волоса, длинный и тонкий, с основой из дерева, украшенный кисточкой; этому мечу приписывали колдовскую силу. В сундучке же Полуночник носил Царя-левой-стороны: собственную тень, которую когда-то похитил у него один гнусный обманщик*. Однажды вечером, когда тень в очередной раз его дразнила, Полуночник поймал ее и запер в сундучок, который с тех пор повсюду носил с собой. Сундучок он никогда не открывал: потому что если бы Царю-левой-стороны удалось бежать, его хозяин уже не был бы уверен в собственной безопасности.

Этот человек спал лишь по вечерам, да и то недолго. Ночами же искал другую свою тень, которую звали Хайлиндай* и которую можно увидеть только в полнейшей тьме и при соблюдении необходимых предосторожностей.

Полуночник на цыпочках обошел вокруг сгоревшего корабля, окруженного зарослями мисканта: раздвигал узкие листья, приседал на корточки, заглядывал вниз. Время от времени один из стеблей вроде бы кивал ему – и тогда старик хватался за него у самого корня, недоверчиво ощупывал, прислушивался. Была уже глубокая ночь, когда за его спиной кто-то крикнул: «Полуночник, Полуночник!» Старик от ужаса прирос к месту, схватился за волосяной меч. Пауза – и опять, будто тихий ропот листвы: «Эй, Полуночник!» Он сделал над собой усилие и неохотно, вжав голову в плечи, поплелся в ту сторону, откуда донесся голос: видно, у Хайлиндая было к нему какое-то дело.

Шагнул на узкую дорожку между рядами хижин. И тут впереди мигнул подвешенный к палке фонарь; кто-то – низкорослый – преградил ему путь, крикнул: «Слышь, Полуночник!» Оказалось, что вовсе не тень, а сам Ма Ноу разыскивал старого прорицателя.

Ма Ноу шепотом попросил, чтобы старик этой ночью покараулил возле его хижины. И чтобы, как только начнет светать, зашел к нему: он тогда даст Полуночнику одно маленькое поручение.

И в ту ночь, пока старик по своему обыкновению неприкаянно бродил во тьме, оглядывая округу, внутри хижины готовилось нечто, что должно было переломить судьбы людей, мирно спавших на обоих холмах и в низине.

Как только Полуночник заметил на небе серое предрассветное сияние, он решительно вошел в хижину, и Ма Ноу, лежавший на мешке с соломой, тут же вскочил. Он обнял старика, крепко прижал к груди. Тот грозно ухмыльнулся, схватил волосяной меч и, отгоняя злых духов, принялся им размахивать, оборачиваясь поочередно на восемь сторон света. Маленький священнослужитель пробормотал: «Полуночник, ты нынче обрадуешь своих братьев. Обойди все хижины и палатки мужчин и каждого самолично разбуди. Скажи, Ма Ноу просит их собраться на той площадке, где мы праздновали День просветления Будды. Пусть отправляются туда немедленно. Оповести их всех прежде, чем взойдет солнце».

Братья спускались с холма. Мелькание фонарей между угольно-черными стволами. Хруст веток, приглушенные голоса, зевота, потягивания, топот, толкотня. Когда они уже столпились в низине, послышался удар и сухой деревянный треск: это обрушился остов судна, потревоженный движениями людей. Обугленная мачта рухнула набок, разлетевшиеся во все стороны щепки порвали бумажные фонарики. Мужчины сложили платформу из досок, уселись напротив нее, ждали.

Появился Ма Ноу в разодранном пестром одеянии. За его спиной важно топтался Полуночник, держа в руках священническую накидку, шарф и черную шапочку. Для Ма освободили проход, чтобы он занял место на возвышении, и прорицатель положил одежду у его ног, предварительно оборотившись на восемь сторон света и с каждой стороны ткнув указательным пальцем в воздух. Глаза Ма отекли и покраснели; побледневшее лицо опухло от слез; руки до крови расцарапаны.

Множество мужчин и их предводитель, непобедимый колдун, молча смотрели друг на друга, будто сошлись стенка на стенку. Те, кто сидел ближе, бросали недоуменные взгляды на шарф Ма Ноу. Их беспокойство передалось остальным. Послышались возбужденные выкрики: мол, пусть говорит.

Он встал, повертел в руках шапку. И, запинаясь, рассказал, как в течении многих лет молился у перевала Наньгу золотым буддам, безответно. Потом к нему пришел некий человек из Хуньганцуни, и с тех пор он, Ма Ноу, считал свою жизнь правильной. Но того человека, Ван Луня, уже много месяцев нет с ними, он больше не вернется; *не вернется*; а если вдруг и вернется, то теперь уже слишком поздно. Это, собственно, он и хотел им сказать.

Ма Ноу опять надолго ушел в себя. Когда же разомкнул веки, показался своим слушателям вконец изможденным, из-за округлившихся сонных глаз. Даже голос его звучал теперь по-другому: стал слабым, чересчур близким, будничным.

«Что с тобой? Тебя кто-то оскорбил? Что тебе сделали?»

Он повторил – три, пять, десять раз, – что хочет говорить с ними; а продолжать не мог; сглотнул слюну, скрестил руки на груди, отвернулся от фонарика, которым кто-то посветил ему в лицо, пробормотал: «Омитофо, Омитофо, Омитофо...» И вдруг – крикнул так страшно и пронзительно, что от этого крика разрывались сердца: «Я хочу уйти! От вас, плывущих по белопенному морю, мне нет и не будет доли. Я не причастен к растущему кругу благочестивых. Я обязан пожертвовать собой ради вас – знаю, что обязан, ибо иные пути для меня закрыты. Но ваш недостойный брат – который на самом деле не брат вам – больше так жить не может. Я хочу на волю! Ваше дело, осуждать меня или нет. Ваш бедный брат безнадежно запутался в Колесе Бытия и потому – плачет перед вами...»

Братья стали молиться. Даже самые прозорливые из них впали в сильнейшее замешательство.

«Чего же ты хочешь?»

«Тебе не обязательно руководить нами. Мы можем выбрать другого».

«Потерпи немного, Ма Ноу! Ван Лунь сейчас всего в двухстах *ли* от нас».

«Послушай, Ма, в тебя вселился какой-то демон! Верь мне: все дело в демоне».

«Ты же наш брат! Мы ничуть не более непорочны, чем ты. Зря ты сомневаешься в этом. Оставайся здесь, оставайся с нами, Ма!»

«Чего ты хочешь?»

Возбуждение Ма нарастало. Выкрики братьев не доходили до его сознания.

«Я хочу уйти. Я запутался в Колесе Бытия. Оно протащит меня через все нечистые образы зверей и растений. Я уже не сопротивляюсь ему, нет; больше не сопротивляюсь. Я сопротивлялся судьбе вплоть до того мгновения, когда увидел, как Полуночник ищет в мискантовых зарослях Хайлиндая. У меня тоже украли тень. Я не был таким хитрым, как Полуночник. И у меня, в отличие от него, нет волшебного меча. Нет такого, как у него, сундучка. Я не такой бдительный, как он. Царь-левой-стороны – уже не моя тень; я потерял также и Хайлиндая, и Луфу, и Соу Гуаня, и Цзаояо*. А тот, кто потерял свои тени, должен разыскать их или умереть. Простите, братья, что я больше не в силах сопротивляться, что покоряюсь своей судьбе. Не молча, нет, ибо для этого я слишком слаб, но со стенаниями и плачем, с раздиранием своей плоти. Я должен пробиться к свету, который меня озарит. Простите, братья!»

Мужчины сидели как оглушенные. Будто Ма и вправду оглушил их ударами дубинки. Головы поникли, люди почти перестали дышать.

«Я попросил вас собраться до рассвета, потому что хочу покончить с этим еще до того, как истечет День просветления совершенного Шакьямуни. Для себя же я жду не просветления, а только конца. Ваш бедный брат больше не верит, что сумеет достичь просветления. Он не бросал в барку Тысячерукой Госпожи записку со своим именем, ибо давно знает: богиня ее не примет. Взгляните же на меня, человека, который вздыхает и стонет, но – вырывается на свободу».

Опухшие губы искривились в подобие улыбки. Он наклонился, пошарил вокруг, поднял желтую накидку, перекинул ее через руку. Ма Ноу, казалось, был одержим болью. «Лучше б я не встречал Ван Луня! О шелковожелтый цветок, лучше б я никогда его не встречал! В хижине у перевала Наньгу я только плевал на себя, здесь же должен раздирать свои внутренности!»

Он взял у кого-то из стоявших рядом фонарь, посветил перед собой, потом – над собой, прислушался к безмолвной черной массе. Со стороны болота летели журавли. Вдруг Ма взмахнул желтой накидкой как знаменем и прошипел: «А знаете, куда он теперь пойдет – Ма Ноу, служитель богини Гуаньинь с острова Путо, друг всех "поистине слабых", обучивший их драгоценным принципам? Знаете, куда устремится? Я вам охотно скажу, я это давно предчувствовал – еще с тех первых недель, когда Ван Лунь отправил меня бродяжничать с вами. Когда он дал мне котелок и бобы, но не нашел времени, чтобы объяснить, *как их варят*. Он покинул меня. И теперь не вправе пенять, если и я в свою очередь его покину. Яньло-ван*, владыка Преисподней, знает, как горько мне покидать Вана. Так вы догадались, какой свободы жаждет Ма Ноу? Полуночник, может, ты догадался? А вы – Суй, Дуань, Чжан? Неужто – ни один из вас?»

Он рассмеялся тихо, но резко (так лопается мыльный пузырь), и произнес нараспев, тоном, каким никогда прежде не говорил: «Я иду – к женщине на том холме, которая, может, уже дожидается меня. Вот так-то, дорогие. Теперь вы знаете. И кончим разговор».

Всхлипы и вопли, ужасные старческие рыдания сотрясли темную людскую массу. Никто не шелохнулся, не поднял головы. Маленький священнослужитель спустился с дощатого помоста. Пока он пробирался вдоль первого ряда сидевших на корточках братьев, ни один из них на него не взглянул. Но у дальнего конца корабельного остова – там, где валялись обломки руля, – кто-то схватил его за край накидки. Ма остановился. Из темноты вынырнул человек гигантского роста, жестко проронил: «Брат, тебе бы лучше повеситься на ближайшем суку!»

Ма с презрением выдернул из его руки свой плащ. Десять рук потянулись к гиганту, который так же холодно продолжил: «Он хочет предать нас. Правила здесь не в счет. Его нужно вздернуть на ближайшем суку!»

Двое преградили ему путь – рассудительные крестьянские парни, прибившиеся к отряду всего неделю назад. Оттолкнули: «Ты ему не судья. Мы все друг другу братья. Посмеешь тронуть Ма, отрубим тебе обе руки!»

Гигант не успел опомниться, как они рванули его за ноги, опрокинули, подмяли под себя. Он взвыл, вцепился в штанины обидчиков. Факелы, головешки полетели из задних рядов. Вокруг дерущихся столпились люди, разняли их. Все трое еще долго не могли отдышаться.

Ужасные рыдания сотрясали черную людскую массу.

«Где Ван Лунь? Почему его до сих пор нет?»

«Я буду молиться, дорогие братья! – звонко пропел кто-то. – Наш круг вновь сомкнется. Время Майтрейи еще не пришло. Я должен молиться. Иначе мы все пропадем!»

Мужчины гнули спины, прижимались висками к влажному мху. Сутра Преодоления разносилась над серым полем, вырываясь из тысячи уст.

Молодой человек с заурядным лицом и выступающей вперед челюстью – чеканщик Хэ – длинноного перепрыгнул через ряды, вскарабкался по чужим спинам на платформу и закружился в экстазе, замахал руками: «Нам поможет только молитва! Майтрейя уже грядет. Надобно знать час и место его прибытия. Молитесь же – ради Пяти Драгоценностей, молитесь! Не оставайтесь праздными! Сомкните кольцо! Вы мои братья. Поддержите меня!»

Он отвратительно гримасничал, крутил руками, с пеной на губах катался по доскам – и наконец, неудачно повернувшись, скатился с них.

Глухие рыдания человеческой массы перешли в стоны, в прерывистый клекот. Шеи вытягивались в сторону чеканщика, который по-прежнему бился в судорогах. Глаза, напряженно следившие за ним, выкатывались из орбит; поле и серый холм

виделись смутно. Рты распахивались. Все странно улыбались, захваченные странным зрелищем. По подбородкам стекала слюна; каждый принюхивался и, сам того не сознавая, выкрикивал что-то, подражая соседям. Ибо все они хотели немедленно спросить Хэ еще о чем-то. Но стоило им приподняться, и шеи, руки, колени начинали дрожать. Озноб, подергивание конечностей, оцепенение – затылки откидываются назад – улыбки проступают отчетливее. И уже приятно пробегают судороги по бедрам, животам: швыряя зрителей, одного за другим, на землю.

Красная волна разлилась над долиной.

Полуночник и еще человек десять расхаживали по полю с пучками ситника, колючими ветками. Они запрыгивали упавшим на грудь, щекотали им ладони и губы, пучками травы отгоняли от них опасный воздух, колючками кололи под сосками и в темя – одновременно болтая друг с другом, обороняясь, переворачивая человеческие тела.

Маленький сгорбленный человек возле разбитого руля барки вертел головой во все стороны, подолгу смотрел то на одного, то на другого. Он ни о чем не думал. Он сиял. Почему они все упали, как ловко запрыгивает на них вон тот. Надо бы раскалить иголки и загонять им под ногти – чтоб очнулись. Когда он слышал рядом рыдания, его грудь тоже колыхалась, будто гора при землетрясении, гортань делалась горячей, ему казалось, чья-то ласковая рука поглаживает его пищевод, как колбаску, передвигая туда и сюда валик плоти, – и он плакал вместе со всеми. Плакал тихо, с булькающими всхлипами, желая лишь одного: чтобы *это* никогда не кончалось, чтобы не иссякал неведомый теплый источник, струивший по его губам, пальцам, ногтям соленую влагу, которой он смачивал себе виски и уши, которой омывал и омывал руки.

Каменные стоны в долине прекратились. Люди теперь хрипло окликали друг друга, отодвигались от соседей. Прежде ведь все лежали вповалку. Кто-то, приподнявшись, растирал затекшие голени. Кто-то сидел и смотрел, будто на драгоценные камни, на головешки у своих ног – даже подносил какую-нибудь к губам, облизывал. Братья медленно, неуверенно утирали слюну с

подбородков, зевали, срыгивали, сплевывали. Отупевшие, каждый сам по себе, пытались что-то осмыслить, сосредоточенно хмурили лбы. Но внезапно, словно по наитию свыше, все посмотрели друг на друга – и друг друга узнали, приосанились.

И зажужжали, стали обмениваться впечатлениями: «Ма Ноу хочет уйти. Вон он сидит у руля – и плачет». Некоторые в отчаянии порывались броситься к его ногам, умолять, чтоб остался. Но то был мимолетный порыв, фантазия застоявшихся мускулов.

Человеческая масса опять испуганно сжалась под грозным бременем ожидания. Любой взмах руки, брошенный искоса взгляд, даже невовремя прозвучавший кашель могли нарушить хрупкое равновесие. Многие не выдерживали напряжения: ослабленные только что пережитым, они пытались сбросить с себя непосильно тяжкий груз. Хотелось успокоиться, подумать о силах *фэн шуй*: определить для себя наилучшее сочетание дня, часа, ветра, воды, рельефа местности; добиться ясности в этом вопросе посредством бросания деревянной палочки. Кто-то уже искал в карманах такую палочку; другие это увидели и поднялись, хотели вместе с «прорицателем» отойти в сторонку. Третьи неправильно истолковали тот факт, что некоторые братья встали и отошли: приняли их за сторонников Ма Ноу, желающих его поддержать. И на всякий случай присоединились к ним. А поскольку чувствовали себя неуверенно, стали хватать их за руки, кричать: «Объясните нам, скажите хоть что-нибудь! Скажите, чего вы хотите! Да говорите же!»

Маленький священнослужитель с перевала Наньгу поначалу едва ли понимал, что́ происходит. Он, может, и поверил бы, что отделается легко, без поношений и побоев. Но то, что братья вообще не захотят его отпустить – его, ничтожного, который пренебрег своим посвящением, чтобы без всякой надежды на спасение крутиться в Колесе Повторных Рождений, – такое в его голове просто не вмещалось. Когда же он осознал, что именно так и есть, это открытие его потрясло. Грудь взорвалась изнутри, ее распирало: от диафрагмы до сердца, которое вдруг остановилось; что-то работало в ней в бешеном ритме, как колокольный набат, как трубы Последнего Суда; что-то горячее

растекалось по рукам и гортани, и когда оно вот-вот должно было потечь изо рта, голова Ма поникла и качнулась. Он потерял сознание, долго приходил в себя – в его ушах еще звучали священные гимны; цеплялся за Полуночника. Сиял. (И теплая влага струилась по его щекам.)

Потом отпустил старика, вскарабкался на дощатую платформу: «Братья, разве мы не свободны?» Так начал он свою речь, запнулся и сглотнул слезы. «Я – вплоть до сего дня – таскался по земле с камнем на шее, со злым и строптивым духом, который меня обкрадывал. И вот теперь я обращаюсь с мольбой к Гуаньинь, хотя она никогда не внимала моим мольбам; взываю я и к Майтрейи, он-то меня услышит: я хочу оставаться бедным, сирым, поистине слабым – одним из тех, кто не противится судьбе; я не желаю вскармливать в себе никаких демонов, не желаю становиться добычей оборотней. Я хочу оставаться бедным сыном восемнадцати бедных провинций. Вы не ругаете меня; нет, не ругаете – вы так добры. Я же сам не знаю, что говорю. Не могу отличить себя от тьмы. Всякий, чья душа свободна, может отыскать путь к Западному Раю. Я не предавался страстям; я очищал себя, думая о Небесах Блаженства; я выпустил свои – прежде запертые – души на Тропу Верховного Императора, и научу их ходить, и пойду по этой тропе вместе с ними. И отыщу волшебные ключи к Куньлуню. Вместе с вами, братья мои!»

Он еще долго разглагольствовал в том же духе. Предрассветная котловина опустела. Все столпились вокруг Ма Ноу, тянулись к нему, целовали ему ноги, отрывали клочки его священнического одеяния.

НА ВОСТОКЕ над черными тучами протянулась слепящая полоска. Серый дымчатый покров мира быстро светлел. Он был отброшен изнутри – или взорвался – или, как пузырь, лопнул. И тогда открылся цветущий ландшафт. Сверкали маленькие озерца. На юго-востоке, над болотом Далоу, уже давно сияла нитевидная каемка облака; но теперь солнце пробурило сквозную дыру, воронку, – и оттуда ударили длинные лучи, под которыми зелень травы и деревьев разгоралась все ярче.

Сверкали и взгляды самых молодых братьев, устремленные на кустарниковые заросли, на Женский холм. «Наши сестры, сестры...», – шептали юноши, и нерешительно переглядывались, и колени у них дрожали; многие порывисто обнимались и надолго застывали в объятии, или ласково прикасались друг к другу, как бывает, когда вот-вот должно случиться несчастье.

Высокий школьный учитель потрепал по голове юношу, который ребячливо теребил его за рукав. «Цзэ, Персиковый Цветок, – шепотом напомнил учитель – ступай, разыщи ее!»

«Цзэ – нет, я не стану искать ее, не хочу! О, что с нами всеми будет...»

Некоторые братья легли в траву; перевернулись на животы, жевали былинки; лица их внушали тревогу: они сражались с нахлынувшими воспоминаниями; и терпеливо ждали, когда заявит о себе то мятежное, что они сами вызвали из глубин.

Другие, вернувшись на Мужской холм, сидели под зеленым облаком катальпы: улыбались, молились, грезили; но не выпускали из виду Женский холм. Какие там сокровища! Сладкая волна поднималась у них в груди – и что-то отзывалось в промежности.

Кое-кто из них поднялся на ноги, когда с Женского холма донесся звон колокольчиков. Они не обменялись ни словом, но вдруг, будто сговорившись, ринулись вниз, часто оглядываясь на бегу – присоединились ли остальные. Рысцой спустились к подножью холма. По высокой траве, с повизгиванием, то выпучивая, то прижмуривая глаза, покатились – чернотряпичными мячиками с закорючками голов и колен. Обезумевшие взгляды. Тряпичные мячики окликали друг друга по именам; лица их обещали что-то немыслимое; они улыбались так, что у тех, кто видел эти улыбки, кровь стучала в висках, наливались горячей кровью глаза и ступни.

Чеканщик Хэ первым побежал по тропинке, которая огибала пруд и – в обход главной дороги – вела к женскому лагерю. У подножия Женского холма все остановились и сбились в кучу. Хэ крикнул: «Что будем делать? Надо бы, братья, их обмануть. Мы, мол, пришли, чтобы с ними помолиться».

«Пошлем кого-нибудь – пусть скажет им, чтоб собрались вместе!»

Тут кто-то крикнул: «Ужас!»; выбился из толпы – то был молодой человек – и повернул назад. Хэ нежно проворковал: «Я их предупрежу, а вы идите за мной!» И помчался вперед, братья же – смиренно скрестив руки на груди, опустив головы, выстроившись друг другу в затылок – начали медленно подниматься на холм; сухое стрекотанье сверчков сопровождало их шепот: «Омитофо, Омитофо!»

И вот они уже на Женском холме, под тяжелыми лиственными кронами. В тени деревьев копошилась та особая человеческая масса, при виде которой братья почувствовали, что сердца их стали сжиматься судорожнее, медленнее, такими мощными толчками разгоняя кровь, что и мягкая земля под ногами закачалась в том же ритме, все дальше распространяя исходившие от сердец волны. На братьев смотрели во все глаза – с любопытством и удивлением – чьи-то беглые жены; эти сестры, казалось, еще не свыклись с мыслью, что ветер так свободно овевает их лица и что не нужно, встречаясь с посторонним, прикрывать покрывалом рот. В скоплении слепых нищенок, рыночных торговок грациозно передвигались изящные фигурки, как светлые точки на цветущем лугу: дарительницы счастья, *хуагуй*; их прелесть была несравненна; вокруг этих хрупких дев витал дух Павильона Ста Ароматов. Они, с детства вышколенные дочери благородных семейств, и среди мшистых кочек обольстительно изгибали стройные станы; перебирая четки, чуть слышно выдыхали молитвы, будто повторяли школьные упражнения из книги *Саньцзыцзин*.

Ма Ноу шагал по дороге к подножию затененного листвой холма. Широкой ладонью разгонял клочья серой пелены, еще висевшие в небе; с торжественной невозмутимостью парили над его головой белые лебеди света.

Как же вдруг начал сотрясаться Женский холм!

Тысячекратный вопль качнулся над долиной и полетел назад, отброшенный другими холмами.

И раз десять повторилось кошмарное: звериное рычание, треск раздираемой ткани, рев – смешанные с обезумевшими высокими голосами.

Ослепленные страхом тени метались, пытаясь вырваться из-под кроны катальпы, – а их рывками возвращали назад.

Как после этого минутного неистовства рассыпались, цепляясь за гребни кустарника, тряпичные – белые и цветные – комки, как они упали в мох, как беззвучно покатились вниз по склону!

На холме воцарилась странная тишина: прерываемая долгими скандирующими стонами, кошачьим душераздирающим визгом, музыкой задыхающегося бессилия, которое кусает себе пальцы, от которого сердца съеживаются, будто их окунули в уксус, а отчаяние становится одержимостью, заставляющей тела биться в корчах.

И потом гулкие мужские голоса в долине: «Ма Ноу, Ма Ноу, дракон летит! Ма Ноу, там ведь наши сестры!»

Внизу, на узкой дороге к лагерю, бушевала толпа; братья прислушивались к тому, что делается на холме, переглядывались; затыкали уши, били себя кулаками в грудь. Над головой Ма Ноу что-то взорвалось. Когда люди окружили его, ему показалось (больше, чем на мгновение), будто сам он – Владыка Преисподней с сотней рук, плетей, змей; и будто он гонит охваченные лихорадочным возбуждением души меж стен Ледяного Ада, к ненасытной Непреодолимой Реке, гонит от всех зеркально-гладких стен*; они хрипели и скалились, он же переполнялся радостью, размахивал чашей-черепом. От этой картины, внезапно надвинувшейся на него, кровь стыла в жилах. Но уже мазнуло кистью, смоченной Слабостью, по всей внутренней поверхности его головы. Почти теряя сознание, падая, он все-таки успел осознать, что́ с ним происходит, охнул, чудом удержал равновесие, выпрямился.

С холодным огнем в глазах оглянулся вокруг. Ощутил: толчок, с которым сверкающее сознание собственной власти выскочило из него, стукнулось о землю, бросило назад холодный взгляд.

«Так нужно. Я беру это на себя».

И два глубоких вздоха. Он, все еще оглушенный, обернулся; долина цвела как прежде. Он с затаенным страхом понял, что нечто неведомое вышло из него – и одержало над ним верх. И – что он победил Ван Луня. Одурманивающий ужас медленно вливался в костный мозг.

В зарослях мисканта лежат смущенные братья. Слабые мольбы о помощи с Женского холма. Ма Ноу увлек свою паству на ложный путь.

С пустым, ничего не видящим взором брел Ма Ноу, переступая через тела, отворачивая лицо.

Они вжимались своей плотью в землю. Холм потрескивал – напротив, против них.

Неподвижность, много часов подряд; освящаемая солнцем глушь. Из хижин на Женском холме неслышно выползали умиротворенные вздохи, просачивались в щели между досками, завивались колечками: словно дым, или заблудившийся взгляд, или замирающий звук гонга под лиственной крышей.

Когда солнце стало светить горячее, в долине, перед хижиной Ма Ноу, загудели раковины-трубы, пятью пять раз, с перерывами: сигнал к общему сбору.

Листья травы качнулись, стебли сдвинулись, и выгнулись дугой спины, показались головы.

На Женском холме еще долго ничто не шевелилось. Но потом и там меж деревьями замелькали белые, цветные пятнышки. И началось: мельтешение черных мужских силуэтов, перемешивание красок, взлетающие над шумовым потоком брызги – шорохов, фраз, возгласов. Пестро одетые сестры спускались с холма в обнимку, братья – плечом к плечу. Ликующее светоносное облако нисходило в долину.

В мгновение ока сестры – смеющиеся, с пружинистыми движениями – рассеялись между благочестивыми братьями, широким полукружием заполнили пространство, в котором еще пронзали воздух обугленные мачты священного корабля. Ма Ноу, в сернисто-желтом и красном, быстро и твердо прошел в середину взволнованной толпы, вобравшей в себя всех.

Он не поморщился, когда, начатая неизвестно кем и подхваченная многими женскими голосами, звонко и сладостно полилась над цветущим полем «Песня радости»: та всем хорошо известная песня, которую поют нежные обитательницы «расписных домов», зазывая гостей на свои украшенные резьбой лодки.

Ма Ноу заговорил: «Между нами, дорогие братья и сестры, должен царить мир. И пусть ничто не обременяет нас, ибо мы плывем к Золотым островам*. Мы хотим восстановить древний союз *инь* и *ян*. Я счастлив, что вы прислушались к моим словам, и не забуду об этом, даже если мне удастся овладеть Пятью Драгоценностями. Мы останемся поистине слабыми. Мы будем следовать Дао, прислушиваться к нему. Неустанно молитесь, и тогда обретете великую магическую силу, которая вас не покинет. Не мастерите понапрасну, как делал старик из Лу*, деревянных коней, начиненных металлическими пружинами, чтобы ездить на них верхом или запрягать в повозки. Таких коней вы не сотворите из своих душ – душ, которые живут в ваших легких, в вашей бурлящей крови, в ваших мягко вибрирующих кишках*. Вам достаточно будет заиграть, выйдя в поле, на флейте – и потеплеет воздух, и пробьются ростки зерна. А еще вы сможете, дуя в тростниковую трубочку, приманить тучи к северо-западу – и выпадут дожди, и возникнут тайфуны. Восемь скакунов уже стоят наготове, шестнадцать остановок делает на своем пути Солнце: придет день, когда вы отправитесь вслед за ним, верхом на этих скакунах*.

Оставайтесь бедными, но будьте радостными, не лишайте себя ни одного из земных удовольствий, чтобы вы не тосковали по ним и чтобы дух ваш не становился нечистым и тяжелым. Вас, сестер моих, вижу я здесь: вас, цариц нежных наслаждений; вы много сделали для того, чтобы наша жизнь стала такой, какова она ныне. Вы не допустили, чтобы сердца наши обратились своими отверстиями к пустому межмирному пространству. Я был плохим сыном восемнадцати провинций, когда доверился мудрости чуждого нам Шакьямуни и променял на его Небеса Блаженства ваши – наши – цветущие небеса. Мы уже взошли на первую ступень лестницы, ведущей к Западному Раю. И то, что

вы, расколотые дыни, подарили нам, мы с благодарностью принимаем. Мы благодарны вам, очень благодарны. Отныне я буду называть вас, и себя в том числе, "расколотыми дынями". Все мы, живущие у болота Далоу, будем называть себя так».

Сотрясающие воздух возгласы ликования и – хлопки, земные поклоны, объятия. Люди плотным кольцом окружили Ма Ноу, не замечая его загадочно равнодушного лица. Слова выходили из него подобно голосу птицы, спрятавшейся в развалинах храма. Его лицо приняло сходство с ликом крылатого зверя, чья голова, глаза, перья в полете непрерывно меняются под воздействием ветра*; когда же он опускается на ветку дерева, черты его становятся неразличимыми: потому что нет уже ни ветра, ни полета.

ОКОЛО ПОЛУДНЯ. Они разошлись: растерянные, серьезные, радостные, осмелевшие, слепые, слабые; сильные мужчины, легконогие танцовщицы, вдохновенные пророки.

Вечером впервые соединились в единый круг все палатки и хижины. Братья и сестры молились вместе, и их молитвы переплетались во мраке. Не как пути мотыльков, порхающих над травой, но как две нити, которые тянутся вверх, потом запутываются и делаются непригодными для ткачества. Никто не хотел отпустить руку сестры или брата, в темноте влажные ладони тянулись одна к другой, скользили по возбужденно вздрагивающим лицам. Всякая гордость уже была сломлена, всякое беспокойство улеглось. Те, что прежде прямо и непоколебимо несли свое достоинство «поистине слабых», теперь клонились под бременем счастья; летний ветер бился словно полотнище знамени, воткнутого в землю на одном из привалов по пути к Куньлуню. Как же в темных хижинах под катальпами смягчились лица, как глубоко взрыхлила и души, и тела та мощная борона, что прокатилась над всей землей, обрабатывая ниву ночи!

В болоте Далоу росли лотосы: кожистые, величиной с тарелку зеленые листья почти сплошь покрывали неподвижную поверхность воды, между ними выныривали крупные красные цветы; длинные стебли с прожильчатыми листьями цеплялись за гниющие ракушки; и с каждого свисали мочала тех тонких

водорослей, которые на глубине спрессовывались в растительный войлок; скромно склонялись зеленые, с нежным пушком, головки бутонов. Непроницаемо-загадочным было болото, над ним поднимались в воздух тяжелые испарения.

Та ночь все-таки не обошлась без ужасного несчастья. Несколько человек услышали, как среди полной тишины отчаянно бранится Полуночник. Сперва они не особенно встревожились, решив, что он сражается с одной из своих теней. Однако крики не прекращались, и кому-то из тех, кто выскочил на улицу, показалось странным, что Полуночник не бродит, как обычно, но все время кричит с одного и того же места на Мужском холме. Они испугались: а вдруг он действительно настиг свою тень; видеть такой поединок им не хотелось. Но в конце концов эти пятеро озабоченно переглянулись, набрались мужества и, прихватив фонари, побежали через поле и дальше, вверх по склону холма. Когда они добрались до места, откуда доносились крики, Полуночник лежал в траве, а под ним – мужчина, который не шевелился и над распухшим лицом которого Полуночник размахивал мечом. Он звал недвижимого по имени, подносил к его уху зеркальце. Подбежавшие братья наклонились над телом, посветили в выпученные глаза. Это оказался давешний отчаявшийся юноша – он повесился на дереве. Полуночник случайно наткнулся на труп и спустил его на землю. Один из братьев взял острый камень, сделал надрез на своей руке, капнул в стиснутый рот юноши – после того, как двое других с трудом разжали ему челюсти – горячую кровь*. Однако ничто уже не могло помочь: тело давно окоченело. Юноша знал, что ему не придется долго разыскивать ту, которую звали Цзэ, Персиковый Цветок. Однажды вечером, когда он вернулся вместе с ней в лагерь и остановился перед ее хижиной, молодые люди серьезно взглянули друг на друга; зрачки их раскосых глаз расширились, но оба сохраняли спокойствие и, постояв немного, разошлись. Когда началось неслыханное, юноша, чтобы ничего не слышать, забился в заросли мисканта; после всего он, шатаясь, поднялся на Мужской холм, встретил Полуночника и сказал ему, что хочет поспать под деревом. Но не лег спать, а повесился на своем кушаке.

Он не достиг Вершины Царственного Великолепия; он выбрал для себя другой путь.

ЧЕРЕЗ ТРИ ДНЯ к ним пришел Ван Лунь.

Ма Ноу долго раздумывал, хорошо ли будет, если он сам расскажет Вану о переменах в жизни отряда. И в конце концов послал пятерых гонцов, которые должны были сообщить Ван Луню, находившемуся от лагеря на расстоянии полутора дней пешего хода, всё, что они знали. Ма пригласил на совет нескольких опытных братьев и попытался осторожно выведать их мнение о случившемся. Но ему не удалось навести их на мысль, что Ван может не одобрить изменение драгоценных принципов. Они-то быстро прониклись сознанием святости новых идей; им казалось, достаточно будет просто поговорить с Ваном, чтобы убедить его, а потом – уже с его помощью – обратить в новую веру и все другие отряды «поистине слабых». От Вана, которого никто из них не видел, исходило столь сильное влияние, что они ни за что не решились бы замышлять что-то против этого человека. Они верили, что, выступая против него, готовили бы собственную погибель. Ма Ноу намекнул своим собеседникам, что они и сами пользуются немалым авторитетом у «расколотых дынь», однако из-за его нерешительности они даже не поняли, к чему он клонит; по-настоящему ему так и не удалось привлечь их на свою сторону.

Ван Лунь не нуждался в той информации, которую принесли гонцы; слухи о происшедшем дошли до него раньше. Но, как бы то ни было, он прибыл вместе с гонцами в лагерь Ма. Когда ночью два брата проводили его к хижине Ма Ноу, освещая дорогу фонариками, он, едва переступив через порог, махнул рукой, отсылая прочь молодую женщину, сидевшую на циновке. Ма взял ее за руку, сам отвел в соседнюю хижину и лишь потом вернулся.

Крошечный светильник горел на полу; справа от входа, у стены низкой, едва достигавшей высоты человеческого роста, комнаты валялся мешок с соломой, рядом – какие-то лохмотья, платки, халат. К левой стене была придвинута опрокинутая тележка; на ней неустойчиво балансировали, как казалось при

скудном освещении, золотые будды; тысячерукая хрустальная Гуаньинь лежала головой к стене, ее мягкое, уже поцарапанное лицо касалось занозистого столба.

Когда Ма вернулся, Ван Лунь сидел на краю тележки и смотрел на пламя светильника. Только сейчас священнослужитель со страхом обнаружил, что у Вана имеется большой боевой меч, который он держит обеими руками, уперев в пол. Ван Лунь постарел; его взгляд был неподвижным. Он потирал колено, а когда позже поднялся, Ма увидел, что его друг хромает на левую ногу.

Сын рыбака из Хуньганцуни невнятно пробормотал, что на той стороне реки Хутохэ его заметили упражнявшиеся солдаты; ему пришлось переплыть реку и, вылезая на скалистый берег, он повредил колено. В действительности все было не совсем так: он и вправду разодрал колено, спасаясь от солдат; но худшее ранение навлек на себя сам, когда уже приближался к заболоченной местности. По дороге ему повстречались приверженцы Ма Ноу, в компании с несколькими девушками; ни один из них его не узнал. Разговорившись с ними, Ван услышал, что эти люди называют себя «расколотыми дынями»; с нарастающим раздражением он задавал все новые вопросы, когда же огорченные его реакцией братья хотели продолжить путь, набросился на них с кулаками, а девушек разогнал. На крики о помощи из бамбуковой рощи вышел крестьянин и издали запустил в Вана здоровенным корнем, чуть не раздробив ему колено, которое и без того болело. Крестьянин, правда, тут же обратился в бегство, ибо заметил меч и подумал, что ранил императорского солдата: на Ване была синяя куртка с красными отворотами, которую ему подарил солдат, дезертировавший из роты, где раньше служил Го.

Ван, неподвижно сидя на перевернутой тачке, спросил Ма Ноу, не преследуют ли солдаты и его людей. Ма, увидев черные кровяные пятна на штанине Вана, хотел принести ему воды и целительного порошка; но Ван лишь отрицательно мотнул головой, а когда вновь заговорил, сказал, что нет большой разницы, от кого страдают братья и сестры: от *даотаев* ли, или еще от

кого. А чего ждал Ма Ноу? Судьба – она жесткая, ее так просто не согнешь. Хорошо, конечно, учить братьев не противиться ходу вещей; но сие не значит, что позволительно самому разыгрывать из себя судьбу и ожидать от других – братьев и сестер – покорности такой судьбе. Те, что поверят, будто в итоге останутся целы, могут совершить тяжкие ошибки. Да они даже наверняка совершат ошибки, которые обойдутся куда дороже, чем разбитое в кровь колено.

Ма Ноу, сидевший на циновке, слушал его, не поднимая глаз. И видел – того неотесанного крестьянского парня, который однажды зимой, у перевала Наньгу, впервые переступил порог его хижины; парень попросил милостыню и потом никак не хотел уходить, а все задавал вопросы о золотых божках.

Его переполняла горячая любовь к другу, и он хотел поддаться тому ощущению, которым отзывался в нем грубый, но до боли знакомый шаньдунский выговор Вана: «Наконец!»; однако Ма не двинулся с места, а продолжал размышлять и даже не удивлялся тому, что в голову ему приходят подобные мысли.

Я очень изменился, думал Ма Ноу. Немеряно велики просторы восемнадцати провинций с их долами и горами, ключ к Западному Раю – в моих руках; Ван Лунь и я должны мирно разойтись.

Вслух он сказал, что Ван Лунь отсутствовал слишком долго; покровительство «Белого Лотоса» для них, конечно же, важно, но еще важнее – и наверняка труднее – повседневное руководство братьями и сестрами. Пусть Ван не обижается, но правила придумывать легко – хоть в каких количествах; однако оказалось, что те правила, которые действовали в горах Наньгу, при всей их полезности не совсем согласуются с новыми условиями; их пришлось поменять, но Ван сам может убедиться в том, что люди, в сущности, остались такими же, какими были на утесах Шэнъи. Ван Лунь имеет репутацию достигшего просветления святого; ему негоже на них гневаться.

Ма Ноу и сам не понимал, что побудило его оскорбить Вана, назвав «святым». Он, однако, не скрыл от себя, что смаковал это словцо как сладкий финик – и проглотил с холодным удовлетворением.

Ван с болью поднялся на ноги; ковырял острием меча мох. В такое он бы ни за что не поверил, в такое – нет. Этот человек, похоже, хочет его унизить.

Он, страдая, опустился на циновку рядом с Ма; священнослужитель, как бы нехотя, закатал ему штанину, принес кувшин с водой и кусок полотна, промыл рану.

Ван наблюдал за ним: «Ма, помнишь, как мы когда-то болтали у перевала Наньгу; неужто это и в самом деле были мы – ты и я? Ты тогда жил на склоне, чуть выше мельницы-толчеи. Мы ведь дружили?»

«*Мы* оттуда спустились в поля и леса Чжили, Ван. Тысячи людей из всех городов, областей, округов присоединились к нам, чтобы отведать нашей свободы, нашей подлинной независимости. Нам приходилось открывать двери тюрем – с помощью хитрости, подкупов, обмана, – чтобы освобождать наших братьев. Ни один из них не примкнул бы к нам и вся наша работа пошла бы прахом, если бы мы строили другую тюрьму – из старых засохших слов, из слишком жестких правил. Не может быть, чтобы твое намерение состояло в этом. А даже если и так, оно бы изменилось после того, как ты вместе с нами прошел бы весь путь от Наньгу до болота Далоу».

Ван схватил Ма Ноу за подбородок.

«Ма Ноу, *кто*, говоришь ты, изменил бы свое намерение, если бы вместе с вами, повернувшими на юг, совершил весь путь от Наньгу до болота Далоу? И вообще – *кто* изменил свое намерение? Сколько таких, можно ли им доверять? Ма, существует два рода людей: одни живут и не знают, как должны жить, другие же знают, как. Другие – это мы, те, кто не вправе жить для себя, кто находится здесь ради остальных; даже если им придется заплатить за это по самой высокой цене. Каждому предписана его роль. Чтó предписано тебе и мне, мы знали еще тогда, когда сидели в твоей хижине над маленькой мельницей. Чтобы узнать это, тебе не нужно было пересекать всю провинцию Чжили, а мне – тебя сопровождать. Не твое дело обжираться бобовой похлебкой, обжиматься с бабами и стремиться к Западному Раю. Я думал, хоть это ты знаешь. Для нас все это запретно. Нам

дано нечто другое, а именно: знание обо всем этом. Но я не хочу сердиться на тебя, мой брат Ма Ноу».

«Ты и не будешь сердиться, Ван».

«Ты говоришь так, но ты не понимаешь, почему я спокоен. До того, как свернуть в вашу долину, я набрел на поле с тимьяном. Я там заблудился, гонцов же – еще прежде – послал вперед, ибо не поспевал за ними из-за больного колена. Я присел отдохнуть на кротовий холмик. Предстоящее – наш с тобой разговор, наша встреча – меня смущало. На мгновение мне даже почудилось, будто меня морочит какой-то полевой дух, расставивший ловушки. Но когда я опять открыл глаза, то увидел широкий световой шнур, который, извиваясь, тянулся над полем. Он начинался прямо от кротовьего холмика, на котором я сидел, начинался с мерцающих точек низко над землей, непрестанно двигавшихся. То были светляки. Природа – она не против нас. Нынешней ночью я подожду, не явится ли мне во сне Царь Светляков, и поблагодарю его. Может, добрые духи с болота пожалели меня за мою немощность; они ведь и сами не особенно сильные. Мерцающие огоньки привели меня в твою долину. Я не сержусь на тебя; потому что *они* не покинули меня в беде».

«Ван, ты же не станешь моим врагом! Всего несколько недель назад и я думал так же, как ты: они, мол, зёрна на току, а мы – лопаты; они – голова, мы – шапка; они – ноги, мы – тропа под ногами. Но потом случилось такое, что мне даже трудно это осознать: как если бы шапка восторжествовала над головой, или тропа убежала из-под ног. Я знаю, что обязан перед тобой отчитаться, я этого не отрицаю. Но я не могу представить тебе никакого отчета, потому что при всем желании не в силах вспомнить, как это произошло. Что-то исчезло из моей памяти, будто написанные тушью иероглифы, смытые дождем».

«Плохая, видно, была тушь, – перебил его Ван, невольно улыбнувшись. И как же звался тот дождь, мой дорогой брат?»

«Не Неверный».

«Дождь звался Тщеславие и Властолюбие; Тщеславие и Властолюбие, хотел я сказать».

Пока они сидели, Ван обнимал Ма за плечи и сбоку поглядывал на его худое лицо. Теперь они впервые посмотрели прямо в глаза друг другу. Ван, казалось, посерьезнел и помрачнел; голову опустил; вдруг, поддавшись порыву сострадания, взял руку Ма и погладил ее: «Так как же звался тот дождь, Ма Ноу? Что с тобой приключилось?»

«Ты слишком долго отсутствовал. Мы жили как "поистине слабые". Потом к нам прибились женщины. Как это отразилось на других братьях, не знаю. Я же в один прекрасный день почувствовал, что больше не – не свободен от вожделения. Я захотел, чтобы все опять так и было. Жизнь коротка. Нельзя слишком долго идти по неверному пути, пересчитывать дни словно жалкие медяки и обменивать их на рис и просо. Сейчас я опять свободен от вожделения, потому что насытился, но мне нужно насыщаться вновь и вновь; я знаю – не трать лишних слов, – что это не будет иметь конца; но зато я теперь способен свободно и чисто молиться и надеюсь, то, что я делаю, имеет достаточный вес, независимо от моих страстей. Не сердись, Ван. Я уверен, никто из наших не презирает меня».

«Значит, все дело в женщинах. Брат Ма Ноу, я вовсе не презираю тебя. Но ты еще не закончил, ты, может, хотел добавить что-то. Ну ладно, ты овладеешь женщиной, удовлетворишь вожделение. А дальше что – пойдешь с ней назад к перевалу Наньгу, или в какое-нибудь селение, или в город? Ведь никого не принуждают оставаться с нами. Каждый вправе идти, куда хочет. И ты уйдешь, поступишь именно так?»

Ма Ноу, слушавший его вполуха, задумчиво продолжал: «Что такое вожделение, я знал давно. Я не знал, что такое женщины. Женщины, женщины. Ты, Ван, не жил, как я, с детских лет в монастырской школе. Там человек вздыхает, не зная почему. Каждый раз, когда светит луна, впадает в беспокойство; и в конце концов начинает вздыхать по – Гуаньинь, начинает тревожиться из-за – двадцати священных предписаний. Так он забывает себя. И вот у нас появились женщины. Кажется, бывали дни, когда они толпились вокруг меня с утра и до позднего вечера, плакали, умоляли дать им чудодейственные заклятия. Пока мне

удавалось их успокоить и они постигали суть нашего пути, проходили недели – и появлялись новые женщины. Раньше или позже все они сворачивали на мой – хороший – путь. Но у меня на плечах оставались следы их прикосновений, у меня сжималось или бешено колотилось сердце, потели ладони. И я – сворачивал на их путь. Для этой работы нужны более сильные люди, меня же испортил монастырь на острове Путо. Ты посмотри – вон рядом с нами тележка – кто на ней стоит! Стоят ли они еще? Этот громыхающий ящик ныне отдыхает от двадцатилетних странствий, боги нагоняют на него сон!»

Ма Ноу, не вставая, схватился за дышло и надавил на него. Золоченые будды зашатались и с двух сторон обрушились на пол, раскатились в разные стороны. Последней упала – со звоном – хрустальная Гуаньинь. Ударившись об отломившуюся голову будды, она разбилась надвое; руки превратились в груду осколков.

Ван попытался поймать взгляд Ма Ноу. Но тот, ссутулив спину, продолжал говорить, будто ничего не произошло.

«Хотя со мной все обстояло таким образом, я не хотел, не мог покинуть тебя. Бессмысленно наказывать меня или даже отлучать от братства только потому, что я получил неправильное воспитание. С этим пора кончать. Священные книги здесь не помогут. Однако какое-то решение должно найтись. И я нашел решение. Учение о целомудрии – безумие, варварство, а вовсе не драгоценный принцип. Братья и сестры согласились со мной».

Ван вздрогнул. И откинулся назад, к стене, чтобы Ма Ноу не видел в полумраке его лица. Огромный меч лежал поперек колена, повязка покраснела от просочившейся крови.

Меч подарил ему Чэнь Яофэнь – в городе Бошань, когда они прощались. Имя меча было Желтый Скакун. В семье Чэня он передавался от отца к сыну и напоминал каждому новому владельцу о традициях «Белого Лотоса».

Прямой обоюдоострый клинок; на внешней поверхности – семь латунных кружочков; у самой рукояти – узор из звездочек и лепестков лотоса. Покрытая листовым золотом рукоять с

утолщением в срединной части; с обеих сторон – символы династии Мин, солнце и луна, из тонкой серебряной проволоки; гарда в виде полумесяца. Рукоять заканчивается роскошным навершием: головой дракона с высунутым языком.

Ван не сказал, что́ заставило его, так долго молчавшего, внезапно вскочить и, оттолкнув меч, крепко ухватить Ма Ноу за руки, взвалить его, словно бревно, себе на плечо, стиснуть ему ребра. Зубы у Вана стучали; руки вздрагивали: им хотелось поднять меч, просунуть клинок между стиснутыми губами Ма, быстро повернуть в глотке, вонзить глубже, вытащить назад и ударить бывшего друга плашмя по щеке.

Ма Ноу, не имея сил для сопротивления, весь как-то обмяк. С мрачной решимостью ждал, что последует дальше. Он так и остался сидеть, лелея свою злобу, когда Ван наконец опустил его, разжал руки – и, вздохнув, вытянул больную ногу.

Ван снизу перехватил ядовитый взгляд. Его лицо разбухло, отекло, будто под кожей распрямились невидимые пружины. Он тяжело оперся о меч, налитые кровью глаза сверкнули. Обе руки отстраняюще протянулись в сторону Ма: «Ты, ты – предатель, обманщик, искуситель; не двигайся – это мое мнение в двух словах, более пространных объяснений не будет. Я мог бы сказать тебе то же самое еще три дня назад, когда впервые услышал, что́ тут у вас творится. Ты, жалкое ничтожество, мог бы и не искать решения: я бы тебе предрек, что ты предашь весь мир, и Небеса Блаженства, и всякую высшую радость, лишь бы валяться на соломе со своей бабой. Потому что ты – по натуре своей – ядовитый скорпион; и во всем виноват я, только я, позволивший тебе остаться среди “поистине слабых”. Я – тот опорный столп, который должен нести на себе всё; я – небо, которое каждодневно простирается над душами обездоленных, но само не получает никакой выгоды от своего солнца и своих планет. Я отказался от большего, чем думаешь ты, Ма Ноу, – от гораздо большего, нежели одна баба или даже тысяча баб; мне пришлось отрешиться от меня самого, от моих рук и ног, от моего рождения и моего прошлого; я копался в собственных белых кишках и сам выпускал наружу свою кровь.

Я никогда не достигну Благословенных Островов, и растение *чжи*[*] не сорву; ничто из того, что я некогда пережил, больше не может – не вправе – существовать. Без погребения остался честный Су Гоу. Неприкаянные духи должны избегать меня, ибо я сам пуст внутри, я – пожелтевший лист, бумажный дракон, пестро раскрашенный и с сиреной в утробе, наподобие тех, которых на юге носят впереди похоронных процессий. Я стал таким, что внушаю страх самому себе, когда у меня находится время, чтобы посидеть на камне; я кажусь себе одним из непоседливых *гуев*[*] – тех, что охотятся за человеческой плотью.

Однако ты, Ма Ноу, ты не таков. Тебе повезло. Глаза твои лучатся надеждой, в твоих кишках угнездилось удовольствие. Ты мельче, ничтожнее, суше меня, но – смеешь хвалиться передо мной своим жизнелюбием.

Я тебя встретил, Ма Ноу, два дня назад. Это был ты, не правда ли, – ну признайся! У пруда, меж двумя ивами. Ты был тем журавлем, что никак не хотел отвязаться от меня, а все расхаживал поблизости на своих кичливых ногах, ярко-пурпурных, и выхватывал из травы лягушек. Ты тогда хвастался своим белым одеянием и хитро посматривал на меня желтым глазом, наклоняя кроваво-красный хохолок[*]. А потом, когда на моих глазах ты наконец нажрался вволю и я покинул тебя, ты взмыл в воздух и сбросил на мой халат, на мои сандалии свой черный помет.

Но слушай, злобный дух, слушай, *гуй*, меня ты не сумеешь погубить – это я тебе точно говорю. Не сумеешь, говорю я тебе! Тебе, *гуй*, придется убраться восвояси!»

Ван, вытянув вперед больную ногу, размахивал мечом. И брезгливо, свистящим шепотом выкрикивал свои обвинения прямо в обращенное к нему птичье личико сидевшего напротив ересиарха. Каждую фразу швырял со злобным удовлетворением – как горсть толченного перца. В его словах звенела ледяная ярость.

Ма Ноу теперь испытывал безмерную ненависть к этому человеку. Время от времени он насмешливо кривил губы, напрягался, будто готовясь к смертельному прыжку, – но в последний миг, скрепя сердце, осаживал, охлаждал себя. И не трогался с места; принял такое решение – не трогаться с места.

«Ежели мой брат Ван нынешней ночью встретит во сне Царя Светляков, пусть лучше не благодарит его. Один мудрец, живший в эпоху Хань, учил: путь, по которому ты идешь, гневаясь, будет напрасным. Мой брат Ван носит на боку боевой меч. По его словам, он должен носить такой меч – и потому не вправе приближаться к священному Дао. Моему брату стоило бы задуматься о моем – пусть жалком, но безмятежном – состоянии: я скорее позволю, чтобы меня ударили, чем сам ударю другого. Меч моего брата, как кажется, имеет одержимую душу, из-за чего владелец меча и заблудился в болоте. Что же касается Ма Ноу с острова Путо, то он никогда не дотронется до меча – никто и ничто не подвигнет его на такое. Ибо он слишком слаб, чтобы иметь дело с бешеным духом меча. Ма Ноу и ныне следует Дао, как следовал ему в хижине близ утесов Шэнъи, – будто только сейчас услышал слова человека, говорившего тогда как бодхисаттва, слова Ван Луня: "Лягушка, как бы ни пыжилась, не проглотит аиста. Против судьбы помогает только одно: не действовать; быть как прозрачная вода – слабым и уступчивым. Мы хотим подняться на горный пик, более прекрасный, чем все, виденные мною прежде: на Вершину Царственного Великолепия". Ма Ноу как раз и идет, не отклоняясь, к этому пику. А поскольку он не свободен от вожделения к женщинам, то идет туда вместе с ними. Однако до вершины он должен добраться и обязательно доберется. Ты, Ван, можешь меня презирать, но женщины для меня и вправду желанны, глаза мои прилепляются к ним как к пестрым орхидеям, и никогда мои молитвы не были такими чистыми, как после той ночи, когда одна из них возлегла со мной на этом вот мешке с соломой. Ни одно "погружение" на острове Путо, которое я наблюдал или пережил сам, ни одно "отрешение" не было таким мощным, как мои "погружения" и "отрешения" после заурядных соитий с женщинами. В любовном томлении моих рук и чресл ничуть не больше зла, чем в гортани, алчущей пищи. Шакьямуни ошибся. Для меня это очевидно. И если в горах Наньгу я рассказывал о золотых буддах другое и ты в это другое поверил, значит, я учил тебя злу и есть своя справедливость в том, что теперь зло возвращается ко мне; но с

толку ты меня все равно не собьешь. Ван, наши с тобой пути разошлись. Так не мучай же понапрасну себя и меня!»

Ван Лунь с окаменевшим лицом сидел на перевернутой тележке. Длинный боевой меч валялся на полу посреди отбитых золоченых голов. Ван уже понял, что́ произойдет дальше; Ма Ноу – тоже. Им больше не о чем было говорить.

Ван попросил Ма Ноу принести ему воды, чтобы обработать рану, а завтра позвать врача. Ма с помощью двух других братьев притащил в хижину несколько охапок травы. Прежде чем лечь, Ма и Ван взглянули друг на друга, будто прощаясь. Постояли рядом пару мгновений. И затем провалились, опустошенные усталостью, в сон.

ВАН оставался у «расколотых дынь», собиравшихся вскоре двинуться к югу, четыре дня. Он наблюдал за их жизнью, перезнакомился с большинством братьев. Он не вступал с ними в споры, лишь скупо и туманно намекал, что «поистине слабых» ждут тяжкие испытания. Когда его спрашивали, почему он, если и вправду, как все они, хочет покорствовать судьбе, носит солдатскую куртку и боевой меч, Ван отвечал с улыбкой, что многие люди маскируют свое мягкосердечие, дабы отпугнуть зло. Так происходит, например, в день *цзинчжэ*[*], в пятый день пятого месяца, когда злобствуют «пять ядовитых гадов» – змеи, скорпионы, тысяченожки, кроты и ящерицы; тогда испуганные матери втирают в уши и носы ребятишкам измельченные серные цветы, смешанные с вином, и рисуют на их лбах знак «тигр»[*]; но ведь это вовсе не значит, что дети их свирепы как тигры.

В Ване – с того дня, когда он в снежную бурю покинул горы Наньгу, и вплоть до теперешнего мгновения – происходила некая перемена. Ма еще тогда, когда они вместе сидели в комнате с сельскохозяйственными орудиями, в селении Бадалин, заметил, что в Ване укрепляется сострадание к доверившимся ему братьям. С тех пор Ван совершил многотрудное странствие по провинциям Чжили и Шаньдун. И с чем большими трудностями он сталкивался, тем сильнее что-то вытесняло его из роли «поистине слабого», которая обеспечила бы спасение его души. Он

все последовательнее занимал позицию защитника своих братьев. И чувствовал, что должен сражаться за всех отверженных китайской земли.

Под Цзинанью его ожидало искушение. Он не смог противостоять порыву, болезненно и радостно теснившему грудь, и, вымазав лицо углем, пошел по проселочной дороге, приближаясь с восточной стороны к Цзинани. Он шагал в одиночестве, потом решил подождать какого-нибудь каравана, чтобы вместе с ним проскользнуть в город. Но в это время дня никаких караванов не было: телеги торговцев растительным маслом, фруктами, овощами, углем приезжали в Цзинань ранним утром. И еще прежде, чем Ван с несвойственным ему легкомыслием попросту подошел к восточным воротам, его заметили двое полицейских; они издали опознали его по высокому росту, по качающейся походке – и с помощью охранника задержали как раз в тот момент, когда Ван, изображая из себя коренного жителя Цзинани, невозмутимо проплывал сквозь восточные ворота.

Сквозь крошечное, не больше ладони, зарешеченное окошко подвала, в который его бросили, Ван видел извилистую торговую улицу с лавками и шумной многоцветной толпой, когда-то служившую подмостками для его проделок и авантюр. С левой стороны, как он знал, располагался рынок: туда выходила улица с храмом великого покровителя музыкантов Хань Сянцзы. Если идти прямо, можно быстро добраться до гостиницы, в которой одно время жил Ван, и до дома Су Гоу, впрочем, давно сгоревшего. Чуть дальше – та самая площадь, где в день убийства *дусы* упражнялись солдаты провинциальных войск.

Тогда-то Ван и столкнулся с сильнейшим искушением: ему захотелось остаться здесь, спокойно дождаться решения суда, претерпеть казнь через расчленение. Он не отдавал себе отчета в том, откуда взялось это страстное желание. Ему хотелось умереть не где-нибудь на чужбине, а среди мельтешения этих обманывающих друг друга плутов, среди всей этой трескотни, ударов гонга, голосов рыночных зазывал – здесь, на своей родине. В подвале Ван много думал о резких поворотах, случавшихся в его жизни. Как он оставил товарищей с перевала Наньгу, как

всего несколько недель назад был гостем на роскошном пиру у Чэнь Яофэня, как погиб *дусы*, а еще раньше – Су Гоу, и как сам он когда-то обманывал, злобствовал, занимался воровством. Все это представлялось Вану невыносимым; и, напротив, он почел бы за благо, за величайшее счастье прямо здесь и сейчас претерпеть все, что ему суждено, – все до конца.

При задержании полицейские и охранник так суетились, что, заперев Вана, забыли отнять у него меч. Они очень радовались, что поймали опасного преступника. И только после того, как оба полицейских отправились в *ямэнь* и в городскую комендатуру, чтобы сообщить *даотаю* и воинскому начальнику о необычном задержании и выхлопотать для себя соответствующую награду, старому охраннику, отдыхавшему на скамье, пришло в голову, что меч-то остался у Вана. Охранник взял с подоконника дубинку, которую утром забыл один из погонщиков скота, спрятал ее в рукаве и, шаркая одетыми на босу ногу сандалиями, спустился в подвал; он собирался выкрасть меч у Вана: если оружие окажется дорогим – продать его, если же нет – просто показать в управе и попросить там награду за свое мужество.

Он отомкнул тяжелый висячий замок. Мыши сразу заметались под его опухшими от сырости ногами, прыгали, задевая штанины. Ван сидел на полу и смотрел прямо на старика. Охранник подошел ближе, спросил, как тот себя чувствует, не приболел ли часом, испытующе заглянул в лицо. Меч валялся довольно далеко от Вана, ближе к двери.

Ван поблагодарил за внимание; сказал, что рад был снова очутиться в Цзинани. Спросил, как поживает хозяин ближайшей гостиницы и на каком из рынков лучше всего идут дела.

Хозяину гостиницы, к счастью, жаловаться как будто не на что – тут охранник заметил меч, присел на корточки так, чтобы загородить его, нащупал за спиной рукоять, – что же касается столь любимого прежде Рынка Золотых Лепестков, то он постепенно пришел в упадок, с тех пор как гильдия цветочных торговцев отказалась вносить возросшую арендную плату. Теперь они торгуют на просторном дворе здания своей гильдии.

Удивительно, заметил Ван, как быстро меняется город. Но охранники остаются прежними. Воруют все, что ни попадется под руку. Только этот меч красть, пожалуй, не стоит – раз уж господин охранник был столь любезен, что сам оставил его своему пленнику. Меч – собственность одного человека из восточного Шаньдуна, чье имя он, Ван, охотно назовет, если господин охранник пообещает никому это имя не выдавать и согласится за высокое вознаграждение доставить меч его настоящему владельцу. Охранник, по-кошачьи изогнув спину, уже шептал пленнику, что тот вполне может на него положиться. А если Ван желает, чтобы его пусть тайно, но достойно похоронили, в достаточно благоприятном месте, то пусть лишь намекнет ему, охраннику, – прежде, чем вернутся те двое полицейских с клеткой для транспортировки преступников; он, охранник, уже многим оказывал такого рода услуги.

Тут с улицы донеслись громкие крики и брань. Ван выглянул в окно. Надзиратель над нищими избивал длинной палкой двух бедняков. Чиновник с голубым шариком на шапке наблюдал за этой сценой из своего паланкина и объяснял, что оба незаконным образом просили милостыню у него в доме, хотя дом этот находится не в их районе, – причем дважды на протяжении одного дня.

Ван вздохнул, опять уселся на землю и меланхолично сказал, что нет, город все-таки мало изменился. Потом вдруг с решительным видом поднялся на ноги, отряхнулся и, шагнув к охраннику, рывком приподнял его над землей. Когда тот попытался ткнуть его в грудь дубинкой, Ван подумал, что лишние осложнения ему ни к чему, швырнул завизжавшего старика на землю, лицом вниз, после чего, выскочив на улицу, размахивая мечом и надрывно вопя, обратил в бегство надзирателя над нищими вкупе с чиновником – и покинул негостеприимные пределы Цзинани.

Умирать не имеет смысла. Человек вообще мало что может изменить. Надзиратель неправ, но и нищие тоже неправы. Все трое уклонились от Дао. И все-таки кто-то должен первым ступить на правильный путь.

Начались скитания. Ван искал самые прямые дороги, ведущие к югу от гор Наньгу. Но слухи о нем расползались все шире.

На него устраивались настоящие облавы – после того, как *цзунду*[*] Шаньдуна издал приказ о взимании высоких штрафов с *даотаев* тех округов, через которые Ван Луню удастся проскочить, не будучи задержанным.

Затравленный, постепенно осознав опасность своего положения – особенно, когда понял, что слава «поистине слабых» уже распространилась по всему Чжили и Шаньдуну, а потому каждый здесь знает, что он, Ван, собирается присоединиться к северо-западным братьям, – Ван стал по возможности отказываться от тактики странствования в одиночку. Он, однако, полагал, что должен двигаться, как и прежде, в северном направлении. Странное суеверие связывало его с мечом: Желтый Скакун, казалось ему, нес его на себе. Во всем мире для Вана существовали теперь только два природных ландшафта: маленькая долина к югу от Наньгу и совсем другой ландшафт, водный, который он преодолевал, распластавшись на спине Желтого Скакуна.

После того, как он два дня не высовывал носа из пещеры, опасаясь быть схваченным крестьянами, которые знали его в лицо, Ван твердо решил: «Все, что происходит вне сферы влияния моего брата, подчиняется другим, собственным законам. Я могу быть поистине слабым, страждущим только среди моих братьев, и я непременно должен до них добраться. Этой же земле, этим рекам я в моих законах отказываю».

И вот недалеко от ворот Цзинани он присоединился к банде жестоких проходимцев, которые занимались тем, что угрозами поджога вымогали контрибуции у целых деревень, захватывали заложников и требовали за них выкуп; которые подобно маньчжурским разбойникам-*хунхузам*[*] летом носились повсюду, а зимой отсиживались в городах. Судьба, управлявшая переменчивой жизнью Вана, распорядилась так, что он присоединился к опасной банде и начал странствовать с нею именно в то время, когда в другой, западной части Чжили страх перед такими же

ордами разбойников впервые стал вторгаться в идиллические сны его братьев.

Полтора месяца Ван подавлял в себе воспоминания о морозных зимних днях; среди нежнейшей весны он совершал одно преступление за другим. И ничто не тревожило его совесть. Но когда всего в трех днях пути от лесистой местности, где разбил лагерь ближайший отряд «поистине слабых», разбойники потребовали от Вана участия в нападении на одного богатого и ученого путешественника, *хутухта**, который совершал инспекционную поездку по ламаистским монастырям Чжили, он решил с ними расстаться.

И заявил, что не будет участвовать в этой вылазке. Разбойники обступили его – дело происходило ранним утром, в красивой речной долине, – потребовали объяснений, упрекнули в трусости. Ван очень спокойно передвинулся так, чтобы за спиной у него никто не стоял, объяснил, что хочет через три дня присоединиться к своим друзьям, но взять с собой бывших сообщников отказался. В его представлении, мол, все это «ненадежные волны», он же хочет добраться до твердой земли. Недавние приятели Вана принялись насмехаться над мягкотелостью братьев, спрашивали с издевкой, где же Ванова чаша для подаяний – они бы тоже туда что-нибудь положили.

Ван ушел. Но не успел пройти и двух *ли*, как пятеро бывших дружков преградили ему дорогу, возобновили насмешки, одновременно как-то подозрительно поигрывая тетивами луков. Когда один из них, в засаленной шапке, протянул ему – чтоб помнил, кто есть он и кто такие они, – отрезанную косичку, Ван счел за лучшее перенестись на «землю» посредством одного прыжка.

Он проклял берег, который собирался покинуть, поплевал на свой меч – как поступают с мертвым, которого хотят пробудить к жизни, – поднял его обеими руками и, размахнувшись, вогнал в грудь человека, пытавшегося его запугать. Когда Ван разжал пальцы, он уже был один, если не считать мертвеца на дороге. Он просунул лезвие меж мертвых губ, и берег, только что им покинутый, брызнул ему в лицо жаркой струйкой; Ван лизнул эту обещавшую счастье кровь.

Потом он много часов, без перерыва, бежал, и Желтый Скакун тоже – впереди него. Потом наступил вечер, и Ван, не чувствуя голода, устроился на ночлег в лесу. Через два дня, питаясь одними плодами, сырым рисом и подношениями встречавшихся ему испуганных женщин, он наконец в час заката добрался до луга, с которого доносились пение и слова читаемой вслух сутры. И узнал в сидевшем у костра человеке молодого горбуна с гор Наньгу. В том месте разбил свой лагерь большой отряд.

В ПОСЛЕДНЮЮ НОЧЬ перед тем, как Ван покинул отряд Ма Ноу, к нему в палатку зашли две девушки. Они осветили желтыми бумажными фонариками бамбуковое перекрытие над своей головой, тихонько поставили палки с фонарями в угол. Потом раскидали солому, в которую зарылся спящий, потерли ему веки и, усевшись рядышком на пол, внимательно наблюдали, как он приподнялся на локте, осторожно подвигал больной ногой – и улыбнулся.

Он кутался в коричневый халат, мозолистые ступни были босыми. Девушки с двух сторон взяли его за руки и потянули вверх, так что в конце концов он обнял обеих и оперся на их податливые круглые плечи. Они же склонились друг к дружке головами и обменялись испуганными взглядами. Младшая, слева, дрожала и все пыталась ухватить подругу за пальцы. Обе боялись, а вдруг этот ужасный колдун поднимется с ними в воздух, проломив крышу, или змеей обовьется вокруг шей.

Но Ван отпустил их, расправил на лбу у одной, потом у другой, аккуратно подрезанные челки*. Обе пришли в восторг. Младшая, правда, все еще не оправилась от испуга, тряслась и стучала зубами. Они щипали его за руки, которые он раскинул между ними. Щупали его мускулы, повисали на нем, потом старшая залезла пальцами в вырез халата Вана, а младшая пыталась ее оттеснить. Внезапно младшая (она теперь выглядывала из-за Ванова плеча, царапала ему грудь) наклонилась и вонзила зубки в его запястье, как заигравшийся щенок – в кость; с заинтересованным видом придвинулась поближе, не переставая покусывать неподвижную загорелую руку. И искоса посматривала – когда же

он вздрогнет от боли; пугалась – почему не вздрагивает. Но от его жесткой плоти у нее самой заболели зубы. Она устало почмокала губами и облизнулась.

Эта маленькая, проворная, болтливая девушка родилась в Шэньси. Она напоминала собачку-пекинеса – или кролика. Много и охотно врала, но как-то по-глупому, когда находило такое настроение. Была, как и ее подруга, рабыней-служанкой в одном загородном имении под Гуаньбином; бежала, когда из-за ее неосторожности в комнате госпожи начался пожар, боялась вернуться назад и, случайно повстречав трех сестер-нищенок, с радостью пришла вместе с ними в лагерь Ма Ноу. Работать она ленилась, ни с кем не ссорилась, но и не поддавалась обучению.

Вторая девушка, ростом не выше первой, но полненькая, не такая курносая и гораздо более изящная, врала не меньше своей младшей подруги, однако в иной, хвастливой манере. Она была склонна к сентиментальности, а также к самовосхвалениям. Периодически – месяцами – страдала от странной тоски, носилась со всякими авантюрными планами и с мыслями о самоубийстве, уже с того времени, как ей исполнилось двенадцать лет. Позже она часто вела себя как мученица, давала понять, будто пережила в жизни нечто необыкновенное, но когда на нее наседали, легко признавалась: все дело в том, что, не имея ни дома, ни родителей, ни родных, она очень страдает от пустоты и безысходности своего существования. Она считала себя особенной, не такой, как другие, но искренне, даже страстно любила подруг, хотя и не всегда с ними ладила, считалась умненькой, красивой, задиристой. Доведись ей попасть не в дом почтенного господина, а к какому-нибудь предприимчивому дельцу, ее давно бы продали в театральную труппу – и, возможно, там бы она нашла свое счастье.

Ван стал надевать штаны и сандалии. Девушки пытались ему помочь. Суетились, без умолку тараторили. Младшая фактически предложила ему себя, сказав, что ей уже больше пятнадцати и что она бы очень хотела присоединиться к такому могущественному заклинателю демонов. Ах, она с радостью срывала бы вместе с ним полевые цветы! Ван ответил, что подумает, и, поскольку

они продолжали прыгать вокруг него, легонько толкнул одну, а потом другую. У младшей порвался халат возле ворота и под мышками. Она показала Вану – радуясь и немного стыдясь – свои смешные, еще почти детские грудки. Другая, «сентиментальная», обиженно поджимала губы, потому что малышка все время оттирала ее плечом, просила уйти, вслепую – не оборачиваясь – шлепала по носу.

Когда Ван схватил младшенькую за плечи и стал вертеть над мшистым земляным полом, так что у той закружилась голова, а слишком тесные штанишки лопнули, «сентиментальная» сердито проронила, что в доме их почтенного господина девушек таким глупостям не учат. Ван тогда и ее тоже обнял за плечи. Но она вырвалась и, опустив сверкнувшие глаза, шепнула, что может предложить кое-что получше. А именно: чтобы они с малышкой поборолись, или посоревновались в поднимании камней, или еще в чем-нибудь – как захочет ее подруга. Главное, чтобы померялись силами. Ван согласился и стал подзадоривать их, сам же уселся на солому. Потом привлек обеих к себе, успокоил, погладил раскрасневшиеся лица, которые все еще обиженно отворачивались одно от другого.

Лаская их, одновременно рассказывал забавные истории, услышанные еще в Цзинани.

Угольно-черные глыбы ночи медленно расползались в стороны. Серый газ просачивался в щели, раскалывал ночь на куски, кусок за куском исчезал. И из тьмы выступили катальпы – бараны, нагнувшие рога.

Ван облачился в синюю куртку, на шею повесил меч. Сказал девушкам: пусть быстренько сбегают к себе, захватят чаши для подаяний и прочие мелочи; им троим пора трогаться. Когда Ван зашагал рядом с ними – неторопливо, щадя больное колено, – он не стал объяснять, почему ушел из лагеря потихоньку и куда, собственно, держит путь.

Три недели странствовал Ван по срединной части провинции Чжили, посылал гонцов в крупные селения и города, которым еще раньше, из Шаньдуна, сообщил о том, что *у-вэй*, возглавляемые Ван Лунем из Хуньганцуни, являются союзниками «Белого

Лотоса», – и потому люди должны оказывать им всяческую поддержку. Посланцы Вана выдавали себя за продавцов инжира; в их узких коробах лежал, прикрытый винными ягодами, наследственный меч Чэнь Яофэня, Желтый Скакун, а также письмо Вана, зашифрованное по системе «Белого Лотоса»: после определенного иероглифа, который указывал сам гонец, нужно было читать каждый третий, а с какого-то места – каждый седьмой знак; далее, после оговоренного знака, – каждый второй и потом каждый четвертый. Очень скоро тайная помощь «Белого Лотоса» стала достаточно ощутимой: ибо у всех приверженцев этого союза шаньдунский комитет пользовался огромным авторитетом.

Одновременно Ван Лунь изменил правила, касающиеся образа жизни: он желал, чтобы отныне в более бедных районах братья и сестры рассредоточивались, как бы растворялись среди обычных жителей деревень, селений, городов. Ван пошел на этот шаг, уступив настояниям двух членов «Белого Лотоса», которые довели до его сведения, что не одобряют строгой изоляции «поистине слабых» и их «совиных привычек»*; союз, мол, должен существовать не только на бумаге, так пусть же под сладкими винными ягодами «слабые» не прячут клинок раздора. Но Ван все-таки разослал вожакам своих отрядов тайное указание: прежде чем братья и сестры отправятся в обычные поселения, их следует предупредить, чтобы они не смешивались с братьями из «Белого Лотоса», не отождествляли себя с ними полностью. «Друзьями отечества» являются, конечно, и те, и другие, но одни лишь *у-вэй* всегда будут оставаться мирными и страдающими – самыми подлинными – детьми своего неимущего народа; а народ этот никто по-настоящему не вовлечет в войну, потому что он как вода – обладает свойством текучести и принимает форму любого сосуда.

После того, как Ван Лунь, пребывая в срединной части Чжили, позаботился о безопасности братьев и сестер, он мог бы воздержаться от всякой дальнейшей деятельности и заняться личными приготовлениями к Великой Переправе. Однако лошадь, раненая стрелой в бедро, не может спокойно щипать траву, а ветер, если он хочет вырвать из рук солдата знамя, ни на мгновение не

прекращает своих усилий. В то лето у Вана бывали вечера, когда он, сидя в какой-нибудь чайной на обочине лесной дороги, вдруг задумывался о Ма Ноу – и от одной этой мысли все в нем судорожно сжималось. Однажды, переступив через свою гордость, он послал гонца, проворного молодого человека, с письмом к Ма Ноу: мол, пусть Ма забудет об их последней встрече и вернет ему, Вану, человечьи души, которые ныне одурманены ложью; и пусть сам возвращается вместе с ними. Больше о том гонце никто не слышал.

ПРОИЗОШЛО, о чем говорил Ма Ноу: никогда еще благочестивое рвение братьев и сестер, их сердечная мягкость, умение радоваться жизни не были так велики, как после того утра, когда они громогласно, ни от кого не таясь, назвали себя «расколотыми дынями». Никто из них больше не общался с «посюсторонним» миром; но в местностях, через которые они проходили, шепотом передавались слухи о том, что над всеми ними витает неземное блаженство.

Однако прежде, чем «расколотые дыни» добрались до отрогов Тайханшаня, что начинаются к северу от Шуньдоу, на бесконечную вереницу братьев и сестер напала банда разбойников. Была вторая половина дня, накрапывал дождь, люди шагали по однообразной лессовой равнине. В обозе тащились телеги, широкие повозки; на них-то и набросились вооруженные бродяги, числом около восьмидесяти, – в надежде на хорошую добычу. Но обнаружив там лишь заготовленные для строительства доски, немного риса, бобов и воды, да плюс к тому больных, они обозлились, перевернули телеги, осквернили воду, забрали мешки с продовольствием. Сопровождавшие обоз братья разбежались; шестерых самых смелых, которые хотели забрать с собой больных, бандиты разогнали сами, пинками и сабельными ударами плашмя. Одному, который попытался было урезонить бандитов, эти последние, смеясь, отрезали язык и привязали на его же лоб. Поняв теперь, с кем имеют дело, они устроили шутовскую облаву на сестер. Под заунывные звуки благочестивой песни, которую затянула от страха – когда ее швырнули на

землю – одна из сестер, бандиты наконец поскакали прочь, увозя с собой одиннадцать раздетых догола и крепко связанных девушек.

Между тем, основная часть отряда, возглавляемая Ма Ноу и старейшими братьями, продолжала двигаться вперед. Но и здесь усилилась неразбериха выкриков, гримас растерянности, подкашивающихся колен. Шедшие сзади напирали на вожаков и пытались их остановить. Те же отделывались от непрошеных советчиков: с силой отталкивали протянутые к ним руки, отрицательно качали головами, шли дальше, стряхивая чужие прикосновения со своих спин.

Чего хотят эти братья и сестры! Разве они не знают, в чем состоит драгоценное учение их союза? Не противиться! Или они забыли?

Но братья побледнели именно потому, что только сейчас осознали гибельность своего учения, обрекавшего их на ужасное одиночество. Они беспокойно кружили на месте, с трудом отрывали испуганные взгляды от хвоста колонны, насильно принуждали собственные ноги следовать по стопам Ма Ноу. Затянули – лишь бы заглушить терзавшие их крики – песню, предназначенную для своих же ушей. Призывали на помощь местных духов, утешали друг друга.

Ма Ноу медленно шагал вместе со старейшими братьями под моросящим дождем. Старики, стиснув руки, шептали что-то, переглядывались, вдруг резко останавливались, желая одного – чтобы земля разверзлась и поглотила их всех. Ма Ноу от удивления распахнул глаза; и окоченел в приступе немой ярости. Что-то уж слишком они взволнованы, может, хотят схватиться за кинжалы и ножи? Различие между этим страданием и любым другим – в чем оно состоит? Различие вообще – в чем оно? Да, приходится принуждать себя, чтобы считать происшедшее хорошим, даже очень хорошим, чтобы боготворить его – потому что это есть судьба. Это-то и есть судьба.

И он принудил себя и их обернуться, издали, через лессовую равнину, наблюдать, как бандиты насильничают над братьями и сестрами, глотать этот горький яд. По его указанию братья – что

было неуместно и глупо – запели. Они бросались на влажную землю, в отчаянии прислушивались к долетавшим до них страшным звукам. Потом столпились вокруг коленопреклоненных – возносивших хвалу насилию? – вожаков.

Тишина, затаившие дыхание зрители. Гигантские театральные подмостки, визг связанных сестер, обнаженные нежные тела, палки, с треском обрушивающиеся на головы братьев, рев, конский топот, хныканье больных, пустая равнина, дождь.

Вокруг обломков телег все слиплось в единый ком. Когда промокшие под дождем больные вдруг принимались жаловаться, братья не смели взглянуть в лицо друг другу. Когда кто-то из покалеченных хрипел, разевая кровоточащий рот, они отворачивались.

Вечером, на стоянке в окрестностях торгового села, все обсуждали случившееся; Ма оставался невозмутимым. Вообще говорили немного. Люди расходились со стонами, с перекошенными болью лицами. В кругу братьев и сестер происходило какое-то брожение, нарастало смутное беспокойство.

Пятьдесят братьев ночью собрались вместе и отправились в торговое село, на поиски разбойников. Там они узнали, что эти бандиты угнездились в деревушке, расположенной дальше за селом, и что ни властям, ни частным лицам до сих пор не удалось разорить их логово. Местные жители сообщили также, что троих захваченных девушек сразу увезли в Шуньдоу, восьмерых же пока держат под охраной в деревне.

На следующую ночь братья ворвались в указанные им дома той деревни и вступили в схватку с преступниками, которые, решив с перепугу, что на них напали солдаты, быстро обратились в бегство. Сестер нашли и освободили, убитые же – двое преступников и трое братьев – остались лежать на залитой лунным светом деревенской улице.

Братья настолько воспряли духом, что уже назавтра отправились в город и выяснили, где находятся еще три их сестры: как оказалось, девушки попали в один из подозрительных «домов радости». Вечером смельчаки группами по три-пять человек наведались в тот дом, задержались, выдавая себя за обычных

посетителей, до третьей ночной стражи, потом без каких-либо трудностей взломали двери, забрали девушек, весь следующий день прятались вместе с ними у городских нищих, а через неделю, сделав большой крюк, вернулись в лагерь Ма Ноу, в цветущие предгорья Тайханшаня.

Ма Ноу, узнав подробности происшедшего, долго носился с мыслью, что надо бы выгнать строптивых братьев. К тому времени среди сектантов возобладало мнение, что *у-вэй*, «недеяние», является – и должно оставаться впредь – спасительным «срединным путем». Освободители сами стыдились, что нарушили закон. Всех, чье раскаяние казалось искренним, Ма простил. Но те пятеро, которые легкомысленно хвастались содеянным, были изгнаны.

Внутри союза развернулась ожесточенная борьба между Ма Ноу и его противниками. Однако быстрая победа Ма убедительно показала, какой чудовищной властью обладал теперь этот совершенно изменившийся человек.

В ПЛОДОРОДНОЙ густонаселенной местности у подножия гор Тайханшань из лона союза родилась священная проституция.

Сестры еще со времени пребывания возле болота Далоу привыкли к тому, что если в уединенном месте, на горной тропе или в лесу к ним приближаются незнакомые мужчины, то лучше самим пойти им навстречу, обменяться дружескими приветствиями; да и от ласк уклоняться не стоит, иначе не ровен час накличешь на себя беду. После нападения разбойников, случившегося близ Тайханшаня, такая манера вести себя стала обычной.

Сестры особым образом снаряжались, чтобы стеной кротости оградить «Расколотую Дыню» от любых посягательств. Они уже не расхаживали по округе в нищенских лохмотьях, но с помощью братьев старались раздобыть для себя яркие одеяния, красиво расписанные ширмы, изящные гребни для волос. Каждый вечер они собирались вместе, и самые опытные учили остальных петь восхитительные любовные песни «пестрых кварталов», играть на лютне-*пиба*. Встретив рабочих, ремонтирующих императорские дороги, или крестьян, выкапывающих

земляные орехи, сестры уже не пугались и не пытались бежать: они пускали в ход свое женские чары и невредимыми проскальзывали сквозь любое препятствие. Среди пяти сотен сектанток нашлось около десятка таких, которые очень хорошо представляли себе положение приверженцев Ма Ноу, навсегда связали свою судьбу с «Расколотой Дыней» и, проявляя ум и решительность, всячески способствовали укреплению этого союза. Священной проституцией занимались, конечно, самые молодые и красивые. Такие говорили, что никто не помешает им достичь Западного Рая кратчайшим путем – теперь, когда они готовы разделить с каждым встречным всё, буквально всё.

В предгорьях Тайханшаня происходило нечто удивительное, сказочное – наивное, как народные песни. Нищие странники воздвигли здесь свои хижины, и мужчины стали регулярно подниматься в горы, где селения лепились одно к одному. Девушки же, обнявшись, отправлялись к размежеванным на шахматные клетки полям. Потом разбредались по узким тропинкам, которые разделяли участки, засеянные рисом или пшеницей. Гниловатая земля проседала под легкими стопами «дарительниц счастья». Среди зелени злаков вспыхивали яркокрасные пятна: на стеблях высотой с трехгодовалого ребенка покачивались тугие круглящиеся цветы – шелковистые головки мака. Девушки все были с челками, прилипавшими к низким лбам. С их пестрых поясков свисали чаши для подаяния. Те красотки, что не привыкли много ходить, просто усаживались на землю и потряхивали палочками с прикрепленными к ним латунными трещотками.

Встретив работающую в поле женщину или девушку, «дарительница счастья», эта нарядная нищенка, всегда ее приветствовала, называла свое имя, говорила, что принадлежит к союзу «расколотых дынь», рассказывала что-нибудь интересное и сама участливо слушала новую знакомую, а на прощание вручала ей подарок – полотняный мешочек с пеплом или бумажный лист-амулет с начертанными на нем иероглифами.

Встретив же мужчину, расспрашивала его о ближайшей округе, о благоприятных силовых линиях; если он вел себя

почтительно, принимала от него угощение, усаживалась рядом с ним на меже, под софорой, трапезничала, а пока он восторженно смотрел на нее, рассказывала о благочестивых чудотворцах, с которыми теперь живет, и о своей прошлой тяжкой жизни. Потом поднималась и мелкими шажками шла дальше, часто оборачиваясь и кланяясь на ходу. Если же святая проститутка видела человека, который дрожал мелкой дрожью или бросал вокруг испуганные взгляды, она как могла утешала его: садилась в некотором отдалении, пела одну или две песенки – очень короткие, неизвестные в тех краях. Распахнув свободный халат, вынимала красный, спрятанный на груди платок, обвязывала себе лицо. Из-под платка вырывался ее звонкий смех, и так, с закрытым лицом, она позволяла счастливчику делать с ней все, чего он желал. А затем тихо удалялась по тропинке, и больше ее в тех местах не видели.

Слух о новом союзе быстро распространялся в городах, особенно в «пестрых кварталах», в театрах, в чайных. Рабы и рабыни, мальчики-актеры, накрашенные жрицы любви бесследно исчезали. Напрасно хозяева сомнительных заведений объединялись, обращались с жалобами к властям и, чтобы побудить их к каким-то решительным мерам, отказывались платить налоги.

Из уст в уста передавалась, например, история молодой госпожи Цзай из Чжаньлина и ее бегства. Еще совсем юной девушкой госпожу Цзай продали в заведение, пользующееся дурной репутацией.

Она уже руководила ресторанчиком в его задних покоях и вследствие неумеренного потребления горячего вина приобрела какую-то желудочную болезнь – ведь то вино имело специальные возбуждающие добавки, – когда однажды в момент протрезвления ей подумалось, что лучше уж голодать и мерзнуть, чем постоянно терпеть побои хозяйки, страдать от рвоты и оказывать любовные услуги грузчикам, торговцам растительным маслом, бурлакам.

Поскольку с ней никогда не обращались по-человечески и она знала, что жизнь ее все равно погублена, женщина выпрыгнула из своих открытых носилок – предварительно подкупив

щедрыми дарами носильщиков – прямо у ворот *ямэня*, тут же была арестована и после того, как судьи вынесли обвинительный приговор ее скотине-хозяйке, направлена в городской приют, располагавшийся поблизости от тюрьмы. Пробыв в этом исправительном заведении несколько недель, она обучилась разным полезным вещам, и ее портрет вывесили в стеклянной витрине у входа – к сведению мужчин, желавших взять в жены какую-нибудь из пансионерок.

Но как только портрет стал доступным для обозрения, один из посыльных сообщил об этом хозяйке борделя, еще не оправившейся после полученных ста ударов; и тогда хозяйка уговорила своего никчемного племянника, чтобы он обратился к директору городского приюта, представил ему фальшивые рекомендации и сказал, что хотел бы взять в жены госпожу Цзай. Расспросив директора о достоинствах предполагаемой невесты, парень подтвердил свое намерение жениться на ней, увез ее на пару недель в специально снятую квартиру, а потом «вернул» тете.

Несчастная молодая женщина не могла известить полицию о том, что ее похитили: за ней постоянно следили, все деньги отобрали, хозяйка ежедневно избивала ее, пока она не сдалась и не пообещала смириться со своей участью. Опять началось разрушительное для ее здоровья пьянство; почти не помня себя, с покрасневшими глазами, она целыми днями бродила по борделю, низко кланялась, едва завидев хозяйку, и радовалась уже тому, что ей позволили залечить раны на ладонях и ступнях.

Но однажды одна новенькая, которая не желала смириться с такой жизнью, рассказала ей, что познакомилась с продавцом дынь, что он влюбился в нее и хочет ей помочь. Затравленная госпожа Цзай чуть ли не против воли позволила вовлечь себя в заговор: вместе с тремя другими обитательницами борделя, которым они доверились, женщины составили жалобу на хозяйку и ее племянника; новенькая обещала передать этот документ своему поклоннику, чтобы он затем представил его властям. Торговец дынями и вправду отнес письмо куда следует; но прежде чем судейские чиновники успели явиться в бордель, один из

низших служащих *ямэня*, который надзирал за писцами, известил племянника о поступившей жалобе.

Тем же вечером женщины со страхом услышали, как под их комнатой, в салоне для гостей, хозяйка и ее племянник обсуждают эту ситуацию, решают, какие меры принять. Осознав, что́ им теперь угрожает, пятеро проституток прибегли к крайнему средству: связали в коридоре служанку, которая за ними шпионила, предварительно набив ей рот скомканной бумагой; спустились из окна на задний двор, скрутив вместе все имевшиеся у них шиньоны и собственные, только что отрезанные косы; пробежали, не останавливаясь, через полгорода, до городской стены, где и спрятались до утра; а утром, обменяв свои наряды на лохмотья нищенок, ночевавших в землянках у той же стены, незаметно выскользнули за городские ворота.

У них не было необходимости торопиться: хозяйка и ее племянник, оправившись от первого шока, даже обрадовались тому, что пять их обвинительниц исчезли, и от души пожелали им доброго пути. Но беглянок подстегивал смертельный страх; они, ни о чем не думая, преодолевали одно *ли* за другим; при малейшем шорохе за спиной бросались на землю; наконец, взобравшись на какую-то гору и очутившись посреди нехоженой каменистой пустоши, сочли возможным передохнуть и спокойно выплакаться.

Продолжение этой заурядной истории тоже было вполне заурядным. К концу первого дня две женщины, которые от голода и страха не могли идти дальше, отделились от других и, явившись в деревенскую управу, сказали, что будут ждать тут на месте, пока хозяйка их заберет. Однако последняя уже подала на беглянок в суд, обвинив их в краже и клевете. Дня через два деревенский староста, очень славный человек, сообщил им об этом и посоветовал даже не думать о возвращении в город: ведь они в самом деле присвоили принадлежащие их хозяйке дорогие наряды. Так эти избалованные красотки остались в деревне и начали работать в поле и в хлеву, от души проклиная свое злосчастное приключение.

Три другие беглянки через пять дней присоединились к отряду Ма Ноу – совершенно измотанные долгими пешими

переходами, холодом и жаждой. Приняли их очень хорошо. Но двоим вскоре разонравилась строгая и размеренная жизнь в лагере. На их красоту и прочие женские достоинства никто здесь не обращал внимания. Им же казался скучным, даже комичным образ мыслей, характерный для сестер и братьев. Одна проститутка в итоге вышла замуж за члена секты: не очень благочестивого, настроенного почти так же, как она. Другая, способная молодая девица, научилась у беглого актера императорских театров популярным при дворе танцам, а также изящным речевым оборотам и правилам этикета; и очень скоро ее нанял – в качестве ведущей танцовщицы – владелец одной чайной, где устраивались представления с танцами. С целью рекламы он распространял слухи о придворных интригах, от которых она якобы пострадала, и другие подобные небылицы.

И только несчастная Цзай, против воли позволившая вовлечь себя в эту опасную авантюру, расцвела среди «расколотых дынь». Она никогда даже и не мечтала о таком счастье. Впервые ее ввалившиеся глаза засветились подобием надежды. Однако она не была приспособлена для подобной жизни. «Летящий *ши*»*, как выражались сведущие братья, пробуравливал ее кожу и внутренности. Она харкала кровью и с каждым днем чувствовала себя все хуже. Братья раздобыли для нее в деревенской аптеке чудотворное снадобье из плаценты впервые ощенившейся суки. Но Цзай все-таки умерла посреди цветущего летнего луга – и так избавилась от своего убогого бытия.

Слава «жриц любви» распространилась в тех краях очень широко. И, вероятно, более, чем что-либо иное, способствовала популярности секты. Представители местной власти и ученые из храмов Конфуция*, обычно не останавливающиеся ни перед чем, на сей раз никак не могли прийти к единому мнению. Ведь не приказывать же, в самом деле, чтобы полиция и провинциальные войска просто перебили несколько сот человек (тем более, что к ним примкнули и опустившиеся отпрыски знатнейших семейств): никто не решался брать на себя ответственность за убийство такого количества безумцев, которые для собственного спасения и пальцем не шевельнут.

Сперва чиновники попытались уговорами и мягким нажимом убедить членов союза добровольно разойтись. Но поскольку на все их предложения братья отвечали отказом, они в конце концов запретили деревенским старостам снабжать «расколотых дынь» продовольствием и водой. Старосты, при поддержке своих подчиненных, часто по собственной инициативе принимали какие-то меры против союза. Пользуясь суеверностью местных жителей, они, например, распространяли слухи, будто братья насильно уводят из деревень красивых девушек или будто они владеют рецептом продлевающего жизнь снадобья, но не хотят этим секретом делиться. Из-за подобных слухов бывали случаи нападений на тех членов союза, которые в одиночку забредали слишком далеко. Братьев раздевали донага, избивали. Закулисные подстрекатели надеялись таким образом сократить приток новых членов в секту, а самих сектантов запугать. Однако «расколотые дыни» сохраняли спокойствие; не уменьшалась и притягательность Западного Рая, который они обещали всем, кто, полностью освободившись от суетности и страстей, будет следовать путем Дао; братья полагали, что только они одни знают чистое и истинное Дао, а потому смогут овладеть теми волшебными силами, о которых рассказывается в старинных песнях.

Когда стало очевидно, что такие нападения не приводят к желаемым результатам, местные власти отстранились от участия в их подготовке, ограничили свою деятельность составлением отчетов, заняли выжидательную позицию.

Однако в провинциальных храмах Конфуция подспудное бурление продолжалось. Ученые, бывшие правительственные чиновники, другие администраторы, лица, временно отстраненные от должности, их друзья: все они видели в «расколотых дынях» личных врагов, с которыми необходимо бороться своими силами – тем более, что у представителей власти руки пока связаны. Сдерживал только страх перед дурным впечатлением, которое убийство безоружных могло произвести на простонародье, иначе вопрос давно был бы решен.

Наконец, один пожилой военный из Шуньдоу, в ранге *тиду*, который не выносил религиозных распрей и к тому же желал

укрепить свою репутацию в Пекине, предложил: он возьмет ответственность за уничтожение «расколотых дынь» на себя, если ему предоставят большую денежную сумму, чтобы набрать отряд из бывших солдат, истинных друзей отечества. Обрадованные заговорщики вскоре по подписке собрали затребованную сумму, и вот однажды ночью отряд в две сотни человек быстрым маршем выступил из Шуньдоу, чтобы к рассвету напасть на сектантов – прежде, чем они покинут свой лагерь; возглавлял отряд тот самый *тиду*. Ранним утром произошло давно назревавшее кровавое столкновение – недалеко от деревни, рядом с которой располагался лагерь «расколотых дынь».

Слухи о скором прибытии вооруженной банды уже несколько дней тревожили жителей тех мест; правда, многие сомневались в возможности нападения на столь безобидных людей. Так или иначе, но секта и особенно «жрицы любви» уже завоевали в народе такую популярность, что на рассвете того дня шум поднял на ноги множество крестьян. Жители деревни, едва услышав жалобные крики, доносившиеся из мирного лагеря, со всех сторон бросились на помощь. Проникнуть внутрь им сперва мешали выбегавшие оттуда братья и сестры. Но потом – дубинки скрестились с дубинками. Лезвия кос обрубали руки, обхватившие рукоятки мечей. Бамбуковые копья пронзали налетающие на них тела. На спины солдат-предателей обрушивались палки и здоровенные корни. Разинутые глотки, стоны, глухие удары, треск. Запах пота, витые струйки крови, чередующиеся в неравномерном ритме тишина и многоголосый рев. Крики: «Гуаньинь, помоги!» Через какие-нибудь полчаса демон того места насытился. Сотня солдат осталась лежать на земле, больше двух сотен братьев и сестер, четыре десятка крестьян.

Спасшиеся сектанты наконец собрались вместе. Беспорядочное бегство завело их далеко от лагеря.

К вечеру, продолжая двигаться в северном направлении, они добрались до большого озера, которое местные называли озером Согласия; остановились, только теперь с ужасам осознав, что бросили своих умерших непогребенными, взвалив все заботы о похоронах на крестьян. Ма успокоил их. Он, мол, еще

по дороге узнал – узнал наверняка, – что умершие сестры и братья были хорошо подготовлены к смерти; их духи уже вознеслись к вышним сферам.

На берегу залитого лунным светом озера Ма совещался с восемью братьями о том, что́ предпринять дальше. И с показной решимостью заявил: безразлично, в какой день человек умрет; важно лишь, окажется ли его дух готовым к смерти. Он говорил вяло, чувствуя, что его слова не соответствуют чудовищной ситуации. Ему нечего было ответить на вопрос, не лучше ли сперва как следует подготовиться, а уже потом – слепо устремляться навстречу гибели.

Сотни и сотни людей сгрудились под знаменем «Расколотой Дыни»; но никто не готовил для них переправу к чаемому прибежищу, никакая тихая гавань не ждала этих исстрадавшихся отщепенцев. И происходившее нельзя было назвать иначе как бессовестным обманом, злодеянием. Потому что их всех вели на бойню – на бойню, а отнюдь не в Западный Рай.

Они говорили шепотом, под аккомпанемент шуршащего камыша. Жаркий и безутешный взгляд Ма Ноу случайно упал на большой монастырский комплекс по ту сторону озера. На фоне светлого неба Ма ясно различал все характерные детали ламаистской постройки: несколько кумирен, просторный молитвенный зал, кельи монахов. В похожем на этот тихом монастыре он и сам прожил долгие годы. И вот теперь, отверженный, вместе с несколькими сотнями человек опять стоит перед до боли знакомыми воротами. Отделенный от них лишь озерной гладью.

Братья предлагали отчаянные решения и тут же от них отказывались. Союз, мол, надо распустить. Но только никто не желал взваливать на себя страшную ответственность за такое. И они умоляюще спрашивали Ма: «Что же нам делать, что делать?» Завтра или послезавтра, в лучшем случае через неделю подтянутся провинциальные войска, окружат «расколотых дынь», перебьют всех братьев и сестер. В этом не может быть сомнения: еще сегодня – доклад местных чиновников в вышестоящую управу – *цзунду** – о нарушении мира в провинции; затем – быстрое вмешательство правительства. В чем провинились «расколотые

дыни», какими ошибками навлекли на себя все это? Жалобы тут не помогут. Что теперь с ними будет? Многие любимые братья, красивые нежные сестры, благочестивые пожилые странницы уже мертвы. Потоки крови, размозженные лбы, добровольно подставленные под удар шеи: все это немыслимый, мучительный, давящий груз – знать, что твои товарищи отлетали в Западный Рай среди месива потных тел, под улюлюканье убийц. Их союз, круг верных, распался.

Ма Ноу сидел тихо, прислушивался к себе. Внезапно вспомнился тот первый разговор нищих и Ван Луня, происходивший в его – Ма – хижине. Тогда Вана убеждали попросить защиты у «Белого Лотоса». У «Расколотой Дыни», в отличие от сторонников Вана, нет ни защиты, ни друзей: Ван Лунь порвал с ними – просто поднялся и, захватив длинный боевой меч, среди ночи тайком покинул лагерь своих братьев.

Кипящая ненависть к Вану переполняла Ма. Его руку будто кто-то тряс изнутри, его зубы скрипели. Вдруг решение прорвалось сквозь коленный сустав в пальцы ног, одновременно так тряхнув диафрагму, что он перестал дышать: будто внутри, в нем, сверкнула молния и прогрохотал гром – и эхо этого двойного взрыва волной прокатилось по всему телу.

Разноцветные ленточки молитвенных вымпелов развевались, колеблемые ветром, над плоскими монастырскими крышами, выставляли себя напоказ.

Едва занялась заря, Ма дал сигнал к выступлению. Его люди обошли озеро и быстро окружили монастырь – еще прежде, чем трижды прогудели раковины-трубы, созывая монахов на первую молитву.

Ма стукнул кулаком в тяжелые ворота. Пятеро братьев вместе с ним пересекли монастырский двор и поднялись на второй этаж, к горнице *чэн-по*. В этой пустой комнате с высоким потолком и двумя ступеньками, которые вели к занавешенной нише, у роскошного резного алтаря с изображениями Будды, они и увидели настоятеля: моложавого еще человека со спокойным одухотворенным лицом. Ма Ноу в своем лоскутном одеянии пренебрег предостерегающим жестом служителя, который

пытался его остановить; настоятель молча ждал, когда ему скажут, какое срочное дело привело к нему этих чужаков. Он, казалось, не был расположен принять шестерых незнакомцев как гостей; во всяком случае, на их приветствие не ответил.

Ма назвал себя и представил своих спутников; потом с холодной учтивостью заявил, что хочет обсудить с настоятелем одно важное дело.

Настоятель в ответ сказал, что распределением милостыни занимается один из братьев, к которому их проводит привратник; тот же брат ведает оказанием медицинской помощи и удовлетворением других неотложных нужд.

Однако Ма Ноу хотел говорить именно с *чэн-по*.

Тот, поколебавшись, предложил им присесть на табуреты, но заметил, что скоро начнется ранняя служба.

Ма Ноу, заняв указанное ему место, возразил: время, отпущенное любому человеку, есть лишь промежуток между вдохом и выдохом, оно истекает очень быстро. Или, может, его почтенный собеседник, знаток священных текстов, нашел среди божественных речений магические формулы, способные уберечь людей от телесного распада?

Настоятель, подивившись необычным познаниям нищего, нараспев произнес, что да, ему, конечно, известны некоторые защитные заклинания, – и взглянул янтарными глазами в лицо странного посетителя.

Действительно ли, продолжал допытываться Ма Ноу, ученый настоятель настолько доверяет защитным заклинаниям, что, полагаясь на них, рискнет подвергнуть реальной опасности себя самого?

Чэн-по, еще больше удивившись, подтвердил, что доверяет и уже упомянутым заклинаниям, и некоторым другим; но, может быть, спрашивающий – переодетый *гелонг*[*]? Иначе зачем стал бы он экзаменовать его, настоятеля? Что все это означает и вообще – кто они такие?

Ма Ноу, поднявшийся одновременно с *чэн-по*, сказал, что нет никакого основания прерывать беседу – особенно теперь, когда они почти приблизились к сути; что же касается пропущенного

моления, то это поистине будет меньшим злом, нежели убийство десяти сотен мужчин и женщин. Они могли бы поговорить без обиняков, отбросив вежливые украшательства: о том, не согласится ли просветленный *чэн-по* со своими пятьюстами монахами прямо сейчас покинуть монастырь и спуститься на равнину – правда, преследуемый преступниками, но зато пребывая под защитой тантрических формул? Может, просветленный *чэн-по* соблаговолит выглянуть в окно и сам удостоверится, что прошлая ночь принесла кое-какие изменения? Настоятель, сделав два шага, подошел к окну и рывком распахнул его: бормотание монахов во дворе, поблескивающая поверхность озера – а берег, насколько хватает взгляда в утреннем тумане, весь зачернен, заштрихован сотнями и сотнями шевелящихся людей, мужчин и женщин, и еще повозками, телегами. Эта людская масса производила так мало шума, что даже монахи, направлявшиеся на утреннее богослужение, не заподозрили ничего необычного.

Настоятель не повернул к Ма Ноу холодное квадратное лицо; только пророкотал: «Это и есть те преступники, что преследуют нас?»

Ма Ноу, шагнув вперед, быстро захлопнул окно: нет, это как раз преследуемые, которые просят у него, настоятеля, защиты. Правда, никто не может сказать наверняка, в какой момент преследуемые сами превратятся в преследователей и преступников. Эти люди – «расколотые дыни»; столь нечестивым именем именуют себя наичистейшие; сегодня утром их убивали; их мертвецы еще лежат, непогребенные, в поле на расстоянии дневного пути отсюда; а сейчас он, Ма Ноу, пришел просить для своих гонимых приверженцев пристанища и защиты.

В дверь постучали; настоятель обернулся. И сказал, что не сможет присутствовать на богослужении; пусть его заменят; пусть монахи сегодня не читают молитвы слишком долго и поскорее пришлют к нему его заместителя, *гелонга*.

«Скажи прямо, брат Ма Ноу, чего ты от меня хочешь?»

«Ты, великий *чэн-по*, должен пустить нас всех – и мужчин, и женщин – в твой монастырь, а потом запереть ворота».

«Как смогу я вас защитить? И вообще, разве дело монастырей – защищать преследуемых? Тот, кто в грозу вышел в чистое поле и тем привлек к себе молнию, – вправе ли жаловаться, что она его поразила?»

«Никто и не жалуется. Мы в наставлениях не нуждаемся. Мы нуждаемся в защите. Если великий *чэн-по* со своими монахами не найдет для нас места в монастыре, то великому *чэн-по* с его монахами самим придется покинуть монастырь. Всего на пару недель. Пока наше положение не улучшится. Для нас, преследуемых, нет выбора. Это честный ответ. И для *чэн-по* тоже нет выбора: если он не хочет через два дня запятнать себя нашей кровью и потом до конца жизни оплакивать свои будущие мерзкие рождения. Будучи обремененным множеством погубленных душ, которые он мог спасти, но не спас».

Ма Ноу и пять его братьев ждали ответа в одной из комнат первого этажа; впервые за долгое время они пили хороший горячий чай из расписных чашечек. Сверху доносились отдельные бессвязные возгласы настоятеля и его заместителя. После часового совещания настоятель снова позвал их наверх. Он побледнел, но все еще сжимал в руке богато изукрашенный черный молитвенный жезл; рядом с ним стоял его заместитель – седой человек с проницательным взглядом и монгольскими чертами лица. Проникновенно и мягко настоятель попросил Ма Ноу, чтобы тот бережно обращался с монастырем и всеми его сокровищами; и чтобы послал к нему, настоятелю, гонца в маленький монастырь по ту сторону реки – сообщить, что опасность миновала и гости собираются уходить. Он, настоятель, уже помолился Амитабе: дабы тот спас души несчастных преследуемых.

Ма твердым шагом пересек двор, кишащий возбужденными монахами. Ворота открылись; снаружи его окружили свои. Потом раздались крики ликования, мгновенно, как пожар, охватившего всю толпу.

Когда горячее солнце стояло точно в зените, мощные створки больших ворот распахнулись. И можно было видеть, как из многих дворов стекаются монахи, выстраиваются в одну

колонну, возятся с лежащими на земле вещами. Исход *чэн-по* со всеми его монахами начался. Людская масса перед воротами расступилась.

Священнослужители, высочайшее благо мира, явились среди бедняков, которые на свой дилетантский лад стремились достичь – гораздо более кратким и горестным путем – Небес Блаженства. Впереди шли молодые послушники, с пустыми руками и без головных уборов: *бэн-дэ*, узнаваемые по круглым бритым головам с маленьким пучком волос на затылке.

За ними, по пятеро в ряд, – монахи в длинных, до лодыжек, коричневых рясах; у многих от левого плеча до правого бедра спускались красные перевязи священнослужителей; некоторые были в широких желтых накидках, оставляющих обнаженным правое плечо. Все – в черных четырехугольных шапочках. Бормотание. По двое несли они красные корзины с молитвенными надписями. И последними, в паланкинах, двигались священнослужители всех уровней посвящения, среди них, в желтым паланкине, – *чэн-по*. Между паланкинами шагали ученики, державшие в руках подушки, на которых покоились части алтаря и Семь Сокровищ*, искусно вырезанные или отлитые из металла фигурки животных – слона, золотой рыбы, лошади; а также серебряные жертвенные чаши, блюда́, кувшины, металлические зеркала, священные символы пяти эмоций*. На крытой повозке везли всеобъемлющую книгу, именуемую Великой Матерью Мудрости: двенадцать тяжелых томов, страницы которых помещались между деревянными дощечками*. Перед паланкином *чэн-по* и по сторонам от него монахи время от времени ударяли в гонг и дудели в громадные трубы, концы которых опирались на плечи шедших впереди.

На широких носилках покачивались статуи великих богов; не прикрытые покрывалами безмятежные лица смотрели сверху на возбужденных людей, терпеливо переносили свежее дыхание озера. Там сидел на лотосовом троне Будда Лазуритового Света*; в правой руке держал ветвь мистического золотоцветного миробалана; его сопровождали два будды с львиными голосами*, с драгоценными украшениями на головах. Ужасное

изображение Благой Богини, резвящейся в море крови, вынырнуло из тьмы кумирни и увидело теплый светлый день; три ее мечущих молнии ока, ее пылающие брови оказались бессильными против столь же горячего солнечного света, который ничуть не уменьшал свою силу, когда скользил по обрамленному змеями лицу. Замыкал шествие привратник, с трудом тащивший свое хилое тело; пробормотав, задыхаясь, какую-то мрачную молитву, он передал Ма Ноу бесформенный замок от ворот.

Звуки труб еще доносились с правой стороны озера; время от времени раздавался удар гонга. А странная толпа «расколотых дынь» уже хлынула, ликуя и плача, на опустевшие дворы: покрытые грязью мужчины, запачканные кровью раненые, девушки в пестрых халатах, с засохшими цветами в спутанных волосах, певички, смеющиеся от страха, что-то лепечущие слепцы и калеки. Они набивались во дворы, в кумирни, в молитвенные залы, покинутые небесными богами, – заполняя все закоулки и помещения, до самых расписных потолков, своей бедой.

ОНИ ОБУСТРАИВАЛИСЬ в монастыре. Пока бывшие ремесленники дивились высоте и надежности кирпичных стен, калеки и раненые отдыхали на красных диванах в молитвенном зале, а сестры, притащив из закромов бобы и просо, готовили еду в еще не успевших остыть котлах, Ма Ноу и его помощники сидели в горнице *чэн-по*, думали, что делать дальше. И обменивались смущенными взглядами: теперь они обрели и богатство, и покой; но что-то было не так. Они в своих промокших одеждах сидели в ухоженном и изукрашенном доме; на деревянном полу от их башмаков и капающей с халатов воды образовались грязные лужицы. Резкий удушливый запах распространялся от сырой материи, ударял им в нос; глаза слезились. Самый молодой и серьезный, Лю, вздохнул и спросил: «Не лучше ли нам спуститься, поставить палатки на дворе?»

Ма Ноу пошел с ними; он не ответил ни «да», ни «нет». Метафизические рассуждения былых времен все еще витали в низких обшитых деревом коридорах. Здесь никогда не велись беседы о голоде или смертоносных ударах; древесина этого дома

напиталась другими мыслями – о сотворении и уничтожении мира. Друзья Ма Ноу не улавливали особых свойств здешнего воздуха. Но сам Ма, следовавший за ними, дышал с ощущением скованности; его волновали эти комнаты и коридоры, как если бы они были наполнены маленькими духами, выкрикивавшими всякие колкости. Он безучастно терпел чужую болтовню. Внизу на дворе люди сколачивали из досок хижины, разбивали палатки, чтобы не селиться в храмовых залах. Ма же медленно побрел обратно к горнице *чэн-по*, не мог от нее оторваться. Оставшись один в большом опустевшем здании, он – в келье *чэн-по* – сел на пол перед алтарем, на котором уже не было будд, поднял и стал перебирать четки, лежавшие рядом с молитвенным ковриком, считал бусины. Затхлый запах одежд не совсем заглушил слабый аромат благовоний. «Ма Ноу, монах с острова Путо, опять в монастыре», – сказал Ма вслух. Он чувствовал себя отдохнувшим, хотел продлить это приятное ощущение. Бывший монах в запачканной одежде сидел в монастыре – и не стыдился, и ничего не боялся. Крики убиваемых по-прежнему звучали в его ушах. Он перевел дух, вспомнил, что сам пока жив; четки, статуи, драгоценные части алтаря, сокровища – не важно, что монахи все это забрали с собой; главное, что ты сам живешь, дышишь, еще способен прийти в себя. И слонов они унесли, и символы пяти эмоций; Ма скривил лицо в насмешливую гримасу: это все фальшиво, этим ничего не достигнешь. Нужен новый метод, другой путь! Звон колокольчиков, благовонные каждения, молитвы... Послушали бы они, как визжали бедные сестры! Они – буддийские монахи – имеют дело с серыми от старости животными, с заблудившимися мыслями чужой земли. Все священные горы, все монастырские комплексы пребывают на земле без всякой пользы; хрипение одного умирающего могло бы их опрокинуть. С каким внушительным видом стоял здесь *чэн-по*; а теперь его отнесли в паланкине в жалкую кумирню, тогда как Ма Ноу, беглый монах и отшельник с перевала Наньгу, занял его место и недобро смеется, глядя на пустой алтарь: боги при его появлении пустились в бега. Что такое монастыри? Прибежища, в которых люди предаются пустым мечтаниям и сбиваются с истинного пути. Только

стены здесь хороши; и крыши тоже. Они защищают от дождей и ночных бурь; они преграждают дорогу злым духам; и даже сама зима бессильно опускается на корточки у закрытых ворот.

Защита против преступников. О, монастыри уже не раз оправдывали себя! Ни один негодяй не мог бы сюда вломиться и воткнуть копье в спину другого человека. А как убивали сестер и братьев сегодня утром! Они падали дюжинами, сколь бы горячо ни молились. Если бы не подоспели крестьяне, эти скоты, за которыми стоит *даотай*, истребили бы всю молодую поросль. Какая мразь, мразь! А он должен был наблюдать, как убивают его людей, он был беззащитен против этой мрази – хотел быть беззащитным. Где-то на севере Чжили бродит сейчас Ван Лунь, с Желтым Скакуном у пояса; он-то принял на свою душу грех убийства, готов наносить смертельные удары; и численность «поистине слабых» непрерывно растет. Только у «расколотых дынь», его бедных братьев и сестер, нет ни родины, ни пути.

Так что же, нужно умереть? Действительно ли великое учение нужно понимать так: откуда ни возьмись приходит твоя судьба, и ты, шагнув ей навстречу, даешь себя угробить? Обязан ли человек умереть, не противясь? Обязан ли?

Ма Ноу отвернул лицо от земли, к которой склонился в глубоком поклоне; только теперь он заметил, что держит четки, отложил их в сторону, потер руки, потер виски.

Умереть бы неплохо. Почему нет? Дело не в том, чтобы долго жить, а в том, чтобы хорошо подготовиться, прийти не с пустыми руками к воротам безмятежного рая. На пару лет раньше или позже – это ничего не меняет.

Да, но подготовились ли они? Были ли готовы?

Рука Ма Ноу опять нащупала четки. Он выпрямился, поднялся по ступенькам к занавешенному спальному алькову *чэн-по*; отдернул занавесь, бросился, прижав к груди четки, на кровать. Необычный для здешних мест грохот нарушал тишину: на дворе братья сколачивали доски; а из одного зала доносилось гортанное пение – казалось, оно исходит изнутри медного кувшина.

Подготовиться они не успели. Для этого потребны покой, время, постепенное проникновение – углубление – в сокровенное.

И стены, стены! Сколачиванием досок тут ничего не добьешься. Утром его людей убивали; и жертва эта не принесла плодов. Разве не слышны уже шаги их преследователей? Жизнь наполнена шумом, наполнена ненавистью и страхом: так дело не пойдет. Стены бы им, стены! Но ведь стены теперь имеются – здесь, здесь!

Буйная радость за человеческую массу, волновавшуюся снаружи, на монастырских дворах, охватила Ма Ноу. Наверняка именно его братья и сестры пошли правильным путем: его люди. Они – лучше последователей Шакьямуни.

По прошествии часа к горнице настоятеля поднялись несколько человек, постучали в дверь и, не дождавшись ответа, вошли. Они обнаружили Ма, маленького и как бы усохшего, спящим на просторной кровати; ему, похоже, снился восхитительный сон. Он вскочил, когда они уже собрались уходить – спускались по ступенькам алькова.

Он был каким-то притихшим, согласился посмотреть хижину, которую для него соорудили, и перебрался туда.

Ни в тот, ни на следующий день преследователи не появились; «расколотые дыни» спокойно покидали монастырь и по своему обыкновению бродили по окрестностям. Прошло уже пять дней, но Ма Ноу ни слова не проронил о том, что́ с ними будет дальше. Он выжидал. Когда он обходил дворы, его покатый лоб собирался в складки, и люди старались его не беспокоить: в такие мгновения он казался опасным. Ма сдерживал себя; он видел границы своих возможностей: созданное им братство должно было вот-вот обрушиться в пропасть, и он не мог этому помешать. Оставалось ждать, стискивать зубы и ждать, пока братья сами к нему придут, сами начнут умолять, чтобы он оградил их стенами. Он не отваживался по своей воле ограничить таким образом их свободу: ведь у него имелись противники; да и вообще – за ним бы просто никто не пошел. Они пока наслаждались безопасностью. Бросали вызов судьбе; и рано или поздно над ними должен был грянуть гром!

Цзюань, человек с квадратным лицом и на удивление плоским носом, со скошенным на затылке черепом и холодными

глазами, отличался переменчивой манерой речи: обычно он говорил сдержанно, прилипчиво-монотонно; но иногда, даже если спорили о вещах несущественных, вдруг без видимой причины переходил к словоизвержению, которое сопровождалось бурной жестикуляцией и мимикой; поэтому в целом складывалось впечатление, что человек этот, за редкими исключениями, умеет контролировать себя. В действительности самоконтролем здесь и не пахло: Цзюань, конечно, неплохо владел собой, но страстные влечения, которые приходилось бы подавлять, у него отсутствовали. Он был родом из Сычуани, лет тридцати с небольшим, сын богатого торговца птичьими перьями; провалился на экзаменах низшей ступени, отличался честолюбием, хотя и не имел особых дарований. Он бывал то заторможенно-вялым, то, наоборот, излишне взбудораженным; чаще все-таки взбудораженным, только свою внутреннюю взбалмошность он опасался показывать другим. Он хотел пользоваться уважением братьев и потому возбуждал их темными речами, смысла которых не понимал сам: ему казалось, что всякая работа мысли рождается из подобного хаоса.

Двоюродные братья Лю – почти ровесники – были людьми более распространенного типа, двумя фанатиками, близкими по образу мыслей; младший, известный под детским прозвищем Трешка, отличался сангвиническим темпераментом, как и его кузен, однако, в отличие от последнего, во всем сомневался и сам изрядно страдал от своей фатальной недоверчивости. Когда-то двоюродные братья работали в мастерской фарфоровых изделий, но позже, оставшись без работы, оба увлеклись идеей алхимического производства золота, которую подбросил им один предприимчивый бонза. Братья и сейчас повсюду таскали за собой кувшинчик с киноварью; и ожидали небывалых чудес от сил, которые, как им казалось, они обрели, вступив на путь Дао: надеялись, может быть, найти рецепт порошка бессмертия.

Однажды Цзюань вовлек руководителя секты в разговор об ожидающей их всех участи. И сразу объяснил, что, по его мнению, покидать монастырь не нужно. Сами монахи вряд ли выступят инициаторами вооруженного нападения; что же касается

правительства, то тоже крайне сомнительно, чтобы оно – по своему почину – стало им помогать.

Ма Ноу заинтересовался затронутой темой и попросил собеседника разузнать, что́ думают о будущем их союза другие братья и сестры.

Оба Лю, при всем своем фанатизме, обладали практическим умом. Между собой они часто обсуждали перспективы на будущее. Для них было очевидно: союз расширяется, за ним стоит подлинно благочестивая идея, но для «полного созревания» ему необходимо время; однако как только наступит зима, то есть через какие-нибудь два месяца, «расколотым дыням» неизбежно придет конец. Как-то раз, во время прогулки с Ма Ноу, о которой они никому не рассказывали, братья услышали от него страшную историю бродяг с перевала Наньгу; оба нисколько не сомневались, что и «расколотым дыням» зима принесет не менее ужасные испытания.

Что́ означает «полное созревание» союза, братья представляли себе так же смутно, как и большинство их товарищей, употреблявших сходные выражения. Это была сильная, яркая идея, и она как бы заранее глумилась над попытками ее объяснить, а потому никто на такие попытки не отваживался. Идея маячила где-то на заднем плане, все просто знали, что на нее можно положиться, и не углублялись в детали, а жили по предписанным правилам, в уверенности, что, когда придет срок, все сопряженные с ней надежды сами собой исполнятся.

Двоюродные братья согласились с Цзюанем в том, что монастырь следует сохранить для союза. Но Трешка, конечно, не удержался от нытья. Мол, еще неизвестно, действительно ли правительственные войска воздержатся от нападения; да и места для проживания, если рассчитывать на длительный срок, здесь маловато, и непонятно, откуда брать провиант.

К своим дебатам они привлекли еще одного странного типа, профессионального рассказчика историй по имени Чжа, который всегда ходил обнаженным до пояса, чтобы кожей впитывать солнечную энергию *ян*. Это был добродушный чудак с красивыми – живыми и молодыми – глазами, которому доверяли все, кому приходилось иметь с ним дело.

В беседах также принимал участие высокий, исполненный достоинства человек лет сорока с небольшим, не открывавший своего имени и происхождения. Его судьба была известна Ма Ноу лишь в самых общих чертах. Худощавый, с неухоженной бородкой и висячими усами, он вел себя – со всеми, без различия – необыкновенно доброжелательно и вежливо, но отличался столь же преувеличенной застенчивостью. Никто другой из братьев не проявлял такого усердия в молитвах и самоконтроле, в соблюдении правила, запрещающего без нужды причинять вред живым существам, будь то растения, животные или люди. Человека этого называли «Желтым Колоколом», потому что он говорил с определенной высотой звука, соответствующей основной ноте гун* (первому тону в звукоряде), а передающая этот тон бамбуковая трубка* называется *хуанчжун*, «желтый колокол». Желтый Колокол был, как все знали, другом Красавицы Лян Ли, чья властная, вспыльчивая натура в его присутствии удивительным образом смягчалась и успокаивалась. Этого человека с неведомым прошлым привлекли к столь важным собеседованиям отчасти и потому, что, хотя женщин не допускали на совещания, всем было интересно – пусть и через посредника – узнать мнение пользующейся всеобщим уважением Лян.

Старый Чжа высказался в негативном плане. Как профессиональный сказочник, он прекрасно знал, где проходит граница между вымыслом и реальностью. И поддержал аргументы младшего Лю, придав им еще бóльшую убедительность, Цзюаня же упрекнул за низменность его мысли – хитростью отобрать у благочестивых монахов их монастырь. Несколько раз по ходу своего выступления он очень возбуждался. И тогда терял почву под ногами, увязал в болоте бессильной ярости, сражался с призрачными гигантами, порожденными его же фантазией и не имевшими отношения к делу. Кончилось тем, что он, грозно вскинув голову и придав голосу громоподобные модуляции, еще раз продемонстрировал силу своего протеста – непонятно против чего направленного; и замолчал в ожидании возражений.

Желтый Колокол забубнил что-то невнятное; он не собирался лезть на рожон. И ограничился тем, что, с испугом взглянув

на старика Чжа, похвалил силу его воображения и образ мыслей. Когда же его спросили, какого мнения придерживается он сам, поблагодарил собравшихся за доброту, за то, что они приписывают ему, недостойному, способность иметь хоть какое-то суждение. Сам он не чувствует себя достаточно компетентным, чтобы высказываться по столь важному вопросу, а полностью и безоговорочно полагается на решение других. Под конец он все же выразил свою точку зрения, правда, предварительно уточнив, что считает ее путеводной нитью лишь для собственного приватного бытия и ни в коем случае не желал бы, чтобы другие восприняли ее как подлинное мнение. Он ведь и высказывает-то ее только потому, что господа сами этого пожелали, а он не хотел бы обидеть их отказом.

Ему, мол, остается лишь присоединиться к позиции многоопытного господина Чжа. Он бы даже, если ему позволят, сказал еще больше, имея в виду главным образом себя самого. Еще неизвестно, смогут ли они перенести зиму и голод. Если все сложится скверно, им придется умереть – значит, такова судьба. Что ж, они умрут, ведь все они мечтали о Дао, а вовсе не о жизни. Если они доживут до весны, это будет чудом, почти немыслимым. И он даже не уверен, что этому сто́ило бы радоваться: ведь если человек стремится к столь возвышенной цели, то каждый день опережения срока прибавляет ему больше достоинства, чем день опоздания. Однако высокочтимые господа знают все это не хуже его, и он только оскорбляет их слух повторением никчемных банальностей.

На этом Желтый Колокол закончил свою музыкальную партию. И пристыжено опустил глаза: всякое публичное выступление было для него пыткой.

Однажды утром Ма Ноу встретился с пятью спорщиками на одном из отдаленных внутренних дворов, который круто поднимался вверх, к могилам монахов. Между камнями пробивалась трава, по периметру же двора росли старые вязы. В тени одного из них уселись мужчины, на сей раз к ним присоединилась и Красавица Лян, одетая в небрежно залатанный желтый халат.

Ее волевое лицо осунулось, движения, когда-то порывистые, обрели некоторую плавность, но узкие глаза по-прежнему обжигали черным пламенем.

Ма Ноу попросили прийти на это совещание. Цзюань рассказал ему об их тревогах и спорах. Ма Ноу признал, что подобные опасения обоснованы. Да, но их мнения разделились, уточнил Цзюань, присвоивший себе функции официального представителя пятерки; и, взмахнув рукой, пригласил высказаться младшего Лю.

Ма слушал речи, не вдумываясь в их смысл. Знал, что они ничего не прояснят. Мысли Ван Луня, самим Ма давно опровергнутые, в «этих» – говоривших – укоренились слишком глубоко.

Судьба должна высказаться яснее. А пока Ма просто изворачивался, уклоняясь от чего-то, что, как он видел, надвигается и чего он не может предотвратить. И страдал от собственного бессилия.

Красавица Лян, впервые участвовавшая в подобной беседе, взглянула на него, не таясь. Сперва ее сердце взъярилось против Ма Ноу. Но только на мгновение. Этот мужчина не был таким, как другие, – как ее отец, или законный супруг, или друзья по союзу, скажем, Желтый Колокол. Она не стала равной ему только оттого, что, как и он, получила право высказаться и сейчас смотрела ему в лицо. Ее угнетала мысль, что именно от этого человека зависит устройство любимого ею союза. И она смутно понимала, что для Ма Ноу их союз означает иное, чем для нее, что за его отношением к «Расколотой Дыне» кроется вовсе не сердечная нежность, а нечто гнетущее и мучительное, грозящее гибелью, словно... – камнепад.

Она испугалась и теперь, вспомнив свои первые впечатления от Ма Ноу: он виделся ей внушающим страх изгоем, который, покинув свое темное логово в горах, пошел по великому истинному пути, с легкостью увлекая за собой всех, кто к нему прилепился. Никто не смел хоть в чем-то ему противоречить. Ибо сама мысль, что он может заблуждаться, казалась неправдоподобной и ужасной.

Ма Ноу заговорил с непостижимым спокойствием. Союз вскоре погибнет. Либо потому, что подойдут провинциальные войска, либо из-за наступления холодов.

Видимо, все будет двигаться по накатанной колее еще пару месяцев, а потом люди разбегутся – вернутся к своим семьям, или к бродяжнической жизни, или им придется скрываться от властей. Вряд ли можно ждать, что кровавая бойня, случившаяся совсем недавно, не повлияет на поведение больших человеческих масс. Приток новых членов в союз прекратится. И какой вывод отсюда следует? А тот, что надо предоставить всему идти своим чередом. Положение союза безнадежно. Скоро на них устроят подлинную облаву – когда, это лишь вопрос времени. Так что пусть каждый решает за себя. Пусть сам сводит счеты с неумолимой судьбой.

Такие речи, похоже, ласкали слух того высокого брата с неизвестным прошлым, которого звали Желтым Колоколом. И он пробормотал, ни к кому конкретно не обращаясь, что да, судьба идет собственным путем; и каждого человека настигает как-то по особенному, не так, как другого. Поэтому человек должен отрешиться от всего, что лежит справа и слева от дороги, – чтобы не разминуться со своей судьбой.

Цзюань и оба Лю сидели, подтянув колени к подбородку; смотрели в землю. Но теперь Цзюань поднялся: нет, так дело не пойдет, не пойдет. Так не рассуждали даже буддийские отшельники, ибо и для них община верующих все-таки является священным благом... Хотя слова его были взвешенными, говорил он чересчур возбужденно и язвительно. Желтому Колоколу это не понравилось: Цзюань, мол, должен взять себя в руки, насмешки здесь неуместны.

Лян, повернув к Цзюаню красивую голову, спросила, как сам мудрый наставник из Сычуани мыслит судьбу «расколотых дынь»: уж не полагает ли он, что они будут жить вечно, словно уже получили нефритовую эссенцию*?

Улыбка Ма Ноу в это мгновение была столь откровенно высокомерной, что Лян, еще не успев закрыть рта, невольно отодвинулась от него – и тем привлекла к нему взгляды остальных.

Улыбка так и осталась на его лице – неподвижная, застывшая – перед глазами всех; и только когда старший Лю спросил, а что же думает сам Ма, она скукожилась в обычную кривую ухмылку.

Ма сказал: «Меня радует трезвомыслие нашей сестры Лян Ли. Поэты называли женщин "прекрасными огненными пещерами"; но Цзюань, возможно, теперь не согласился бы с ними – после того, как его обожгла одна из таких пещер. Кстати, Цзюань, напомни, как звучит дивная строфа, которую ты мне недавно цитировал, сочиненная не то тобою, не то кем-то из поэтов династии Тан?»

Цзюань, польщенный, поклонился; и нараспев произнес: «Это было стихотворение Ду Фу*, несчастного цензора, жившего при императоре Сюань-цзуне:

Ты видишь: ворота дворца Пэнлай
К югу обращены,

Росу собирает столб золотой
Немыслимой вышины.

Ты видишь: вдали, на Яшмовый пруд,
Нисходит богиня фей –

И фиолетовой дымки мираж
Становится все бледней»*.

Лян прервала его, подняв левую руку: «А в другом стихотворении, Цзюаня О-Цзая, сказано:

Раньше, чем просо сварит девица,
пестрый узор облаков разлетится».

Тут Желтый Колокол разразился смехом, который был бы уместен в хлеву или казарме, но уж ему-то никак не подходил, и всем показалось, будто завеса над его прошлым чуть-чуть приоткрылась. Он уже с глубочайшим сожалением просил прощения.

Он, мол, отвлекся, погрузился в свои мысли, и его смех ни в коей мере не относится к словам кого-то из присутствующих. Тем не менее, этот внезапный грубый смех произвел столь неприятное впечатление, что все замолчали, старались не смотреть друг на друга, а Лян даже спросила Ма Ноу – заметив, что его бьет дрожь, – не хочет ли он немного отдохнуть: прогуляться или полежать на циновке.

Однако Ма Ноу, который действительно поднялся на ноги, тут же опять опустился на землю рядом с Желтым Колоколом и стал его успокаивать. Сказал, улыбнувшись всем, но обращаясь непосредственно к Цзюаню, что жизнь наложила свой отпечаток на них всех. «Человек так много страдает, что со временем ему все труднее на что-то решиться. Мы как мухи, у которых дети оторвали лапки и крылышки».

Цзюань недоуменно передернул плечами, покрутился еще немного и исчез – чтобы опять, сияя, осматривать залы, дивиться красоте кумирен.

Лян же, Желтый Колокол и Ма Ноу направились к открытым монастырским воротам по лабиринту залитых солнцем дворов. У Ма было чувство, что эти двое висят у него за спиной, будто мешки с камнями. Желтого Колокола он считал самым опасным из братьев. Он, Ма, легко мог бы погубить этого человека, но честолюбиво жаждал другой победы: он должен был, должен был привлечь его на свою сторону.

Красавица Лян, между тем, тревожилась за свою судьбу. Высокомерная улыбка не шла у нее из головы. Это как если бы беспечно шагающий человек за поворотом дороги вдруг ощутил на себе взгляд притаившегося белого тигра. Кто знает, что у него – Ма Ноу – на уме?

Перехватив строгий взгляд Ма, брошенный на задумавшегося Желтого Колокола, Красавица Лян опомнилась. В конце концов, все они плывут к Блаженным Островам. А кормчий в столь чреватом ужасными событиями плавании и сам должен быть человеком, внушающим страх. Желтый Колокол невозмутимо шагал рядом с нею.

И СРЕДИ ПОЛНОГО затишья подготавливался тот знак судьбы, которого ждал Ма Ноу. Когда на седьмой день к воротам монастыря приблизилась делегация из шестидесяти сельских жителей, «расколотые дыни» этот знак получили.

Секта возникла – и существовала до сих пор – в одном из богатейших районов западной части Чжили: здесь выращивали хлопок, а кроме того, места эти славились высокоразвитым шелководством.

Одной из особенностей здешних краев было и наличие соленых минеральных источников. За последние десятилетия пробуравили много новых скважин, и все прибыльные предприятия были так или иначе связаны с этими источниками. Для того, чтобы добывать соль, рыли колодец метрового диаметра, расширявшийся книзу наподобие воронки, пока не добирались до воды. На дне колодца скапливался и понемногу выпаривался щелочной раствор; его ведрами поднимали наверх. Дальнейшей его обработкой, как и на морском побережье, занимались кипятильщики, сковородочники, фасовщики. Кипятильщики выпаривали воду из материнского раствора, предварительно разливая его по гигантским котлам или сковородам. Траву для нагревания котлов поставляли богатые владельцы степных или пахотных земель; они же, как правило, брали на себя фасовку и транспортировку соли, а также доставляли предписанное количество этого товара на императорский центральный склад*. Те из солеваров, что имели много земли, могли работать быстрее, так как направляли солесодержащие грунтовые воды на специальные хорошо освещаемые солнцем участки с уплотненным грунтом, где процесс выпаривания ускорялся. Транспортировка уже добытой, подлежащей налоговому обложению соли осуществлялась почти исключительно водным путем; небольшое расстояние до ближайшей реки или канала преодолевалось с помощью ручных тележек, вьючных животных, повозок.

И вот девять лет назад в этом районе скончался от черной оспы отец некоего Хоу. При жизни он был, как все знали, дельным судейским чиновником, отличался строгостью и внешней непритязательностью, его многие боялись из-за способности

лаконично, но убедительно излагать свое мнение. Благодаря дальновидным расчетам при покупке риса, который он перепродавал в правительственные закрома, этот человек сколотил себе большое состояние. И приобрел обширные земельные угодья. Став чиновником четвертого ранга, он вышел в отставку, отправил богатые подарки в казну императора, продолжал и дальше очень осмотрительно спекулировать, но однажды вернулся из деловой поездки совершенно разбитым: грузного старика пришлось нести от паланкина до дома на руках; вскоре он умер.

Его старший сын, а ныне владелец всего состояния Хоу, который в детстве из-за своей болезненности был предметом забот всей семьи, в смысле пронырливости ни в чем не уступал отцу; но если старик использовал других людей, только когда они сами предлагали свои услуги, то сын с любым человеком обращался неоправданно жестко и холодно. Внешние характеристики он унаследовал от отца: грузную фигуру, неуклюжую медлительность, внушающий доверие простонародный выговор. Он не окружал себя роскошью, строго выполнял предписанные ритуалы, был образцовым семьянином. Несмотря на жесткость своего поведения, он, на поверхностный взгляд, казался доброжелательным, и потому многие простые люди – из тех, что не имели с ним деловых отношений, – питали к нему искреннюю симпатию. Он неуклонно приумножал семейное состояние, хотя и не обладал той широтой кругозора, которая была свойственна его отцу.

Но не прошло и двух лет после погребения старика, как младшего Хоу начали преследовать несчастья. За один месяц от неизвестной болезни умерли два его сына: они целыми днями лежали неподвижно и только поворачивали голову, потом вдруг впали в буйство – и скончались, прежде чем удалось установить, какой демон их мучил. Затем в ходе нескольких рискованных – в духе отца – спекуляций его подвел лучший друг, живший в южной части Чжили; Хоу накопил в амбарах огромное количество риса; друг обещал быстро продать в другой провинции собственный рис, чтобы добиться искусственного повышения цен в их южном округе, которое Хоу использовал бы в своих

интересах. Однако друг якобы вовремя не получил заказанные большие баржи – и оказалось, что Хоу некуда девать его гигантские запасы. Потом еще дважды, с короткими промежутками, в его владениях случались поджоги, причинившие большие убытки. И потом наступила достопамятная перемена.

Хоу уже давно досадливо морщился, когда смотрел на канал, который проходил как раз мимо его усадьбы: на длинные баржи, перевозящие соль, а также виноград, сливы, груши; здесь непрерывно раздавались крики бурлаков, скрипели, соприкасаясь с каменной облицовкой, канаты; отсюда можно было быстро добраться до широкого бокового ответвления Императорского канала.

В то время в гости к Хоу приехал астролог из Пекина, недавно уволенный – по причине своей некомпетентности – из ведомства церемоний*. Так и не сумев проникнуть в тайны гороскопов, связанных с важными государственными событиями, этот человек занялся постыдным промыслом, для которого пригодились и его почтенная внешность, и внушающая доверие сдержанность: он стал посредником в весьма процветающем деле, торговле детьми, которых отправляли в южные провинции, где они пополняли персонал «домов радости» и театров. Все это осуществлялось под видом законного усыновления; при случае бывший астролог также поставлял аптекам, а иногда и больным – самым богатым, – малолетних детей, чьи глаза, печень, кровь использовались в медицинских целях*. По совместительству он подрабатывал как брачный посредник – его услуги и на этом поприще ценились очень высоко.

Однажды друзья сидели в Павильоне Добра на берегу маленького канала; расстроенный Хоу поделился с гостем своими горестями, после чего оба некоторое время молчали, курили кальян и наблюдали за бурлаками, шлепающими по ледяной воде.

Потом астролог поинтересовался: принадлежит ли Хоу земля также и по ту сторону канала; если да, то насколько широкая полоска земли; и вообще – какие товары здесь перевозят.

Еще пару раз затянувшись, он заметил, что канал неплохо бы вообще закрыть.

Хоу понял его с полуслова, засмеялся и попросил говорить потише. Закрыть канал, конечно, было бы неплохо, да только это вряд ли осуществимо; однако если его друг, паче чаяния, измыслит какое-нибудь средство, такая услуга, естественно, не останется без вознаграждения. Потому что канал очень важен для тех-то, и тех-то, и тех-то; и если его действительно закроют, кое-кто сможет использовать ситуацию в своих целях.

Почтенный астролог, скромно одетый в черное, поблагодарил за предложенную долю в будущих доходах; но пока еще, сказал он, ни о каких таких доходах и речи нет. Он сидел, о чем-то задумавшись, и вдруг с печалью заговорил о смерти старшего Хоу, при жизни столь ценимого императором; спросил, между прочим, кто из астрологов определял место для погребения. Потом, ничего не объяснив другу, вернулся вместе с ним в дом, зажег свечи на алтаре предков и принялся оплакивать преждевременную смерть старика, этого, по его словам, «истинного друга отечества». Затем попрощался и удалился в предоставленную ему комнату, чтобы, как он выразился, «предаться благочестивым размышлениям».

На следующее утро он кликнул носильщиков и в компании придурковатого местного астролога, у которого вечно гноились глаза, отправился к месту погребения старшего Хоу, прихватив с собой рабочие инструменты – компас, таблицу влияний животных, «ветряную лозу». После трехдневных трудов оба астролога сопоставили результаты своих вычислений и пришли к выводу, что проведение канала нанесло непоправимый ущерб месту погребения. Больше того: из-за нехватки места невозможно даже умиротворить дух умершего посредством строительства отвращающей дурные влияния пагоды! Этим и объясняются все те несчастья, которые постигли дом Хоу после смерти его отца.

Хоу не понял сути запутанных рассуждений астролога. Но когда тот принялся сетовать на участь столь заслуженного в прошлом, а ныне покойного чиновника, Хоу с плачем упал на землю, совершенно не представляя, что́ теперь делать. И тут же кинулся к алтарю предков: он, мол, не хочет брать на себя такого греха, он должен как-то убедить умершего, что не виноват в

истории с погребением – виноваты другие, не он; да разве могла ему, любящему, ежедневно приносящему жертвы сыну, прийти в голову столь ужасная мысль – лишить покоя, выгнать из могилы собственного отца! Он буквально повис на шее у астролога, умоляя о помощи, – и к своему изумлению увидел, что лоснящееся жиром лицо его друга приняло какое-то неподобающее, хитровато-фальшивое выражение. Астролог нетерпеливо засопел, когда его стиснули массивные руки, отодвинул от себя Хоу, закончил обряд каждения, и они двое медленно побрели к садовому павильону на канале. Флегматичный пекинец сказал – таким тоном, будто по-прежнему служил в ведомстве церемоний: «Мы не вправе еще больше оскорбить дух твоего отца, и так уже тяжко пострадавшего, перенеся его могилу в другое место. Это было бы верхом неуважения. Лучше изменить направление канала. А старое русло – поскорее засыпать». Толстяк Хоу горестно пробурчал: «Да...»; и потом, после паузы, которой хватило, чтобы они пристально посмотрели в глаза друг другу, повторил уже более звучно, жизнеутверждающе: «Да-да».

Несколько месяцев длилась переписка с провинциальными властями и ведомством церемоний, которую астролог целиком взял на себя, освободив от столь низменных хлопот скорбящего сына покойного чиновника. Прошли недели, прежде чем экспертам из императорского астрологического бюро было поручено составить свое заключение, а раньше более низкие инстанции неоднократно отклоняли ходатайство Хоу, находя, что оно противоречит общественным интересам. Однако император Цяньлун, когда его проинформировали об этом деле, сразу сказал: «Канал можно проложить и по-другому; а пока будут вестись работы – которые следует ускорить, – пусть люди пользуются иными транспортными средствами. Негоже из-за временных трудностей лишать покоя дух такого заслуженного человека, как Хоу».

На этом вопрос был исчерпан. И, даже не поставив в известность гильдии – бурлаков, солеваров, грузчиков, возчиков из расположенных к западу от канала деревень, – шлюзы в срочном порядке закрыли, а воду спустили в озеро, благо Хоу приказал прорыть отводной канал еще тогда, когда его дело разбиралось

в инстанциях. Товары теперь пришлось транспортировать подругому; их перегружали, затем перевозили на расстояние дневного перехода – сухопутным путем, который пролегал по земельным владениям Хоу, – до еще не засыпанного последнего отрезка канала. Поначалу Хоу вообще отказывал возчикам в праве ступить на его территорию. Их жалобы в местную управу привели к тому, что на первое время власти всем разрешили безвозмездный проезд; Хоу же обязали договориться с заинтересованными гильдиями – как он сам сочтет нужным – о скорейшем сооружении дороги.

Хоу подчинился такому решению, но установил – быстро получив на это согласие властей – небольшую пошлину за пользование его территорией; потом по собственной инициативе построил вдоль дороги пять пакгаузов, стал помогать транспортировщикам грузов, предоставляя им напрокат запряженные волами повозки. Доходы от всего этого были громадными; сюда еще прибавлялся немалый выигрыш от краж, которых невозможно избежать там, где товары часто перегружаются и сдаются на хранение; в конце концов Хоу превратил свое имение в главный промежуточный соляной склад: ибо людям, которые предпочитали хранить свою соль в других местах, он всячески затруднял проезд.

Несколько недель все было тихо; однако гильдии непрерывно обсуждали между собой создавшуюся ситуацию. В местную управу поступало множество жалоб. Бурлаки, оставшиеся без работы, нанимались помощниками к кипятильщикам; но те и сами, если только не поставляли сено для Хоу, зарабатывали все меньше из-за снижения оптовых цен на соль. Недовольство росло.

И тут в эту заваруху вмешался только что назначенный *даотай*, да так неловко, что чуть не поплатился собственной головой. Дело в том, что в западных округах случай Хоу вовсе не был чем-то особенным. Тамошние крупные землевладельцы десятилетиями самым чудовищным образом уклонялись от уплаты налогов; хозяева шелкопрядильных мастерских и мельниц платили не бóльший налог, чем жалкий подсобный рабочий на их же предприятии. В регистрационных книгах налоговой службы в

качестве собственности этих богатых господ указывались лишь крохотные пахотные участки, некогда принадлежавшие их отцам или дедам; местные богачи, благодаря дружеским связям с налоговыми чиновниками и старостами, добивались того, чтобы данные об их семейной собственности, однажды внесенные в земельный реестр, никогда более не обновлялись; они также предоставляли ложные сведения о размерах заброшенных или затопленных половодьем участков.

Вышеупомянутый молодой *даотай*, как только до него дошли слухи о подобных злоупотреблениях, явился в ближайшее отделение императорского финансового ведомства, где хранились списки налогоплательщиков, и сообщил управляющему – устно, но прямо посреди *ямэня*, в присутствии многих свидетелей, громким голосом, – о противоречии между данными, указанными в списках, и действительным положением вещей. Когда, покончив с этим, он сел в свой зеленый паланкин, его носильщики тревожно переглянулись и потом долго еще качали головами. А дальше произошло то, что и предсказывали, перешептываясь между собой, слуги молодого *даотая*.

Налоговый управляющий, человек уже пожилой, любимый в Чжили и Шаньдуне за знание местных обычаев и высоко ценимый в правительственных кругах, на десять дней передал текущие дела заместителю. Все это время он, как он сам сообщил, объезжал подведомственную ему налоговую зону, чтобы провести личное расследование, и посещал как промышленные предприятия, так и имения. Однако не в его силах было задержать тот рапорт, который *даотай* отослал в центральное финансовое ведомство примерно тогда же, когда сделал в *ямэне* свой устный доклад; и к тому времени, когда опытный чиновник вернулся из деловой поездки, его уже ожидало письмо из пекинского финансового ведомства с настоятельным требованием прислать объяснительную записку в ответ на «прилагаемый меморандум».

Вечерами, пока молодой, еще неженатый *даотай* лежал на берегу Пруда Красных Лотосов и играл с приятелями в «плавающие лепестки», его более искушенные в жизненных перипетиях слуги сокрушались по поводу недальновидности своего

господина: они уже были наслышаны о нарастающей неприязни к нему.

Между тем, стали возникать небольшие беспорядки при задержании воров и осуществлении публичных наказаний; постепенно такого рода неприятности участились и требовали от *даотая* все большего внимания. В нескольких прежде спокойных селах даже произошли нападения на императорских чиновников и на частные дома. Из столицы прислали выдержанное в резком тоне письмо с требованием немедленно подавить бунт. Но выловить смутьянов *даотаю* не удалось: его полиция оказалась бессильной. Когда ночью на рыночной площади сгорела мемориальная арка, воздвигнутая для одной добродетельной вдовы по приказу самого императора, пробил, как полагали многие, последний час легкомысленного молодого чиновника.

Тогда-то толстяк Хоу и пригласил *даотая* к себе для личной беседы, которую тот и сам уже запланировал, ибо хотел прояснить кое-какие подробности, связанные со строительством транспортной дороги. И кризис разрешился – наипростейшим образом. У *даотая* не оставалось выбора: он не мог не думать о страшном позоре, который навлечет на своих еще здравствующих родителей и на умерших предков, если будет понижен в должности; не говоря уже о том безотрадном будущем, которое ожидало бы в таком случае его самого.

Домочадцы Хоу, казалось, восприняли визит *даотая* как большую честь. Сам Хоу, едва услышав, что родители его высокочтимого гостя еще живы, с откровенным угодничеством заявил о своем желании передать этим достойным пожилым людям летний домик в одном из своих имений; и тут же защебетал, что глубоко сожалеет о временных трудностях, с которыми столкнулась местная управа, предложил предоставить в ее распоряжение собственных, превосходно обученных и вооруженных охранников. Неподкупный *даотай* ничего определенного не ответил.

Вернувшись домой, он принес жертву на алтаре предков и помолился; два дня не разговаривал ни с кем из друзей. И потом все-таки решился принять позорное предложение.

В тот же день Хоу нанес ему блестяще инсценированный ответный визит – явился сперва в *ямэнь*, а потом и в частные апартаменты начальника округа, что очень обрадовало домочадцев и слуг, теперь восхвалявших *даотая* как зрелого и мудрого мужа. И все «недоразумения» с легкостью были улажены: оказалось, что и возникли-то они лишь из-за нагромождения ошибок и преувеличений, из-за нелепой путаницы. Не прошло и двух недель, как не рассчитывавшие на такое счастье чиновники получили из центрального ведомства благодарность за то, что они со свойственными им умом и энергией подавили опасное локальное восстание. После нескольких безуспешных выплесков недовольства со стороны крестьян, особенно сильно пострадавших от жестких мер Хоу, всё утихомирилось.

И тут, в разгар лета, стали распространяться слухи о появлении в здешних краях благочестивых нищенствующих братьев; кое-кто даже оставил родные места и присоединился к «расколотым дыням». Поговаривали об интригах и нападениях, которым подвергаются эти мирные чужаки; а потом произошла ужасная бойня, монахи-ламаисты покинули свой монастырь, и перепуганная паства Ма Ноу укрылась за его крепкими стенами. Гильдии – от приверженцев Ма из числа местных жителей – узнали еще кое-какие подробности о характере союза и его трудной судьбе. И сразу же укрепилась симпатия к этим гонимым, чувство солидарности с ними. Работы по сооружению нового канала еще и не начались – якобы потому, что из-за непрекращающихся военных действий императорская казна совсем опустела; многие семьи, потеряв источник доходов, переселялись в северную часть провинции. Беспорядочные слухи о «Расколотой Дыне» распространялись и в задавленных нуждой деревнях: там рассказывали, что под этим именем будто бы скрывается политический союз, поддерживающий тесные отношения с «Белым Лотосом»; что члены союза бродят безоружные по округе и, не сопротивляясь, позволяют себя убивать; они поступают так для того, чтобы пробудить народ, показав ему: даже безобидные калеки становятся жертвами насильников-маньчжуров и мошенников-чиновников.

Частые разговоры жителей различных местечек на эту тему привели к тому, что из представителей гильдий и деревень образовалась инициативная группа, которая, не добивших справедливости от государственных чиновников, решила вступить в контакт с «расколотыми дынями» и их предводителем Ма Ноу. Не продуманные до конца мысли и сильное эмоциональное возбуждение погнали этих людей в путь: они хотели объединиться с Ма Ноу, который уже завладел монастырем, и совместно с ним предпринять что-нибудь для улучшения создавшейся ситуации.

Перед этой нестройной ватагой крестьян и промысловиков быстро захлопнулись, но затем вновь распахнулись ворота монастыря. Когда несколько братьев ворвались в хижину Ма Ноу и сообщили ему, что группа дружественно настроенных селян пришла в монастырь и желает с ним говорить, Ма не счел нужным привлекать к беседе своих доверенных лиц, а велел проводить пятерых делегатов от группы в горницу *чэн-по* – и отправился туда сам.

Гости приветствовали его словно могущественного владыку, склонившись в поклоне до земли; он, стыдясь и опасаясь, что кто-то это увидит, попросил их обращаться с ним как с равным: он ведь и вправду им ровня – бедный сын маленького черноголового племени, насчитывающего не более ста семейств. Так пусть же они скажут, чего от него хотят и кто их послал.

Они заулыбались, услышав вопрос Ма; и по его знаку полукругом расселись на полу. А дальше молчали, потому что не знали, кто должен говорить первым.

Это были пятеро пожилых работяг: трое кипятильщиков, один разорившийся сковородочник и один возчик; когда они совещались у себя дома, их смышленые головы работали превосходно; здесь же их сбивало с толку ощущение, что они сидят рядом с таким прославленным человеком, как Ма, – и еще то, что они не знали, каковы цели этого человека. Наконец сковородочник, самый образованный из всех, открыл рот, обвел взглядом присутствующих, после чего, улыбнувшись и поклонившись, сказал: что поскольку никто, похоже, не возражает, говорить будет он. А затем вкратце объяснил, кто они такие, где живут, как дурно с ними обошлись владельцы имений и чиновники.

Возчик, который напряженно слушал его и при каждом слове согласно кивал, перехватил нить беседы: «Вот в этом-то и суть. Все вертится вокруг этого. Мы сами не в состоянии ничего добиться. Управа не отвечает на наши жалобы. А кто такой ты, Ма Ноу? Откуда ты родом, где живут твои благословенные родители? И самое главное: что нам теперь делать?»

«В этом-то вся суть, – ворчливо обратился к шустрому возчику один из кипятильщиков, – главным, как я вам всегда повторял, остается вопрос: как нам *лучше* действовать? Как?»

Возчик утихомирил его движением руки и подмигнул Ма: «Не обращай внимания. Мы с ним иногда спорим, потому что оба терпеть не можем бабского нытья. Когда я спрашиваю: "Что нам теперь делать?", ему это не нравится: мол, следовало спросить, какой выход был бы наилучшим; одним словом, сто́ит мне сказать "ну", как он обвиняет меня в невежестве и предлагает говорить "тпру". Об этом все знают и у нас в селе, и даже в других местах, но, в общем, он славный парень – ты что, со мной не согласен?»

Последний вопрос он обратил к сковородочнику, который, пока длилась эта тирада, нетерпеливо покашливал, кряхтел и потирал себе нос; тот неохотно ответил: «Да мне что – я вам не судья. Только сдается, не для того мы тащились сюда целых полдня, чтобы решать, как правильнее сказать – "тпру" или "ну". К тому, что нас беспокоит, мы пока так и не подступились – вот что главное».

Возчик недоуменно всплеснул руками, будто желая сказать: «Но ведь и я о том же!», – и толкнул в бок кипятильщика, который осуждающе покачал головой.

«Ну хорошо, – повернулся посерьезневший сковородочник к Ма, – теперь нам хотелось бы послушать тебя. Шестеро моих односельчан уже присоединились к твоему союзу, они рассказали нам о тебе и об остальных. Вы называете себя братьями и сестрами, и нам всем это очень по душе. Однако захочешь ли ты нам помочь?»

«Или, может, ты *вместе* с нами предпримешь что-нибудь против землевладельцев и *даотая*, которые, похоже, уже успели найти общий язык?» Это сказал другой кипятильщик, долговязый и

тощий, который затем продолжал учительским тоном, подняв указательный палец: «Мы и сами собирались кое-что предпринять против них в ближайшие недели, но у нас пока нет общего плана действий».

«*Нет плана, нет плана...* – передразнил его сковородочник. – И чем только набиты ваши дурные башки! План я вам и сам в два счета придумаю. Только не сто́ит слишком полагаться на планы. Уж поверьте, я видел людей с самыми распрекрасными планами, и все эти планы кончались пшиком. Пусть сперва Ма Ноу прямо ответит на вопрос: готов он присоединиться к нам или нет?»

«И будет ли помогать нам?» – дополнил вопрос хитрый возчик.

Ма, затаив дыхание, слушал этих простодушных людей. Его беспокоило только то, что два кипятильщика пока не принимают участия в беседе; но, в конце концов, по виду они ничем не отличались от своих товарищей. Это и был тот знак, которого он ждал. Ма относился к таким вещам иначе, чем Ван Лунь: если Ван обычно пугался и старался скрыть от себя, что случилось что-то, заранее им предсказанное, то у Ма при подобных обстоятельствах в желудке разливалось теплое ощущение сытости.

Вот и сейчас у Ма было чувство, будто судьба склонилась перед его волей, и он нерешительно заигрывал с представлением – на самом деле таким смехотворным! – что каким-то непостижимым образом его собственный путь совпал с путем Дао. Пока работяги спорили, он сидел бледный, в состоянии, похожем на опьянение, выделяя пот из всех своих пор; но потом все-таки взял себя в руки.

И сказал, что не располагает войском, которое могло бы им помочь. Они ведь и сами знают: власти преследуют «Расколотую Дыню», хотят совсем ее уничтожить. И жители селений, и «расколотые дыни» рано или поздно будут разбиты. Тем и другим суждено претерпеть страдания от сильных и жестокосердных владык.

«Именно потому мы и пришли к тебе в монастырь, – возразил сковородочник. – Мы, селяне, совсем растерялись. Ты же очень умен, сведущ в книжной грамоте и сумеешь все правильно рассчитать».

Долговязый кипятильщик – тот самый, что привык говорить учительским тоном, – опять поднял указательный палец: «Я, Ма, скажу тебе и еще кое-что, коли уж ты терпеливо выслушиваешь каждого. То, о чем идет речь, касается также и твоих братьев и сестер. Повторяю: касается вас всех. Мой племянник работает сапожником в селении, в половине дневного пути отсюда; сейчас он гостит у меня. Так вот, вчера к нему заглянул напарник по работе, его односельчанин, и рассказал: полицейские, пятьдесят, а может, и сто человек, собираются расправиться с вами – в отместку за ту резню, которая случилась около недели назад. Они уже идут сюда и доберутся до вас завтра или даже сегодня. О чем они будут вас спрашивать, и как, увидите сами. Я же лишь говорю – раз ты такой умный и терпеливо выслушиваешь каждого: вас это тоже коснется».

Ма Ноу улыбнулся: «Значит, моим сестрам и братьям пришел конец. Кто нам поможет? Сколько часов могут подождать уважаемые гости, чтобы их друг Ма Ноу с острова Путо посовещался со своими людьми?»

Они переглянулись, и сковородочник пробормотал: «Хватит ли нашему мудрому другу времени для его совещания, если мы подождем до полудня или на час больше? Ведь путь нам предстоит неблизкий, правда неблизкий, и кто знает, с какими новостями встретят нас дома».

«Хорошо, пусть будет до полудня».

Они торопливо вышли из комнаты. Ма Ноу же битый час праздно просидел в одиночестве перед пустым алтарем; думать он не мог.

Судьба наконец склонилась перед его волей.

Теперь можно не опасаться новой резни! Они пойдут надежным путем. Впереди их ждет горячая любовь друг к другу, расцветающая надежда на все самое возвышенное, на сияющие Западные Врата! Ощущение счастья охватило его с такой силой, что хотелось взывать о помощи. Он вдруг тихонько рассмеялся, подумав о диковинной миссии пяти гонцов, бесстыдных и ребячливых оборванцев, возомнивших, будто их страдания из-за нехватки жратвы могут сравниться с муками его братьев и сестер.

Но да будут они благословенны! На что еще годится эта свора солеваров и грузчиков, как не на то, чтобы служить для «расколотых дынь» живой оградой, ходячими кирпичами, защитными рвами, удлиняющимися по мере надобности, превосходно захлопывающимися воротами!

Через час после полудня в горницу *чэн-по* вошли пятеро делегатов; хотели было броситься ниц, но смутились и скромно расселись на молитвенных ковриках.

Ма Ноу опять спросил сковородочника, кто их послал и от имени скольких сельчан они выступают.

Тот, не ответив, нетерпеливо задал встречный вопрос: что показали астрологические вычисления и какой совет даст им мудрый астролог? Тогда Ма, пристально взглянув в глаза каждому, сказал, что давать советы он пока не берется, но как только его гости отправятся в обратный путь, присоединиться к ним, и с ними пойдут еще два или три члена союза. Он, мол, хочет произвести расчеты прямо на месте. Тогда-то и прояснится все самое существенное относительно благоприятного и неблагоприятного влияния животных и металлов.

Возчик удивился: ему показалось, что такое решение совершенно необычно, и вместе с тем оно вполне соответствует сути проблемы. Образованный солевар повернул голову к товарищам, будто ожидая от них поддержки, потом поднялся на ноги, подошел к Ма Ноу и тихо сказал: «Я хочу признаться тебе, Ма с острова Путо, что ничтожный кипятильщик, стоящий сейчас рядом с тобой, только что – на дворе – думал о том же, что и ты. Но другие, естественно, этого не поняли, они мне и высказаться-то по-настоящему никогда не дают. Потому я решил держать свои мысли при себе. Ведь только сам человек знает, чего он сто́ит».

И доверчиво дотронулся до плеча Ма.

Сковородочник тоже все никак не мог успокоиться: «Так-так, видно, однозначного совета вроде “Поди туда, потом поверни туда, потом сделай то-то и то-то” быть не может. Надо же, век живи, век учись. Разные вещи одним аршином не измеришь. Раньше мне б такое и в башку не пришло! Говоришь, расчеты надо производить на том самом месте, где собираются что-то

предпринять? Да, какой-то резон в этом есть. Даже несомненно есть – кто б стал спорить».

И он грубо отчитал тщеславного возчика.

Пока пятеро гонцов объяснялись возле ворот со своими земляками, а вокруг них толпились растревоженные братья и сестры, Ма Ноу и его ближайшие советчики провели на отдаленном кладбищенском дворе короткое, но важное совещание. Ма Ноу хотел, чтобы все пятеро советчиков пошли с ним.

Он хотел положить конец прежней тактике ожидания. Хотел добиться от них безусловной поддержки, безоговорочного подчинения. И очень лаконично, повелительным тоном изложил им свое желание: они должны отправиться вместе с ним в район мятежа.

Сопровождать его сперва согласился один Цзюань; оба Лю, и особенно Желтый Колокол, наотрез отказались вмешиваться в военные передряги. Красавица Лян только молча смотрела на Ма Ноу. Этот человек внушал ей все больший страх.

И тут Ма, расхаживая между стволами ив, вдруг перешел на не свойственный ему истерично-враждебный тон: он обвинил своих советчиков в том, что они бросают его в беде, что именно в тот миг, когда ему требуется особое мужество, они наносят ему предательский удар в спину. Они, мол, не сострадают своим же братьям и сестрам, отринутым семьями, корпорациями, империей; людям, которые нашли последнее прибежище в их союзе, но очень скоро подохнут как крысы, наевшиеся отравленного маиса. Все пятеро – будто бы самые преданные помощники Ма; но вместо того, чтобы его поддержать, они стали неподъемным грузом на его плечах, удавкой на его шее.

Желтого Колокола от таких обвинений охватил озноб; он уже несколько раз перебивал Ма невнятными возгласами, а теперь наконец попытался облечь свои чувства в слова: «Ты, Ма, выбрал неподобающий тон. Не берусь судить о других, но сам я не допущу, чтобы ты говорил со мной как с домашним рабом. Мы перед тобой ни в чем не виновны. Ты же грубишь, что совсем на тебя не похоже. Ты, понятное дело, не в себе. Да, но мы-то не заслужили унижения. И ты не вправе так с нами поступать!»

Он так дрожал, что, хотя сидел на земле, чуть не упал вперед; по его впалым бурым щекам текли слезы.

Глаза Лян негодующе сверкнули, но она промолчала; младший Лю, вечно неуверенный в себе Трешка, подошел к Ма и очень спокойно произнес: «Мы, братья Лю, сделаны из более прочного металла, чем Желтый Колокол; мы никогда не плачемся на судьбу. Но Ма и впрямь сегодня обращается с нами не так, как подобает обращаться с верными помощниками. С чего ему вдруг приспичило идти в село вместе с этими мужланами, и почему мы должны его сопровождать? Если он не объяснит этого, то быстро поймет: мы, Лю, способны невозмутимо перенести оскорбления; но делать мы будем только то, что сами сочтем правильным».

Ма с трудом сдержался: «Вы оба, а также Желтый Колокол, сейчас поймете, почему сегодня я не в себе, перестанете оскорблять меня никчемным нытьем: дело в том, что против нас уже выступили правительственные войска, об этом мне сообщили крестьяне. На сей раз нам придется иметь дело не с подкупленными бандитами – ну да, теперь вы, наконец, удосужились посмотреть на меня. Но только вы мне по-прежнему не верите. Все, что я не объясняю досконально, снимая чешуйку за чешуйкой, пока не обнажится ядро луковицы, вы считаете моими выдумками, но если я из-за этого впадаю в гнев, то вы – вы когда-нибудь поступите хуже: вы своими руками нанесете мне смертельный удар. Так сколько, по-вашему, дней – а, дорогой Лю, дорогая сестра Лян и брат мой Желтый Колокол, – остается у нас до Великой, поистине Великой Переправы?»

Цзюань был самым пугливым из всех; со времени нападения бандитов он спал мало и кричал во сне, мучимый кошмарами; но в моменты реальной опасности вел себя на удивление уверенно и вселял мужество в других. Сейчас, когда он услышал об угрозе нового нападения, кровь ударила ему в голову; и он крикнул, обращаясь к обоим Лю: «Разве в такой ситуации уместны возражения? Разве мы хотим, чтобы люди во дворе сочли нас обманщиками? Мы должны торопиться, торопиться! И пора кончать болтовню. Сколько мы еще будем тут сидеть!»

«Сидеть будем столько, сколько понадобится, – одернула его Лян, – а если кто трясется за свою шкуру, то ему лучше жить в городе, сочинять стишки, ездить в паланкине».

Светлое лицо Цзюаня побагровело; его горло, казалось, отекло, столь невнятно он вдруг заговорил: «Бабская болтовня не смутит образованных людей. Так же, как хныканье мужчин не остановит серьезного разговора. Кто-то возбуждается легко, кто-то нет; ну и что с того? Вы вот готовы просидеть здесь до вечера, а когда сотни людей, которые поверили нам, почувствуют, что им в спину уперлось острие сабли, решать что-либо будет поздно. Но так не должно быть. Такие вещи не решают, рассевшись в кружок. Это дело напрямую касается меня – как и каждого из вас. Пусть выскажется Ма Ноу, Ма наверняка знает правильное решение».

Он замолчал, потому что длинное лицо Желтого Колокола вдруг одарило его такой дружелюбной улыбкой, что он сперва от смущения понизил голос, а после и вовсе сник.

Желтый Колокол обратился к нему: «Не прерывай своих слов, Цзюань; никто не рассердится, если ты выскажешь все, что накипело». Он взмахнул руками, приветствуя одновременно и Ма, и Цзюаня; те нерешительно, но вежливо ответили на его жест.

Только Лян осталась сидеть, понуро смотрела в траву. Трешка сочувственно заговорил с ней, помог подняться; она, опустив голову, подошла к Цзюаню, глубоко поклонилась, подождала, пока он ответит; потом с поникшими плечами приблизилась к Ма Ноу, при всех обняла его, печально сказала: «Помоги нам, Ма. Доведи все хоть до какого-нибудь конца. Ты прав. Пусть не будет резни, не допусти, чтобы такое повторилось. Или хотя бы спаси, кого сумеешь, и не забудь – про нас, не забудь про меня!»

Через час Ма и его помощники вместе с пятью гонцами вышли за ворота; большинство других членов делегации остались в монастыре, так как сковородочник, которого все они уважали, уговорил их позаботиться о безопасности «братьев». В дороге выяснилось, что Желтый Колокол еще не пришел в себя; ночью – а ночевали они под открытым небом – все слышали, как

он стонал под боком у Лян и как она пыталась его успокоить. Утром он под каким-то предлогом расстался с товарищами и вернулся в монастырь.

Они же к полудню добрались до села, самого крупного в округе, в котором у сковородочника был земельный участок. Ма быстро осмотрел то, что его интересовало, поговорил с людьми; потом вся компания верхом на мулах отправилась в «инспекционную поездку» по другим селам; многие безработные выходили из своих домов, пялились на странную процессию, отвешивали поклоны.

Незадолго до вечера члены союза устроили короткое совещание; их лихорадило при мысли, что, может быть, именно сейчас императорские солдаты добрались до монастырских стен.

И – мулы понесли измученных седоков обратно к монастырю; новые друзья, числом около сотни, шли следом, возбужденно переговариваясь; высокие заросли гаоляна остались позади; ночью путники отдыхали не больше часа; и ранним утром оказались на берегу озера.

Бледное пламя полыхало по ту сторону воды. Они опоздали. Нападение уже свершилось; солдаты подожгли монастырь. Сотни людей погибли. Солдаты, которым остававшиеся здесь крестьяне, конечно, не могли противостоять, убрались восвояси; сперва безуспешную попытавшись вытащить из огня сестер, которые заперлись в кумирнях. Солдаты так боялись навлечь на себя злые чары, что бежали отсюда, будто были не победителями, а побежденными.

Когда Ма в сопровождении возмущенных крестьян проезжал сквозь разбитые ворота, Желтый Колокол, который сидел у обочины, крикнул ему, прильнувшему к шее мула: «Привет»; и потом еще: «С победой!»

Ма лишь молча погрозил ему кулаком. Даже Красавица Лян, всхлипнув, отвернулась от друга.

ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ, все знают. «Расколотые дыни» покинули монастырь, население округа восстало против местных властей. Потом были захваты тюрем, нападения на чиновников,

прогоняли владельцев самых крупных имений, сжигали их дома. Целыми днями висели в воздухе плотные клубы дыма. Мятежники не щадили ни могил, ни мемориальных арок, ни пагод.

Первые манифесты исходили от «Комитета», во главе которого стоял тот самый сковородочник. В них разъяснялось, что изгнанные владельцы недвижимости лишаются права на свою собственность; что власть иноземной Чистой Династии, *Да Цин*, основывается на обмане, противоречит интересам народа и потому объявляется низложенной.

Восстание быстро распространялось в северо-восточном направлении. Оттуда же на соединение с мятежниками двигались два отряда по триста человек, часть «поистине слабых» Ван Луня: они искали братьев из «Расколотой Дыни», хотели им помочь.

Со второй недели мятежа все прокламации, распоряжения и так далее подписывал лично Ма Ноу. Он посылал в близлежащие города гонцов, которые по ночам прикрепляли к городским стенам копии его послания к императору Цяньлуну. В послании Ма Ноу заявлял о своей готовности признать господство Чистой Династии в том случае, если весь охваченный восстанием район получит независимость от центральной власти и будет управляться собственным князем.

Еще через неделю последовал новый важный шаг: все занятые мятежниками округа были преобразованы в теократическое государство по образцу Тибета, названное «Островом Расколотой Дыни». Осуществление надежд подданных на достижение райского блаженства объявлялось главной задачей государственной власти. Ма Ноу называл себя «царем-священнослужителем»; ему помогал совет из трех человек, именовавшихся «царями-законодателями». Единственный на этой территории город, средних размеров, стал резиденцией Ма Ноу. Здесь разрабатывались планы укрепления Острова посредством сооружения по его периметру мощной двойной стены со сторожевыми башнями и поэтапного строительства башен вдоль всех больших дорог. Около тысячи местных жителей оставались вооруженными, прочее оружие хранилось на столичных складах.

Население Острова делилось на две части: коренные жители – в их домах, лавках, на полях, в горах, в плодовых садах; и «братья и сестры», которые днем смешивались с местными, но вообще жили отдельно от них, многие – в хижинах, главным образом на лугах, поблизости от могучих духов земли. Члены союза не приобретали имущества и всю выручку, которая не служила для удовлетворения их непосредственных нужд, передавали в царскую казну.

Время, проведенное у болота Далоу, подарило секте все, о чем она могла мечтать, – восторг, трепетное упоение, счастье. Но только здесь, «на Острове», братья и сестры получили *надежное убежище*. Это было наивысшим достижением Ма Ноу. Он сумел снять с плеч своих соратников тяжкий груз забот, всякий груз вообще: теперь, как он и хотел, братьев и сестер окружали «живые стены». Путь к внешнему освобождению его приверженцев, на который Ма ступил у болота Далоу, был пройден до конца. Отныне они могли не опасаться ударов слепой судьбы.

Однако суровость Ма Ноу теперь возросла. Став царем-священнослужителем, он проявлял строгость, которая граничила с жестокостью и напоминала о том, что человек этот был когда-то способным учеником монахов-аскетов. Ма не изменился, он просто вернулся в то мгновение, когда значимым было только его слово. Пожар в монастыре, где он увидел обугленные трупы братьев и сестер, в его душе все еще не догорел. Он не испытывал жажды мести, а только ощущение, что начавшееся подобным образом не должно закончиться какой-нибудь глупой нелепостью. Он больше не нуждался в советах помощников. Жалость к полутрупам, проткнутым копьями, валявшимся на дворах и во всех коридорах монастыря, в свое время чуть не убила его. Он тогда впервые спустился с высот на землю: стоял среди своих несчастных, запутавшихся, суеверных приверженцев, мучился их бедами и был единым целым с этим народом.

Никого из прежних друзей он больше не желал знать. Он стремился к единоличной власти – ибо чувствовал, что, если не добьется ее, должен будет нести ответственность за свои

поступки. Но для него судьба союза не имела значения, поскольку он, Ма Ноу, уже добился для союза всего – и теперь мог позволить себе взирать на него с равнодушием. Тот пожар его больше не беспокоил.

Ма Ноу, теперь неузнаваемый, восседал на престоле Острова. Никакой идол не мог бы бросать вокруг столь нечеловеческие, невидящие взоры. Его вера в Западный Рай раньше была окутана пеленой отрешенности, преувеличенно страстного томления; теперь Ма протрезвел и, железной хваткой вцепившись в веру, держал ее на некотором отдалении от себя. Он уже не мечтал о рае – он по-прежнему вожделел его, но теперь с холодным здравомыслием *требовал* допуска туда для себя и своих сторонников. Речь шла уже не о некоем сновидческом благе, к которому поднимаются медленно, преодолевая ступень за ступенью, но о чем-то близком, наподобие того узкого деревянного мостика, по которому Ма ходил каждый день, к которому шел, когда ему этого хотелось, – о чем-то купленном, приобретенном, за что он заплатил с десятикратным превышением цены и что поэтому никто не может у него отнять. Вопрос о том, существует ли Западный Рай реально, более не подлежал обсуждению; сами события наделили это место необходимым и более чем конкретным знаком подлинности.

Однако в сердце Ма шевелилось ужасное подозрение, что еще придется заплатить некую «прибавку», что в силу каких-то обстоятельств с него потребуют дополнительную плату, сопоставимую с уже внесенной; и потому он не хотел для себя долгой жизни, а лишь короткого яркого финала – впечатляющей гибели этого Острова, украшенной именами его братьев и сестер. Благодаря своему уму, решительности, приписываемым ему жутковатым чарам Ма стал владыкой этой земли, жителей которой презирал и которая – сама по себе – внушала ему отвращение. Его мучило то, что он вынужден был прибегнуть к грязным средствам, дабы помочь «расколотым дыням». Никогда прежде он не испытывал столь неутолимой ненависти к Ван Луню, который позволил произойти тому, что произошло, хотя небольшого усилия с его стороны хватило бы, чтобы этому помешать.

В первое время после преобразований, осуществленных у болота Далоу, Ма служил своим братьям в большей мере, нежели ему представлялось. Он тогда думал, что вернулся к себе, освободившись от повседневных мелких забот, связанных с руководством сектой. На самом же деле только пожар в монастыре действительно даровал ему такую свободу. Ма, по сути, опять стал отшельником, хотя в мóроке своей царственности и не сознавал этого. Он обрел способность заново переживать события, происходившие с ним когда-то – в былой жизни – у перевала Наньгу. Через его сновидения пробегали виверры, запрыгивали на полку с буддами; крупные ворóны, слетевшись к крыльцу, ждали, когда он начнет разбрасывать крошки; и Ма не уставал удивляться этим всплывавшим на поверхность воспоминаниям. Или тому, что живой пока Ван Лунь рассматривает золотых будд, давным-давно разбитых, и задает вопросы о многорукой Гуаньинь, хотя хрустальные осколки богини теперь могут разве что ранить подошвы случайных путников, забредших в мискантовую долину. Против козней судьбы нет иного средства, кроме недеяния; резня у подножья горы, пожар в монастыре вновь все это подтвердили. Ма чувствовал, что величие этой идеи, последствия этих обстоятельств для него непосильны.

Членов союза спаяла в одно целое их общая судьба. Счастье летних месяцев померкло. Ужасающую серьезность взятых на себя обязательств многие из них осознали только теперь. От Ма Ноу исходил мрачный жар, передававшийся и им. Цзюаня уже не было в живых, его убили в период захвата имений. Братья Лю не осмеливались противостоять власти Ма. Красавица Лян дрожала, когда видела окаменевшего в своем величии вождя, но поздравляла себя с тем, что вовремя за ним последовала. Желтый Колокол исчез.

И еще раз тело союза сотряслось от болезненного озноба. В одном селении, отстоявшем не более чем на восемь *ли* от столицы, среди «расколотых дынь» жил молодой, необычайно красивый брат, который, хотя и был по профессии углежогом, отличался завидной утонченностью манер и готовностью помочь каждому. Он, как и многие, оставил семью из-за ребяческой

верности своему слову: из-за клятвы, данной одному странствующему брату, что он сам присоединится к «расколотым дыням», если брат этот останется в деревне, чтобы помогать больному отцу. Теперь юноша-углежог, вырванный из привычного окружения, вместе с другими братьями готовился к переправе в Западный Рай.

Однако пылкая страсть к женщине нарушила чистую безмятежность его помыслов. Эта женщина, правда, была одной из «сестер», но она еще не до конца преодолела себя, чтобы направить свой дух к ясно обозначенной цели. Ее, девушку хрупкой красоты, с хрипловатым голосом и мечтательными раскосыми глазами, сперва отдали из отцовского дома сорокалетнему цинику – торговцу мехами, от которого она через два года сбежала, так как думала, что он уличил ее в неверности. Муж разыскал ее и вернул назад, но она снова его обманула, после чего ей пришлось покинуть родной город. Она была счастлива, что нашла приют у странствующих сестер и братьев; могла теперь, не подвергаясь опасности, удовлетворять неистовые потребности своей плоти, от которых больше всего страдала сама; и уже почти научилась управлять желаниями.

Тут-то она и повстречалась с углежогом; она не отвергла его притязаний, но он сам вскоре отдалился от нее, больше не хотел ее видеть; помрачнел. Однажды утром, когда она пришла на задымленную поляну за селением, где он занимался своей работой, и запела, он объяснил ей, что уже много дней не в силах думать ни о каких возвышенных вещах, что он мучается – и просит ее остаться с ним навсегда, принадлежать только ему. Молодая женщина, едва он начал говорить, заплакала и закрыла красивое лицо покрывалом, ибо сразу поняла, что́ он скажет. Когда же он кончил, она оглянулась – не подслушивает ли кто; уселась с ним рядом у дымного костра, ласково обняла его, отвернувшегося, – приблизив полные щеки и ненасытные губы к мальчишескому затылку; и омочила слезами и поцелуями его косичку. Разве он не знает, что такое желание оскверняет драгоценные принципы, – а если знает, то что намеревается делать, когда другие братья проведают о его непростительном поступке?

Нун медленно повернул к ней овальное лицо, от боли утратившее всякую соразмерность черт: что случится, когда братья уличат его, он не знает; он не желает осквернять драгоценные принципы, ибо сие было бы грехом против Ма Ноу, их отца; но и не представляет, каким иным способом мог бы себе помочь. Отвратительный демон самоубийства, одетый в широкие шальвары, уже нападал на него – и в эту ночь, и в три предыдущие. «Что же мне делать, дорогая? Как твоему брату Нуну бороться с самим собой?» Они теперь сидели, не разговаривая и даже не думая ни о чем, в гадком дыму; его перепачканные сажей руки касались ее черных завитых волос.

Молодая женщина, хотя и боялась разоблачения, последовала за ним, как он желал. Они поселились в хижине, принадлежавшей углежогу, который нанял Нуна в помощники. Этот сильный, словно кряжистый дуб, но снисходительный к другим человек пытался предостеречь влюбленных, но они его не послушались.

Между тем, прошла уже добрая часть года; жители Острова готовились к празднику *цинмин*, Дню Душ*. Повсюду на свежем воздухе сооружали качели, украшенные пестрыми шнурами*. Колыхались на ветру поблекшие листья каштанов. На могилы насыпали холмики из свежей земли*. Начали, как обычно, выпекать всякие лакомства. По дорогам расхаживали женщины с вербными сережками в волосах – чтобы в другой жизни им не пришлось родиться в обличьи желтой суки*. Мужчины в расшитых золотом куртках, с золототканными поясами, гордо прогуливались по аллеям или сидели в чайных, играя в кости и домино.

Поблизости от храма городского бога располагалось кладбище для проституток*; женщины из «Расколотой Дыни» хоронили там и своих сестер, с гордостью и с состраданием к ним. И вот когда утром в день праздника *Цинмин* они поодиночке и группами устремились на это кладбище – ибо Ма Ноу разрешал своим приверженцам соблюдать все народные обычаи, – влюбленная молодая женщина, подруга Нуна, встретилась у кладбищенских ворот со знакомыми сестрами, и те запретили ей входить. Не было произнесено ни единого худого слова; сестры

просто объяснили, что она уже не может причислять себя к ним – с тех пор как живет с Нуном, словно законная жена.

Опозоренная женщина прибежала домой и рассказала Нуну, у которого от волнения начали дрожать колени, что ее дух, когда она умрет, не найдет успокоения рядом с другими сестрами; она пробормотала сквозь слезы, что ее выгнали «из круга», что она больше не может так жить и должна вернуться к своим. Их хозяин – сутулый, но крепкий углежог, – услыхав эти слова, прогудел: «Знать, так тому и быть».

Нун после ее ухода целыми днями, не замечая ничего вокруг, работал у костра или в саду. Спал он не раздеваясь, на голой земле, лицо больше не мыл, к еде почти не притрагивался. Как-то утром он отправился к ограде кладбища проституток и стал поджидать там любимую. Уже под конец того дня Нун увидел, как она идет под дождем вместе с каким-то «братом»; он бросился к ней, чужака оттолкнул, а ее схватил и, несмотря на пронзительные крики, принялся таскать за волосы. Сбежавшиеся крестьяне освободили «сестру», его же хорошенько отколошматили.

Но, однажды ступив на кривую дорожку, Нун уже не мог повернуть назад. В союзе было еще много таких, кому тяжело давалось соблюдение драгоценного принципа, запрещавшего обладание женщиной как собственностью. После нелепого нападения на возлюбленную Нун часто говорил об этом с приятелями и многих сумел склонить на свою сторону. К ним присоединились и товарищи по работе из числа селян. Эта компания, собиравшаяся под ивами, послала представителя к Ма Ноу, чтобы тот разрешил некоторые отклонения от драгоценного принципа. Три царя-законодателя приказали бросить посланца в тюрьму. Упорствуя в своем желании обладать молодой женщиной – хотя та уже сбежала в столицу, к Ма Ноу, – Нун за четыре дня набрал отряд из селян, которых он убедил в нетерпимости и деспотизме царя, и из тех «братьев», которые его поддерживали. Утром они заполнили улицы столицы, чтобы принудить Ма Ноу принять их требования. Но царь-священнослужитель и его советники опередили Нуна, призвав его и тех, кто последовал за ним, подумать о своем будущем и покинуть город.

Тогда молодой Нун – грязный, босой, в разодранной одежде – явился в бывший *ямэнь*, служивший теперь царской резиденцией. Остановившись, с распущенными волосами, на пороге раскрытой двери, он крикнул в полумрак зала, у дальней стены которого сидели Ма Ноу и три царя-законодателя, что они должны удовлетворить его желание, иначе он воспользуется своим луком. Поскольку ответом ему было молчание, он выпустил первую стрелу, которая застряла в деревянной стене прямо над головой Ма Ноу; вторая стрела пронзила одному из царей-законодателей руку, а третья – пущенная сзади – поразила в плечо самого юношу. Застрявшая в теле стрела подрагивала, Нун рычал. Горожане разогнали возмутителей спокойствия и окружили *ямэнь*; самого Нуна и нескольких его приверженцев заперли во дворе. Нун при задержании яростно отбивался и даже кусался, поэтому его заковали в деревянные шейные колодки, отправили в городскую тюрьму. Цари-законодатели – сам Ма с равнодушием отказался от участия в разбирательстве – приговорили юношу к смертной казни через расчленение на куски.

Нун знал, что после такой казни его духу уже ничто не поможет. И вел себя как злой демон, стремящийся скорее попасть в подземный мир: поносил братьев и сестер, которые встречались ему на пути к судебному присутствию, насмехался над «отцом», ради которого жертвовал собой, а на месте казни так издевался над священным союзом, что палач не сумел исполнить приговор, предполагавший медленную смерть, и по требованию возмущенных зрителей задушил гнусного святотатца.

Все виновные братья, а также их пособники, были подвергнуты тяжким наказаниям и затем изгнаны. Этот мятеж и его отвратительные, невыносимые для человека последствия грянули над «расколотыми дынями» как нежданная тяжкая беда. Многим братьям казалось, что их, перенесших столько страданий, теперь заставляют терзать – рвать на куски – друг друга. Многие впали в уныние и шатались без дела, даже подумывали о бегстве за пределы Острова, мучились от нелепого ощущения пресыщенности жизнью. Другие рассматривали недавние беспорядки как процесс очищения, неизбежный в любом новом начинании,

утешали себя и других, старались воспринимать мир в более светлых тонах.

На сельских ярмарках и в столице происходили трогательные сцены. Однажды нечто в таком роде случилось и во дворе царского *ямэня*: подъехала двухколесная повозка, некая благородная дама с трудом вылезла из нее, засеменила к гонгу, висевшему у лестницы, и распростерлась в земном поклоне. Когда к ней вышел не то Ма, не то один из царей-законодателей, она встала на колени, покаялась в своих грехах, попутно обвинила в них родной город и собственную семью, а потом под крики сбежавшихся зевак стала снимать и складывать на ступени, одно за другим, свои украшения – браслеты, цепочки, кольца, птичьи перья; сорвала с себя пестрые шелковые одеяния, разодрала на длинные полосы нижнюю юбку, позволила сестрам, которые ее обнимали, распустить ей изящно уложенные волосы.

Присутствуя при подобных сценах, Ма обычно прикрывал глаза левой рукой. Но иногда, если кто-то снаружи ударял в гонг, он сбегал вниз по ступеням, прежде чем посланник успевал его позвать, и заглядывал в лица столпившихся возбужденных людей. Он искал среди них Ван Луня и Желтого Колокола.

ПО ПРОШЕСТВИИ МЕСЯЦА после учреждения нового царства в столичном городе устроили праздник. Этот праздник потом многократно описывался; о нем слагались стихи, и даже Цяньлун в некоторых своих поздних виршах ссылается на него. Но почти все сохранившиеся отображения носят фантастически искаженный характер.

Всякая работа, вплоть до пограничной воинской службы, была тогда приостановлена на шесть двойных часов. На улицах столицы с утра зазвучали трубы. То были глубокие, страшные, бередящие душу звуки, начисто лишенные музыкальности – тревожные крики испуганных теней, зовы умерших о помощи, обращенные к живым; и они все более набирали силу, так что казалось, будто «взывающее» может в любое мгновение обрести материальность, влажно прилепиться к плечам прохожих. Звуки то приближались, то удалялись, доносились отовсюду сразу, и напрашивалась мысль, что город окружен ими.

Из переулков выскальзывали странные, закутанные с ног до головы существа. Они выныривали как из-под земли среди принарядившихся гуляющих, шныряли вдоль стен домов, преграждали дорогу паланкинам, жестами показывая, что проход закрыт. Там и тут в толпе раздавался смех – когда обезьяноподобные коричнево-черные твари запрыгивали на плечи порядочным горожанам, скрещивали тонкие ножки на груди своей жертвы, а потом с удовлетворенным блеяньем хватались за стропила крыш, подтягивались и раскачивались в воздухе.

По большой улице, которая называлась улицей Желтых Балок, прогуливались зажиточные горожане. Братья и сестры, расположившись в середине опустевшей рыночной площади, занялись музицированием. Тихие, но отчетливые вздохи *юциня*, «лунной цитры», гипнотически сладко и монотонно звучали в осеннем воздухе; затем к этому струнному инструменту присоединилась *суаньцинь*, «восьмиугольная цитра»: стрекотание, равномерно оборванные аккорды, которые словно тонкая золотая застежка замкнули всю цепочку, рассыпались зернышками риса по мягкой земле.

Пока сестры хором пели под этот аккомпанемент, и их голоса поднимались и опадали как волны, некоторые почтенные горожане, выбравшись из носилок и поприветствовав друг друга, успели преобразиться в потешных сине-красных «львиных собачек»* – и стали бегать на четвереньках, драться между собой, комично подвывать в такт праздничной музыке. Двое приятелей вели церемонную беседу, прислонившись к стене торговой лавки; внезапно один из них как-то странно осел, набросил себе на спину «черепашью шаль» и, ковыляя на согнутых ногах, удалился. Все это время музыка не переставала играть. Теперь зазвучали бамбуковые флейты; в новой песне были такие слова: «Голоса как нити шелка упруги».

По улицам кружили акробаты, атлеты-тяжеловесы, фокусники, гротескные ряженые. Грохот, треск, гнусавые подвывания рожков. Сухопарый человек без косички, с набеленным лицом, в длинном и узком белом халате, подпоясанном черным шарфом, сидел на низкой скамеечке. Вокруг него расселись три

взрослых снежных барса, которых он держал на пестрых тонких поводках. Звери потягивались, скребли по земле когтями. Тут от внезапного крика люди шарахнулись в стороны. И барсы большими прыжками рванули прочь, увлекая за собой человека в белом, не выпустившего поводки. Тот еле-еле удерживался, чтобы не упасть, рот его от страха стал совсем круглым. Перед Тигровой колонной на углу барсы остановились, принюхались и все трое уселись рядком, не пошевелились даже тогда, когда к ним подошли два храбрых мальчугана; потом незаметно сплющили спины и животы, переплели лапы – и превратились в картинку-силуэт, вырезанную из белой в черный горошек бумаги их набеленным хозяином, препоясанным черным шарфом; последний теперь перекосил свой неприятно подвижный рот, одна щека у него подрагивала, и выглядел он как живое воплощение смеха.

Пока акробаты крутились вокруг вертикально укрепленных шестов, жонглеры балансировали, удерживая зубами знамена с колокольчиками*, вооруженные мечами фокусники сражались в зеркальных выгородках, якобы отрубая друг другу головы и руки, усердно изображали кровожадность, а потом, выйдя к зрителям, раскланивались и собирали монеты, один ловкий паренек в высокой красной шапке сидел в деревянном киоске и неустанно указывал всем проходящим мимо на полированный ларчик, перед которым пела канарейка: по команде хозяина она открывала клювом эту крошечную шкатулку, вынимала из нее и подавала клиенту записочку.

Марионетки танцевали на гладкой доске перед простодушными крестьянами, смешившими горожан своими уродливыми веерами и бамбуковыми зонтами. С неменьшим удовольствием это мужичье толпилось, разинув рты, и возле разукрашенных прилавков, на которых дрессированные мыши и крысы карабкались по выстланным коврами миниатюрным лесенкам, попарно бегали в крутящихся колесах, прыгали сквозь подвешенные на шнурках кольца, ударяли в жестяные гонги.

Дикая сутолока царила на базарах, вокруг специальных огороженных участков; за канатами ограждения стояли глиняные горшочки с проделанными в них прорезями; посередине таких

площадок устраивались сверчковые бои, и возбужденные зрители бились об заклад, пытаясь заранее угадать победителя.

В домах и маленьких храмах приносили жертвы и возжигали благовония всем духам, от которых можно было ожидать добра; угрожающе гремели гонги, трещала барабанная дробь: город пыжился, чтобы одним дуновением отогнать от себя злых духов и голодных демонов. Перед всеми дверьми были вывешены длинные красные таблички с отвращающими зло иероглифами, посыльные передавали пожелания счастья – от одной семьи к другой. Нескончаемое, суетливое, необычное движение. В больших «чайных домах»* и в борделях даже показывали комедии.

«Братьям» и «сестрам» в тот день дозволялись любые радости и излишества. Во многих домах они участвовали в семейных трапезах; самые предприимчивые садились на открытых местах, перед храмами; около них постепенно скапливались пиалы с белоснежным рисом, чаем, женьшенем, лапшой, всякого рода паштетами; они рассказывали своим слушателям удивительные истории, а иногда и угощали их. Самые молодые и красивые «сестры» щеголяли в дорогих нарядах из разноцветной парчи, подаренных им богатыми горожанами; их лица были великолепно накрашены; они выступали в театральных представлениях, исполняли экзотические танцы, если хотели, посещали «расписные дома», где другие женщины им прислуживали.

Миновал полдень. Владельцы ларьков, жонглеры и уличные торговцы покинули рынки. На площади Цзу, на окраине, где, хотя и в черте городских стен, к домам вплотную придвигался еловый лес, вершину одного из холмов разровняли, превратив в четырехугольную площадку. Именно здесь, возле темных развалин маленького храма, воздвигнутого в память о каком-то давно умершем добродетельном чиновнике, договорились встретиться братья и сестры из «Расколотой Дыни». И вновь загудели трубы, все громче, все настойчивее. Улицы уже опустели, ужасные звуки замирали на ветру: никакого спасения, никакой жалости; город замурован в жесткое кольцо своих каменных стен.

На фоне черного задника из хвойных деревьев разыгрывался необычный спектакль встречи братьев и сестер. Спиной к городу,

обратив лицо к деревьям, сидели длинными рядами члены союза; а за ними, выше них – горожане и бесчисленные крестьяне. На плоских крышах тоже теснился народ; да и в окнах, в раскрытых дверях мелькали веера и зонты. Смешанные возгласы, непрерывное жужжание голосов; но над ними, прежде них – черное безмолвие елового бора. И – белые караваны облаков в сером небе.

Земля начала вибрировать. Из-за деревьев показалась длинная цепочка всадников: они приближались галопом, вырастая на глазах, к плоскому холму перед «амфитеатром»; разделились на две группы, устремились навстречу друг другу. Зрители вскоре разглядели, что один из отрядов имел одежду и вооружение императорских знаменных войск: цвета – желтый с красной каймой; во главе – офицер высокого ранга; за ним – копейщики с бамбуковыми копьями и треугольными военными вымпелами. Люди на крышах указывали друг другу на подлинные – с вышитыми леопардами и медведями – нагрудники командиров; кое-кто кричал, что и оружие, и одежды явно были захвачены на поле боя, другие с ликованием отвечали, что и сами воины тоже были захвачены: все они – пленники, взятые в приграничном районе; их дальнейшая судьба чрезвычайно волновала зрителей. Это действительно была плененная императорская рота. Другие всадники носили простую крестьянскую одежду: соломенные шляпы огромных размеров, соломенные же сандалии, серые куртки; вооружены они были как попало – мечами, косами, молотильными цепами. Числом эти всадники раз в десять превосходили маньчжурских солдат. Сперва две группы бесшумно смешались, потом опять разделились, потом – уже с большей решимостью – помчались друг на друга, на скаку выкрикивая проклятия; потом крестьяне внезапно перешли в атаку и погнали своих противников к лесу, который со всех сторон – и позади тоже – был оцеплен другими конными крестьянами. Ряды крестьян рассыпались, разгоряченные всадники метались по всему полю, размахивали мечами, бежали по земле рядом со своими лошадьми, на ходу запрыгивали в седла.

В эту-то пестро-нестройную массу и вклинились пленники-маньчжуры. Теперь с тех мест «амфитеатра», что были отведены

сектантам, вскочили двадцать, тридцать, пятьдесят бедно одетых братьев; они, казалось, просили о чем-то погруженного в свои мысли и не слушавшего их Ма Ноу – а потом царей-законодателей, которые произнесли в ответ пару слов и согласно кивнули. Просившие страстно желали принести себя в жертву, ибо не могли долее удерживать свои души. Они молниеносно подняли волосы на затылок, закрепили их узлом и, пробежав между крестьянами, крепко ухватились за наборные уздечки маньчжурских коней. Опять два отряда смешались, не вступая в сражение, но братья уже рвали из рук маньчжуров их копья; некоторые сектанты-добровольцы сразу были растоптаны конскими копытами и теперь бились в судорогах на земле. Пронзительный многоголосый рев, вырвавшись из окон и с крыш, качнулся над полем, и ему отозвалось эхо со стороны бора; люди махали зонтами, шапками, поясами, шарфами; страшно кричали те, кто в своем возбуждении оступился и упал со ступеней. Женщины визжали, требуя крови врагов. Шум, всегда присущий человеческой массе, уплотнился до смутного гула, который висел над лесом как оглушающий туман.

Теперь два отряда заняли позиции на противоположных сторонах квадратной площадки. Знаменная рота построилась в круг; маньчжуры отчаянно жестикулировали и о чем-то спорили. Насмешки, бранные слова... Можно было видеть, как две их лошади топчутся одна против другой; всадники отбросили копья, боролись, перегнувшись с седел, упали и покатились по земле. Когда со стороны города загремели оскорбительные выкрики – подобные железным прутам, которыми дразнят хищников, – маньчжуры обратили к «амфитеатру» распухшие от ярости лица, привстали на стременах и яростно затрясли копьями, собираясь метнуть их в зрителей.

Но уже бежали через поле братья, быстро оттаскивали подальше покалеченных конскими копытами товарищей, пританцовывали – безоружные, с непокрытыми головами, босые – вокруг застывших в ожидании маньчжуров, под предостерегающие возгласы зрителей: «Нет, нет, нет!» И вот уже первые из них вспрыгивают на спины лошадей, пытаются отнять копья у

звероподобных всадников; их сбрасывают пинками и ударами кулаков. Когда они схватились за дорогие уздечки, так что кони поднялись на дыбы, оба офицера отдали короткие команды – и ряды всадников разомкнулись. Силачи маньчжуры, обхватив тщедушных братьев за горло, поднимали их высоко в воздух, как поднимают за ручку ведро, – и потом на скаку отшвыривали от себя, затаптывали. Ни один из впавших в буйство всадников более не узнавал другого: они кидали своих врагов на землю и кололи их копьями, свесившись ниже голов и грив скачущих галопом коней.

Неистовая, жаждущая крови и убийства орда – перекошенные разинутые рты, задыхающиеся бронхи, напрягшиеся руки, выпученные глаза, взмыленные конские морды – покатилась им навстречу; тысячеголосый лихорадочный вой нависших над их спинами зрителей обрушился на плечи, лишая последних сил. Сверкание мечей, удары молотильных цепов, протяжные стоны пронзенных копьями, топоры, рассекающие воздух, грезящие наяву братья, крестьяне, деловито вершащие ратный труд, хрипы умирающих, ржание коней, бессловесные корчи, железные руки, протягивающиеся от седла к седлу, пот, пыль, кровь перед почти ослепшими глазами, стрелы, летящие со стороны города. У распахнутых окон домов, на крышах, на ступенях «амфитеатра» – безвольные всхлипывания, прерывистое дыхание, короткие вспышки ярости, объятия, неудачные падения. Ибо ни один маньчжурский пленник уже не гарцует на коне.

Кто-то из царей-законодателей, перегнувшись вперед, подал знак. И прямо перед ним, в предыдущем ряду, грянула барабанная дробь, а из черного леса-задника завыли трубы; громоздкие запряженные волами телеги со скрипом двинулись через поле. Потешная битва закончилась. Теперь надлежало заняться уборкой, согнать в один табун разбежавшихся коней.

Прошел час; зрители успокоились. На лица горожан легла печать удовлетворения. Тогда с плоского холма, наподобие театральных подмостков возвышавшегося посреди равнины, зазвучала тихая мирная музыка: мелодия, которая выплеталась свободно, вновь и вновь возвращаясь к своему истоку. Ее старательно

выводили бамбуковые свирели и флейты; в паузах стрекотали цимбалы, звенели бронзовые колокольчики; в качестве сопровождения щелкали кастаньеты. Через некоторое время к музыкантам-мужчинам присоединилась длинная вереница сестер – в дорогих украшениях, с развевающимися красными шнурами, прикрепленными к матерчатым шапочкам; их шелковые наряды шелестели; они размахивали четками и магическими мечами – умиротворяли растревоженных духов поля. Остановившись у подножия холма и отвернувшись от города, они запели под аккомпанемент оркестра.

Все братья, сестры и горожане увлеченно слушали это пение, и в души их проникала сладкая печаль. Музыка захватила всех; мало кто, опуская в восторге глаза, помнил еще о недавнем шуме сражения. Люди разжимали кулаки, устраивались поудобнее, отвернувшись от поля битвы, подпирали руками головы. Бронзовый колокол деликатно отбивал такт.

Потом опять раздались призывные крики, и расслабившиеся было зрители вновь встрепенулись, выпрямились. К холму приближались ряженые. Начиналась новая игра. Сидевшие в «амфитеатре» братья и сестры перешептывались; их слова передавались по рядам вверх: к нам, мол, пожаловали Восемь Бессмертных.

Исполнявшие эти роли братья не особенно тщательно подбирали себе костюмы: некоторые, хотя и прикрыли лица масками, а в руках держали священные эмблемы, остались в своих же поношенных халатах и шли босиком. На холм поднимались старики, с жестяными обручами на головах вместо нимбов.

Седобородый Чжун Лицюань* тащил огромный деревянный меч, конец которого с трудом поддерживали два мальчугана; горбатая старуха обмахивала его нелепым веером размером с раскрытый зонтик. Этот старик когда-то изготовил эликсир бессмертия, потом являлся на земле во многих обличиях, умел ходить по воде; и никогда не расставался со своими волшебными атрибутами – веером и мечом.

За ним шагал Патриарх Люй*, именуемый также Гостем Преисподней; его маска изображала добродушное улыбчивое лицо;

он волок за собой тележку, в которой покачивались низкий стул и подставка с красным полотенцем, фарфоровым тазиком, широким бритвенным ножом.

Дальше следовали Цао Гоцзю* и все остальные. Два последних бессмертных сидели боком на мулах*.

Взойдя на холм, старики встали в кружок и поприветствовали взмахами рук музыкантов, а также всех остальных братьев и сестер; кое-кто из ряженых, чтобы унять дрожь в коленях, уселся на песке.

Радостный ропот со стороны города. Из леса вынырнул изящный экипаж, запряженный жеребенком; в двухколесном кузове, который казался выточенным из цельного куска нефрита, сидел, держа поводья, бородатый карлик; за первым экипажем медленно катился второй, тоже запряженный жеребенком: из кузова-раковины выглядывала маленькая девочка, в руке она беспечно сжимала высокий стебель, напоминающий зеленую водоросль; один длинный лист свисал вниз.

Толпа зашумела, громкое «Ах» прошелестело над рядами зрителей, выпорхнуло из окон, поплыло над крышами: то было растение *чжи*, дарующее бессмертие. Горожане и крестьяне колебались между желанием увидеть редкое зрелище и интересом к тому, как поведут себя братья и сестры в нижних рядах: они понимали, что на площадке разыгрывается действо, непосредственно касающееся их самих, но вместе с тем хотели подкрепить ощущение святости, наблюдая за членами секты.

Для тех же все было подлинной реальностью, а не игрой. Они смеялись и протягивали руки, с нетерпением ждали осуществления своей мечты, и слезы счастья стояли в их глазах. Ведь сами бессмертные махали им с холма!

Теперь музыка прекратилась; и тут же зазвучала снова, но уже по-другому, в стремительном ликующем ритме: к прежним инструментам прибавились барабаны и тарелки. И под этот аккомпанемент со стороны леса приближалась торжественная процессия. Бессчетные глашатаи в желтых куртках, люди с опознавательными знаками, с гонгами в руках. Восемь носильщиков несли украшенный знаменем и изображением дракона паланкин с

плотно задернутыми желтыми занавесями; далее следовали два паланкина поменьше и замыкающий эскорт.

Сама Божественная Матерь, Царица Западной Горы Сиванму возвращалась в свое облачное царство.

Над холмом, над рядами «амфитеатра» повисла тишина; потом всё разом зашелестело, зашумело: зрители – неисчислимое множество – шесть и еще шесть раз коснулись лбами земли.

А шествие Божественной Матери не кончалось. За паланкинами шли ликующие мужчины, женщины; они размахивали красными шнурами; босые, беспорядочно бегали и прыгали вокруг; танцевали, задорно кувыркались на песке, носили друг друга на плечах; мужчины обнимали женщин, брали на руки малышей. Их пение сперва казалось нестройным, неразборчивым; но когда процессия приблизилась, все услышали, что это песни проституток – те самые, которые сестры часто исполняли под цитру, чтобы привлечь внимание крестьян.

В «амфитеатре» братья и сестры внезапно вскочили с мест, толкались, что-то кричали друг другу, показывая пальцами на процессию, выкликали имена – мертвых друзей и подруг, погибших в схватке с бандитами и позже, во время пожара в монастыре. Это были они – их маски; люди узнавали каждого по отдельности; и радостно приветствовали их – а те отвечали, – и звали по именам, и приглашали к себе. Сестры распустили волосы, приветственно махали охапками травы. Братья, не помня себя, закрывали ладонями лица, плакали, обнимая друг друга, скидывали на землю халаты, сандалии, шляпы, чтобы поскорей добежать до участников шествия. А там, внизу, умершие братья и сестры собрались вокруг паланкина Желтой Царицы Западного Рая, которая теперь раздернула занавеси и обращала на все стороны света свое надменное накрашенное лицо.

Чудовищный крик десяти тысяч глоток; глаза всех, кто еще оставался наверху, чуть не вылезли из орбит, люди руками пытались смахнуть пурпурно-красную пелену, застившую – от возбуждения – их взгляд. И боялись вздохнуть.

А в самом хвосте шествия сектанты несли на вытянутых руках что-то, оставлявшее за собой черный кровавый след; другие

братья побежали обратно в лес – и вынесли еще сколько-то неподвижных человеческих тел; с этим жутким грузом они неловко поднимались на холм. То были умирающие и уже умершие добровольцы, которые во время недавнего потешного сражения принесли себя в жертву.

И когда эту страшную ношу, добычу смерти, под музыку и пение опустили перед паланкином Божественной Царицы, которая тут же вышла из носилок; когда музыканты, потеряв самообладание, отбросили инструменты и распростерлись на земле – тогда и Ма Ноу уже не мог более сдерживать своих чувств. Он зарыдал, махнул рукой в сторону холма и побежал вниз по откосу, на равнину. Братья и сестры тоже рванулись со своих мест; в мгновение ока ступени амфитеатра, окна, проемы дверей, крыши городских домов опустели. Люди лавиной устремились вниз, опрокидывая и затаптывая друг друга, но даже не замечая этого. Железную решетку ограждения сломали – просто сорвали с петель всю целиком; после чего братья, сестры и горожане хлынули по напитавшейся кровью равнине к плоскому холму, с неистовыми криками окружили его; как утопающие тянулись они к нему – как утопающие, которые еще надеются вынырнуть из морских волн и увидать нежную улыбку Царицы Западного Рая.

В ТОТ ЖЕ ВОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ на северо-восточной границе крошечного государства произошло еще одно – тяжкое, чреватое мрачными последствиями – событие: победоносный прорыв провинциальной армии.

Ночью сельские жители из приграничной области бежали в столицу. В новом сражении, которое произошло через несколько дней, разрозненные отряды Ма Ноу, занявшие оборонительную позицию у городских стен, были наголову разбиты. Эта битва переросла в штурм, и солдаты императора сумели очистить город от мятежников. Горожане и члены секты вырвались из горящей столицы и, обратившись в беспорядочное бегство, покатились на юг; понеся большие потери, они – в количестве примерно четырех тысяч – добрались до укрепленного города Яньчжоу.

Отчаявшимся беглецам, лишь частично вооруженным, удалось захватить врасплох стражу у ворот, перебить ничего не подозревавший гарнизон – два десятка солдат – и проникнуть в ту часть города, которая, располагаясь внутри городских стен, была отгорожена от остальных кварталов стеной: в остатки древнего монгольского поселения. Здесь и забаррикадировались потерпевшие поражение приверженцы Ма Ноу.

«Священное царство» перестало существовать. Братья и сестры бродили по Нижнему городу, и горожане из симпатии к «расколотым дыням» снабжали их продовольствием, хотя не собирались оказывать им вооруженной поддержки и даже не пускали в свои дома.

В то время как части провинциальной армии продолжали преследовать мятежников и постепенно концентрировались вокруг Яньчжоу, посланцы Ван Луня – продавцы инжира – заявлялись в палатки к военачальникам. Во всех доставленных ими письмах значилось одно и то же: к военачальникам таким-то и таким-то обращается Ван Лунь, предводитель «поистине слабых», которые не принимали участия в последнем мятеже. Он просит на один-два дня прекратить военные действия и встретиться с ним, Ван Лунем из Хуньганцуни, для важных переговоров. Он придет один, без каких-либо провожатых. В качестве опознавательного знака пришлет в палатку, где соберутся военачальники, свой меч: Желтого Скакуна, на клинке которого имеется инкрустация из семи латунных кружочков, а ниже рукояти – выложенный серебряной сканью цветок лотоса. Военачальники показывали друг другу письма, гадали, что́ бы они могли значить, и в конце концов пришли к выводу, что просьбу этого пользующегося дурной славой проходимца нужно удовлетворить, но одновременно позаботиться о том, чтобы, ежели он станет выдвигать слишком дерзкие требования, его на возвратном пути убили. В день переговоров военачальники еще успели получить от некоего важного лица, которому доверяли, предупреждение, чтобы они ни в коем случае не вздумали посягнуть на жизнь этого человека, и настоятельный совет: согласиться с его планом; совет подкреплялся намеком на тайные корпорации, стоящие за спиной Вана.

Четыре военачальника жили в доме сельского старосты недалеко от Яньчжоу; в полдень, как и было обговорено, в бедную сельскую канцелярию им принесли меч, спрятанный в коробе с инжиром, – короб передал привратнику один местный торговец. Примерно через час привратник доложил, что у ворот дожидается оборванный бродяга-солдат, который говорит, будто час назад прислал им свою визитную карточку. Военачальники распорядились, чтобы его пропустили, предварительно проверив, нет ли у него при себе оружия.

Верзила Ван Лунь, не знающий, куда девать руки, казался еще более громоздким в этой тесной комнате, где военачальники сидели за столом как судьи и даже не вышли навстречу своему гостю. Его грубоватое суровое лицо на мгновение осветилось; он прислонился спиной к дверному косяку, прикрыл створки двери и сказал с лукавой усмешкой: «Я, значит, и буду Ван Лунь из Хуньганцуни; а вы, как я понимаю, – военачальники Сына Неба: первый, второй, третий, четвертый. Я приветствую высокочтимых господ. Решив не противоречить желанию Ван Луня, они поступили мудро: ибо высокочтимые господа – всего лишь гости на этой земле, и я, Ван Лунь, весьма сожалею, что не смог их лично встретить, когда они ступили на мою территорию, не смог засвидетельствовать столь уважаемым полководцам мое почтение».

«Садись рядом с нами, Ван, оставь дверь в покое: тут у нас слухачей нет».

«О, я их вовсе и не боюсь: люди, которые подслушивают, – мои братья».

«Ты нам прислал короб с инжиром и вложил туда письмо. Мы тоже написали тебе письмо. Ты передал в качестве опознавательного знака свой меч. Так чего ты хочешь?»

«Выходит, господа военачальники, я не ошибся, думая, что знаю, чего вы хотите. В этом округе. Вы хотите войти в Яньчжоу – хотя фактически уже победили, – изничтожить “расколотых дынь” и моего бывшего брата Ма Ноу, вообще стереть их с лица земли».

«Да, так это и будет еще до новолуния».

«Ван не сомневается в стратегических способностях высокочтимых господ и в боевой выучке их солдат. Более того, он верит в судьбу, которой Ма Ноу бросил вызов и которая теперь неизбежно покарает его. Его, но и вас тоже – десятилетием раньше или десятилетием позже. Так что – вы уничтожите "Расколотую Дыню" и Ма Ноу?»

«Ты уже слышал ответ. Однако любезный господин, сожалеющий, что не мог поприветствовать нас, когда мы пришли в его родные места, еще не объяснил, зачем *он* прислал нам свой меч и письма».

«Вы, значит, уничтожите "расколотых дынь" и Ма Ноу. Они, правда, достойнее вас – и в последующих рождениях будут жить в более совершенных обличьях, чем вы. Но к нашему делу это не относится. Вас пять тысяч, вы хорошо вооружены; они же не прикасаются ни к боевому луку, ни даже к палке или камню. Вам хватит мужества, чтобы убить беззащитных братьев и сестер, хотя они уже стократно и тысячекратно искупили свои прегрешения. Вы хорошо знаете, кто виновен в том, что они захватили монастырь у озера; для столь прекрасно осведомленных господ, разумеется, не осталось тайной и то, кто снарядил банду убийц, которая напала на "расколотых дынь" у Тайханшаня. Военачальники столь высокого ранга знают, конечно, и имя *даотая*, который послал в монастырь, где затворились "расколотые дыни", полицейских и сельские отряды самообороны, чтобы – да, собственно, чтобы что? Ведь братья и сестры ни на кого не нападали. И даже сами подставляли выи под мечи убийц. И в молитвенном зале монастыря они вели себя так, что *чэн-по* добровольно покинул монастырь, снизойдя к их нужде; а вот полицейские, которых *даотай* послал за ними, чтобы ему было легче отчитаться за кровавую бойню у подножия Тайханшаня, предпочли сжечь их живьем. Так что же должно случиться теперь? "Расколотые дыни" оторвались от мятежников этого района; они не вправе были отчаиваться, уж лучше бы дали себя убить, ибо отчаяние притягивает злую судьбу. И им пришлось дорого заплатить за это. Но я думаю – Ван Лунь из Хуньганцуни думает, – что теперь крови уже довольно. Вы достаточно поиграли с

судьбой, мудрые господа. Законы против еретиков не являются основанием для убийств и насилия – не являются *достаточным* основанием. Наша земля мирная, и вы, дорогие гости, ищите себе врагов где хотите, но только не на моей родине!»

«Наш великодушный хозяин, конечно, опирается на большое войско, коли позволяет себе так пренебрежительно говорить о нас, чужаках? Но он все-таки нас переоценивает. В самом деле, кто такие эти ничтожные букашки, сидящие перед ним? Они имеют при себе приказы из столичного военного ведомства, имеют инструкции *цзунду* Чжили. Они охотно одобрили бы все, что предлагает их добросердечный хозяин, который, правда, никак не соблаговолит уважить их, присев с ними рядом. Если бы не эти исписанные листочки бумаги у них в карманах, которые разгоняют кровь по жилам куда сильнее, нежели их собственные живые сердца».

«Господа, как я вижу, совсем не кровожадны, да и Ван Лунь совсем не кровожаден, одни только бумаги кровожадны. Впрочем, как известно, даже бумаги могут быть кровожадными только по отношению к врагам. Значит, когда "Расколотая Дыня" перестанет быть врагом ваших бумажных полосок...»

«Это случится в то мгновение, когда она перестанет существовать».

«Или когда она распадется как союз и станет неотличимой от народа. Для того-то я и посылал к любезным господам моих гонцов с коробами инжира. Позвольте спросить: приказы, лежащие в ваших поясах, повелевают вам что – одержать победу или уничтожить "расколотых дынь"?»

«Согласно нашим бумагам и нашему собственному мнению, это одно и то же».

«Я не сажусь рядом с вами, чтобы вы не подумали, будто я напрашиваюсь в друзья или хочу просить вас о чем-то. Эти две вещи – не одно и то же, чего вы с вашей тонкой проницательностью не можете не понимать. Я не поддерживаю дружеских отношений с "Расколотой Дыней"; но я хотел бы избавить этих несчастных, сбитых с толку своим вождем, от наихудшего – от встречи с вашими солдатами-мясниками, с этими привилегированными

палачами. Братья и сестры должны перестать существовать как целое. Они не достигнут наивысшего блага, ибо позволили увлечь себя на неверный путь. И вы могли бы удовлетвориться этим».

«Откуда Ван Лунь почерпнет силу, чтобы осуществить то, на что намекает? А если он *уже* обладает такой силой, то почему не применил ее раньше? Тогда ему не пришлось бы сетовать на кровавую бойню, на пожар в монастыре, и он не предъявлял бы нам никаких обвинений».

«Я не распоряжаюсь судьбой. И не обещаю вам слишком многого – ничего такого, что превышало бы мои силы: мне лишь кажется, что именно вот в этот момент я мог бы вмешаться в ход событий. Вы посмóтрите, что из этого получится. За три ближайших дня я испытаю свою силу. И потом вновь предстану перед четырьмя высокочтимыми господами, моими дорогими гостями, – встану у этого же дверного косяка и все вам расскажу».

«А до тех пор мы должны воздерживаться от военных действий – ты этого хочешь? Нам говорили, Ван Лунь, что ты обладаешь великой – сверхъестественной, как считают простолюдины, – силой. Мы, опытные солдаты, не прочь были бы узнать, как ее можно использовать при штурме крепости. Я сообщу тебе наше решение. Мы не станем терять из-за тебя время. Это могло бы стоить нам головы, а собственная голова каждому из нас гораздо дороже, нежели Западный Рай. Мы будем стягивать имеющиеся в нашем распоряжении войска вокруг Яньчжоу – до определенного момента, о котором ты узнаешь через два дня; но мы наверняка не начнем штурма крепости прежде, чем закончится третий день. Так что ни ты, ни мы ничего не теряем. Если на четвертый день ты встанешь у этой двери и повторишь нам то, что мы и так знаем, – что ж, это будет для нас хорошим уроком».

«Ван Лунь и не просил большего у высокочтимых господ. Он только хотел бы, чтобы у ворот канцелярии ему вернули меч и короб с инжиром».

Военачальники поднялись, показывая этим, что разговор закончен. Ван на прощание взмахнул длинными ручищами и, перепрыгивая через ступеньки, сбежал с крыльца.

ВОРОТА Монгольского квартала в Яньчжоу днем оставались открытыми около шести двойных часов. Дом Ма Ноу стоял на углу гигантской, заросшей травой рыночной площади. На десятый день их пребывания в Яньчжоу, дождливым осенним вечером, брат-привратник, пригнувшись, заглянул в дверь и крикнул в пустоту оцепеневшего в неподвижности здания, что некий человек хотел бы поговорить с Ма Ноу.

Пройдя в полутемную комнату, Ван бросил на пол соломенную шляпу и соломенную накидку, снял меч, затем поприветствовал поклоном и взмахом рук Ма Ноу, который сидел на табурете и только равнодушно кивнул в ответ.

«Вот я и пришел к тебе, Ма Ноу. Мы не виделись с весны».

«С весны?»

«С весны этого года».

«Ах да, у болота Далоу... На сей раз тебе, чтобы найти меня, не понадобились светляки. На сей раз ты мог довериться своему носу. Мертвые, которые умирали с надеждой на райское блаженство, тоже смердят».

«Когда я гостил у тебя в последний раз, у меня болело колено. Оно зажило. А как обстоят дела у моего гостеприимного хозяина?»

«В точности так, как у всякого, кто направляется на прогулку – правда, не совсем безобидную – и по пути теряет один сгусток крови за другим, одну косточку за другой, один клок шкуры, и еще один, и еще. Возможно, мой гость пожелает теперь спросить, как я себя чувствую? Должен признаться, достаточно приятно и комфортно: потому что иного трудно было бы ожидать, раз уж ты путешествуешь с таким небольшим багажом. Зато ходить – пешком – без груза гораздо легче».

«Вас было много, когда вы двинулись из Шэньтина на юг».

«Потом мы повернули на север. Нас становилось все больше. Я сделался царем государства, бесценные блага которого могла перевесить только его хрупкость. Потом я перебрался сюда. Ты еще не пересчитал носом всех умерших из числа наших братьев и сестер? Мы их хоронили в пяти общих могилах – по двести в каждой. Теперь нас осталось мало. И именно теперь Ван Лунь сидит рядом со мной, сводит счеты».

«Я не свожу никаких счетов, Ма. Не взваливай на меня ответственность за судьбу».

«Как и ты – на меня».

«Тебе, Ма Ноу, виднее. Когда какое-то дерево хочет упасть, его могут и подтолкнуть. Но я не хочу больше говорить об этом перед моим учителем; лучше расскажу о себе, если он позволит. То, о чем я хочу тебе поведать, уже поблекло даже для меня самого и не пробуждает во мне никаких чувств. Ты, впрочем, и сам все знаешь. В странствии от Хуньганцуни до западной части Шаньдуна мне пришлось и голод испытать, и жажду, и претерпеть всякий срам. В Цзинани, большом городе, я, когда служил помощником у бонзы Тоу, и обманывал, и воровал, и совершал другие грехи. Меня гоняли по всему Чжили, ты меня встретил на перевале Наньгу, мне тогда было плохо. Но я переломил себя, и вы мне поклялись: больше мы не пойдем против судьбы; с этим нужно кончать. Что до меня, то я этой цели достиг. Многие испытали в жизни то же, что и я, и думали так же; я помог им принять правильное решение. Вот я и завершил свой рассказ. Ты тогда тоже поклялся своим "незнающим", как ты выразился, сердцем. Но сейчас, когда Ма Ноу сидит передо мной, прикрыв глаза, он уже не выглядит так, будто его сердце чего-то не знает. Так скажи, Ма Ноу, если еще любишь меня, – что теперь будет?»

Ма Ноу отнял руку от глаз и долго смотрел на Ван Луня, придвинувшегося к нему ближе.

«Существует определенная разница между моим другом Ваном – той поры, когда он на перевале Наньгу принял некое решение, – и мною».

«Какая же? Никакой разницы нет. Существует лишь то, что я тогда горячо и от всей души пожелал себе: чтобы кто-то стоял со мной рядом – как мой двойник – и все в жизни мне облегчал. Я сейчас за тебя хватаюсь как за соломинку. И я понимаю тебя. Я – широкий кошель, в который ты можешь бросить, что пожелаешь».

«Мне не нужен широкий кошель».

«Ты мой брат, Ма Ноу. Ты, только ты стал для меня настоящим братом. Как подумаю о Су Гоу: кто он мне, в сравнении с тобой? Ты меня мучаешь, лишаешь воздуха – всякий раз, когда

отворачиваешься от меня. Где, брат Ма Ноу, найдешь ты двух людей, чьи жизненные испытания были бы так похожи, как мои и твои? Если *ты* не нуждаешься во мне, то *я* в тебе нуждаюсь – потому что люблю тебя. И перестань предаваться мрачным мыслям – увы, со мной тоже так было, – и пусть у тебя не дрожат пальцы. Лучше повернись ко мне, брат мой Ма, и посмотри мне в лицо. Я ведь единственный, кто способен выдержать твой взгляд. Я твой гость, и я хочу пробиться к твоему сердцу! *Как* должен я говорить, чтобы ты поверил моим словам? *Что* сделать, чтобы ты мне доверял?»

Ван подсел к Ма Ноу на краешек табурета, обнял Ма за плечи. Ма тоже положил руку на плечо Вана и долго не двигался. Потом произнес глухо, медленно:

«Я и не надеялся, дорогой мой брат Ван, что ты мне доставишь такую радость. Дай собраться с мыслями. Я говорил о разнице между нами – да, о разнице. Я должен объяснить. Тебе тогда было плохо, но, поверь, мне сейчас еще хуже, а ты с тех пор стал счастливее. У тебя есть выбор, ты можешь принять какое-то решение. Я же перешел через этот рубеж. У меня не осталось возможности принять решение. Со мной уже *все произошло.* В этом городе и вокруг него все, что могло случиться, уже случилось. Не хватает лишь внешнего толчка, завершающего жеста, скрепляющей печати. Несущественное – вот то единственное, что еще может произойти».

«Ван Лунь пока не сказал своему брату, зачем он искал его в городе монголов».

«Ты, надо полагать, предлагаешь нам помощь».

«Может, и так, Ма. Я вступил в переговоры с командующими, которые стягивают войска к Яньчжоу и уже окружили вас. В ближайшие три дня ничего серьезного они предпринимать не будут. На эти три дня мне предоставили свободу действий, чтобы я мог договориться с тобой и твоими людьми».

«Я благодарен этой неблагодарной миссии, ибо она привела ко мне моего брата Вана».

«Я не допущу, чтобы палачи-военачальники и кровожадные солдаты набросились на вас и за ваш счет удовлетворяли свою

скотскую жестокость. Вы были моими братьями и сестрами, и я от всего сердца говорю, что сегодня ты опять стал мне братом. Вы не попадете им в руки. Вы только перестанете существовать как союз – это я и вызвался передать тебе, вызвался тебя уговорить. Не гневайся! Ты должен распорядиться, чтобы ударили в колокол, собрали людей, и потом сказать: ужасная судьба так прижала нас, что мы теперь свободны не более, чем сверчки в горшке. Никто посторонний не может судить, правильным ли путем мы шли. Мы шли правильным путем. Но теперь мы должны разделиться и разбрестись в разные стороны, чтобы нас не перерезали как телят. Отпусти их всех: они вздохнут с облегчением, когда ты им это предложишь, и солдаты не помешают им уйти. А что делать тебе, брат Ма Ноу, ты теперь тоже знаешь».

Ма Ноу безмятежно улыбнулся.

«Может, ты сам ударишь в колокол и потом поговоришь с братьями и сестрами?»

«Но они ведь твои приверженцы».

«Уже нет. Сходи на базар, созови их, поговори с ними, это будет тебе уроком. Они теперь не слушают никого, как и я. Они безнадежно... – пропащие. Как и я».

«Ты опустился, Ма. Вы все выглядите вялыми, опустившимися. Я прошу, умоляю тебя, дорогой брат, я бью пред тобой челом: пойди со мной на базар, ударь в колокол, поговори с ними и сошлись на меня. Я вас всех люблю, а что значишь для меня ты, я, наверное, и выразить не могу. Долгие месяцы этого ужасного года я так страдал из-за тебя и так по тебе тосковал, как ни один влюбленный не тоскует по своему возлюбленному. Ты же не повесишь на меня такую беду: если ты отошлешь меня прочь, случится то, что ты и сам знаешь, – это звериное отродье перебьет мягкосердечных, уповающих на лучшее братьев и сестер – разве твои люди подготовились к смерти, Ма, разве они готовы? И еще ты украдешь у меня себя самого: жемчужину моей души. Заставишь меня бродить по этой земле без всякой надежды – у меня ведь и рук не хватит, чтобы приносить вам всем поминальные жертвы. Да не стой же ты так безучастно, будто ты не со мной, хоть раз приди мне на помощь!»

«Как настойчиво ты уговариваешь меня! Какой почет мне оказываешь! Даже когда я был царем моего прекрасного, прекрасного Острова, я не получал таких почестей. Меня очень радует, что ты теперь на моей стороне. Но я, Ван, уже ничего не могу изменить».

«Почему мой брат не может ничего изменить?»

«Сотни и сотни наших убитых не позволяют. И мы все это знаем. Обманутые духи не оставили бы нам ни единого спокойного часа. Если *они* не успели подготовиться – то мы успели. Мы все исправим. Мы позовем их, соберем со всех дорог, возьмем с собой. И мы уже не можем кончить иначе. Я не хочу, чтобы мы кончили иначе. Мы все спаяны в одно кольцо, дорогой мой брат».

Ван, потеряв самообладание, в отчаяньи бросился на землю.

«Что мне сказать о тебе в Западном Раю, Ван? Что ты любил нас, что показал нам путь?»

«Ты ничего не должен там говорить. Ты должен остаться здесь, вы все должны остаться».

«Мы не боимся этих орд».

«Да, но солдаты – !»

Ван приподнялся, в его неподвижных глазах блеснули светлые точки. Он выпрямился во весь рост; тяжело дышал, смотрел в пол.

Потом хрипло выдавил из себя: «Мне пора – ты, возможно, прав. Где мой меч? Куда, дорогой брат, подевал я своего Желтого Скакуна?»

Ма поднял меч, повесил на шею Вану.

«Об этом я там не стану упоминать – что ты повсюду таскаешь с собой Желтого Скакуна».

Они обнялись. Ма все еще улыбался.

«Много ли пройдет времени, прежде чем я увижу в Западном Раю моего любимого брата Вана?»

КОГДА ВАН, выйдя на площадь, оглянулся, ему стало ясно: солдатам наместника Чжили не придется брать штурмом стены Монгольского города.

В темноте он наугад пробирался по улицам, пока не очутился у внешней городской стены; там проскользнул в незапертый дворик разрушенного дома и в каком-то сарае бросился на землю, чтобы немного поспать. Ранним утром, едва закончилась эта кошмарная ночь, он покинул город.

Среди спаянных в одно кольцо жителей погибшего царства, которые укрылись в Монгольском квартале Яньчжоу, было около трехсот крестьян и горожан. Стены и сторожевые башни пришли в плачевное состояние, однако эти люди, призвав на помощь родичей из Нижнего города, спешно заделывали бреши, углубляли и наполняли водой высохшие крепостные рвы, раздобывали луки, стрелы, деревянные щиты и складывали их в башнях. За обшитыми железом воротами, чуть в стороне, они приготовили громадную кучу каменных блоков, доставленных из деревни, которая находилась на расстоянии одного *ли* от Яньчжоу, чтобы в случае штурма забаррикадировать ворота.

Эти работящие, совсем не авантюрного склада мужчины и юноши были охвачены боевым задором, отнюдь не нарочитым, не показным; по сути, у них не было оснований, чтобы позволить запереть себя вместе с сектантами в Яньчжоу, но они все-таки последовали за «расколотыми дынями», движимые особой – благочестивой, если можно так выразиться, – заботой о себе. То, что провинциальные войска преследуют членов союза, казалось им чудовищным; скорая и ужасная гибель виновников этой ситуации – неизбежной. По их мнению, было только вопросом времени, когда именно доведенные до крайности братья и сестры призовут на помощь жуткие подземные силы. Пока это не произошло, лучше не портить отношения с сектантами, а заранее обеспечить себе причастность к их будущему могуществу. Сюда еще прибавлялось сознание важности собственной роли, которое их подстегивало. Они часто обсуждали возможность – если обстоятельства сложатся удачно – воссоздания старого «царства» или обретения нового. Для достижения этой цели оставалось лишь убедить Сына Неба в низости *цзунду* – или добиться широкой народной поддержки. Ибо одно вытекало из другого: если бы, скажем, Сын Неба одобрил деятельность

наместника Чжили, то прорвалась бы наружу та враждебность народа к Чистой Династии, на которую так часто делали ставку тайные общества.

В то время как эти люди – бывшие солевары, возчики, грузчики – возводили каменную кладку, работали лопатами и своим уверенным энтузиазмом обеспечивали союзу сочувствие жителей Нижнего города, братья и сестры понемногу излечивались от страха. Их раны затягивались, лед отчаяния таял. Они вспоминали жестокие удары, которые им нанесли, – и пытались расправить плечи. Они – поскольку не могли покидать свой улей – были обречены на полное бездействие. И сидели на улицах, на площадях, в большом красивом храме Богини Черной Оспы*, около городских стен, где шли ремонтные работы, – ждали. А около полудня и по вечерам собирались вместе на рынке.

Ма Ноу, в простом коричневом халате, стоял перед ними. Неподвижный сутулый человечек с покатым лбом. Они молились. Почитание, граничащее с идолопоклонством, привязывало толпу к Ма Ноу – сильнее канатов. Он казался им наделенным сверхъестественной силой: залогом того, во что они верили. Имя Ван Луня здесь почти забылось; никто не знал, жив ли он еще.

Красавица Лян благополучно пережила бегство. Про себя она уже давно просила прощения у Ма Ноу, за многое. Она пыталась оторвать свои мысли от всего человеческого, стремиться только к божественным вещам. Но каждый раз ей что-то мешало, что-то в ней разверзалось: пустота, стеснение в груди, зевота, тошнота. Она могла думать о божественном только в моменты близости с мужчинами. Могла приблизиться к возвышенному только на таких колесах. Она пробовала стряхнуть странное наваждение, убегала от себя, крутилась вокруг Ма Ноу.

И однажды вспомнила о своей давней жизни в родном городе – с глубоким изумлением, ничего не понимая. Лян поклялась бы, что то была не она. Отец, ребенок, муж виделись ей смутно – образы из книжки с вымышленными историями, если бы не то, что, стоило им всплыть на поверхность, как Лян тут же, не в силах этого вынести, отворачивалась от них. По тянущей боли в зубах, по странному – наподобие бегающих

мурашек – ощущению в нижней челюсти она заранее чувствовала, что они вот-вот появятся.

Еще со времен лагеря у болота Далоу многие братья и чужаки жаждали погружения в нее, и она никогда не отказывалась удовлетворять это их священное право. Ее женственность не была похотливой. Однако после пожара в монастыре, когда она чудом спаслась вместе с Ма Ноу, Лян, повинуясь беспокойному томлению своего тела, стала чаще лежать в объятиях кого-нибудь из братьев и таким образом – хотя бы на время – обеспечивала себе внутреннюю невозмутимость. В городе монголов ее неуравновешенность крайне возросла; она часто вспоминала о недомоганиях после родов, ибо и теперь никак не могла подавить в себе потребность плакать, заламывать руки, непроизвольно стонать и бесцельно бродить вокруг. Она теперь чаще испытывала желание вернуться в родные места, но всякий раз быстро отказывалась от этой мысли. Произносить молитвенную формулу, впадать, как положено, в экстаз – ее тошнило от всего этого; о чем она тысячу раз бесстыдно заявляла: громко, во всеуслышанье – днем, жалобным шепотом – ночью. Ее пробовали лечить целебными напитками, золой, заклинаниями. В конце концов невежественные крестьяне, у которых она жила в те дни, прямо посреди ночи – с лицами, опухшими со сна – потащили вопившую женщину к Ма Ноу. Тому немногими словами и прикосновениями рук – к ее губам, к груди – удалось привести все в норму. Лян преодолела кризис. Совершенно успокоившаяся, бледная и худая, она теперь воспринимала некоторые внешние особенности Ма Ноу – отсутствующий взгляд, привычку прикрывать глаза левой рукой, жадно хватать ртом воздух – как своего рода талисман.

Один из братьев Лю – старший – еще жил. Другой же, всегда во всем сомневавшийся Трешка, во время памятного столичного праздника присоединился, следуя внезапному порыву, к тем братьям, которые позволили маньчжурским пленникам их убить. После этого несчастья старший Лю превратился в записного шута. Но кувшинчик с киноварью он все еще носил на поясе, показывал каждому встречному, посмеиваясь над собой.

Если в каком-то переулке Монгольского квартала вдруг раздавались взрывы хохота, это чаще всего означало, что перед одной из дверей стоит Лю, держа двумя пальцами дохлую крысу или отвалившуюся подошву, и произносит комическую надгробную речь. Или что он раскачивается над улицей, ухватившись за стропила, и развлекает прохожих своими байками. Этот человек не сомневался, что в новом «царстве» все они будут жить еще лучше, чем прежде, и что потом их духи единой могучей стаей воспарят к горнему раю. Он думал, что гонения, коим они подвергались, были обусловлены завистью; императора даже не стоило упрекать в этой зависти, братья и сестры не имели оснований для жалоб: ведь тот, кто идет по темной дороге с зажженным фонарем, сам приманивает разбойников.

В маленьком доме на углу опустевшей рыночной площади сидел Ма Ноу.

Он погрузился в себя. Его высокомерие дудело в медные трубы – с грозной силой, так что сотрясался пол комнаты. Внутри него разворачивалось императорское шуршащее знамя. И Ма совершал обход вокруг этого знамени. Он не подпускал к себе никого, ибо хотел непрерывно слышать шуршащее полотнище. Ван Лунь полагал, будто Ма уже достаточно созрел, дабы осознать преподанный судьбой тяжкий урок. Но ведь судьба не нападала на священнослужителя. Он сам алчно притягивал к себе беду, словно безумец, не умеющий отличить съедобную пищу от яда. И с насмешливой гримасой глотал эту беду, которая – пока – его лично не затрагивала. Он не корчился в муках. Он был самодостаточным мешком с человеческой плотью и наслаждался собой. Вещи, мелькавшие вокруг, не имели в его представлении ни запаха, ни звука. Только на заднем плане маячило что-то значимое: Западный Рай, к которому он тянулся иссохшей рукой. Он продолжал – немилосердно и равнодушно – насыщаться своей виной.

Он будто окаменел. Полотнищем имперского знамени шуршала его гордость. Он был уверен, что Ван Лунь признал его правоту. И что цветущая Земля Четырех Озер за всю свою историю не видела ничего, что могло бы сравниться с «Расколотой Дыней».

И все-таки иногда у него бывали моменты ужасных самоистязаний, когда он разоблачал себя как неудавшегося монаха с острова Путо, как человека, который не знает удержу в экстатических практиках и потому нуждается в контроле со стороны. Он сдирал с себя кожу, обнажал белый клубок нервов, подводил неутешительный итог своей жизни: вечные попытки удержаться на зыбком клочке земли, вечное копание в содержимом собственного черепа с целью найти там какую-то точку опоры – среди человеческих смертей, разрушения целых городов. Он ничего не добился, он лишь увлек за собой людей – увлек к гибели. Остров Путо все еще маячил на горизонте – как крепость, которую он, Ма, так и не сумел захватить. И этот ужасный образ не давал ему покоя. Он сам притянул к себе такую судьбу. И во всем случившемся не было ничего иного, кроме нечистот, гнили, тщеславных умствований. А тысячи людей снаружи – обычные неудачники; что́ значит лишняя тысяча попрошаек или преступников в гигантском людском муравейнике? И он, Ма, такой же, как они: неудачник, который поскользнулся и плюхнулся в выгребную яму, наглотавшись говна по самые бронхи, – это так глупо, так глупо, что даже не вызывает жалости, а только презрительный смех.

Ма Ноу, весь в поту, изводил себя подобными ужасами несколько минут. Потом его руки и колени вздрогнули: снаружи стучали молотки, топал привратник, шипел и потрескивал вспыхнувший в Нижнем городе пожар. Ма тяжело вздохнул, выныривая из мрачного оцепенения, и без особой радости поплелся на рыночную площадь. Там пели сестры. Женщины смотрели на него с благоговением – спокойными доверчивыми глазами. На них уже не было дорогих украшений, свадебных цветочных гирлянд. Скрипки и цитры давно растоптаны в грязи. Девушки, бедняжки, больше не выворачивают наизнанку всю душу, чтобы раскрыться, отдаться целиком: у них ничего не осталось, а ведь опасность еще не предотвращена. Шеи, конечно, у них имеются – и вскоре склонятся под ярмо. Этого требует судьба, и это правильно. Ведь они стали как вода, которая приспосабливается к любому сосуду. Но только, видно, и этого недостаточно, чтобы не умереть, а продолжать жить.

Ма Ноу прошаркал мимо застывших в вялой неподвижности братьев, которые тут же вскочили, обратили к нему глиняные, в мелких трещинках, лица, благоговейно столпились вокруг. Чтó на него нашло – с какими ночными химерами он боролся? Это закабаляющий Путо врезался в его мозг, до сих пор не желает отпускать своего бывшего раба. А ведь здешние братья и сестры идут более строгим путем: тяжким, единственным в своем роде. Им навязали убийственный – ничем не прикрытый – ужас человеческого бытия; и они, не прячась, приняли на себя этот ужас: всё, всё испытали сами, как Сидхарта, наследный принц. Если Западный Рай когда-нибудь раскроет свои врата, то лишь для него, Ма Ноу, и для его людей. Знамя Царственного Великолепия реет над их отрядом. И они стремятся к Вершине со скоростью выпущенных из лука стрел.

Ма присел на выступ стены, ссутулил плечи. Где-то на этой равнине блуждает сейчас Ван Лунь. Человек, потерянный для собственного учения.

А здесь пенятся волны. И люди отдаются им, уже не пытаясь плыть. Здесь торжествует *у-вэй*, «недеяние».

Все навалилось на этот монгольский городок. Знамена против знамен!

Пульс духовности бьется именно здесь.

Они сжимают в руках ключ к Золотым Вратам. Живые человеческие тела неподвижны, как трупы. Достаточно одного дуновения, и они опрокинутся. Ибо тот, кто несет в себе Дао, не хочет видеть, не хочет ощущать вкус, не хочет слышать. Предательски отвергает собственное тело. Воспаряет над ним.

Так и было. Темный, жаркий молитвенный хмель овладел Монгольским городом. Одержимые этим хмелем телесные оболочки недвижимо сидели на улицах – немые, слепые.

НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ после того, как Ван Лунь побывал в Монгольском городе, в одном большом селении, расположенном немного южнее, оба подмастерья аптекаря работали на длинном узком дворе. Старший, стоя у самого крыльца, подбрасывал в железную печурку древесный уголь. Сверху нагревалась

фарфоровая миска. Белый пар выходил через приделанный сбоку носик: медицинская печка, когда дымилась, напоминала увеличенный в размерах чайник. Хилый помощник аптекаря медленно поворачивал красиво круглящийся затылок. У него были толстые отвислые щеки и провалившийся между ними нос. Зато полные губы заметно выделялись на нижней части лица. Этого замкнутого человека хозяин высоко ценил. Подмастерье принадлежал к числу тех приверженцев Ван Луня, которые так и не перешли к бродячей жизни. Его лицо казалось равнодушным, но он невольно выдавал себя всякий раз, когда отрывал флегматичный взгляд от печки: тогда становилось понятно, что в нем происходит упорная, не прекращающаяся умственная работа.

У стены дома младший подмастерье, сидя на табурете и отвернувшись от дыма, равномерно наступал на педаль ножной мельницы: в плоское деревянное корытце сыпались перемолотые в порошок сухие целебные травы.

Старый аптекарь как раз пошел в дом, чтобы принести тонкое волосяное сито – он хотел приготовить из печени зайца питье, помогающее при полнокровии и внезапных приступах гнева, – когда хлопнула калитка и перед медицинской печкой вырос долговязый нищий.

Подмастерье крикнул докучному посетителю, чтобы тот подождал на улице; но нищий уже подошел к нему вплотную, сдвинул назад соломенную шляпу – и успокаивающе положил руку на его плечо, когда он, узнав Вана, хотел склониться в поклоне. Они шепотом обменялись парой слов, после чего назойливый нищий громко поблагодарил подмастерье за медную монетку, которую тот достал из пояса, и пожелал ему всяческой удачи.

Час спустя подмастерье вместе с Ван Лунем уже обошел заросший травой холм и спустился в долину к западу от селения; там Ван оставил его. Аптекарь же ума не мог приложить, куда девался его помощник.

Ландшафт в тех местах болотистый; далее простираются бескрайние торфяные топи. На низких холмах желтели заросли гаоляна, перемежаемые папоротником; дорога на высокий холм

казалась темным коридором, так плотно смыкались по сторонам от нее вечнозеленые дубы. Густой кустарник мешал продвигаться вперед. Здесь начинались «Владения пестрых мальчуганов», как называли этот участок леса из-за обилия разноцветных грибов.

Среди массивных древесных стволов тут и там выглядывало из земли что-то удлиненное и круглящееся, в зеленовато-белой шляпке; изящный белый воротничок неплотно облегал шею; ножка не соприкасалась с разбухшей влажной землей, а была обута в мягкий чехольчик – тонкий кожистый башмачок. Маленький аптекарь, на груди у которого висела синяя сумка, спустился вниз по откосу – туда, где рябило от красных пятен и кичились пурпурным великолепием мухоморы. Их шляпки были покрыты бородавками, белыми горошинками, из которых сочился вязкий полупрозрачный сок. Подмастерье сорвал много таких грибов и побросал их в котомку. Неподалеку в траве светились рыжики; широкими кирпичного цвета шляпами покрывали они свои головы; а к полям были прикреплены коричнево-белые вуальки, выглядевшие так, будто их изорвал ветер. Когда подмастерье переломил ножку такого гриба, наружу выступило склизкое молочко, прилипло к его пальцам. Он набил яйцевидную сумку доверху, так что спереди она даже промокла от сока.

После полудня он вернулся в аптеку и сразу поднялся по лестнице в свою комнату. Потом вместе с товарищем затащил туда же маленькую медицинскую печку и приступил к работе, предварительно закрыв дверь и приоткрыв окно.

В тазик с кипящей водой бросил горсть грибов, порезанных на кусочки; спустя какое-то время, которое он точно отмерял по песочным часам, снял тазик деревянными ухватками и через мелкое сито слил густой коричневатый отвар в деревянную бадью. А оставшиеся на сетке ломтики грибов выбросил во вторую бадью. И опять принес воду в тазике, вскипятил ее, сварил грибной бульон, процедил через сито. Когда все грибы были обработаны, он прямо в бадье раздавил деревянным пестиком оставшиеся кусочки, бросил их в тазик с водой, долго варил и потом опять профильтровал. То, что осталось на сите, затолкал в тонкий мешочек и выжал еще сколько-то жидкости в большую

деревянную бадью с отваром. И потом выбросил волокнистую массу из мешочка в мусорное ведро.

Теперь началась длительная работа с отваром. На маленькой печке и на другой печи, в углу комнаты, где к железной штанге был подвешен котелок, коричневатая жидкость долго выпаривалась. Подмастерье разжег, часто задерживая дыхание, небольшой огонь в печке и под плитой очага; потом, широко распахнув окно, спустился в аптеку и занялся своей обычной работой, смешиванием лечебных снадобий. Время от времени он поднимался наверх, чтобы подлить жидкости из бадьи в тазик и в котелок. Так он возился – то в аптеке внизу, то в своей комнате – всю ночь. Когда отвар стал насыщенным как сироп, подмастерье вылил содержимое котелка в тазик. Только ранним утром, когда помощник аптекаря в последний раз поднялся в свою задымленную и слишком жаркую комнату, содержимое тазика удовлетворило его: отвар теперь был вязким, темно-коричневым, и при помешивании из него вытягивались клейкие нити.

Подмастерье долго рассматривал отвар и принюхивался; потом принес из аптеки мешочек с истолченным древесным углем и немного сухой белой глины, высыпал то и другое в тазик, помешал, сверху плеснул горячей воды и перелил черную жидкость в высокий стеклянный кувшин. Не прошло и часа, как на дне кувшина образовались два слоя – белесый и над ним черный, а еще выше стояла светло-коричневая прозрачная жидкость, которую подмастерье осторожно перелил через деревянный желоб в две тыквенные фляги – два больших пузатых сосуда. Подумав, он разделил их содержимое между шестью маленькими глиняными кувшинчиками, которые плотно закрыл, нанизал на шнурок и повесил себе через плечо. Еще не рассвело, когда на дворе скрипнула калитка. Подмастерье, прихватив кувшинчики, покинул свой дом и селение.

В то время как помощник аптекаря неторопливо собирал грибы во «Владениях пестрых мальчуганов», у северных и западных ворот Яньчжоу, в Нижнем городе, не прекращалось оживленное движение. Длинные вереницы тачек, пешие торговцы с женами и детьми, крытые повозки, телега, явно проделавшая не ближний

путь. Гудящие трубы, удары в гонг: на какое-то время проход оказался перекрыт – медленно вплывал в ворота зеленый паланкин, сопровождаемый большой свитой; это высокопоставленный чиновник возвращался с прогулки, которую он предпринял, чтобы подышать прекрасным осенним воздухом. Привратники короткими дубинками разгоняли полуголых подростков, которые бежали вслед за свитой чиновника, выпрашивая подаяние.

Еще до полудня прошла через ворота компания торговцев, по-кошачьи изогнувших спины перед привратником с алебардой. В городе, миновав пару улиц, они разделились.

Один нес в руках подобие маленькой виселицы с подвязанными к ней шнурами для заплетания косичек; грудь у него была обмотана куском голубого полотна, на котором черными иероглифами прославлялись преимущества этих «надежнейших шнурков».

Еще двое продавали – под треск деревянных кастаньет – жевательные пластины из смеси бетеля и орешков, которые доставали из висевших у них на груди коробов и разламывали на кусочки.

Остальные торговцы тащили ведра с нарциссами.

Позже все они встретились в одной уютной харчевне рядом с заведением, выдававшим напрокат паланкины и свадебную утварь; уселись за одним столом. К ним присоединился долговязый, немного сутулый человек с плохо выбритой головой; свой колоколообразный деревянный короб, на котором были намалеваны черные локоны, задвинул под стол: он торговал человеческими волосами. Это был Ван Лунь.

Из фарфорового кувшина всем налили в плоские пиалы *катанпан*, горячий бульон. Когда подавали теплые пирожки, Ван и торговец шнурками поднялись из-за стола. Они смешались с завсегдатаями, теснившимися у прохода на кухню, и вежливо с ними беседовали: интересовались возможностями сбыта своих товаров, расспрашивали о других промыслах и гильдиях. Ван вспомнил о старом друге – водоносе, который когда-то неплохо зарабатывал в этом городе, а позже переселился в Пекин и сменил профессию: стал выдавать напрокат лодки; Ван, между прочим, спросил, в каком квартале живут здешние водоносы и где

можно поговорить с кем-нибудь из них. После того, как Ван и торговец шнурками выяснили, что водоносы обычно встречаются в харчевне, которая находится за два дома отсюда, они распрощались со своими приятелями и направились туда.

В этой второй харчевне было тихо, потому что около полудня у водоносов всегда самая запарка. Ван и его товарищ уселись за столик посреди залы, наслаждались мясными паштетами и запивали их слабым чаем. Любезный хозяин подошел к ним, осведомился, как идут дела, и поблагодарил за честь, которую они ему оказали, посетив его заведение.

Хозяин еще не успел отойти, как один из постоянных клиентов уже ввалился в зал, топая по половицам, а за ним вошли трое других. Они хлопали в ладоши, шлепали друг друга по плечам: из-за того, что приходилось все время держать конскую уздечку, у них окоченели пальцы. Хозяин хотел было рассадить гостей, но тут Ван, как и подобает чужаку, поднялся, представил себя и своего товарища, предложил водоносам сесть за его столик; и как бы между прочим заговорил о своем друге, которого никто из них не знал; только один смутно помнил, что действительно слышал когда-то о водоносе, который стал владельцем лодочной станции – не то в Пекине, не то в его окрестностях; но все это было очень давно. В ходе беседы оба чужака, люди явно бывалые, подробно расспрашивали о правилах, регулирующих продажу воды в этом городе, и о том, не зависят ли заработки водоносов от места, в котором идет торговля. Им ответили, что да, естественно, зависят: работать в некоторых кварталах – чистое наказание; к примеру, те десять человек, что сегодня обслуживали Верхний город, где источников вообще нет, от усталости еле стоят на ногах, их лошади вот-вот скопытятся, а выручка где? Водоносы, каждые два дня сменяя друг друга, все-таки ходят туда, потому что тамошний народ невероятно беден; не оставлять же их умирать от жажды – хотя, с другой стороны, чиновники из городской управы уже пустили слух, что для водоносов их благотворительность может закончиться плохо.

Ван был рад узнать, что двое из его новых знакомых входят как раз в группу водоносов, которой выпало обслуживать

Монгольский город в тот день и на следующий. Он и торговец шнурами увязались за этими двумя, когда те со своими конными повозками отправились к обнесенному каменной оградой колодцу и гигантскими ведрами стали черпать из него воду. Восемь других повозок, уже нагруженные, со скрипом катились вниз по улице. Ван выпытал имена и адреса других «дежурных» водоносов и объяснил, пока наблюдал за работой, что все-таки находит такой промысел более приятным и спокойным по сравнению с собственным хлопотным ремеслом: ведь сам он вынужден препираться с каждым цирюльником, не говоря уже о спесивых заказчицах, «окутанных дымкой цветах»*, у которых, как ни заявишься к ним за своими денежками, и медной монетки не сыщется – они, мол, все потратили на лакомства. У него из головы нейдет тот удачливый приятель, владелец лодочной станции в Пекине. И вот они с теперешним закадычным другом решили тоже стать водоносами; а для начала хотели бы испытать себя – попробовать поработать один день: вдруг им только мерещится, что у них все получится.

Оба водоноса только посмеялись над таким предложением: а кто же оплатит им убытки за этот день ученичества?

Он сам и оплатит, кто же еще, сказал Ван: они, ежели пойдут ему навстречу и помогут советами, никакого урона не понесут; если они согласятся – что было бы с их стороны исключительной любезностью по отношению к нему, ничтожному горемыке, – то он заплатит им сумму, равную усредненной дневной выручке; но только они должны понимать, что он человек бедный и деньги лопатой не гребет. Просто он уверен, что не останется в проигрыше, что их заработки понадежнее, чем у него.

После долгих препирательств Ван таки договорился с ними; они предложили ему связаться с восемью остальными водоносами, обслуживающими в эти два дня – почти задаром – Монгольский город. Те просветят Вана и его земляка насчет технических деталей работы, кормления лошадей, расположения конюшен; но сперва пусть он внесет сумму, соответствующую их общему дневному заработку в Нижнем городе – именно в Нижнем; и целиком возьмет на себя завтрашнее водоснабжение Монгольского

города. Он будет отвечать за любое повреждение повозки или сбруи, за порчу лошадей. Эта договоренность, естественно, вступит в силу лишь в том случае, если согласятся восемь других водоносов.

Ван еще поторговался насчет цены, потому что его несколько смущало требование возмещения ущерба: а вдруг ему подсунут телегу-развалюху и потом заставят ее оплачивать?

Водоносы, которые уже собирались трогаться, были неумолимы. Вану и его другу пришлось уступить. Когда телега завернула за угол, Ван услышал громогласный хохот: это его новые деловые партнеры потешались над облапошенными деревенскими дурнями.

Переговоры с остальными восемью возчиками прошли достаточно гладко; только каждый из них выдвигал все новые дополнительные препятствия – чтобы мужичье не заметило обмана. Но один старик наотрез отказался участвовать в сделке. Он заявил, что хочет и дальше спокойно заниматься тем делом, которым привык зарабатывать на жизнь; а с бедняками в Верхнем городе он успел подружиться, его даже радует, что он может навещать их, не возбуждая подозрений полиции. Тем не менее, Ван, встретившись вечером в харчевне с семью водоносами, выложил обговоренную сумму целиком, без всяких вычетов. И с воодушевлением заявил, что уже сейчас промысел водоноса начинает доставлять ему удовольствие; а кстати, доходы можно бы и увеличить: скажем, если бы гильдия взяла на себя сооружение новых колодцев или аренду тех, что принадлежат частным лицам. Ленивым проходимцам эта идея понравилась.

Ван еще до закрытия ворот в одиночестве покинул город; короб он оставил в харчевне. Была ночь полнолуния. За городскими стенами раскинулась равнина; на белесой, лишенной растительности плоскости даже маленькие холмики отбрасывали резкие тени. У линии горизонта тянулся сосновый бор, луна освещала только верхушки деревьев.

Когда ночной сторож возвестил барабанным боем начало второй стражи, крестьяне, охранявшие Монгольский город, заметили странное мерцание; оно перемещалось вдоль опушки

леса. Потом в полосу лунного света ступил человек; трое часовых опознали в нем – по шляпе и блеснувшему мечу – Ван Луня.

Они стали перекрикиваться, показывая на него пальцем – его фигура очень отчетливо выделялась на светлом фоне, – и безумно радовались. Ведь он здесь; он наконец добрался до них. На него можно положиться. «Белый Лотос», выходит, тоже с ними. Кто-то побежал – рассказать о случившемся – в сторожевую башню. Это действительно был Ван Лунь, в одиночестве сидевший у опушки леса, напротив Монгольского города; прошло много времени, прежде чем меч сверкнул еще раз, и Ван нырнул обратно в черную чащу – мгновенно, будто сосновый бор проглотил его.

Когда Ван, которому не спалось, прогулялся по застывшему в мертвой тишине лесу и, ощущая смутное беспокойство, опять повернул в сторону города, он увидел – ибо тонкие стволы не закрывали обзора, – что по дороге вдоль кромки леса скачет всадник, а за ним следуют двое других. Ван в темноте пошел им навстречу, и по одежде всадников понял: один из них был полковником провинциальных войск, а двое других – его слугами. Все трое медленно двигались мимо Монгольского города. Там, где часть дороги, по которой теперь ступали лошади, петляла между деревьями, Ван неожиданно шагнул навстречу сухопарому полковнику с висячими усами и короткой бородкой – и спросил, не соблаговолит ли тот объяснить, как пройти к такому-то селу.

Полковник показал рукой на юго-восток. Ван продолжал идти рядом с гнедым жеребцом; полковник придержал коня и поинтересовался, не нужно ли незнакомцу еще чего-нибудь.

Не отрывая глаз от земли, Ван попросил, чтобы господин младший военачальник приказал слугам на минутку оставить их наедине, и тогда он – Ван – задаст один вопрос.

Всадник спокойно отослал слуг и в темноте наклонился к Вану, чтобы получше его рассмотреть.

Ван спросил, что́ полковник здесь делает: ведь на весь следующий день и еще несколько часов военные действия приостановлены, и его собеседник, как обладатель шапки с сапфиром, не может этого не знать.

Тут долговязый всадник спрыгнул с коня и пристально посмотрел на человека в огромной соломенной шляпе и соломенной же накидке, которую тот придерживал на груди. А что он сам здесь делает, спросил в свою очередь полковник; и кто рассказал ему о перемирии? Уж не стражник ли он – осажденных?

Ван опять поклонился, сказал: «Да»; и распахнул накидку, так что стал виден висевший на груди меч. Он – друг Ма Ноу, предводителя осажденных; близкий друг.

Полковник взглянул ему в лицо и заговорил очень тихо: «Ты не друг Ма Ноу. Друзья Ма Ноу не имеют мечей».

«Их не имели прежние друзья Ма».

«И с каких это пор чужой воин стал близким другом Ма?»

«С тех пор, как погиб Остров Расколотой Дыни. Я присоединился к ним во время их бегства».

«И что же, у Ма теперь много таких друзей, которые носят мечи?»

«У него вообще осталось немного друзей».

Полковник медленно пошел с Ваном назад по дороге, отдал поводья коня одному из слуг; выйдя из тени, они прислонились к двум сосновым стволам, молча стояли друг против друга. Желтая соломенная накидка Вана сверкала в лунном свете; на поясе очень медлительного и спокойного армейского командира подрагивала золотая парадная сабля.

«Если ты и вправду страж и друг Ма Ноу, то, прошу, расскажи мне о нем – расскажи, как идут дела там в Монгольском городе, что делает и что говорит Ма, кто теперь его доверенные советчики».

«А что, господин младший военачальник с пантерой на нагруднике* не считает себя врагом “расколотых дынь”?»

«Меня зовут Хай, я командую кавалерийским полком. Но еще пару месяцев назад я не носил нагрудника с вышитой пантерой. Я был таким же, как ты, был одним из братьев, одним из тех, кто сейчас по ту сторону стены. Из-за моей манеры говорить они называли меня Желтым Колоколом. Ты, может быть, слышал это имя?»

«Нет, не слышал. Большинство тех, кто тебя знал, мертвы. А другие, как и ты, нас покинули».

Желтый Колокол печально улыбнулся, повернул большую голову к стене, по верху которой двигались черные точки – часовые.

«Я ушел не из страха; но об этом я не буду с тобой говорить, потому что ты еще остаешься их братом, остался им в такое скверное время. Я хотел бы услышать от тебя, как дела у Ма Ноу, какие настроения сейчас в городе».

«Говори что хочешь. Ты не собьешь меня с толку. Мы спокойны, неколебимо спокойны».

Желтый Колокол безотчетно и радостно дотронулся до груди Вана: «Вы спокойны, правда? О, как хорошо, как я благодарен тебе, незнакомец, за эти слова! Вы не оплакиваете свою участь, не считаете, что обречены на гибель? Это хорошо. Я ведь прискакал сюда только потому, что надеялся услышать что-то подобное. Ма Ноу, значит, не упивается ненавистью и ни на кого не гневается...»

«Если ты был нашим братом, то знаешь: судьба против нас бессильна. Ваши войска или кто-то еще не могут причинить нам зла».

«Вы, ясное дело, говорите то же, что прежде. Но чтобы Ма Ноу не гневался! И не противился!»

«Ты опять стал солдатом. Ты не веришь в наши драгоценные принципы».

«Я верил в них раньше. И верю до сих пор. Не смотри на меня так. Я бы не прискакал сюда среди ночи, если бы между Ма и мною уже не было никакой связи. Ма Ноу – убийца "Расколотой Дыни", в этом я уверен. Я был с ним рядом в те дни, когда он стал убийцей. Ему пришлось бы дольше и загодя готовиться к тому, чтобы сохранить жизнь всем братьям и сестрам, если бы он не дал сбить себя с толку этим сумасшедшим солеварам. Он был высокомерным и тщеславным, носил – в своем духе – боевой лук со стрелами и меч; он вовсе не был "поистине слабым", не был настоящим братом из чудной "Расколотой Дыни". Поэтому я и оставил его – ибо нуждался в очищении и мире для моего духа. Но это все не относится к делу».

«Хищный зверь на твоем нагруднике не кажется мирным».

«Как и висящий у тебя на груди меч. И все же мы оба стоим сейчас на краю этой равнины и смотрим на залитый лунным светом Монгольский город – отнюдь не с враждебными чувствами. Я – сам по себе – не изменился. Но Желтый Колокол звучит теперь в иной, чем прежде, тональности».

«Похоже, что так. Но, похоже, и песня у тебя уже не прежняя».

«Желтый Колокол видел пожар в монастыре: сестры тогда заперлись в кумирнях и сгорели живьем; братьям отрубали головы и кисти рук. Невозможно подготовиться к смерти за одну ночь, ни даже за один год; я думаю, для этого потребна долгая жизнь. А вся наша молодая поросль была скошена напрасно: тонкие, глубоко чувствующие, сильные братья и сестры лишились своих ду́хов, лишились таким образом – я все время об этом думаю, я не в силах избавиться от подобных мыслей, – будто их умертвили случайно; именно случайно и именно умертвили, как если бы я здесь и сейчас был неожиданно умерщвлен тобою – только потому, что ты носишь меч без ножен, и я не успел бы бросить поводья и выхватить клинок. Через такую смерть они ничего не обрели. Но я теперь ношу с собой саблю».

«Зачем? Против кого? Твоя сабелька смехотворна. Ты мог бы оставить ее в сундуке с фамильными реликвиями, куда в свое время положил. Ни один из ваших не обнажит клинка, пока я тут. Не улыбайся: говорю тебе, все так и будет. Против кого хочешь ты употребить свою сабельку?» Ван схватился за ножны.

«Не против Ма Ноу, вопреки тому, что ты думаешь. Он-то и сам вскоре умрет – случайно. И Лян Ли тоже. Горе мне!»

«Против кого же тогда человек с пантерой на нагруднике обратит свою саблю?»

Желтый Колокол боролся с собой. Он отвернулся и смотрел теперь в сторону леса. «Против маньчжуров, которым я сейчас служу, – ради тех, по ту сторону стены, которых ты охраняешь и которых всех через два-три дня сбросят в общую могилу. Но я рад, что ты рассказал мне о них такие хорошие вещи. Все это не было неизбежным – то, что с ними случилось...»

«Судьба всегда неизбежна, Желтый Колокол, брат мой!»

«Если увидишь Ма Ноу, не рассказывай ему обо мне. Не рассказывай обо мне никому».

«Нам пора расходиться. Твои слуги уже направляются сюда. Куда ты пойдешь, когда оставишь лагерь маньчжуров?»

«Мы собираем людей, войска, много оружия. Нам не дано войти в Западный Рай; нашему поколению – нет, дорогой брат. Я хочу разыскать Ван Луня, который будто бы носит, как и ты, меч. Только это поможет, а более ничто. То, что ты, одиночка, вооружен мечом, уже ничего не даст. Не сердись, если я думаю иначе, чем ты. Ты волен вернуться в осажденный город или бежать из него, как поступил я».

«Где стоит твой полк? Я запомню».

«Под Пекином. О, дорогой брат, каким прекрасным путем идут наши сестры и братья, которые там, за стеной! Я ни о чем не молюсь так горячо, как о том, чтобы они нашли дорогу к Яшмовому озеру и чтобы Царственная Матерь* приняла их. Лунный свет такой яркий. Пусть же они легко найдут дорогу. Пусть их переправа будет легкой!»

Желтый Колокол отступил за ствол дерева. Они с Ваном обменялись поклонами, каждый дотронулся до плеча другого.

И Ван, не находя сна, опять принялся бродить между соснами.

В СЕРЫХ предрассветных сумерках товарищи Вана выкатили двухколесные повозки из сараев владельцев, сдававших их напрокат, запрягли лошадей и направились к колодцу. Поскольку старого упрямого водоноса так и не удалось убедить устроить себе однодневную передышку, двое помощников Вана схватили этого человека, когда он еще затемно выходил из дома, заткнули ему рот паклей, замотали его в коровью шкуру, отвезли на украденной тележке в стоявший на отшибе полуразрушенный дом и бросили в одной из дальних комнат.

При первой утренней ездке в Монгольский город водоносы сопровождали своих «учеников», но потом разбрелись по домам и питейным заведениям. Отсутствие старика не бросилось им в глаза, поскольку этот чудак и прежде работал нерегулярно.

День был теплым. Ближе к вечеру товарищи Вана, похоже, забеспокоились, не протухли ли остатки воды в чанах, которые

стояли открытыми на двухколесных повозках. Они обходили вокруг опустевших емкостей, похлопывали их по стенкам, нагибались и заглядывали внутрь – незаметно выливая на влажное дно содержимое своих фляжек.

И потом ужасный караван «поистине слабых», возглавляемый Ваном, совершил последний круг по Монгольскому городу; с опустевшими чанами они выехали через ворота, которые тут же за их спиной закрылись. Они быстро сполоснули и вымыли чаны, вернули телеги владельцам. Один из них побежал в дом, где лежал старый водонос, и прорезал дырку в коровьей шкуре, чтобы беспомощный пленник сумел освободиться.

На городских стенах, среди вооруженных защитников Ма Ноу, до вечера продолжалась оживленная деятельность. Там были уверены, что Ван Лунь уже спешит им на помощь с могучим войском; о численности этого войска спорили, однако никто не сомневался: оно было огромным, гораздо больше той армии, которую собрал своими силами *цзунду* провинции. У подножья стены, в черте Монгольского города, вооруженные приверженцы Ма Ноу соорудили хижины, разобрав близлежащие деревянные дома, в которых они чувствовали себя неуютно. Повсюду громоздились кучи строительного мусора, обожженных кирпичей; люди выкопали глубокие канавы, в которые напускали воду, когда могли достать ее, – чтобы месить глину. Ситник и тростник складывали пластами – в высокие стога – на прилегающих улицах. Это сено использовали, подмешивая в глину, чтобы заделывать бреши в стенах. В тот вечер на строительной площадке царил невероятный шум. Громадную брешь, которую раньше из-за недостатка времени лишь поверхностно залатали, восстановив внешний ряд кирпичной кладки, теперь предстояло заполнить по-настоящему. Ее на всю глубину стены забили камнями, песком и глиной, соломой. Ворота в Нижний город заперли на засов и дополнительно укрепили поперечными штангами. Горожане забаррикадировали ворота и со своей стороны, чтобы сражение между провинциальными войсками и осажденными не выплеснулось за пределы Верхнего города.

Даже в сумерках люди продолжали копошиться, мешая друг другу. Их трудовой пыл нисколько не уменьшился. Полуголые, в туго подпоясанных штанах, они подбегали к большой дыре в стене, и каждый норовил засунуть туда хоть маленькую охапку тростника. Кто-то кричал, что, мол, другой слишком бережет свои силы; а тот, оскорбленный, показывал на вязанку, лежащую у него на плечах: разве этого недостаточно? Они таскали деревянные корыта с кое-как наваленными сверху чудовищными грудами камней – и эти камни лавинами обрушивались на их головы или ноги. Но они опять принимались за работу – их силы казались неисчерпаемыми, – и падали, и вновь поднимались, не обращая внимания на кровоточащие ссадины.

Один из трудившихся на стене подсобных рабочих, видимо, устал – и прилепил на горб долговязому каменщику комок глины. Уже около часа эти двое мирно болтали и подсмеивались над погонщиком мулов, который утром вместо сушеных фиников привез в Нижний город мешки, наполненные песком; только добравшись до рыночной площади, он понял, что по пути его хитроумно обокрали. Теперь, когда каменщик обернулся, его приветствовал взрыв хохота из двадцати глоток. Люди катались по земле, отползали в сторону, чтобы помассировать лопающийся от смеха живот, сучили ногами, не могли успокоиться. Другие трясли приставные лестницы, кричали: «Нет, вы только взгляните на него! Взгляните!» И изрекали какие-то глупости насчет его странно одутловатого лица, раздувшегося носа.

Долговязый тупо уставился на напарника – в прошлом столяра, – ощупал нос и стал проклинать луковицы, которые друг подложил ему в бобовую похлебку: из-за них-то, мол, у него и распухла физиономия. В подтверждение своих слов он наградил столяра, на которого напал приступ икоты, тумаком в пах.

Тот от полученного удара согнулся пополам; и двое приятелей, сцепившись, начали драться. Сперва их подзадоривали; но когда оба, увлекшись потасовкой, чуть не сверзились со стены, зрители быстро растащили их в стороны, крича: «Тут требуется компетентное решение! Пусть предстанут перед судом! Пусть изложат свои претензии! К судье! К судье!»

И спустились вниз по приставным лестницам, как будто в Монгольском городе для них существовал суд.

По пути через близлежащие переулки толпа увеличилась. Шествие сопровождалось пронзительными криками, ибо его участники потеряли всякое представление об уместной громкости голосов. Некоторые волокли за собой балки. И, хотя шедшие сзади спотыкались о них, не выпускали из рук – а потом неожиданно бросали, даже не заметив этого. Другие тащили на плечах пустые деревянные корыта, напрягали изо всех сил отвердевшие мускулы, жаловались, что остальные слишком спешат, что за ними невозможно угнаться.

Двое пожилых рабочих, загорелые и до пояса обнаженные, на углу улицы ощупывали брошенные там балки. Одна из балок упала на плоский камень. Работяги посмеивались, осматривая ее с противоположных концов; потом оказалось, что они стоят рядом, их руки соприкоснулись, они осторожно уселись верхом на деревяшку и стали раскачиваться, то и дело обмениваясь поклонами и патетическими пожеланиями счастья. Оба настаивали, что надо с радостью принимать изменившиеся обстоятельства, оба свалились с доски, когда хотели в знак единодушия взмахнуть руками, и теперь лежали на мостовой крест-накрест, наперебой извиняясь за неосторожность и поглаживая друг друга по коленкам.

В толпе, которая каждый раз, попадая на площадь, рассредоточивалась, нарастало замешательство. Кое-кого охватила необузданная веселость. Один бывший сковородочник, напротив, впал в беспричинную ярость. Он говорил, что больше не хочет идти со всеми. Что, мол, Лю – это злой демон, который раздвоился: один Лю шагает по той стороне улицы, вдоль домов, а другой – рядом с ним. И оба время от времени встречаются, а потом вновь расходятся, расплываются как пловцы в воде. Те, что шли впереди, услышав жалобы сковородочника, повернули назад, окружили его, хрипло бурчали что-то себе под нос, нерешительно его обнимали.

Некий молодой человек протиснулся между ними, проревел: «Этот хмырь – мошенник! Он сам выкидывает подобные

фокусы. Разве вы не видали? Он стоит здесь, а потом, не успеешь и глазом моргнуть, – уже сидит на крыше. Так чего же он придирается к старине Лю?» Самые любопытные прищурили глаза, заставили Лю и сковородочника встать рядом. Кое-кто, широко расставив ноги, рассматривал этих двоих через сложенные трубочкой пальцы, а потом переводил взгляд на крышу. Между тем, большинство зрителей уже утратило интерес к этой сцене; нетвердо держась на ногах и удовлетворенно перешептываясь, они побрели вслед за основной частью процессии, которая направлялась к большому рынку.

Однако до рынка никто так и не дошел. Участники шествия давно позабыли, чего они, собственно, хотят. Люди останавливались, искали что-то в щелях между булыжниками мостовой. Кряхтели, сонно облизывали пальцы, складывали руки на груди. Их головы безвольно качались, запрокидывались назад.

Люди, работавшие на других участках стены, вернулись в город еще раньше. У них было странное ощущение в легких. И их знобило от жара под кожей, который то разгорался, то снова угасал. Кровь ударяла им в голову. А те́ла они вообще не чувствовали. Они шагали так осторожно, словно боялись наступить соломенными сандалиями на битое стекло; и каждый раз, прежде чем поставить стопу, касались земли вытянутым носком – кончиками пальцев. Без обуви они чувствовали себя увереннее. И потому многие семенили по-гусиному, балансируя раскинутыми руками с зажатыми в них сандалиями.

По мере продвижения к центру города они все чаще натыкались на распростертые человеческие тела; и тогда взмахами рук предупреждали друг друга о препятствии, по несколько раз безуспешно пытались обойти лежащего. А тот хрипел, поджав колени к груди, со страдальчески нахмуренным лбом.

Возле некоторых домов стояли как бы вросшие в землю люди. Стояли, прислонившись к столбам крыльца, с посиневшими губами. Им казалось, будто из их груди кто-то с силой выдернул дыхание. Из их глоток вырывались стоны, сипение, свист – как из кузнечных мехов. Другие братья неуверенно укладывали свои тела на скамьи: все зрительные образы – дома, люди, темное

небо – кружились вокруг них в едином спиралеобразном вихре; земля же, наоборот, проваливалась, превращаясь в гигантскую перевернутую шляпу с остроконечной тульей. Готовясь к прыжку, они сбрасывали с себя одежду и, задыхаясь, беспомощно ждали, что́ будет дальше. Их ребра круглились наподобие гнутых пряжек; устремляясь в полет, они фыркали, не в силах сдержать смеха.

Сотни людей прятались в закоулках домов, в коридорах, под столами, ибо что-то стискивало их кишки, селезенку, желудок – и потом опять отпускало. Будто над ними работал, во все убыстряющемся ритме, давильный пресс. И они выхаркивали желтую желчь, их кишечник извергал свое содержимое, тужился, чтобы извергнуться самому. Их лица удлинялись. Перед глазами пробегали вереницы зеленых зверей: слева направо; а потом вся стая поворачивалась и бежала в обратном направлении: справа налево.

Люди, шатаясь, брели к воротам, к городской стене. Но, поднимаясь по приставным лестницам, они попадали ногами мимо перекладин, тщетно пытались высвободиться и в конечном итоге срывались вниз, опрокидывая лестницу на себя. Одному удалось-таки вскарабкаться вверх. Его товарищи слышали, как он сделал несколько неуверенных шагов, потом сверзился в ров с наружной стороны стены и еще некоторое время слабо повизгивал.

Непроглядная ночь. Многие обливаются потом. Крохотное колесико крутится перед ними, делается все шире – это игольное ушко́, кротовая норка, пещера. Они закатывают глаза, они застряли в одной из колесных спиц.

В закрытых комнатах братья вздрагивали от криков, которые врывались к ним с улицы, от стука упавших тел. Они сидели на корточках, нахохлившись. Но вдруг, тяжело дыша, оглядывались, будто услышали некий зов, с трудом поднимались на ноги, пытались удержать в вертикальном положении верхнюю часть туловища, которая все норовила обмякнуть, осесть: «Солдаты идут! Все потеряно! Ван с его несметным войском разбит!» Они собирались с силами, чтобы противостоять страшной тишине в углах комнаты, швыряли в эту тишину стулья, пригнув головы, выбегали из дверей, на свободу, в темных переулках наталкивались

на себе подобных. Случалось, что двое вдруг начинали с остервенением душить друг друга. А потом оба, отчаявшись, оглашали окрестности хриплыми стонами. В своих грезах они продолжали размахивать топорами – на самом же деле только месили густую грязь, которая сочилась у них между пальцами.

На плоских, почти соприкасающихся между собою кровлях некоторые братья и сестры пели. Они пели о Великой Переправе. Их руки приводили в движение воображаемые молитвенные колокольчики. И они проповедовали друг другу. Кричали о сияющих Вершинах Мира, для них отчетливо зримых: они ведь были уже совсем близко от этих вершин. И когда один из них слышал вопли на другой стороне улицы, то вздыхал: «Брат!», и слезы восторга струились по его щекам. Они устремлялись в полет – и их черепа раскалывались о камни мостовой, и, падая, они иногда добивали какого-нибудь умирающего.

Ночь шла своим чередом, и многим – в переулках, в землянках, под крышами – мерещилось, будто что-то светлое, белое, прохладное овевает их затылки. Но стоило им обернуться, как на них набрасывался незримый демон: вскрик – и что-то с дрожью внедрялось в их тело, приводя его в такое немыслимое напряжение, что, казалось, ноги, руки, голова вот-вот растянутся, а потом и вовсе оторвутся от туловища. И затем это «что-то» заставляло болтаться их руки и ноги, мяло их плоть, будто она была податливым сдобным тестом. Когда борьба прекращалась и измученные жертвы, обливаясь потом, приходили в себя, они кричали о трусости напавшего на них демона. Мол, пусть попробует сразиться с ними еще раз, пусть не прячется! Они оглядывались вокруг, пялились остекленевшими глазами в пространство, с презрением плевались. И – демон возвращался. Одним рывком вновь овладевал ими. Они начинали подпрыгивать: широко расставляли ноги, потом, со скоростью камня, выпущенного из катапульты, вновь сдвигали их вместе. В какой-то момент от чрезмерного напряжения их сухожилия делались жесткими как железо, и судорога уже не отпускала, перекрывала выход гневу. А если и отпускала, то все равно эти люди еще долго как-то апатично помаргивали и даже забывали дышать.

Когда с наступлением вечера шум ремонтных работ в Монгольском квартале не прекратился, ночные сторожа из Нижнего города спешно подвезли на телегах, запряженных волами, тяжелые деревянные колоды и свалили их у ворот, ведущих в Верхний город. Горожане не хотели пускать к себе никого из осажденных. А с той стороны уже колотили в ворота.

Неистовый шум по ту сторону стены с каждым мгновением нарастал; казалось, еще немного – и «расколотые дыни» переполошат весь Нижний город.

И три ночных сторожа стали кружить, выбивая барабанную дробь, по улицам, разбудили сотню бывших солдат провинциальной армии, рассеянных по разным кварталам, но еще хранивших свое оружие: пусть, мол, они соберутся, чтобы помешать прорыву сектантов – которые, видимо, только что подверглись атаке императорских войск – в Нижний город. Когда прибежавшие солдаты поднялись на сторожевые башни, равнина за городской стеной, до самого соснового бора, лежала пустая и недвижная, в тусклом свете выглянувшей из-за облаков луны; на улицах Монгольского города царила полная тьма, но в этой тьме клокотали тысячеголосые крики, визг и плач. Очевидно, неприятель уже овладел этой частью города. Но странное дело: не было слышно ни звона холодного оружия, ни свиста стрел; и ни один дом, похоже, не горел.

А люди там, тем не менее, неистовствовали. И теперь уже не осталось сомнений, что злые демоны, которых братья и сестры до сих пор держали в узде, в конце концов вырвались на свободу и набросились на самих сектантов. Сторожа Нижнего города разбудили священнослужителей и бонз.

Было слышно, как с той стороны к воротам приставляют лестницы; и как глухо шмякаются о землю человеческие тела.

Вдруг над верхней кромкой ворот вынырнули – почти вплотную одна к другой – две перекошенные отечные физиономии, обе с пеной на губах, как у взмыленных лошадей. Священнослужители тотчас принялись раскачивать бронзовые курильницы, махать кадилами и трясти хлопушками в эти лица. Сверху на головы сторожей закапала кровь – и они в ужасе отшатнулись. Бонзы

осветили тех двоих наверху, уже высунувшихся по пояс, факелами. Внезапно один из них наклонился и с грохотом упал вниз. Другой немелодично проорал что-то, задрав голову к ночному небу, потом навалился волосатой грудью на верхнюю перекладину ворот; но тут, видно, лестница, на которой он стоял, опрокинулась, и он как мешок стал заваливаться назад; руки все еще цеплялись за перекладину; солдаты обрубили ему пальцы; он тяжело плюхнулся вниз по ту сторону ворот и еще долго что-то жалобно лепетал.

Ни один из жителей Нижнего города в ту ночь не отважился даже носа высунуть за дверь. К утру крики почти прекратились. Лишь иногда раздавались отдельные пронзительные вопли. Всю последнюю ночную стражу из одного дома на улице, параллельной стене с воротами, доносился тоскующий девичий голос: эта сестра пела куплеты похабной песни, а в промежутках между ними звала кого-то, выкликала мужские имена, стонала.

На рассвете следующего, ужасного, дня распахнулись внешние городские ворота. Торговцы, огородники, бесчисленные тележки заполнили улицы; вышли на работу и водоносы. Несколько повозок остановилось у ворот Монгольского города. Слуги расчищали проход для зеленого паланкина *даотая*. Командир отряда, сформированного ночью из бывших провинциальных солдат, – длинный как жердь начальник караульной службы – отдал приказ открыть ворота. Горожане разобрали завал из чурбанов, отодрали поперечные балки; солдаты навалились на створки ворот.

В то мгновение, когда эти створки, наконец, приоткрылись, сверху рухнул кусок кирпичной кладки и засыпал проход толстым слоем пыли. Пришлось с усилием толкать обе створки, потом еще взламывать внутренний поперечный засов, и лишь тогда оказалось возможным проникнуть внутрь.

Осажденные, как выяснилось, еще до наступления ночи соорудили дополнительный барьер из тяжелого железного бруса, оба конца которого были вмурованы в каменную кладку; на нем повисла, перегнувшись вперед, целая вереница людей; когда брус приподняли, эти тела обрушились – лицами вниз – под ноги тем,

кто желал войти в город. Некоторые еще не успели испустить дух и слабыми голосами что-то просили у горожан. Солдаты двинулись дальше. На углу улицы стояли, обнявшись, две девушки, голова одной из них склонилась на плечо другой; когда руки той, что обхватила свою подругу за бедра, разжали, обе они упали на землю. То тут, то там еще раздували щеки, хватая воздух, последние умирающие – с длинными промежутками между вдохами. Более чем в двадцати домах на лестницах обнаружили скорченных в лужах крови женщин: эти несчастные в судорогах разрешались от родовых мук, в судорогах же выдирали из себя пуповину и детское место – все они скончались от кровотечения.

На крыльце одного дома на рыночной площади билась в истерике молодая женщина с нарциссами в волосах; она кричала: «Меня зовут Лян Ли; я хочу к отцу, в Шэньтин!» Когда ее за ноги стащили вниз, она еще несколько мгновений сопротивлялась и потом умерла.

Солдаты ворвались в тот дом. В углу пустой комнаты, у очага, сидел на корточках тщедушный человек. Когда солдаты заметили его, он что-то бурчал себе под нос.

С трудом разомкнув веки и с видимым напряжением удерживая в равновесии голову, он воззрился на них. К уголкам его рта прилипла засохшая слюна. Губы были безжизненно-желтыми; скулы обтянуты лоснящейся, воскового оттенка кожей; на висках – впадины. Хриплый, гнусавый голос: «Значит, она уже здесь: Божественная Матерь». Он улыбнулся гордо, как приказывающий.

Солдат, вошедший в комнату первым, узнал в нем главаря мятежников и сразу прикусил клочок красной бумаги, чтобы этот демон не причинил ему вреда. Сперва он острым концом стрелы дотронулся до лица Ма Ноу, оставив на губах и на подбородке кровоточащий след. Ма нахмурил лоб, выпрямился, опираясь о стену, прохрипел как-то по-звериному: «Чур меня, чур!», после чего с перекошенным от гнева и страха лицом качнулся вперед. Солдат подхватил его и, повалив на дощатый пол, придушил перед печкой.

КНИГА ТРЕТЬЯ
ВЛАДЫКА ЖЕЛТОЙ ЗЕМЛИ

ЦЯНЬЛУН, великий император, который получил мировую империю от вечно возрождающейся природы и от Неба, возвращался из северных степей, от своих охот и «погружений», обратно в Мукден*.

Он опять видел необозримые монгольские ландшафты. Всего несколько дней назад глубокую тишину этих мест нарушили посланники, доставившие ему дань. Тигры выбегали из лесов. С недельными промежутками приходили письма: царевичи и высокопоставленные чиновники заверяли сына Неба в своей преданности и осведомлялись о его здоровье.

Постаревшего императора сопровождала совсем небольшая свита: две сотни всадников его личной гвардии – один маньчжурский полк; и сколько-то доверенных чиновников, друзей, рабов; наконец, оркестр из лучших музыкантов. Император охотился в пограничном районе Монголии, на высокогорье к востоку от Калгана*. Светлый прохладный воздух, свободные широкие степи, горные ущелья, разрывающие целостность воспринимаемой глазом картины. В корытообразной долине у города Цинъюаньфу он остановился. Жилища там были пещерного типа, высеченные в лёссовых склонах, – с комнатами, сводами, коридорами*. На почти голой равнине паслись гнедые, с густой шерстью лошади. Шли враскачку верблюды, нагруженные тюками с чаем. Кочевники жили в просторных круглых юртах из войлока. Завидев издали императора, плосколицые меднокожие монголы в одеждах с пестрыми украшениями падали ниц.

На границе к императорскому каравану присоединился командующий пограничными войсками в красной отороченной мехом шапке и с красным воротником. Потом они миновали последние отроги Большого Хингана и спустились к Мукдену.

Император смотрел на все отчужденным взглядом, его лицо сохраняло пугающе холодное выражение. Меж высокими ивами

теперь замелькали диковинные группы домов. После долгих блужданий по извивам горных дорог император и его свита оказались на невысоком холме и увидали лиственные деревья, женщин со стрелами и живыми цветами в волосах. С восьми башен мукденской крепостной стены грянули пушечные выстрелы. Караван двигался по прямым улицам города, сопровождаемый монголами на низких лошадках, пока среди обычных городских домов не показались желтые блестящие крыши. Дворец императора – Цяньлун оставался здесь пять дней.

В осеннем парке на берегу озера император, один, сидел на табурете, держа на коленях зеленые листья салата. Перед ним спала чудовищных размеров черепаха*.

Ее спинной щит был черного цвета, с желтыми бороздками. Широкая средняя часть панциря делилась глубокими зарубками на пластинки. Массивные передние конечности выпрастывались в стороны, как плавники у рыбы, и пальцы напоминали шпеньки, забитые в эти лапы. Задние конечности черепаха втянула под панцирь. Император, в черном шелковом халате и черной шелковой шапке без всяких украшений, постучал по спине животного толстой еловой веткой, на которой висели шишки.

И тогда из-под панциря высунулась серая ороговевшая голова – удивительная бесстрастная голова на морщинистой шее, покрытой чем-то вроде сухой рыбьей чешуи. Как у ожившей царской мумии: медленно вытягивалась поблекшая шея, с насмешливой невозмутимостью поворачивался треугольный череп. Равномерно и уверенно, как рубанок, заработали челюсти. Ноздри – будто пробитые сверлом. А с боков – лишенные век, неподвижные, умные (мудрые) глаза: окна охладевшего разума.

Медленно приподнимается с одной стороны щит, опять опускается, толчком передвинувшись вперед. Это – трудная поступь сообразительного, но страдающего от подагры дряхлого старика, который приподнимает зад и, не сгибая колена, волочит по земле больную ногу, одновременно медленно поворачиваясь всем телом на другой. Передние «плавники» – справа, слева - помогают телу «плыть»: отталкиваясь. Панцирь оседает, из-под него показываются длинные задние конечности,

включаются в работу. Сопение, едва слышные шорохи вырываются из будто пробитых сверлильщиком ноздрей. И опять зад приподнимается, подволакиваются вперед передние лапы. Это – все равно что карабкаться по плоской поверхности.

Император сидел на табурете, так и не выпустив из рук еловую ветку. Он хотел бы следовать за черепахой, подражая ее движениям, – об этом сейчас и размышлял. Проползая мимо, она, казалось, скосила на него глаза. Он соскользнул с табурета как раз на то место, куда показывал конец ветки, опустился на колени позади животного, которое удалялось от него по направлению к пруду. И, сам не зная почему, отвесил черепахе поклон.

Очень медленно – так пожелал Цяньлун – караван двинулся дальше. Обширные песчаные пустоши чередовались с арбузными бахчами. Река Ляохэ перекатывала свои кашицеобразные – черные с зелеными прожилками – водные массы. Все ждали два дня, пока прибудет постаревший чиновник, начальник речного сообщения из Нюцзюаня, чтобы совершить жертвоприношение для духа реки, – и только после этого решились доверить волнам паром с погруженным в свои мысли императором.

Люди из близкого окружения знали, что император периодически страдает от тяжелейших приступов апатии и вялой расслабленности. Такие приступы начались у него уже в преклонном возрасте. Когда они случались, с Цяньлуном – вообще очень энергичным, полностью владеющим собой человеком – приходилось возиться как с малым ребенком: вести его за руку, усаживать. Лицо великого государя – пока караван беззвучно преодолевал большой отрезок пути по дороге от Синьлитуня – пугало невероятным отсутствием какой бы то ни было воли, безжизненностью черт, тупостью взгляда. Он выпятил губы, бурчал что-то нечленораздельное. Когда песчаная дорога стала неровной и восемь носильщиков замедлили шаг, дверца паланкина открылась изнутри, император вылез и, не обращая внимания на изумленно оглянувшихся передних носильщиков, заковылял рядом со старым алебардщиком, который его не узнал. Церемониймейстеры в ужасе выпрыгнули из своих носилок, забежав вперед, упали перед ним ниц и хотели за руки проводить обратно к паланкину – тут

он пошатнулся, с трудом разомкнул набухшие веки и вопросительно на них посмотрел. Глаза его слезились. Прежде чем он снова сел в паланкин, они отерли ему слюну с седой бороды. И дальше пошли пешком, рядом с его паланкином. Перейдя через реку Далинхэ, они ступили на территорию императорских пастбищ. С высоких сторожевых башен в центре Цзиньчжоу грянули приветственные пушечные выстрелы.

Местные чиновники ждали их у ворот. И распростерлись в пыли перед обмякшим телом императора. Его состояние несколько улучшилось, когда кортеж приблизился к Великой Белой Стене. Императора охватило легкое возбуждение. Он много ел, отказывался лежать в паланкине, рвал цветы, которые росли у обочины. Распорядился, чтобы ехали быстрее. Когда сопровождающие спрашивали о его самочувствии, ничего не отвечал, только досадливо взмахивал веером. В один из тех дней он в полубессознательном состоянии залез на гнейсовую плиту, лежавшую у дороги, и упал с нее. И, тем не менее, его реакции были теперь более осмысленными, он смотрел на крестьян, работавших в поле, один раз даже послал за своим походным библиотекарем, но потом отпустил его, так ни о чем и не спросив. Все радовались, что взгляд императора вновь стал ледяным и пронизывающим.

Веял теплый ветерок. Цяньлун раздвинул занавеси желтого паланкина. Ближе к вечеру перед императорским паланкином неторопливо шагали, прогуливаясь, начальник ведомства церемоний Сун и главный евнух Ху Чао. Сун, сутулый человек с морщинистым личиком, носил очки в роговой оправе и напрасно, щуря глаза, пытался рассмотреть красоты ландшафта, которые восторженно описывал ему Ху. Упитанный толстощекий Ху, увлекшись своим описанием, часто хватал достойного Суна за руку и пожимал ее, чтобы по крайней мере таким способом дать своему другу почувствовать всю прелесть этого момента.

Они болтали о том, как тонко один молодой, начинающий входить в моду поэт сумел передать меланхолию серебряных тополей, и о паре удавшихся ему интересных строф на традиционную тему: лунный свет, скользящий по поверхности пруда.

Ху, хотя и не получил столь блестящего образования, как академик Сун, принялся расхваливать строгую форму этого стихотворения и чудесные, отчасти изобретенные самим поэтом иероглифы, которыми оно было записано. Друзья вдыхали сильный, пропитанный навозом запах полей.

Вдруг рядом потянуло изысканным ароматом. И зашуршал шелк. Между ними вынырнул среднего роста крепкий человек, который, когда они хотели броситься ниц, удержал обоих за косички и, приобняв за плечи, пошел с ними. Тихий и жесткий голос Цяньлуна звучал теперь вперемешку с размеренным фальцетом Суна и довольным гундосым гудением толстяка Ху.

Император улыбнулся, когда друзья смущенно переглянулись, ибо он подхватил нить их приватной беседы: «Не разговаривайте на улицах – есть такая поговорка между четырьмя озерами, – потому что под булыжниками имеются уши. Досточтимый Ху только что восхищался чудесными иероглифами, которыми молодой поэт записал свое стихотворение. А я вот несколько месяцев назад, в Пекине, имел удовольствие беседовать с одним проповедником веры в Иисуса. И оказалось, что рыжеволосые народы – гораздо бóльшие варвары, чем мы себе представляем. Их посланцы многое мне рассказывали в обычной для них торгашеской манере; в том числе и о своих поэтах. Представляете, эти господа пишут, как им на ум взбредет! Каллиграфия для их поэзии вообще не имеет значения. Поэтом может стать даже неграмотный крестьянин».

«Но это же смехотворно, августейший повелитель! – возмутился седой Сун. – Я, ничтожный муравей, сказал бы, что они просто босяки! И как им только хватает наглости, чтобы хвалиться перед нами своими так называемыми поэтами!»

«Сиятельный Сун, кажется, читал что-то из написанного мною...»

«Всё, августейший повелитель».

«Ну, так уж и всё... Я не люблю, когда мне льстят. Досточтимый Ху тоже кое-что читал?»

Ху почувствовал себя неуютно; он, конечно, легко воодушевлялся, при случае охотно разыгрывал из себя истинного

ценителя искусств и мецената, однако его знание конкретных произведений оставляло желать лучшего.

«Осел, к которому вы, великий владыка, обратились, и вправду читал кое-что из того, что вышло из-под императорской кисточки...»

«Но, как видно, не понял – я, Ху, тебя вовсе не упрекаю. И не собираюсь экзаменовать. Речь совсем о другом. Представьте себе: крестьянка – похожая на вон ту – бросает в землю белые зерна; за ней мальчик катит тележку с удобрениями. Жаворонки поют, осень. И нет как будто никакого повода, чтобы запечатлеть это мгновение в стихотворении; оно просто наличествует – и не может быть превзойдено. Но, допустим, я поддамся искушению, захочу его воспеть; тем самым я приму на себя обязательство – по отношению к этой реальности».

«Очень тонко подмечено, августейший повелитель».

«Я еще не закончил, сиятельный Сун. Обязательство обходиться с духом этого мгновения почтительно и бережно, принести ему жертву, как положено приносить жертвы порождениям земли. Так мыслю я себе поэтическое искусство, когда сижу в своем кабинете. Я, ничтожное дитя человеческое, сижу в кабинете – а дух мгновения, которое я хочу почтить, жил пять дней назад: и это две разные вещи. Я приношу жертву небесному духу, как принято среди богатых людей, и потому прилагаю все усилия, чтобы духу восхваляемого мною мгновения жертва понравилась. Какой-нибудь крестьянин или нищий на это не способен; да и поклоняются такие люди другим духам. Итак, я должен выбрать самую красивую, самую мягкую бумагу; и приготовить красную и черную тушь самых насыщенных тонов. Только теперь я начинаю рисовать иероглифы. Это совсем не сообщения, хотя они могут служить и для сообщений; это округлые, исполненные смысла образы, отклики на книги мудрецов; каждый знак красив сам по себе, и они красиво соотносятся друг с другом. Такие образы суть крошечные души, к существованию коих причастна и бумага».

«Замечательно, августейший повелитель, – прошелестел Сун. – Я, недостойный глупец, тоже слышал от нашего придворного астронома, португальца, что на Западе люди пишут

буквально так, как воспринимают слова на слух. Что, конечно, удобно, но примитивно. Однако, если величайшему государю угодно, я желал бы высказать ему одну просьбу...»

«Сиятельный Сун?»

«Да будет мне позволено вернуться в мой паланкин или, еще лучше, отдохнуть в палатке здесь на лугу, чтобы еще некоторое время послушать рассуждения августейшего повелителя, пока повелитель оказывает мне такую милость. Дело в том, что старые ноги раба августейшего повелителя стали совсем плохими».

Цяньлун кивнул, и министр отдал короткое распоряжение двум шедшим впереди копейщикам; гигантская процессия остановилась. Пока на лугу слуги разбивали желтую походную палатку императора, а копейщики очищали близлежащее поле от крестьян, сам Цяньлун, стоявший напротив тяжелобрюхого Ху и министра, чье умное лицо обнаруживало явные признаки усталости, вдруг бессильно уронил руки и вздохнул.

Однако оба высокопоставленных чиновника, в это мгновение смущенно переглянувшиеся, были не правы, предположив, будто Цяньлун вспомнил о Пекине и вздохнул оттого, что ему не терпелось вернуться в столицу.

Император, напротив, пожелал продлить путешествие еще на два дня.

Отсрочка возвращения обрадовала всю свиту.

Сын Неба демонстрировал теперь, пусть и на свой особый лад, совершенную гибкость движений – и всем, кто его сопровождал, это зрелище, от которого они успели отвыкнуть, придало бодрости. Император часами дискутировал то с Суном, чью ученость чрезвычайно ценил, то с грубоватым военачальником Агуем, которого когда-то лично произвел из простого солдата в полковники. Находчивость Агуя действовала на него освежающе; нелепые и забавные выходки этого невежественного мужлана служили источником удовольствия для всего императорского двора.

Пройдя вдоль реки Чаохэ, они перешли по серому каменному мосту Байхэ. За селением Нюланшань свернули к западу, на другую, специальную дорогу, которая вела к горам северо-западнее столицы, где располагались императорские загородные дворцы*.

В Пекине, в северной части Маньчжурского города, заранее расчищали и выравнивали улицы, по которым должен был проследовать императорский кортеж; проходы в боковые переулки заколачивали раскрашенными досками; окрестным жителям и солдатам в день приезда императора под страхом смерти запрещалось до полудня покидать дома и казармы: об этом кричали глашатаи, под звуки гонгов и под барабанную дробь. Поскольку астрологи из свиты императора не смогли вовремя вычислить благоприятный час для прибытия в Пурпурный город, это прибытие задерживалось; путешествующее общество провело целый день в северо-западных горах, и тамошние селяне имели счастье слушать чудную музыку придворного оркестра, который все это время почти непрерывно играл над чистейшим озером Куньминьху*.

На горе Ваньшоушань, в рощах белоствольных елей, император провел последний день перед возвращением домой; прежде, чем стемнело, он спустился к восточному берегу озера; по мраморному мосту с семнадцатью пролетами добрался до маленького острова, украшенного храмом, в который мог входить только он один; молча встречала его бронзовая корова. В этом храме император говорил со своими предками*.

Водяная клепсидра показывала двойной час дракона, когда – на следующее утро – императорский кортеж миновал селение Хайдянь. По мощеной дороге они приблизились к Дианьмэнь, северным воротам Императорского города. Когда Сын Неба узрел пурпурные стены*, начинался двойной час змеи.

Из всех царевичей только Цзяцин*, сын Цяньлуна от старшей императрицы*, имел право сопровождать императора в прогулках по садам Пурпурного города. Император в тот день казался необычайно оживленным, под огромным кипарисом он остановился и заговорил со своим неповоротливым сыном, переросшим его на голову. У царевича, хотя он еще не преодолел рубеж сорокалетия, было обрюзгшее, все в складках, лицо – раздавшаяся вширь глыба плоти, – на котором не находилось места для улыбки. Когда этот высокий человек с массивным, круглым затылком радовался, вокруг его маленького упругого рта возникало подобие мерцающей ряби: зазмеившиеся было

морщинки отбрасывались назад неподвижными щеками, и потому улыбка как бы трепетала на крошечном островке вокруг губ. Тяжелые веки нависали над глазами. Левый глаз приоткрывался лишь чуть-чуть. Царевич отличался болезненной бледностью. Облик, характер его высочества не поддавались определению; да никто и не мог претендовать на то, что по-настоящему близок к любимому сыну императора: Цзяцину даже простое присутствие рядом с ним людей из его окружения (за очень немногими исключениями) внушало страх. Сейчас царевич нерешительно и равнодушно слушал отца. Он чувствовал к отцу такого рода привязанность, будто тот был благословенным даром, к которому не присматриваются, но с благодарностью принимают. Они беседовали о беспорядках среди мусульман. Цзяцин, по своему желанию и по желанию императора, отказался от возведения вольеров для животных и птиц. Изумрудно-переливчатый павлин расхаживал по мраморным перилам белого мостика*. Легчайший ветерок морщил отражение этого моста на темной поверхности воды. А еще – слегка приподнимал подол желтого императорского одеяния и шевелил золотые кисти на поясе Цзяцина.

Уже ближайшая ночь принесла в Пурпурный город кратковременные дожди и прохладу. Желтый Владыка позволил себе два дня отдыха. Он сидел в колонном зале своих личных покоев*, играл в «выбрасывание пальцев»*. Туда же поставили его низкий письменный стол из литого золота. Столешница покоилась на спине слона, массивные ноги которого служили для нее опорами*; Цяньлун любил зачитывать свои стихи вслух, обращаясь к длиннолицему Богу Литературы*, статуэтка которого стояла перед изящной маленькой пагодой в центре стола, и к складкам занавеса. Агуй, его «шут», простодушный и храбрый служака, сидел напротив императора на дощечке черного дерева. Коротконогий крепыш с квадратным лицом и прочным затылком. Агуй никогда не терял уравновешенности: его можно было бы заставить неподвижно стоять в углу, а через некоторое время вновь вызвать оттуда – и он вел бы себя так, словно ничего особенного не случилось. Его неотесанные манеры, хриплый

смех, грубоватая речь считались при дворе как бы санкционированными и даже культивировались. Но он сам, казалось, не сознавал этого, расстраивался всякий раз, когда невольно нарушал этикет, и, пытаясь проявлять осторожность, делал себя еще более смешным. Он, бывший крестьянин, играл в «выбрасывание пальцев» виртуозно – лучше, чем сам Цяньлун. Придворные поговаривали, будто Агуй не просто скуп и жаден, но, хуже того, ненадежен; будто он – интриган и доносчик, лишь притворяющийся эдаким славным увальнем. Правда, подобные слухи легко связывались с любым человеком, которому удавалось выдвинуться при дворе; Агуй же очень хорошо зарекомендовал себя в трудном походе против народности мяо*, что не давало покоя его противникам. Когда капризный старый государь предлагал Агую сразиться в шахматы или заняться другой подобной игрой, элегантные и высокообразованные придворные, которые в это время, например, запускали с террасы для рыбной ловли бумажного дракона, только посмеивались: им казалось, император всего лишь развлекается с глупым «шутом», всерьез же принадлежит только им. Однако на самом деле император в равной мере «принадлежал» и им, завсегдатаям рыболовной террасы, и Агую, и многим другим: для своей жизни он нуждался в разных вещах и людях, но всегда скользил *мимо* них.

Утром второго дня через полуденные ворота* проскакал Чжаохуэй – и в Зале Высшего Согласия* трижды три раза пал к ногам Цяньлуна. Желтый Владыка вскочил в седло, выехал через западные Ворота Цветов*, умеренной рысью – в сопровождении Чжаохуэя – миновал три озера и поднялся на встретившую его птичьим многоголосием Угольную гору*. Стройный и гибкий Чжаохуэй славился не только своими несравненными заслугами в походе против джунгаров*, живших за северо-западными границами империи, хотя никто не забыл этих подвигов, совершенных элегантным военачальником в зеленой долине Или: худощавое лицо Чжаохуэя продубили снежные бури; его маленькие изящные уши слышали больше предсмертных криков, чем уши любого из его современников. И все-таки Чжаохуэй, получивший почетный титул «страж пекинских ворот»,

человек, которого после победы над джунгарами император лично встречал у входа в летний дворец с чашкой чая в руках, прославился еще и благодаря своей законной супруге. Ее стихи, ее проникнутую бурной чувственностью и вместе с тем сдержанную прозу часто читал сам Цяньлун. Ее звали Хайтан; она была дочерью бывшего военного губернатора провинции Аньхуй. Когда эти двое поженились, они получили в дар от императора обширные плодородные земли в Сяохэ, к югу от реки Янцзы; там, у канала, под теплым небом, ученые мужи воспевали ум и красоту Хайтан, ее высокую образованность, неукротимость ее натуры. Чжаохуэю подчинялись пользующиеся дурной славой ветераны джунгарской войны, в свое время огнем и мечом опустошившие долину Или; власти не отваживались распустить эту армию солдат-убийц – и она стояла лагерем в Чжили, считаясь своего рода резервной гвардией.

Два дня все наслаждались боями птиц – петухов и перепелов, а также катанием на прудах с лотосами. И только Цзяцин, наследник престола, в одиночестве бродил по берегу; он никогда не садился в лодку, ибо не терпел присутствия рядом с ним гребцов; и если его приглашали покататься, отвечал характерным для него жестом: протестующе выставлял перед грудью обе ладони; такое приглашение уже само по себе портило царевичу настроение, и дома его приходилось успокаивать, обтирая ему лицо и шею шелковым платком.

А потом Желтого Владыку накрыли тяжелые покрывала древней традиции. Он с головой окунулся в ужасающую ответственность, в чуть ли не божественные прерогативы, связанные с его высоким рангом. Он ни в малейшей частности не нарушал строгих ритуалов. Ибо без освященного временем ритуала мир рассыпался бы: земля оказалась бы брошенной, люди ополчились бы друг против друга, воздушные духи – впали в неистовство, а Небеса – свернулись как свиток; и началась бы борьба всего со всем. Связь с Небом и преисподней необходимо постоянно поддерживать. Древняя эпоха и ее блистательный цветок, Конфуций, знали, что через каждое движение обычной, повседневной жизни должна течь кровь небес – ибо нет такой малости, которая

была бы незначимой. Поэтому Цяньлун не уклонялся от утомительных церемоний. Но не считал это своей заслугой, а почитал за счастье быть носителем особых – не зависящих от других людей, внушающих страх – функций.

Когда в дни перед жертвоприношением Небу он постился и на его неподвижном лице остро посверкивали глаза, все – и слуги, и священнослужители, и ближайшее окружение – знали, что этот человек ничего не делает только для видимости. Ему хватало единственного взгляда, чтобы обнаружить механическое, рутинное в *их* действиях. Цяньлун молился по-настоящему, с ужасающей серьезностью – как и подобает Сыну Неба.

Пасмурным осенним утром Желтого Владыку понесли в паланкине к Храму Предков*. Когда он поднимался на последнюю ступень, на платформу – на расстоянии ладони от императора – откуда-то сверху упал и разбился вдребезги камень. Смущенный дурным предзнаменованием, император все-таки приблизился к табличкам духов умерших предков и помолился им. Позже, когда Цяньлун вернулся в свои личные покои, приближенные видели, как он в рассеянности мерил шагами комнату. Предки были для императора тяжким бременем; они немилосердно карали его. Чем старше становился этот горячий и беспокойный человек, тем отчетливее сознавал, что не достоин своих предков. Его лихорадило от ужасной ответственности, обусловленной уже одним тем, что он, Цяньлун, родился наследником престола.

В тот несчастливый день ему должны были представить отчет о взятии Монгольского города и гибели Ма Ноу. Совсем не подавать отчет или подать его позднее придворные не могли, поскольку поступившие от наместника бумаги уже прошли регистрацию. Астролог, к которому обратились за истолкованием инцидента, провозившись с вычислениями целый двойной час, сообщил, что упавший камень – обломок метеорита; мрачный как туча государь на это сообщение никак не отреагировал. Поскольку до истечения дня император непременно должен был подписать все документы, заместитель председателя государственного совета обратился за помощью к Цзяцину. Тот, хотя и раздраженный малодушием высокопоставленных чиновников, взял это

дело на себя. Отчет *цзунду* (наместника Чжили) ничего не утаивал: он содержал краткую информацию о военной акции, предпринятой против остатков секты; далее описывались осада Яньчжоу, последняя позиция войск, с перечислением имен военачальников, и ситуация, с которой армия столкнулась, войдя в Монгольский квартал: а именно, тот факт, что все его жители оказались мертвыми; наместник обвинял в убийстве сектантов Ван Луня, но упоминал и о слухах, согласно которым причиной гибели стольких людей были демоны.

Цзяцин, у которого от прочитанного побежали по спине мурашки, покачивал свиток на ладони. Будь он императором, уже на следующий день наместник Чжили и все участвовавшие в операции военачальники, а также доставившие послание курьеры были бы казнены. Царевич распорядился, чтобы во второй половине дня для доклада перед Желтым Владыкой явились чиновники, ответственные за издание энциклопедии*, и в том числе умница Куй, всегда находивший способ увлечь императора. Когда чиновники собрались на рыболовной террасе, первым сделал доклад заместитель председателя государственного совета – о приготовлениях к новой войне с Бирмой; Цяньлун заинтересованно задавал вопросы; от имени приближенных выступил Куй. А после него – Цзяцин. Император, все еще раздумывая над приведенной Куем цитатой, машинально поставил под документом свою красную подпись. Из соседнего музыкального павильона, здания с тремя крышами, доносилось пение мальчиков, смешиваясь с пением двух хоров, расположившихся в лодках на озере. Внезапно император рассеянно передвинул фарфоровую вазу из «голубого семейства»*; он хотел спросить Куя о чем-то еще. Потом: передумал; потому что сам уже понял содержащуюся в цитате аллюзию. Пусть ему лучше напомнят, что говорилось в докладе о – ... Цзяцин, чье терпение уже почти иссякло, повторил детали, касающиеся бирманцев. Император с удивлением спросил, откуда ему известны эти подробности. Цзяцин: о них только что сообщил докладчик. А почему вдруг сегодня его, царевича, так заинтересовали бирманцы, что он запомнил о них все вплоть до мелочей? Впрочем, не в том дело;

пусть лучше Куй – ... Долгие расспросы вокруг да около, брошенные искоса взгляды. Император все никак не отставал от Цзяцина: что это, мол, царевич нынче так интересуется политикой – и даже лично представил доклад о локальных беспорядках в Чжили? Он, Цяньлун, сейчас продемонстрирует ему, какими ерундовыми вещами приближенные обременяют своего императора, какими пустяками ему докучают. Возьмем, к примеру, эти документы... Наследник преклонил колена рядом с императором, и тот стал зачитывать ему пресловутый отчет наместника, водя по строчкам маленьким красным жезлом*. Но уже после первой трети документа Цяньлун отложил жезл, дальше читал про себя, Цзяцина же попросил отойти подальше. И в течении последующей четверти часа десять придворных не смели произнести ни слова, опасаясь потревожить погруженного в чтение Желтого Владыку; пения император, похоже, уже не слышал – иначе потребовал бы его прекратить. Потом, не удостоив присутствующих ни единым взглядом, император быстро поднялся и, со свитком в руке, проследовал к своему паланкину.

Что́ происходило в конце того дня в Пурпурном городе, известно весьма приблизительно. Весь вечер Цяньлун оставался в своей комнате наедине с Агуем: после того, как прочим доверенным лицам по каким-то причинам – скорее всего, из-за сильного возбуждения, внезапно охватившего императора, – пришлось эту комнату покинуть. Видимо, в тот момент, когда Цяньлун, утратив контроль над собой, заплакал, он и разбил редкостной красоты сосуд, стоявший на порфировой колонке: древнюю бронзовую вазу в форме лепестка лотоса, соскальзывающего со спины безногой ящерицы. Поздним вечером в темный дворец вызвали двух астрологов – и вскоре отослали обратно. Только когда обеспокоенные начальники гвардейцев забегали под окнами императора, потому что в его покоях долго царила тишина, Цяньлун ударил в гонг. Когда к нему вошли, император сидел в напряженной позе перед обломками вазы; Агуй с устрашающей серьезностью озвучил его приказ: назначить назавтра экстренное совещание государственного совета и одновременно подготовить все необходимое для переезда в летнюю резиденцию.

Потом августейший повелитель изъявил желание, чтобы его проводили в спальню. И появились слуги с факелами.

НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ, после полудня, состоялось совещание, на котором палате цензоров было поручено расследовать обстоятельства гибели Ма Ноу. А еще через день, утром, Желтый Владыка с небольшой свитой покинул пределы Пурпурного города. На лодках они поднялись по системе искусственных озер, входящих в дворцовую зону, потом, уже за пределами северной стены*, – по каналу, соединяющему эту систему с озером Куньминьху. Теперь флейты не играли на украшенных желтыми вымпелами лодках: ранняя осень уже схватилась руками за пинии в роскошных прибрежных садах, нежно звенели крошечные колокольчики, тысячами свисавшие с изогнутых крыш элегантных павильонов, с карнизов спрятанных в кущах беседок, но люди в лодках не удостаивали эту красоту ни единым взглядом. Весла скрипели в уключинах, равномерно ударяли по воде, и лодки скользили под льдисто-беломраморными мостами – всеми, начиная с Гаолянцяо и кончая великолепным Горбатым мостиком, – пока не оказались на озере Куньминьху. Все-таки столь благородный ландшафт, похоже, подействовал на императора успокаивающе. Вскоре в летнюю резиденцию стали приезжать из Пекина цензоры.

Гораздо более полезным, нежели разговоры о том, были ли в истории империи другие случаи, когда демоны становились причиной столь массовых смертей, оказался отчет участвовавших в операции военачальников: согласно этому документу, известный разбойник по имени Ван Лунь, уже имевший на своей совести – как выяснилось позднее – несколько убийств, сообщил им, что за три дня каким-то образом заставит секту исчезнуть; это обстоятельство, в сочетании со странными явлениями, предшествовавшими гибели осажденных в Яньчжоу, наводит на мысль, что именно Ван Лунь (вместе с неизвестными пока сообщниками) отравил воду в городских колодцах. В настоящее время полиция идет по следу этого человека, который приобрел дурную славу в Шаньдуне и Чжили, однако у простого народа, считающего его колдуном, пользуется необычайным авторитетом.

Цяньлуна от отвращения и ужаса прошиб ледяной пот. Чжаохуэю он сказал, что невозможно даже вообразить себе столь чудовищное злодеяние, не говоря уж о том, чтобы как-то его оценить. И распорядился – с некоторой нерешительностью, с загадочной задумчивостью, – чтобы убийцу как можно скорее задержали и доставили в Пекин; без всяких допросов; допросами Ван Луня будет заниматься исключительно сам император. А имени Цзяцина вообще в этой связи не надо упоминать.

Для высших сановников такое решение означало, что вопрос урегулирован. Но в голове императора это дело продолжало прокручиваться. Цяньлун, только что преодолевший очередное недомогание, уделял теперь повышенное внимание «внешним» вещам и вздрагивал при каждом сотрясении воздуха, вызванном не известным ему событием. Уязвленный и раздраженный, он никак не мог успокоиться. И все принюхивался, прислушивался – в поисках взаимосвязей, намеков, голосов.

В Юаньминъюани* он оставался недолго; уже через месяц императорский двор переехал в расположенное к юго-западу от Пекина селение Гэлотор, близ которого находился монастырь Цзетайсы* – гигантский архитектурный комплекс, вписанный в горный ландшафт с еловыми лесами. Это была любимая резиденция Цяньлуна: гуляя здесь, император мог насыщать взгляд видом тысяч столичных крыш и Угольной горы со сверкающими изящными беседками, белым мерцанием моста Лугоуцяо*; а под ногами у него катила свои воды зеленоватая Хунхэ.

В то время как старый государь целыми днями сидел в задумчивости на террасе летней резиденции, Пекина же избегал, будто был изгнан оттуда, в самом Пурпурном городе бурлило дерзкое жизнелюбие: тучный Цзяцин показывал свое непокорство. Заместителя председателя государственного совета царевич, не испросив разрешения у императора, велел за нарушение этикета высечь плетьми. Желтому же Владыке грозил местью за то, что тот позволил себе так с ним обойтись. Цзяцин, всегда страшившийся даже малейших осложнений, хотел бы как можно скорее отделаться от неприятной истории. Но, поскольку это было не в его власти, просто слонялся по своим покоям, успокаивая,

«заговаривая» себя утешительными доводами. При дворе он инсценировал разные забавы, довольно грубого толка. Устраивал, например, маскарадные шествия, участники коих пародировали некоторых высоких и высочайших особ. Узнав о скором возвращении Желтого Владыки, царевич со своими фиглярами и музыкантами спешно удалился на Ваньшоушань, Гору Нефритового Источника, где стоял его дворец – под защитой высокой пагоды, построенной во времена великого маньчжурского императора Канси*.

НА ВООБРАЖЕНИЕ ЦЯНЬЛУНА все больше и больше воздействовало – тем более, что на границах империи царил непривычный покой, и, значит, ничто не отвлекало всерьез внимание государя, – ужасное событие в Яньчжоу. Император прекрасно понимал, чем объясняются задумчивость его астрологов, рассеянность цензоров: они мысленно взвешивали, что́ могут означать всякие разности, о которых пока не говорилось вслух, но прежде всего – сам факт столь массовой гибели людей, это неслыханное несчастье; и еще: на какую инстанцию следует возложить ответственность за случившееся. Император не пытался уклониться от брошенного в него копья судьбы: он был правителем империи; и что бы ни изрекало Небо, это речение адресовалось только Желтому Владыке.

Выйдя из состояния погруженности в себя, делавшего его недоступным для других, император еще раз – среди зимы – послал трех цензоров в Монгольский квартал Яньчжоу для расследования всех обстоятельств дела. Вернувшись, чиновники лишь недоуменно качали головами: речь, мол, идет об одной из многих запретных сект, которые смущают дух простонародья и ввергают провинции в нищету.

Цяньлун посмеялся над уклончивыми объяснениями; он был уверен: столь чудовищные события не поддаются рациональному истолкованию.

И вот однажды, в десятый месяц года, императорские курьеры прибежали в Пекин: этот особый обнесенный стеной ареал, включавший в себя, помимо лугов и пустырей, также и город,

который в какие-то часы разбухал, наливаясь многоголосым шумом. К Цяньлуну были приглашены Агуй, верный Чжаохуэй, знаток истории Сун и некоторые другие лица.

Император принял их в тронном зале Дворца Воспитания Сердца (Янсиньдянь) – высоком и узком помещении, где обычно проводились секретные совещания. После того, как Цяньлун вышел к вельможам и они пали перед ним ниц, воцарилась полная тишина; потом, по слову государя, они заняли подобающие им места. Потолок небольшого зала был затянут полотнищем желтого шелка; могучий дракон, вышитый золотыми, синими и красными нитями, парил среди равномерно распределенных шелковых складок, сходившихся в середине потолка. Задернутые занавеси на окнах не пропускали дневного света; тяжелые бронзовые люстры, подвешенные на цепях, нарушали цельность шелковой композиции и, поскольку в них горело масло, бросали красноватые отблески на устланные коврами ступени, на государя в желтом одеянии и на нарядных, не смевших нарушить молчание гостей. Бесшумно скользили по залу молодые евнухи, разносили на золотых подносах чай. Цяньлун, качнув своей фарфоровой чашкой в сторону приглашенных, потом еще долго вертел ее в руке и читал вслух надписанные на ней строчки, сочиненные им самим: «Над легким огнем поставь трехногий чайник, цвет и фактура коего свидетельствуют о долгом употреблении; наполни его снеговой водой и кипяти ее столько времени, сколько потребно, чтобы рыба побелела, а рак – покраснел. Потом вылей кипящую воду на нежные листья отборного чая в чашке "*жу-э*". И пусть все это отстаивается, пока пар не соберется в облачко, оставив на поверхности только тонкую плавучую дымку. Пей эту драгоценную жидкость так, как тебе захочется, – и ты прогонишь пять причин дурного настроения. Тебя охватит состояние безграничного покоя, которое я могу только ощущать, воспринимая, среди прочего, и на вкус, – описать же его невозможно».

Потом голос Желтого Владыки зазвучал тише и жестче. Беспорядки в стране, и особенно в северных провинциях, требуют пристального внимания. Некто по имени Ван Лунь основал

секту так называемых «поистине слабых»; разногласия среди его сторонников привели к обособлению одной группы, которая избрала для себя неприличное имя «Расколотая Дыня» и решилась на открытый мятеж. Сама же секта «поистине слабых», включая Ван Луня, как бы исчезла с лица земли; этих людей придется выслеживать, ибо они отчасти попрятались в больших городах, а отчасти смешались с сельскими жителями.

Сун объяснил, что Чэнь Юаньли, *цзунду* Чжили, равно как и Су Цзы, военный губернатор Шаньдуна, уже получили соответствующие указания. Численность тайной полиции в подведомственных им городах должна быть увеличена; необходимо всячески усилить контроль над случаями внезапных смертей и – по видимости – немотивированных преступлений; в селениях и городах обеих провинций, которые оказались под угрозой, нужно организовать строжайшее наблюдение над всеми въезжающими и выезжающими лицами; руководство же этими мероприятиями и ведение документации – возлагать лишь на абсолютно надежных чиновников.

Император сказал: «Я запретил, вплоть до особого распоряжения, распускать элитные войска, которыми командует сиятельный Чжаохуэй. Я намереваюсь использовать эти войска против мятежников; и уже сейчас приказываю, чтобы вы, сиятельный Чжао, привели свою армию в боевую готовность и сосредоточили ее к северу от Пекина. Местные власти будут извещены – посредством настенных объявлений и через глашатаев – о том, что им надлежит воздерживаться от принятия гражданских мер: ибо в случае возникновения беспорядков победоносные войска под командованием сиятельного Чжао немедленно выступят, при содействии *цзунду*, в район мятежа».

Лю Гоу, бывший наместник Чжили, тоже присутствовал на совещании; этот высокий сутулый человек, испуганный не меньше остальных, заговорил о том, что угрозы со стороны правительства могут иметь неожиданно неприятные последствия: ведь пока нет уверенности, что учение «поистине слабых» направлено против правящей династии, как не доказано, впрочем, и само существование – в данный момент – этой секты;

а вдруг угрозы лишь поспособствуют консолидации остатков разгромленной секты, привлекут на ее сторону другие мятежные элементы?

Чжаохуэй, заметив неудовольствие на лице императора, выступил с ответной репликой: он напомнил, что около месяца назад в округе Дамин были схвачены сорок мужчин и женщин – как они сами признались, сторонники Ван Луня, – которые агитировали солдат провинциальных войск против войны вообще и против «воинственной» Чистой Династии.

Цяньлун окинул бывшего наместника ледяным взглядом: «Что они имеют против Чистой Династии? Мои предки спустились сюда, на цветущую Срединную равнину, не по своей воле. Не будь нас, во что превратилась бы эта страна сегодня?»

Император помолчал, глядя в пространство перед собой, потом продолжил: «Господа, которых я уважительно приветствую как своих гостей, – не астрологи. Мои астрологи – добросовестные ученые; обычно им требуется много времени, чтобы просчитать какой-то результат. Однако на сей раз они чересчур поторопились и высказали свое предположение даже раньше, чем я успел сформулировать вопрос. Три цензора, которые ездили этой зимой в Яньчжоу, чтобы прояснить обстоятельства трагедии в Монгольском квартале, тоже по возвращении представили мне подслащенный отчет. Когда где-нибудь сгорает дом, или театр, или административное здание, то ответственность за это, помимо городского бога, несут многие лица: начиная от *даотая* и кончая пожарными и полицейскими. Но в старых книгах говорится, что такой опыт не приложим к событиям чрезвычайной значимости: а что из этого следует, пусть думают сами господа советники. Согласно предположению – десятикратно зашифрованному, приукрашенному, подслащенному предположению моих астрологов и цензоров, мне следовало бы встревожиться и отправиться в Храм Неба*, чтобы оправдаться, принести искупительную жертву, получить пророчество».

«Законы против еретиков, – начал Агуй, не пытаясь смягчить свой голос, – вот что сейчас необходимо. Августейший повелитель не первый, кто их изобрел, и не будет первым из

тех, кто их применит. Действия приспешников Ван Луня и другой, похабной секты вполне подпадают под статьи этих законов».

«Следовательно, – завершил его мысль Чжаохуэй, – мы имеем дело с событием, которое целиком укладывается в рамки закона и будет иметь предусмотренный законом конец».

«Восемнадцать провинций, Тибет, Джунгария, острова – я больше не в силах удерживать их вместе. Слухи о незначительном, вероятно, событии – преступлении этого Ван Луня – постоянно достигают моих ушей: и чего только я уже не наслушался! Но ведь меня возвели на Трон Дракона именно для того, чтобы я все видел, все замечал, всем управлял, отвечал перед Небом за все. Где же мне черпать силы, потребные для этого? И как может мое бренное тело, одно-единственное, претерпевать все муки, которые выпадают на его долю из-за чиновничьей нерадивости, распространившейся в наше время? Однако то, что никто меня не поддерживает, не может служить извинением. Вы, конечно, не предъявляете мне упреков. Но и не оказываете поддержки. Ван Лунь все еще бродит по стране. Это дело вопиет к небесам – голосом, который я отчетливо, отчетливо слышу, воспринимаю как предостережение, – вы же продолжаете возносить мне лицемерные хвалы!»

Чжаохуэй хотел было испросить разрешения сказать еще что-то, но ему пришлось уступить эту привилегию Суну, который уже коснулся своим многомудрым челом ковра и заговорил: «Все вещи, имеющие непосредственное отношение к августейшему повелителю, и в самом деле слишком тонкого свойства, чтобы тут можно было полагаться на советы одних лишь знатоков политических и военных материй. Осмелюсь внести предложение: пусть будет назначена комиссия из пяти старейших астрологов и трех сведущих в политике царедворцев августейшего повелителя. И пусть она получит надлежащие полномочия, чтобы всесторонне и основательно исследовать это дело, а потом представить отчет августейшему повелителю и палате цензоров».

Чжаохуэй, человек на самом деле более слабый и уступчивый, чем казалось со стороны, попросил с дрожью в голосе: «Какое бы решение ни принял августейший повелитель, да не

отступится он от первого своего приказа: о военной охране северной резиденции».

Цяньлун медленно обвел взглядом присутствующих. Потом кивнул и выставил вперед изящно-округлый подбородок, будто хотел сказать что-то с особым нажимом; заговорил он тише, чем обычно: «Позаботьтесь же об учреждении такой смешанной комиссии. Управляющий западными дорогами столичной провинции доложил мне, что зима в этом году, похоже, будет короткой и мягкой; дороги из Тибета в равнинных частях уже сейчас проходимы. Я больше всего уповаю на советчика необычного, коего здесь не упоминали. Я жажду общения с Океаном Мудрости, таши-ламой* Лобсаном Палдэном Еше. И хотел сообщить вам об этом. Вы же, сиятельный Сун, досточтимый Агуй и досточтимый Чжаохуэй, хорошенько обдумайте это дело вместе с моими астрологами; ибо хотя я упомянул о ваших заслугах, вы еще многое, многое мне должны».

И ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, еще до совещания во Дворце Воспитания Сердца произошло следующее: Цяньлун написал письмо Океану Мудрости. Из-за безотчетного ощущения неловкости император скрыл это от своих приближенных. Дело в том, что в прежние годы Желтый Владыка уже трижды приглашал к себе таши-ламу, Лобсана Палдэна Еше; однако тибетский «Папа», глава ламаистской «церкви», правивший от имени малолетнего далай-ламы, всякий раз отклонял эти приглашения: он чувствовал, что в его весьма преклонном возрасте ему будет нелегко выдержать тяготы такого путешествия; но, будучи человеком мудрым, знал также и то, что, как вассал и данник восточного владыки*, обязан подчиниться. Теперь императора охватило необоримое желание увидеть религиозного наставника с Запада, пользующегося непререкаемым авторитетом. В письме, написанном с полным сознанием собственного монаршего величия, Цяньлун постарался ничем не выдать своей растерянности; он начал с политической преамбулы: упомянул о знаках дружеского внимания, которые таши-лама выказал Джорджу Боулу, английскому послу в Индии – чужаку, – когда тот посетил

Ташилунпо*. Цяньлун одобрил такую дружбу, ибо она помогла ему понять, как далеко простирается влияние ламаистской учености: даже варварские народы взыскуют – через посредство таши-ламы – покровительства Срединной империи*. Император выразил надежду на личную встречу с человеком, который ежечасно дает подтверждения тому, что является истинным воплощением будды Амитабы: «Я теперь так стар, что единственным благом, которым я еще в состоянии насладиться, прежде чем покину сей мир, была бы возможность увидеть Вас и помолиться вместе с божественным таши-ламой»*.

Таши-лама Лобсан Палдэн Еше был ненамного моложе императора. Он долго колебался, прежде чем ответить на приглашение Цяньлуна. Этот человек, чьи глаза, хотя и темные, сверкали таким же ослепительным блеском, как бирюзовые воды озера Цомапхам, в котором отражается великая гора Кайлаш и на дне которого живет бог Шива*, выжидал, с тоской на сердце, целых два дня, прежде чем решился принять из рук китайского посланника собственноручно написанное письмо восточного миродержца. Эти два дня он постился и не покидал своей кельи в Лабране – монастыре, расположенном напротив Шигацзе, города с белыми крышами в долине реки Нганчу*.

На утро третьего дня стена, окружавшая монастырский комплекс, подернулась инеем; золотое покрытие похоронных часовен прежних лам померкло; бахрома белого шерстяного шарфа, который таши-лама, когда сел у окна, обмотал вокруг шеи, шевелилась на фоне черной оконной рамы, при сильных порывах ветра касалась истертых временем камней.

И только тогда в сознании погруженного в себя таши-ламы образ посольства императора изменился – а потом и вовсе куда-то отступил.

Палдэн Еше в последнее время располнел; какие-то черточки смертного, маленького человека поднялись на поверхность из закоулков души и стали различимыми сквозь купол его духа. На протяжении тех двух дней, когда он колебался, восточный император Цяньлун означал для него нечто очень конкретное.

Еше боялся за свою бренную плоть.

Зато теперь глаза этого несравненного человека вновь сияли теплом и состраданием к другим; немного стыдясь себя, он отошел от окна.

И сказал, что посланцы Цяньлуна могут войти: он с глубочайшей радостью прочитает письмо восточного владыки. Однако о согласии таши-ламы послам сообщили гораздо позднее, после того, как почти целый месяц люди из его окружения отклоняли настойчивые домогательства китайцев. Они, мол, более не могли нарушать покой святого; и таши-лама видел на лицах своих учеников, настоятелей монастырей, *кхенпо*[*] тот же страх, который в течение пресловутых двух дней терзал его самого.

Лобсан Палдэн Еше происходил из южной области Тибета; его отец был самым дельным администратором в стране снегов – незаменимой опорой высокообразованного, но далекого от повседневной жизни *хутухта*, под управление которого передали эту провинцию. Когда предыдущий таши-лама скончался, Палдэну Еше исполнилось три года.

Три красивых смышленых мальчика стояли перед старым далай-ламой под золотым куполом монастыря в Лхасе. Вместе с настоятелями крупнейших монастырей далай-лама горячо молился перед статуей сторукого Будды, воплощением которого был он сам. Когда он с улыбкой обернулся к детям, его глаза сразу встретились с темно-карими глазами маленького Еше, который с загадочной серьезностью выдержал этот взгляд. Так было установлено, что в мальчика вселилась странствующая душа таши-ламы.

Еше оторвали от отца, и последующие годы он провел в одиночестве: не знал никаких игр, не мог гулять по оживленным улицам, не видел ни других мальчиков, ни девочек. Мир представал перед ним только в обличье паломников, приходивших во дворы Лхасы, чтобы на краткий миг увидеть далай-ламу, который быстро и дружелюбно кивал им из своей молельни или по пути на экзаменационный диспут. И всегда повторялось одно и то же: молитвы, земные поклоны, восхищенные приветственные возгласы.

Так подрастал Еше – ведя размеренное существование, не зная волнений и ни на что не отвлекаясь. Он должен был

наклонять голову точно так же, как это делал далай-лама. Старики, нищие, священнослужители высокого ранга – все сгибали перед ним спины; с его личностью отождествляли нечто пугающее, не по-земному серьезное; ничего другого Еше не знал и не видел.

Он не приходил в ужас от самого себя. Он изучал непостижимые взаимосвязи миров, их зависимость друг от друга. Уже миновали мировые эпохи Трех Будд, теперь разворачивалась эпоха Шакьямуни, а Майтрейе еще только предстояло прийти. Будда Амитаба, освободитель мира, рос в нем, Еше; ему оставалось лишь бережно прислушиваться к желаниям Воплощающегося и не поддаваться никаким собственным порывам.

Еше достиг зрелости. Его мудрость стала всеобъемлющей. Он уже жил, как далай-лама, в атмосфере глубокого счастья, чистого познания, тяжкого бремени сострадания к людям. Место, которое он занимал в мироздании, было ему известно. И тогда его сделали настоятелем монастыря Ташилунпо – как наставника и знатока великих теорий.

Незаметно пролетали десятилетия. С возрастом у чистого молитвами таши-ламы усиливалось сознание значимости своей миссии. Человеческие страдания, которые он видел вблизи и вдали от себя, глубоко его потрясали. Поистине это был мир, за которым не мог не последовать мир Майтрейи; будды нынешней эпохи и их воплощения не справлялись с неподъемным для них бременем страданий и разрушения.

За несколько месяцев до отъезда таши-ламы в Китай к монастырю Ташилунпо устремился нескончаемый поток благочестивых нищих, паломников и паломниц из всех областей Тибета и из Монголии. Многие из тех, кто уже добрался до блистающего золотыми крышами города священнослужителей, совершали обход стен, подражая на свой манер святым: они падали ниц, отмечали камушком место, где их лоб коснулся земли, вставали на эту черту, снова падали ниц – и так промеривали весь путь своим телом.

От Лхасы паломники направлялись на юго-запад, к Ташилунпо; периодически сворачивали на ту дорогу, по которой в скором времени предстояло путешествовать ламе; пройденные

ими отрезки этой дороги было легко опознать. Бессчетные молитвенные вымпелы висели на шнурах, протянутых от дерева к дереву или от столба к столбу; у обочины люди складывали в кучи камни с надписанными на них шестью благотворными слогами: *ом мани падме хум*. На перевалах и у скал оставляли бараньи лопатки. Вырывали себе зубы и втыкали их – в качестве жертвоприношения – в щели между каменными блоками; отрезали прядки своих волос, связывали их шнурками и вешали рядом с пестрыми вымпелами.

И вот наступил день, когда свита таши-ламы заполнила узкие улочки города, покинув монастырские здания с их карминного цвета брустверами, пурпурными эркерами, отвесными стенами, путаницей высеченных в скалах лестниц, беспорядочным нагромождением крыш. Златоглавый монастырь смотрел подведенными черным глазами-окнами вслед удаляющемуся священному каравану – как вдова, у которой от холода замерзают на ресницах слезы. Развевались пестрые вымпелы, пронзительно выли огромные трубы. Лобсан Палдэн Еше, Океан Мудрости и Милосердия, тронулся в путь к далекому Пекину*.

Была зима. Огромная свита, сопровождавшая ламаистского «Папу», продвигалась вперед медленно. Лишенные деревьев степи казались бесконечными. Над поверхностью жесткой земли кое-где выступали только кустики, жалкие сосны и ели. Дул холодный ветер. Четверо монахов несли драгоценный украшенный росписью и резьбой паланкин с желтыми шелковыми занавесями: святой, поджав под себя ноги, неподвижно сидел внутри, на красной подушке, с непокрытой бритой головой. У него были большие, искусственно удлиненные уши; носил он черное, расшитое голубым шелковое одеяние с широкими, отороченными мехом рукавами. Перед ним лежали листы из Канджура*.

Вокруг паланкина сновали многочисленные ученики, прошедшие посвящение монахи, маги, врачи, отобранные из числа лучших. Но кортеж постоянно увеличивался, по пути к нему присоединялись просвещенные паломники из Монголии и даже из Индии.

Все темные таинства храмов сопровождали ламу. Священнослужители, выстроившись вдоль дорог, по которым обычно проходили только торговые караваны с плиточным чаем и тюками шелка, потрясали ужасными «ручными барабанами»: каждый такой инструмент состоял из двух человеческих черепов, соприкасающихся макушками и обтянутых кожей.

В паланкине, справа от таши-ламы, стояла великолепная чаша из человеческого черепа* – оправленная в золото и с выпуклой золотой крышкой; она покоилась на треугольной подставке черного мрамора; с трех сторон бело-золотую чашу поддерживали каменные человеческие головки – красная, синяя и черная.

Время от времени, когда караван останавливался, чтобы совершить молитву, гудели трубы из бедренных костей; они заканчивались бронзовыми насадками с широкими «ноздрями»; издаваемые ими звуки напоминали ржание того коня, который возносит духов умерших к Небесам Радости.

Богатые паломники, в остроконечных желтых фетровых шапках с байковыми «гребешками» сзади, шли пешком вслед за запряженными яками телегами, в которых тряслись чудовищно большие, изготовленные с несравненным искусством «молитвенные барабаны»*.

Завершали процессию небольшая группа местных тунгусов и пятьдесят сотен императорских солдат. Караван двигался на северо-восток, мимо голубого озера Цомапхам, на дне которого в бирюзовом шатре живет бог Шива.

Над озером, ни на что не похожая, вздымалась ледяная вершина священной горы Кайлаш. После многих дней пути караван достиг заснеженных полей в предгорьях Кукунора*. Теперь начались снежные бури, которых все так боялись. Священный караван, спускаясь в долины, огибая горы, повсюду наталкивался на следы белой смерти: трупы животных, человеческие останки. Здесь на каждом перевале попадались флажки и кости, оставленные в качестве приношений для «ужасных божеств».

И эти «ужасные божества» тоже конвоировали благородных странников из Ташилунпо. Ямантака*, самый устрашающий демон, алчно кричал в бурю над бескрайними безлюдными

просторами, нападал на яков, мулов и людей: божество с головой быка и с пирамидой из девяти голов, с шестнадцатью ногами и тридцатью четырьмя руками. Пуская в дело все свои ручищи сразу, он кидал железные копья, в клочья разрывал человеческие тела, пожирал сердца, лакал кровь; и распространял ужас из своей крепости, которую мог покинуть через любую из шестнадцати дверей. Священнослужителям и святым он ничего не мог сделать: потому что иначе женские демоны Преисподней, заклятые магами, ополчились бы против него самого.

В этих мрачных краях караван продвигался медленно. Наконец – с благодарственными молитвами – все вступили в область Амдо, прилегающую к границе императорской провинции Ганьсу. И вошли в великолепный, укрытый в долине монастырский город Кумбум*. Дом обновителя школы Гэлуг-па («желтошапочников»), учителя праведности, святого Цонкапы*, казалось, погрузился в сновидческие грезы под прекрасным санталовым деревом. А чуть дальше, к востоку от него, уже вздымалась стена изо льда и снега.

Желтый Бог оставался здесь до конца зимы. Мир временно получил новый центр. Сюда теперь устремлялись потоки паломников, здесь заканчивались пути караванов. Один монгольский князь, до макушки которого соблаговолил дотронуться Палдэн Еше, подарил ему три сотни коней, семьдесят лошаков, сотню верблюдов, тысячу отрезов парчи, сто пятьдесят тысяч серебряных лянов*. Для беднейших же и просто бедных таши-лама по тысяче раз на дню безвозмездно возлагал свою руку на окрашенные шафраном книжные листы. Та область счастливо смаковала милости Бога, без устали расточавшего себя.

ТАК ПРОШЛИ зима и начало весны. Почетный эскорт из десяти тысяч солдат выступил навстречу святому тибетцу; понадобилось еще шестьдесят дней, чтобы чудесный караван, к которому теперь присоединились наследник престола и имперский представитель в Тибете, *чэн-ча хутухта*, пересек западные провинции, преодолел Великую Стену и приблизился к беломраморной, звенящей птичьими голосами летней резиденции

в Мулани*. Вступив в императорский сад, великий лама уже не нуждался в том, чтобы над ним несли зонт: над всей дорогой на расписных столбиках были натянуты шелковые полотнища – пышно-складчатый, украшенный вышивками тент; с обеих сторон дорогу окаймляли высокие – до неба – черные кипарисы и изящные туи. Красные и белые цветы лотосов устилали влажно-блестящую коричневую землю, по которой должны были ступать подошвы высокого гостя.

Но таши-лама остановился у железной решетки. Он не хотел повредить цветы. И в тот теплый день чуть ли не на полчаса застыл у открытого входа. Всё застопорилось; служители торопливо подметали дорожки; Палдэн Еше печально наблюдал за их работой; сопровождавшие его настоятели и монахи тоже ждали с опущенными головами, неприятно пораженные столь варварским обычаем.

А когда тибетский «Папа», уже войдя в парк, увидел у ствола кипариса кучку сметенных с дороги маленьких цветочных трупов, он не мог сдержать себя: в ужасе остановился, подошел к куче и, не обращая внимания ни на блистающих золотом придворных, ни на поющий и размахивающий флажками хор, опустился на колени на голой земле, стал перебирать цветок за цветком своими дарующими благословение руками.

Широкая аллея вела ко дворцу. Когда с террасы уже можно было разглядеть процессию, впереди которой выступали оповестители с гонгами и трубами, сидевший здесь в одиночестве человек в желтом шелковом одеянии поспешно спустился по мраморной лестнице; свита расступилась, освобождая проход; и тогда между двумя гигантскими кипарисами Цяньлун и Лобсан Палдэн Еше – подтянутый, седобородый Владыка Желтой Земли и крупный, несколько даже тучноватый таши-лама, на чье лицо легла легкая тень печали, – наконец увидали друг друга. Голову «Папы» венчала высокая шапка; его золотое парадное одеяние было сплошь расшито изображениями Будды и молящихся святых. Перед грудью – два набитых тряпками рукава со сложенными для молитвы искусственными белыми ладонями: Еше воплощал четырехрукого Будду.

Цяньлун прошел сорок шагов, отделявших его от человека с лицом цвета бронзы, мягкими губами и сияющими спокойными глазами; они поклонились друг другу; музыка смолкла.

Вздохнув, Желтый Владыка тихо поздравил себя с тем, что Небо даровало ему счастье насладиться – еще при жизни – такой минутой; пригласил святого пожаловать во дворец и хотел было склониться перед ним в глубоком поклоне.

Однако великий лама удержал его за локти и, сделав два шага, встал рядом. Смущенный император все еще не трогался с места, беззвучно шевелил губами... Потом они оба, в сопровождении одних только опахалоносцев, поднялись по трем мраморным ступеням и прошли в анфиладу комнат, которые предназначались для духовного владыки*; там Цяньлун вскоре попрощался со своим гостем.

Дни заполнялись визитами, ответными визитами, пиршествами, обменом подарками. В одном из боковых флигелей дворца был приготовлен зал, обособленный от других помещений: с трех сторон его окна выходили в сад, и только торцовая стена сообщалась через дверь с главным зданием*; в этом наполненном воздухом помещении, посреди которого на черном ковре стояли три кресла, и проходили беседы святого старца с Желтым Владыкой; в присутствии *чэн-ча хутухта*, а два раза – без него*.

Алтарь с гигантской золотой статуей сидящего Будды располагался как раз напротив трех кресел, в среднем из которых, самом высоком, сидел *панчэн ринпоче**, достопочтенный и драгоценный учитель мудрости с тибетской Горы Благоденствия*, и поворачивался то направо, то налево, чтобы шепнуть на ухо императору или его «кардиналу» какое-нибудь сокровенное изречение. Однажды представители монгольских караванов, прибывших в Мулань, попросили, чтобы *чэн-ча* поехал с ними и вынес окончательное решение по какому-то их конфликту; на самом деле весь этот инцидент был подстроен самим Цяньлуном. Два дня, пока одно из кресел оставалось пустым, император мог чувствовать себя непринужденно.

Как всегда во время этих бесед зал окружали – на отдалении в тридцать шагов – императорские гвардейцы; три примыкающие

комнаты были заперты, и у дверей самой последней выставлен караул. Цяньлун слегка передвинул свое кресло, чтобы сидеть наискось от *панчэна ринпоче*, лицом к нему, отчасти повернувшись спиной к алтарю, который располагался у стены с окном. Палдэн Еше в задумчивости опустил голову и правой рукой перебирал четки – неправильной формы белые шарики из человеческих костей, усеянные драгоценными камнями.

Не дождавшись, пока он вынырнет из состояния медитативной сосредоточенности, Цяньлун, скрестив руки, заговорил: «Ваше святейшество так много дали мне, недостойному; моя душа теперь успокоилась. Я, хотя и император, – всего лишь человек. Я – Сын Неба, но, тем не менее, испытываю благоговейный трепет, когда думаю об интимности отношений, связывающих вас с великими мировыми владыками. Я иногда пописываю стихи; моя академия, блистательный Лес Кистей, хвалит их; однако вас, досточтимый, да простятся мне эти слова, я едва ли могу воспринимать с человеческой точки зрения. Это в вашей стране лугов и черных юрт люди привыкли к вам, к вашей доброте, к вашему всепобеждающему разуму; я же не мог бы ни заочно представить себе ваш облик или то, что вы пожелали бы мне сказать, ни описать то и другое в стихах».

«Августейший повелитель защищает мою маленькую и бедную страну снегов. Мы занимаем лишь крошечный уголок в доме, находящемся под защитой августейшего повелителя. Шакьямуни завершил свой земной путь на Юге; моей же холодной и отгороженной от мира стране была доверена забота о его вечной жизни. Духи пребывают с нами; повторные рождения драгоценных будд происходят на голой горе, которая, подобно пресловутому ледяному аду, изрыгает смерть и выдыхает стужу».

«Земля не содрогается от этого дыхания. Напротив, все рты жадно хватают воздух, который исходит от изрыгающей смерть горы».

«Августейший повелитель – мудрый и благочестивый воин. Он завоевывает земли, которые принадлежат ему по праву. Тибет очень рано вступил в тесные и мирные отношения с Чистой Династией».

«Я вовсе не благочестив. Я прилагал много усилий, чтобы думать так, как говорит ваше святейшество. Мне это давалось с трудом; нельзя быть одновременно императором и благочестивым человеком. Не возражайте; уверяю вас, это так. Меня бы давно убили, если бы я позволил себе хотя бы полчаса быть благочестивым в том смысле, какой подразумеваете вы. Я пытаюсь быть таким. Потому я и попросил вас приехать ко мне, старику».

«Я всей душой предан Восточному Владыке. Коллизии, с которыми ему приходится сталкиваться, поистине велики. Я готов плакать вместе с ним, если его охватил страх».

«*Панчэн ринпоче*, как звали того богатого индийского благотворителя, о котором вы рассказывали вчера мне и ученейшему *хутухта*? Тот благочестивый человек вышел навстречу Прекраснейшему и Совершенному, повелел построить для него монастырь под Шэвэем, Городом Слушания; вы говорили, что там сын Шакьи написал бессчетное количество книг».

«Я говорил о Судатте»*.

«Меня зовут Цяньлун, и я в тысячу раз богаче того Судатты, что жил близ Шэвэя. Вы даже не сможете исчислить мое состояние. Я дам вам, *панчэн ринпоче*, всё, чего вы пожелаете. Я построю для вас монастыри, каких вы еще не видали; мои архитекторы, строители, художники создадут лучшее, на что они способны. Я пожалую вам и близлежащие города – да что там, целую провинцию, где вы живете. Только останьтесь хоть ненадолго в моей стране! Ваш Тибет без вас обойдется: эта страна чуть не лопается от святости; другие же, нуждающиеся в вас, претерпевают муки духовного голода. Нет нужды расписывать вам красоты моих провинций. Вы уже сами достигли преклонных лет, *панчэн ринпоче*; пусть же Лобсан Палдэн Еше, в чьем теле вы сейчас обитаете, отогреется в стране Восточного Сына Дракона. Прекраснейший и Совершенный Гаутама не отверг предложенный ему подарок; я так же искренен, как и ваши верующие, когда говорю: ваше святейшество благословит меня, если примет мой дар».

«Чего желает Восточный Император от телесного воплощения Будды, Палдэна Еше?»

«Не смотрите на меня так печально, *панчэн ринпоче*. Речь вовсе не о том, чтобы сделать вас пленником. Мое правительство твердо убеждено в благонамеренности вашей страны. Дело тут не в политике; пусть ваше святейшество мне поверит».

«Я верю Цяньлуну и полагаюсь на его терпимость».

Император рассматривал светло-красный узор ковра. Теплый взгляд святого задержался на его лице: переплетении линий, под которым угадывались бездны.

«Сядьте прямо, Цяньлун; и говорите яснее».

«Сказать-то об этом нетрудно. В восемнадцати провинциях, как и повсюду, имеются преступники. Так вот: один человек из Шаньдуна, сын рыбака из маленького приморского селения, основал секту под девизом *у-вэй*, "недеяние". Этот Ван Лунь – закоренелый преступник, убийца, разбойник. Он поссорился с частью своих сторонников, которые назвали себя неприличным именем и подняли мятеж в одной северной провинции, после чего были разбиты, а те из них, что остались в живых, оказались запертыми в предместье некоего западного города. И там, Палдэн Еше, *панчэн ринпоче*, недавно произошло преступление, от которого я до сих пор содрогаюсь, из-за которого не могу обрести покой. Прежде, чем войска атаковали тот город, в его старом квартале за одну ночь погибли тысячи людей, мужчин и женщин; причем погибли ужасно – ничего подобного в истории нашей восточной страны еще не бывало. Как именно это случилось – отравили ли их через питьевую воду, или на них напали демоны, – судить не берусь. Похоже, преступник Ван Лунь сам убил своих бывших приспешников, движимый смесью мстительности и высокомерия; мои чиновники не сумели схватить этого выродка. Я, однако, не могу не спрашивать себя, какие мои проступки привели к тому, что закат моего правления ознаменовался столь чудовищным несчастьем. Я должен понять, на какую мою вину указывает столь очевидное знамение».

«Цяньлун постарел. Прежде предсмертные стоны целых народов не достигали его ушей; ныне криков всего нескольких тысяч умирающих хватило, чтобы он лишился сна».

«Я не хотел бы слышать от вас упреки».

«Я вовсе не упрекаю августейшего повелителя. Августейший повелитель живет в мире страстей; и меня радует, что к нему не приходит сон».

«Этим вы мне не поможете, *панчэн ринпоче*. Вы не вправе отделываться от меня такими словами. Я – владыка могущественной мировой державы; я не сидел на троне подобно кукле, но радел о славе и процветании моей династии. Не нужно обращаться со мной как с заурядным человеком, толкать меня на проторенные пути. Помощи жду я от вас, *панчэн ринпоче*. Вы связаны с сокровеннейшими и ужаснейшими вещами в мире отношением непостижимой, несказанной близости; в вас обитает дух одного из будд; вы – единственный, кого я могу осязать, постигать, видеть, слышать, и к кому при этом питаю доверие: после того, как лучший из моих сыновей отрекся от меня. Подумайте о том, что я по-прежнему остаюсь владыкой Срединной империи – и не требуйте от меня невозможного».

«Все, о чем говорит августейший повелитель, звучит превосходно. Но августейший повелитель вовсе не нуждается в помощи жезлоносного ламы. Повелитель сейчас просто выныривает из сансары – после того, как услышал зов».

«Я – император, и я не живу в сансаре. Я не хочу идти по путям, которые ведут к Будде; моя империя прекрасна, она никогда не казалась мне – и сейчас не кажется – адом. Палдэн Еше, не будьте же глухи ко мне, умоляю вас!»

«Пусть Цяньлун не будет глухим! Как еще может происходить пробуждение в человеке, если не таким вот образом – через беспокойство, страхи, ночные бдения, стискивание рук, взывания на все четыре стороны света...»

«О, вы, оказывается, жестоки! Я почитал вас за Океан Милосердия – но я ошибся».

«Пусть августейший повелитель дозволит мне плакать с ним вместе. И еще – молиться: чтобы моему повелителю хватило сил, и чтобы испытание не отступилось от августейшего повелителя».

Цяньлун, не помня себя, ударился лбом о золоченую спинку кресла. Его плечи и руки вздымались и опускались – толчками,

следуя ритму расширявшейся и сжимавшейся грудной клетки. Присутствия таши-ламы он уже не замечал. Ощущение жуткого одиночества охватило его.

Святой снял шапку; на бритой голове выступили капельки пота. В этом безмолвии, прерываемом только тяжелым дыханием Желтого Владыки, минуты разбухали, превращаясь в бесконечные часы. Тишину защищала оболочка, не толще масляной пленки; а скрывавшаяся под пленкой воздушная смесь грозила в любое мгновение с ревом вырваться наружу. *Панчэн ринпоче*, шелестя одеждами, приблизился к алтарю, взял в руку молитвенный жезл, пал ниц. Когда он снова поднялся и обернулся, пронизывающе-мрачный взгляд Цяньлуна был устремлен на него. Святой, шаркая и спотыкаясь, вернулся к своему креслу; медленно надел на голову богато украшенную шапку. Склонился в поклоне перед застывшим в неподвижности Желтым Владыкой, чье лицо выдавало характер великого воинственного императора, сказал: «Ежели августейший повелитель позволит, я бы хотел сейчас отправиться на молитву».

«Я прошу ваше святейшество завтра удостоить меня своим наставлением».

«Я дам соответствующее распоряжение и попрошу высокочтимого *чэн-ча хутухта*, чтобы он и завтра озаботился делами монгольских караванов».

На следующий день, в тот же послеполуденный час, Цяньлун и Палдэн Еше вошли в зал трех кресел. На сей раз перед сидением святого старца красовалась внушительных размеров декоративная композиция. Треножник из черного дерева, на котором лежала круглая выкрашенная в зеленый цвет плита, шириной с вытянутую мужскую руку. На плите – чудный миниатюрный город, построенный из сверкающего металла, драгоценных камней и пестрых лоскутков. Внутри городской стены, образовывавшей правильный круг, теснились дома с затейливо изогнутыми крышами. И еще – мемориальные арки, храмы; широкие аллеи разделяли на части этот город, жители которого справляли священный праздник: многочисленные знамена развевались на раскрашенных древках, по дорогам

верующие тащили роскошные «молитвенные барабаны». В самом центре вздымалось здание, увенчанное прозрачным хрустальным куполом; четыре ступени вели в безвоздушное пространство колонного зала, посреди которого безмолвствовал золотой бог. То было изображение Божьего Града на горе Сумеру, оси мира*.

После обмена приветствиями и благодарностями оба владыки уселись рядом. Желтый солнечный свет косо падал в зал.

Желтый Владыка казался оживленным и веселым. На груди Палдэна Еше сверкал подарок калмыков – голубой аграф в форме полумесяца; свисавшие с него цепочки включали в качестве звеньев две круглые серебряные пластины с инкрустациями из коралла, горного хрусталя и мелкого жемчуга; цепочки заканчивались длинными шелковыми кистями, которые ниспадали на колени великого ламы.

Панчэн-лама заговорил первым: «Ученейший *чэн-ча хутухта* весьма сожалеет о том, что и сегодня должностные обязанности не позволяют ему встретиться с августейшим повелителем и со мною».

Цяньлун засмеялся: «Я нахожу, что ученейший *хутухта* ведет себя непочтительно: для караванщиков и скотоводов, вероятно, сыскался бы и другой духовный наставник. Выражаю свои соболезнования вашему святейшеству, которому приходится иметь дело со столь самоуверенным слугой, привыкшим в моей стране к чрезмерной самостоятельности. Вы только прикажите – и я тотчас распоряжусь, чтобы его наказали».

«Выходит, *чэн-ча хутухта* чувствовал себя не совсем уверенно, когда решился оставить августейшего повелителя наедине со мной?»

«Ваше святейшество плохо знает Цяньлуна. В каком-то смысле я еще не постарел: я по-прежнему люблю прекрасные – погожие и солнечные – дни. В такие дни я способен воспринимать лишь небо над головой и не сомневаюсь в том, что оно желает мне добра. Палдэн Еше, в такие дни Цяньлун не нуждается в советах; и сегодня он особенно счастлив, потому что может разделить свою радость с вами – цветком страны снегов».

«Я сомневаюсь, что способен оправдать ожидания августейшего повелителя. Солнце и погожие дни и вправду прекрасны, но их прелесть – нечто избыточное, ненужное. Я хотел бы, чтобы августейший государь не говорил со мной в таком тоне».

«Как же я должен говорить с вашим святейшеством? Уж не предлагаете ли вы, чтобы я, как давеча, вытащил на яркий свет дня свои ночные страхи? Вы будете смотреть на меня с состраданием, но приговаривать: "Хорошо, хорошо, еще!" Вы ведь не хотите понять, что я, старый человек, уже не могу научиться новой мудрости. Сегодня прекрасный день; и я искренне сожалею, что мудрого *хутухта* нет с нами; что ж – поучите чему-нибудь одного меня, *панчэн ринпоче*».

«Там, где река подтачивает берег, никто не станет воздвигать пагоду».

«Мне бы хотелось, *панчэн ринпоче*, чтобы *хутухта* сейчас находился здесь и слышал ваши слова. Разве вы не убийца в само́м вашем сострадании ко мне, в стремлении меня спасти? Я славлю нынешний день, который исцеляет меня и возвращает мне радость после жесткого "Нет", брошенного вами вчера. Но, по-вашему, солнце не должно согревать землю и жаворонки не должны петь, потому что они "избыточны, ненужны". Знаете ли вы, *панчэн ринпоче*, как много вы для меня значили, с каким нетерпением я ждал вас все эти последние месяцы! Увидав вас в саду, я был потрясен: мне показалось, вам предстоит свершить надо мной некий суд. Я ошибся – и в дальнейшем буду действовать так, будто всего лишь принимаю у себя в гостях владыку Тибета, способного осы́пать меня несравненными дарами».

«Что ж – нападайте на меня».

«Я хочу оставаться таким, каков я есть. Мои предки думали так же, как и я. Мы молимся на вас, не имея силы последовать за вами; да – ибо ваше учение дышит холодом».

«Я помолился за вас Будде Амитабе. Простите мне, что я хотел раздуть тлеющую в вас искру света. Оставайтесь же маленьким жалким человеком – Цяньлуном, правителем Срединной империи».

«Я – владыка величайшей империи мира, и я не собираюсь превращаться в кого-то еще. Я родился как Сын Неба и умру на Драконовом троне».

«Если вам не жаль погожего дня и если мое присутствие не помешает вам наслаждаться теплым солнечным светом, я хотел бы кое-что спросить у августейшего повелителя относительно вещей, которые упоминались вчера. Почему солдаты августейшего повелителя загнали ту тысячу человек в Монгольский город, где все они погибли?»

«Те люди, Палдэн Еше, были мятежниками, которые оскорбляли мою династию и основали в моей северной провинции собственное царство. Они извратили священный принцип Лаоцзы – *у-вэй*, "недеяние". Они бродяжничали – вместо того, чтобы обрабатывать поля и производить на свет детей; попрошайничали, мало молились, надеялись на Западный Рай. Поскольку же они хвалились тем, что посредством единения с судьбой обрели сверхъестественные силы, под их знамена стекались тысячи работоспособных мужчин, бессчетное число женщин из всех областей. Мои чиновники не могли допустить подобное. И попытались их разогнать; некоторые слои населения тоже поняли опасность сектантского движения. Это стало началом его конца».

«С началом я еще не вполне разобрался. Зато конец мне известен: Цяньлун потерял покой. Кто же почел за благо напасть на сектантов? Ведь августейший повелитель, кажется, упомянул, что сами они ни на кого не нападали».

«Имя этого чиновника мне не сообщили».

«Речь идет не об имени».

«Тут нет никакого преступления, ваше святейшество: в том, чтобы вернуть мужчин, бросивших своих жен и детей, в их дома; и чтобы заставить опомниться сыновей, забывших о долге по отношению к предкам. Подданные должны вспахивать и засеивать поля, платить налоги, необходимые для благоденствия империи. Если женщины, которым полагается быть тенью и эхом мужчины, бегут к сектантам, то их следует поставить на колени – пусть стоят коленями на цепочках с мелкими звеньями; распутных же жен, главных и побочных, которые оставили

свои жилища ради того, чтобы услужать в качестве проституток всякому сброду, бесстыдно именующему себя "братьями" и "сестрами", надо бы наказывать так, как это принято в некоторых областях: закапывать их в землю живыми, или зашивать в мешки и топить в реке, или подвергать тому виду смертной казни, который называется "восемь надрезов"».

«Допустим, вы правы. Не буду возражать. Непонятно только, как столь блистательное начало привело к столь плачевному концу».

«Для меня, *панчэн ринпоче*, это тоже остается загадкой. Именно так и нужно поступать с преступниками – как я сказал. И все же сие напоминает мне голову, которая имела серьезный и достойный вид, но вдруг, словно тигр, разинула пасть, выпучила глаза и зарычала. Что же это за голова, *панчэн ринпоче*? Почему она уставилась на меня?»

«Пусть Цяньлун отступится, обратится к своей душе. Вот я поднимаю мой жезл. Будда Шакьямуни когда-то уже объяснил причины бытия и взаимосвязь между ними: однажды на рассвете – перед тем, как царский сын из Капилавасту* стал просветленным Буддой – ему открылось сокровенное знание... Вы тут связывали причины с другими причинами; я же потяну за конец нити и распущу шов. Эта секта скиталась во тьме, искала Будду и, быть может, нашла его. Вы напали на этих мужчин и женщин. Что привело к появлению тысяч неприкаянных духов. Вы искусственно продлили цепь их повторных рождений. Как же вы можете спать, если по ночам к вам в двери стучатся сонмы оплакивающих свою участь, обвиняющих вас духов! Цяньлун сам связал причины с причинами».

«Что мне делать, чтобы порвать порочную цепь? Я понимаю, мои предки чего-то не одобрили. Однако оживить умерших не в моих силах. Я не знал этих сектантов; но я прикажу, чтобы для них принесли жертвы».

Святой улыбнулся; и в задумчивости погладил шелковые кисти своего нагрудного украшения: «Как сильно рознятся между собой и земли, и люди; всего в десяти днях пути к востоку от Тибета все обстоит уже совсем по-другому – люди не ведают ни

о мировых эпохах, ни о круговращении рождений и смертей. Вы вот называете себя "сотней семей": а семью даже смерть не ломает на куски, ее предки всегда остаются с нею. Как это все просто: до́ма, когда склоняешься в глубоком поклоне... Вам кажется, будто достаточно воскурить благовония, чтобы дух умершего примирился с низвержением в водоворот повторных рождений; будто одной капли масла хватит, чтобы вознаградить его за мучения, продленные на тысячу лет... Что ж – распорядитесь, чтобы для духов этих умерших принесли жертвы: так, как у вас принято; постройте для них кумирни на обочинах дорог. А остатки секты с девизом *у-вэй* – пощадите!»

«Моя голова пуста, она не ухватывает ваших доводов. Но вы ведь хотите мне помочь, хотите помочь!»

«День опять стал хорош. Быть мягким, тихим – вот как зовется рука, отворяющая все засовы. Приди ко мне, старик, обрести себя, прежде чем умрешь!»

Старый владыка Желтой Земли смотрел в пространство: «У достопочтенного с Горы Благоденствия легкая рука, она незаметно распускает швы. Да, я принесу искупительную жертву своим предкам; я отправлюсь на их могилы в Мукден. И я придумаю, как примириться с Ван Лунем, с его приверженцами. Этого хотят Канси и Юнчжэн*».

Цяньлун распрямил спину. «Папа» Желтой Церкви, обратившись к нему лицом, перебирал в руке четки из человеческих костей.

Императора окружили тени его могучих предков: они давили ему на плечи, пристально рассматривали своего потомка, у которого от слабости подгибались колени. Но император выдержал, устоял; то были Канси и Юнчжэн – они должны принять его в свой безмолвный круг. Сквозь их туманные образы просвечивало бронзовое, безмятежное лицо святого из Ташилунпо.

Смущенный и потрясенный, Желтый Император, дрожа, поднялся на ноги и, встав перед чужестранцем, дотронулся до его шелкового рукава: «Вы, Палдэн Еше, – жезлоносный лама. Цяньлуну страшно: хороший ли совет вы ему дали?»

ВАН ЛУНЯ преследовали только в течение недели после падения Яньчжоу, а потом сбились со следа. Преступник, сперва не особенно скрываясь, бежал на запад, через маленькие селения; никто не отваживался атаковать его. Тех, кто не подозревал, с кем имеет дело, этот силач просто отшвыривал в сторону; если же на него нападали несколько человек, он ловко от них ускользал. В последний раз его видели, когда выпал первый снег – в Хуайцине, к западу от Императорского канала, перед стенами этого многонаселенного города.

С тех пор в северных провинциях его никто не видел; ни зимой, ни следующим летом вестей о Ван Луне не было. Даже среди «братьев» и «сестер» о нем ходили только неясные слухи. Го, в прошлом командир императорской роты, похоже, знал о местопребывании Вана больше других; именно Го встречался с Ваном у стен Хуайцина. От него и стало известно, что Ван жив; несколько раз Го как будто давал понять, что Ван вскоре вернется, но как только заходил более конкретный разговор об основателе союза «поистине слабых», Го умолкал, отворачивался, им овладевала печаль.

Ван Лунь окончательно покинул северные провинции через два дня после того, как Го сообщил ему подробности гибели «Расколотой Дыни». Слухи о трагическом событии опередили Вана, которому пришлось прятаться в течении целого дня. Сухопарый Го знал не так уж много деталей: кое-что из того, что ему рассказали, он забыл, потрясенный кошмаром происшедшего.

Когда Ван внезапно возник перед ним – с осунувшимся лицом и налитыми кровью глазами, преобразившийся в демона войны и мести: не человек, а только мозг и рука как придатки к Желтому Скакуну, – Го так испугался, что Вану пришлось поддержать его, ухватив за отворот куртки.

Они пошли вдоль стены; уселись в сломанной клетке для преступников, в которой обычно ночевали нищие; Ван подождал, пока Го успокоится. Потом Го стал отвечать на его вопросы – тихо, словно пугаясь собственного голоса; часто спрашивал: «Как же ты теперь, Ван?»

Го рассказал в общих чертах о ночной сумятице в Монгольском квартале, о том, как отдельные братья пытались бежать из города и, мертвые, падали с внешней стороны стены. Более ясно он представлял себе, как горожане на рассвете вторглись в Старый город; ему даже были известны имена начальника отряда городских ветеранов и других командиров, а также бонз, которые заклинали злых демонов. Услышав, что ни один из осажденных не пережил той ночи, Ван с облегчением вздохнул, грозно нахмурился, ударил себя в грудь, после чего застыл в неподвижности как бронзовый истукан.

Потом спросил – в то время как налетавший порывами ветер сбрасывал на них с верхних реек пушистый снег, – чьи судьбы привлекли к себе особое внимание.

Го помолчал; упомянул о некоторых происшествиях, не называя имен пострадавших (он их не знал); затем описал, как нашли Красавицу Лян Ли, еще живую; рассказывая, он очень разволновался и закончил свою речь горестным изложением обстоятельств смерти Ма Ноу.

Тут Ван Лунь зарыдал; схватился за Го, зажал себе уши, отвернулся.

И выскочил из клетки, побежал по рыхлому снегу вдоль стены, Го – за ним. Не переставая плакать, Ван бросился на землю, заколотил по ней кулаками, снова поднялся; в конце концов они оба, друг за другом, взбежали на невысокий холм. Громко причитая и брызгая слюной, Ван сел в снег, поднял обеими руками свой меч и стал равномерно размахивать им в воздухе, среди падающих хлопьев: справа налево, слева направо. Потом опустил, со стоном поцеловал клинок, отчужденно посмотрел на растерянного Го... И покатился по земле, вниз по склону, оставляя на снегу длинный светло-красный след: из порезанной руки у него капала кровь. Го тоже заплакал; он стал трясти Вана, поднял его, прижал снег к ране, потащил куда-то; тот же, с перекошенным лицом, поворачивал во все стороны голову и правой рукой волочил за собой меч, как ребенок – игрушечную тележку.

У самых ворот Го почувствовал, что его схватили за плечо: Ван, чей взгляд теперь был совершенно безумным, вдруг, засопев,

оттолкнул его, остановился; вздрогнув, отбросил в сторону меч и принялся рассматривать широкую резаную рану на левой ладони, как бы не желая больше иметь дела с неудержимо плачущим Го. Тот оторвал лоскут от своего плаща и перевязал красную поверхность. После чего Ван быстро удалился, не произнеся ни слова и даже не обернувшись.

На второй день мягкая снежная буря прекратилась; в слепящем ландшафте дрожали звон бубенчиков, украшавших санки, счастливый смех. Равнина перед городскими воротами была сплошь усеяна черными точками – гуляющими мужчинами, детьми. Го и Ван протискивались между нищими, которые рядами расположились под стеной, выставив изуродованные конечности, и черпали из котлов «собачий рис», присланный им благотворительными организациями. Когда Го и Ван миновали клетку для преступников, стало тише; они побрели дальше, не разговаривая, все так же вдоль стены.

Продавец свистулек, высокий мужчина, прошел мимо них; бамбуковые трубочки с мундштуками из белой жести, которые он нес на плече, задели шею Вана; Ван, вздрогнув, обернулся. И бросил злобный взгляд на торговца, топавшего себе по снегу как ни в чем не бывало... На холме, куда они поднимались в метель, накануне, теперь толпилось множество детей – мальчишек в пестрых шапках; раздавалось пронзительное бряцание тамбурина; в кругу ребятни прыгал какой-то человек, держа на цепи черного медведя; человек взмахивал круглой, обтянутой кожей рамкой, ударял себя тамбурином по спине, крутился волчком; медведь осторожно ходил вокруг на задних лапах, пытался положить передние на плечи хозяина, ребятишки визжали.

Ван, пребывавший в состоянии крайней апатии, сказал, что рассказ о судьбе Ма Ноу подействовал на него сильнее, чем он ожидал. Это как камнепад в горах*, последствия которого он однажды видел: двое людей, попавших под обвал, но спасшихся, потом смеялись как ненормальные и все не могли перестать. С ним, Ваном, сейчас происходит нечто подобное. Ван продолжал и дальше говорить в том же духе – неестественно равнодушным, деловым тоном.

Когда Го, которому опять стало страшно и который чувствовал, что ему не по силам такие встряски, спросил, что Ван теперь намеревается предпринять, здоровенный нищий только улыбнулся – странной, печальной улыбкой – и устремил в пространство пустой взгляд. А когда они поравнялись с веселым детским холмом, Ван обхватил своего брата Го за шею, и дальше они шли обнявшись.

Все повернулось так непредсказуемо, сказал Ван, что у него нет ни малейшего желания еще что-то менять, или чего-то добиваться, или вообще делать что-то всерьез. Он повел Го, которому было не по себе и который его не понимал, на холм, чтобы посмотреть танец медведя. Увидев двух оборванцев, дети бесшумно расступились; человек с тамбурином дернул за цепь вдруг заупрямившегося и зарычавшего зверя. Друзьям стало скучно, они пошли назад.

Да, ему весело, продолжал Ван. Все непредсказуемо, необозримо в своих последствиях, но в конечном счете Ма Ноу оказался прав. У болота Далоу он предостерегал от того, чтобы пускать в дело Желтого Скакуна: это было бы нарушением учения о «недеянии». Поскольку он, Ван, не придерживался такого мнения, они разделились. И тем навлекли на себя несчастье – то, что случилось в Монгольском квартале. Все кончилось тем, что меч ударил в его же – Вана – грудь: потому что противиться бесполезно. Ма Ноу предсказал свою судьбу, а он, Ван, проиграл.

Го возразил: какие же тут основания, чтобы смеяться и веселиться.

А те, сказал Ван, сверкнув глазами, какие бывают у человека, который совсем неожиданно, совершенно внезапно узнает о себе все, начиная с самых основ, как если бы с него содрали кожу*. Такой человек не может не чувствовать удовлетворения. Ибо он обрел твердую почву под ногами. И знает, чего ему от себя ждать.

Ван очевидно был в слишком рассеянном и одновременно слишком хорошем настроении, слишком часто посматривал направо и налево, чтобы много говорить. Позже он вновь принялся болтать, но о такой ерунде, что Го не переставал удивляться.

Ван, например, проявлял интерес к проезжающим мимо саням, подшучивал над раскачивающимися в них дамами, за которыми «хвостится элегантность», рассказывал анекдоты о мошенниках. Го был свидетелем того, как на вялом лице Вана проступали новые, ошеломляюще неожиданные черты. Деревенский записной весельчак – совсем другой человек с другим, незнакомым голосом – шагал теперь рядом с ним.

По внезапному капризу Вана они подсели к группе нищих у городских ворот, стали играть с ними в кости. Го ожидал от Вана каких-то особенных жестов, горестных взглядов. Но, казалось, обладатель Желтого Скакуна чувствовал себя все лучше и лучше среди этого жадного, ленивого, грязного отребья. Он веселился без суеты, даже потягивался, а на Го вообще больше не обращал внимания.

Когда он усадил к себе на колени девку с похотливыми глазами, которая была общим достоянием нищих, Го стало так противно, что он поднялся на ноги. И, окончательно сбитый с толку, поплелся к воротам.

У входа его догнали Ван и эта девка. Оба буквально сотрясались от хохота. Ван рассказал ей, что его друг, бывший командир конной роты, из-за какого-то мальчишки для любовных утех оставил императорскую службу. Проститутка чуть не лопнула от смеха, узнав, что на свете существуют такие психи, и визгливым голосом, покрутив пальцем у виска, спросила Го, как звали того мальчишку. Го быстро прошел в город. Он еще успел услышать, как Ван за его спиной крикнул: «Пока, старик! Увидимся в Западном Раю!» И как к удовольствию девки обругал охранника у ворот.

После этого Ван совершенно исчез из поля зрения «братьев». Го никому не рассказал о том, как встречался с ним в последний раз. Ко времени, когда вышли императорские указы, обещавшие полную безнаказанность Ван Луню из Хуньганцуни (в Хайлине, провинция Шаньдун), и провозглашавшие принцип терпимости к его учению, бывший главарь банды уже давно сидел на собственном маленьком поле в Сиахэ, периодически ловил рыбу в компании бакланов, и даже собственная жена Вана была уверена, что его зовут Тай. Он имел репутацию человека

практичного, почтительного по отношению к властям, дружелюбного, хотя и не совсем надежного в повседневном общении. С верой дело у него обстояло так же, как и у других крестьян: он молился богам, обещавшим ему наибольший выигрыш. Из всех людей, которые переселились в те края за последний год – после того, как была укреплена мощная дамба, служившая защитой от весенних паводков, – Ван пользовался наибольшим уважением.

ЧЕРЕЗ ПАРУ НЕДЕЛЬ все начальники областей и городские власти Чжили и Шаньдуна узнали о том, как странно подействовало на Желтого Владыку злодеяние, совершенное в Яньчжоу.

Дальнейшее преследование сектантов было запрещено – совместно – трибуналом по ритуальным делам, высшими представителями гражданской и военной администрации. Императорский указ, адресованный начальникам областей и округов, свидетельствовал о том, что отношение наивысшей инстанции к недавним событиям коренным образом изменилось. Многие чиновники западной части провинции Чжили были подвергнуты ощутимым денежным штрафам и понижены в должностях – на том основании, что они якобы предоставляли ложные сведения об учении сектантов. Коллегия астрологов Пурпурного города вроде бы установила, что чудовищное преступление в Яньчжоу способствовало складыванию неблагоприятной для Желтого Владыки астрологической констелляции.

В домах литераторов, в храмах Конфуция все впали в какое-то оцепенение, сидели как громом пораженные. Более или менее ясно было одно: перемена в настроении императора совпала по времени с посещением ламой Палдэном Еше императорской резиденции в Мулани. Бросалось в глаза отсутствие логических оснований для отступления в данном конкретном случае от закона о еретиках, молчание палаты цензоров; заявление астрологического бюро тоже явно запоздало – обстоятельство, говорящее не в пользу того, что инициатива исходила от данной инстанции. «Засилье ламаизма при дворе» – этот старый, роковой для Цинской династии слух испугал консервативные элементы; они заволновались; пошли пересуды о том, что

постаревший государь временами теряет ясность мышления, что некая мистически настроенная клика использует в своих интересах эти старческие приступы помутнения рассудка.

Травля «поистине слабых» возобновилась, отличаясь теперь необыкновенной ретивостью. Императорский указ был доведен до сведения рядового населения в лучшем случае на одной четвертой части территории страны; его лишь для видимости вывешивали на стенах – по ночам, чтобы до утра подкупленные бродяги успели сорвать объявления. Почувствовав себя оскорбленными, последователи Конфуция теперь чаще встречались, совещались, принимали решения. В западной части Чжили произошли первые вооруженные столкновения с сектантами. Во многих местах «братьев» убивали или подвергали пыткам. Они часто рассеивались; но ореол мученичества привлекал к секте новых приверженцев.

В роковой долине у болота Далоу стояли лагерем два отряда сектантов, которые, когда их окружили озлобленные преследователи, попытались, подстрекаемые несколькими отчаянными головами, обороняться, потом, увлекшись, вступили в настоящее сражение с атакующими – и одержали победу. Это событие послужило поводом для яростных гонений на бродяг в тех местах. В северной части столичной области, на юго-востоке Чжили происходило то же самое: местные власти по своей инициативе организовывали нападения на сектантов. Кое-где жертвами становились и ламаистские священнослужители.

Цзяцин, могучий и царственно величавый Цзяцин, не сомневался в безумии своего отца, обольщенного, как ему казалось, коварным таши-ламой. Копию императорского указа о примирении он у себя во дворце порвал в клочья – прямо на глазах у навестивших его Чжаохуэя и Суна. Когда приходили сообщения о распространении мятежа, его глаза сверкали от радости. Царевича упорно уговаривали, чтобы он принял сторону консерваторов: он, мол, может не сомневаться в преданности ему всех друзей Конфуция, всех истинных патриотов, которые с отвращением наблюдают, как усиливается при дворе влияние «желтых накидок»*. Он предпочитал держаться особняком; но

ключ от своей сокровищницы бросил – после одной из таких «обличительных» бесед – смотрителю своего сада. И случилось удивительное: противодействие указу со стороны провинциальных чиновников быстро сошло на нет; зато число приверженцев секты неслыханно возросло, и, как казалось, всех их в одночасье охватила упоительная ярость, опьяняющая воинственность, которая, разлившись единым – широким как море – потоком, разом смыла все следы былой кротости. Объяснялось это тем, что евнухи из окружения Цзяцина не долго думая завербовали в разных местах несколько тысяч распущенных из армии солдат, которые получили задание для видимости присоединиться к «поистине слабым», а далее повиноваться приказам из Пекина. И в результате всего за несколько недель характер союза ужасающим образом изменился.

Два мерзких преступления были ловко организованы пекинскими закулисными кукловодами: покушение на единственного сына Чжаохуэя, любимого военачальника Цяньлуна, и имитация нападения на Мукден, где в то время находился сам император. Сына Чжаохуэя звали Лаосю; в Шаньхайгуани* его вилла располагалась на западном склоне Магнолиевой горы. Однажды вечером, когда молодой Лаосю с приятелем прогуливался по темным улицам города – оба держали в руках элегантные цветы гардении и шутки ради шли, слегка сгибая колени, пританцовывающей походкой акробатов, которые жонглируют на бамбуковой перекладине, – на них набросились вынырнувшие из мрака проходимцы, стукнули по макушкам деревянными дубинками, сорвали с их одежд маньчжурские нагрудники. А потом подтащили обоих потерявших сознание юношей к воротам какого-то брошенного дома и глиной намалевали на лбу у каждого знак пяти злых демонов. Чжаохуэй, в то время постоянно находившийся при Цяньлуне, чуть с ума не сошел, узнав, как опозорили его семью; да и Лаосю поправлялся медленно. Император и военачальник по-прежнему оставались рядом, каждый из них влачил собственную ношу печали.

В Мукдене непосредственным свидетелем еще одного преступления довелось стать императору, давно погрузившемуся в

себя, в свои невеселые мысли: из дворцового сада он наблюдал, как языки пламени лизали пагоду и мемориальную арку, которую он когда-то воздвиг в память о своей матери. Он слышал и предсмертные крики поджигателей – мнимых сектантов, а в действительности бедных солдат, польстившихся на обещание, что их семьям передадут крупные суммы денег, самих же преступников удостоят пышного погребения.

Он оставил гробницы маньчжурских императоров, вернулся в Мулань. Неохотно открыл отчеты, поступившие тем временем от наместников: мятеж – дело дошло до открытого мятежа!

Мертвая тишина царила в дворцовых покоях, пока Сын Неба просматривал бумаги. Он заперся у себя в кабинете. А в полдень следующего дня прошел, ссутулившись, без сопровождающих, в Павильон Почитания Предков*, где оставался до вечера. Цяньлун чувствовал себя немощным и несчастным. Он боялся, что смерть может настичь его в любой момент. Черты ужасного призрачного лика, смотревшего на него из Маньчжурского квартала Яньчжоу, не смягчились. Он не сумел их смягчить. Не сумел умилостивить своих предков. Его жизнь кончалась постыдно. Такую долю послало ему Небо. Он и не должен был кончить по-другому.

И в те самые дни, когда престарелый Желтый Владыка боролся с собой, принуждая собственную душу разразиться вспышкой гнева, ему нанесли предательский удар люди из его же окружения.

В НЕКОЕЙ КЛИКЕ, которая собиралась в одном из пекинских домов и культивировала сплетни и интриги, попутно занимаясь организацией театральных представлений, играла немаловажную роль дама по имени Бэй, чье прошлое большинству почтенных посетителей этого дома было неизвестно.

Госпожа Бэй утверждала, что она родилась на западе Китая, в семье владельца нескольких мельниц, человека по имени Бэй Сифу; рано осиротевшую девочку будто бы послали в пригород Пекина, где ее удочерил и воспитал бездетный, уже вышедший в отставку чиновник. Эта элегантная женщина, несомненно,

имела хорошие манеры, что подтверждало ее принадлежность к ученому сословию, и говорила на чистейшем *гуаньхуа*[*], но часто совершала промахи в элементарных вещах и, между прочим, совсем не понимала литературных аллюзий[*]. Правда, последнее качество обнаруживалось лишь изредка, поскольку она отличалась необыкновенной сдержанностью в общении. Никто из жителей пригорода Пекина, где она и вправду «воспитывалась», не узнал бы теперь в экстравагантной и умной госпоже Бэй невзрачную девочку-рабыню овдовевшего цирюльника Е, в чьем неопрятном доме она только умножала грязь, ежедневно терпела побои от его оставшихся без присмотра детей и чуть ли не умирала с голоду. Она сбежала оттуда и, похоже, сначала работала поварихой в одном из «расписных домов» на канале, потом путем самообразования достигла более высоких степеней посвящения и наконец была принята в избранный круг «уточек», ублажающих чиновников.

Но в том квартале, где она обитала, ей так и не удалось стать «царицей сияющего цветочного луга». Ибо когда ей исполнилось восемнадцать, ее поразила какая-то глазная болезнь, и хотя она делала много подарков вообще-то весьма снисходительной Богине Зрения, даже пожертвовала в храм серебряные очки в оправе из слоновой кости[*], исцелился у нее только правый глаз – а на левом осталось большое бельмо, сильно снизившее продажную стоимость госпожи Бэй.

И только благодаря тому, что госпожа Бэй достигла виртуозности в искусстве подлаживаться под вкусы мужчин, один богатый судейский чиновник взял ее к себе в дом в качестве побочной жены. Ей важно было вырваться из «расписного дома». Уже через два с половиной года она покинула дом судьи, получив за это от его законной супруги приличную денежную компенсацию.

Затем госпожа Бэй поселилась с несколькими служанками в маленьком особнячке, жила там затворницей, изредка принимала гостей, сама же удостаивала своими визитами только семьи с известными именами. Она любила предаваться воспоминаниям. У нее до некоторой степени сохранилась склонность к образу жизни, характерному для «расписных домов». И она расставляла

повсюду курильницы для ароматов, в которых каждый день жгла амбру – «слюну дракона». По утрам, как когда-то, съедала миску имбирного супа. И даже попивала в одиночестве, предпочитая подогретое вино, – «винцо тянется к винцу, кто выпил, тот ждет не дождется, когда опять наберется», как говорится в пословице. Служанки же никак не могли взять в толк, что́ их хозяйка делает, сидя по полдня одна в запертой комнате. А поскольку оттуда порой доносились тихие напевы и звуки цитры, их любопытство росло.

Потом госпожа хлопала в ладоши, чтобы девушки накрасили ее и одели к вечернему выходу; и они часто заставали хозяйку, несмотря на присущее ей чувство собственного достоинства, слегка возбужденной, радостной, еще не успевшей толком успокоиться – а это наводило на размышления. Разговоры с соседями только укрепляли их подозрения, сводившиеся – не больше не меньше – к тому, что госпожа Бэй является колдуньей, что у себя в комнате она беседует с привидениями.

Молодая женщина не раз замечала, как боязливо шушукаются служанки за ее спиной. Цветочница передала ей содержание ходивших о ней слухов, и госпожа Бэй призадумалась. Не будучи ничем занятой, она, следуя своему капризу, восприняла происшедшее как ниспосланный свыше знак и однажды отправилась к знаменитому колдуну, который, выслушав ее историю, чуть не охрип от смеха: она предается сентиментальным воспоминаниям о своей жизни среди «полевых цветов», а люди принимают ее за настоящую ворожею. Но никто еще не додумался ублажать духов столь изысканным способом! Она попросила, чтобы он просветил ее насчет заклинаний и колдовских обрядов, совсем немножко: она хочет только научиться пугать других людей; вызывать же тени «по-настоящему» боится. Поскольку она предложила ему в качестве аванса кругленькую сумму, предприимчивый колдун согласился на такую сделку и даже пообещал, что она не увидит никаких теней, даже самых слабосильных, ибо он принудит их оставаться незримыми.

Так она узнала имена многих духов, привидений, демонов; научилась различать их признаки, способы превращения в

оборотней – лис или крыс; освоила методы их разоблачения и обезвреживания с помощью пепла, амулетов, бумажных талисманов, магических мечей, воды.

Колеблясь между благоговейными страхами и нежными удовольствиями, она по-прежнему оставалась молодой и всеми уважаемой госпожой Бэй, достаточно богатой, чтобы следовать своим прихотям. В кругах, куда ее приглашали, она никогда не пыталась опровергать распространявшиеся за ее спиной слухи. Она была терпелива, ждала подходящего случая, чтобы продемонстрировать свою силу, – ибо хотела обрести влияние в доступных ей сферах.

А надо сказать, что в беседах тех дам принимала участие и обворожительная госпожа Цзин, придворная дама одной из главных царевен*; с ее грациозностью и прекрасным телосложением могла бы сравниться только ее же глупость. Госпожа Бэй старалась держаться от нее подальше, поскольку в присутствии красавиц с горечью ощущала собственную ущербность. Услышав о таинственных способностях своей знакомой, госпожа Цзин от удивления аж раскрыла рот; и буквально прилипла к ошеломленной таким неожиданным вниманием госпоже Бэй, начала задавать ей разные вопросы, приезжать к ней домой с визитами, в общем, всячески домогалась дружбы этой холодной дамы, которая смотрела на нее свысока и никогда не воспринимала ее всерьез.

Но потом Бэй все-таки изменила свое поведение – в тот незабвенный миг, когда госпожа Цзин в восторженном настроении выскочила из паланкина, обняла ее и передала приглашение на чашечку чая от самой царевны. Теперь госпожа Бэй с сердечностью отвечала на бурные ласки юной Цзин, та же в присутствии «колдуньи» чувствовала себя счастливой и защищенной. За первым визитом вежливости к царевне последовали другие, более интимные встречи, и перед бывшей служанкой-замарашкой пригородного цирюльника открылась перспектива блистательной карьеры.

Ее начали приглашать в Пурпурный город, ввели в приближенный ко двору круг женщин и евнухов, погрязший в пучине

суеверных страхов. И здесь ловкая госпожа Бэй очень скоро сумела стать тем центром, вокруг которого концентрируется всё. На женские сборища заглядывали и некоторые царевичи; в запертых комнатах устраивались магические сеансы, посещавшие их дамы и господа быстро подпали под влияние элегантной и уверенной в себе женщины, на самом деле больше всего боявшейся того, что один из ее экспериментов может оказаться удачным.

Любимец Цяньлуна, царевич Поу Ан, был независимым в суждениях и дерзким юнцом; сестра хотела обратить его в свою веру: потому что он постоянно срывал все таинственные приготовления госпожи Бэй, которую терпеть не мог из-за якобы присущей ей способности «сглаза». «Приручить» его не составило особого труда; мягкая и боязливая царевна, шокированная выходками брата и переживавшая за обиженную им госпожу Бэй, уговаривала «колдунью» представить царевичу наглядные доказательства действенности ее искусства. Она просила не тратить на это усилий, а для начала просто подловить юношу на грубом обмане. И восхитившейся таким предложением госпоже Бэй пришлось, хочешь не хочешь, напророчить недоверчиво улыбавшемуся царевичу, что завтра у него произойдет неожиданное свидание, – об исполнении обещанного позаботилась сама царевна, движимая чувством долга по отношению к своей несправедливо обиженной гостье. Удивление царевича было столь же велико, сколь охватившее его после смирение – и ощущение неуверенности перед подопечной сестры.

Став постоянным членом магического кружка – к которому принадлежал и главный евнух, – юноша ввел в него пользовавшегося дурной репутацией царевича Мэнь Кэ. Мэнь Кэ – широкоплечий увалень, бахвал, никогда не снимавший военной формы с изображением льва на нагруднике*, – был крайне польщен, что его пригласили в столь необычное общество, и в комнате с балконом, где проводились сеансы, сидел с разбухшей от впечатлений головой и разинутым ртом. Цяньлун ненавидел этого сына, грубая натура которого просто-таки бросалась в глаза и которого поэтому как бы отодвинули на задний план. Когда этот самовлюбленный солдафон с раскачивающейся походкой

кавалериста увидел искусство госпожи Бэй, он, в отличие от юного Поу Ана, не отверг сходу возможность существования подобных вещей, а, напротив, на возвратном пути, когда все еще шли вместе, казался непривычно молчаливым, помрачневшим и взволнованным – что окончательно убедило Поу Ана в чудодейственной силе колдуньи.

В хаотическом сознании Мэнь Кэ накрепко засела одна идея: завладеть госпожой Бэй и принудить ее обратить свои способности ему на пользу. Юная госпожа Цзин, которая до замужества была его наложницей, и главный евнух Шан не на шутку испугались, когда их по пути к дому госпожи Бэй нагнал посыльный царевича, передал приглашение пересесть в его паланкин, и там, пока паланкин несли по улицам, Мэнь Кэ без обиняков заявил им, что госпожа Бэй давеча предложила ему свои услуги и что он намерен воспользоваться ее темными силами. Госпожа Цзин и господин Шан помогут ему заручиться поддержкой колдуньи. Он не собирается причинять им вред. Но они должны похитить колдунью, ибо он считает необходимым застраховать себя от возможного предательства.

Возражение господина Шана – что если колдунья сама изъявила готовность ему помочь, то повода для опасений как будто нет, – хриплоголосый царевич с бычьими глазами навыкате отверг сходу. Мол, во всяком деле следует проявлять решительность и силу. А на заклинательницу призраков полагаться никак нельзя; тут госпожа Цзин одобрительно кивнула.

Так и случилось, что во второй половине того дня произошло удивительное событие: принарядившаяся к приходу гостей госпожа Бэй была похищена господином Шаном и госпожой Цзин, а после доставлена в паланкине главного царевича Мэня к какому-то уединенному дому в Запретном городе; по прибытии ее сразу же провели в одну из задних комнат, там мерзкий царевич набросился на нее, связал и усадил на пол. Шелковый платок он вынул из ее рта только после того, как почти задохнувшаяся женщина энергичным кивком головы дала понять, что кричать не будет. В то время как госпожа Бэй в роскошном отороченном мехом одеянии сидела на земле и тихо плакала,

опасаясь за свою жизнь, Мэнь грозно расхаживал перед ней взад и вперед, поигрывал парадным мечом и говорил, что сохранит ей жизнь, даже позаботится о ее безопасности, если она безоговорочно предоставит себя в его распоряжение.

Госпоже Бэй, чтобы вновь овладеть собой, пришлось прислониться к стене. Она-то думала, черный царевич разоблачил ее, а оказалось – он ее вожделеет. Это было любовное похищение – на его, царевича, ухарский лад. Она притворилась, будто испытывает стыд, сослалась на высокое происхождение своего похитителя. Коренастый вояка оперся на меч и грубо подвел итог: «Так да или нет?»; на что она, хотя и не находила его лицо красивым, нежно выдохнула «да», опять тихонько заплакала и украдкой на него взглянула.

Он объяснил все тем же угрюмым тоном, что она некоторое время будет жить здесь; покидать дом ей разрешается только в закрытом паланкине, в сопровождении господина Шана и госпожи Цзин. Отныне она не вправе по собственному почину ни заклинать духов, ни вызывать тени, ни вылечивать на расстоянии или, наоборот, насылать болезни, а должна служить только ему, царевичу Мэню. Она, вздохнув, выразила согласие.

Госпожа Цзин была немало удивлена, когда вечером навестила томящуюся в заточении подругу и та с радостным смехом бросилась ей на шею. Госпожа Бэй сказала, что, наверное, скоро привыкнет к своему новому положению. Поначалу, конечно, она боялась необузданного царевича, но, в сущности, в нем нет ничего особенно страшного, кроме его отвратительных манер. Правда, то, чего он от нее требует, будет стоить ей некоторых душевных усилий, однако – ... И госпожа Цзин радостно подхватила это «однако», принялась уговаривать подругу, чтобы та принимала происходящее спокойно и не устраивала ненужного шума. Царевич ей доверяет, но считает необходимым обеспечить гарантии сохранения тайны.

На следующее утро любвеобильная госпожа Бэй оказалась в трудном положении. Пока царевич излагал ей свои – продиктованные отнюдь не любовной страстью – намерения, она должна была скрыть разочарование и, преодолев смущение, вникнуть в

его план. Гадкий же план Мэня состоял в том, чтобы с помощью симпатической магии наслать на кого-то болезнь, а потом и смерть. Госпожа Бэй неоднократно, бывая у царевны, хвасталась – в присутствии Мэня, – что обладает такой способностью, которая, как известно, присуща любому опытному колдуну. Но теперь, узнав наконец, чего от нее хотят, она безудержно разрыдалась, и царевич долго не мог ее успокоить; она плакала о своей утраченной красоте и о том, каким позором все для нее обернулось. В какой-то момент вскочила, ударила мучителя по лицу и выкрикнула, что ни на что подобное не способна. За странными маневрами царевича скрывалась, как выяснилось, такая глупость, что утонченную женщину от нее просто тошнило. И она, разъярившись, все продолжала рыдать, вспоминала о несчастливом детстве в доме цирюльника – и успокаивалась очень, очень медленно. Царевич, покинувший ее, вернулся через два часа; она попросила у него прощения: мол, женское сердце нелегко приспосабливается к переменам; Мэнь стал подробно расспрашивать о методах, с помощью которых можно на расстоянии околдовать, убить человека; она заявила, что самое простое – послать отравленный напиток; но Мэнь после некоторых раздумий отверг эту идею: такой способ казался ему слишком опасным. Может ли она, оставаясь в доме, не выходя из отведенной ей комнаты, осуществить его план? Госпожа Бэй немного подумала и, просветлев лицом, сказала, что, пожалуй, да. Она предложила заманить дух приговоренного к смерти в куклу, куклу же зарыть у порога дома этого человека; тогда очень скоро человек, разум которого помутится, убьет себя сам или умрет каким-нибудь иным образом.

Тут Мэнь взмахнул руками: так и надо сделать. Он еще раз взял с нее клятву, что она сконцентрирует все силы на выполнении этой задачи и будет хранить тайну; если все пройдет удачно, ее вознаградят так, как она сама пожелает; ей не будет отказа ни в чем.

И потому госпожа Бэй, хотя ею и завладели насильно, лишь чуть-чуть испугалась, когда ужасный человек наклонился к ней, бряцая оружием, и шепнул в ухо, предварительно отодвинув в

сторону свисавшие с ее головного убора нити жемчуга, что речь идет об императоре – именно его ей предстоит убить.

Госпожу Бэй и раньше возбуждало доверие, которым ее удостаивали в этом кругу; теперь же кровь ударила ей в голову, пелена ослепления пала на глаза: она возомнила, что может всё и что непременно добьется власти.

Помимо госпожи Цзин и евнуха, принимавших все необходимые меры, чтобы никто не узнал о новом местопребывании Бэй, в тайну посвятили резчика по камню, который дружил с этим евнухом и часто работал во дворцах Пурпурного города. Он получил от царевича Мэня четыре тысячи лянов серебром и золотой амулет, изображающий Бога Долголетия*. Госпожа Бэй велела ему изготовить из нефрита* – с величайшим тщанием – статуэтку императора высотой в локоть; он должен изобразить императора лежащим, одетым лишь в льняную рубаху; дальнейшим оснащением куклы займется она сама.

Прошло больше пяти недель, прежде чем резчик, которому приходилось заниматься этим заказом вдали от посторонних глаз, закончил свою работу; наконец однажды вечером он достал из тележки ладно сделанный и пропитанный морилкой сундучок для книг, взвалил его себе на плечи и внес в тот дом, где жила госпожа Бэй.

Кукла из зеленого нефрита имела устрашающее сходство с Сыном Неба. Голова спящего была повернута вправо; ловивший воздух рот – слегка приоткрыт; тонкая сорочка волнами ниспадала до босых ступней; из-за того, очевидно, что спящий беспокойно метался во сне, она спустилась с правого плеча, а с левой стороны внизу задралась, обнажив крепкую лодыжку; руки с набухшими венами тяжело лежали вдоль тела. Полупрозрачный зеленый камень делал изображение похожим на труп и одновременно сообщал ему сверхъестественную живость, которая изнутри, из глубины камня, восставала против смерти и чуть ли не заклинала ее.

Заговорщики обступили статуэтку. Мэнь, уверенный в успехе опасного начинания, радостно обнял простоватого молодого

резчика, который гордо и испытующе осмотрел свой шедевр и решил, что одну складочку все-таки следовало бы подправить.

Госпожа Цзин заплакала и отошла в угол, откуда теперь доносились ее всхлипывания; госпожа Бэй, которая поначалу с деланным равнодушием рассматривала куклу, вскоре тоже почувствовала дурноту; она вздохнула, в испуге выбежала из комнаты, и госпоже Цзин по распоряжению царевича пришлось разыскать ее и привести обратно.

Дальнейшее было делом госпожи Бэй. После того, как она освободилась от своих гостей, прошло еще много дней, прежде чем она смогла спокойно приблизиться к кукле; потом царевич предоставил ей возможность несколько раз увидеть Цяньлуна, прогуливающегося в Пурпурном городе между магнолиевыми деревьями и прудами с лотосами. И при каждой такой встрече она, посредством заклинающих жестов, отсасывала какую-то часть души императора; в один день – духов пяти внутренних органов: печени, селезенки, легких, сердца, почек; назавтра – духов глаз, мозга; и каждый раз она сжимала в левом кулаке маленький предмет – изображение органа, духа которого в данный момент заклинала: из синего дерева – печень, из белого металла – легкие, из огненно-красного шелка – сердце*; вернувшись домой, прижимала эти яйцеобразные предметы к туловищу спящей куклы, к ее груди, ко лбу – воскуряя благовония, при зашторенных окнах. И кукла как губка впитывала в себя духов; камень постепенно принимал более темную окраску, фигурка становилась непрозрачной, внутри нее образовывались бурые ядрышки, от которых потом разбегались тонкие линии, трещинки – подобно кровеносным сосудам пронизывали руки и ноги, набухая, явственно проступали под кожей.

После того как госпожа Бэй, совершив последнее болезненное усилие, принесла домой жизнетворный дух императора, она заперла сундук, в котором покоилась кукла, на пятью пять дней. К концу этого срока стало отчетливо слышно, как внутри сундука что-то стонет и ворочается; черный царевич Мэнь, камнерез и красивая госпожа Цзин – все наклонились над ящиком, когда Бэй в желтом с красными всполохами шаманском одеянии,

сдержав дрожь в коленях, с трудом откинула крышку. Над сундуком тут же поднялись теплые струйки дыма с едва уловимым запахом гнили. Госпожа Бэй заранее прикрыла лицо золоченой божественной маской со змеиным языком*; теперь она голыми, выкрашенными в красный цвет ладонями схватила куклу и хищно, словно дикая кошка, прижала ее к груди.

И тут все, окружив колдунью, увидели, что голова статуэтки слегка повернулась по направлению к центральной оси; правый глаз сверкнул из-под верхнего века; складки сорочки разгладились – кукла выпрямилась. Колдунья осторожно положила фигурку на покрытый черным войлоком стол, рядом со светильником, придерживала ее одним пальцем; госпожа Цзин – дрожа, икая от нервного напряжения и часто, не замечая того, всхлипывая – принесла миниатюрный белый саван, в который колдунья быстро облачила куклу.

Была ночь; плотный туман окутывал тихие дворцы Пурпурного города; приблизившись ко Дворцу Продленного Счастья*, где спал император, четверо заговорщиков разыскали вековую тую, под которой любил сидеть Цяньлун. Царевич и камнерез быстро выкопали загодя приготовленной лопатой неглубокую яму, опустили туда зажатую между двумя дощечками куклу. Колдунья пробормотала несколько слов; под дощечкой что-то царапалось; яму засыпали землей.

И заговорщики разошлись; задуманное осуществилось.

Теперь кукла из-за нехватки воздуха начнет биться в судорогах и притянет к себе остатки души Цяньлуна; император непременно умрет: ведь кукла связана, она не сможет выбраться из могилы.

Эти события произошли в год возникновения и гибели секты «Расколотая Дыня». Император тогда редко бывал в Пурпурном городе; возможность оказать на него магическое воздействие все никак не представлялась. Госпожа Бэй уже опять жила в своем городском особняке. Царевич Мэнь часто ее навещал; вскоре он стал волноваться, грозил ей, ибо был убежден, что она из страха перед императором пустила в ход не все искусства, которыми владела. Один раз он так сильно ударил по голове

вздумавшую возражать ему даму, что у той выскочила шишка и пришлось вызывать врача.

Госпожа Бэй жаловалась на свои неприятности госпоже Цзин и камнерезу, которые постоянно бывали у нее в доме. Цзин явно обрадовалась, услышав о случае с шишкой, ибо в последнее время испытывала ревность к подруге.

Камнерез, человек хитрый и жадный, за свое участие в заговоре периодически вытягивал у царевича большие суммы денег. Осознав, как трудно будет дождаться необходимого им благоприятного шанса, он усомнился в успехе и, будучи уверенным в том, что Бэй – такая же вымогательница, как и он сам, попытался вовремя обеспечить себе гарантии безопасности. Госпожу Бэй аж перекосило от гнева, когда он предложил ей выкачать из царевича – напоследок – изрядную сумму, после чего выйти замуж за него, камнереза, и уехать вместе с ним на его родину, в Шэньси. Когда она отвергла эти домогательства и решительно поставила непрошенного ухажера на место, он решил отмстить за себя.

Работая над каменной гирляндой, которая должна была украсить фасад павильона у южного пруда с лотосами, он однажды заявил, будто у него пропал большой кусок нефрита. И представил соответствующий доклад начальнику строительных работ – а тот с неожиданной энергией занялся расследованием обстоятельств пропажи. Испугавшись, резчик сказал, что, возможно, камень исчез уже несколько месяцев назад. Его тут же высекли за проявленную халатность; только теперь, под влиянием боли, осознав, как глупо он взялся за выполнение задуманного – так глупо, что навлек наказание на себя же, – камнерез впал в истерику и выложил все, что ему было известно о заговоре.

Нефритовую куклу откопали – к ужасу придворных чиновников, пытавшихся как-то замять это дело.

Земля под туей оказалась взрыхленной; углубившись еще немного, копавшие наткнулись на странную полость вроде воздушного пузыря, на дне которой и обнаружили куклу; дощечки посередине лопнули, их половинки загнулись вверх; кукла сидела, наклонившись и зажимая обеими руками рот. По ней ползали белые опарыши, как если бы она была настоящим трупом.

Начались поиски госпожи Бэй и придворной дамы Цзин: обе пустились в бега.

Царевича Мэня настигли в его дворце; он тоже пытался ускользнуть. Когда начальник судебного ведомства, который возглавил следствие по этому делу, сообщил ему, что вплоть до вынесения императором окончательного решения он должен оставаться в своем – уже оцепленном солдатами – доме, Мэнь, чуть не лопаясь от ярости, прорычал: мол, кто уполномочил начальника судебного ведомства принимать подобные меры против одного из главных царевичей? Чиновник холодно ответил, что берет ответственность на себя, и тогда разбушевавшийся Мэнь парадным мечом сбил с его головы шапку, украшенную павлиньим пером*. Дворцовые стражники загородили чиновника; царевич обругал их последними словами и, напирая на командира – который не смел обороняться, – отхлестал его по щекам. Потом, выглянув в окно и убедившись, что дом окружен солдатами, он, смерив всех ядовитым взглядом, тихо прошел в спальню, втянул носом тончайший лист золотой фольги – и умер от удушья.

Так скончался царевич Мэнь Кэ: в то самое время, когда Цяньлун принимал в Мулани таши-ламу. Следствие, в соответствии с распоряжением императора, продолжалось, вскоре возникли сильные подозрения относительно участия в заговоре царевича Поу Ана и его сестры*.

Это известие застало императора, которому так и не удалось умиротворить своих предков, каким-то образом искупив яньчжоускую трагедию, в Мулани – и стало для него ужасным ударом. Потом приходили письма от Цзяцина, в которых царевич пытался утешить отца, говорил о своей безграничной преданности, просил разобраться в порой возникавших между ними горьких недоразумениях, а еще лучше вовсе о них забыть. Цяньлуна, одержимого идеей, что он вскоре умрет и предстанет перед предками неочищенным, эти утешения не трогали. Он боролся за достойное место среди своих предков так, как никогда не сражался ни за одну страну. Он видел себя покинутым ближайшими соратниками; порой ему казалось, что сама страна извергла его; но чаще он воображал, будто стоит один посреди бескрайней

каменистой пустоши и сражается с привидениями, уже обратившими в бегство всех других.

До него, конечно, доходили сведения о том, что провинция Чжили охвачена пожаром мятежа. Но он следил за перипетиями этого бунта с ледяным спокойствием. Чего, собственно, он хотел, сопровождавшая его свита, как ни странно, узнала позднее, чем высшие чиновники в Пекине, куда Цяньлун посылал письма, в том числе и одно – холодно-благодарственное – Цзяцину: император хотел как можно скорее вернуться в столицу, чтобы успеть еще раз побеседовать с таши-ламой до его возвращения в Тибет.

В НЕБОЛЬШОМ еловом лесу к северу от пекинского Маньчжурского города раскинулся монастырь Сихуансы*. Там жил тибетский святой.

Его путь от Мулани до Пекина был непрерывным триумфальным шествием*. Птицы обоготворяющей любви кружили черными стаями вокруг его тиары. Когда он обосновался в маленьком монастыре Сихуансы, казалось, тысячи магнетических рук выросли из монастырских стен и распростерлись во все стороны, притягивая молящихся. По приказу императора рота Красного знамени* постоянно несла караул возле резиденции высокого гостя; но и она не могла регулировать напор паломников.

Необозримые человеческие потоки: телеги, повозки, всадники, матери с младенцами, нищие, князья, бродяги; все взгляды, соединяясь, устремляются в одном направлении; все колени преклоняются по знаку деревянного жезла, поднятого серьезно улыбающимся, крепкого телосложения ламой у ворот, ведущих на монастырский двор.

По утрам Палдэн Еше покидал монастырь через задние ворота и в сопровождении двух ученых монахов пешком прогуливался по окрестностям, как простой лама – в желтой накидке и остроконечной шляпе. Он посетил восточный Желтый храм, Дунхуансы: резиденцию *чэн-ча хутухта*; потом в паланкине совершил большую поездку к охотничьему парку на горе Хуншань, расположенному к западу от озера Куньминьху. В тамошних

великолепных рощах вязов и шелковиц он буквально лучился от восторга: через ущелья и зеленые ручьи были переброшены мраморные мостики, а мимо него пробегали стройные косули.

Лесная роса еще не испарилась на его шляпе, когда он вошел в Монастырь Пятисот Лоханов*, где перед ним склонились в земном поклоне настоятель и весь монастырский капитул. Здесь, в одном из гротов, мерцали глиняные расписные изображения «восемнадцати мучений и девяти наград».

Одну ночь святой провел в прячущемся в стороне от дороги Монастыре Спящего Будды*; до наступления вечера он много часов подряд самозабвенно рассматривал колоссальную статую; оторвавшись же от нее, успел насладиться зрелищем того, как начинается под каштанами парка, среди дарующих жизнетворную влагу прудов нежная и теплая ночь.

Эта восточная земля определенно была благословенна. Люди наполняли ее; и среди них упрочивался благой закон. Чужими, но радостными глазами созерцал таши-лама красоты этих мест, изобильные, словно горы сокровищ: созерцал не как алчный стяжатель, а как жертвователь, как благодетель, который тихо улыбается, радуясь чужой радости. Молитвы и просьбы, тайные жалобы владык звучали в его ушах; даже теплый воздух не мог его отвлечь, и мраморные мостики казались невесомей дыхания; поля сорго, риса при всей своей пышности исчезали, стоило лишь прикрыть глаза рукой. Какой добрый, работящий, по всей видимости веселый народ разыгрывал здесь свое действо; и как властно он угнетал соседние народы! Но даже сам император, владыка Желтой Земли, знал, сколь мало значат десять, пятьдесят, сто, даже тысяча лет, и жаловался на свою участь. Здесь, в этой стране, все пока оживлялось чистым, сладостным, всепобеждающим духом Прекраснейшего и Совершенного Будды; еще не пришло то время, когда должно завершиться правление Шакьямуни, сперва, как гласит мудрое предание, гнет, претерпеваемый святым ламой, столь возрастет, что станет невыносим.

Что же пришлось претерпеть тем безропотным, носителям идеи «недеяния», гибель которых, как жаловался Цяньлун, сопровождалась неблагоприятными знамениями? Бедные

ищущие – Будда предоставит им подобающее место среди повторных рождений. Ужасное противоречие: император предчувствовал, как он станет Ничем, но велел убить тех, кто предчувствовал это еще глубже, сознавал всем своим нутром.

Бесконечное умножение рождений, во всех водоемах; мир за одно мгновение разрастается в десять, в тысячу раз.

Если бы мировая гора Сумеру не была окружена семью морями и семью поясами гор, то буйство похоти взорвало бы границы и выплеснулось, потеснив Пустоту*, достигло бы сияющей Сферы Форм и Бесформенной Сферы.

Как же остановить это, как не ужаснуться, не упасть, задыхаясь, лицом в траву – от страха и сознания своей беспомощности?

Ламы жили, как сваи, забитые в болотистую почву, как острова посреди бушующего моря, как осчастливливающие световые блики, – прерыватели круговращения, размыкатели кольца.

Больше помощи, больше свечей.

И они тоже так нежно горели во тьме – маленькие бродячие свечи, «поистине слабые», наши братья в миру, мертвые из того Монгольского города.

Тихое, но усиливающееся многоголосье – кваканье лягушек – стало отчетливо слышимым; рассевшийся на поверхности воды флегматичный хор пыжился и раздувал щеки.

Однажды этот удивительный человек соблаговолил посетить женщин императорского гарема*. Он сидел под зонтом из желтого шелка в открытых носилках; и не поднимал глаз, чтобы не осквернить себя созерцанием прекрасных женщин; они же трепетали под его дарующими благословение руками и, когда он покинул их, бросились целовать друг друга, счастливые тем, что им довелось его увидеть.

Время пребывания таши-ламы в Пекине близилось к концу. Тут-то люди из его окружения и стали замечать, что странник с Горы Благоденствия кажется еще более тихим и сдержанным, чем обычно. Какая-то странная усталость давила на его плечи. Он часто вздыхал; и после своих «погружений» поднимался с пустыми, ввалившимися глазами. Его ни о чем не спрашивали, ибо ни в коем случае не желали дать ему понять, что заметили

произошедшую с ним перемену. Кроме того, скорбь по этому поводу противоречила бы их духовным принципам: ведь вечно живой Будда волен сменить свое телесное воплощение, когда пожелает. И все же их охватил человеческий страх за человека, столь щедро раздаривающего свои милосердные дары. Его что-то угнетало. И как-то раз он попытался поделиться своим беспокойством с *чэн-ча хутухта* – знатоком книг, который его буквально обнюхивал, тщательно регистрировал каждый его шаг: мол, жаркий климат и своеобразная влажность этой страны, видимо, для него неблагоприятны; его тянет к черным войлочным юртам, к заснеженным степям. То было единственное высказывание такого рода; *панчэн ринпоче* никогда не говорил о себе.

Он не принадлежал к числу тех верующих, которых на всем их земном пути сопровождают особая легкость, радость; он редко общался с детьми и «простецами». При виде круглых детских глаз обычно ощущал скованность. Зато среди «отягощенных душ» чувствовал себя как дома. С ними ему было легко, дышалось свободно; и он позволял себе расслабиться, лучился теплотой. Он ведь с малых лет знал лишь жестокие и ужасные вещи, видел себя окруженным теми, кого покалечили удары судьбы.

И вот теперь он оказался заброшенным в эту гигантскую неподготовленную империю, где со всех сторон что-то, чудовищно громоздясь, наседало на него. Нескончаемо тянулись земли и люди. И он от смятения согнулся. В этом смятении он представлялся себе крестьянином, который должен вспахать всю землю восемнадцати провинций – должен вспахать ее один. Неопределенная дрожь, жужжание, головокружение, коренившиеся где-то глубоко внутри, зудом отзывались в кожном покрове черепа, пропитывали, словно губку, мозг. Страшную усталость чувствовал он в пояснице; а его сердце и легкие, казалось, болтались в нем как деревяшки и время от времени начинали стучать.

Уже четыре дня ворота монастыря Сихуансы были закрыты и во дворы не пускали посторонних. Палдэн Еше болел. В какие-то мгновения ему вспоминался монастырь, который он посетил последним, – с Лежащим Буддой. Статуя произвела на него сильнейшее впечатление, впечаталась в память. Он улыбался; ноги

не слушались – он теперь тоже не мог изменить эту позу. Врачи, которые сопровождали его, – тибетские и монгольские – еще не поставили диагноз; через каждые пять часов один из них, всякий раз новый человек, удостаивался благодати – мог пощупать пульс больного.

На пятый день началась лихорадка, лицо святого покрылось сыпью, потом гнойничками, и наконец коллегия монастырских врачей с ужасом констатировала наличие черной оспы.

У несметного множества священнослужителей, монахов, верующих будто вдруг вырвали из рук светильник. Высокопоставленные чиновники, красноречивые наставники, знатоки закона бессмысленно суетились, словно песчинки, которые только катятся, катятся неведомо куда. Из напитавшихся благовонным дымом коридоров ужасный слух выскользнул черной кошкой – крадучись и прижимаясь к стенам; пересек дворы; оттолкнувшись задними лапами, высоко подпрыгнул – и обернулся летучей мышью, шире расправил крылья; издавая пронзительный свист, полетел, уже как желто-серая комковатая туча, к горизонту, закрыл собою все небо.

Цзяцин по очереди с другими главными царевичами дежурил у постели больного, в Сихуансы; сам император, уже направлявшийся сюда, прислал срочного гонца с приказом, чтобы нищим этого города раздали триста тысяч серебряных лянов. В Сихуансы, рядом с покоями пылавшего в лихорадке ташиламы, не прекращались богослужения. Во дворах еще не успело отзвучать праздничное многоголосие литавр, рожков и белых труб, колокольчиков и гонгов; бело-голубое великолепие выставленных напоказ священных сосудов приманивало к себе солнечные блики и человеческие взгляды. И вот уже монахи окружили монастырские здания защитной оградой из молитвенных вымпелов, «благословляющих деревьев»* и «ритуальных шарфов»*. А человеческий прибой, бившийся с внешней стороны о стены монастыря, создал вокруг этих стен еще одно охранительное кольцо – из камней с надписанными на них молитвами.

Внутри было тихо. Будда боролся с Богиней Оспы*. Настоятели в островерхих шапках и священнослужители в парчовых

одеяниях, в пестрых сапогах, бестолково бегали, утомленные и бледные от бессонных ночей; постились – еще более изнуряя свои тела.

В маленьком купольном зале храма каждый третий день справляли *соджонг*[*] – великий очистительный ритуал. В то время как по сигналу «труб дхармы» человеческие массы за пределами монастыря начинали двигаться с востока на запад, медленно обходя стены под аккомпанимент скрипящего песка, перестука многочисленных четок и нарастающего подобно ропоту бури *Ом мани падме хум*, посвященные в купольном зале в кровь стирали колени, отбивая земные поклоны на циновках – длинными рядами, одна волна желтых накидок за другой. Бормотание, дребезжание колокольчиков, молитвы, хлопки в ладоши, шумовые музыкальные инструменты. С тяжелым сердцем взял *чэн-ча* с алтаря маленькое золотое зеркало, поднял его. Старейший *чэн-по* качнул кувшином со священной водой[*], в левой же руке держал глубокое блюдо. И когда *чэн-ча* повернул зеркало таким образом, чтобы на него упала тень Будды, *чэн-по* стал совершать возлияние. Все, кто был в храме, пали ниц. Подслащенная вода текла по поверхности зеркала, капала в блюдо. Тихое пение сотрясало воздух, наполненное блюдо передавалось из рук в руки. Каждый из священнослужителей смачивал себе водой темя, лоб, грудь – и плакал.

Палдэн Еше бредил. Гнойнички расползались по его бронзовой коже; сливались между собой. Поначалу их наполняла желтая жидкость, потом она начинала темнеть, делалась темно-красной, черной.

Цзяцин часами сидел у окна кельи и созерцал осунувшееся, неузнаваемое лицо мудрейшего из людей; лицо, на котором порой два совершенно неземных глаза высвобождались из-под затвора покрытых коростой век и устремляли к синему потолку холодные светлые взгляды – словно два хрустальных источника под вязами Куньминьху. Дородный царевич мучительно завидовал таши-ламе, которому Цяньлун теперь доверял больше, чем собственному наследнику. Однако он не мог сердиться на чужеземца, когда наблюдал этот освобожденный взгляд. Вплоть до

начала болезни тибетца царевич – если не считать единственного визита – избегал его, видя в нем опасного паразита, царя «желтошапочников». Однако отчаянное положение больного побудило Цзяцина быть более снисходительным; царевич долго присматривался к таши-ламе – в какой-то момент он содрогнулся при мысли, что его отец вскоре потеряет и этого человека. Цзяцин даже принес религиозный обет, который обещал выполнить, если Палдэн Еше останется в живых.

Врачи обработали тело больного шафранной мазью; связали таши-ламе руки и, держа его за локти, по семь раз прижгли ему правый и левый бок специальными мокса-сигарами, обмокнутыми в конопляное масло*. На бумажных окнах, на стенах, на пороге нарисовали охранительные красные знаки. Когда болезнь усилилась и даже во рту начали лопаться гнойные язвочки, врачи нехотя разрешили, чтобы в комнату умирающего были допущены шесть *чёйкьонгов** – колдунов для простонародья, к которым таши-лама благоволил.

Одетые в накидки из перьев, с птичьими когтями, в безобразных шлемах, на каждом из которых ухмылялось по пять черепов, колдуны, разделившись на две группы, прыгали по комнате перед впавшим в беспамятство ламой и бормотали что-то, уверенные в том, что сегодня совершат лучшее, на что способны. Они призывали ужасного бога Такмэ*.

Обступив кровать, бросали в воздух какой-то тонкого помола порошок.

В руках они держали железные трещотки; и проводили ими над больным, слегка потряхивая: «Те пятьдесят пять, что собираются на лбу, должны все исчезнуть, как и гнойники оспы. Те семьдесят семь, что собираются на горле, должны все исчезнуть, как и гнойники оспы. Те девяносто девять, что собираются на груди, должны все исчезнуть, как и гнойники оспы»*. Они еще долго упражнялись в своем варварском искусстве; потом гуськом вышли из комнаты, напоследок начертив что-то непонятное на пороге.

Но святой и правда в последующие дни чувствовал себя лучше: мог шире открывать рот, глотал холодный чай.

Тогда-то и прибыл Цяньлун.

На том месте у окна, которое прежде занимал Цзяцин, теперь сидел сам великий император – ждал; и боролся за душу умирающего.

Для Цяньлуна больше не существовало ни цензоров, ни коллегии астрологов; со старческой узостью мышления он упорно цеплялся за *панчэн ринпоче*, на которого возлагал ответственность за мятеж в северных провинциях и который скрыл от него правду, подлинную правду. Да, только Палдэн Еше мог ему помочь.

С застывшим лицом сидел Желтый Владыка на фоне разрисованного красным бумажного окна, ждал пробуждения святого. Сложив руки на коленях, Цяньлун бесстрастно, но внимательно следил за всем, что происходило в комнате. В нем не было нетерпения. Палдэн Еше не мог от него ускользнуть.

На следующий день он опять пришел – и опять ждал.

Вечером третьего дня Палдэн Еше открыл карие глаза и долго не закрывал их, выглядывал в прорези маски из черных стружьев; он узнал Цяньлуна и шевельнул губами. Узнал он и шестерых священнослужителей высокого ранга, которые стояли вдоль стен и ни на мгновение не покидали комнату, чтобы не пропустить приход смерти.

Цяньлун наклонился к уху больного: «Я, ваше святейшество, скорблю о том, что вы так сильно страдаете в моей стране».

Палдэн Еше, казалось, хотел улыбнуться. Но только покачал головой и издал булькающий звук.

Тогда старый император, не смущаясь тем, что здесь приуготовляется величайшее событие – отделение Будды от его последнего телесного воплощения, – заговорил. Он время от времени спрашивал, понимает ли его больной. Тот отчетливо кивал. С жесткой определенностью Цяньлун описал недавние события: мятеж, злодеяние царевича Мэня. Глаза Палдэна Еше, пока Цяньлун шепотом излагал все это, оживились. Святой теперь был в своей стихии – среди «отягощенных душ». Когда Цяньлун довел рассказ до конца, он увидел, что колокола карих глаз качнулись – однако губы больного хотя и дрогнули, но не сумели произнести ни слова.

Император выпрямился, с суровым видом откинул голову.

На следующий день, после полудня, он опять сидел у постели святого. Шесть священнослужителей высокого ранга, в нищенских одеяниях, неподвижно стояли у стен, ждали. Император на сей раз шептал настойчивее, повторил свой рассказ, взял больного за запястья, попросил дать ему новый совет, обещал, что построит для Желтой Церкви монастыри в каждой из своих провинций.

Больной силился что-то сказать, улыбался. Но отвечал лишь глазами – и потом взгляд его опять потухал. Лицо императора исказилось от гнева.

Когда император на следующий день вошел в ту же комнату, он застал святого сидящим на кровати. Только четверо священнослужителей, босые и в коричневых рясах, стояли теперь у стены. Двое других поддерживали больного, который не открывал глаз и вообще больше не мог их открыть: у него опухли щеки, веки, лоб. Оба бритоголовых помогали ему, потому что он подал знак, что хочет пройтись. Тяжелая дымка благовонных курений окутывала помещение. В этом тумане Желтый Владыка остановился и как бы окаменел. Никто даже не взглянул на него. Святого поворачивали лицом к Западу. Паланкин Цяньлуна вскоре отправился в обратный путь.

Между зигзагами горячечного бреда, помутнения сознания, мельтешения пестрых пятен Палдэн Еше бодрствовал и видел сны. Стягивающие тело конвульсии, ощущения внутренней опустошенности и головокружительного заглядывания в бездну, состояния упругой просветленности сменяли друг друга. Давящая усталость куда-то улетучивалась. И всплывали белые стены родного монастыря, матовым золотом вспыхивали его крыши. Покойный далай-лама быстро проходил мимо под своим зонтом. Только бы совладать с этими образами, опомниться, опомниться! Короткая передышка в белых залах. Люди, сколько же их – на верблюдах, повозках, тысячи падающих ниц людей. Монастырские ворота, паланкины, гонги. Помощь на море, большие лодки, малые лодки. Он – гигантский, бесплотный – волочил за собой свое Тело Излучения* с фосфоресцирующим

шлейфом, был столпом высотой до неба, который медленно поворачивался вокруг собственной оси. Никакой дрожи он больше не чувствовал. И вообще не знал, его ли это ощущения – то, что он сейчас испытывает, – или же ощущения других, многих, неисчислимых сознаний. Он парил. И было окутано тайной это парение между шестью таинственными слогами.

Три дня и две ночи шестеро священнослужителей поддерживали святого, который должен был умереть сидя, как Будда. Двое – они менялись попарно – подпирали его спину, все норовившую ссутулиться. Один обнимал голову и не давал ей упасть. Один прижимал к груди умирающего его руки с узловатыми, словно камышинки, пальцами и придерживал остроугольные локтевые сгибы. Один следил за переплетением ног. Один разворачивал ступни, огненно-красные, чтобы они смотрели вверх.

Утром третьего дня Амитаба наконец покинул тело Лобсана Палдэна Еше. Мертвое тело застыло в позе молящегося Будды.

Прошли недели, прежде чем тело Еше отправилось обратно к Тибету, месяцы – прежде чем оно добралось до Ташилунпо, обливающегося слезами города. Дух Будды к тому времени уже давно бродил по любимым заснеженным полям и пастбищам, гладил косматых яков, искал ребенка, которого ему захочется сделать своим новым прибежищем.

Между тем, люди в пекинском монастыре Сихуансы окружили сожженное болезнью тело Лобсана Палдэна Еше, сына тибетского чиновника. И набальзамировали его.

Наутро после кончины таши-ламы перед монастырем зазвучал императорский гонг. Цяньлун в белом траурном одеянии, без пояса, без кольца, без головного убора, остановился перед лилово-бархатной скамьей, на которой в пугающей неподвижности, скрестив ноги, восседал в своем желтом «папском» облачении ужасный Будда.

Черные струпья свисали с раздувшегося лица. Кровянистая слизь капала изо рта. Вместо губ нижнюю половину этой жуткой маски* пересекали два тугих валика. Веки были закрытыми; но, как ни странно, уже не опухшими – и потому по сторонам от бесформенной переносицы явственно различались зеленоватые

впадины глазниц. Тиара с пятью изображениями Будд, усыпанными драгоценными камнями, сползла на лоб. По груди, по расшитой золотой парче, стекали струйки гноя и терялись под накладными рукавами.

Справа и слева от сидевшего на тронном возвышении Будды, на маленьких столиках, были приготовлены подношения для умерших: пирамидки с рисовыми шарами и глиняными фигурками*. Горели ароматические палочки. Священнослужители и *чэн-ча* благоговейно прикасались губами к доскам пола.

Минуту Цяньлун стоял без движения. Его взгляд скользнул от того места у окна, где он недавно ждал пробуждения святого, к восточной стене, возле которой теперь возвышалось смертное ложе. С холодной невозмутимостью изучал он лицо вознесшегося к небесам ламы. Без отвращения наблюдал за тем, как медленно лопался кровяной пузырь на нижней губе и как потом из него стала сочиться мерзкая жидкость.

Этого человека болезнь отметила своей печатью не зря. Его тело покрылось гнойниками. Он, следовательно, был ничем не лучше прочих молящихся лам. Что ясно показала его судьба. С одной стороны – Монгольский квартал, с другой – черная оспа: хорошо бы взвесить их на весах. Покойный ныне владыка «желтошапочников» не смог дать императору никакого совета, несмотря на то, что прочитал горы книг – Канджур и Танджур.

И тут Цяньлун усомнился. Холодность вдруг разбилась вдребезги. Он упал на колени перед сидящим трупом и зарыдал, но никто в комнате не понял, что плачет он от нестерпимой обиды на ламу, что он яростно обвиняет разодетого в парчу мудреца, обманувшего его ожидания. Цяньлун в своем ослеплении позволил этому обманщику завлечь его, императора, на тонкий лед. А там благодатный старец ускользнул от него, прежде чем император успел опомниться. Насмешник – он мог, когда хотел, плеваться кровью, мог бросить на императора умиротворяющий взгляд, но ни единого внятного слога так и не произнес.

Саркофаг в форме пирамиды-реликвария* Цяньлун повелел изготовить из золота. Туда поместили тело Палдэна Еше. Оставшиеся пустоты заполнили белой солью.

Затем на протяжении ста дней справляли заупокойные службы, в которых принимали участие все северные провинции, вся Монголия. Весь народ горевал об удалившемся Будде. А ведь это был не Тибет!

Бесконечная траурная процессия пришла в движение, повернула сперва не к северу, а на запад. Медленно обтекала она западные провинции; люди толпились вокруг золотой ступы и держали ее крепко, будто она была пагодой, дарующей защиту тому или иному месту. Ни днем, ни ночью тяжелый ковчег с трупом не касался земли: он перемещался с одних плеч на другие. После того, как в Сихуансы его – под вой огромных труб – подняли с земли, он вновь опустился на землю только в Ташилунпо, в белом сотрясающемся от рыданий монастыре, через семь месяцев и восемь дней. В Сихуансы в том же году выросла мраморная пагода, которую Цяньлун посвятил памяти святого*; золотая верхушка памятника изображала тиару таши-ламы; сбоку размещался алтарь, над ним колыхались длинные шелковые вымпелы.

ЧЕРЕЗ ДВА ДНЯ после смерти Палдэна Еше в малом зале для приемов* перед возвышением с троном Сына Неба собрались люди из ближайшего окружения Цяньлуна. Сам он часто поглядывал в сторону широко открытых окон. Агуй сидел внизу, но близко от возвышения, рядом с Чжаохуэем и Суном; там же был и Цзяцин, чей визит вежливости император недавно принял – и потом несколько раз приглашал царевича на аудиенции, правда, так и не удостоив его приватной беседы.

Двенадцать господ расположились группами за лакированными четырехугольными столиками, вокруг которых были расставлены черные табуреты с желтыми и красными подушками. Больший по размерам круглый стол в середине нижней части зала ломился от блюд с разными сортами овощей, дынями, салатами, консервированными утиными яйцами. На других столиках теснились пиалы с бессчетными видами супов, «ласточкиными гнездами», акульими плавниками под грибным соусом, морскими гребешками, корневищами лотоса, побегами бамбука; а также жареным утиным мясом с грецкими орехами,

жарким из свинины. На десерт подавали сладости, миндаль, дынные семечки. Императорские слуги бесшумно сновали между гостями, разносили чай и кувшины с вином. Все обменивались поклонами, поднимали чашечки, усаживались поудобнее, тихо переговаривались.

Зазвучала струнная музыка. Гостям предложили воспользоваться веерами. У длинной стены зала, напротив императорского возвышения, раздвинулся занавес и открылась небольшая сцена. Под протяжные звуки струнных инструментов, к которым теперь присоединились деревянные трещотки, на сцену поднялись танцовщицы; их тела отличались таким изяществом и стройностью, будто то были не девушки, а юные евнухи*. Кроткие глаза смотрели красноречиво, но сдержанно; щеки, губы, брови были искусно накрашены; меж прядями черных париков покачивались звенящие серебряные подвески; черные шелковые халаты, уложенные широкими складками, просторные желтые шальвары, подвижные крошечные ножки, обутые в зеленый атлас... Однако гости лишь изредка удостаивали прекрасных танцовщиц брошенным вскользь взглядом. А те, разделившись на пары, расставили на сцене павлиньи перья и стали с молниеносной быстротой кружиться меж ними, то грациозно сближаясь, то вновь разбегаясь; высоко подпрыгивая, они перескакивали через перья, приземлялись на одну ногу, на носок, и потом медленно поворачивались на этой ноге, в то время как их воздетые кверху гибкие руки боролись между собой, искали одна другую и сплетались вместе.

Девушки танцевали бесшумно, словно персонажи театра теней. Цяньлун часто поглядывал на Цзяцина, который, как всегда, сидел в одиночестве, грезил о чем-то.

Нежный женский голос пел за сценой под аккомпанемент скрипки и лютни. Все было так, как описано в известной старой песне: голос звучал приглушенно и печально, нижние струны журчали словно река, верхние – тихо шелестели, а когда музыка заиграла быстрее, стало казаться, будто жемчужины градом посыпались на мраморный пол... Жалующийся голос скандировал строфы Ду Фу:

Бросаюсь в траву, от отчаянья губы кусаю,
А пальцы мои на струнах печали играют,
И слезы все льются и льются, не иссякают...

Хватит ли сил, чтоб дальше по жизни идти?
Мы все одиноки на горестном этом пути...

И, опять-таки в соответствии со словами той старой песни, заключительная часть музыкальной пьесы приводила на память образ разбившегося сосуда и вытекающей из него воды; потом смычок в последний раз дотронулся до струн скрипки, и они, затрепетав, издали такой звук, будто кто-то разорвал сверху донизу шелковое покрывало.

Цяньлун опустил голову. Перед его глазами вновь стояло изъеденное нарывами лицо тибетского Будды; почерневшие лоскуты кожи свисали с опухших щек; плоский и ровный лоб стал выпуклым как у больного водянкой мозга. Живой Будда приехал из Ташилунпо в Мулань, но в обратный путь из монастыря Сихуансы отправился обезображенный комок плоти.

Скрипка, лютня и женский голос по желанию Желтого Владыки еще трижды исполнили песню Ду Фу о бренности всего земного.

Потом Цяньлун поднялся. Один из евнухов подошел к Цзяцину и шепнул ему что-то на ухо. Танец, пение, застольные разговоры на несколько мгновений прервались – и все присутствующие трижды три раза коснулись лбами земли.

В то время как веселье в пиршественном зале нарастало, танцовщицы ритмично кружились в вихревом «танце с лентами», а затем появились скоморохи и, путаясь в зеленых и красных мешках, стали потешно носиться друг за другом, Желтый Владыка торопливо шагал рядом с Цзяцином под надменными кипарисами, которые вздымали свое темное пламя – один факел за другим, один за другим – к розовеющему вечернему небу.

Цяньлун потребовал от сына, чей коричневый верхний халат при быстрой ходьбе разлетался спереди, открывая

огненно-красные складки нижнего одеяния, чтобы тот как-то оправдал свое поведение в связи с хорошо известным ему инцидентом.

Цзяцин вздохнул и ответил не сразу: сперва подавил в себе раздражение и нетерпение, и уже потом спокойно упомянул письмо, которое отправил в Мулань сразу же после того, как было разоблачено злодеяние Мэнь Кэ.

Но Цяньлун этим не удовлетворился; он хотел услышать что-то еще; слово «извинение» слетело с его губ, и Цзяцин воспринял это как намек.

Император желал примирения. Цзяцин удивился. Почему-то ему стало больно оттого, что Цяньлун почувствовал – и дал почувствовать сыну – свою слабость.

Цзяцин многословно и витиевато заверил отца в своей преданности, объяснил, что абсолютно ни в чем не виноват, и постарался, чтобы в его словах не прозвучало ни единой нотки горечи.

Император в ответ разразился какими-то безумными упреками: здесь, в Пурпурном городе, живут только избранные; но на его жизнь посягнули его же сыновья – выходит, никакого почтения к родителям не осталось; ему не хватает слов, чтобы выразить Цзяцину, как ему противно все это: то, что он – отец сыновей, которым незнакомы даже азы общественного порядка. Старость уже подступает к нему, это они верно подметили. От поведения собственных детей его тошнит; да, он стыдится своих детей.

Не возражая против нелепых обвинений, Цзяцин вздохнул: он, мол, надеялся, что покойному Палдэну Еше удалось освободить отца от всех тревог. Разве драгоценный учитель, пребывая в Мулани, не просветил императора и не наставил его на правильный путь?

«Наставил на правильный путь! Цзяцин, мы с тобой оба уже далеко не юноши. Ты только вдумайся, как просветил меня этот драгоценный светильник – прежде, чем угас: разве драгоценный учитель не обманул меня, еще прежде чем умер? Наместники непрерывно шлют доклады о мятеже; мне остается лишь

радоваться, что пожар разгорелся. А все из-за Палдэна Еше, *панчэна риннпоче*, Океана Мудрости, Драгоценности с Горы Благоденствия. Чтобы добиться такого результата, совсем не требовалось столько мудрости».

Цзяцин зашелестел, осторожно зондируя почву: «Этот чужестранец не знал наших духов земли*. Он говорил и рассуждал мудро. Только едва ли с помощью тибетской мудрости можно освободить от тревог восточных людей».

Цяньлун бросил на сына чужой, отстраненный взгляд; он помрачнел, когда вновь повернулся к кипарисам. И так – отстраненно – шел рядом с Цзяцином, от отстраненности которого втайне страдал. Они приблизились, к ужасу царевича, к той самой скамье под туей, возле которой Мэнь Кэ и госпожа Бэй закопали магическую куклу. Император тяжело опустился на деревянное сиденье, выставил вперед подбородок, посмотрел на землю, обмахнул ее веером и продолжал говорить, пристально глядя в глаза Цзяцину.

«Ты, Цзяцин, должен стать моим преемником. Я оставил надежду найти лучшего. Я больше не могу надеяться, вы вытравили у меня такую способность. Смотри, видишь этот ключ – он подходит к моему письменному столу; когда Небо призовет меня, ты откроешь стол и найдешь в книге "Ли Цзи"* указ, назначающий тебя наследником».

Он все еще не отводил взгляда от мясистого невозмутимого лица Цзяцина. Цзяцин печально смотрел в пространство перед собой; его дряблое левое веко подергивалось: «Я бы не хотел быть наследником августейшего повелителя. Я не вижу большой разницы в вашем обращении с Поу Аном, которого вы сослали в Джунгарию, и мною, которого хотите возвести на трон Чистой Династии. Вы и меня в чем-то обвиняете. Хотя я этого не заслужил».

Оба помолчали. Из зала, где пировали гости, опять донеслась та красивая песня:

Хватит ли сил, чтоб дальше по жизни идти?
Мы все одиноки на горестном этом пути...

Император, похоже, забыл, о чем говорил только что. Цзяцин с глубоким удивлением отметил необыкновенную переменчивость отцовского лица: выражение напряженной сосредоточенности то и дело сменялось полнейшей вялостью черт. То, что у Цяньлуна после возвращения из Мулани возобновились наплывы старческой слабости, что движения его губ, линии рта утратили резкость, Цзяцин заметил только сейчас. Сперва ему казалось, будто император сохранил свою прежнюю импульсивность, однако в глазах отца все чаще проскальзывали беспомощность, жалоба, страх – нечто совершенно для него чуждое. Особенно пугало Цзяцина иногда появлявшееся во взгляде Цяньлуна выражение тревожного ожидания и затравленности, которое всегда сменялось апатией. Этот странный взгляд до такой степени угнетал царевича, что он, проникнувшись смутным предощущением несчастья, едва сдерживал себя, чтобы не уйти.

Он сказал, заметив, что Цяньлун уже долго прислушивается к звучащей в отдалении песне: «Мой отец, вероятно, целыми днями внимал наставлениям западного мудреца. И, кажется, хотел бы поговорить со мной об этом...»

«О Палдэне Еше?»

«Да».

«Может, лучше об этой скамейке? Она нравится мне больше, чем Палдэн Еше. Ты ведь знаешь эту скамью? Однажды в новолуние сюда прокрались не то три, не то четыре человека: окривевшая на один глаз госпожа Бэй, жирный увалень Мэнь Кэ, Поу Ан – дитя с сердцем преступника; и некая госпожа Цзин, лица которой я не помню. А я, Цзяцин, был пятым. Я, правда, тогда находился в Мулани или в монастыре Колотор – и спал; но, пока я спал, госпожа Бэй насильственно воздействовала на меня. Такое возможно, в том нет никаких сомнений; я это знаю по своим недомоганиям – когда я теряю себя на целые недели, а потом нахожу снова. Она сумела загнать меня в маленькую нефритовую куклу и колдовством приближала мою смерть: просто двигая рукой – так, и так, и так; а потом они пронесли меня, живого мертвеца, мимо вот этой скамьи, закопали – вот здесь – в землю. Чтобы заживо погребенный, задыхающийся вампир

вырвал у меня все, что не сумела вырвать та ведьма. При погребении присутствовали Поу Ан, мой сын, и Мэнь Кэ, тоже мой сын; их глаза сверкали от алчной радости – глаза малыша Поу Ана и жирной скотины Мэня. Я хорошо представляю себе ту ночь. А где был *ты* той ночью, Цзяцин?»

«Возле Нефритового источника, на горе Ваньшоушань».

«Ты был на Ваньшоушане... Да, вас никогда нет поблизости, когда я в вас нуждаюсь... Если бы не мертвецы, я был бы совсем одинок. Они – мои единственные друзья; я все еще надеюсь на них. Тени – мои единственные друзья».

«Боюсь, визит тибетца оказался слишком обременительным для августейшего повелителя. Вы выглядите таким усталым; ваши руки дрожат».

«Это из-за госпожи Бэй, и Мэнь Кэ, и Поу Ана – проклятого отродья. Вот до чего они меня довели. Сделали полусумасшедшим: я даже попросил совета у Палдэна Еше; более того – почитал за счастье, что лама удовлетворил мою просьбу; и вот теперь, на этой скамейке, у меня дрожат руки – у меня, сына Юнчжэна, внука Канси! Вот и все решение западно-восточной загадки! Да, *панчэн ринпоче*, твой деревянный жезл уже не приводит меня в трепет; куда интереснее – твои черные струпья, облезающая клочьями кожа. Ты разоблачен... Я сильно дрожу, Цзяцин?»

«Это, скорее всего, из-за вечерней прохлады. Если мы вернемся в зал, к гостям, моему отцу наверняка станет лучше. Или если пройдем к орхидеям. Вы ведь раньше предпочитали мои орхидеи всем другим. Не угодно ли вам подняться? Удостоив меня своим доверием, вы, отец, подарили бы мне величайшее счастье. Я не пренебрегал и впредь не буду пренебрегать ничем, чтобы выказать вам свою сыновнюю почтительность. Так не соблаговолите ли вы подняться?»

«Нет, побудем еще немного здесь».

«Вы что-то ищите на земле? У вас что-то упало?»

Цяньлун наклонился вперед и теперь разгребал землю своим усыпанным драгоценными камнями веером.

«Нет. Ничего не упало. Я только хочу тебе показать, что ничего не боюсь. Что я еще способен померяться силами и с госпожой

Бэй, и с этим гаденышем Мэнем. Я не боюсь ночи. Видел бы ты меня вчера, в сумерках. Как я прокрался мимо караульных у ворот. И пошел дальше, через сад, – никто меня не заметил. Незачем собираться вчетвером, чтобы нести одну куклу; ее заворачивают в кусок полотна и держат на сгибе руки, как младенца. Она, правда, немного тяжелее и холоднее. Я часто носил так самого Поу Ана; я очень люблю детей. Такая кукла и не кричит... Видишь, Цзяцин, я нашел то место».

Он с силой разгребал землю; Несколько пластинок его белого веера переломились и болтались сбоку. Цяньлун, похоже, углядел что-то в яме: запустил туда руку, пошарил. Земля была рыхлой. Он потянул за один конец... белый платок; что-то темное поднималось вместе с тканью; внезапно какой-то тяжелый предмет выкатился из платка. Цзяцин вскочил с места – одновременно с императором, который быстро подхватил куклу и теперь, торжествуя, показывал ее отшатнувшемуся царевичу.

«Ну так как, Цзяцин, боюсь я чего-нибудь или нет? Тебе незачем пугаться: это ведь я сам; я не хотел околдовывать никого другого. Вас-то мне незачем "околдовывать", как вы это называете; с вами я и так справлюсь. Как красиво меня здесь похоронили. Госпожа Бэй, должно быть, превосходная портниха, коли сумела так точно скопировать мой халат, верхнее одеяние, пояс, веер – смотри-ка, даже мое кольцо. Если бы я был демоном и не знал, кто такой Цяньлун, я бы и сам попался в эту ловушку. Красивая фигурка, драгоценная; братец, братец, какой же ты красивый, живой! Подари мне свое колечко – должны же мы поприветствовать друг друга, мой поздно рожденный нефритовый брат!»

Цзяцин охнул и содрогнулся. Он боялся дотронуться до завернутой в погребальный саван статуэтки, но знал, что должен отобрать ее у Цяньлуна.

«Отец, что вы... Отдайте фигурку мне. С такими не играют... Пожалуйста, ради меня, отец: нас могут увидеть из окна пиршественной залы...»

Изысканные звуки скрипки опять доносились из-за кипарисов. Желтый Владыка, с лицом, скривившимся в радостной гримасе, все рассматривал куклу, все прижимал ее к себе: «Ду Фу

был неправ, Цзяцин. По большому счету Ду Фу неправ, и это меня радует. “Хватит ли сил, чтоб дальше по жизни идти? Мы все одиноки на горестном этом пути...” Мне хватит сил, ибо я нашел себе попутчика – каменного. Даже не знаю, он ли это – тот, кто стоит вот здесь, или я – тот, кто только что лежал там. Но определенно, Цзяцин, мы с ним заодно – кукла и я. И потому находим жизненный путь достаточно сносным. Приноси нам жертвы, Цзяцин, дорогой сын, почитай нас обоих! А сейчас проводи нас в мое жилище, в наше жилище».

Цзяцину наконец удалось вырвать куклу из рук императора, и она упала в яму.

У императора было торжествующее лицо, на котором застыла гримаса ожидания. Он устремил взгляд на мраморные колонны своего дворца и, казалось, с восторгом прислушивался, с благодарностью «преклонял ухо» к плохо различимому шуму.

Он повторил шепотом: «Проводи же нас, дорогой Цзяцин, в наши покои. Мы не забудем о твоей любезности».

Больше они не обменялись ни словом. Просто пошли к императорскому дворцу, через мраморный мостик. Цяньлун внезапно обернулся и направился в сторону пиршественного зала, где по-прежнему играла музыка. Но, сделав несколько шагов, передумал и догнал Цзяцина.

Император все более замедлял шаги по мере приближения к своему дому, перед которым горели белые и желтые фонари. На прощальное приветствие и поклоны смущенного Цзяцина внимания не обратил. Перешагивая порог, пригнулся, будто боялся задеть головой низкую поперечную балку.

В ТУ НОЧЬ, которая была ночью новолуния, Цзяцин спал неспокойно. Ему снились такие ни с чем не сообразные сны, что ко времени третьей ночной стражи он больше не находил себе места на жаркой лежанке, неловко слез с нее и, полусонный, стал одеваться в совершенно темной комнате. Только уже полностью завершив туалет и шаря по столу в поисках шапки, он окончательно пришел в себя, проведя языком по небу, почувствовал, какое оно липкое, и замер, удивляясь тому, что среди ночи зачем-то оделся.

Он посидел в темноте, потом прошелся между напольными вазами, потом, мучимый внезапным беспокойством, вышел из комнаты и остановился посреди двора.

В птичнике для перепелов, контуры которого он различал смутно, что-то ворковало и шебуршилось; влажный и прохладный ночной ветерок подметал широкие парковые аллеи Пурпурного города, погрузившегося в такую жуткую тьму, какой Цзяцин никогда не видел.

Сердце у него колотилось с едва слышными присвистами; он не знал, зачем стоит здесь и почему смотрит на верхушки деревьев.

Он медленно повернулся, чтобы пойти обратно, но через пару шагов сообразил, что его первоначальное намерение заключалось не в этом: ему хотелось немного прогуляться по парку и таким образом освободиться от гнетущего беспокойства.

И он, шаркая, пересек двор, вышел на дорогу. Галька хрустела под нежными босыми ступнями; он шагнул в сторону, на траву, чтобы не шуметь: потому что даже собственные шаги его пугали. Его пугало, что здесь, в темноте, кто-то идет один, без сопровождающих; и он удивлялся, как могло получиться, что этот «кто-то» не взял себе попутчика.

Беспокойство Цзяцина делалось тем сильнее, чем больше он удалялся от дома: оно нарастало с каждым новым поворотом дороги. Царевич и сам не знал, чем он руководствуется, выбирая то или иное направление. Каждый раз, когда из гущи деревьев выныривал очередной домик, Цзяцин надеялся, что уже достиг своей цели; он, правда, не знал, где должна находиться эта цель, но тотчас понимал, что еще не добрался до нее. От сильного возбуждения он часто вздыхал и растирал обеими руками щеки.

Деревья теперь поредели; царевич ощупью пробирался вдоль длинного ручья, мусолившего что-то черными пальцами. Внезапно он застыл, наклонившись вперед и держа сложенные ладони на уровне груди, как пловец; с зажмуренными глазами.

Тут черная фигурка быстро приблизилась со стороны дороги, он распознал ее только по скользящему движению; хотела

прошмыгнуть мимо, уже прошмыгнула. Но он побежал за ней, в четыре прыжка догнал, схватил.

То была женщина с распущенными волосами, она уперлась головой в грудь царевича, стараясь его оттолкнуть.

И прошептала: «За что?»

Он дал ей пощечину, сцепился с ней у ствола кипариса. Только теперь Цзяцин понял, что подошел совсем близко к императорскому дворцу.

С трудом переведя дух, он крикнул: «Демоница, где ты сейчас была? Что делала? Назови свое имя!»

Она укусила его за палец, бросила на него снизу злобный взгляд. Он попытался было швырнуть женщину-привидение об корень дерева, но звука удара не последовало: она удержалась, обхватив его за ноги.

Цзяцин не мог одолеть эту каргу, и когда заметил ее злобную улыбку, мурашки ужаса пробежали у него по спине; он, бешено пинаясь ногами, высвободился, и женщина с визгом кинулась прочь. Цзяцин успел ухватить ее за пояс – там у нее висела крепкая веревка, которую она попыталась у него вырвать. Но он скрутил ведьму, набросив на ее запястья петлю, и потащил хнычущую женщину за собой к императорскому особняку, окутанному непроглядным мраком; там привязал ее за руки и за ноги – хотя она упиралась и изрыгала проклятья – к каменному столбу, возле которого обычно оставляли слонов, и, дрожа, на мгновение замер у двери.

Потом переступил через порог. Ему вспомнилось, как странно давеча пригнулся император, несмотря на свой небольшой рост, когда проходил сквозь этот высокий дверной проем. Невольно он и сам пригнулся.

Цяньлун в тот вечер не сразу лег спать. Просмотрев в рабочем кабинете бумаги и внеся несколько поправок в свою поэму о городе Мукдене, он приказал подать ему легкий ужин. Дворецкие еще тогда подумали, что император, очевидно, выпил слишком много вина – потому что после окончания трапезы он продолжал молча сидеть за столом и не позвал ни музыкантов, ни тех приближенных, с которыми любил играть в «угадывание пальцев».

Не проронив ни слова, как будто вовсе их не заметил, прошел Цяньлун и мимо облаченных в пурпур прекраснейших наложниц гарема, которым Ху, чтобы поднять настроение государя, специально велел собраться у дверей трапезной. Мимо шеренги евнухов и служанок, отвешивавших ему земные поклоны, Цяньлун проследовал то убыстряя, то замедляя шаги. Только раз поднял руку, обернувшись к камердинеру с фонарем, который светил ему под ноги, распорядился: «Агуя...», – но передумал и жестом отменил сказанное.

В спальне он немного почитал при свете масляной лампы: книжечку, которую подарил ему Палдэн Еше, какой-то тибетский трактат в маньчжурском переводе – «Молитва, освобождающая от бездны промежуточного состояния»*.

Отослав слуг, вытянулся на мягком ложе, заснул ненадолго, не выпуская из рук зажатых между дощечками листов, потом, проснувшись, с изумлением обвел взглядом просторную высокую комнату, пропитавшуюся запахом амбры. Его борода потеряла форму, склеилась, одна щека горела, а ладони и ступни замерзли. Он попытался сориентироваться. В горле – обжигающая горечь.

Ни звука снаружи; должно быть, уже глубокая ночь. Цяньлун неуклюже передвинулся на край кровати; пояс давил; император развязал его и бросил вместе со сломанным веером и звякнувшими подвесками на красный ковер, так что тисненые золотые орхидеи, соприкоснувшись, сверкнули как звезды.

Он поймал себя на том, что громко стонет, и подумал, что, наверное, вот-вот заболеет, – но такого рода связные мысли приходили к нему лишь в отдельные мгновения. Нетвердо держась на ногах, он стал искать что-то между шкафами, зеркалами и вазами, заглянул во все углы, пощупал ковер, поскреб ногтем ворсистые цветы, встав на колени, попытался оторвать сверкнувшую золотую звездочку, чтобы с ее помощью очистить от налета язык.

В одном из углов комнаты щипала траву бронзовая корова. Цяньлун, наклонившись и закатав рукав, оперся правой рукой о холодную металлическую спину и занес ногу, будто хотел сесть верхом на статую.

Он поднял упавшие листы тибетской книги. Присев на постель, снова и снова вертел дощечки переплета, со стонами прижимал их к груди, так что они в конце концов треснули, заодно порвав его длинное жемчужное ожерелье. Тогда, зарыдав, он прижал пачку листов к лицу, всхлипнул: «Палдэн Еше, Палдэн Еше...», и, поскольку головой уткнулся в сгиб левой руки, стал вслепую – правой рукой – собирать жемчужины, которые посыпались ему на колени.

Соскользнув с кровати, старый государь продолжил поиски на полу; каждый раз, набрав горсть жемчужин, он пытался положить их в карман пояса – только пояса-то на нем не было, и они опять раскатывались в разные стороны.

Наконец он встал, зашаркал по ковру, бормоча: «Молитесь, молитесь. Палдэн Еше, молитесь. Меня обкрадывают. Молитесь, Палдэн Еше...»

Добравшись до другого конца застеленной белой простыней кровати, император повернулся к стене. В стене имелось углубление – похожая на шкаф ниша; в нише размещался алтарь с табличками предков. Цяньлун проскользнул за алтарь; его монотонные всхлипывания напоминали теперь стенания замученного палачами преступника. Потом он с ослепшими от слез глазами вернулся к своему ложу, сорвал с него пурпурное покрывало и потащил к нише. Он спотыкался, путался в громоздком полотнище и дважды останавливался, потому что под ногами хрустели жемчужины. Потом поднял пурпурную ткань и трясущимися руками повесил ее над алтарем, зацепив за серебряные таблички предков.

После чего с облегчением вздохнул и рухнул на табурет; сидел тихо, уронив голову на грудь, только иногда хмурил лоб и приподнимал веки. И часто шевелил губами.

Сразу же после того, как барабанная дробь возвестила начало второй ночной стражи, входная дверь качнулась. Цяньлун, не поднимая головы, пристально за ней наблюдал. Ему казалось, он запер дверь. Но, видимо, все-таки нет, поскольку она явно покачивалась. Шелк, неплотно обтягивавший раму стоявшей у двери ширмы, раздулся пузырем. Две жемчужины, мирно лежавшие

возле ступней, вдруг покатились, из-под ширмы вынырнула еще одна, крупная. Тут за спиной императора что-то хлопнуло, и он обернулся.

Худая женщина в дымчато-голубой накидке раскачивалась на незажженной люстре, старалась, но не могла дотянуться ногами до пола. С потолка дуло; женщина, видимо, проникла в комнату через потолок.

Это приведение с развевающимися космами спрыгнуло на Цяньлуна – который вскочил с места – и закричало, прижимаясь к его груди: «Зачем встал? Почему мне не помогаешь?»

Император в страхе отшатнулся, извинился: он, мол, ее не знает.

Она отбросила накидку; на поясе висела связка тонких веревок. «Только попробуй сбежать! – кричала женщина. – Говоришь, не знаешь меня? Кого же ты тогда ждал? Моя накидка порвалась».

Огляделась в комнате, шмыгнула к стенной нише: «И гребень потерялся...»

Сорвала красное полотнище; старый государь подбежал к ней, что-то вымаливая.

Таблички предков слабо задребезжали. Цяньлун, плача, попробовал схватить ее за руки. Издевательски смеясь и показывая язык, женщина-привидение прикрепила веревку к бронзовым цепям, на которых висела люстра, пересекла комнату, волоча за собой красное покрывало, – Цяньлун, нечаянно наступив на скользкий шелк, с грохотом повалился на пол, – и исчезла за неплотно прикрытой дверью. Император с трудом поднялся на ноги; кашляя, отплевываясь и хватаясь за грудь, заковылял к люстре; вскарабкался на табурет, пошатнулся, сунул шею в веревочную петлю – и, вжав голову в плечи, отпихнул табурет ногами*.

Когда Цзяцин вошел в тускло освещенную комнату, император висел на люстре, касаясь ступнями пола. Дверь была открыта, красное покрывало валялось в коридоре, накрывая порог. Петля получилась недостаточно крепкой. Тело под действием собственной тяжести опустилось, растянув удавку; опухшее лицо с наполненным пузырящейся слюной ртом и выпученными

глазами на ощупь казалось теплым. Прежде чем Цзяцин нашел в захламленной, слишком жаркой комнате ножницы, тело само плюхнулось на ковер, лицом вниз.

У царевича уши и шея зудели от обильного пота. Он развязал узел под подбородком Цяньлуна, перевернул тело на спину, стал растирать открытую грудь, выплеснул на отцовский лоб тазик священной воды. Зеркальце, которое он поднес ко рту императора, слегка запотело. Хрипы, шкворчание вырывались из самой глубины, из бронхов Цяньлуна. Открытые веки дернулись; глаза, прежде выпученные, вернулись на место, в них появился блеск; сердце, которое билось все время, хотя и медленно, теперь перешло на убийственно ускоренный и вместе с тем бессильный ритм.

Когда Цзяцин, уже ничего не видя от слез, в изнеможении рухнул на ковер, а в комнате предрассветные белесые сумерки обступили красное пламя светильника, Желтый Владыка наконец оперся руками о пол, шумно вздохнул, закашлялся и что-то пролепетал.

Потом поднялся, побрел к окну, растирая обеими руками шею, на которой остался след от веревки; сел, надломившись в коленях, на постель, не сводя встревоженных покрасневших глаз с распростертого на полу Цзяцина.

Он хотел рассмотреть его получше, с близкого расстояния, – этого толстяка, который спал на его ковре; нет – который попался в ловушку; этого Лиса, охромевшего на одну лапу. А Лис таки здорово залетел: и, главное, даже караульные ничего не заметили.

Тупо уставившись в пространство перед собой и осторожно подкрадываясь к Цзяцину, император тщетно пытался задержать клокочущее хриплое дыхание. Вдруг у него на спине, между лопатками, темным облачком сгустилось головокружение – и ударило в затылок. Его повело вбок, он упал, ладони уперлись в землю.

Что ж, он пополз на четвереньках, испытывая демоническое наслаждение; злодейски обрадовался, когда под подушечкой большого пальца что-то хрустнуло, – и поднял руку. Поднес палец почти вплотную к глазам, слизнул осколок жемчужины – выплюнул.

Застыл, наклонившись над полом и покачивая головой. Прямо перед ним на ковре сверкнула другая жемчужина, покрупнее. Лицо Цяньлуна вытянулось, рот распахнулся. Он быстро накрыл ее ладонью, как муху, и молча двинулся дальше, таращась то на тучного Цяньлуна, то на свой кулак. Потом с сомнением ощупал порвавшуюся, уже пустую нить ожерелья. Выпрямился, пошел, покачиваясь и балансируя раскинутыми руками, прямо на Цзяцина; сжимая в кулаке жемчужину, с клокочущей грудью; проходя мимо столика, схватил треснувшую дощечку от книги; ударил ею – споткнувшись и глухо выругавшись – Цзяцина. Цзяцин вскочил, взвизгнув; они принялись драться.

Желтый Владыка хрипел: «Это он порвал жемчужное ожерелье – мерзавец, убийца, жирный ворюга...»

И продолжал из последних сил, даже когда Цзяцин прижал его к полу: «Всё растоптал. Все мои прекрасные жемчужины. Стража! Стража!.. Ты мне вернешь ожерелье! Убивают!»

В коридорах поднялся шум; сквозь дверную щель проник свет. Бряцанье оружия. Треск сбитой с петель двери. Ворвавшийся в комнату евнух растащил их, разжав обоим пальцы, ухватил Цзяцина за грудки, кулаком заехал по морде. Отшатнулся, узнав по заплывшим глазам любимого сына императора. Над Цяньлуном, покатившемся по полу, уже склонились два стражника. Царевич, охая и задыхаясь, быстро ввел их в курс дела.

Император по-бычьи ревел на ковре, тянулся руками к Цзяцину, всхлипывал, причитал, показывая порванное ожерелье: «Убийца! Ты мне отдашь жемчужины! Держите его!»

Царевич, хватаясь за стены, вышел глотнуть свежего воздуха.

Веревку на каменном столбе он нашел – точно такую же, какая была на шее Цяньлуна; но в петле торчала только сухая ветка с несколькими отростками*. Демоница уже превратилась в кого-то и исчезла.

Болезненное состояние, в которое так внезапно впал Цяньлун, сохранялось в течение двух недель. За это время борода императора совсем поседела, лицо сделалось как у мумии.

Когда он пришел в себя, Цзяцин сидел рядом; о событиях той злосчастной ночи император ничего не помнил.

Снег танцевал над Пурпурным городом; император опять взял бразды правления в свои руки. И однажды в одной из оранжерей неожиданно заговорил с сыном о той самой секте.

Цзяцин, хорошо информированный о событиях последнего лета, чуть не лопался от злости на сектантов, подрывавших основы военной мощи и благосостояния страны.

Цяньлун с апатичностью человека, сознающего свою обреченность, заявил, что предки были недовольны им, императором, что ламаистский владыка не смог дать ему дельного совета и что вообще все обстоит очень скверно.

Тогда царевич, отведя отца подальше от жаркой печки, стал заклинать его вспомнить, благодаря чему в годы его правления так расширилась империя: в мягкости ли тут дело или, наоборот, в воинской мощи; конечно, Конфуций и другие мудрецы рекомендовали терпимость – но не в отношении же мятежников. Правитель, который не подавляет мятеж, какого бы рода он ни был, – мечом ли или палаческим топором – совершает преступление против подданных.

Осунувшийся Цяньлун стоял, прислонившись к пальме, и отдирал от ствола длинную полоску коры. Так что же, продолжал Цзяцин, могло разгневать предков, побудить их послать неблагоприятное знамение?

Только одно – отсутствие наступательной инициативы, нерадивость виновных в этом чиновников; трагическое событие было предупреждением; призывом подумать о судьбе восемнадцати провинций, которые неизбежно погибнут, если любители всяких новшеств, безответственные мечтатели, безумцы и мошенники будут беспрепятственно смущать невежественный народ. Сверкая глазами, Цзяцин приводил все новые доводы Желтому Владыке, который теперь чаще – пусть и с отсутствующим видом – поглядывал на мясистое выразительное лицо сына. Мол, дело кончится тем, что Запад ополчится против Цветущей страны. Вместо того, чтобы подчинить Тибет Востоку, сделать его своим данником, восемнадцать провинций сами подчиняются фантазиям невежественных ламаистских монахов. Ибо ламы воспользовались изощренным

оружием. А раз так, то долго ли осталось ждать, пока длинноносые представители белой расы вторгнутся сюда из Индии, а другие – краснобородые – варвары, с кнутами наготове, хлынут через северные границы? Чистое древнее учение о мировом порядке, дарованное нам мудрецом из Шаньдуна, будет смыто потоком измышлений западных варваров. Конфуция нужно защитить. Нужно вовремя поднять меч.

Они, тяжело дыша, с трудом влачили свои тела между пальмами и кактусами, прогуливались туда и обратно. Серебристый фазан гордо расхаживал по обрызганным водой мраморным плитам, каждый раз переставляя красные лапки как бы в силу внезапно принятого благого решения, и церемонно выгибал иссиня-черную шею, красовался блеском переливчатых перьев*. Возле ствола ветвистого масличного дерева Цяньлун расстался с сыном. Ввалившиеся глаза Желтого Владыки, окруженные кожистыми складками, смотрели неспокойно. Положив руку на плечо Цзяцина, он сказал ему, что надеется на продолжение этой приватной беседы.

ВО ВРЕМЯ последующих бесед – иногда с Цзяцином, а иногда с Агуем, Суном, Чжаохуэем – старый император вертелся и извивался, как любой смертельно уставший от жизни человек, которого его близкие хотят спасти. Он не желал принимать молниеносно высветившее суть проблемы предложение Цзяцина; он уже погрузился в трясину безысходности, и его удерживала там тайная радость, которую он испытывал, терзая себя. Трудно далось ему решение вернуться к надежде. Тут ко всему прочему еще прибавлялся стыд – стыд спасенного самоубийцы перед жизнью.

И участники совещаний никакой логикой не склонили бы императора к тому, чего удалось добиться благодаря исключительному такту Цзяцина. Царевич не упоминал недавнего трагического события, но сбросил с себя былую апатию и делал все возможное, чтобы избавить отца, которого боготворил, от внутреннего разлада.

Когда Цяньлун, наполовину уже поддавшийся уговорам и втайне очень довольный сыном, опять начал проявлять недоверие, Цзяцин прибег к крайнему средству. Он притворился, будто сопротивление отца его смутило, соглашался теперь со всеми его доводами, в середине одной из их совместных прогулок сделался неуверенным, нервно проговорил что-то, внезапно покинул крайне возбудившегося в тот раз императора и затворился в своих покоях.

Император, который вскоре посетил царевича, нашел его безутешным – ибо, как тот объяснил, предки действительно отвернулись от их блестящей династии. Желтый Владыка – не веря своим ушам, оцепенев, будто его ударили топором, – в страхе пытался спасти готовую рухнуть надежду; запинаясь, приводил Цзяцину те самые аргументы, которые прежде слышал от него. Дородный царевич гнусавым капризным голосом оценивал эти доводы, чуть ли не обнюхивал их, а император жадно ловил каждый его вздох, следил за каждым взмахом ресниц. Так, со вздохами и ахами, они препирались некоторое время, вели подкопы друг против друга, занимались взаимным подстрекательством, – ибо каждый хотел побудить другого принять некое решение. Император, мобилизовав свое отчаянье, боролся из последних сил. Он во что бы то ни стало хотел одолеть никчемное хныканье этого сопляка. Наконец Цзяцин сдался и и как бы против воли признал правоту отца.

Партия была выиграна. Император почувствовал, что между ним и Цзяцином установилась какая-то – неясной природы – связь. Но пока что Цяньлун по-прежнему пребывал в дурном расположении духа; подходить к нему с политическими вопросами никто не решался.

А потом вдруг он проглотил наживку. И на заседании государственного совета – с таким видом, будто эта идея исходила непосредственно от него, – гневно заявил о своем желании подавить пресловутое восстание.

Три недели прошло после той ужасной ночи. И вот курьеры уже мчатся сквозь зимние пространства, чтобы доставить во все уголки страны указ императора, составленный при участии

всех шести ведомств, с привлечением главных царевичей и цензоров.

Указ предусматривал применение к сектантам северных провинций закона о ересях – в ужесточенной, точно оговоренной форме. Любое сопротивление приравнивалось к мятежу. В преамбуле император жаловался на то, что посеянные им ранее семена человеколюбия упали на дурную почву. Там говорилось также, что военные меры для ликвидации беспорядков должны быть предприняты немедленно и будут осуществляться под руководством Чжаохуэя, которого император наделяет чрезвычайными полномочиями и назначает главнокомандующим провинциальными войсками на всей территории, охваченной мятежом.

Страна может не тревожиться.

Сидящий на Драконовом троне защитит учение Конфуция и порядок, установленный Небом.

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ
ЗАПАДНЫЙ РАЙ

ОБНАРОДОВАНИЕ зимнего императорского указа не вызвало сильного противодействия. Правда, отдельные управы в восточной и южной частях Чжили утаили новые распоряжения от населения. Но в целом можно сказать, что указ был воспринят в северных провинциях как боевой клич.

Войска Чжаохуэя, внушавшие страх ветераны джунгарской войны – убийцы и поджигатели, – вторглись в северные провинции. Сотни две «братьев» и «сестер», бродяжничавших ватагами, были захвачены, допрошены и казнены; еще один маленький отряд, попытавшийся оказать сопротивление, солдаты быстро окружили и разбили, самих же сектантов, сперва подвергнув пыткам, предали казни «расчленение на куски». Эти события заняли всего несколько недель, после чего Чжаохуэй застрял в холодной северной провинции, так как не мог ни сообщить в Пекин об окончательном разгроме мятежников, ни предпринять против них какие-то наступательные действия. Ибо «поистине слабые» в одночасье исчезли. Показания перехваченных гонцов и отобранные у гонцов письма позволяли предположить, что члены тайного союза укрылись в городах и деревнях, что население приняло их и что в результате этой мгновенной рокировки за спинами «поистине слабых» вдруг замаячили гигантские людские массы, в толще которых уже тлеет искра мятежа. «Белый Лотос» вновь вынырнул на поверхность – как демон опасной и непроницаемой стены из человеческих тел. Ни сам Чжаохуэй, ни наместники Чжили и Шаньдуна не задавались вопросом, какие отношения связывают это ужасное тайное общество с «поистине слабыми». Начались морозы.

После последнего сражения сектантов с правительственными войсками пять торговцев из того самого села, в окрестностях которого проходило сражение, отправились со своей «парусной тележкой»* в путь, к югу. Это были убежденные приверженцы

секты, решившие разыскать и вернуть Ван Луня. Доверху нагруженная одноколесная тележка катилась сама по себе, гонимая фыркающим студеным ветром: по обледенелому насту она двигалась как по рельсам. Только двое из пяти понимали диалект тех южных провинций, которые им предстояло пересечь; зато трое других были крепкими парнями, умевшими постоять за себя и привыкшими к бродячей жизни. Тан, один из этих троих, когда Го приказал всем прятаться, укрылся с частью «братьев» в близлежащих селениях, попытался поднять восстание против маньчжурской династии, но его усилия ни к чему не привели. То, что во время последнего боя с императорскими войсками ему удалось вырваться из окружения и спастись, он воспринял как ниспосланный свыше знак – и быстро уговорил своих нынешних спутников отправиться вместе с ним на юг, к Ван Луню. Где сейчас находится Ван, он знал от Го. Уже удалившись от селения на расстояние дневного пути, все пятеро повернули назад: Тан подумал, что Ван Лунь при встрече может потребовать доказательство их принадлежности к секте. Однако, вернувшись в селение, они не застали в живых человека, на чью помощь рассчитывали, – старика Чу, часто рассказывавшего о том, как на перевале Наньгу ему довелось увидеть рождение союза «поистине слабых»: когда солдаты грабили село, Чу показался им подозрительным, и теперь старый еретик, которого после допроса стало рвать желчью, валялся в рыхлом снегу под потрескавшейся шелковицей, зажав между ступнями собственную отрубленную и уже замерзшую голову. Братья переждали ночь, потом зарыли обезглавленное тело у стены сельской канцелярии, чтобы оно принесло несчастье предателю-старосте, а липкую голову бросили в ведро с солью, которое Тан подвесил на дышло тележки: в качестве необходимого им доказательства. Позже рассказывали много небылиц о путешествии пяти простодушных «братьев» в Сяохэ, где тогда жил Ван. Наверняка же известно следующее: во всех городах и местечках за их спиной распространялись нехорошие слухи; приобретенные у них шнуры для косичек, лампы, фитили, цветы из перьев, шелковые платки, табакерки люди по прошествии нескольких дней выкидывали,

ибо опасались, что вещи эти заколдованы; те, кто пытался полакомиться купленными у них сладостями, утверждали, будто чувствуют покалывание в кончиках пальцев, онемение языка, – и прилагали все силы, чтобы выблевать проглоченное. Дело в том, что людей пугало внезапное появление и столь же внезапное исчезновение торговцев; чрезвычайно низкие цены, по которым они продавали свой товар, задним числом тоже вызывали подозрения – как и мрачное выражение лица Тана (глубоко опечаленного гибелью старого Чу), как и странная нервозность всех пятерых путников. Совсем по-другому, должно быть, выглядел Тан, когда вновь проходил по этим местам три месяца спустя, вместе с Ван Лунем: казался радостно-умиротворенным рядом с радостным и умиротворенным Ваном; оба той великолепной весной были одеты как ученые даосы; и по очереди толкали маленькую ручную тележку со всякими волшебными амулетами; на дышле тележки, правда, опять болталось ведро с засыпанной солью головой мертвого упрямца Чу, которую они хотели похоронить рядом с его телом... Пока же пять торговцев быстро пересекали провинции Чжили и Ганьсу, держа путь к Императорскому каналу; плодородная долина простиралась, насколько хватало глаз, во все стороны. Новогодние торжества – шум, треск бамбуковых кастаньет – застали их в Шаньдуне; каждый праздничный день давал почувствовать, как быстро движется время, дул в их парус, щипал за икры. Тан имел при себе много денег, которые угрозами выманил у одного купца из Чжили, прежде чем затаился, смешавшись с простонародьем: шесть полновесных серебряных лянов, спрятанных под фальшивым дном тележки. По пути им пришлось четырежды обновлять товар и дважды – свою одежду: чтобы в тех местностях, через которые они проходили, их принимали за настоящих торговцев. В Ганьсу уже начиналась весна. Под конец они двигались очень медленно, потому что Чэна, торговца ужами, одного из тех, кто знал местный диалект, укусила в пятку змея, которую он пытался поймать; крошечная ранка загноилась, не поддавалась лечению, а вскоре разбухла и вся нога, словно подошедшее в квашне тесто. Дома́ по мере продвижения на юг словно подрастали,

тянулись вверх; здесь, в Ганьсу, они были белолобыми, обвитыми плющом и тыквенными плетьми, странными широколиственными растениями. Крыши украшала богатая резьба. Мнимым торговцам теперь попадались только темнокожие люди, разговаривающие поразительно быстро, громко и неотчетливо. Мимо проезжали запряженные буйволами четырехколесные повозки с трясущимися в них крестьянами; широкие реки, которые в разных местах назывались по-разному, качали на своих волнах целые города из лодок, служивших жильем для людей. Братья переправились через ужасную Хуанхэ*; потом через Хуайхэ – и свернули к востоку. Они приближались к Сяохэ – той богатой озерами области к северу от Янцзы*, которая занимает плодородную низину между дамбой Императорского канала и другой, защищающей от морских волн дамбой* близ Ханчжоу. В селении Фуньян, у южной оконечности великой морской дамбы, жил, как им сказали, человек по имени Тай. Это и был Ван Лунь. Пять путников со своей скрипучей тележкой миновали владения богатого солепромышленника, где шла бойкая торговля водой. На самой дамбе колыхались стебли хлопчатника, бобов, маиса.

Наконец дождливым днем, около полудня, они добрались до Фуньяна, остановились в гостинице, завалились спать до следующего утра. Выспавшись, Тан подошел к хозяину, пожилому человеку с хитроватым лицом, медленно бродившему по двору, принялся расспрашивать его о местных обычаях, о живущих поблизости состоятельных господах, и заодно узнал, где находится дом Тая, который, как оказалось, владел даже хлопковым полем, но в данный момент отсутствовал, так как отправился в море – ловить рыбу.

Недомогание неудачливого торговца ужами, мучившая его лихорадка послужили удобным предлогом для того, чтобы пятеро чужаков задержались в местечке. Тележку они поставили в сарай при гостинице. Теперь Тан толкал эту драгоценную тележку по главной улице села, а три его товарища тащились сзади. Все четверо уселись на берегу Янцзы, широкой как озеро, катившей свой бурный поток к морю. И много часов, почти до вечера, глядели на мутную желтоватую воду. Как и в Чжили, над их

головами пролетали стайками голуби, живые музыкальные инструменты наподобие эоловых арф: удивительно нежно звенели прикрепленные к их хвостам свистульки, особенно когда птицы приближались*. Реку при ее впадении в море с обеих сторон окаймляли низкие скалы, в бухточках плавали и ныряли пестрые утки. За спиной же у четырех замечтавшихся торговцев ни на мгновение не смолкал шум: кричали разносчики воды, переговаривались занимавшиеся весенним севом крестьяне, бурлаки волокли по поперечным каналам лодки.

Ближе к вечеру четверо приятелей вскочили, потирая затекшие колени. Флотилия из сорока джонок показалась на горизонте, приблизилась к дамбе, остановилась. Пришельцы из Чжили смешались с группой сошедших на берег рыбаков, тащивших корзины и сети. Женщины и ребятня с птичьим щебетанием бежали навстречу прибывшим. Небо колыхалось как жидкость в переполненном чане – пурпурная, лимонно-желтая, лиловая. Носильщики несколько раз выкрикнули имя Тая, им отвечал огромного роста человек с худощавым лицом, выгружавший с качающейся палубы одну корзину за другой. Четверо «братьев» из Чжили пробирались сквозь быстро образовавшуюся толпу. Они обнимали друг друга, их живые глаза сияли. Крики и толкотня усилились, когда рыбаки, взвалив на плечи корзины с рыбой, стали перетаскивать их к длинным узким клетям-хранилищам, сооруженным на мелководье, вдоль берега*. Тан со своими приятелями уже стоял возле клети костлявого великана, ждал, пока в нее загрузят улов. Потом они последовали за Таем, когда он, размахивая длинными ручищами, направился к селению по залитой вечерним солнцем дороге. Тележка широкоплечего Тана преградила ему путь. Тан предложил этому босоногому рыбаку, с чьей одежды струйками стекала вода, купить у него большую красную шаль.

Рыбак: «Подыми повыше, не то замочишь».

«Не страшно», – успокоил его Тан.

«Полиняет красным на нашу землю», – усмехнулся верзила и, обойдя тележку, зашагал дальше. Четверо не отставали от него. Тан опять забежал вперед и как бы нечаянно развернул тележку поперек дороги, обрамленной зарослями *тун-шу*. Тай,

остановившись, сердито крикнул: «Эй ты, полегче!» Однако торговец, придерживая тележку, которая иначе по инерции прокатилась бы дальше, свободной рукой сорвал с ее дышла ведро, наполненное солью: он, мол, хочет показать еще кое-что; прежде он ошибся, предложил не тот товар; но этот, новый, тоже обладает свойством окрашивать в красный цвет... Рыбак повел носом и презрительно отвернулся от розовой соляной корочки с выступающим над ее поверхностью непонятным кружком – обрубком шеи. Трое других незнакомцев подбежали, схватились за пританцовывающую тележку. Тан вежливо встал сбоку от рыбака, чьи маленькие глазки недоуменно перепрыгивали с одного лица на другое. И, опустив ведро на землю, приподнял за шею голову старика Чу, еще в ведре повернув ее так, чтобы она смотрела вверх. Тай наклонялся ниже, ниже – потом, так и не проронив ни слова, присел на корточки рядом с ведром, оттолкнул руку Тана. Казалось, он искал и находил на зловонном побуревшем лице знакомые признаки: маленькую – слипшуюся – бородку, морщинистую кожу, мешки под глазами, выступающую нижнюю челюсть. Потом Тай еще раз взглянул на деревянное ведро, засунул мертвую голову обратно, вскочил, обтер руки песком и, погрозив кулаком четверым, которых злобно обозвал «проходимцами», быстро зашагал к селению.

В гостинице, в комнате торговца ужами, пятеро «братьев» обсуждали случившееся. Тан успокаивал остальных: неужто они воображали, что четырех неловких поклонов и одной ухмылки будет достаточно, чтобы осуществить их план?

Хозяин уже знал, что они разговаривали с Таем, но тот у них ничего не купил. И посоветовал с утра пораньше, перед началом рыбалки с бакланами, прийти на берег реки. Там в эту пору всегда собираются мужчины и женщины. А Тай человек прижимистый – вряд ли он раскошелится.

К тому времени, когда решительный утренний ветер принялся вытряхивать над Желтой рекой свистящие мешки, туго набитые воздухом, четверо друзей уже стояли среди готовящихся к отплытию рыбаков. Десятки длинных плотов покачивались на воде – узких, со слегка загнутыми вверх носами. Некоторые

уже скользили в жемчужно-сером тумане вверх по реке, ими управляли, отталкиваясь шестами. Когда Тай потащил за собой по песку три длинных шеста, Тан отделился от «братьев» и шагнул ему навстречу. В то же мгновение рыбак заметил их всех – и окликнул. Трое других тут же подскочили. Побросав на плот, который оказался довольно широким, шесты и сети, они вслед за Таем и сами запрыгнули на него. Тай медленно обошел вокруг каждого, показал, какое место ему занять, и дал шест. Перед каждым на качающихся досках стояла высокая корзина, а в хвостовой части плота кричали и прыгали специально обученные птицы – бакланы.

Рыбаки просто следили за тем, чтобы плот огибал утесы и песчаные отмели, а птицы ныряли в воду, приносили в клювах блестящих влажных рыб, роняли их в корзины, клевали*. Четверо «братьев», непривычные к качке, широко расставив ноги, орудовали шестами и, не глядя друг на друга, переговаривались на диалекте Чжили. Тай спросил, в каком доме они поселились и где сейчас ведро. Тан ответил и, не дожидаясь дальнейших вопросов, начал рассказывать о смерти Чу, но Ван Лунь равнодушно прервал его, посоветовав заниматься своим делом – тогда, мол, ему же будет лучше; разговор сам собою иссяк. Они медленно плыли – направление задавал Ван – к черному береговому утесу; пропустили вперед другие плоты. Желтая стихия пенилась, бурлила под их босыми ступнями, птицы кружили в воздухе.

Ван Лунь обернулся: «Я еще вчера предупреждал. Вам здесь ничего не светит, несмотря на голову старого Чу. Утоплю всех четверых – и концы в воду!»

Тан сказал, что в гостинице их ждет еще один брат, так что их исчезновение не пройдет незамеченным.

Рыбак с презрением посмотрел на него, оттолкнулся шестом от утеса. Их опять вынесло на середину реки. Четверо «братьев» приноровились, стали работать спокойнее, и тут внезапно Ван крикнул: это же детское неразумие, если не подлость, – тащить голову старика через все провинции. Главное, зачем? Кого они думали порадовать? Чу – стреляный воробей, он при жизни много скитался, они могли бы хоть после смерти оставить его в покое.

Тан возразил, что Чу до последнего вел себя как боец; он не искал покоя, а хотел и дальше сражаться с лисицами, хищниками-ворюгами – маньчжурами; такая возможность теперь у него есть.

«Как это?» – спросил Ван.

Тан сделал шаг в его сторону: «Ты сам знаешь. Он вербует новых бойцов». Глаза Тана сверкнули.

Ван Лунь, угрожающе: «Я вас сброшу в воду!»

Тан, насмешливо: «Бакланы вытащат нас и опять положат в твою корзину».

Ван Лунь: «Но прежде вас обглодают акулы».

Ван Лунь и Тан топтались друг против друга, размахивали шестами. Шест Тана упал, скатился с досок и ушел на дно. Тан бросился на колени: «Я прыгну за ним. Хочешь?»

Рыбак грозно молчал, торговец шагнул к краю плота, подлетели бакланы, и тут Ван гортанно крикнул: «Вернись на свое место!» Некоторые птицы пожирали дергавшихся рыб прямо на лету; тогда их хлестали прутьями; бакланы, крича, разевали клювы, и окровавленные рыбьи тушки шлепались в корзины. Течение на этом отрезке реки было более сильным; гребцы тормозили, боролись с водой. Плот Вана медленно дрейфовал, приближаясь к другим плотам, которые остановились напротив только что показавшейся деревни с плоскими крышами. Пока четверо торговцев упирались длинными шестами в дно, верзила-рыбак из-под своей огромной соломенной шляпы бросал на них разъяренные взгляды. Тану, стоявшему ближе всех к нему, он крикнул:

«И кто только пустил вас на мой плот?»

«Ты сам».

Ван впал в бешенство. Его шест откатился в сторону. Плот продолжал дрейфовать.

«Лжете; вы все – обманщики, бездельники, неумехи. Признайтесь! Чего вы явились ко мне искать работу? Ваши корзины наполовину пусты. Взгляните, как бакланы уплетают мою рыбу – вы, обезьяны! Такие помощники мне не нужны. И почему именно мне попались эти мерзавцы – когда вокруг сколько угодно нормальных работящих людей!»

В припадке гнева Ван совершенно забыл о том, что надо грести; Тан, балансируя, подошел к рулевому шесту, наклонился над ним; рыбак схватил его за плечо и швырнул на бревна. Тан, насквозь мокрый, молча вернулся к своей корзине, дрожа от холода.

Ван опять стал медленно подгонять плот к флотилии. Вместе со сланцевыми сизыми тучами надвигалась буря – уже басисто громыхала вдали. Складки волн, как ни странно, разгладились. Внезапно Тан, который после полученной взбучки, казалось, потерял контроль над собой, отчаянно крикнул:

«Пусть же она скорее нагрянет, пусть все здесь порушит! Пусть все порушит, опрокинет в воду! Я так хочу!»

Ван наблюдал за ним остекленевшим взглядом:

«Ты тоже? Мы уже причаливаем. Так быстро, Тан, ничего не происходит. На этот раз дракон отпустит тебя. Вечно одни и те же истории, уж мне-то они знакомы. Главное – ничего не хотеть, ничего не хотеть».

В деревенской корчме, куда они первым делом заглянули, когда сошли на берег, Ван представил четырех «братьев» как своих земляков из Шаньдуна. Ван, который, как и другие, хлебал из чашки мясной бульон, ввязался в разговор о каких-то давних местных конфликтах. Он расположился со всеми удобствами, упомянул между прочим и о собственном тесте, который собирается дешево продать ему лучший кусок своего маисового поля.

Один пожилой рыбак, друг Вана, ближе к вечеру погнал Ванов плот обратно, силы у него одного было столько же, сколько у четырех торговцев. Сам Ван возвращался на плоту зажиточного соседа, не пожелавшего с ним расстаться.

Тот вечер четверо «братьев» провели в старом – еще холостяцком – домике Вана. Ван представил их своей молодой жене, хрупкому и улыбчивому созданию: женщина изумленно взглянула на неожиданных посетителей, дважды с тревогой спросила о цели их приезда, после чего заторопилась домой.

Ван проводил ее, нежно обняв, на двор; и тут же вернулся, остановился в дверях, протянул к гостям, которые, сидя на циновках, прихлебывали чай, перекрещенные в запястьях руки:

«Ну?»

И, поскольку они не шевельнулись, а только недоуменно смотрели на него, добавил:

«Вы с собой ничего не захватили? Жаль».

Руки опустились:

«Было бы проще связать меня и увести силой. Без долгих разговоров. Но вы слишком уверены в себе. В том, что обойдетесь без веревок».

Циновка зашелестела, он уселся напротив, они молча глотали чай.

«Напомните-ка мне ваши имена, и откуда вы родом. Больше ни о чем не рассказывайте. Это все лишнее».

Они тихо назвали себя.

«Теперь я с вами познакомился. Вы – четверо или пятеро, – должно быть, воображаете себя героями, потому что добрались от Чжили, через Шаньдун и Ганьсу, аж досюда, до великой плотины? Я тоже когда-то вот так же добирался до Шаньдуна. Особенно ты, Тан, корчишь из себя невесть что. Думаешь, будто совершаешь геройский подвиг... Подвиг, Тан, заключается совсем не в том, чтобы прятать ведро с головой Чу в комнате своего больного друга. Хозяин гостиницы, кстати, уже давно обнаружил эту голову. Но ты ошибаешься, если из моих слов заключил, что теперь я, как и вы, скомпрометирован и мне придется бежать из Сяохэ. Так просто, дорогие кролики, меня не поймаешь! Лучше расскажи – ты, с вывихнутым плечом, – как тебя угораздило прибиться к “поистине слабым”?»

Один из торговцев – тот, который знал местный диалект и у которого действительно было вывихнуто плечо, – вежливо поклонился:

«У себя дома я ни в чем не нуждался. Моя семья не из бедных. Но ты – великий чародей».

«Да, об этом я уже слышал. Собственно, так оно и есть. Я разбрызгиваю вокруг себя яд. Который распространяется все дальше. Но вы продолжайте. Какими вы видитесь себе – сейчас, когда сидите здесь? Вам незачем меня бояться. Я не такой закоренелый упрямец, каким был мой покойный брат Ма Ноу, когда

я пытался с ним говорить. Едва увидев вас, стоящих на берегу, я сразу все понял. Мою судьбу, всю мою судьбу, и судьбу моей жены. Я ведь вас ждал, уже много месяцев ждал – со страхом! Потому что теперь жизнь моя расколется пополам. И я этого боялся, еще как!»

«Сознает ли Ван Лунь, – прервал затянувшуюся паузу Тан, – что он рычит как лев, как облезший лев, которого выгоняют из клетки?»

«Для вас я и так сделал много, слишком много. А вы не предлагаете мне даже паршивого медяка. Только дразните такими вот словами, обрабатываете, как вам нужно. Подводите под меня подкоп. Вы хотите заманить меня в Чжили, чтобы в удобном для вас месте принести в жертву, – или в Шаньдун. Скорее всего, заклание жертвы состоится в Цзинани. Как же бестолково вы обделываете свои дела! Скольких из вас еще убьют по приказу императора Цяньлуна? Тысячу – или десять, или двадцать тысяч? Вам очень скоро придется пересчитывать своих людей – парой больше, парой меньше. Женщины на джонках каждый день ненароком проламывают череп какому-нибудь червячку, и меня это не беспокоит, да и никто из вас по такому поводу даже пальцем не шевельнет. Сколько бы я ни злился из-за того, что делает император, или что делают женщины, или что делает богиня кишечной лихорадки, меня все это не касается. Ни в одной книге не написано, что и меня тоже должны убить, если в Чжили убивают десятки, сотни тысяч других людей. Зачем же вы, словно привидения, бегаете за мной? Я вам ничего не должен. И я ничем, ничем не могу вам помочь». Уже совсем стемнело. Они сидели на полу, покачивая головами, не узнавая друг друга.

«Чем только я не пожертвовал, чего у меня не отняли! И вы еще смеете являться ко мне с такими вещами. С рассказами о задушенных друзьях. С откученными головами. Как если бы я был ярмарочным балаганом, кабинетом редкостей, который надо чем-то заполнить. Я рад, что мои отец и мать уже умерли, иначе кто-нибудь подсуетился бы и быстренько их кокнул, после чего принес бы мне ногу – поскольку она удобна для транспортировки, – или засоленное лицо, или аккуратно запакованную в бумагу

грудь моей матери. Чтобы сделать меня более покладистым. Такова моя участь. Я это понял. И последую за вами. У меня имеются жена, дом, поле с хлопчатником, плот; меня здесь уважают. Но вы суете мне под нос засоленную голову в ведре – на мол, жри и радуйся, а все, что приобрел здесь, брось».

Ван стал кружить по комнате, что-то искал. Щелкнул кремнем, зажег масляный светильник на печке. Пошарил там наверху, тяжело опустился на пол рядом с ними, положил себе на колени длинный обернутый полосами коры предмет. Когда он снял кору, сверкнуло обнаженное лезвие. Гости быстро опустили головы. Ван Лунь бережно держал на ладонях Желтого Скакуна.

На следующее утро, еще до рассвета, тележка выкатилась из ворот гостиницы; ловец ужей хромал, и его пришлось поддерживать под руки; пятеро приятелей покинули селение и направились к северу. На проселочной дороге медленно двигавшихся торговцев догнал сутулый верзила в соломенной шляпе.

Запыхавшийся Ван Лунь прежде всего спросил, почему они исчезли, ничего ему не сказав: хорошо, хозяин гостиницы послал своего работника – показать Вану, куда ушли его земляки. Торговцы печально переглянулись, и тот, у кого было вывихнуто плечо, смущенно пробормотал:

«Нам стало стыдно. Мы сожалеем, что пришли. Мы не хотим быть виновными в том, о чем ты говорил».

«Мы все братья, – добавил от себя Тан, – и не хотим на тебя давить».

Ван Лунь в ярости набросился на Тана: «Вы трусы – стыдно вам, видите ли, и вы боитесь вины – а взять ее на себя вам слабó?»

«Какая польза от твоей брани?»

«Стоило мне обругать вас, и вы пошли на попятную. Вы же гонцы! Вам, хочу я сказать, не пристало отступать, не пристало поддаваться страху. Что же вы не надавили на меня – а, проныра? – что же не взяли на себя вину? Вот, значит, каковы мои “поистине слабые”? Да, вы поистине, поистине слабы!»

Ван Лунь настаивал, чтобы они шагали быстрее: когда рассветет, их не должно быть видно из селения. У самого дальнего камня-вехи на дороге к селению они стали свидетелями того,

как Ваном овладела тоска: он ведь прощался со своей землей, с женой. Потом путники разделились, Ван Лунь выбрал себе в напарники Тана. Ван держался замкнуто; они шагали по дорогам, иногда прятались, старались не привлекать к себе внимания, делали необходимые закупки, нищенствовали, выпрашивая рис, дыни, воду – так незаметно проходили дни. Тана не покидало ощущение, будто он ведет в Чжили пленника. Ван ночами часто разговаривал сам с собой и, казалось, боролся со своим «я», заставлял его покориться. Сообразительный Тан заметил: единственным, о чем его жуткий попутчик постоянно просил рассказывать – и жадно внимал этим рассказам, буквально ловил их налету, – были зверства ветеранов джунгарской войны, примеры жестокого обращения с «братьями»; Ван, похоже, упивался такого рода деталями, получал от них удовольствие. Тан даже слышал, как по ночам он пересказывал сам себе услышанные истории. Молодой торговец в присутствии своего спутника опасался за собственную жизнь. Ведь Ван иногда осыпáл его упреками и мрачно уверял, что уже давно – с ужасом – ждал прихода гонцов. Зная, что они сумеют добиться своего. Сумеют. Молодой торговец втайне сожалел о том, что натворил, подумывал даже сбежать, однако было очевидно, что Ван Лунь за ним постоянно наблюдает. И он, торговец, не отваживался задавать рыбаку никаких вопросов.

По ту сторону Хуанхэ напряжение, возникшее между ними, постепенно разрядилось: Ван начал проявлять интерес к местным обычаям, иногда развлекался, состязаясь с Таном в беге, а после того, как он переоделся в желтую парчовую накидку странствующего ученого-даоса, им вообще овладела какая-то странная веселость. Они оба наслаждались весной, приближением лета. Но у Вана это ощущение свободы быстро прошло, сменившись томительным беспокойством, нетерпением. Чем ближе они подходили к горам Шаньдуна, тем труднее ему было сдерживаться. За околицей одного из селений он сорвал с себя даосское одеяние и с радостными возгласами вновь облачился в серый наряд нищего; свой меч, обвязав веревкой, повесил на грудь. Он теперь неустанно расспрашивал попутчика о событиях последнего года, а когда

попадал в селения, старался узнать последние новости. В окрестностях Цзинани – после того, как однажды он уже бросил Тана на целых полдня, ничего не объяснив, – Ван окончательно исчез. Оставив Тану поручение: распространять среди «сестер» и «братьев» весть, что они не должны терять друг друга из виду. Ибо вскоре произойдет важное для них всех событие.

ВАН ОПЯТЬ, как когда-то, шагал по жесткой угольной дороге Шаньдуна. Столбы дыма, серые сгущения в воздухе. Волнообразный рельеф; посреди голой каменистой равнины – большой город, Бошань. Чэнь Яофэнь давно уже ждал Ван Луня. Узнав о несчастье в Монгольском квартале Яньчжоу, этот купец преисполнился величайшим уважением к человеку, который однажды был его гостем. В течение всей зимы и вплоть до последнего времени проходили совещания руководителей «Белого Лотоса»; участников этих совещаний объединяло возмущение политикой императора, который покровительствовал чуждому стране ламаизму и посылал войска против собственного народа.

Когда Ван Лунь, протиснувшись через заднюю дверь знакомого дома, неожиданно вынырнул из-за прикрывавшей алтарь ширмы, Чэнь Яофэнь обнял громадного оборванца за плечи и прижал к груди. Ван спросил, одни ли они и не хочет ли Чэнь позвать остальных. Купец ударил в гонг. Они уселись в горнице под обшитым деревянными панелями потолком, с которого свисали лампы, поддерживаемые железными птицами и драконами. Нищий отказался от чая и, распахнув плащ, с гордостью показал купцу Желтого Скакуна. Чэнь, приподняв меч и бросив взгляд на инкрустированный орнамент, рассказал об одном военном, утверждавшем, что он служит в императорских знаменных войсках; человек этот уже четыре раза наведывался в Бошань и расспрашивал Чэня о Ван Луне. Он называл себя Хаем, говорил, что командует кавалерийским полком: чрезвычайно вежливый, подтянутый человек с усами и клинообразной бородкой. Ван, разволновавшись, задавал все новые вопросы. Да, тот человек называл себя и Желтым Колоколом; он заклинал Чэня позаботиться о Ване, который, мол, впал в отчаяние после смерти Ма Ноу

и, возможно, бродяжничает где-то поблизости, – и потом направить его в Пекин, в такую-то казарму, которая фактически является *ямэнем* Хая. Чэнь пообещал все, что от него требовали, но ничего не понял, поскольку тот человек о себе мало что говорил и мог оказаться подсадной уткой. Выслушав разъяснения Вана, Чэнь скрестил руки на груди и прошелся взад-вперед по коврам. Он был ошеломлен: вся история обрела совсем иной смысл. У Ван Луня тоже засверкали глаза.

Перед домом скапливались паланкины; шуршали занавеси. Удивление богатых купцов при виде бродяги в лохмотьях, которого они поначалу не узнали, потом – дружеские взмахи рук, перешептывания.

«Дайте вздохнуть! – крикнул Ван. – Воздуха не хватает!»; и обнял Чэня, с трудом сдерживавшего волнение. Очень холодно заговорил Ван – перед двадцатью элегантными господами, смотревшими на него со страхом и уважением; они отступили назад, освободив ему место. Слова его казались наивными: он сказал, что не намерен оставлять все как было, что ему нужны деньги, дабы вооружить людей и платить им жалование. Стыдно, конечно, просить, но что поделаешь – нужда подпирает. Его братья и сестры, может, и делали что-то не так, не в соответствии с традицией, но он не собирается наблюдать со стороны, как их будут убивать. «Белому Лотосу» такое тоже не к лицу. Они ведь когда-то обещали помочь: вот он, Ван, и пришел, чтобы получить эту помощь.

Господа стали задавать вопросы. Они не были уверены, что имеет смысл ударить одновременно по всем струнам – раздуть пламя общенародного мятежа. Повод для этого представлялся им слишком незначительным: ведь трагический инцидент касался лишь двух северных провинций; огромная южная часть страны о нем практически ничего не знала. Рисковать – да, но когда риск оправдан. Император Цяньлун порой вызывал восхищение, но симпатию – никогда; покровительствуя ламаизму, подвергая ужасным гонениям еретиков, он посеял в стране семена ненависти. Трусость, тревога купцов отступили куда-то на задний план. Чэнь – которого Ван иногда перебивал, чтобы

что-то пояснить – впервые рассказывал своим гостям о том, как его посетил Желтый Колокол, и о значимости этого визита. Гости, хватая друг друга за плечи, за косички, возбужденно теснились вокруг.

«Изгнать маньчжуров!» – перешептывались купцы. Мол, маньчжурская династия обречена, император – наполовину сумасшедший, его сыновья – преступники, не знающие, что такое почтение к родителям.

«Знаменные войска – и те уже изменяют императору!» – со смехом кричали они друг другу. Какое издевательство над провинцией – поставить перед воротами ее центрального города отряд запятнанных кровью джунгарских палачей. Император не любит свой народ.

У господ похолодели руки и ноги, когда Ван, сильно разволновавшись, заявил, что, если начнется борьба, «поистине слабые» тоже вооружатся; ибо теперь и приверженцев принципа *увэй*, «недеяния», необходимость принуждает взяться за меч. Они должны будут отказаться от своей чистоты, от своих надежд – и возложат то и другое, словно драгоценные одеяния и благовония, на алтарь. Им ведь предстоит принести в жертву и императорских солдат, и нынешнюю династию, и самих себя – ничего иного не остается. Когда Ван закончил эту тираду, господа отвели глаза; и не сразу сумели вернуть себе способность к трезвым суждениям.

Чэнь, рассказывая о Желтом Колоколе, подчеркивал свои слова изящными жестами. Унизанные кольцами пальцы – расходящиеся от них завихрения теплых воздушных струй – одобрительное шушуканье слушателей. Ван только тяжело дышал, на его морщинистом лбу вздрагивала набухшая жилка. Пусть господа посовещаются, согласны ли они дать деньги на оружие и солдат. Пусть пошлют своих представителей к нему, к «поистине слабым». Пока трудно предвидеть, как все обернется. Пусть господа не делают слишком большие ставки, чтобы осталось кое-что и для будущего, если сейчас их постигнет неудача. Сильным голосом, бухавшим из глубины грудной клетки, закончил Ван свою речь: он больше не в силах оставаться сторонним наблюдателем;

его задача уже определилась, раз и навсегда; они же должны быстро, буквально за пару дней, принять ответственное решение – чтобы можно было перейти к решительным действиям еще до начала зимы. Купцы опять заговорили о Желтом Колоколе. Чэнь увлек Вана в сторону, к большой ширме. А гости продолжали перешептываться, сидя за столами или прямо на полу, в укромных уголках.

Результат двухдневных переговоров сводился к следующему: доверенные лица – Вану сообщили их имена – получили указание скорейшим образом собрать и предоставлять в его распоряжение любую сумму, какую он попросит; влияние «Белого Лотоса» в северных провинциях следует усилить; гильдиям рекомендуется активно участвовать в начинающейся борьбе; необходимо срочно составить примерные планы восстаний для отдельных городов; вопрос о непосредственном участии в восстании членов их союза будет решаться в каждом конкретном случае в зависимости от обстановки. Желательно использовать все благоприятные ситуации, чтобы избавляться от ненавистных народу несправедливых или продажных чиновников.

Обратный путь по пыльной угольной дороге Ван Лунь преодолевал в самую жару; потом его приняли горы, в которых он всегда находил прибежище; когда открылась сияющая долина перед Цзинанью, Ван даже не окинул взглядом великолепный вид: сейчас ему было не до природных красот, он спешил на северо-запад. Овечьи стада, поля гаоляна, мельницы, высохшие каналы, военные патрули... И ни одного нищего на проселочных дорогах – все они схвачены, задушены, загнаны в города. Нигде не видно «братьев», «поистине слабых»! Сектанты – вместе с древними духами воды, земли, деревьев – оказались вне закона, тех и других безжалостно обрекли на медленное умирание в тесном пространстве меж глинобитных стен!

Еще в то время, когда Ван, переодетый ученым-даосом, пересекал вместе с Таном провинцию Ганьсу, Желтый Колокол, которому намекнули, что Го кое-что знает о нынешнем местонахождении Ван Луня, приехал вместе с двумя слугами в Хуайцин и поселился в особняке семейства, с которым поддерживал

дружеские отношения. Двое ловких слуг, беззаветно преданных своему господину, погуляли, наслаждаясь весенним воздухом, по площадям и вдоль городской стены, и быстро «вычислили» бывшего командира роты, а теперь учителя гимнастики и стрельбы из лука, неприметно жившего в доме одного высокопоставленного цензора. С тех пор Го – замкнувшийся в себе, уже отошедший от «поистине слабых» – часто сиживал вечерами с Желтым Колоколом в маленьком павильоне цензорской усадьбы. Желтый Колокол заявил, что, если Ван не объявится в самое ближайшее время, он хочет сам – вместе с Го – поднять восстание против нынешней династии. Он будет отвечать за военных, ибо его поддерживают командиры многих полков; Го же пусть занимается организацией гражданского населения.

На Го, измученного воспоминаниями о последней встрече с Ваном, спокойная решимость Желтого Колокола оказала целительное воздействие. Когда Желтый Колокол, верхом и в сопровождении обоих слуг, проезжал через городские ворота, а Го в простом черном одеянии шагал рядом с его серым жеребцом, к ним присоединились нищие, которые стали упрекать Го за то, что он так долго где-то пропадал. Желтый Колокол, вспомнив о Ма Ноу и погибшей Красавице Лян, отвернулся, чтобы скрыть слезы, а потом тихо приветствовал нищих как своих братьев. Приблизиться к холму, с которого когда-то, обезумев от боли за Ма Ноу, скатился Ван Лунь, Го сейчас был не в силах; поэтому он не стал дальше провожать Желтого Колокола, а простился с ним сразу: тот, миновав ворота, приподнялся на стременах, отсалютовал длинной саблей, после чего рысью поскакал прочь – и исчез за цветущими белыми деревьями.

В Хуайцине скрывалось огромное количество «поистине слабых»; здесь всем заправлял «Белый Лотос». И Го, со своей стороны, тоже развил бурную деятельность.

Три гильдии – торговцев растительным маслом, грузчиков и кузнецов – совместно владели своего рода городским клубом. В многочисленных помещениях этой невзрачной на вид усадьбы, в которой, однако, имелось несколько ресторанов и даже маленький театральный зал, собирались привычные к труду

люди – ужинали, беседовали, искали уединения, спали, слушали музыку, курили. Здесь уже распространился слух о скором возвращении Ван Луня. Из уст в уста передавались не только новости о передвижениях войск Чжаохуэя, но и требование шаньдунского комитета: не допускать никаких злоупотреблений со стороны солдат. В клубе то и дело кто-нибудь жаловался на причиненную ему несправедливость. Старый кузнец, у которого солдаты сожгли маленький загородный дом под Линьцином, на одном из вечерних собраний, размахивая руками, проклинал правящую династию, сравнивал ее с растением-паразитом. После памятного лета «Расколотой Дыни» в городе проживал сильный и прямодушный человек по имени Ли, самый уважаемый из грузчиков, член секты «поистине слабых». И вот во время того самого собрания в большой продолговатый зал, где оно происходило, зашел молодой сосед Ли; он откашлялся, вежливо прикрыв рот, и – запинаясь, с испуганно блуждающим взглядом – попросил присутствующих здесь господ внимательно его выслушать: полицейские с ротой солдат только что обыскали дом, в котором жил, у своих родственников, Ли; самого грузчика – ... Молодой человек не мог больше выговорить ни слова; когда же люди обступили его, а кузнец подбадривающе хлопнул по спине, он лишь махнул рукой, как бы полоснув себя по горлу.

Но уже бесшумно вошли в зал два старейших члена гильдии, заперли за собой дверь, выкрикнули, задыхаясь, что Ли недавно был схвачен и убит: они сами видели полицейских, сопровождаемых солдатами, которые несли в подвешенной к копьям клетке голову Ли; что касается родственников покойного, то их только что отвели в тюрьму. Молодой человек кивнул в подтверждение сказанного и разрыдался. Многоголосие шепотов, окрашенное смесью страха, ярости и угроз, прекратилось: сейчас каждому хотелось бы ничего этого не знать и мирно сидеть дома.

Ли, прослышав о том, что Ван Лунь должен вскоре прибыть в их город по юго-западной дороге, вышел его встречать, спрятав в складках одежды два длинных ножа и кинжал; недалеко от города он, переодетый нищим, наткнулся на воинскую роту и привлек

внимание солдат своим подозрительным спокойствием; его остановили, он ответил на их вопросы – кто он и где живет; а дальше все было примерно так же, как со стариком Чу и сотнями других. Когда его спросили, не принадлежит ли он к «поистине слабым», Ли сказал, что он просто нищий и идет, никому не мешая, своей дорогой; его хотели обыскать, он начал сопротивляться, быстро погиб в схватке, и только его голова проделала обратный путь на северо-восток.

Та рота квартировалась в старом *ямэне* в черте городских стен. Барабанная дробь возвестила начало первой ночной стражи; участники собрания все еще сидели в продолговатом зале, при занавешенных окнах. Когда кто-то, услышав условленный стук, открыл дверь, через порог переступил худощавый человек; его тут же остановили, посветили в измазанное сажей лицо; оказалось, это был Го. Многие недоумевали: чего ему здесь надо? Все знали, что он ведет агитацию в других, хотя и дружественных им гильдиях. Го вежливо попросил предоставить ему убежище; сказал, что боится, ибо знакомый цензор предупредил его кое о чем, и теперь он сам хочет предупредить *их*: ходят слухи, будто городские власти ожидают прибытия большого воинского подкрепления, чтобы с его помощью разгромить подозрительные гильдии. Самые пугливые, обойдя низкий столик с чайными чашками, закричали, что предупреждать их – не его забота; во что, интересно, он их хочет втравить?

Го обнажил по локоть правую руку и показал три звездообразных шрама от ожогов, которые в свое время нанес ему, по его же просьбе, Ма Ноу:

«Руки у меня некрасивые. Когда-то я воспринимал эти следы как знаки освобождения; теперь они кажутся мне оковами. Если вы будете глумиться надо мной и в бездействии ожидать дальнейших событий, вам, дорогие господа, тоже не миновать оков. Фазаны кричат, пантеры и львы рычат; вы уже поняли, каких золотых фазанов я имею в виду; а теперь вспомните о пантерах – командирах в войсках Чжаохуэя, вспомните о прекрасно образованных львах*. Впрочем, если желаете, продолжайте надо мной насмехаться!»

«Ты сам был пантерой! Взгляни на свои руки: ни у одного простолюдина не бывает таких нежных пальцев!»

«С чего это ты выполз из своей золоченой клетки, а, Го?»

«Он думает, что он лучше тех солдат!»

«Смейтесь, смейтесь! Не хочу больше осквернять свои отметины, позволяя вам на них глазеть. Если я пантера, то вы – паршивые кобели и помоечные коты. Мне жаль, что я вас побеспокоил. Впрочем, назвать вас кобелями – слишком много чести; вы – трусливые зайцы, червяки, личинки!»

«А ты – подстрекатель!»

«Тут, похоже, собрались одни пустобрехи и недоноски, у которых даже нет печени*...»

Кузнец засучил рукав Го:

«Заткните свои пасти! Я тоже сделаю себе такой знак, три ожога один под другим. Вы же, пустобрехи, обойдетесь без знаков на руке: вам поставят клейма на лбы – а потом и вовсе отрубят головы».

«Чего ты распалился, кузнец? Что мы можем сделать? Не нападать же на правительственные войска – они нам в два счета перережут глотки. Этот человек – обманщик, подстрекатель!»

«Он просто сумасшедший, служитель буддийского божка!»

«Это он сбил с толку Ли; а теперь явился сюда и пугает нас его мертвой головой!»

«Оставьте меня. Вы мне не братья!»

Один из присутствующих, потеряв самообладание, выскочил из-за стола, хлопнул в ладоши:

«Да на кой ляд нам быть твоими братьями, как-нибудь и без тебя обойдемся! Не слушайте его, вышвырните его вон, он опасен! Он на всех, всех нас навлечет беду! А у меня на руках отец и трое малолетних детей!»

«Пусть Го скажет, что он собирался сказать. Го, говори!»

«Братья, я останусь здесь, никуда не уйду, но я не навлеку на вас несчастья. Погасите свет: чтобы снаружи не было видно наших теней».

Два квадратных окошка, затянутые бумагой и освещенные белой луной, заглянули в темную комнату как испуганные глаза. Шарканье, ворчание по углам. «Он принесет нам беду!»

«Я терплю ваши оскорбления только потому, что жалею вас. Через несколько недель – или месяцев – случится неизбежное. Ван Лунь уже направляется сюда; “Белый Лотос”, ваш союз, прислал гонцов из Шаньдуна с уведомлением о том, что произойдет дальше. Вам пока еще не накинули на шеи удавки; ваши дома пока целы и невредимы. Однако уже сейчас солдаты расположились на постой в вашем городе. Я говорю с вами спокойно, не как подстрекатель. Мы-то, “поистине слабые”, отыщем свой путь и без посторонней помощи; мы в любом случае не можем с него сбиться...»

«Кончай, Го, грезить наяву; переходи к делу, к делу!»

«О Западном Рае я вам рассказывать не буду. Замечу только, что “поистине слабые” отнюдь не жаждут прямо сейчас оказаться у Черной реки: никто не вправе выпалывать нас, как сорную траву. Говорить о врагах тоже не имеет смысла; но, как вы понимаете, они у вас и у нас одни и те же. Потому я и пришел с вами побеседовать; и вам бы стоило меня выслушать, ибо на карту поставлены ваши жизни, жизни ваших родителей и сыновей».

Кузнец забормотал: «Для нас, простолюдинов, нет никакой справедливости – совсем никакой. Нет и богов, которые бы нас слушали, – разве что вертухаи бога смерти; все против нас: и император, Сын Неба, и покорившиеся ему духи городов, крепостных стен, рек и полей. Радуйтесь же, что нашлась наконец сила, готовая обрушиться на предателей нашей земли! Посмотрите на меня – я радуюсь!»

У Го клацнули зубы: «Нас отшвырнули как ненужный хлам; но мы не допустим, чтобы солдаты злодейски убивали наших сестер и братьев. Все наши сейчас возмущаются – так же, как я. Я не подстрекатель; и мне обидно, что вы принимаете меня за такового. Задумайтесь, что́ вы делаете, зачем хотите нас оттолкнуть! Как я могу спокойно дожидаться кровавой бойни, жертвами которой станут и наши братья, и многие ваши родичи? Или вы не слыхали о судьбе Ма Ноу? Не молчите же, прислушайтесь к словам кузнеца; разве вы не любили Ли, чей неприкаянный дух сегодня бродит возле этих дверей? Я не принесу вам несчастья; я отрекся от родителей и предков, от семейной чести;

вы что же, всерьез полагаете, будто я сделал это просто так, за здорово живешь? Вы жестоки и неразумны – но ведь и я такой же. Вот распахну сейчас дверь, сорву бумагу с окон и закричу на всю улицу: о том, что зовут меня Го, что я – бывший командир отряда императорских гвардейцев и мне сам государь когда-то пожаловал мешочек леденцов; что я – друг Ван Луня, и покойного Ма Ноу, и недавно убиенного Ли – сижу сейчас здесь, в клубе гильдий, брошенный на произвол судьбы членами этих самых гильдий, которые должны были бы поддержать меня, но из трусости не поддерживают. Я буду кричать на улицах, чтобы духи – озлобленные, неприкаянные духи, скитающиеся в уличной грязи и среди ветвей деревьев – услышали все это. Для них нет места на земле – как и для нас, "поистине слабых"; ни жалости, ни даже доброго взгляда, ни ароматных курений; они меня услышат. Помогите же мне, помогите – злые, любимые духи!»

И он принялся призывать отвратительных духов, способных навлечь на человека смерть; равномерно двигалась голова бывшего усмирителя демонов, выкликала пагубные имена. В страхе жались по углам члены гильдий, затыкали себе пальцами уши, стискивали руки. Кузнецу крикнули, чтобы он связал Го, запер в одной из комнат. Но кузнец и Го о чем-то тихо беседовали. Внезапно все сгрудились вокруг этих двоих, присели на корточки, шептались; зрачки и ноздри расширились от возбуждения. Го, который опять задышал медленнее, смотрел прямо перед собой, раскланивался.

На рыночной площади стояло самое великолепное здание во всем квартале – храм городского бога. Оно было зажато между лавками и ларьками; зато далеко вглубь простиралась принадлежащая ему территория – парк с цветочными клумбами и оранжереей. Торговцы бесцеремонно сваливали всякие отбросы прямо перед деревянными выкрашенными в красный цвет воротами; некоторым фиглярам удавалось подпрыгнуть так высоко, что они дотягивались до грозди зеленых фонариков. Целые толпы нищих попрошаек и слепых музыкантов протискивались между каменными «львиными собачками», сидевшими по сторонам от входа; серые зверюги с выпуклыми, словно яйца, глазами

распушили мохнатые хвосты: один хвост напоминал веер, другой – развернутый павлиний шлейф. Обе части высокой двойной крыши были изогнуты как корабельные кили; с их черных ребер смотрели на прохожих воины в латах – с алебардами, кривыми мечами и кинжалами. На самом высоком коньке застыл серебряный воин – между двумя лучниками, которые целились вниз. Через ворота непрерывно двигался людской поток: все хотели попасть на театральные представления, которые устраивались во дворе храма. Тут же в проходе брили своих клиентов цирюльники, зазывали покупателей продавцы нарциссов*; мусорщики, общественные и частные, граблями и лопатами убирали грязь*; перемазанные мальчишки упражнялись в бросании кирпичей.

Перед молитвенным залом, посреди гигантского двора, возвышалась открытая сцена*. Ее создатели использовали все средства, чтобы она выделялась своей избыточной роскошью на фоне сдержанного великолепия храма; она поднималась с земли словно обворожительная танцовщица, которая, медленно обводя зрителей томным взглядом, заставляет их забыть обо всем на свете. Восемь отшлифованных деревянных столбов подбрасывали высоко вверх крышу, четыре «киля» которой круто загибались над водосточными желобами – как будто нечто движущееся, бесшумно скатившись сверху, должно было, получив толчок, опять подскочить вверх. Красно-синие помпоны, флажки, колокольчики свисали с водосточного желоба. По черным кровельным ребрам топотали белые лошадки, звенели металлические подвески, части вооружения разъяренных бойцов. Под самой крышей какой-то фантастический зверь карабкался вверх по столбу, прижимаясь к нему плоским брюхом, распускал разноцветные крылья, долбил белым клювом дерево, красным и золотым переливалась его спина: то был зверь-птица, феникс*.

По другую сторону сцены – такой высокий, что конька его крыши нельзя было увидеть со двора – располагался храм. Он напоминал не просто крепкого, уверенно стоящего на земле крестьянина, но – и в этом заключалась его тайна – того Горбуна, ловца цикад, о котором нам поведал Лецзы: Горбун упражнялся

с глиняными шариками, стараясь уложить их на коконе цикады, чтобы они не скатывались вниз; когда ему удавалось удержать в равновесии одновременно пять шариков, он мог ловить цикад так, будто просто их подбирал, – ибо стоял неподвижно словно старый пень, руки держал точно сухие ветви; вся его воля сосредотачивалась только на этом*. Мощно стоял храм, не слушал музыки, доносившейся с театральных подмостков, утаивал все движения гордыни, как бы в насмешку над ней пропускал совсем мало света в собрание духов и богов, которым предоставил убежище. Беда нависла над ним. Деревянный кумир городского бога*, еще месяц назад кичившийся богатым нарядом и собственной печатью, сейчас, опозоренный, стыдливо томился в полумраке. Ибо городским богом сделали недостойного: когда здесь участились беспорядки, разбойные нападения, поджоги, градоначальник приказал раздеть бога донага и, чтобы утяжелить наказание, выволочь его, предварительно обмотав ему шею цепями, за храмовые ворота. Когда порядок был восстановлен, бога вернули на его законное место, но на сей раз облачили в дешевый халат; почерневший от солнечного света и от несправедливых обвинений, бог теперь упорно молчал в тихом как могила храмовом зале. Никто из окружавших его многочисленных пестро разодетых помощников – секретарей, шпионов, палачей, вертухаев, полицейских – не сомневался в том, что униженный, но не утративший силы воли бог в самом скором времени решится на какую-нибудь крайность. Ибо город на свою же погибель выпестовал в нем демона*.

А совсем рядом от входа в храм потайная дверца вела в большое здание ломбарда*, служившего также местом совещаний для членов различных гильдий и тайных союзов. Мятежники не без оснований полагали, что строение, вплотную примыкающее к жилищу бога-покровителя крепостных стен и рвов, наилучшим образом обеспечит им безопасность. В этом длинном и низком складском помещении были сложены предметы мебели, узлы с одеждой, театральные костюмы, украшения, паланкины. От узлов и ящиков исходил маслянистый запах. Здесь подолгу не бывало никого, кроме крыс и мышей. Однако на третий день

после выступления Го в клубе гильдий сюда пришли, после закрытия рынка, более трех сотен человек, которые молча ожидали чего-то. Они заполнили все помещение; одеты были обычно, по-будничному. Приветствия, взмахи рук, самые невероятные позы... Почти все собравшиеся знали друг друга: представители влиятельных гильдий, «братья» и «сестры» из секты «поистине слабых», замкнувшийся в себе Го. Кузнец приглушенно крикнул седобородому человеку:

«Не соблаговолит ли достопочтенный учитель сообщить гостям, что́ им предстоит услышать?»

Благозвучный голос учителя:

«Достопочтенные господа, позвольте почтительнейше вас поприветствовать! Ваш невежественный слуга по своему почину никогда не взял бы на себя смелость сообщать вам что бы то ни было. Его трясущаяся голова давно к этому не способна. И все же сей полутруп хотел бы поблагодарить вас за то, что вы столь любезно предоставили ему возможность всех вас увидеть!»

Его обступили; пододвинули ему низкую стремянку. Го склонился в глубоком поклоне: «Не согласится ли все-таки достопочтенный господин учитель осчастливить нас своими наставлениями?»; другие поддержали эту просьбу. Учитель, улыбаясь, раскланялся на все стороны, пожевал беззубым ртом, поднялся на две ступеньки:

«Я родом из того самого села в Шаньдуне, где родился мудрый Ло Хуэй*. Он – наш великий наставник; и этот сарай с одеждой, с прочими тюками он наверняка счел бы вполне подходящим местом для собраний честных и благочестивых людей. Существуют великие стихии и великие силы; но, независимо от того, являетесь ли вы истинными последователями Ван Луня или только его доброжелателями, вы все хорошо знаете, что мы, в отличие от бонз и прочих священнослужителей, не молимся тысяче будд; таши-ламу вкупе с далай-ламой мы охотно уступим императору Цяньлуну. Наш же Будда смотрит на нас с неба, с гор и из чистых проточных вод; удары грома для него приятнее, нежели литавры и гонги; его любимые воскурения – облака и ветер; он пьет чай из особых пиал – пяти озер и четырех

морей, охотно внимает шелесту древесных крон – своих молитвенных вымпелов*. У нас нет иных будд, кроме теплого ветра и дождя, кроме – увы! – тех тайфунов, что порой проносятся вдоль морского побережья; никого нет рядом с нами – будь то на юге, на западе или здесь; мы – черноголовый народ сыновей Ханя – остались одни. Мы – желтые как земля, как речная вода. Те, что живут на изнеженном Юге, накапливают жирок, приплясывают в пестрых одеждах; у нас же, обитающих близ Черной Драконовой реки*, земля такая же суровая, как и люди. Потому-то все эти люди столь живучи. Незаметно, как скромная съедобная травка, вырастают наши дома из земли, приноравливаясь к биению пульса ду́хов, к капризам воздушных струй; так мы уподобляемся Дао, мировому потоку, стараемся не противиться ему. Мы, принявшие учение Ван Луня, не прикреплены к судьбе шейными колодками, не связаны с ней ножными оковами. Как сказано в древнем изречении: быть слабым супротив судьбы – единственное торжество, доступное человеку; столкнувшись с Дао, мы должны опомниться, приспособиться к нему: и тогда все нам будет даваться легко, как детям. Старикашка, выступивший сейчас перед вами, конечно же, говорил бессвязно, но он искренне стыдится своего слабоумия».

Старик спустился на одну ступеньку, присел – хитрый павиан! – тут же на лесенке и прикрыл глаза. Здоровяки-грузчики сидели вплотную друг к другу во всех проходах; многие успели вскарабкаться на гигантские тюки и теперь поглядывали на происходящее сверху, тюки под их задницами стали совсем плоскими.

Изящно одетый молодой человек, раскрыв веер, направился к шаткому столу с изображениями Восьмерых Бессмертных, стоявшему наискосок от оккупированной стариком лесенки; несколько голов повернулось в его сторону, когда стол, о который он облокотился, скрипнул; юноша заговорил гортанным от смущения голосом:

«Да простят достопочтенный господин учитель и прочие высокочтимые господа мою дерзость. Я не собираюсь соревноваться в красноречии с господином учителем. Мы не имеем ни роскошных храмов, ни монастырей наподобие тех, которые

Сын Неба так щедро украшает и одаривает слитками золота. За нас не молятся разодетые в шелка бонзы, совращающие наших детей и девушек. Видя чуждые нам алтари, мы только улыбаемся и пожимаем плечами. Я тоже иду по Чистому пути* и хочу пройти его до конца. Мы и наши потомки обязательно достигнем Вершины Царственного Великолепия. Но как бы вы – не примкнувшие к нам, приверженцам принципа *у-вэй*, – ни оценивали наши взгляды, именно мы являемся коренными уроженцами здешних, восточных краев, а вовсе не желтые бонзы; это мы – потомки «ста семейств»*, а не святой с Горы Благодати, которого император так торжественно принимал у себя. Тот святой прибыл с Тибета, а умер в пекинском монастыре Сихуансы и был отправлен обратно в золотой ступе. Чужеземцы – маньчжуры и ламы – держатся друг за друга. Ламаистские монастыри пожирают нежные потроха этой страны; им все позволено; что же касается нас, то нам отрубают головы – хотя мы ничего для себя не требуем и никому не мешаем. Нас тысячи – да вы и сами это прекрасно знаете, дорогие достопочтенные братья, господа грузчики с джонок и все остальные. Мы родились на этой желтой земле и, поскольку мы люди мирные, не хотим, чтобы император и чужеземные монахи согнали нас с нее. Мы вообще-то должны были бы иметь право распоряжаться восемнадцатью провинциями по своему усмотрению – всей территорией восемнадцати провинций, от Ляодуна до Мяоцзы. Что плохого мы сделали? Обезумевшие отщепенцы в солдатской форме шляются с алебардами по нашим рынкам: кого они сегодня закуют в кандалы и кому отрежут язык, кого завтра подвергнут бичеванию? Мы родились в этой провинции и имеем право мирно здесь жить».

Бормотание со всех сторон: «Правильно, правильно».

Молодой человек, от возбуждения раскачивая стол, продолжал говорить, хотя старик пытался его успокоить.

«Вы поняли, кто наши худшие враги? И наши и ваши одновременно? Назвать вам имя еще одного врага? Этого каменного идола, никчемного пня, фальшивого благодетеля? Конфуций!»

По рядам пробежало: «Чиновники, литераторы, Конфуций, Конфуций!» Общий выдох: «Конфуций!» Потом опять, со

скрежетом зубов: «Вымогатели, чиновники!» И отдельный, подначивающий выкрик: «Конфуций!»

Юнец возле качающегося столика с Восемью Бессмертными уже охрип:

«Кто такой Конфуций, чего он хочет? Он – третье зло! Он научил нас полоскать рот, расчесывать волосы, кланяться князьям, он много чему нас научил – и хорошему, и плохому. Для нас, бедняков, он уже давно умер, и мы от него никаких откровений не ждем. Маньчжуры, ламы, чиновники – те, конечно, по-прежнему на него молятся, но именно потому *мы* уже не можем молиться на него; они отняли его у нас – отняли то, что в нем было хорошего *для нас*. Его дух именно Пекину обязан тем, что мы больше не возжигаем на его алтарях ароматов и вообще с бранью отгоняем его от наших порогов. Я лично его ненавижу – мы все его ненавидим, эту пустую латунную башку. Достопочтенный мудрый господин, выступавший тут до меня, все сказал верно: мы должны быть слабыми супротив судьбы, больше нам ничего не остается. Мы бедны; говорят, хорошо поступает тот, кто выбрасывает свое добро; но даже если человек все выбросит, он может, не ровен час, выйти погулять налегке и в результате этой прогулки лишиться собственной головы – как Ли. Угнетатели, чужеродные волки, алчные крокодилы, лисицы – вот наша судьба! Все официальные должности занимают маньчжуры, они же, используя нечестные обходные пути, успешно сдают неприступные для нас государственные экзамены, а на улицах нагло опрокидывают наши тележки и паланкины – широко шагают по всем дорогам своими большими грубыми ножищами. Проклятая, безбожная династия! Их судьба тоже исполнится – может, раньше нашей, а может, и позже. Но эти длинноносые определенно погубят нашу страну, и немалая доля вины лежит на Конфуции. Нам же не остается ничего, кроме умения быть слабыми!»

Он сам себя убаюкал своей речью, насмешливая нарочитость в голосе, мимике, жестах исчезла. Женщины жалостно всхлипывали, перебегали с места на место. Возбужденные люди собирались в группы, которые распадались и вновь образовывались. Молодой оратор, чей бледный лоб покрылся испариной,

теперь вместе с Го прохаживался между рядами. У Го, как и у других, наворачивались на глаза слезы. Волшебное слово «Мин»* опять повисло в воздухе. Оно так или иначе возникало на всех собраниях «Белого Лотоса», на сборищах «поистине слабых» – тоже, хотя последние не менее часто поминали и волшебное растение *чжи*, и восточные Острова Блаженных, и Западный Рай.

В длинном зале осветились затянутые бумагой окна. Стемнело. Грохот, бряцанье, звуки литавр, выкрики, визг на рынке и на дворе храма – все это постепенно сошло на нет. Через окна в узкой стене помещения, обращенной ко двору, на корзины и прочий скарб падал теперь слепящий сноп света. Еще во время выступления молодого человека звучали тихая музыка, мелодичное пение, теперь пришел черед декламации: началось театральное представление.

Пока люди толкались, хмурили лбы, мучили друг друга запахом пота, двое пожилых грузчиков подталкивали к лесенке маленького пузатого господина. Этот опрятно одетый, упитанный господин был человеком образованным, владел участком земли, в придачу ветряной мельницей для очистки риса, – и, подобно многим другим, из уважения к предкам истово почитал минские традиции.

Он неловко взобрался на лесенку-трибуну, поощряемый радостными возгласами, поклонился – и человеческая масса сомкнулась вокруг него. Его голова солидно и прочно гнездилась в углублении между тугими плечами-валиками. Разговаривая, господин потешно водил пухлой лапкой вверх и вниз, влево и вправо. И улыбался. Он выбрал для себя очень выигрышную роль, номер, который не мог не стать гвоздем вечера. И начал так – сперва извинившись за то, что голос у него слабый, не очень внятный: «Жил-был когда-то настоятель монастыря...» Некоторые слушатели тут же подхватили эти слова, пропели их на мотив колыбельной, восторженно заулыбались, обнажив десны. Господин перекинул свою косичку на грудь и погладил ее как ребенка:

«Итак, жил-был настоятель. Жил себе спокойно в монастыре. И вот как-то в полдень, когда солнце припекало уж очень сильно, он прикрыл лицо шапкой и заснул. И увидел сон. Приснился ему

совет богов. Он увидел, как за столом сидят Трое Чистых*, и среди них Нефритовый Император, милосердный сын царя Чистая Добродетель и царицы Лунное Сияние*. То, что я вам рассказываю, – конечно, наполовину сказка. И вот Нефритовый Император наклоняется к настоятелю, таинственно пожимает плечами и говорит: "Я пришлю в твой монастырь одну женщину, которая родит великого императора. Под моими знаками, солнцем и луной, она его родит". Проснувшись, настоятель спрашивает привратника, не приходила ли в монастырь какая-нибудь женщина. Нет, говорит тот, не приходила. По всем молельным залам и кельям прошелся благочестивый настоятель, поднялся даже на гору, заглянул в пещеры. Но нигде не услышал младенческого плача. А вечером в монастырские ворота постучался торговец с тележкой, набитой всякой рухлядью, и сопровождала его жена – уже на сносях; оба были одеты в лохмотья. Настоятель, хотя и разочарованный, дал женщине таблетки, помогающие при родах. В монастыре все спали. Ребеночек родился к утру. Тихая музыка скрипок и флейт разливалась в воздухе, птицы разодрали бумагу в окне той комнаты, где лежала роженица. Сели рядком на подоконник, словно глиняные шарики на куколку цикады, и звонко щебетали, пока малыш плакал. Двор так и сиял под солнцем. Отец же, не зная, как раздобыть пеленки, отправился наудачу вверх по течению реки – и где-то там выудил большой лоскут алого шелка. В этот шелк и завернули младенчика. Маленького Чжу Юаньчжана – дрожащего червячка – завернули в алый шелк. Что ж, когда он подрос, пришлось ему вместе с другими мальчишками пасти коров. Он стал пастушонком. И вот однажды, когда они были на выгоне впятером, захотелось ему угостить друзей. Он зарезал одного теленочка, а хвост воткнул в расселину между скал. Воткнул, значит, телячий хвост в расселину. И тогда пацанята выбрали его атаманом. Но только тот хозяин, которому принадлежал пропавший телок, отправился его искать и нашел отрезанный хвост. Он тогда взял хворостину, решил проучить вора – и испуганный мальчишка пустился в бега. Так Чжу Юаньчжан стал бродить, голодный, по окрестным лугам. Правда, солнце показывало ему дорогу, луна тоже

не давала сбиться с пути. А потом один встречный монах взял его за руку, отвел к себе в пещеру, наголо обрил ему голову. И Юаньчжан, крошка Юаньчжан с бритой головой, стал поваренком в монастыре. Он должен был зажигать лампы, качать кадильницы – тяжелые для его нежных рук, сушить травы; в общем, звонок, вызывавший его на работу, не смолкал целыми днями. Он попал в тот же монастырь, в котором когда-то родился как сын нищенки. Его били, без конца поддразнивали – даже сам настоятель, хотя он и получил от Нефритового Императора пророчество. Но однажды, взглянув на мальчика, настоятель увидел вокруг его головы розовое сияние. И испугался. Он послал поваренка в лес, по ту сторону болота, за хворостом для приготовления соуса. Юаньчжан хотел исполнить поручение поскорее, торопился и, когда перебирался через болото, нечаянно оступившись, стал тонуть. Он погрузился в трясину по пояс, потом по грудь, потом по самое горло. И тут, когда он жалобно кричал, барахтался вслепую, будто беспомощный крот, звал на помощь любимого отца и любимую матушку, из лесу вдруг вышла золотая фея. Эй, не увлекайтесь чересчур – я вам рассказываю просто сказку, красивую сказку, которую слышал от своего дедушки. Фея и вытащила мальчика из болота, ухватив за кончики пальцев. Но тогда он уже не был прежним невзрачным поваренком. Вода оставила вокруг его шеи низку белых жемчужин, а та часть тела, которая погрузилась в трясину, была теперь облачена в пурпур и золотую парчу; на талии даже оказался пояс с застежками из нефрита. В таком вот виде, красивый и нарядный словно наследник престола, Юаньчжан вернулся в монастырь. И настоятель сразу угадал его новое имя».

Слушатели, не отрывавшие глаз от губ рассказчика, уже закричали: «Мин*, его теперь звали Мин!»

И заулыбались, и разбрелись по сараю. Кузнец крикнул – когда по окнам застучали первые капли дождя: «Нам нужна белая стена, белая стена вокруг Пекина!»

«Ах, почему все Мины погибли! Почему народ от них отвернулся!»

«Мины еще живы, кто-то из них живет на Янцзы!»

«Ван Лунь наверняка принадлежит к семейству Минов. Потому император и ненавидит его!»

«Точно. Потому-то Ван и прячется. Не просто же так. Сто́ит императору разнюхать, где он, и Вану каюк».

«Или – каюк императору!»

«Ван Лунь знает, что он – один из Минов, и что император его боится».

В породистом лице Го что-то дрогнуло; юноша-агитатор и учитель тоже невольно улыбнулись. Но старый учитель пригласил Го присоединиться к ним, тряхнул головой: «Они ошибаются, и все же не совсем. Ван Лунь – один из Минов, и он – больше, чем Мин». Го, прикрыв глаза, мечтательно произнес: «Как бы я хотел поскорее увидеть Вана!» «Да, Го, мы все в нем нуждаемся». Го вздохнул: «Это дело мне не по плечу. И если кто-нибудь не снимет с меня эту ношу, я стану первой жертвой войны». Оба его приятеля тоже понурили головы.

Потом старый учитель и агитатор отошли от приумолкшего Го. И присоединились к тем, что с сияющими лицами, размахивая руками, прогуливались по проходам. Шарканье, размеренный топот, хихиканье, заглушающие внутреннее беспокойство... Вдруг в одном из боковых проходов кто-то вскочил на ноги, скорчил причудливую гримасу, распетушился, запрокинул голову. Двое других, перед ним, грозно зашипели: «Дорогу *даотаю*!»; начали расталкивать локтями стоящих поблизости. Тот насмешник носил вместо верхней одежды накидку из грубой мешковины, на бритую макушку водрузил кусочек тыквенной корки – вместо чиновничьего шарика. И строил смешные рожи, и так важно вышагивал вслед за своими потешными «глашатаями». А потом вдруг выхватил из груды сваленной как попало мебели низкую скамеечку и, оседлав ее, поскакал галопом, издавая пронзительные вопли. Еще несколько человек попытались ему подражать, но от смеха еле удерживали равновесие; в конце концов «*даотай*» развернул своего деревянного скакуна и сделал вид, будто убивает противника ударом сабли. Все свидетели этой сцены расхохотались; только мудрый старый учитель залез на шкаф и смеялся там наверху, с безопасной дистанции. «Убитый»

обхватил «*даотая*» за плечи и вдарил ему как следует; ближайшие соседи с удовольствием присоединились к драке; «всадник» оборонялся, потом заполз, к восторгу зрителей, под свою скамейку, они ее опрокинули, начали пинать его ногами. Старик со шкафчика крикнул, чтобы побежденного не слишком мучили. Люди стали расходиться, «всадник» поднялся на ноги, уставился на стену перед собой; его хлопнули по плечу. Представители комитетов совещались в углу душного сарая. Собрание, казалось, закончилось. Правда, в отдельных группках произносились какие-то речи. К распорядителям, сидевшим в углу, подбегали люди, спрашивали, какие гильдии здесь представлены, кто еще будет говорить. Их просили проявить терпение: в свое время им все разъяснят. Еще раньше присутствующим сообщили, что «вскоре должен прибыть сам Ван Лунь». Золотое словечко «Мин» порхало над многими группками. Гул усилился, когда представители комитетов, и Го вместе с ними, поднялись, стали протискиваться по проходам, а потом на лесенку-трибуну вновь поднялся учитель. Все сразу посерьезнели. Старик говорил логично, как математик. Опять прозвучали обвинения в адрес императора, чиновников, солдат. «Поистине слабые» – выразители интересов народа и его дети; они – порождение некоего более мощного движения, которое могло возникнуть только в эпоху иноземного гнета; несчастье – их судьба. А здесь цветет «Белый Лотос». Ненависть обоих течений к чужеземному господству, подлая политика чиновников фактически уже стерли границы между ними, в пользу их объединения выступил и шаньдунский комитет. Необходимо договориться о том, что отныне те и другие будут поддерживать друг друга, то есть признать обязательный характер решений, принятых шаньдунским комитетом в Бошани. Нужно освободить страну от маньчжуров, выгнать лживых и продажных чиновников. «Да здравствуют Мины!» – выкрикнули два или три голоса из толпы. Лицо старика прояснилось: да, конечно – но путь для возвращения Минской династии придется подготовить; подобно тому, как «поистине слабые» ищут пути к Западному Раю, так же и друзья «Белого Лотоса» – равно как и Ван Лунь – должны стремиться отыскать

возвратную дорогу к золотой эпохе Минов. Старик озабоченно повел головой: придется подождать, пока появится сам Ван Лунь, – может, еще неделю или две. За это время может случиться много плохого. Но с ними остается Го, а кроме того, в Пекине к ним наверняка присоединятся императорские войска.

Люди окружали «трибуну» монолитной стеной. Старик спустился по ступенькам. «А как же с решением?» – спрашивали его. Театральные фонарики за окнами все еще горели. Гулко звучали имена: «Ван Лунь» и «Мин». Человеческая масса распалась. Толпа, разделившись на части, толчками выплескивалась через дверные проемы на покрытый бездонными лужами храмовый двор, в обезлюдевшие переулки, в мокрый от дождя парк, принадлежащий храму. Некоторые остались в сарае, захлопнули окна, поудобнее устроились на мягких тюках с одеждой – и уже храпели.

ВАН объявился в маленьком селении близ Хуайцина, где жили почти исключительно его приверженцы и друзья «Белого Лотоса». Менее чем через неделю под его началом уже собралось восемь сотен прилично вооруженных солдат, расположившихся лагерем в окрестностях. Тяжелые личные переживания, страстные споры, потом повторявшиеся и в других местах, предшествовали образованию войска «поистине слабых». Процесс превращения мирных людей – ибо непосредственной угрозы нападения императорских солдат пока не было – в отряд сеющих смерть и обреченных на смерть воинов проходил болезненно. Не встретив по пути правительственных войск, Ван Лунь привел свой отряд к Хуайцину. И вот через месяц после того, как Желтый Колокол впервые посетил Го, через три недели после памятного собрания в ломбарде Ван со своими солдатами бросился на штурм города; караульные у ворот, полицейские были убиты; солдат гарнизона окружили, Вановы лучники расстреливали их со стен; чиновников безо всякой жалости принесли в жертву народному гневу. Большой город оказался в полном распоряжении Ван Луня. Люди ликовали на улицах. Бряцая оружием, как стая диких зверей ворвались солдаты Ван Луня в город:

озлобившиеся из-за насилия, совершенного над их душами, теперь они действительно жаждали мести. Победа ничего для них не значила: они снялись с места и совершили все это лишь для того, чтобы когда-нибудь позже опять стать мирными нищими, скромными ремесленниками и рабочими. Чжаохуэй мог вздохнуть спокойно: дым рассеялся; из-под тлеющих угольев вынырнули отчетливо видимые, алчные языки пламени.

Наутро после взятия города во дворе запертого *ямэня* сидели Ван Лунь и Го. Сидели в том отгороженном деревянной перегородкой закутке, куда обычно приходили просители. На оживленных улицах было шумно: хлопали выстрелы салютов, били в гонги участники торжественных шествий. Ван – в сером просторном халате без пояса, в большой соломенной шляпе – сидел на скамье, скрестив ноги; его голос приобрел по-военному отчетливое, резкое звучание. Когда он смеялся, из груди вырывались клокочущие раскаты, похожие на конское ржание. Он смотрел уверенно, прямо перед собой – или направо, налево, – но всегда испытующе, взглядом начальника; и говорил тоже уверенно – так, что создавалось впечатление, будто его слова имеют силу приказа, ознакомления с окончательным решением, непререкаемого разъяснения. Он смерил Го снисходительно-добродушным взглядом: «Ты все еще переживаешь из-за той нашей встречи?» Го мрачно взглянул исподлобья, пригладил простой халат: «Переживал, Ван». «Не сомневаюсь, Го. Для меня это тоже было чем-то вроде ушата холодной воды – то, что ты мне тогда рассказал о Ма Ноу. От такого не сразу очухаешься». И он захохотал так громко, бесцеремонно, что Го невольно вспомнил, как Ван смеялся с проститутками у ворот этого же города. «Помнишь, я тогда сверзился с холма – хоп-хоп – покатился в снег, и Желтый Скакун со мной, донельзя довольный. Я, пока катился, чуть руку себе не отрезал. Го, что за времена тогда были!»

«Может, времена и вправду были безумные. Только я, Ван, мало изменился с тех безумных времен».

«Сознание, что ты теперь в безопасности, за тысячу ли от места, где тебя ищут, благодатная Сяохэ, рыбалки с бакланами – все это успокаивает. Да что с тобой? Го?!»

«Мне грустно».

«Это я вижу».

«Ну и всё».

«Ты в чем-то винишь меня?»

«Да нет, Ван. Просто я сам не поспеваю за временем».

«Мои солдаты справляются с этим лучше, чем ты. Лук натянут, стрела на тетиве, знай себе стреляй. А мысль одна: попасть в цель! У кого имеются и другие мысли, тот мне не нужен, он для меня чересчур хорош».

«Пребывание в Сяохэ пошло тебе на пользу; мне даже завидно».

Ван пружинисто вскочил, потянул за собою Го: «Го, послушай! Послушай, подумай и ответь. Когда я учу солдат, моих "поистине слабых", так: натягивайте лук, цельтесь, стреляйте и, главное, всегда попадайте в цель, – правильно я их учу или нет? Только сперва подумай, Го».

Го качнул головой: «Отпусти мои руки. Я рад, что ты снова здесь».

«Может, оно и так. И все же: *что* ты теперь, *что* мне с тобою делать?»

«Давай сядем. Я не изменился так сильно, как ты, – и жалею, что не последовал за Ма Ноу в Яньчжоу, не выпил твой яд. Тогда я остался бы там, где я есть сейчас и где всегда хотел быть. Те, что погибли в Монгольском квартале, были лучшими из лучших – можешь, Ван, мне поверить. Желтый Колокол пошел другим путем, и ты тоже, и многие другие; я же не могу идти с вами. Я к тебе привязан и простил тебе несчастье Ма Ноу; но того, что надвигается теперь, я не понимаю и участвовать в этом не хочу. Я "поистине слабый", я хочу приспосабливаться к Дао и не противиться судьбе, какие бы удары ни получал. На коне я уже сидел – еще до того, как пришел к вам в горы Наньгу, и из лука стрелял, и размахивал копьем и мечом. Сколько всего я в те поры натерпелся – именно потому, что натерпелся, я и бежал от коней и оружия, ухватился за твое благое, поистине благое учение. Быть свободным, оставаться свободным – да я же буду неуязвим, какой мальчик, какое безнадежное желание смогут причинить

мне вред! Ты уже слышишь по моему восторженному тону: ты нас не разочаровал. Наши души не измельчали в стремлении к богатству или к долгой жизни. Несчастье обрушилось на нас внезапно. Прокралось в дверную щель, раз – и очутилось здесь, как желанный, но мертворожденный ребенок. Ван Лунь, не может быть, чтобы Сяохэ отняла у тебя всё! Да, спору нет, реки и море там бурные – великая плотина и та не выдерживает напора; но ведь не могли же они выломать из тебя все самое надежное, незыблемое! Я и сам, Ван, хоть и без большой охоты, помогал подготавливать то, что мы сейчас имеем. Желтый Колокол уговорил меня; тот, кто болен, хватается за первое, что попадется под руку. Но теперь я понял: было бы лучше, если бы мы все погибли, как те сотни наших сестер и братьев, которых Чжаохуэй уже убил. Это было бы в десять, в тысячу, в миллион раз лучше – поверь мне, Ван Лунь, прошу тебя, поверь, – чем то, что ты вошел в этот город, сеешь здесь смерть, и, если тебе повезет, создашь новое царство, которое очень скоро станет таким же неправедным, как другие».

Го, расслабившись, смотрел на Вана больным, неуверенным взглядом.

Но это не тронуло бронзоволицего великана: «Хорошо, Го, что ты высказался начистоту. Я тебе отвечу. Многие солдаты тоже спрашивали меня о подобных вещах».

«Да, ответь, скажи что-нибудь. Ты исцелишь меня, если поговоришь со мной так, как говорил с нищими в горах Наньгу. Ведь в конце концов, и это меня успокаивает, ты остался прежним Ван Лунем – тем, на кого все надеются, на кого надеялся и до сих пор надеюсь я сам».

Ван все еще стоял, покачиваясь на пятках, и сел, только начав говорить; говорил же он жестко, непререкаемо: «Что император издал указ о нашем уничтожении, ты, конечно, знаешь. Но кто такой император? Каков смысл самого этого слова? Я знаю, молнии иногда попадают в людей – возле рек, на воде, под буками; человек может погибнуть и от камнепада; а еще ему угрожают наводнения, пожары, дикие звери, змеи. И демоны. Все они могут нас убить. И спастись от их буйства вряд ли возможно. Но кто

такой “император”? Неслыханно бесстыдное притязание императора – на право нас убивать – чем оно обосновано? Он ведь такой же человек, как ты, как я, как наши солдаты. Только потому, что его предок, ныне покойный уроженец Маньчжурии, когда-то пришел сюда и захватил империю Минов, император Цяньлун считает себя вправе убить “поистине слабых” и, в частности, меня. Но это деяние его предка – оно что же, приравнивает Цяньлуна к наводнениям, камнепадам, змеям? Объясни мне, Го. Пока ты не опровергнешь мнение покойного Чу, который считал всех императоров грабителями и убийцами, виновными в массовых смертях, я не соглашусь с тем, что они – судьба “расколотых дынь” и “поистине слабых”. Я не стану добровольно глотать яд. Я просто укажу им, где их место. Наш союз живет на земле, которая по праву принадлежит нам».

«Это что-то совсем новое; такого я еще от тебя не слыхал; я, признаюсь, почувствовал себя не в своей тарелке».

«Найти себе тарелку нетрудно, дорогой брат».

Го, глубоко изумленный: «Ну, наверно, наверно... И что же, по-твоему, я должен делать? Подобные фразочки, знаешь, я и сам говорил – другим».

Ван воздел руки: «Выходит, мы с тобой хоть в этом сошлись».

Го, подавшись к нему, нетвердым голосом: «Что это значит, Ван – что мы с тобой “сошлись”? В чем мы “сошлись”?»

«Чего ты от меня хочешь? Зачем наседаешь на меня? Разве я твой должник? Или что-нибудь у тебя украл? Император – грабитель, так сказал Чу; удовлетворись этим, Го. Больше тут говорить не о чем».

Го вытаращил глаза; Ван обвел рассеянным взглядом пустой двор. Оба молчали. Ван хлопнул себя по колену:

«Другие же удовлетворились!»

Оба некоторое время чего-то ждали, приглядывались друг к другу. Когда мимо ворот *ямэня* проходила процессия и Го, вздрагивавший при каждом ударе гонга, посмотрел в сторону двери, Ван вдруг поднялся на ноги, с внезапно потемневшим лицом прошелся, шаркая босыми ступнями, по тесному закутку, остановился перед Го, опершись коленом о скамейку:

«Мне все равно. Думай сам, чего тебе надо. Но я не желаю видеть людей, которые мне не доверяют. *Мне* ты не нужен; одним человеком больше или меньше, это ничего не решит. Ты меня хочешь принудить – неизвестно к чему...»

Худощавый Го устало поднялся; ясное лицо, ясный голос: «Я уже ухожу, Ван».

«Я тебя не держу; каждый пытается принудить меня, к чему сумеет. И при этом никакого доверия ко мне. Ни тени доверия. Чего только я вам не дал: я сделал вас непобедимыми; вы спаслись от – ... Но нет, стоило мне вернуться, и вы обступили меня как глухие белые стены, как деревянные колоды. Вопросы: почему, почему, почему? Как будто недостаточно того, что я говорю: сделайте то-то и то-то; нет, вам вынь да положь счет, да еще объясни пять раз, что никакого убытку не будет! Ха, я вас знаю, разве нет?»

«Я не понял, к кому ты обращаешься».

«К Го».

«Ван, я привязан к тебе; и задаю вопросы именно потому, что я не глухая стена. Я не могу ввязываться в эту борьбу, я – бежал от борьбы. Ты подарил мне несколько лет покоя, тысячи людей погибли, потому что не хотели возврата к прежнему, а теперь являешься ты сам, и ты готов задушить меня, пока еще живого, я же, выходит, даже не вправе ни о чем тебя попросить».

«Попросить, спросить... Ну хорошо, произнеси еще раз это "почему"! Один раз ты уже довел меня до безумия своими разговорами. Говори еще... Вчера я с солдатами штурмом взял город; в последние дни мы сражались. Ты мог бы меня пожалеть. Император, говорю я, – преступник. Император Цяньлун не имеет права издавать указы, направленные против нас. Это ты должен понимать. Он – палач, а вовсе не судьба. И просчитывать, проверять тут нечего».

«Я, Ван, ничего не просчитываю; прости меня и возьми себя в руки».

«Ты проверяешь мои счета – да-да, ты. Ты все за мной пересчитываешь, да еще по два раза. Ну хорошо, я выдам тебе все до конца, чтобы ты тоже знал. Вот – на, подавись!

Нам-не-суждено-быть-поистине-слабыми-для-нас-это-невозможно; вот, я вывернулся перед тобой наизнанку!

Пять раз снился мне Монгольский квартал, и только потом я все понял. Да, ты сейчас все услышишь, только не плюйся, пока я буду говорить! Потому-то я и бежал в Сяохэ, потому и высмеял тебя, оттолкнул вас всех. В горах Наньгу я ошибался: судьба бьет нас, лягает копытом – повсюду, где мы отваживаемся высунуть нос. "Поистине слабый" может быть только самоубийцей. И они стали самоубийцами: я сам это видел в Монгольском квартале, и императорские военачальники видели. Это безумие, Го, я не могу смотреть на это безумие, и потому я вернулся – потому что вина лежит на мне, и потому что так не может продолжаться вечно. Все должны погибнуть, все будут убиты сразу, и я – вместе с ними. Да, Монгольский квартал был не худшим вариантом; но и с нами произойдет то же – или еще худшее».

Го, у которого дрожали колени, подошел к Ван Луню – тот стоял, прислонившись к стене, на побелевших губах выступила пена – и дотронулся до его безвольно повисшей руки: «Ведь это неправда, Ван, скажи, что неправда!»

Ван захрипел, и Го выпустил его руку; тогда Ван сорвал с себя шляпу, швырнул ее на скамью, простонал: «Какая низость, низость!»

И потерся затылком о дощатую перегородку; его и без того ожесточившееся, застывшее лицо совсем потемнело: «Убирайся, Го, я знать тебя не хочу! Не выводи меня из терпения. Давай, уноси ноги, иначе я не ручаюсь за себя, – пожалуйста! Уходи немедленно».

Ошеломленный Го автоматически поплелся к двери.

Когда дверь за ним захлопнулась, кулаки Вана забарабанили по деревянным планкам. Окровавленными ногтями он раздирал скамью, на которой только что сидел, расшвыривал обломки. Крушил ветхую загородку, злобствовал на залитом солнцем дворе: «Негодяи, здесь одни негодяи, мошенники, убийцы! Я в змеином гнезде!» И бился спиной, ударял коленями в качающиеся доски: «Я-то могу себя убить!»

Часа через два из окон *ямэня* повалил дым; оба передних флигеля уже потрескивали и гудели, в их недрах бушевало пламя. Когда хотели взломать ворота на двор, раздался грохот – кто-то

толкнул их изнутри. Ван Лунь протиснулся сквозь образовавшуюся щель; нездоровый агрессивно-самодовольный взгляд: *ямэнь*, мол, должен сгореть; пусть они позаботятся, чтобы огонь не перекинулся на соседние участки.

Вечером того же дня в храме городского бога проходило заседание военного совета. Собралось тридцать человек: двадцать командиров повстанческой армии и десять горожан, представителей гильдий. Го, которого пригласили по желанию Ван Луня, тоже присутствовал. Дебаты, продолжавшиеся до ночи, касались организации отрядов самообороны из городской молодежи и их обеспечения оружием. Именно здесь впервые прозвучало предложение сделать Вана царем. План Ван Луня – после завершения необходимых приготовлений двинуться прямо на Пекин, объединившись с отпавшими от императора гвардейцами, – был одобрен. Решили объявить народу: Драконов трон будет возвращен Минской династии.

На следующий день Го, закончив заниматься с солдатами гимнастикой и борьбой*, присоединился к быстро шагавшему Вану, на ходу утиравшему со лба пот. Они вместе пошли по грязным переулкам к центру города.

Красивое лицо бывшего ротного командира подрагивало, заметно побледнело: «Я не хочу перед тобой унижаться, но должен попросить прощения».

Ван, не глядя на него, протестующе махнул рукой: «Надо заниматься делом, Го. А не болтать».

«Наверное, так оно и должно быть. Я все обдумал, Ван».

«Ты об императоре?»

«И об императоре тоже. Я остаюсь с тобой. Вместе с тобой доберусь до Пекина. Кто станет царем?»

«Не все ли равно? Может, ты, или – скажем, какой-нибудь минский царевич из южных провинций».

«Значит, не ты. Что ж, это хорошо. Я остаюсь с тобой. Старого поминать не будем».

Ван искоса бросил на Го недоверчивый взгляд: «Ты в самом деле так решил?»

«Ты переспрашиваешь, потому что я говорю как-то вяло. Это пройдет. Я правда хочу сопровождать тебя. На северо-запад,

к Пекину. Мы прорвемся через стены Пурпурного города; я хорошо представляю, как это осуществить. Дома, стены, сады, дворцы мы разрушим; я хочу, чтобы от Пурпурного города ничего не осталось».

«Все разрушить?»

Го, запальчиво: «Я не пойду с тобой, если ты, Ван, откажешься от разрушения Пурпурного города. Ты должен пообещать, что он будет разрушен, тогда я с радостью присоединюсь к тебе».

«Хорошо, пусть будет так, как ты хочешь; это ничего не изменит: исчезновение одного или двух дворцов ничего не изменит».

Они завернули за угол, остановились на рыночной площади перед домом с узким фасадом, в котором поселился Ван; Ван прищурил глаза, подумал; и пригласил Го к себе. К ним, неуклюже ковыляя, вышла какая-то женщина; оба уселись в закопченной комнате, стали пить чай.

Ван, после паузы, задумчиво: «Я, как ты видишь, еще жив. А вот *ямэнь* сгорел».

«Не будем об этом».

«Жизнь вертится словно мельничное колесо; и никто не знает, за какую лопасть он ухватился. Сейчас я опять, в очередной раз, – *не* сгорел».

Го, очень тихо: «Так происходит со всеми...»

«Вздыхай себе, злись, кричи – но как узнать, за какую часть колеса ты держишься! Меня могут убить, а я так и не узнаю, правильно ли жил, или нет».

«Я в этом не виноват, Ван».

«В Сяохэ – как они там сейчас? Моя жена – та, конечно, живет у родных; она еще услышит обо мне; но долго плакать не будет. Так оно даже лучше. Однако и в Сяохэ есть что-то, что через год, два придет и скажет: мол, я должен вернуться туда, потому что чего-то не завершил. Пройдут годы, и где-нибудь сыщутся облака, вода, нечто неопределенное – они вспомнят обо мне и позовут назад».

«Ван, разве тебя привели сюда против воли?»

«Это неважно; главное, я пришел. Так повернулось мельничное колесо. Ма Ноу тоже чего-то не завершил. Как же я завидовал

этому человеку! Он не был священнослужителем; и обладал гораздо большим мужеством, чем я, хотя никогда не прикасался к мечу. Я занимаюсь служением. Он же все сделал очень быстро – пока я блуждал по стране, искал помощи, просил защиты у "Белого Лотоса". Он создал свой союз; претерпел то, что я предвидел наперед; потом совершил прыжок – и основал царство. И все, что должно было случиться, с ним *уже* случилось».

«Мы все погибнем и обретем нашу Западную Родину».

«Я хотел бы еще раз побывать в горах Наньгу – или в Цзинани – и вспомнить свое прошлое».

Ван взглянул на Го: «А может, я еще попытаюсь это сделать? Кто из нас знает заранее, что возможно? Рыбы прыгают высоко, а через мгновение уже задыхаются в сети. Может, Ма Ноу был не так уж хорош: люди должны уметь обращаться с оружием, держать коней, строить города».

«Да-да, Ван, ты прав. Облака и вода приносят несчастье. Нам нужны надежды».

У Вана дрогнула верхняя губа. «Мне нужны не надежды, Го, а враги – я хочу, хочу их иметь. Я пока еще не задыхаюсь в сети. И не собираюсь доставлять такое удовольствие императору. Император – враг. В Западный Рай не приходят как на театральное представление. Раньше я воображал себе дорогу туда слишком легкой. На самом же деле Западная Родина расположена на горе Куньлунь – за ледяными утесами, выше всех облаков и вод!»

«Да, правильно».

Ближе подступили раскаты смеха, подпиравшие снизу голос Вана. «Западный Рай лежит за Пекином. Нас слишком много, вот в чем наша беда. Если бы речь шла только о тебе, обо мне, да о десятке других, с нами бы ничего плохого не случилось. Но нас были тысячи, и тысячи уже мертвы, и император боится всех этих теней. То, что тысячи людей из его провинций хотят собраться вместе и присоединиться к "поистине слабым", гложет ему селезенку. А мне – насыщает сердце».

Он вдруг звонко, злорадно расхохотался. И, довольный, провел пальцем по горячим щекам задумавшегося Го, под его растерянными глазами, загорланил какую-то песню.

В нескольких сражениях, которые вскоре произошли, приверженцы принципа *у-вэй* понесли огромные потери. Те «поистине слабые» были безрассудно отважными солдатами и не могли противостоять собственному стремлению к смерти. Трусливых Ван убивал прямо на поле боя. Они унаваживали землю для будущей священной империи.

Ван не колебался; он с холодной невозмутимостью двигался вперед; только в некоторые дни, когда, казалось, ему не хватало собранности, он без всяких на то оснований отказывался принять группы людей, желавших присоединиться к его войску, – правда, позже отменял свои же распоряжения. Одну девушку, спасшую ему жизнь – при взятии какого-то селения она указала на крестьянина в окне, который целился в него из лука, – Ван затем повсюду возил с собой. Была ли она его возлюбленной, никто не знал. Эта симпатичная, хотя и не очень красивая деревенская девушка отличалась наивной доверчивостью. Ван, похоже, чувствовал себя увереннее, когда знал, что она где-то поблизости. Люди удивлялись такому капризу, но он вновь и вновь объяснял, что должен сделать что-то и для себя, если хочет продержаться ближайшие несколько месяцев; она, мол, – его амулет. И все же ходили слухи, будто он не устоял перед ее женскими чарами. В те недели никто не знал, чего ждать от переменчивого характера Вана: ветер дул то в одну, то в другую сторону.

Шесть тысяч человек, всадников и пехотинцев, выступили из Хуацина под началом Ван Луня. И пока они, приветствуемые крестьянами, двигались к северо-востоку, чтобы сразиться с одним из отрядов Чжаохуэя, к ним присоединялись новые подкрепления с юга и севера.

Ван Лунь восторженно всплескивал руками всякий раз, как слышал приближающуюся барабанную дробь: «Они вылезают из своих нор словно крысы, я опрокинул чашу с вином, но каждая капелька ко мне вернулась. У меня – чешуйчатое тело дракона, растянувшееся на сотню *ли*. И я буду волочить его по земле, пока не найду красивую и теплую пещеру!»

Неистовство их атаки под Баутином было беспримерным. Сотни женщин – в основном «сестер» – участвовали в сражении:

стреляли из луков, преследовали вражеских солдат, бросали в них горящие головни, обливали из ведер кипящим маслом*. Мятежники бежали с большими черными знаменами, украшенными символами Минской династии, легко преодолевали и рвы, и наземные укрепления; императорским солдатам приходилось отрывать их от себя по частям, словно ящериц. Как только дело дошло до рукопашной, исход битвы был решен, ветераны джунгарской войны столкнулись с силой, одолеть которую не могли, – с устрашающей яростью. Эти «поистине слабые» сражались как нелюди; звериные черты в их облике, раскраска лиц – под кошек и тигров – внушали ужас. Когда селение, прикрывавшее тыл правительственных войск, внезапно выплюнуло в небо светлое пламя – хотя повстанцы не совершали никакого обходного маневра – и когда хриплые крики женщин стали доноситься также и с той стороны, императорские солдаты оказались зажатыми между двумя мельничными жерновами и были, можно сказать, разодраны в клочья «котами», «тиграми», обезумевшими женщинами.

Во время пиршества, начавшегося сразу после битвы, вместо песен звучал неумолчный смех. Мужчины передразнивали визжавших на поле боя женщин, женщины, перекрикиваясь, варили и пожирали печень погибших «братьев» и врагов, чтобы присвоить их мужество*.

Людские волны вздыбились над землей и покатились к Пекину. Основная часть войска Чжаохуэя стояла к северу от столицы; их дальнейшее продвижение сделалось невозможным из-за натиска «поистине слабых». Северная резиденция могла рассчитывать только на свои знаменные войска.

Цяньлун послал гонцов к Чжаохуэю и наместнику Чжили. Однако чересчур беспечные посланцы были перехвачены мятежниками, часть которых не принадлежала к основной массе приверженцев Вана, но подчинялась вождям другой, еще только подтягивающейся к месту событий повстанческой армии, которые на собственный страх и риск орудовали к северо-западу и северо-востоку от столицы. Эта война ничем не отличалась от прежних восстаний; воюющие стороны старались превзойти

друг друга в жестокости; примечательны были разве что быстрота продвижения мятежников, да еще тот факт, что они повсюду первым делом убивали чиновников.

Важную задачу налаживания связи между армией мятежников и втайне сочувствующими ей пекинскими гвардейцами взял на себя Го. Правда, военный совет настаивал, чтобы этим занялся несравненно ловкий в таких делах Ван Лунь, однако Ван после некоторых колебаний отказался. Вообще, в нем теперь обнаружились странное небрежение к своим обязанностям и леность – качества, оцениваемые таким образом только людьми из ближайшего окружения, – и это сбивало с толку руководителей гильдий. Они не знали, что́ им думать, когда Ван, например, с угрюмо-скучающим видом вдруг отходил от упражняющихся под его присмотром солдат, просил кого-нибудь его заменить, а сам, покуривая «водяную трубку»*, вместе с другими командирами возвращался в лагерь. Он любил рассказывать друзьям, с бесконечными повторами, душещипательные истории о Ма Ноу: о том, каким великим человеком тот себя показал, оставаясь до конца «поистине слабым»; Ван забывал упомянуть, что Ма погиб некрасиво – задушенный рядовым солдатом, и неумеренно восхищался тем, как быстро смерть забрала всех его сторонников. Мол, кому из «поистине слабых» сегодня хватило бы мужества претерпеть то, что претерпели братья из «Расколотой Дыни»? С какой непостижимой уверенностью держался Ма Ноу вплоть до самого конца! Такие или подобные вещи Ван в то время говорил часто. И еще он охотно предавался мечтаниям, покуривая кальян. Маленькая возлюбленная должна была сидеть рядом с ним, играя на лютне или просто тараща на него глаза; он не допускал, чтобы ее откуда-нибудь прогоняли; и, хотя это оскорбляло вождей повстанцев, иногда по прихоти Вана девушку приглашали даже в дом или в палатку, где проходил военный совет, – просто чтобы она сидела напротив своего покровителя.

Переговоры Го с Желтым Колоколом проходили вдали от посторонних глаз, в прекрасном погребальном комплексе царевны Фошонь Кунчу, на канале. Го и командир отряда гвардейцев, не возбуждая подозрений, прохаживались среди других

гуляющих между белыми стволами елей. Там, где начиналась аллея мраморных фигур, звериных и человечьих, ведущая к мавзолею царевны, они сворачивали в сторону.

Желтый Колокол не ожидал столь быстрых и убедительных успехов повстанцев; однако он, со своей стороны, уже закончил необходимые приготовления – и внутри Пурпурного города, и за его пределами. Он очень хотел лично встретиться с Ван Лунем; Го опять ощутил на себе воздействие спокойной уверенности, излучаемой этим командиром, который, казалось, умением владеть собой даже превосходил Вана.

Го узнал из сообщений Желтого Колокола, насколько расчетливо тот пользуется для осуществления своих целей качествами разных людей. Самым трудным оказался вопрос, как открыть для штурмующих те и другие западные ворота Маньчжурского города: оба командира, которые их охраняли, происходили от побочной линии императорского рода, и им ни в коем случае нельзя было доверить планы повстанцев. Желтый Колокол подловил их обоих на слабости к женскому полу.

Дело в том, что незадолго до описываемых событий он сблизился с одной необычайно умной и красивой девушкой из дома судьи, с которым его связывали родственные отношения. Девушка, еще не обрученная, в нарушение всех обычаев через своих служанок передавала нравившемуся ей молчаливому, всегда серьезному гвардейцу письма и книги, а когда выезжала на прогулки с теми же служанками, умела – хотя вообще вела себя очень сдержанно – подстроить все так, чтобы ее паланкин оказался поблизости от «*ямэня*» Желтого Колокола, для которого эти уловки не прошли незамеченными. Девушка была внучкой судьи, и после того, как она потеряла обоих родителей, он воспитывал ее в величайшей строгости, приучал к обескураживающей холодности в общении с людьми. Поскольку этот одинокий чиновник хотел оставить внучку при себе, чтобы она за ним ухаживала, он с ранних лет прививал ей отвращение к молодым мужчинам. Он тщательно следил за ее образованием, но не позволял ей сближаться со сверстницами, так что даже повзрослев и став настоящей красавицей, она никого не знала, кроме

домашних слуг, да еще пятерых или шестерых господ и дам. Она самодовольно улыбалась, играя с куклами и зверушками, и жила только музыкой, книгами, благоговением перед дедом.

Желтый Колокол, который часто бывал в гостях у старого чиновника и там встречался с нею, привел ее чувства в смятение. Она стала еще более увлеченно заниматься куклами, со страстью погрузилась в философскую литературу. И часто вдруг начинала благодарить деда за то, что он так хорошо ее воспитывает. Периоды, когда ей хотелось побыть одной, перемежались другими, когда ее тянуло к далеким прогулкам; она вывозила на эти прогулки свое откровенное тщеславие: смотрела сквозь окутывающие ее покрывала и занавеси паланкина на других дам и испытывала смешанное чувство отвращения, ненависти, иронии. Она боготворила себя, часто, с восхищением и лихорадочным волнением, гляделась в серебряное зеркальце, доставшееся ей от матери; и гладила свои волосы, целовала собственное отражение, добивалась своей же благосклонности, выслушивала свои признания в любви, отвергала саму себя. Она разыгрывала перед зеркалом сцены встреч и прощаний, во время которых вдруг начинала рыдать, и служанки доносили об этом судье – девушка же объясняла ему, что грустит о покойной матери, будто бы являющейся ей во сне. Старик качал головой, списывал все на абсурдные девичьи капризы, говорил служанкам, чтобы они почаще катались со своей госпожой на лодке, вывозили ее на прогулки, в театр.

Она упорно сопротивлялась попыткам вовлечь ее в более активную жизнь; но когда все-таки стала выезжать, быстро пристрастилась ко всяческим развлечениям, и уже очень скоро ее служанки каждодневно радовали судью все новыми утешительными известиями. Девушка была остра на язык; она подвергала насмешкам всех и каждого, а выражала свои мнения в такой форме, что ее спутницы смеялись, не переставая. Удивительно, как эта юная девица умела подметить особенности грубой речи служанок, да и во время прогулок перенимала простонародные выражения, а потом перемешивала собственные язвительные фразы с подслушанными вульгаризмами! В присутствии деда,

конечно, она себе такого не позволяла или просила прощения за случайно вырвавшееся слово, так что старик лишь поглаживал бороду и смеялся. Возвращаясь после своих отлучек домой, она обычно с удовольствием и от всего сердца целовала собственное отражение в зеркале; но случалось, что и высмеивала себя, обзывала сумасшедшей, задумывалась о том, какими удивительными существами могут быть люди. Однажды она просидела, предаваясь таким размышлениям, около получаса – и вдруг действительно с пронзительной грустью вспомнила о своей матери, которая, судя по всему, была спокойной и доброй женщиной. Она почувствовала настоятельную потребность лучше узнать эту давно умершую женщину. Попробовала было порасспросить деда; но, поскольку он рассказывал только банальные и не очень приятные вещи, девушка перестала ему докучать, обиделась и с тех пор втайне почитала свою мать с еще большим благоговением. Под влиянием такого расположения духа она усвоила более сдержанную манеру поведения, шутила теперь так, как подобает воспитанной даме, предавалась элегическим и патетическим настроениям.

Примерно в это же время Желтый Колокол снова стал частым гостем в доме судьи. Девушка, хотя и относилась к нему с некоторым недоверием, принимала участие в совместных беседах. Он говорил немного, всегда со свойственной ему изысканной вежливостью, а на молодую даму обращал мало внимания, потому что помнил прекрасную Лян Ли из Тяньцзина и ему ее не хватало.

И вот после одного из таких визитов девушка с негодованием потребовала от судьи, чтобы он отказал Желтому Колоколу от дома, ибо тот повел себя с нею непристойно. На изумленные вопросы деда – где, когда, в чем это проявилось? – она ответила, что проявилось это только что, во время его последнего посещения: в том, как он вообще держался. Желтый Колокол лишь притворяется печальным и строгим, на самом деле он очень хитер – уж она-то людей знает; он хочет выставить себя в каком-то особенном свете; она же находит такое поведение неприличным и больше не желает его видеть. Чиновник энергично, но

безуспешно пытался ее переубедить – правда, про себя радуясь, что его внучка испытывает столь сильное отвращение к мужчинам; дело кончилось тем, что он стал приглашать к себе друга только в отсутствие молодой госпожи.

Однако когда та увидела, что добилась своего, ее досада отнюдь не уменьшилась, и в разговорах со служанками она представила дело так, будто Желтый Колокол от нее сбежал – по каким причинам, неизвестно; а во время одной прогулки ей пришла в голову мысль хорошенько его проучить, «протащить» – чтобы таким образом остудить свой гнев. «Протащить»: это она воображала себе очень живо, как если бы Желтый Колокол был угрем, которого она схватит рукой за голову и быстро протащит по топкому берегу. Она как-то заявила, будто гвардеец оскорбил ее мать; мол, в этом и сомневаться нечего – именно потому она его ненавидит.

Разнообразные ребяческие выходки, часто злые, которые Желтый Колокол теперь терпел от нее, мало его задевали. Его только удивляло, что старый чиновник не следит должным образом за воспитанием внучки. Только когда ее колкости стали более утонченными, когда, например, он получил от нее в подарок книги о нормах вежливости – и одновременно вспомнил, что она уже давно не присутствует на его встречах с судьей, – до него дошло, что тут что-то не так. То было время, когда он впервые побеседовал с Го по поводу возможности поднять восстание в столице и потом стал принимать соответствующие меры в ее окрестностях.

Проказы странной девушки возбуждали его любопытство и отвлекали от дела. Он не мог не признаться себе, что, занимаясь опасными приготовлениями, вместе с тем с интересом следит за ее «прыжками». Будучи холостяком и не имея родственников в Пекине, он обедал в самых разных местах: в столичных ресторанах, или, если погода была хорошей, на «цветочных лодках», или в домах у своих друзей гвардейцев. Более скромные заведения отталкивали его обилием посетителей, вечными заигрываниями клиентов с обслуживающими их женщинами, двусмысленностью таких отношений.

Однажды, сидя в изысканном ресторане, он обратил внимание на особую оживленность гостей, их звонкий смех и громкие перешептывания, заметил трех новых служанок – и к своему ужасу узнал в них молоденькую внучку судьи, уже несколько недель не попадавшуюся ему на глаза, а также обеих ее спутниц. Она притворялась, будто его не видит, не подходила к нему, но потом, отделавшись от заигрывавших с нею господ, быстро приблизилась к его столику и резко спросила, что ему угодно, окинув его с ног до головы безумным взглядом. Он, как обычно, заказал вино; она послала к нему свою служанку, чтобы та принесла кувшин, сама же опять принялась флиртовать с посетителями, причем так умело, словно ежедневно вращалась в обществе элегантных молодых людей; но вдруг поспешно и нервно попрощалась с растерявшимися от неожиданности поклонниками – и хозяину пришлось объяснять им, что эти три девушки работают здесь лишь изредка, когда надо кого-то подменить.

Желтый Колокол, еще более мрачный чем обычно, приходил в тот же ресторан и в два последующих дня. На второй день он сидел в одиночестве в отгороженном углу помещения, вошла она; он заказал вино для себя «и для дамы». Она сперва будто окаменела, потом перегнулась через стол к нему, переспросила: «Для дамы?» Потом, почти теряя сознание, с потухшими глазами выдохнула: «Какая гадость...» И уже рванулась было к паланкину, чтобы дома выхаркнуть свою ярость и стыд, разбить вдребезги зеркало, броситься на колени перед дедом. Но Желтый Колокол удержал ее за рукав зеленого халата; она задрожала, заплакала, опустилась рядом с ним на скамью, умоляя не делать ей ничего дурного; и он долго – доброжелательно и ласково – ее успокаивал, а она неподвижно сидела, уронив красиво накрашенное лицо прямо на залитую вином деревянную столешницу.

В конце концов – вся какая-то усталая, сломленная – она поднялась и медленно направилась к выходу.

В этом ресторане Желтый Колокол больше ее не видел. Участив визиты к судье, он ничего не добился: девушка и там не показывалась. Капризная малышка казалась ему трогательной, и его угнетало то, что он, поддавшись настроению, проявил

слабость; но тайные приготовления к восстанию вскоре оттеснили все прочие мысли.

И вот, как раз когда он занимался тяжелейшей работой по привлечению на сторону восставших гвардейских полковников, внучка судьи вновь вынырнула на поверхность, прислав ему язвительное письмо. Первую свою реакцию – неудовольствие по поводу столь странной попытки сблизиться с ним – он подавил. Когда ее паланкин показался вблизи его «*ямэня*», он поскакал навстречу; спешившись, поприветствовал молодую даму и, болтая о пустяках, пошел рядом с ней; в комнате она, все еще подшучивая над ним и смеясь, присела на край кровати, потянулась, бросила на него долгий пристальный взгляд. В конце концов он сунул голову под красный полог и прошептал, серьезно глядя в глаза отпрянувшей девушке, что должен непременно и именно сейчас с ней поговорить: он хочет попросить ее о помощи; речь идет о чрезвычайно важном для него деле.

И во время этого тайного свидания, на которое она приехала поздним вечером, в сопровождении служанок, он открыл ей свои революционные замыслы, показал нарисованные от руки планы местности, объяснил предполагаемый ход операций. Девушка, слушавшая его очень внимательно, задавала разумные вопросы. Он изложил ей трудности, связанные с проникновением в Маньчжурский город через западные ворота; а воспользоваться другими воротами было невозможно, ибо если бы повстанцы вошли через восточные или южные ворота, им бы пришлось потом двигаться не напрямик, а обходным путем, что потребовало бы рассредоточения и без того не слишком многочисленного отряда. Дойдя, наконец, до обоих начальников караула, он осторожно рассказал ей об этих людях, о том, что их ни в коем случае нельзя посвящать в планы мятежа; и, между прочим, упомянул, что оба они – тщеславные дураки, бабники худшего пошиба. Молодая госпожа задумалась, потом улыбнулась, Желтый Колокол тоже улыбнулся, и оба удовлетворенно засмеялись: она – звонко и громко, он – приглушенно.

Но затем была еще долгая пауза, когда она плакала, сидя на стуле, не отвечала на вопросы и только просила, чтобы ее не

трогали. Гвардеец все это время в растерянности шагал от стены к столу, от стола к стене, упрекал себя за душевную черствость, потом решительно убрал со стола бумаги, тихо сказал, что не хотел ее обидеть, что не должен был ничего этого говорить. Молодая дама с достоинствам поднялась, объяснила, что он неправильно истолковал ее поведение, на самом деле обусловленное усталостью; сказала, что чрезвычайно польщена доверием, которое он ей оказал, и надеется показать себя достойной такого доверия; опять стала задавать обстоятельные вопросы об отдельных деталях их замысла, вообще о «поистине слабых», о Ван Луне; обещала завтра же составить план своих действий; наконец, оставила полковника – встревоженного и недовольного собой – в одиночестве.

На следующий день он снова встречал ее паланкин. Она выглядела великолепно в богатом, расшитом фазанами голубом одеянии с лентами зеленого шелка, ниспадающими с плеч и с пояса; умную головку венчала шлемообразная «башня» из черных волос. Ее глаза окинули его печальным взглядом: она хотела ему доказать, что способна и на кое-что другое, помимо сочинения цинично-насмешливых писем. И действительно, всего за несколько дней она покорила сердца обоих командиров. Одному представилась танцовщицей, другому – покинутой супругой; оба без памяти влюбились в нее и были готовы исполнить любое ее желание.

После того, как Желтый Колокол проинформировал Го о предпринятых им мерах и друзья обменялись планами относительно совместного захвата Пекина, их прогулки под елями погребального комплекса царевны прекратились. К Го прибыли гонцы с требованием срочно вернуться. Войска «Белого Лотоса» и «поистине слабых» пришли в движение.

Нестерпимый зной нависал над северными провинциями, когда жаждавшие отмщения народные массы подняли восстание против Пекина. Засуха внушала ужас. На своем пути мятежники часто встречали процессии крестьян, тянущиеся по пашне, дабы вымолить дождь. Такую группу обычно возглавлял человек в зеленом шлеме, который тащил на спине зеленый же

деревянный щит. Время от времени все останавливались посреди припудренного серой пылью поля. Ряженый, который изображал бога дождя, опирался – как если бы его поймали с орудиями преступления – на две толстые палки, напоминающие щупальца улитки. Крестьяне в ярости набрасывались на него, обливали водой из кувшинов, навозной жижей; с треском колотили по щиту молотильными цепами и вилами для навоза. Нередко сразу после окончания этой церемонии крестьяне присоединялись к мятежникам, ибо считали императора виновным в губительной засухе.

Каналы извивались словно пустые кишки, обезображивали ландшафт своими липко-зловонными руслами. Листья деревьев сворачивались, вяло свисали – бурые или поблекшие – над потрескавшейся землей; пар, стоявший над теплым бульоном проточных вод, закупоривал умирающим рыбам рты и жабры.

Раскаленные плиты полей резонировали под ногами солдат. Пестрые толпы беспорядочно двигались по мертвой равнине. Впереди плыли черные знамена-обвинители. Но самые горячие головы их обгоняли; вокруг полыхали подожженные дома. Солдаты повстанческой армии остановились, не дойдя до Пекина, к югу от речушки Лянчоэй. Они захватили великолепный монастырь Цзетайсы* по ту сторону реки Хунхэ, любимое место отдыха Желтого Владыки, орали так, словно хотели, чтобы их услышали в Пекине, отдыхали в тени дубов старинного охотничьего парка.

Чжаохуэй со своими войсками приближался быстрым маршем. Передовой, совсем небольшой отряд его солдат ежедневно беспокоил мятежников с тылу и с флангов, остальные вынуждены были прервать поход из-за недостатка провианта и камнепадов, забаррикадировавших горные дороги.

В тот день, когда победоносные войска Ван Луня взяли приступом внешние стены Пекина, Цяньлун и Цзяцин сидели в Цяньцингуне*, приватном императорском дворце в черте Запретного города, и молча слушали невероятную музыку – крики и вопли, доносящиеся из Китайского квартала.

Цяньлун, исхудавший, в желтом одеянии, слегка наклонился вперед в своем кресле, пододвинутом к открытому окну: «Когда

таши-лама посоветовал мне терпимо относиться к религиозным сектам, щадить их, я не знал, будет ли это правильно с точки зрения моих предков. Когда же все главы ведомств и цензоры объединились, когда меня поддержали и главные царевичи, мы вместе составили указ об уничтожении еретиков».

Цзяцин, не поднимая глаз, пробормотал: «Все правильно. У нас надежные стены. Чжаохуэй вскоре будет здесь».

«Крики способны одолеть стены. Должна установиться справедливость, Цзяцин. Дело вовсе не в моей жизни. Я должен быть справедливым. Не следовало ли мне пойти на уступки?»

«Если бы я осмелился просить моего отца не поддаваться – снова и снова – упаднических настроениям...»

«Я совершенно спокоен, Цзяцин. Я просто хотел бы еще раз все обговорить, для тебя это будет поучительно».

«Мой отец всегда приносил жертвы Небу, подражал великим предкам, в предписанные дни возжигал для них благовония, народ благодаря ему процветает...»

«Народ *не* процветает. Мой народ перестал быть миролюбивым, ибо более не чувствует себя счастливым. Видишь пламя пожара к северу от Храма Земледелия: вот какие жертвы приносят мне мои подданные! И я должен их за это любить?»

«Вы сделали для народа столько великого, беспримерного, что я никогда не отважусь сопоставлять какое-либо из грядущих правлений с вашим...»

«Слова, Цзяцин, пустые слова. Народ думает иначе. Я *потерял лицо*. Мое время заканчивается».

«Убийца Ван Лунь хочет опять возвести на престол Минов – Минов!»

«Это нелепость. После меня будешь править ты. Мне только хотелось бы знать, сделаю ли я – я – все, чего требует настоящий момент, если сейчас отрекусь от престола?»

«Отец, я ведь уже просил... Как я смогу править после вас – я, не имеющий ни заслуг, ни силы духа, ни литературной славы, не способный натянуть лук, вскочить на коня? После вас – когда вы еще не насытились властью?»

«Как вопят китайцы...»

«Они, похоже, ликуют. Стреляют из пушек. Да – и пускают ракеты».

«Чтобы мы их лучше видели, Цзяцин. Какой дикий народ! Совершенно лишенный разума...»

«Я закрою окна, отец, и задерну занавеси».

«Оставь, мне это не мешает. Это поучительно. Ты должен хорошо запомнить эти мгновения. Мы не часто оказываемся в ситуации, когда видим лица людей так близко. Минская династия не вернется – слышите, вы, дурачье? Императоры – не вчерашний обед, который можно опять подогреть. Вам же лучше – в десять раз лучше, – что вместе с маньчжурами пришла Чистая Династия! Вам требуется железная рука. Для такого народа невозможна никакая свобода. Его спасет только любовь, проходящая по улицам строевым шагом, с саблей на боку!»

Цяньлун теперь стоял у окна, угрожающе вскинув кулак. Цзяцин тоже поднялся. Цзяцин, после паузы: «Агуй удерживает Маньчжурский город. Наши валы и стены хорошо охраняются».

«Я знаю, ты не уверен в том, что они охраняются хорошо. Но для здешнего сброда и так сойдет».

«Не лучше ли было бы, отец, перебросить еще войска – часть Маньчжурских знамен, лучников из Гирина* – в Пурпурный город? Потому что ходят слухи о ненадежности некоторых наших знаменных полков».

«Наши полки все надежные. Откуда такие слухи?»

«Я не могу сообщить вам ничего определенного. Мой слуга передал мне подозрительную вощеную табличку с тайными знаками, которую обнаружили в казарме одного из знаменных полков. Я поспрашивал, но мне только сказали, что были и другие подобные инциденты».

Цяньлун язвительно ухмыльнулся: «Какие-то слухи... Подозрительная табличка... Казарма... Моим евнухам следовало бы слушать повнимательнее. Обычные женские сплетни. Только и всего».

«Тем не менее, это тревожит...»

«Я заметил. Тебя это встревожило».

«Царевна и остальные царевичи тоже слышали нечто подобное. И если мы боимся...»

«То вам же хуже, Цзяцин. Не дело царевен думать об обороне Пурпурного города. Ответственность за династию лежит на моих плечах».

Он захлопнул окно: «Задерни-ка занавеси, Цзяцин. На дворе слишком жарко. И шум мне надоел. Расскажи лучше о своих павлинах».

Цзяцин вопросительно посмотрел на него.

«Сколько их у тебя сейчас? Озаботился ли твой слуга, надзирающий за птичником, тем, чтобы получить самцов-производителей от Вана Турфанского? У меня таких самцов шесть – и все редкостной красоты».

Цзяцин промолчал. Император, теперь весь напружинившийся, невозмутимо продолжил: «Ты уже не интересуешься павлинами? Или *в данный момент* не интересуешься? Это ты зря. Животные и книги одинаково хороши: они не меняются. Те, за стенами, скоро перестанут стрелять. Чем мощнее движение, тем скорее оно выдохнется. А это восстание в пользу Минов – действительно мощное. Так что не тревожься, Цзяцин».

Старый государь расхаживал – с нарочитой жесткостью, почти не сгибая колен – по комнате. Поравнявшись со столом, заваленном бумагами и книгами, взял одну книгу, полистал; нахмурил лоб; его морщинистое лицо приняло задумчивое выражение.

Не отрывая глаз от страницы, он снова уселся к окну: «Да, это так. Именно так. Как хорошо, что имеются книги, которые я сам написал. Я могу сравнивать себя нынешнего с тем, каким был раньше; могу искать, находить... Мне хочется съездить в Мукден. Он очень красив; я когда-то описал его так, как юноша описывает прелести своей возлюбленной: описал горы, леса, бессчетных рыб в Талинхэ и других реках. Охоты; Тайцзун* недаром говорил: «Сражайтесь! Это единственный вид отдыха, достойный маньчжуров; наши горы поставляют нам врагов особого рода: охота должна быть для нас подобием войны». Император опять погрузился в чтение; Цзяцин тихонько поднялся, неуверенно направился к выходу. Цяньлун окликнул его, улыбнулся: «Побудь со стариком. Он, может быть, тебя успокоит. Не ходи

к женщинам, не то совсем потеряешь голову». Цзяцин послушно вернулся; император смотрел на него, все так же улыбаясь.

Пока Цзяцин сидел рядом с императором и опять безуспешно пытался убедить его вызвать в Пурпурный город дополнительные войска, а Цяньлун холодно и насмешливо возражал, в огороженном пространстве между дворцовыми павильонами царило смятение. У стен волновалась толпа, представлявшая собой непривычное смешение евнухов и военных. Евнухи пересчитывали солдат, затыкали себе уши при каждом новом выкрике ликования, доносившемся из охваченного пожаром Китайского квартала, бегали к павильонам, чтобы рассказать последние новости перепуганным дамам и высокопоставленным чиновникам, которые там заперлись. Самые жирные евнухи собирались группками, дрожали от страха, напяливали на себя шлемы, хватали мечи и щиты. Некоторые – более почтенного возраста – имели при себе шелковый шнурок или листочек золотой фольги, чтобы в крайнем случае умереть легкой смертью. Один добродушно настроенный солдат с черным петухом под мышкой показывал свою орущую птицу пробегавшим мимо евнухам и утешал их: пусть не волнуются – он готов пожертвовать кровь из гребня этого трехлетнего самца, чтобы облегчить их душам путь до могилы*; вот только оплатят ли они ему заранее такую услугу? Ближе к вечеру, но еще до наступления темноты Цяньлуна пронесли в паланкине вдоль стен Маньчжурского города: в течение часа он инспектировал воинские части и проверял, как охраняются разные ворота. Держался он с устрашающим хладнокровием. На ночь Цзяцина вызвали к императору. Принц – вне себя, чуть не плача – умолял отца как можно скорее перебросить дополнительные войска в Запретный город. Цяньлун нетерпеливо прервал его, заметив, что негоже прятаться от судьбы, уж коли она желает испытать Чистую Династию. Разве царевич сомневается в том, что фанатичные приверженцы Минов непременно – непременно! – разобьют себе лоб? И далее Цяньлун принялся терзать Цзяцина перечислением охраняющих Пекин военных подразделений, по мнению царевича слишком немногочисленных.

Как и ожидалось, посреди ночи распоясавшиеся мятежники начали штурм Маньчжурского и Императорского городов. В этой атаке, похоже, не было никакого порядка: крики штурмующих доносились одновременно со стороны обоих северных ворот, Фучэнмэнь и Аньдинмэнь, и трех южных – Шунчжимэнь, Хатамэнь и Цяньмэнь*, от которых начиналась большая Императорская улица. Натиск мятежников был необычайно сильным. Для того, чтобы взломать ворота, убить или оттеснить караульных, им потребовалось совсем немного времени. Вначале маньчжурские войска отступили, но затем стали упорно и ожесточенно обороняться на улицах и в казармах. Сметая все на своем пути, толпа мятежников хлынула, прямо по трупам павших, через просторные ворота Южного города. Массы повстанческой армии смешались с торговцами из Китайского квартала, которые быстро присоединились к победоносным знаменам с минской символикой.

Коротконогие и широкоплечие маньчжурские солдаты сражались с высокорослыми уроженцами северных равнин, жаждавшими отмстить за ужасную засуху: крестьяне бесстрашно врывались в казармы, размахивая молотами для отбивки кос или свистящими молотильными цепами, – и падали с простреленной грудью. «Братья» и «сестры», предпочитавшие драться отдельно от других, изрыгали, подобно чудовищам, смерть – и сами ею давились.

Ослепительное бело-красное море огня на востоке Маньчжурского города дополняло эту картину подвижными перекрестиями легких световых бликов и тяжелых теней. Новый зерновой амбар на севере тоже полыхал. Дождь искр пролился на благодатную почву – расположенный чуть южнее огромный рисовый склад* – и за несколько минут превратился в гигантский, беснующийся на ветру цветок мака. Под этими праздничными огнями сталкивались, проникая друг в друга, судорожно дергающиеся комки человекомассы. Гротескно-беспомощные трепыхания, ломаные контуры, мельтешенье рук, прыгающие силуэты, призрачный гон по затененным казарменным дворам и переулкам. Жужжание, треск, хруст в перегретом воздухе:

доносящиеся со всех сторон, заглушающие более привычные звуки – традиционную игру в вопросы и ответы между смертью и человеческой жизнью.

Больше часа, двойного часа, продолжалась борьба, а потом и маньчжуры, и мятежники скатились в зловонный северный ров перед Запретным городом: ров этот – угольно-черный и недвижимый – ждал их за стеной.

Настороженное оцепенение нарушилось здесь в тот миг, когда с башен Верхних северных ворот* грянули пушечные залпы и зарево большого пожара перестало освещать кроны туй и кипарисов*; но через несколько минут тишины такое же сияние поползло меж стволами, по земле, подбираясь к оранжереям в северной части сада. Мятежники сломали Верхние северные ворота. Их перекошенные лица, зловонные испарения рва и окраинных переулков влились в жесткую изложницу Запретного города.

Здесь темнели каре надежных гвардейских полков. Опустевшие женские павильоны дрожали от топота мятежников, которые крушили все вокруг. Маленькая сокровищница в восточной части сада была взломана; на ступени выплеснулись широкой струей слитки серебра, сундуки с драгоценностями, шелковые отрезы; вазы вдребезги разбивали свои выпуклые бока.

Зажатые в тесном проходе между северной и другой, тоже поперечной стеной, защищающей императорские дворцы, противники намертво сцепились друг с другом. Из горящего Маньчжурского города никто больше не мог протиснуться в это до отказа заполненное пространство. Опьяненные борьбой женщины задыхались под аркой ворот.

Ван Лунь, опередивший товарищей, оставлял провалы в сомкнутых рядах гвардейцев. Он стонал, орудуя длинным мечом. Обнаженный до пояса, трудился, почти теряя сознание, не чувствуя механически поднимавшихся и опускавшихся рук. Время от времени отскакивал назад, замирал, уронив голову на грудь и обливаясь по́том: неподвижный словно бронзовый бык в набегающей человеческой волне, которую он крушил уже одним своим видом – налитыми кровью глазами; набухшими, будто они были в

перчатках, кистями рук; лицом, непомерно раздувшимся под глиняной маской. Потом – опять начинали работать шарниры железных колен, плечи и локти вклинивались в супротивную человечью массу. Желтый Скакун поблескивал, перемешивая кровь с кровью в ступе императорского цветочного сада.

Го, залитый кровью, сражался неподалеку: буравил чужую плоть коротким обоюдоострым мечом; расщеплял направленные на него деревянные копья. Щель за щелью прорубал он в мягкой живой стене, вокруг него бурлил водоворот из человеческих тел.

Перед дворцовой стеной порхали над головами мятежников стройные мотыльки: стрелы; садились на зиявшие им навстречу щеки, плечи, шеи; украшали – шатающихся, бессмысленно улыбающихся.

В то время как в Маньчжурском городе целые площади наперебой надрывали глотки, здесь, между двумя стенами, лишь изредка раздавался одинокий вскрик. В не разрываемой вспышками света тьме фыркала, грохотала, опускала свой поршень невидимая машина. Измельчали что-то ее зубья. Таяли каре гвардейцев. Еще немного – и вторые ворота в Запретный город откроются. Горестный стон пронесся над рядами защитников. И тут императорские солдаты вдруг подались в стороны, дождь низвергающихся со стен стрел разом прекратился. Из Запретного города громогрохочуще вылетел через эти ворота свежий кавалерийский полк, клином вонзился в упругий комок мятежников, который немедленно раскололся.

И внезапно в Маньчжурском городе ликование сникло, отшатнулось – из-за пронзительного свиста маньчжурских всадников, из-за раскачивающего землю топота их коней. Тысячеголосый вопль тоски и ярости между обеими стенами. Медленное, шаг за шагом, отступление за пирамиды трупов. Верхние северные ворота стиснули, перемешали, вытолкнули беглецов. Запретный город выблевал мятежников. И они покатились в ров. А на той стороне, в Императорском городе, сразу очутились под копытами гнедых коней. Зажатые в клещи, посылали предсмертные крики к небесам. Кривые маньчжурские сабли кромсали их лбы и спины.

И тогда безвольная человеческая масса встрепенулась.

С шипением выпустила воздух.

Как взорвавшийся паровой котел.

Фронт всадников в мгновение ока был прорван.

Последнего всплеска ярости как раз хватило на то, чтобы разметать преследователей-маньчжуров.

В нетерпеливом порыве мятежники устремились к горящим амбарам и мимо них – через не охраняемые уже восточные ворота, Дунчжимэнь и Чжихуамэнь*, прочь из Маньчжурского города, прочь из Пекина.

Их вынесло на безмолвную и прохладную ночную равнину, к околицам маленьких деревень.

Дегтярно-черным казался Запретный город. Цяньлун вздохнул у окна, рядом с которым на узком столике тускло мерцал светильник. Император все еще держал в руке свое стихотворение о красотах Мукдена. Цзяцин молился, распростершись перед статуэткой Конфуция, поставленной на бронзовый цоколь. Император холодно наблюдал за ним. Когда царевич поднялся, старый насмешник хлопнул в ладоши и что-то тихо сказал подбежавшим евнухам. Цзяцин увидел на двух деревянных блюдах головы обоих предателей – начальников караула.

ЧЕРНЫЕ ЗНАМЕНА «Белого Лотоса» и «поистине слабых» развевались к северу и к востоку от столицы. Неучастие в штурме мятежных императорских полков быстро разъяснилось. Цяньлун, которого предупредили о заговоре, накануне вечером велел арестовать подозрительных младших военачальников и держать их под охраной в Запретном городе. Они находились в северной части города, как раз в той, что подверглась нападению; все были освобождены во время штурма; пятеро погибли, а четверо других – в их числе и Желтый Колокол – покинули город вместе с потоком беженцев. Перепуганные солдаты мятежных полков ночью напали на своих же товарищей и одержали победу. Оба начальника караула, которых таким изощренным способом привлекли на сторону восставших, были, кажется, сразу после задержания убиты по приказу Цяньлуна.

Три вождя – Ван Лунь, Го, Желтый Колокол – вскоре объединились. Ван бушевал, негодуя на собственных солдат. Некоторых он велел обезглавить еще в ходе отступления – потому что они, как было доказано, сеяли панику. Весь пыл его ярости обрушился на только что разбитое войско. Лишь благодаря его твердокаменному упорству мятежники уже через два дня смогли в боевом порядке двинуться в северо-восточном направлении – навстречу выступившим против них солдатам Чжаохуэя. Шесть тысяч человек под командованием Го остались на месте, чтобы прикрывать тылы. Была достигнута договоренность с независимыми отрядами мятежников: о том, что отныне они будут согласовывать свои вылазки и грабежи с планами повстанческой армии.

Чжаохуэй отклонил предложения помощи со стороны командования провинциальных войск. Получив сообщение о разгроме мятежников в Пекине, он стянул в один кулак остававшиеся под его началом разрозненные воинские части.

И под громами и молниями первой грозы того лета, через десять невыносимо знойных дней после бегства повстанцев из столицы, два враждебных войска встретились на холмах Инпина. Сопение и хрюканье в небесах, потряхивание гривой, скрежет зубов, удары хвоста, выкачивание глаз – благодарных зрителей для этого спектакля не нашлось. Из черного воздуха на невидимом шнуре свисал – висел над обеими армиями – гигантский гонг, его удары раззадоривали противников. Два снежных барса прыгнули друг на друга. Ветераны джунгарской войны со сладострастием утоляли жажду крови. «Поистине слабые» позволили разгоряченному врагу зажать их в кольцо своих лап – и потом сломали ему хребет.

Чжаохуэй, гарцевавший на сером жеребце, наблюдал за ходом сражения сверху, с холма. Ван Лунь же катил свою молотилку понизу, по дороге, обмолачивая человекозерно. Потом чернота неба с треском разорвалась, и из трещины посыпались градины, затанцевали на головах. «Поистине слабые» даже в слепящем хаосе бури сражались с ледяным спокойствием. Не обращая внимания на раны. Им было все равно, умрут они или останутся в живых. Огонь, поначалу воодушевлявший джунгарских

ветеранов, не пожрал себя до конца – начал чадить, колебаться. Мятежники не предпринимали стремительной атаки: одолевали врага постепенно и невозмутимо, не столько тесня его, сколько сами теснимые железной необходимостью.

Когда Чжаохуэй со своими сломленными солдатами наконец обратился в бегство, мятежники преследовали его по пятам. Однако преследуемыми были и те, и другие. И те, и другие бежали, бросая убитых, сломанные повозки, лишенные мускульной силы мечи и топоры – как будто все это годилось лишь на удобрение для полей.

Потерпевший поражение императорский полководец затворился в городе Шаньхайгуань.

ЖЕЛТЫЙ КОЛОКОЛ и Ван Лунь, оба на конях, проехались вдоль стены, защищавшей западную, обращенную к морю часть города.

Красный дворец военачальника сверкал как лезвие алебарды, к югу от него широко расставила ноги серая мемориальная арка; табличка на ее лбу восхваляла давние победы над монгольскими князьями.

Отсюда, с возвышенности, можно было видеть грязно-желтое море, белые паруса джонок, парившие над волнами. Город соскальзывал в море, усеивая дельту реки и укрепленное побережье домами-лодками; если бы не метровой ширины стена с дозорными башнями, этими хищными твердокаменными челюстями, мятежникам хватило бы одной атаки, чтобы опрокинуть императорских солдат в прибрежные воды.

Желтый Колокол задумчиво смотрел на серые крыши с отблесками неяркого солнца. Он вспоминал ту ночь полнолуния, когда они с Ваном стояли на опушке леса перед другим, полуразрушенным городом. Лист книги перевернулся. Много ли пройдет времени, прежде чем и эти стены встретятся со своей судьбой?

Ван дотронулся до руки друга. Сказал, что, если бы речь шла о нем, он бы предпочел штурмовать город немедленно. Но какими сильными, каким бесценным сокровищем были братья и

сестры, погибшие в Монгольском квартале, – какую силу духа они проявили!

«Знаешь ли ты, Желтый Колокол, как выглядит судьба? Как труп: с ней нельзя заговорить, ее нельзя ни умилостивить, ни рассердить; можно только приманивать ее душу вымпелами – укрепив их в саду, и на крыше, и перед дверью, и во дворе!

Много ли осталось в живых тех братьев, что были свидетелями случившегося в горах Наньгу? Ни в одну эпоху, думается мне, земля за такой короткий срок не приняла в себя стольких несравненных воинов; страна наша благоухает, потому что по ней бродят ду́хи этих дорогих для нас мертвецов. Я же пока жив и должен вести своих людей к победе. Но что я делаю – вновь и вновь? Пожираю чужие жизни, насыщаю землю драгоценными человеческими телами – в окрестностях Хуацина, в Пекине, в Инпине. Меня *они* не пожелали взять с собой. Передо мной громоздятся жертвы, да я и сам уже труп – который земля пока не хочет принять, не позволяя мне присоединиться к тем, дорогим жертвам. Так что какое-то время я еще побуйствую на этой земле; имя Ван Лунь будут произносить как имя одного из богов преисподней; а потом – где-нибудь, когда-нибудь – я засну, так и не узнав, почему все это случилось».

Они спустились к ильмовой роще, привязали коней, уселись на мху.

Желтый Колокол, с болью во взгляде, погладил Вана по плечу: «Что с тобой? Что?»

«Мы должны завоевать для себя царство. Должны возвести на престол Минов, которые станут нашими императорами. Я не вправе допустить, чтобы случившееся оказалось напрасным. Ма Ноу говорил, что его братья и сестры спаяны в одно кольцо; он не желал быть спасенным мною. И теперь я говорю то же самое. Мы не должны допустить – даже если потерпим поражение, – чтобы у нас отняли это: что мы восстанавливаем империю Минов. Во мне, дорогой брат, все беспорядочно кружится. Но в этот железный стержень я вцепился зубами: путь уже предопределен; обо мне вопрос вообще не стоит».

«Что ты имеешь в виду, Ван, – когда говоришь, что о тебе вопрос не стоит?»

Ван с таинственным видом повернулся к высокому полковнику: «Существует разница между тобою и мною. Я – почва, из которой произросло движение *у-вэй*, присвоившее часть моего духа. Раньше я думал, что должен приготовить для “поистине слабых” красивое, богатое, чистое жилище в Чжили – и суетился, носился повсюду с Желтым Скакуном; теперь “поистине слабые” обрели собственный голос, собственную озвучивающую этот голос глотку; они вздыхают, словно являются духом моего тела, – и я обязан предоставить им прибежище, место успокоения внутри меня самого. Они смеются надо мной, как смеялся Ма Ноу. Ма Ноу, ты когда-то рассказывал мне о добрых, отводящих взгляд буддах, но как много с тех пор обрушилось на мои плечи! Теперь, дорогой брат, все ждут от меня каких-то слов, и лица у них такие странные, удрученные. Жена моя осталась в Сяохэ и не проливает слез; но мой сын, которого я произвел на свет без жены, *у-вэй*, – тот непрерывно плачет и зовет меня. Ты ведь понимаешь, чтó я хочу сказать. Мой сын способен плакать. Я должен защищать братьев и сестер, как делал всегда. Мы призваны восстановить империю Минов».

Полковник отвел взгляд, собираясь с мыслями, потом сказал: «Ты не похож на Ма Ноу, совсем не похож. Ван Лунь, мой брат, идет правильным путем, но – страшась и вопреки своему страху. Желтый Колокол мало что знает о трудной судьбе Ван Луня. Желтый Колокол просто думает, что нужно быть смелым, нужно бороться. Мы все – дети “ста семейств”, и я повторю за тобой: разве дело во мне? Мы ведь, дорогой брат, хотим очистить наш общий дом, чтобы нам всем было хорошо».

Ван нежно дотронулся до его руки: «Поедем дальше, брат! Смешно – я, с тех пор, как вернулся из Сяохэ, во всем путаюсь. Помню только, что родом я из Хуньганцуни, что имею крепкие кости и здоровенную пасть – а больше я о себе ничего не знаю. Когда-то я познакомился с одним мусульманином и с бонзой. Оба были моими друзьями... Да не слушай ты так серьезно мою болтовню! Ты прямо как Го – тот тоже все качал головой».

Они быстро подскакали – на расстояние полета стрелы – к стене, которую патрулировал один из отрядов осажденных. Им

было видно и то, что делалось за стеной: заполненные народом улицы; на рынках, между продавцами и покупателями, – группы шатающихся без дела горожан. Жеребец Ван Луня загарцевал; на лице всадника проступило радостное любопытство; хитрые глаза привычно разбирали по частям группки прохожих. Услышав окрик Желтого Колокола, Ван повернул коня: солдаты на стене натянули луки. Друзья поскакали дальше.

И мгновенно терзавшие Вана мысли куда-то отступили. Да, он убил в Монгольском квартале Ма Ноу и «расколотых дынь» – будто подвел черту под убыточным счетом. Он поверил Ма Ноу, который затем сам, без его участия, осуществил на практике учение *у-вэй*; с тревогой и ужасом смотрел Ван на то, как все это развивалось и чем закончилось; он по праву решил судьбу движения, ибо оно, по сути, было его детищем; он не хотел допустить, чтобы человеческая низость омрачила умирание этой мечты. Обуянный жаждой мести, он не бросил меча, когда бежал, предрекая смерть врагам, с поля, усеянного мертвецами, – но в глубине души уже тогда знал, что здесь, собственно, и мстить-то не за что, что нет никакого врага, с которым он мог бы сразиться, ибо такой конец секты был неизбежен. И когда Го рассказал ему о смерти Ма Ноу, с него будто страшным рывком сорвали уютное одеяло мстительности: он был побежден, уничтожен, задушен, еще хуже, чем когда-то – *дусы*. Пришло отвращение: с *у-вэй* все кончено! И тогда вынырнули Сяохэ, решимость уйти в себя, хитростью – всего на несколько месяцев – вырванный у судьбы покой; крестьянин, всегда таившийся в Ване, казалось, медленно выбирался на волю. Между тем, его учение в Чжили не умерло, а пожирало ту пищу, которую находило вокруг; и Ван не мог долго притворяться глухим и слепым, отрясая с себя, как прах, свое прошлое; гнев на императора снова откупорил его; движение *у-вэй*, пусть и отклонившееся далеко в сторону, оставалось для него самым кровным, самым дорогим делом. Он вернулся без особой охоты, но мощное движение увлекло его за собой; он сам часто не знал, в чем состоит его долг, мечтал о мягком пути «недеяния» и видел, что вовлечен в бесконечную, безнадежную череду убийств. Он не находил дороги к самому себе. Теперь,

заглядывая через стену Шаньхайгуани, он видел кишащие людьми рынки, улицы; и внезапно им овладело радостное возбуждение; в нем дернулось, как рычаг, решение, ничем не обоснованный порыв: «Туда, туда – и без оружия!» Он не понимал, что перед ним возникло подобие давно покинутой им Цзинани, что изо всех его пор капельками пота рванулась наружу приверженность принципу *у-вэй*. Терпеть, терпеть, страдать, но выдержать все! Не противиться! Как Су Гоу! Впервые за долгое время он опять любил жизнь. Ликующе вскинул руки навстречу городу. Поддался слабости – снова больше всего на свете хотел быть городским шутом.

Войско мятежников полностью отказалось от первоначального деления на две части: боевое братство связало «Белый Лотос» и «поистине слабых» неразрывными узами. Крепкие мужчины и женщины бегали по лагерю, разбивали палатки, толкали тележки с провиантом, работали топорами и мечами; хлопали на ветру черные знамена; о том, что будет дальше, никто не думал. Нужно победить, изгнать маньчжуров, восстановить золотую Минскую династию... «Поистине слабые» ничем не отличались от членов тайного общества – разве что больше гордились собой, в сражениях совершали чудеса храбрости, на лагерных стоянках устраивали для забавы опасные поединки между двумя или четырьмя противниками, всем своим видом демонстрировали грозную уверенность в себе.

Повстанческая армия расположилась широким полукругом вокруг Шаньхайгуани, отдыхала после последних битв; ожидала подкреплений, которые уже выступили из Шаньдуна и Ганьсу. Судя по сообщениям из Чжили и соседних провинций, там собирали провинциальные войска; прибывавшие оттуда люди говорили, что численность этих правительственных формирований резко возросла. Но сообщения подобного рода вызывали у повстанцев только блаженный смех.

Услышав о том, что мятеж расширяется, из Нанкина* прибыли двое мужчин, которые утверждали, будто принадлежат к роду Минов. Они присоединились к повстанцам на следующий день после пекинского разгрома и вскоре проявили большое

мужество в сражении с солдатами Чжаохуэя. Они были двоюродными братьями: старший – крестьянин лет пятидесяти; младший – юноша лет двадцати с небольшим. Свойственная им серьезность и приятная, благородная манера поведения нравились их новым товарищам. Братья, конечно, могли подтвердить свою принадлежность к прежней династии лишь собственными рассказами весьма фантастического толка, но люди им верили. Вернувшись после конной прогулки вокруг города, Ван спросил младшего из «Минов», женат ли он. Тот ответил, что нет. Ван окинул взглядом красивого загорелого юношу и сказал, что, пожалуй, тому пора бы подумать о женитьбе. Молодой человек улыбнулся, смущенно отвел глаза: он рад, что у Вана хорошее настроение; он припас для Вана гостинец – коробочку засахаренных фиников; почему бы им не полакомиться вместе? Ван эту мысль одобрил, спросил, где его собеседник раздобыл финики. Они уселись перед палаткой, сосали сладкую мякоть, выплевывали косточки, довольно поглядывали друг на друга. Он уже давно не ел засахаренных фруктов, задумчиво пробормотал Ван, – в последний раз пробовал их в Шаньдуне; это было давно. В городе Бошань его однажды пригласили к купцу, который возглавлял «Белый Лотос»; там-то он, Ван, накушался таких сладостей вволю, от пуза. Да, согласился Мин, в здешних краях их нечасто встретишь, особенно теперь. Так что, он правда еще не женат? – продолжил прерванный разговор Ван; в военное время жениться – значит проявить мудрость: после свадьбы, возможно, родится сын, а тогда и умирать будет не так страшно. Да-да, не надо удивляться! Короче: желает ли молодой Мин жениться на дочери маньчжурского военачальника Чжаохуэя? Если желает, то получит ее без всяких хлопот: Ван сам возьмет на себя роль свата. Молодой человек решительно отказался: пусть Ван не обижается, но он, Мин, таких насмешек не заслужил; ясно же, что его родственные связи с прежней династией в данный момент никого не интересуют. Ван не отставал. Как, мол, его приятель не понимает таких простых вещей: если военачальник отдаст свою дочку – считай, он уже на стороне повстанцев; не отдаст – ну, тогда будет видно. Минам не следует лезть на рожон,

им пристало обезоруживать врага своей спокойной уверенностью, мыслить дипломатично. «Мин», сбитый с толку, покраснел, промямлил что-то неразборчивое. Значит, договорились, подвел итог Ван, прежде чем оба отправились к котлам с пшеничной похлебкой: Мин, пока не имеющий невесты, уполномочивает Вана быть его сватом. И должен сейчас написать для Вана памятку с указанием года, месяца, дня и часа своего рождения*.

Внутри города тоже имелись приверженцы «Белого Лотоса» и «поистине слабых». Повстанцы, подвергнувшие Шаньхайгуань осаде, пытались наладить с ними связь. Первые попытки – прятать бумажки с сообщениями в бамбуковые древки копий – провалились: такие письма либо вообще не доходили, либо попадали не в те руки; каждая неудача только осложняла «братьям» дальнейшую работу. Более многообещающей казалась идея послать в город – по воде – гонца.

Через два дня после начала осады на горизонте появилась большая флотилия со множеством снующих по палубам людей; корабли приближались с юга. Повстанцев, которые поначалу обрадовались, потому что матросы не носили военной формы и скорее всего были пиратами, при первой же попытке сближения с ними постигло тяжкое разочарование: два крупных судна попросту опрокинули их джонки. Как потом выяснилось, это действительно были пираты, но завербованные наместником Чжили, и император в предвиденьи будущих заслуг даже пожаловал их предводителю павлинье перо. Они теперь гордо патрулировали прибрежные воды, захватывали подозрительные лодки, транжирили – в городе и в близлежащих селениях – свои денежки, а на солдат Чжаохуэя смотрели свысока.

Ван Лунь с пятьюдесятью смельчаками отправился в одно из таких пиратских гнезд. Своим спутникам он сказал, что с их помощью попытается открыть городские ворота изнутри. Вооруженные до зубов, они приблизились к тому рыбачьему поселку, в котором обосновались пираты с трех самых больших судов. С шумом вывалились из какого-то переулка на петляющую между дюнами главную улицу. Ошеломленные пираты, в соломенных шляпах и соломенных же накидках, повыскакивали из

своих домов. Ван подошел к корчме, возле которой они столпились, и спросил, кому принадлежат стоящие в бухте суда.

Один человек такого же, как и Ван, гигантского роста, но, несомненно, не из числа вожаков, протиснулся вперед и сказал, что Вана это не касается. Ван, разозлившись, сбил ему шляпу на макушку, чтобы не закрывала лицо: зря он так говорит; если суда и вправду никому не принадлежат, то он с товарищами их заберет. Пираты загалдели, с удовольствием предвкушая неизбежную драку: суда, конечно, никому не принадлежат; и вместе с тем принадлежат им всем – а потому о том, чтобы их забрать, чужакам и мечтать нечего.

Что ж, тогда другой разговор, пошел на попятную Ван; собственно, это он и хотел узнать. Нет так нет. А нельзя ли найти какие-нибудь суденышки поменьше – джонки с парусами, – которыми он мог бы воспользоваться? Он и его товарищи хотели бы совершить прогулку по воде, потому что перемещаться по суше – совсем не то.

Пираты, которые тоже так думали, посмотрели теперь на пришельцев более снисходительно, с самодовольством счастливых обладателей кораблей, и насмешливо объяснили, что джонки где-нибудь да сыщутся: ведь их гости, деревенские молодцы, наверняка умеют прилично плавать. А недавно был сильный ураган с градом, который потопил – примерно в шести *ли** от берега – около шестидесяти маленьких джонок и пять больших; эти лодки можно спокойно брать, так как они уже никому не принадлежат, а оборудованы всем, чем положено. Нужно лишь хорошенько нырнуть – и тогда точно попадешь к тем суденышкам; они вон там – в южном направлении, с небольшим смещением на восток.

Ван сказал, что находит их совет превосходным; и точное направление запомнит. Правда, его товарищи – как, впрочем, и он сам – не настолько привычны к воде, чтоб сходу проделывать такие трудные нырятельные упражнения. Но, поскольку дело это, судя по описанию, нехитрое, он знает, как все устроить. Он и его товарищи просто временно позаимствуют три судна, которые сейчас стоят в бухточке и с которыми они знают как

обращаться, и поплывут к тем кораблям; он, Ван, наверняка сумеет довести суда до того места в шести *ли* от берега, где их ожидают шестьдесят маленьких джонок и пять больших.

Молчание и шушуканье среди пиратов, испытующие взгляды с обеих сторон. Безлюдный берег. Все моряки высыпали теперь из корчмы и и́здали разглядывали топоры, кинжалы, луки чужаков.

Поскольку они молчали, Ван им предложил еще раз все спокойно обдумать; он же с товарищами пока пройдется по берегу, посмотрит на корабли.

После быстрого обмена репликами между несколькими коренастыми моряками, которые, казалось, были здесь за главных, один из них, с заячьей губой, подошел к Вану и вежливо поинтересовался, кто они такие. На замкнутом лице бронзоволицего чужака тут же заиграла извиняющаяся улыбка: он, мол, простить себе не может, что забыл представиться, – но на проселочных дорогах быстро привыкаешь к дурным манерам. Они все из разных сел, из северной части Шаньдуна; а собрались вместе, чтобы пробиваться на юг, в более благодатные края; только им ни в чем не было удачи: под Пекином они присоединились к повстанцам, но тех вскоре разбили; потом пару дней перебивались одним «собачьим рисом» в Палате Великого Человеколюбия, в Пекине; и вот теперь хотят попытать счастья на море.

Почему же они таскают с собой столько оружия?

Чтобы больше никого ни о чем не просить.

После этой беседы посредник вернулся к своим, предварительно уважительно поклонившись: люди Вана перегородили с обоих концов улицу; ситуация для пиратов сложилась безвыходная.

И они обратились с предложением к Вану, которого с частью его товарищей зазвали в корчму. Они сказали, что были завербованы императором для защиты Шаньхайгуани; не желают ли чужаки присоединиться к ним и тоже получать высокое императорское жалованье?

Ван: охотно, если жалованье для него и его людей будет достаточным.

Еще бы нет – за два месяца службы каждый получит по два ляна серебра.

Чужаки посовещались; их предводитель сказал, что жалованье не ахти какое; а кроме того, где гарантия, что всех их, как только корабль войдет в городскую гавань, не вышвырнут с пустыми руками на берег?

После долгих переговоров решение, наконец, было найдено: вооруженные чужаки для надежности займут два корабля; третий войдет в гавань, привезет половину двухмесячного жалованья, и потом все три судна будут совместно патрулировать прибрежные воды; если же третий корабль вернется из города с полицейскими, это будет расценено как предательство, за которое поплатятся заложники – команды двух других кораблей.

План был приведен в исполнение: Ван получил деньги, он и его люди заняли два корабля, встали на якорь напротив города. Но едва они по наущению пиратов согласились сойти на берег, это приключение кончилось: они еще налегали на лодочные весла, приближаясь к пристани, когда за спиной у них раздался издевательский гогот мошенников, довольных удавшейся шуткой, – корабли развернулись и ушли в открытое море, для Вана и его людей они теперь были недосягаемы.

Ван с частью своих спутников обратился к городским властям, требуя вторую половину жалованья; но чиновники ему отказали: пираты не имели права заключать такой договор; а кроме того, их теперь не поймаешь, да и вообще в настоящий момент они считаются союзниками Сына Неба. Ван стал разыскивать в городе своих сторонников: переодевшись так, чтобы его не узнали, слонялся по улицам и площадям. Много дней ничего не предпринимал – если не считать прогулок, посещения храмов, собирания сплетен, перебранок с продавцами курительного зелья, бездельничанья в чайных. Стояла приятно прохладная летняя погода; о своих спутниках Ван в те первые дни как будто забыл. Потом собрал их в доме смотрителя тюрьмы: он, мол, намеревается кое-что устроить в этом городе, после чего здесь начнется мятеж – а дальше будет видно.

Дворец Чжаохуэя располагался в уединенном месте на окраине города, на северо-западном склоне Магнолиевой горы. Осажденный военачальник редко покидал свой дом; он без толку слонялся из одной комнаты в другую, со двора в сад и обратно. Но больше не стоял у окна, выходящего на море; то, что уже там, так близко, – море, к которому его оттеснили мятежники, приводило Чжаохуэя в ярость: ведь и его солдаты, и собственная удача – все оказалось пшиком, и теперь он, словно кошка, которую хотят утопить, вынужден метаться вдоль кромки воды.

Он часто сидел в отделанном резным фризом рабочем кабинете, покуривал кальян, размышлял. Странный из него получился защитник для Пекина; благодаря какому-то загадочному повороту событий Пекин, хоть и в последний момент, все-таки был спасен; его же – Чжаохуэя – прижали к морю; куда девалась его боевая слава, что теперь думает о нем Цяньлун? Он даже не мог больше обвинять Агуя и высокопоставленных евнухов в том, что они направляли его в неудачно выбранные места. Битва *уже* произошла и была им проиграна. Молодой неопытный *цзунду* Чжили, Чэнь Жуаньли, с удовольствием освободит город от осады; военный губернатор Шаньдуна и Би Жуань, военный губернатор Хэнани, тоже приумножат свою славу за его – Чжао – счет. Он *потерял лицо*. Навлек позор на свой дом и своих предков.

Моложавая Хайтан, его законная жена, как могла, утешала страдальца; гнала заметно постаревшего за последнее время мужа из дома, чтобы он проверял караульные посты, следил за дисциплиной в городе. Но Чжао теперь испытывал отвращение к городу, когда-то горячо им любимому; его тошнило от неискреннего поведения горожан, он неохотно встречался с двурушником *даотаем*, Дан Шаои, который, когда солдаты вошли в город, радовался, что избежал злой судьбы, постигшей чиновников в близлежащих местечках, – пусть и ценой унижения своего друга Чжаохуэя. Раны Лаосю, сына Чжао, давно зажили; военачальник по большей части бездельничал: играл с сыном в «угадывание пальцев» или сидел в женских покоях, слушал, как его жена учит Най, их пятнадцатилетнюю дочь, играть на лютне-*пиба*.

Однажды в первой половине дня, когда солдаты упражнялись на холме близ городской стены, из одного переулка в северной части города вдруг как из-под земли вынырнула нарядная процессия – и двинулась по дороге, ведущей к дому Чжаохуэя. Наверняка у тех людей случилось какое-то радостное событие: у всех мужчин, которые следовали за двумя украшенными золотом паланкинами, поверх черных одежд были переброшены длинные алые шарфы. Ударяя в гонги и крича, чтобы люди расступились, они шагали под теплыми солнечными лучами; потом по извилистой дорожке быстро поднялись на Магнолиевую гору. Домашний раб, беззубый старик по прозвищу Папаша, гротескно кланяясь, принял несуразно большую красную визитную карточку, которую ему протянули из паланкина. Чжаохуэй, не утративший, несмотря на свои невзгоды, красивой военной осанки, надел жемчужное ожерелье и, выйдя из жилых покоев, направился к Павильону двенадцати зеленых колонн, навстречу гостям. На визитной карточке стояло не известное ему маньчжурское имя. Шесть незнакомцев, серьезные, с выразительными лицами, вошли в павильон: Ван Лунь и пять его товарищей. Ван представился, назвав маньчжурское имя с визитной карточки, имена для своих спутников он придумал сходу; потом по приглашению хозяина все уселись вокруг стола, разместившегося между двумя колоннами; повисла неловкая тишина. Чжаохуэй хлопнул в ладоши, чтобы слуги принесли чай; и тут от возмущения кровь ударила ему в голову: на его зов никто не явился. Сгорая от стыда, с дрожью в голосе он извинился перед гостями и хлопнул в ладоши еще раз. Но гости постарались его успокоить: они, мол, приехали в город по своим делам, на корабле, заглянули к достопочтенному господину лишь на несколько минут, а что касается челяди – она в нынешние времена повсюду ненадежна.

Гости и хозяин испытующе смотрели друг на друга. Чжаохуэю внезапно захотелось подняться, пойти поискать слуг – и опять странные незнакомцы настойчиво попросили его не беспокоиться: они торопятся и хотели бы поскорее закончить со своим делом.

Опять молчание. Ван, в черном шелковом халате, едва прикрывающем щиколотки, вынул из-за пояса веер, нахмурился, сказал – холодно и твердо глядя в лицо хозяину, – что он и его спутники прибыли в дом знаменитого военачальника как сваты; он сам, находясь в Сяохэ, много слышал об образованной и восприимчивой к искусствам Хайтан, дочери Хуан Цзэдуна, бывшего *цзунду* провинции Аньхуй; о красоте и превосходном воспитании ее дочери говорит весь город; и хотя спешить в таких делах не принято, господин, по поручению которого приехали сваты, к сожалению, не имеет иной возможности приблизиться к желанной цели. Сказав это, гость своей длинной рукой протянул через стол красный конверт с бумагами, удостоверяющими личность жениха.

Военачальник не сделал встречного движения, только уголки его рта дрогнули. Ван, не смущаясь, предложил открыть конверт: мол, недаром в народной песне поется: «С чего начинать, чтоб дрова нарубить? Прежде всего топор раздобыть. С чего начинать, чтобы брак заключить? Свата найти, все ему поручить».

Когда Чжаохуэй, глядя на визитную карточку, пожевал губами, открыл рот и глухо спросил, с кем, собственно, он имеет честь беседовать, гость ответил, что воспользовался визитной карточкой, только чтобы ввести в заблуждение слуг; на самом же деле он – Ван Лунь, глава осаждающих город повстанцев; как сват он представляет интересы одного из минских царевичей, которому вскоре предстоит взойти на престол; правда, царевич этот – китаец; однако никто из китайцев не оценивает маньчжуров так низко, чтобы отказаться взять в законные жены хорошо воспитанную маньчжурскую девушку.

Военачальник, вскочив, потянулся к гонгу, крикнул: «Эй, слуги! Тайцзун![*] Тайцзун!»

Чужаки поспешно выбежали из-за стола, когда он рванулся мимо них к окну; двое загородили окно; Чжаохуэя, который попытался проскользнуть между ними, но упал, подняли и, вцепившись в него железной хваткой, с поклонами препроводили обратно к его месту.

Ван прислушался, нет ли какого шума за дверью, за окном; через мгновение он уже стоял перед задыхающимся военачальником, чьи глаза бессмысленно смотрели в пространство. Что ж, он, Ван, доставил бумаги жениха, передал брачное предложение; подготовить бумаги невесты и выяснить, счастье или беду сулит сочетание восьми брачных знаков – это дело отца. Так или иначе, они, сваты, хотели бы получить ответ побыстрее.

Военачальник ударил кулаком по столу, взорвался: «Бандиты! Негодяи!» Четверо схватили его, красными шарфами связали ему руки и ноги, положили в темном закутке перед дверью. Ван прошелестел: «Подумайте, достопочтенный. Мы еще вернемся». И, обмакнув в тушь широкую кисть, которую взял с полки, нарисовал на паркете грозный символ Минской династии. Еще мгновение – и вот уже двое самых важных гостей садятся в паланкины; удары гонга, крики: «Дорогу!»; процессия быстро спускается с Магнолиевой горы и исчезает в одном из боковых переулков.

Через полчаса пять младших военачальников, которых Чжаохуэй в тот день пригласил к обеду, нашли на дворе двух валяющихся в пыли домашних рабов – связанных и с набитыми паклей ртами. Папаша, едва его освободили, ринулся, причитая, в жилые покои; дом загудел, как растревоженный улей. Женщины, услыхав хныканье Папаши, повыскакивали из своих комнат. Весь пчелиный рой с воплями устремился на поиски хозяина – и те, что первыми вбежали в зал, об него споткнулись. Хайтан бережно положила себе на колени осквернённую голову мужа; он вздохнул; ему влили в рот несколько капель вина; он обвел мутным взглядом столпившихся вокруг. Младшие военачальники вместе со слугами кинулись по следам чужаков; прошло несколько часов, прежде чем им удалось выяснить, в каком из переулков исчезла процессия. Солдаты, обыскавшие все дома в ближайшей округе, не обнаружили ничего подозрительного; немногочисленные обитатели переулка были подвергнуты бичеванию; итоги дознания, которое Чжаохуэй закончил в тот же вечер, сводились к следующему: в Шаньхайгуани у повстанцев наверняка имеются доброжелатели. Поскольку пройти незамеченным через крепостные ворота невозможно, чужаки,

очевидно, проникли в город морским путем; значит, нужно усилить патрули на таможне, тщательно следить за сходящими на берег дружественными пиратами и прочими моряками.

Полицейские осматривали подвалы, брошенные дома́ в поисках Вана и его спутников. Чжаохуэй зашел в комнату к жене; и не сумел сдержать своих чувств: «Что нам делать, Хайтан? Ты так умна, и вместе с тем не понимаешь простых вещей. Я стал посмешищем для всего города, для моих врагов!»

«Что ж, пусть враги смеются – скоро они будут визжать от страха, как визжали в Пекине. Они избили нашего Лаосю, унизили тебя, теперь хотят добраться и до хрупкой Най. Вовсе не тебе следует думать о дарующем легкую смерть шелковом шнурке, а городским властям – *даотаю* Дан Шаои и прочим. Отмсти за себя, Хуэй!»

«Что толку? Выдержать осаду нам все равно не удастся. Враги пробираются в город со стороны моря. И бродят по улицам, по рынкам – среди нас; может, даже приветствуют нас, но мы их не узнаем. Сюн прав: когда мириады ничтожных песчинок вдруг ополчаются против людей, людям не остается иного выхода, кроме как бросить все и бежать. Мы, маньчжуры, вызываем здесь всеобщую ненависть. Надо мной смеются!»

«Духу Хайтан хотелось бы переселиться в тебя, Хуэй! Ведь оскорбили нашу с тобой дочь. Смириться с этим я не могу. И если *ты* не думаешь о мести, то тем упорнее думаю о ней я!»

«Что ты такое говоришь? Они побывали здесь, в нашем доме, но теперь – где их искать? Как ты собираешься мстить, если сама сидишь в клетке?»

«Тан Шаои – двурушник. Он не верит в тебя, трясется за собственную шкуру; из-за того, что он попустительствует всякой сволочи, ты пережил такой стыд; но и с тобой он пока опасается портить отношения. Шелковый шнур давно тоскует по его шее».

Чжао распахнул окно; на фоне красного неба четко выделялись поредевшие кроны деревьев; теплый воздух вливался в комнату; вдруг из сада донеслось мелодичное пение.

Хайтан засеменила к окну, встала рядом с мужем: «Это поет наша девочка»; и восторженно запрокинула голову. «Почему мы

пропустили время цветения персиков*, когда родители Жуань Цзина спрашивали, что́ мы думаем насчет свадьбы? Сейчас дочка уже могла бы жить не с нами...»

«Мне хотелось еще на какое-то время удержать нежную Най возле себя».

«А теперь, наверное, Чжаохуэй жалеет, что не выдал ее замуж в пору персикового цветения. Ведь они еще вернутся, эти преступники; свяжут тебя, и наших рабов, и меня, а нашу девочку уведут. Они решили ее украсть и, конечно, добьются своего; о, как бы я хотела, чтобы Най сейчас жила не с нами!»

«Тише, Хайтан, а то девочка услышит тебя. Она опять поет. Наш дом надежно защищен. Я удвоил стражу. Бешеные псы больше не залают на моем дворе. Тан Шаои я отправлю в тюрьму. Чтобы согнать противную улыбочку с лица этого пройдохи».

«Что мне за дело до Тан Шаои? Посади в тюрьму хоть семьдесят негодяев, тут же объявится в десять раз больше новых. Девочка поет... Долго ли ей еще петь? Куда ее спрятать? Хуэй, что будет с моей девочкой?»

Хайтан опустилась на циновку, плакала, раскачиваясь из стороны в сторону. Слезы смывали румяна с ее полных щек. И, напитавшись красным, капали на грудь, пачкая светло-голубой халат: «Для кого сватал нашу дочку Ван Лунь?»

«Ван Лунь? Для одного минского царевича – смешно, он даже не назвал его имени. Он дал понять, что минский царевич оказывает нам честь, изъявляя желание жениться на маньчжурской девушке. Давай лучше не будем об этом».

«Что-то пошло наперекосяк между маньчжурами и китайцами. Если бы вы не совершали ошибок, никакого восстания не случилось бы. Вспомни о Тан Шаои – и такие жулики сидят во всех управах! Как же не быть восстанию? А страдать приходится нам. То, что в стране поднялся мятеж, следствие вашей слабости и глупости; ну, допустим, вы разобьете сектантов, так ведь лет через десять они появятся снова. Как мне помочь Най? Где сейчас Жуань Цзин?»

«Жуань Цзин несет караульную службу на городской стене».

«Я бы хотела с ним повидаться. Ты должен послать ему приглашение, с одним из наших слуг».

«В ближайшие дни он не сможет оставить свой пост; да и я не знаю...»

«Зато знаю я. Я хочу поговорить с ним. Хочу его увидеть. Хочу обсудить все с его родителями. Посоветоваться с ними о будущем Най. Весной мы не согласились отдать ее ему в жены, а теперь нас подстегивает нужда».

«Знаки будут неблагоприятными...»

«Тебе, Хуэй, не стоило бы упоминать об этом, не стоило бы расстраивать меня еще больше! Это наш общий ребенок, и мы не можем просто стоять у окна, слушать, как она поет себе и поет, ни о чем не подозревая. Что принесет нам всем эта ночь, что принесет завтрашний день? Пусть Най и ее служанки спят в моей комнате. Я хочу увидеть Жуань Цзина, хочу поговорить с его родителями. Если же ты откажешь мне, скажу тебе так: когда вернется Ван Лунь – а он вернется, вернется обязательно, – я хочу присутствовать при вашей беседе. Я хочу посмотреть на него, хочу его спросить, для кого он сватает нашу дочь. Пусть тот царевич сам нанесет нам визит, если он порядочный человек. И тогда он получит Най. Да-да, Хуэй, китайцы ничем не хуже маньчжуров; если мы помиримся, это пойдет на пользу всем. Я не желаю потерять дочь из-за ваших ошибок!»

«Хайтан, дорогая, ты сама не знаешь, что говоришь. Нет, не знаешь. Ты хоть представляешь себе, какой негодяй этот Ван Лунь? Минский царевич! Да Ван просто хотел показать, что мы с тобой не находимся в безопасности, что он может сделать с нами все, что сочтет нужным».

«Тогда тем более я хочу поговорить с Жуань Цзином. Освободи его на один день – на завтрашний – от службы. Не смейся, Хуэй. Я больше не могу так жить. Если я женщина, это не дает тебе права глумиться надо мной. Беда всей тяжестью легла на мои слабые плечи; а ты – только из-за того, что над тобой посмеялись, – готов схватиться за шелковый шнурок. Помоги мне, Хуэй, помоги той Хайтан, которую когда-то любил!»

Переговоры между обеими семьями не заняли много времени. Между тем, поскольку осаждавшие город мятежники пока не могли перейти к штурму, так как их подкрепления подходили

медленно – провинциальные войска затрудняли связь между южными отрядами повстанцев и повстанческой армией в Чжили, – Ван с головой ушел в кипучую городскую жизнь. Он чуть ли не сознательно воспроизводил – имитировал – свою юность в Цзинани. Когда *даотая* Тан Шаои вывели из его *ямэня* и, заковав в шейные колодки, препроводили на рыночную площадь, Ван стоял в толпе зевак, читавших надписи на табличках, которые были привязаны к груди и к спине затравленно озиравшегося чиновника: там говорилось, что наказание *даотая* должно стать предостережением для всех в городе, кто сочувствует повстанцам и не помогает властям задерживать подозрительных лиц. Ван первым положил конец пассивному ожиданию и робким перешептываниям в толпе, окружавшей высокопоставленного чиновника: он поднял с земли кусок гнилой тыквы и сделал вид, будто хочет запустить им в лицо *даотая*, – но не запустил. Глаза наказуемого вызывающе сверкнули, и тут на него обрушился град насмешек, подначек, плевков, прекратившийся лишь после вмешательства хромого охранника: этот слуга закона в черном соломенном шлеме с черным же петушиным пером спокойно сидел на земле, но, как только в него самого попала дохлая рыбина, с воем бросился разгонять толпу бамбуковой дубинкой.

Ван несколько дней прятался у одного бонзы, в грязном храмике богини Гуаньинь, дарующей детей; и с чувством превосходства наблюдал за жалкими махинациями своего хозяина – безобидного мошенника, который наживался на продаже целебных порошков; потом, привесив себе фальшивую седую бороду, слонялся по окрестностям, развлекался с ребятишками, рассказывая им всякие забавные истории. Иногда встречался с друзьями, чтобы узнать у них новости о повстанческом войске. Часами курил кальян на залитой солнцем террасе ресторана, и в этой растительной жизни ему не хватало только одного – его подруги, молоденькой крестьянки, которая осталась в лагере. Еще он подолгу сидел на песчаном пляже, к северу от пристани. Часто по утрам море ядовито поглядывало на него мутно-желтыми глазищами, выхаркивало комки мокроты, недовольно ворчало. Но потом все-таки меняло свой серо-черный наряд на другой,

пурпурный, – царственно роскошный. Под свежим ветром гордо неслись к берегу волны – колесницы, запряженные жеребцами в сверкающей сбруе. Покой струящегося меж ладоней песка. Там впадинка, здесь дюна. Внезапно выныривающие и медленно удаляющиеся паруса. Джонки, карабкающиеся по шарообразной поверхности, переползающие за невидимую линию горизонта. Хуньганцунь лежит к юго-востоку. Ван прищуривал сонные глаза, убирал наверх заплетенные в косичку волосы.

На десятый день после вторжения разбойников в дом Чжаохуэя было официально объявлено, что вскоре состоится свадьба дочери военачальника и молодого Жуань Цзина. Ночью невеста внезапно проснулась, разбудила мать и служанок, спавших в одной с ней комнате. Вскочив в темноте, те услышали странное шарканье, доносящееся из коридора. Испуганные женщины долго не осмеливались ничего предпринять. Но шум не утихал, и в конце концов Хайтан распахнула окно, выходившее на задний двор, где спали охранники, позвала их на помощь. Во дворе сразу же замелькали факелы, дом огласился криками. Хайтан осторожно приоткрыла дверь – и отшатнулась. Озаряемый светом факелов, перед дверью стоял широкий стол, очевидно, принесенный сюда из павильона для приемов; пораженные охранники, сдвинув головы, рассматривали лежащие на столе серебряные кольца, изящный золотой жезл, два шелковых мешочка, ларец с двойным символом счастья*. Совсем близко что-то шуршало, шебуршилось; мужчины посветили под столом: там в деревянной клетке, ослепленные светом, загоготали и забили крыльями два выкрашенных красной краской гуся. Ночью кто-то тайком доставил в дом свадебные подарки; прислоненное к стене черное знамя с минской символикой ясно показывало, кто это был.

Слуги перепугались не меньше Хайтан, которую в беспамятном состоянии отнесли в спальню. Ее всхлипывания и причитания дочери не смолкали до самого утра, когда пришло время наряжаться к свадебной церемонии. Чжаохуэй даже не стал расспрашивать солдат и слуг, вернувшихся среди ночи после безрезультатного прочесывания окрестностей: он знал заранее, что они ничего не найдут.

Лучшие астрологи города не пришли к единому мнению относительно благоприятной даты для бракосочетания, как и относительно того, можно ли вообще одобрить такой брак: из пяти астрологов трое сочли предполагаемый день и час свадьбы удачным; четвертый, сопоставив восемь иероглифов, обозначавших года, месяцы и часы рождения жениха и невесты, охарактеризовал будущий брачный союз как «сомнительный, третьего класса»; пятый настойчиво предостерегал от проведения церемонии в запланированный день; потому что хотя обрученные и пребывали под властью сочетающихся первоэлементов, металла и воды, но свадьбу их следовало справлять в месяц лошади или крысы, а уж никак не в роковой месяц собаки. Ведь на этот месяц, как всем известно, выпадает «брак пяти демонов»*.

Занавешенное туманной дымкой солнце освещало день свадьбы. С балкона Чжао, выходящего на задний двор, недвижно свисало красное шелковое знамя с вышитой на нем надписью: «Дракон и феникс предрекают счастье». «Достопочтенная дама»*, пожилая родственница Хайтан, в платье без рукавов и под красным покрывалом*, в полдень села в простой паланкин; ее понесли по улицам, более взбаламученным, чем обычно: рыбаки только что сообщили, что большое войско, состоящее из провинциальных отрядов Чжили и Шаньдуна, находится на расстоянии дневного перехода от города и что в лагере повстанцев царит сильное возбуждение. На дворе усадьбы семьи Сюн был сооружен шатер*; в шатре закусывали «господа»*; в самом же доме «достопочтенная дама» окуривала ароматическими свечами красное шелковое покрывало невесты, наполняла вазу просом, зернами пшеницы, бобами, застилала брачное ложе*. Под звуки литавр, труб и гонга специально приглашенный маленький мальчик разложил по углам кровати четыре яблока, защитил комнату от злых демонов, уронив на порог два кусочка древесного угля*. И вот уже «достопочтенная дама» выскальзывает из ворот, усаживается в запряженную мулом повозку, едет в сопровождении форейторов, охранников, слуг за невестой – но не на Магнолиеву гору, а гораздо дальше, в тихий, будто оцепеневший дом начальника таможни Чжаосэня, двоюродного брата военачальника.

Сюда в предрассветных сумерках доставили невесту и ее свиту, чтобы отпраздновать свадьбу, по возможности не привлекая внимания. В паланкине Хайтан умоляла мужа перенести церемонию хотя бы на один день, хотела прийти в себя после той ужасной ночи. Но Чжаохуэй, грозно сверкнув глазами, решительно сказал: «Нет». Хайтан знала, с каким трудом ей удалось вырвать у него согласие на тайное бракосочетание, и потому лишь молча стиснула руки.

Нежная Най стояла перед матерью как золотое чудо, не смела шевельнуться в неземной красоты облачениях, которые надевала на нее Хайтан: пурпурный свадебный наряд с широкими рукавами, металлическая диадема на уложенных в высокую прическу волосах; голубые орхидеи цвели на рукавах, волшебный единорог бежал по голубовато-зеленым шальварам*, две уточки* дружно плыли по глади пруда; светло взмывала вверх щебечущая птица феникс. Хайтан погладила руки испуганной дочери; улыбаясь, поиграла с благоуханным покрывалом невесты, которое передала ей «достопочтенная дама»; что-то приговаривала, спела дочери песенку, недавно подслушанную у нее же. И тут зазвучала музыка: восемь «господ», которым предстояло сопровождать невесту, выступили вперед*. А прежде процессию возглавляли фонарщики с опознавательными щитками, музыканты: те и другие в потешных зеленых халатах с красными горошинками, в плоских войлочных шляпах*. Множество ребятишек прыгало по двору; они-то и заперли перед «господами» ворота; те стучали, совали в щель монетки, пока наконец ворота, под визг и ликующие возгласы, не распахнулись и музыканты не ворвались внутрь. Организацию охраны свадебной процессии Чжаохуэй взял на себя, хотя Хайтан была против каких бы то ни было военных мер. Откушав с восемью «господами» в гостевом павильоне, военачальник отправился в женские покои, где невеста прощалась с матерью, бесцельно кружила по комнате; в лице ее что-то подрагивало, губы трепетали, но плакать она не осмеливалась. По ступеням крыльца, по двору бежала ковровая дорожка; девочка-невеста с легким шелестом плыла в своих тончайших шелковых туфельках рядом с отцом, который по такому

случаю облачился в желтый халат, пожалованный самим государем, надел жемчужное ожерелье; павлинье перо покачивалось на его шапке; обут он был в черные атласные сапоги. Не доходя нескольких шагов до ступенек, он подхватил дочь на руки и сам понес к закрытому красному паланкину; девочка покорно смотрела на него снизу вверх. Сигнал труб – и носильщики в голубых куртках, в желтых штанах подняли паланкин, медленно двинулись вперед; шествие упорядочилось, светлая музыка эхом отразилась от стены надменного дома, мрачно смотревшего на вечереющий город. Чжаохуэй следовал за свадебной процессией на некотором отдалении, в закрытом паланкине.

Все более оживленные улицы. Тридцать пеших солдат, десять всадников – личная охрана военачальника – замыкали шествие, держа алебарды наготове. Пока процессия петляла по переулкам, прокладывала себе дорогу на рыночных площадях, сгустились сумерки. Горели фонари. Звуки труб чередовались с более нежными напевами флейт.

Свадебный поезд благополучно добрался до ворот дома Жуаня, которые сразу распахнулись: у входа невесту ждали празднично разодетые «господа». Посреди двора курился беловатый дымок: носильщики подняли паланкин и пронесли красавицу-невесту над раскаленными угольями*.

Но когда слуги уже собирались закрыть ворота, возникла сутолока среди взиравшего на это действо простонародья, перемешанного с многочисленными солдатами. Напиравшая толпа протолкнула нескольких женщин и мужчин во двор. Эти люди попытались снова втиснуться в толпу, но на них, поскольку они расталкивали других, посыпались удары. В сгустившейся тьме возле ворот началась грубая перебранка, поднялся визг; зрители, которые хотели вмешаться, с возбуждением и любопытством задвигались по двору. Носильщики еще не успели доставить невесту к порогу жилого павильона, когда дерущиеся, теснимые сзади простолюдины заполнили все покрытое коврами пространство двора, зажали паланкин, отбросили в сторону стоявших у ворот нарядных «господ». Возникла заварушка; раздались крики: «Дорогу!»; замелькали палки и плети солдат и

полицейских. Многие поворачивали назад, но спотыкались на коврах, падали, оказывались под ногами толпы. На одного долговязого солдата, который без разбора лупил по шапкам и головам, набросились двое мужчин, вырвали у него бамбуковую палку, ткнули ему в глаза два растопыренных пальца. Когда он глухо взвыл: «Убивают! Убивают!», людьми овладел безотчетный страх. В разных местах – и на улице, и на дворе – начались потасовки между солдатами и горожанами, противники рвали друг на друге одежду. В руках у рыбаков, грузчиков, прилично одетых гуляющих вдруг появилось оружие.

Всадники и пехотинцы, сопровождавшие свадебную процессию, которых вместе с Чжаохуэем притиснули к задней стене двора, так что они даже не могли открыть ворота на второй двор, задыхаясь, выставили вперед алебарды как штыки. Всадники пришпоривали своих холеных коней – а те, напуганные шумом, поднимались на дыбы, лягались копытами, оскальзывались на упавших человеческих телах, опускаясь, давили тех, кто оказался внизу. В одно мгновение образовалось особое пространство, заполненное падающими, судорожно пытающимися подняться, вопящими людьми. Передние в толпе изо всех сил пытались уклониться от острых наконечников алебард – выгибались, втягивали животы; но человеческая масса, раздувавшаяся как воздушный шар, толкала их прямо на острия – если они не бросались на землю, рискуя быть раздавленными или задохнуться под чудовищным совокупным весом коня и всадника.

Чжаохуэй, зажатый в угол, надрывал глотку, пытаясь выяснить, где сейчас паланкин его дочери. Последний остававшийся в седле всадник успел крикнуть ему, что видит красный верх паланкина и сломанные штанги в середине двора, – прежде чем взмахнул руками и свалился с коня, которому снизу вспороли брюхо. Алебарды солдат уже валялись, растоптанные, на земле; боровшаяся сама с собой толпа окружила и поглотила – стерла в порошок – носильщиков в голубых куртках.

С грохотом треснули, не выдержав напора, задние ворота. Последние оборонявшиеся, в их числе и Чжаохуэй, пошатываясь, отступали – спинами вперед – на второй двор. На улице и на

первом дворе у людей освободились руки. Только теперь они заметили затоптанных и задушенных.

Многие крепкие мужчины, одновременно в разных местах, вдруг закричали с перекошенными от злобы лицами: «Айда к *ямэню*! Покончим с солдатней!» И замахали кинжалами, ножами, мечами. Они стали пробиваться сквозь толпу: «Солдаты нас убивают!»

Горожане, замечая рядом с собой изувеченные трупы, в ужасе прикрывали глаза и бездумно подхватывали этот клич. Над соседними улицами тоже колыхались испуганные вопли. Группы бегущих, обезумевших, окровавленных, в порванной одежде, одержимых яростью мужчин и женщин сливались вместе. Повсюду люди, оравшие: «Убивают! Солдаты нас убивают!» – пинками распахивали двери домов.

Улицы лежали во тьме.

Но из всех улиц выплескивались бурлящие людские потоки.

Постепенно просыпались и прочие кварталы. Раньше других огласилась криками площадь перед *ямэнем*. Сперва из выходящих на нее переулков вылетали, как мячики, отдельные люди. Потом улицы начали извергать на огромную площадь более крупные сгустки человеческой массы. И, наконец, сама эта масса, вбирая в себя притоки со всех округи, воздвиглась тысячеруким чернолицым Буддой перед немотствующим *ямэнем*, тюрьмой и казармой городского гарнизона.

Мутные фонари распространяли рассеянный, тусклый свет, казались кораблями, качающимися на морских волнах. Кольцо безмолвных зданий туго опоясывало красноглазого Будду, чье брюхо разбухало все больше, – и впивалось в его плоть. Факелы – алчущие добычи волки – подбирались ко дворам, к надвратным башням *ямэня*.

Но еще прежде, чем пламя, которое втихаря уже насыщалось в *ямэне*, высунуло свою седовласую голову в окно, тюрьма была взломана, ее узники – выпущены на свободу.

Тан Шаои – опознан, мгновенно задушен и растерзан. Добродушно-радостные возгласы незримых убийц, водрузивших голову *даотая* на полицейскую палку, раззадорили тех, кто стоял

дальше, и они, пока не удовлетворенные, хором закричали: «Еще огня! Круши всё!» Когда белая дуга дыма перекинулась с крыши *ямэня* на ворота тюрьмы, бесноватый огромный Будда затанцевал, ликующе завопил – монотонно, восторженно, страстно: «Огня! Огня! Бей! Круши!» Люди тянули друг друга за руки, хватали за плечи.

Женщины, всосанные рванувшимся вперед мужским потоком, закатывали глаза, вырывали из волос гребни, хрипели, на бегу скидывали одежду, скрежетали зубами, роняя с губ клочья пены. Их зрачки сузились, превратившись в крошечные точки. Они цеплялись за плечи и шеи по-звериному ревевших мужчин, которые инстинктивно сбрасывали с себя их руки. То тут, то там какой-нибудь стройный юноша – субтильный, испуганный – обнимал незнакомого человека за потную шею, печально вздыхал, когда вспыхнувшее сине-зеленое пламя исторгало из множества глоток крик: «Красота, красота!» Но вскоре и его руки взмывали вверх подобно огненным языкам пламени. В голове все начинало вертеться – и сам он тоже вливался в неумолимо жесткий поток.

Над головами клубился пар.

В казарме, выходящей на западный сектор площади, встревоженные солдаты забаррикадировали изнутри ворота. Когда доски начали трещать прямо над их головами, они побросали на землю луки и сабли и, не обращая внимания на окрики командиров, сломали ими же построенную преграду. В узком проходе сразу возникла давка. Толпа ввинчивалась во дворы.

Время от времени чадная пелена окутывала ярко освещенные крыши. Потом опять, сдернув серое покрывало, пламя светло вспыхивало над площадью, разоблачая тысячи зверообразных лиц, прятавшихся под покровом ночи.

Шесть воинских рот хлынули по широким улицам в северном направлении; со стороны лагеря и городской стены доносилась барабанная дробь. Сигналы труб, рукопашные в темных переулках. С крыш и близлежащих холмов со свистом полетели стрелы, зажужжали копья, впиваясь во вздыбленное тело ошалевшей толпы. Людской поток застопорился. Новые роты подкатились, грохоча, с севера, вклинились в скопления мятежников;

солдаты забрались на низкие крыши, стреляли оттуда, построившись в длинные ряды, образовав вторую, верхнюю улицу над краем рыночной площади. В паузах между криками раненых слышались дикие взвизги труб, шарканье, невразумительный шум; горный оползень: осаждающие город мятежники штурмуют ворота. Людская масса неудержимо рвалась к северу, но расплющивалась о барьер из солдат.

Когда стали падать на землю первые жертвы лучников, в сторону стрелявших полетели плевки. Потом с яростным ревом люди повернулись и ринулись к южным проходам, разрушая все, что попадалось на их пути. Раненые, открошившись от основной массы, нисколько не заботившейся об их дальнейшей участи, разбрелись кто куда. Их уже не было здесь, когда толпа, отброшенная воинскими подразделениями, вернулась на злосчастную площадь – и солдатские крики, каменная барабанная дробь перекрыли вой, проклятия, свист бунтовщиков.

Разрозненные стычки на площади и прилегающих улицах продолжалась еще около часа. Императорские войска, контролировавшие теперь северные кварталы и площадь, обороняли забаррикадированные проходы в южную часть города. Шум со стороны западного участка стены усилился.

На следующее утро победившие повстанцы, которые прежде осаждали город, размахивали своими черными знаменами по всей окружности городской стены – но тем временем в их собственный лагерь уже вступал авангард провинциальной армии. Решающее сражение этого дня произошло в первые утренние часы. Повстанцы, уступавшие противнику в численности, после тяжелейшей борьбы были разгромлены свежими регулярными частями. Они бежали на юго-восток, возглавляемые Ван Лунем и Желтым Колоколом.

После полудня развернулось второе, малодостойное сражение: между ветеранами джунгарской войны, к которым присоединились некоторые из вступивших в город полков, и городскими бунтовщиками. На этом этапе в борьбе приняли участие и пираты: сперва они топили джонки спасающихся бегством, а потом, высадившись на берег, окружили и взяли в плен группу отчаянно оборонявшихся «сестер» и «братьев».

Чжаохуэя – после этой последней послеполуденной схватки – нашли на заднем дворе усадьбы Жуаня солдаты провинциальной армии. Он лежал в сарае, лицом вниз, с давлеными ранами на предплечьях и тыльных сторонах ладоней, – не то в полусне, не то с помутненным сознанием. Он пришел в себя. Его доставили по опустевшим улицам, в наемном паланкине, к нему домой.

А через несколько часов на покрытых чем-то серым носилках принесли тело юной Най, которая умерла от удушья и потом была затоптана, до неузнаваемости изуродована беснующейся толпой.

Гул сражений отдалился от города.

Перед домом Чжао вкопали в землю красные древки, к ним привязали флаги, привлекающие души умерших*. На возвышении, в переднем дворе, над которым соорудили крышу*, стоял открытый гроб с телом покойной. Синие туфельки с вышитыми на них цветами сливы, кротом, гусем выглядывали из-под драгоценного желтого покрывала, натянутого на раздавленное лицо. Вытканные по всему покрывалу молитвенные формулы образовывали мелкоячеистую благодатную сеть, наброшенную на тело умершей*. На шею дочери, под саван, Хайтан надела золотую цепочку со стеклянным кувшинчиком, в который спрятала некое письмецо; в письме указывались личное и семейное имена почившей, ее возраст. Упоминалось также о красоте, воспитанности и целомудрии девушки, о жестокой судьбе, которая ее постигла. Пусть, мол, духи сердечно примут покойницу и не сетуют на то, что больше не смогут – в ее обличьи – ступать по цветущей земле Срединной империи.

Гости, в белых одеждах, появились после полудня, каждый трижды коснулся лбом земли перед столиком для возлияний, стоящим в ногах гроба; взвизгнули дудки, один из гостей совершил возлияние вином, удар в литавры, бряцанье единственного гонга, тишина. Два ламаистских священнослужителя – в желтых накидках, в расшитых золотом тиарах – запели литании, раскачивая кадильницу. Вечером у подножия Магнолиевой горы сожгли красивые бумажные паланкины, ларчик из серебряной бумаги, мишурные наряды, миниатюрную сокровищницу, лютни и скрипки, любимые книги трагически погибшей невесты – чтобы она могла взять все это с собой, когда будет пересекать реку Найхэ*.

На третий день после смерти, когда души умерших обязательно возвращаются к своему земному жилищу, Чжаохуэй и Хайтан много часов подряд бродили под вязами, заглядывали во все укромные уголки, раздвигали ветки, звали покинувшую их дочь ласковыми именами, жаловались на свою участь, обнимали друг друга, хватались – прислушиваясь, не донесется ли какой звук, – за столбы садовой ограды, со стонами бежали на каждый птичий крик*, поднимались на крышу дома. Она должна вернуться – ведь злодеев прогнали, ее жених без нее не находит себе места. У нее в комнате все осталось как было, лежат ее книги и лютни, подруги плачут: не хотят разлучаться с ней; враги все убиты, теперь опять можно ехать в солнечную Сяохэ. Пусть она вспомнит, какие там красивые туи, ароматные деревья, пальмы, какой нежный и теплый воздух, бананы. Ни один москит ее не укусит. На лодочке – она будет кататься на маленькой пестрой лодочке, если захочет остаться с матерью; а она сможет остаться, непременно останется – пусть только вернется. И они будут гулять по Хэнхоа, где вокруг озер цветут благоуханные розы; отсюда надо уехать – пусть только она вернется, вернется, вернется! К отцу! И к матери! Най! Хочет ли ее душенька показаться в доме, или в саду, или где? Най! Най!

От усталости подламывались колени; они, ничего не видя, добрели до какой-то комнаты, рухнули на скамью. И опять собрались с силами, потащились на двор; опять искали, махали игрушечными флажками, вытягивали шеи, звали, плакали.

Под хныканье дудок, под монотонную барабанную дробь утром в день похорон вышли из гордого дома мальчики; шелестящая музыка хваталась за стены неуверенными руками чахоточного больного; неумеренно громкие удары гонга вновь и вновь опрокидывали ее навзничь.

Двенадцать носильщиков в призрачных серо-белых одеяниях шагнули к гробу, заваленному белыми платками и лентами, бесшумно подняли его на плечи. Горестные причитания, крики, стоны гостей во дворе. И все покинули дом, возвышение опустело. Синее шелковое знамя рода Чжао несли двадцать четыре человека*; за ними через ворота прошествовали носильщики

зонтов, четырехугольных «лунных» вееров*, флажков – и солдаты с алебардами. Шарики из теста – для голодных духов – полетели в дорожную пыль.

Хайтан в комнате умершей играла с лютней-*пиба* маленькой Най. Ее волосы свисали космами. Лицо не было накрашено. Она задумчиво вертела в руках музыкальный инструмент.

В тот же день захваченных в плен мятежников повезли на больших телегах с рыночной площади за город, к месту казни. Маленькая Най уже покоилась под своим могильным холмом, когда солдаты верхом на гнедых конях погнали нескончаемую вереницу спотыкающихся преступников за городскую стену и дальше, в песчаную котловину. Звуки литавр с рынка. «Поистине слабые» и приверженцы «Белого Лотоса», всего около ста пятидесяти человек, закованы в деревянные ножные колодки; к их спинам привязаны стебли гаоляна, обмотанные бумажными листами с именами преступников. Телеги, запряженные волами, грохотали по мощеным улицам; «братья» улыбались сверху, махали горожанам, которые подавали им пиалы с рисом, чаши с вином. Сидевшие в телегах пели о Западном Рае. Со всех сторон к ним подбегали люди, узнавали в осужденных на смерть своих друзей, знакомых, плакали, но вслух проклинать победителей боялись. Место казни окружала чудовищная человеческая толпа, которую сдерживали солдаты, вооруженные саблями, и полицейские с дубинками.

Запряженные волами телеги подъехали; пение прекратилось. Осужденные по очереди спрыгивали на землю – рядами по двадцать человек.

И уже возник за их спинами палач, голый до пояса; обхватив обеими руками эфес специального обоюдоострого меча, он высоко поднял свое оружие, даже привстал на цыпочки; и с силой опустил его, изогнувшись под тяжестью удара, отделил первую голову от туловища.

Две вертикальные, толщиной с руку, кровяные струи; голова покатилась, моргнув глазами. Рот еще жадно хватал воздух. Коленопреклоненный обрубок – туловище – толчком дернулся вперед, упал.

Солдаты, стоявшие кругом, натянули луки, целясь отчасти в мятежников, отчасти в темную массу зрителей.

КОГДА В СТОЛИЦУ было доставлено сообщение о великой победе, военные губернаторы Чжили и Шаньдуна получили каждый по павлиньему перу с двумя глазками. Вместе с соответствующим указом Цяньлуна этим военачальникам вручали собственноручные письма императора, в которых он требовал полного искоренения мятежников и еретиков. Какое огромный вес придавал Цяньлун окончательному урегулированию неприятной проблемы, показывали новые назначения, сделанные им перед началом второго этапа кампании: он приставил к военачальникам, в качестве советников, президента палаты цензоров Са Хоу и самого образованного, самого начитанного из своих зятьев – Цзо Вандаороцзы. Кроме того, он распорядился, чтобы в Солуни и Гирине* набирали в больших количествах маньчжурских лучников – и сразу же отправляли их на место военных действий.

Разбитые мятежники бежали через южную часть Чжили, укрылись в горах Шаньдуна, сосредоточились компактными группами в нескольких горных селениях, где к ним присоединились новые подкрепления. Затем они все вместе спустились в долину, по которой протекает Великий канал, и переправились через него. Императорские войска, расквартированные севернее и восточнее, не сумели воспрепятствовать тому, что приверженцы Ван Луня, меньше чем через две недели после падения Шаньхайгуани, в порыве всеразрушающей ярости захватили город Сюйчжоу, еще два уездных центра, после чего осадили и взяли приступом укрепленный город Дэчжоу. Последний находился у самой границы с Чжили; его захват мятежниками поставил под угрозу приграничные округа Гуаньбин и Дамин; *цзунду* получил приказ прикрывать эту территорию.

Ван Лунь расположился в Дэчжоу на Императорском канале. Все повстанческие войска были сконцентрированы в пределах окружности с диаметром в два дневных перехода. На смену палящей жаре пришли дожди с грозами. В эти ненастные дни крестьяне сеяли озимую пшеницу. Торговля в здешних богатых

краях замерла, сообщение по каналу прервалось. Мятежники, действовавшие очень активно, сожгли все окрестные селения. Чтобы сдержать наступление регулярных частей, они сооружали мощные валы и заполняли пространство между ними водой из канала. Главную дорогу они испортили: перегородили барьерами, высотой с дом, – из кустарника, бамбука и песка. Сторожевые башни, с которых можно было подавать дымовые сигналы, снесли. Тех крестьян, чьи дворы остались нетронутыми, мятежники заставляли работать на себя.

По утрам, до полудня, Ван обычно находился в *ямэне* Дэчжоу, вершил суд. Последние победы благотворно сказались на настроении мятежников; люди уже привыкли жить в состоянии непрерывной войны, балансировать между победами и поражениями. Солдатская масса с нежностью и решимостью хранила верность черным минским знаменам, хотя за них цеплялись и удачи, и неудачи.

В те дни Ван Лунь, сидевший на теплой лежанке в судебном помещении, в *ямэне* Дэчжоу, удивлял своих активных помощников частыми сменами веселости, воодушевления, отрешенности. Похожие странности за ним замечали со времени пекинской битвы, но теперь его эксцентричность еще более возросла: некоторые даже утверждали, будто иногда он во время боя теряет всякую серьезность, срывает с вражеских солдат шапки, нанизывает их на Желтого Скакуна, играет со своими противниками как кошка с мышью, не заботясь об общем ходе сражения. Как сильно на него повлияли специфические особенности военного быта, показывало и его бесцеремонное обращение с женщинами захваченных городов. Ван просто брал все, что ему нравилось, хотя других «поистине слабых» принуждал к строгой дисциплине. И часто просил прощения у одного или другого из своих друзей за собственное распутство: мол, может, он и ведет себя смехотворно, но все равно люди не должны о нем плохо думать; никто не вправе осуждать его, Вана. Он чувствует себя счастливым, уверенным в себе, и надеется, что в дальнейшем все пойдет еще лучше; впрочем, долгих бесед он избегал; избегал даже разговоров с Желтым Колоколом. Го, который захватил и удерживал город Сюйчжоу,

относился к Вану с отвращением и ужасом; эти двое теперь не поддерживали связи друг с другом, если не считать обмена чисто деловыми сообщениями. Желтый Колокол же пытался добиться от Вана каких-то объяснений. И, поскольку Ван от таковых уклонялся, бродил вокруг него – подавленный, глубоко опечаленный. Он испытывал смутное желание утешить Вана, от чего-то предостеречь. Желтый Колокол так сильно тревожился о Ване, что поручил нескольким надежным людям наблюдать за этим странным человеком и обо всем докладывать ему, Желтому Колоколу; но он не находил в себе сил, чтобы выслушивать их отчеты, которые причиняли ему слишком большую боль, и не знал, как справиться со своими эмоциями – страхом и состраданием.

Однажды к Вану в *ямэнь* привели некоего разбойника, мерзкого негодяя с мутным взглядом, который перед крестьянами выдавал себя за «поистине слабого» и, когда его пускали в дом, нападал на беззащитных людей; он был уличен не менее чем в десяти тяжких преступлениях, совершенных в окрестностях Дэчжоу. Ван спросил этого крепкого, уже немолодого человека, откуда он родом. Тот опустился на колени, неловко накренившись вбок, потому что ночью, чтобы вырвать у него признание, его заставили много часов подряд стоять коленями на разложенных на полу шести цепочках. Вздохнул и попросил его отпустить: он, мол, невиновен, его с кем-то спутали. Потом, заметив устремленный на него участливый взгляд судьи, стал просить настойчивее, протягивая вперед руки, – но не отвечая на вопрос Вана. В конце концов бродяга все-таки сказал, что он – сын пекаря, продавца пирожков из Цанчжоу; что рано убежал от отца, так как не мог заниматься пекарным делом, ибо не переносил жары, да и сейчас не переносит; вообще, он – неудачник. Потом опять начал врать, заговорил даже о восстании, о своей симпатии к мятежникам; и нечаянно проболтался, упомянув о том, что многие крестьяне принимали его за благочестивого «брата». Затем по желанию судьи он поднялся, и один из дознавателей стал водить его взад-вперед по залу. Преступник, у которого подламывались колени, искоса поглядывал на странного судью, пристально за ним наблюдающего.

Ван был примерно его ровесником; значит, и он имел бы такую же судьбу – если бы не та или другая случайность, не встреча с Су Гоу в Цзинани, не бедствия в горах Наньгу и прочее. В Цзинани Ван бродяжничал, как и этот разбойник; а теперь этого мерзавца доставили сюда; Ван, возможно, не вел бы себя так глупо, как он, но все равно рано или поздно тоже стоял бы на коленях – коленями на тонких цепочках.

«Кругом! – крикнул Ван. – Не останавливаться!»

Вечно голодный пройдоха с челюстями и руками как у обезьяны, с беззубым ртом, высохшими икрами; он, наверное, может карабкаться по стенам с такой же легкостью, как и лгать. Его брат, его брат! И пусть в его словах ложь перемешана с правдой: он, конечно, не «поистине слабый», но он – его, Вана, брат.

С удивлением рассматривал Ван этого человека, не мог вдосталь наглядеться на его лохмотья, сравнивал собственные руки с руками бродяги; исподтишка наблюдал за дознавателями: не заметили ли они чего, не удивляются ли, что сам он сидит здесь, наверху, а не прохаживается там, внизу. Нет, похоже, они ни о чем таком не думают. Не лучше ли было бы поменяться ролями, не завиднее ли участь бродяги его собственной? Да будут прокляты Су Гоу и горы Наньгу, и всё, что они ему – Вану – навязали, оторвав его от естественного для него пути! Его, который мог бы иметь точно такую же ненасытную пасть и так же бросать на своих мучителей косые взгляды!

После того, как преступник несколько раз проковылял туда и обратно мимо лежанки, Ван велел отвести счастливчика – который непрестанно кланялся, потому что его не подвергли никакой новой пытке, – обратно в тюрьму.

Когда стемнело, Ван незаметно прошел на тюремный двор, взмахом руки отослал надзирателя и уселся рядом с ухмыляющимся бродягой, который радостно запрыгал вокруг своего гостя – его ноги были обмотаны цепью. Вместо того, чтобы начать допрашивать заключенного, судья шепотом заговорил с ним на воровском жаргоне; тот сперва испуганно отшатнулся, а потом с удовольствием поддержал беседу: он уже знал, из каких разнородных элементов состоит союз «поистине слабых». Бродяга

стал рассказывать забавные истории о поющих «братьях», о глупых «сестрах», среди которых попадаются самые невероятные дуры; вдвоем они придумали план побега: стащить одежду у одного из молодых надзирателей, а оказавшись на воле, первым делом хорошенько проучить тех крестьян, которые помогли задержать разбойника. Мошенник разговорился, Ван с удовольствием его слушал; иногда они даже похлопывали друг друга по ляжкам. Им пришлось отодвинуться в самый угол, потому что другим заключенным тоже хотелось принять участие в разговоре. Когда Ван увидал их назойливые хари, изуродованные носы и уши, он както сразу сник. И уже не слушал торопливое бормотание своего собеседника, а смотрел на эти страшные, ухмыляющиеся, косматые головы. Ему стало не по себе, он поднялся, доброжелательно попрощался с новым приятелем и вышел на улицу. В желудке он чувствовал холод; кишки давили на диафрагму. Он быстро зашагал по топким улицам, на которых лишь изредка перед каким-нибудь домом горел фонарь; мимо прошла группа патрульных.

Не быть преступником, никаких убийств, никаких убийств! Как можно выдержать такое – быть убийцей! Помогать другим, искалеченным, – помогать! Чтобы их лица снова посветлели! Наньгу – противиться – не противиться – умилостивить судьбу! Ведь эти люди бедняки, отбросы общества – они должны были к нему прийти; и тогда им не пришлось бы ни стоять коленями на цепях, ни валяться в своем дерьме, ни терпеть палочные удары. Его брат, его братья: он мог стать таким же, как они! Только не убивать, не убивать!

На следующее утро Ван отдал приказ, чтобы никого больше не арестовывали и чтобы выпустили всех заключенных. А если кто-то из преступников, схваченных в городе или в сельской местности, захочет придерживаться принципа *у-вэй* и сражаться против маньчжуров, то его следует незамедлительно принять в союз. Не находя себе места от беспокойства, Ван в полдень послал за Желтым Колоколом, который тотчас явился.

Ван ждал поседевшего полковника у двери своего *ямэня*, сразу повел его в дом; еще не успев поздороваться, схватил за обе руки, обнял: «Если бы Ма Ноу был жив, я бы послал за ним; но

ты все равно присутствовал бы при нашем разговоре. Хочу тебе признаться: прошлой ночью я навестил в тюрьме злосчастных преступников, но сам я уже не могу быть одним из них. До последнего времени я еще надеялся, что смогу, но я ошибался; все это старые истории – молодость не вернешь. В тюрьме я увидел их – людей с отрезанными носами, ушами; они плевались в мою сторону; и как злобно смотрели! Ты, Желтый Колокол, такого еще не видал. Разыщи одного из таких людей, посмотри на него, и тогда – о, тогда ты согласишься со мной, что они ужасны, ужасны! Я не представляю себе, как можно спокойно спать, зная, что на свете существуют такие ужасные типы. И как я сам сумел пережить то, что однажды стал убийцей. А все же, мой дорогой брат, это действительно злосчастные, достойные жалости люди: после убийства они попадают прямиком в тюрьму, после кражи их заковывают в цепи, бьют по пяткам, вырывают из их тел куски плоти, прижигают им каленым железом уши; и если после этого они остаются в живых, то снова уходят в разбой, даже не понимая, чего от них хотят, чем все это закончится, почему в мире все так странно устроено: чиновники – сами по себе, и император – тоже, и крестьяне, и преступники. Да, чем же все это закончится? Я поклялся быть верным принципу *у-вэй*, чтобы помочь и себе, и им; и тогда, думал я, всё будет хорошо; все в горах Наньгу мне поверили, и многим действительно стало хорошо. Я не собираюсь создавать никакого царства; мне бы встряхнуть, ударить себя – за свою забывчивость. Союз *у-вэй* был создан для них и для меня, а я хочу нас всех погубить...»

Желтый Колокол бережно снял руку Вана со своего плеча; они сидели рядом на грязной циновке, возле двери; Ван показал на стены: «Здесь должны были бы стоять золотые будды, как в хижине Ма Ноу; эти мягкосердечные боги говорят всё – и только хорошее. Неужели я никогда больше не вернусь в горы Наньгу? Я хотел бы опять быть совсем слабым и обрести покой у перевала Наньгу, среди моих братьев».

Желтый Колокол заговорил дрожащим голосом:

«Значит, в тебе *так* все повернулось, Ван? Я боялся чего-то подобного. Ты легко можешь оказаться потерянным для нас,

думал я. Но это всего лишь мысли. Я ведь счастлив за тебя и за себя. Чего же тебе не хватает?»

«Всего, дорогой брат. Потому-то я тебя и позвал! Скажи, чем я занимался с тех пор, как покинул горы Наньгу? Было ли это хорошо? Как должен я понимать свою жизнь?»

«Не знаю, я не был свидетелем всего, что ты делал».

«*У-вэй* – это хорошо. И этого у меня никто не отнимет. Я так боюсь, Желтый Колокол: боюсь, что выбрал не тот путь. А бывшие арестанты – пусть все они идут со мной, я обязан о них заботиться».

Желтый Колокол постарался успокоить Вана: тот так или иначе должен был заставить бродягу пройтись по залу суда; какой будет судьба их войска – неважно, главное, чтобы сама идея *у-вэй* не погибла.

Когда оба опять уселись на циновку, Ван, только что яростно обвинявший себя, замолчал. После паузы Желтый Колокол, вынырнув из задумчивости, тихо сказал, что хочет поведать своему брату одну историю.

«В некоем селении, в провинции Чжили, жила когда-то семья Хиа. Слушай меня внимательно, Ван: эта история касается и тебя; не тревожься, брат: ты поймешь, что я думаю о твоих словах, и это поможет тебе. Так вот, женщина из той семьи работала в поле, на заре запрягала волов и пахала землю. Мужа своего она любила. Однажды, когда она еще лежала в постели, изнутри стены донесся шепот: “Твой муж пристрастился к вину, не вылазит из корчмы; он обманывает тебя с дочкой соседей; и хотел бы сделать ее своей второй женой”. Муж обнял ее и поцеловал, прежде чем она отправилась в поле; она взяла за руки обоих детей и, придя на пашню, посадила их рядом с собой. Волы мычали; женщина играла с детьми, а к плугу не прикасалась. Около полудня она вместе с детьми вернулась домой; обняла мужа и сказала, что, кажется, заболела. Ему пришлось повязать вокруг бедер передник, надеть соломенную шляпу и самому вспахать поле. А она сидела на заросшей могилке позади их дома, думала о том, что мужская любовь сгорает так же быстро, как хворост или солома, горько плакала и искала, чем бы

утешиться. Наконец решительно поднялась. “Сжалься надо мной, – попросила она Будду, – спаси меня!”

Среди ночи женщина соскочила с кровати, на прощание махнула рукой спящему мужу, погладила спокойно дышавших детей и вышла в ночную синеву, зашагала по широкому капустному полю, а дальше, за залежным полем, высилась крутая гора, в склоне которой были вырублены ступени, чтобы люди в определенные месяцы могли подниматься к Будде. Наверное, в ту ночь на гору взбирались и другие сельчане, потому что пока женщина лезла вверх, она замечала свежие следы выпачканных в земле босых ног. Она испытывала сильный страх, так как лестница, казалось, не имела конца, – и боялась, что ей не хватит сил. Но она все-таки шла и шла; по пути нагоняла других людей; вдруг они все заскользили вниз, в какую-то впадину, а потом, получив таким образом разгон, стали возноситься выше и выше, вовсе не переставляя ноги. Наверху, на плоской вершине горы, сидел верхом на осле, подтянув колени, Бог; двое – с зонтиками, веерами и фонарями – стояли позади него и держали осла за уздечку; смотрели они дружелюбно. Бог тоже улыбался; у него было узкое удлиненное лицо с козлиной бородкой; ступни он закутал полой серого плаща. Женщина пристроилась в самый конец цепочки паломников и, опустив голову, ждала своей очереди. Когда служители подали ей знак, она нерешительно вступила в круг света; Бог прикоснулся тонкой рукой, которая от света фонарей сделалась прозрачной, словно белый нефрит, к ее волосам и спросил, чего она хочет, наказав ей повернуться к нему спиной и только потом отвечать. Она, запинаясь, начала говорить, и при этом чувствовала себя так, будто и сама была из прозрачного нефрита. Потом снова повернулась к Богу; он нагнулся и шепнул ей на ухо одно странное слово, после чего тихо сказал, что теперь она может вернуться домой – и все будет хорошо. Она сложила ладони перед лицом и так стояла некоторое время, пока один из служителей не проводил ее к лестнице.

Прошло все лето, прежде чем женщина – которая теперь только изредка выходила в поле, а чаще сидела возле могильного холмика – после окончания жатвы крепко прижала к себе

детей и потом, отпустив их, опять направилась к лестнице. Карабкаться вверх было приятно: ноги болели, но это приносило чувство удовлетворения; ей казалось, будто она поднимается на гору целую ночь. Она шла совсем одна: в этот месяц не принято было навещать Бога, но она, добравшись до вершины, взглянула в лицо суровому старому стражу и потребовала, чтобы он ее пропустил: она, мол, имеет на это право, которое никто не может оспорить. Страж, опечалившись, повел ее к темной, чудовищных размеров площадке и сказал, что Бог здесь, на месте, – ей надо только обратиться к нему. Она сразу же закричала: назвала свое имя, обвинила Бога в том, что он ей не помог. Он ответил откуда-то издалека: "Чего ты от меня хочешь, женщина?" Она раздраженно крикнула: "Не ты должен спрашивать, а я. Я хотела умереть. Но ты дал мне утешительное слово, удлинил мою жизнь. Так чего же *ты* хочешь от меня? Я для того и пришла к тебе. Шла всю ночь, чтобы спросить тебя об этом". Жестко, теперь совсем близко от нее, тот же голос спросил: "Где ты оставила детей? Кто этим летом заботился о просе на твоем поле?" "Ты должен мне помочь; с моими детьми все в порядке; что же до поля, то это никого, кроме меня, не касается". "Мое слово не помогло тебе, потому что ты слишком упряма, женщина". "Да ты просто все лето водил меня за нос, ты – каверзный бог!" "Женщина, ты сама не захотела помочь мужу и себе". Она вдруг захохотала: "И *это* ты называешь утешением?" А больше не сказала ни слова. Оттого, что нахмурился его узкий лоб, внезапно возникший прямо перед ней, она вся как-то сникла и камнем полетела в пропасть, до самого подножия лестницы, – а потом, ударившись оземь, взмыла к облакам. И затерялась среди звезд, где и носится до сих пор, став метеором, – вместе с сонмами других таких же бездомных – перед облачными вратами. Ты меня понял, Ван Лунь?»

Тот сидел с опущенной головой; кивнул: «Я получил от тебя намек и должен его принять. Я не стану давать пощечину собственной судьбе; но поверь, Желтый Колокол: никакие решения не помогут человеку, если он неспокоен. Решениями – силой – ничего в себе не изменишь. Все должно прийти само собой».

Внезапно он поднял посерьезневшее лицо к Желтому Колоколу: «Ты радуешься из-за меня. И я тоже радуюсь, потому что сегодня получил твой намек и у меня опять все будет хорошо. Я чувствую, дорогой брат, что у меня все будет хорошо. Я опять начинаю любить людей. В каком же смятении я пребывал – а теперь опять могу выпрямиться во весь рост, спокойно ходить по земле и носить на руках наше дитя, *у-вэй*!»

«Горе нам, Ван, что мы вынуждены носить его на руках, не расставаясь с мечами и топорами! Горе тем, кто нападает на нас – нищих, добрых!»

«Это не должно нас заботить, дорогой брат. Они не смогут причинить вреда нашему *у-вэй*. Мы, только мы идем правильным путем, ведущим на Вершину Царственного Великолепия. Я хочу жить до тех пор, пока смогу защищать наше благое учение. Знаешь, этой ночью я собирался бросить вас и уйти с разбойниками. И я не забуду ее – этой ночи, когда во второй раз очутился на перевале Наньгу!»

Желтый Колокол держал левую руку Вана, вновь и вновь ее гладил: «Это ты, именно таким я хотел тебя видеть – да ты такой и есть, мой дорогой брат. Лихорадка оставила тебя. Нас могут уничтожить; но кто сумеет справиться с нами?»

Они поднялись; по просьбе Вана Желтый Колокол пошел рядом с ним по улицам. Через час они оказались на поросшей низкой травой зеленой поляне, которую пересекал мелкий ручей. Уверенно и широко шагал Ван Лунь; Желтый Скакун висел на веревке, обвязанной вокруг его шеи, – и покачивался, обнаженный, поверх синей безрукавки; островерхая соломенная шляпа прикрывала лоб Вана, перечеркнутый наискось красным шрамом; властные глаза на загорелом лице щурились от солнца. Длинноногий Желтый Колокол тоже делал большие шаги; он шел ссутулившись, в серой куртке и серых штанах, в соломенных сандалиях на босу ногу, как и Ван; ввалившиеся виски, глубоко посаженные глаза с лучистым черным взглядом, развевающаяся борода. Жаворонки и зяблики пели над ними.

Ван показал пальцем на городскую стену, улыбнулся: «В горы Наньгу мы сегодня не пойдем».

Они растянулись на берегу ручейка, помолчали. Желтый Колокол пробормотал: «Немного у меня еще будет таких дней. Недолго осталось мне нежиться в зарослях гаоляна. Когда-то я лежал вот так же в Тяньцзине, с Ма Ноу; и потом, около ламаистского монастыря, тоже ласково светило солнце. Но солевары постучали в ворота, и мы испугались. Лян Ли тогда сидела рядом со мной».

«Ты не забыл эту сестру, брат мой Желтый Колокол».

Полковник махнул рукой: «Когда светит солнце, Желтый Колокол всегда думает о Лян Ли из Тяньцзина; когда же оно не светит, удивляется, почему оно померкло и почему он позабыл свою Лян».

«Она ведь умерла в Монгольском городе...»

«Ван, она сейчас в Западном Раю. Иногда, когда с Запада плывут белые облака, я вижу просвечивающие сквозь них черты ее тонкого и умного лица».

Отдаленные звуки труб. Неопределенный шум из домов, расположенных выше по склону. Непрерывно щебетали птицы – темные, подвижные комочки высоко в небе. Ван подтянул колени, перевернулся на бок, неловко поднялся на ноги и загляделся на птиц, как они падают и опять взмывают в вышину, на маленький ручеек. Он снял соломенную шляпу, вытащил голову из веревочной петли, на которой болтался его меч, потом воткнул меч в мягкую землю, повесил шляпу на рукоять, взмахнул руками и принял такую позу, будто собирался взять разбег: «Вставай, братец Желтый Колокол, я буду прыгать!»

Прыжок – и он очутился на другой стороне ручья: «Сейчас я в горах Наньгу. Ма Ноу осуществляет то, что хотел осуществить я. И все складывается плохо. Я опять должен прыгать».

Он снова перемахнул через ручей, обратно к своему мечу; шляпу порывом ветра снесло на другой берег: «А сейчас я в Сяохэ. Хорошее было время, Желтый Колокол. Плотина, Хуанхэ, Янцзы; я даже женился. Братья пришли за мной, но я еще не с ними, я не могу последовать за ними так быстро. Рази же, мой Желтый Скакун! А сейчас...»

Он в третий раз перепрыгнул через ручей: «Где я сейчас? Опять в горах Наньгу – с тобой, Желтый Колокол. Твой намек

был хорош. И разбойники были хороши. Я вернулся из Сяохэ, я снова дома, в Чжили. Прыгай же ко мне, дорогой, дорогой брат: и захвати моего Желтого Скакуна, потому что здесь придется сражаться!» – Желтый Колокол уже стоял рядом с ним.

Они, обнявшись, смотрели на журчащую быстротекущую воду. «Это Найхэ», – засмеялся Желтый Колокол. Они обнялись крепче. Ван опустил голову, тихо вздохнул: «Да, Найхэ. По-другому не выйдет». Желтый Колокол тоже слегка дрожал: «Я надеялся на лучшую судьбу для всех нас. Мне не хочется покидать цветущую Срединную страну».

Вечером того «дня трех прыжков» две благородные дамы, горожанки, потребовали, чтобы их провели к Вану. Первой в тихий *ямэнь*, где сидел на циновке Ван, вошла элегантная стройная госпожа. Она редко приподнимала левое веко; но все же можно было рассмотреть, что на этом глазу у нее большое бельмо. Другая женщина – полненькая, очень красивая – держалась менее уверенно, чем та, элегантная. Первая дама представилась как Бэй, вторая – как Цзин. Усевшись на циновки, обе ждали, когда Ван обратится к ним с приветствием. И старшая не смутилась, услышав резкий вопрос: чего, собственно, они хотят. Они обе, сказала старшая, родом из Пурпурного города. Но еще до осады Пекина им пришлось оттуда бежать. Они хотят предложить «поистине слабым» свои услуги. Далее госпожа Бэй пространно рассказала о своей судьбе, а под конец объяснила, что она и сейчас может проникнуть в Пурпурный город, чтобы посредством колдовства истребить нынешних представителей Маньчжурской династии. До Вана уже доходили кое-какие слухи об этой колдунье. Некоторое время он сидел молча. Потом спустился с помоста, поблагодарил обеих дам, попросил их оставить ему свои адреса и вызвал двух солдат, чтобы они проводили женщин до дома. В тот вечер Ван долго не мог успокоиться, обдумывал это дело. Сперва он послал за Желтым Колоколом; но тут же отменил свое распоряжение, велел вернуть гонца. Он хотел сам, без чьих бы то ни было советов, прийти к какому-то решению. И в задумчивости расхаживал по двору. Получен новый знак. Предвещающий, совершенно неожиданно, конец

маньчжуров. Следует ли ухватиться за такую возможность – или все-таки нет? Значит, им, «поистине слабым», еще не пора отправляться за Найхэ! Но тут вернулось первое ощущение: гадливости. Что-то в предложении двух дам казалось неприемлемым. Предложение и само по себе было гадким, нарушающим осмысленность целого; кроме того, оно пришло извне и даже не походило на тактичный намек, а только мешало естественному ходу вещей. То, что он, Ван, пережил вместе с Желтым Колоколом на берегу ручья, несло на себе печать непреложности, посягать на которую никто не был в праве. Не убивать! Все пути вели к этому.

И еще прежде, чем наступила ночь, Ван послал четырех солдат под началом младшего командира, чтобы они выпроводили дам из города. Пригрозив, что, ежели те еще раз попадутся на глаза, розог им точно не миновать.

Все решено и исполнено, радовался Ван. Он заснул счастливым. И ему приснилось, будто он стоит под сикомором, обхватив руками ствол. Над головой у него непрерывно разрасталась зеленая крона дерева; так что когда тяжелые ветви опустились, Ван оказался запеленутым, спрятанным в прохладную листву – и стал совершенно незаметным для тех многочисленных людей, что проходили мимо дерева и любовались его неисчерпаемой мощью.

ПОСЛЕ ТОГО, КАК все провинциальные войска *цзунду* Чжили, Чэня Жуаньли, подошли к Дэчжоу, осажденных повстанцев спровоцировали на вылазку – и разбили. Затем Чэнь Жуаньли вернулся в свою провинцию. *Цзунду* Шаньдуна и маньчжурские знаменные войска, возглавляемые Чжаохуэем, встречали бежавших «братьев» у западной дамбы Императорского канала. Командующий войсками наместника вступил в серьезный бой с отчаянно храбрыми повстанцами, которые все-таки сумели переправиться через канал и остановились, ожидая дальнейшей атаки противника, на равнине перед городом Линьцином, к востоку от канала. Здесь развернулось новое, более масштабное сражение, в ходе которого солдаты загнали остатки повстанцев в город. «Поистине слабые» заранее укрепили

городские стены и ворота, так что правительственным войскам пришлось подвергнуть Линьцин осаде.

Членов союза было теперь не больше, чем когда-то приверженцев Ма Ноу – около пяти тысяч, среди них много женщин. Ван Лунь и Желтый Колокол получили только легкие сабельные ранения. У Го же вся правая рука, до плеча, была раздроблена. Этот красивый человек с трудом держался на ногах, но все равно, готовясь к финальной битве, пытался научиться сражаться боевым топором, замахиваясь левой рукой.

Братья и сестры относились друг к другу с несказанной нежностью. Приверженцы «Белого Лотоса», казалось, вообще исчезли: в ходе последних тяжелых испытаний они окончательно влились в союз «поистине слабых». Над крепостными стенами звенели благочестивые песни о переправе в Западный Рай. В осажденном городе преобладало радостное настроение.

Многие женщины думали, что не вынесут еще раз кошмар рукопашной битвы. Они, словно совершая праздничный обряд, повесились на рыночной площади, на второй день осады.

У некоторых братьев помутился рассудок, когда стало известно, что операция по окружению города неисчислимыми массами солдат уже завершена и что все сектанты неминуемо погибнут. Такие голыми танцевали на улицах, кричали, что знают истинный благой путь и показывают его своим танцем. Или с таинственным видом бродили по площадям, потом опускались на землю и, прикрыв веки, хрипели в горячечном бреду. Иногда наносили себе камушками порезы на руках и губах, как делают служители богов; закатывая глаза, хватали за руки грезивших наяву женщин, и тут же вслед за состоянием отрешенности – или даже в таком состоянии – начинались пылкие объятия, которые никто не осуждал.

Другие – их было немного – бросали на товарищей косые, недоверчивые, злобные взгляды, никак не могли расстаться с последней надеждой, рассчитывали ускользнуть от общей участи, предав своих братьев. Они часто плакали, то и дело взбирались на городские стены, с тоскливым нытьем наблюдали за передвижениями императорских войск. Потом опять принимались

расспрашивать всех и каждого, толклись на рынках, тщетно стараясь придать своим растерянным лицам то выражение праздничной безмятежности, которое было характерно для остальных.

То тут, то там поспешно завершалась чья-то неповторимая судьба. Го в свое время присоединился к «поистине слабым», чтобы найти для себя покой. Когда начались гонения, ему пришлось стать одним из руководителей секты, и для него это было истинной мукой. Почти против воли участвовал он в сражениях – но в сутолоке боя, опьяненный наркотиком ярости, чувствовал себя счастливым. Его отвращение к Пурпурному городу еще более усилилось, смешавшись с ненавистью к маньчжурам, которые навязали ему эти сражения. Вряд ли кто-нибудь из «поистине слабых» под конец испытывал такую неукротимую ненависть к императору, как бывший ротный командир Го. Теперь – оставленный, наконец, в покое, освободившийся от своей ненависти, потому что смерть уже приближалась, – он сидел в Линьцине. Он смутно, как бы издалека, слышал песни друзей, видел, как они проходят мимо – отделенные от него непреодолимым пространством. Воспоминания об императоре, о странствиях с Ма Ноу, о его – Го – любимом мальчике пробуждались, но не вызывали никаких чувств. Правая рука у него была раздроблена; он упражнял левую руку, но втайне сознавал, что ему, в общем, все равно, ударит ли он этим топором деревянный столб, императорского солдата или самого себя. Он пытался участвовать в разговорах, искал общества других братьев, но пути назад не находил. Он часто спрашивал себя, не лучше ли было бы – вместо того, чтобы присоединиться к союзу – продолжать любить своего мальчика или любить других, новых; и с таким упоением предавался этим мечтам, что таял от пригрезившейся ему нежности, с робким, но пылким желанием приближался к давно забытому пленительному образу, умолял простить его, Го, за то, что он так долго оставался вдали от своего юного друга, не дарил ему ни духов, ни сладостей. В таком полузабытьи он проводил целые дни. Желтый Колокол, однажды навестивший Го, нашел его изможденным, истерзанным лихорадкой. И ушел от

больного потрясенный: такие глаза бывают только у человека, уже заглянувшего в последнюю тьму. Когда Го умирал в пустой комнате, которую предоставили ему братья, он до последнего, в коротких промежутках между ознобом и забытьем, пытался нащупать рукой колени или уши своего мальчика, сжимая челюсти, противился мягкоструящемуся потоку *у-вэй*, сам искал для себя дорогу, то скептически, то нетерпеливо; вновь и вновь сбивался с нее, что-то бормотал, потом затих.

Войско повстанцев – понесшее огромные потери, совершенно измотанное – было обречено. Его остаткам предстояло провести последние дни с Ван Лунем. Новые братья почти ничего не знали о событиях в горах Наньгу. Но когда Ван сказал, что вернулся к ним после долгого странствия, что прошел путь от Наньгу до Сяохэ и оттуда до Линьцина, они поняли, и кто он такой, и что это хорошо – жить ради идеи *у-вэй*, а потом попасть в Западный Рай.

В тот первый послеполуденный час, когда императорские солдаты загнали их всех в город, Ван Лунь – с кровавой раной на шее, залитый потом, дрожащий – потянул Желтого Колокола за собой в пустой двор какого-то дома, обнял его и, запинаясь от волнения, с горящими глазами пробормотал: «Брат, мы разбиты. Это конец. Ворота захлопнулись. Кого мне благодарить?»

Желтый Колокол простонал: «Разбиты».

«Ты тоже так думаешь? Я умру охотно. А кроме того, как я говорил тебе в Дэчжоу, иначе и не могло быть. Найхэ – грязно-черная. Но зато я с вами, со всеми вами; здесь, в этих стенах, – единственное, что я любил в своей жизни: Наньгу. Я возвращаюсь к вам. Ворота закрыты. Мы можем молиться; и радоваться. Мы все в одночасье стали свободными».

В ближайшие дни Ван полностью раскрыл, распахнул себя. Он непрерывно бродил по площадям и улицам. Он хотел узнать каждого из братьев в отдельности, просил, чтобы люди рассказывали ему о своих судьбах. Он плакал вместе с ними над умершими товарищами, для которых устроили на рыночной площади одно общее жертвоприношение; он простил императорских солдат, с которыми им предстояло сразиться. Время, когда все

предпочтут следовать Чистым путем, еще не пришло. Только обладая смирением и жалостью, может человек терпеть все ужасы жизни, выдерживать железные удары обрушивающегося на него горя.

Когда устраивались моления на рыночной площади, Ван – босоногий и с непокрытой головой – взбирался, приставив доску, на крышу какого-нибудь ларька. И начинал рассказывать о своем бегстве в Сяохэ, о том, как оно оказалось бесполезным; и еще – о тысячах счастливых братьев и сестер, которых Ма Ноу увел на гору Куньлунь. Многих из них Ван называл по имени, описывал, как они выглядели. В другие дни он настойчиво восхвалял судьбу. Он опять находил такие слова, как когда-то в горах Наньгу: слова о том, как мал человек, как быстро проходит все в жизни и как бессмысленно бестолковое мельтешение. Императорские солдаты и маньчжуры, может, и победят, но поможет ли им это? Они, живущие в лихорадочном возбуждении, завоевывают чужие страны и вновь их теряют; все это суета, ничего больше. Волки и тигры – нехорошие звери; тот, кто берет с них пример, пожирает других и сам в конце концов становится чьей-то пищей. Людям пристало думать так, как думает земля, как думает вода, как думают леса: не привлекая к себе внимания, медленно, тихо; принимать все изменения и влияния, меняться в соответствии с ними. Их, которые были поистине слабыми по отношению к благой судьбе, принудили сражаться. Ведь не могли же они допустить, чтобы благое учение было искоренено, смыто как негодная тушь. Но теперь всякая борьба для них закончена, должна вот-вот закончиться: топоры, мечи, косы им придется взять в руки еще только один раз. Идея *у-вэй* уже укоренилась среди потомков «ста семейств». Она станет распространяться таинственным, чудодейственным образом, когда они, нынешние ее приверженцы, будут гулять по белым облакам в Западном Раю и погружаться по бедра в благовонную амброзию. Они окружены трупами; тени и скелеты нападают на них, и даже самые сильные заклятья не могут совладать с этим злом. Только идея *у-вэй* – может; потому что она отделяет жизнь от смерти таким простым способом. О нем знали уже те древние

старики, молва о которых жива до сих пор. Быть слабым, терпеть, покоряться неизбежности – так зовется Чистый путь. Обретать себя под ударами судьбы – так зовется Чистый путь. Льнуть к событиям, как вода льнет к воде; приспосабливаться к течению рек, к земле, к воздуху, всегда оставаясь братьями и сестрами; любовь – так зовется Чистый путь.

Ван иногда говорил что-то и о том сне, который снился ему из ночи в ночь: будто он стоит у древесного ствола; и сперва ему кажется, что это ствол сикомора. Но постепенно дерево, сохраняя свою стройность, начинает обрастать ветками, роскошно загибающимися вниз, как у плакучей ивы, – и обхватывает его, Вана, со всех сторон, превращаясь в подобие зеленого саркофага. Бывает, что после пробуждения его голова не спешит расстаться с этим сном, и тогда у него возникает ощущение, что тонкий ствол дерева, словно сочное растение-паразит, обвивается вокруг его – Вана – ног, вокруг его туловища и рук, так что он уже не может освободиться от водянистой растительной плоти и оказывается всосанным этим пышно цветущим древом, которое делает счастливыми всех, кто его видит.

После речей Вана площадь вспенивалась, шумела массовыми экстазами. Часто у городских ворот собирались группы людей, которые, воодушевившись услышанным, хотели выйти к вражеским солдатам, поговорить с ними, научить их чему-то. Братья приставали к Вану, к Желтому Колоколу: все, мол, хотят праздника. И вот однажды по городу разнеслись ликующие звуки флейт: из богато украшенного храма вынесли деревянную статую богини, Царственной Матери Западного Рая; статую установили на пустыре, подальше от домов, и начали воскуривать перед ней благовония, прыгать. Братья ходили босиком по раскаленным углям, перед статуей богини, – смеясь и торжествуя, шли через «тлеющее поле» прямо к Царственной Матери*. Братья и сестры уже давно упрашивали Вана послать к богине духовгонцов, чтобы те, пав перед ней ниц, вознесли ей хвалу ради благополучия всех, кто почитает священный принцип *у-вэй*. Теперь, наконец, решили, кто именно будет гонцом, – посредством жребия. Двадцать пять вытянувших жребий мужчин и

женщин сложили на «тлеющем поле» костер из досок. И когда костер хорошо разгорелся, они, подстрекаемые обезумевшей толпой, стали прыгать – друг за другом, обмениваясь булькающелающими возгласами – прямо в раздувшееся перед кроткой богиней пламя: как цыплята, которые спешат укрыться под крыльями курицы.

Чжаохуэй принял на себя командование войсками, по численности превышавшими силы противника почти в десять раз. Со дня на день ожидали прибытия маньчжурских лучников, которые, согласно императорскому приказу, должны были участвовать в финальной операции. В знаменных войсках, подчинявшихся непосредственно главнокомандующему, служил один молодой командир: Лаосю, сын Чжао и Хайтан. Хайтан сперва выставила из дома Чжаохуэя, чтобы он отмстил за их хрупкую дочь; а вскоре после того – и бездельника-сына, который, впрочем, после смерти сестры очень изменился. Собственно, матери уже не было нужды высказывать ему свое желание – он и сам собирался вступить в действующую армию.

Линьцин делился на Старый и Новый город. Только Новый город был защищен крепкими стенами и, в дополнение к ним, земляным валом; стены Старого города нуждались в основательном ремонте, из сторожевых башен годились для использования лишь две. Инь Цзэду, один из младших командиров подчиненных Чжао знаменных войск, еще до прибытия лучников отобрал две сотни людей, вместе с ними прорвался в восточные ворота Нового города, овладел, почти не встретив сопротивления, стенами и разгромил плохо вооруженных повстанцев. В ходе этой дерзкой операции погибли всего сорок императорских солдат, братьев же и горожан – двести тридцать.

На следующий день пылало красное солнце. Когда оно погасло, Ван приказал всем в Старом городе, кто имел оружие, готовиться к бою и покинуть плохо запирающиеся дома. Братьям следует сосредоточиться в самых больших домах на самых узких улицах. Маленькие отряды лучников и камнеметателей должны с наступлением ночи занять позиции на стенах, в строго определенных местах. Военное руководство осуществлял

Желтый Колокол – с холодной деловитостью; благодаря его спокойствию люди совсем не думали о том, что над ними нависла смертельная угроза.

Когда стемнело, кто-то подошел к дому, в котором жил Ван, постучал, передал распахнувшему дверь человеку запечатанную вазу и сказал, чтобы ее ни в коем случае не открывали. Человек, притворив за собой дверь, еще в нерешительности топтался на крыльце, хотел что-то спросить – но посланец внезапно исчез, словно сквозь землю провалился. Человек неуверенно задвинул засов, отнес фарфоровую вазу – которая не показалась ему тяжелой – в комнату Вана и поставил ее на циновку. Вскоре явился Желтый Колокол, хотевший поговорить с Ваном. Он прошел прямо в комнату и увидел, что Ван сидит за столом, с зажженным светильником, повернувшись спиной к двери: он как будто читал. Но тут привратник крикнул со двора, чтобы Желтый Колокол поднимался наверх: Ван Лунь, мол, сидит на втором этаже вместе с другими братьями и уже о нем спрашивал. Перепуганный Желтый Колокол, спотыкаясь, стал взбираться по лестнице; из комнаты наверху доносились голоса и бряцанье оружия: Ван раздавал копья и кинжалы. Желтый Колокол окликнул Вана, который, заметив ужас в глазах полковника, выронил кинжалы и вместе с другом спустился по ступенькам, тихо перешагнул порог той самой комнаты. Привидение все еще читало, сидя у стола; Ван окликнул его; оно обернулось, посмотрело на Вана, который схватился за шею, его же собственным взглядом, потом метнулось к циновке и исчезло. Друзья, дрожа, подошли ближе. Ваза стояла на прежнем месте, закрытая. Желтый Колокол поддержал пошатнувшегося Вана за плечо. «Знаешь, Желтый Колокол, что́ это было?»

Желтый Колокол не ответил, только прикрыл глаза. Ван, превозмогая дрожь, сказал:

«Это значит, что завтра я умру».

Поспешно и растерянно Ван распорядился, чтобы привратник осторожно вынес вазу из дома. Потом еще немного постоял, глядя в пространство перед собой, – и вместе с Желтым Колоколом вернулся наверх.

Штурм начался незадолго до рассвета, со стороны Нового города. Храбрый и наделенный недюжинной физической силой Инь Цзэду был первым, кто через сломанные ворота ворвался в город; он искал Ван Луня, которого хотел задушить собственными руками. Сразу за ним бежал Лаосю с красным плюмажем на шлеме, без щита, с длинными ножами в обеих руках. Вскоре и южные ворота были захвачены провинциальными войсками, к которым присоединились лучники, – потому что в то мгновение, когда Инь Цзэду проник в город через восточные ворота, все защитники стены отступили на улицы и в дома. На южном участке стены атакующие установили чугунную пушку, зарядили ее кровью девственницы, которую зарезали ночью накануне штурма, и выстрелили в город, чтобы очистить воздух от духов погибших повстанцев. Женщины с ужасными возгласами ликования, с душераздирающим визгом выбегали из переулков навстречу солдатам; преграждали проходы к тем улицам, где засели «поистине слабые»; приходилось как-то убирать эти плотные преграды из одержимой яростью человеческой плоти. С периферии города уже приближались, как скачущий конский табун, языки пламени – горели дома.

Начались отчаянные уличные стычки. Братья не позволяли заблокировать их в домах: обитатели одного дома за другим устраивали вылазки. Город сотрясался от убийств. Улицы уже полнились задыхающимися в тесноте солдатами. Но все новые полчища в неукротимом порыве рвались, скрежеща зубами, от ворот к центру. Из центра же города, перекрывая дикий рев сражающихся и резкие единичные выкрики, доносился громоподобный рокот: ликующее пение повстанцев; эти голоса порой замолкали, будто придушенные, но потом опять широкой волной взмывали к небу.

На одной усеянной женскими трупами улочке, которая вела к рынку, несколько братьев, собиравшихся совершить вылазку, приоткрыв дверь дома, увидели, как Ван Лунь большими прыжками несется прочь от рыночной площади: с непокрытой головой, размахивая мечом. Он пробежал мимо них, его залитое пóтом осунувшееся лицо было неузнаваемым, глаза – пустыми;

Вана преследовали по пятам Инь Цзэду и Лаосю, а за ними – целый отряд лучников и копейщиков. Братьям удалось на несколько мгновений задержать солдат. Ван исчез в недрах большого пустого дома, стоявшего в конце улицы. Горстка братьев, вооруженных кинжалами, проскользнув незамеченной вдоль домов, напала на лучников, ломавших последние на той улице ворота. Инь Цзэду, которого прикрывал Лаосю, крякнув от натуги, снял с петель створку ворот. Ван, залезший на кирпичную ограду, тяжело дышал. Инь Цзэду отбил своим мечом удар Вана; они вступили в поединок; маньчжурский командир отнял у главаря повстанцев Желтого Скакуна. Тем временем дюжине братьев удалось проникнуть во двор. Они закололи Лаосю кинжалами, освободили Вана и вместе с ним быстро поднялись на верхний этаж. Там штабелями были сложены доски: драгоценное камфорное дерево; братья, разобрав эту кучу, забаррикадировали лестницу – досками, шкафами, столами. И пока лучники из Гирина пускали в окна стрелу за стрелой, они разожгли наверху костер и сгорели, прежде чем хоть один солдат успел подняться по лестнице.

Инь Цзэду метался по улицам, преследуя бунтовщиков; он яростно размахивал Желтым Скакуном и уложил им не меньше двадцати сестер и братьев.

В южной части города дольше всех оборонял свой дом Желтый Колокол. Когда дом удалось поджечь с помощью обмотанных горящей паклей стрел, бывший полковник, сопровождаемый еще сорока братьями, выскочил на улицу. Он хладнокровно сражался с императорскими знаменными солдатами, которые с недоумением и страхом отшатывались, узнавая в своем противнике весьма уважаемого в казармах командира. Весь город уже перешел в руки громогласно прославлявших победу регулярных частей, а Желтый Колокол еще отбивался, прикрываясь щитом, у передней стены двора. Его опрокинуло наземь попавшее в шею копье; последних из тех, кто сражался рядом с ним, порубили боевыми топорами. Ту сотню сестер и братьев, которые безоружными, распевая гимны, вышли на рыночную площадь, чтобы погибнуть, солдаты окружили, связали попарно и доставили в свой лагерь под стенами горящего города.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, которые завершили кампанию, заняли около месяца. За это время пленных доставили в Пекин; Цяньлун почти всех их допрашивал лично, чтобы выяснить, не было ли случаев преступного попустительства со стороны правительственных чиновников, преступного небрежения в преследовании повстанцев. Затем «братья» и «сестры» при большом скоплении народа были казнены под Пекином, в соответствии с законом о ересях. Их родичей и родичей тех мятежников, чьи имена удалось установить, сослали в Джунгарию или в Монголию*; таких набралось около двух тысяч. Поселок Хуньганцунь сожгли дотла; тела давно умерших родителей Вана выкопали из могил и подвергли расчленению; всех жителей поселка отправили в ссылку, их скудное имущество конфисковали. Трупы мятежников разлагались на улицах Линьцина, отравляя воздух, пока немногие еще остававшиеся в городе жители не обратились с протестом к властям. Лишь тогда Цяньлун издал особый декрет с распоряжением, чтобы горожане собрали все трупы и захоронили их за пределами городских стен, на берегу канала. Были выкопаны две большие, но неглубокие братские могилы, одна для мужчин и другая для женщин, у речной дамбы: там, где обычно собираются злые духи. Сюда стали свозить на тележках трупы, а рядом сбрасывали обломки сгоревших домов, балки. Если смотреть с канала, курганы над могилами напоминали двух гигантских кротов, только что вылезших из своей земляной норы.

Цяньлун наслаждался одержанной победой. Членам государственного совета он сообщил, что назначает Цзяцина, помогшего ему примириться с предками, своим преемником*. Младшие и старшие военачальники, высокопоставленные чиновники, советники, которые участвовали в подавлении мятежа, получили в награду почетные титулы и земельные угодья. В день благодарственного празднества Цяньлун, сидя в задних покоях храма Конфуция, твердой рукой написал: «Если бы Конфуций был сейчас с нами, он все равно не мог бы действовать более основательно, чем я»*.

Трупы повстанцев еще гнили на улицах и в домах Линьцина: обугленные останки Ван Луня, сына рыбака, который жил как

разбойник, создал секту *у-вэй* для изгоев из восемнадцати провинций и подпал под действие закона о еретиках; продырявленное копьем тело Желтого Колокола, самого деликатного и мягкосердечного из братьев, который принял смертельный удар с глубокой умиротворенностью, а потом легко воспарил к белому прекрасному облаку; тело Го, самого слабого из всех, которого медленно убивала его изначальная беда; тела бесчисленных сестер и братьев, впервые расцветших, почувствовавших себя счастливыми под мирным знаменем *у-вэй*, – когда Хайтан в окружении преданных ей служанок поплыла на большом траурном корабле вдоль побережья, к югу, на свою родину.

Чжаохуэя, сломленного победителя, Цяньлун пока удерживал при дворе. Хайтан пожелала совершить задуманную поездку в одиночестве; Чжаохуэю, когда он продал дом в Шаньхайгуани, она посоветовала взять себе вторую жену: та, может быть, родит ему сына.

Наступили мягкие осенние дни. Корабль скользил вдоль южного побережья. Из прибрежных городков доносилась музыка; по полям двигались шумные процессии, справлявшие праздник урожая; джонки игриво пританцовывали на темной воде. Но на тяжелом просторном корабле Хайтан царила мертвая тишина. Жена военачальника не собиралась сразу возвращаться на родину: корабль бросил якорь ввиду острова Путо. Хайтан хотела предстать перед милосердной Гуаньинь, договориться с самыми благочестивыми из монахов, чтобы они помолились за нее.

Освещенные солнцем зубцы гранитных утесов. Сновидческие, погруженные в себя ландшафты. Стройные колонны пальм, и над ними звонкие птичьи голоса. Камелии – десятками, сотнями тысяч. Пруды, выдыхающие пар, и лотосы на воде. Среди кустарника, за каменистой тропой, – храм у подножья горы. Туго натянутое небо.

Поддерживаемая под руки двумя служанками, Хайтан поднялась по шуршащей гравиевой дорожке: в пышноскладчатом сером одеянии, с серым покрывалом, опущенным на лицо. Они прошли через вестибюль, миновали величественную террасу и платформу перед молитвенным залом. Хайтан не опустила глаза,

увидев рельефы на парапете террасы, прославляющие материнскую любовь. Перед алтарем чадила «вечная» лампа в резном деревянном обрамлении. Занавеси, лоскутные ковры, штандарты, литавры, благовонный дымок.

И за всем этим – огромная, гигантского роста Гуаньинь. Она сидела у самой стены, в белых одеждах, приподняв левую руку; лицо было золотым; голову венчала корона из пяти лотосовых лепестков; синие собранные в узел волосы скреплялись диадемой. Богиня сидела на мраморном цоколе – узкая в бедрах, с сильными ногами, слегка откинув назад голову; фиолетовый нагрудник; белый шелковый платок, наброшенный на узкие плечи. Веки под черными бровями полуприкрыты; но желтоватые ресницы, чуть-чуть раздвинутые в улыбке губы, казалось, слегка подрагивали. Так ласково молчала она; так проникновенно слушала и так великодушно одаривала своей милостью. На табличках и знаменах значилось: «Гуаньинь, Великая Утешительница. Ее милосердный корабль переправляет на другой берег всех. Милость ее беспредельна, как морские волны. Она возродилась, чтобы радеть за весь народ. У нее истинно материнское сердце. Ее золотая плоть нетленна».

Монахи в коричневых рясах простирались перед богиней, касаясь лбами земли: бормотание, звяканье колокольчиков, приглушенные молитвы. Хайтан машинально комкала край своего покрывала, бурно дышала и улыбалась, глядя куда-то в сторону, поверх голов.

Был уже поздний вечер. Остров погрузился во тьму. Сто монахов одновременно покинули кельи и кумирни, выстроились в длинную шеренгу и, освещая себе дорогу факелами, двинулись по каменистой тропе. Хайтан пожертвовала огромную сумму, чтобы эти посвященные помолились за нее. Сейчас она сидела у поворота тропинки, под гранитным козырьком. Монахи, скрестив руки на груди и что-то бормоча, проходили мимо: одна ряса за другой, одна за другой. Хайтан попыталась было их пересчитать, но сбилась. С высокомерным торжеством смотрела она на нескончаемое шествие: теперь ей наверняка удастся вырвать у богини желаемое. Покой – она хотела только покоя;

Ван Лунь отнял у нее обоих детей; месть не удалась; а если бы и удалась, что толку? Она хочет покоя для себя, мира для своих рано умерших детей и бесконечной, вновь и вновь возобновляемой пытки для Ван Луня! В ней все успокоилось, когда факелы – под монотонное пение – исчезли в недрах храма. Она втянула в легкие теплый воздух: теперь пусть богиня защищается; теперь монахи насядут на нее, будут с ней бороться – ради нее, Хайтан. Служанки поднялись. Хайтан отправилась ночевать на корабль.

На следующий вечер она опять сидела под гранитной скалой. Факелы, покачиваясь, проплыли мимо. В темноте Хайтан обратила свое разгоряченное предвкушением победы, перекошенное ненавистью лицо к черной громаде храма. И, взмахнув руками, погрозила монахам.

Вечером третьего дня она отослала служанок. Бормотаньем монахов полнились все тропинки. Хайтан неотрывно смотрела в слепящий факельный свет. Потом бросилась наземь, вскрикнула, стала раздирать себе грудь. Богиня оказалась сильнее: монахи ее не одолели. Они молятся, молятся, молятся... Но хватит ли у них силы, чтобы спасти Хайтан?

Тут вдруг ей показалось, будто монахи уже возвращаются. Что-то прошелестело. Лужица света растеклась по земле. И в сиянии только что выглянувшей луны мимо нее проплыла узкобедрая Гуаньинь, Перламутровая Белизна. Диадема на вьющихся волосах сверкнула изумрудно-зеленым, когда наклоненная голова чуть-чуть повернулась. Богиня, улыбнувшись, взглянула на Хайтан и сказала: «Хайтан, пожалей свою грудь. Дети твои спят у меня. Надо быть тихой, не противиться – да-да, не противиться».

Хайтан попыталась вглядеться в лунное сияние, влачившее за собой зеленый шлейф. Приподнялась, провела по холодному лицу совочками ладоней: «Быть тихой, не противиться – сумею ли я?»

Конец

КОММЕНТАРИИ

Дёблин начал работу над романом «Три прыжка Ван Луня» в начале 1912 г., находясь под впечатлением от сообщений о провозглашении Китайской республики в феврале 1912 г., а также о восстании корейских золотодобытчиков на сибирских рудниках. Важно помнить, что открытая на рубеже XIX-XX в. культура Востока (японская живопись, китайская философия и литература) заметно влияла на европейских художников, писателей и композиторов того времени.

Одним из импульсов к написанию романа, по всей видимости, было и желание Дёблина создать своего рода немецкий ответ – *Gegenstück* – на роман Ф.-Т. Маринетти «Мафарка-футурист» («*Mafarka le Futuriste*», 1909). С лидером итальянского футуризма Дёблин вступил в открытую полемику на страницах журнала «Штурм». Дёблин, поначалу воспринявший футуризм как «величайший прорыв в искусстве», очень быстро охладел к этому направлению, увидев, что футуристы уделяют слишком много внимания «конкретным» сторонам действительности, упуская из виду метафизику, недостаточно радикально отказываются от традиционной риторики, «погрязли в эстетизме». Немецкого писателя также возмущал авторитаризм Маринетти. В «Открытом письме Ф.Т. Маринетти», опубликованном в марте 1913 г., Дёблин пообещал показать основоположнику футуризма и его соратникам, как нужно писать «современный роман». Выбор материала для романа – не будущее и мир техники, а китайская история XVIII в. – был, таким образом, демонстративным антифутуристическим жестом. С другой стороны, одним из важнейших открытий литературы футуризма были людские массы (на начало XX в. приходится формирование таких

новых научных дисциплин, как социология и психология масс, массы становятся предметом пристального внимания со стороны ученых), и Китай, в то время самое многонаселенное государство в мире, был подходящим местом действия для романа, которому, согласно обещанию Дёблина, предстояло показать футуристам, «как надо изображать битвы и писать массовые сцены».

Во время работы над романом, которая продолжалась не меньше десяти месяцев (сам Дёблин утверждал, что восемь) писатель, по его словам, неоднократно посещал берлинские музеи, где мог найти предметы китайского искусства, изучал в библиотеках специальную литературу, записки путешественников по Китаю, книги по китайской культуре, произведения китайских авторов и т.п. Одновременно он консультировался с философом Мартином Бубером, считавшимся одним из самых крупных специалистов по даосизму и китайским религиозными сектам.

27 октября 1912 г. была закончена первая книга романа, к маю 1913 г. – целиком закончена вся рукопись на двух тысячах страниц. Однако издатели не торопились публиковать «Три прыжка Ван Луня»: их отпугивала радикальная художественная новизна произведения, но в первую очередь его колоссальный объем. Лишь к 1914 г. Дёблину удалось найти издателя: Соломон Фишер, владелец издательского дома «S. Fischer», согласился напечатать роман. Однако начало Первой мировой войны помешало этим планам; произведение увидело свет только через два года, в марте 1916-го. Второе, третье и четвертое издания романа, встреченного критикой и читателями с воодушевлением (причиной чему, отчасти, была перекличка описываемых в нем событий с актуальной политической ситуацией того времени), появились уже к концу 1917 г. Многие критики отметили близость литературной техники Дёблина к изобразительной манере кубизма и экспрессионизма. Почти все рецензенты были единодушны в том, что роман Дёблина представляет собой важную веху в истории немецкой литературы.

Посвящение

«Посвящение», сокращенное по настоянию Мартина Бубера, находившего его первый вариант излишне политизированным и конкретным, играет чрезвычайно важную роль в структуре романа: его особое построение (перечисление различных одновременных событий, фактов) указывает на основной принцип поэтики Дёблина в «Трех прыжках Ван Луня» – паратаксис, симультанность, «нанизывание», «нагромождение» разнородного повествовательного материала, причем на всех формальных уровнях текста: начиная с частого употребления предложений с однородными членами и длинных перечислений, и кончая рядоположением в каждой из частей книги больших абзацев или отрывков, которые не имеют отношения друг к другу. (Ср. также постоянно появляющиеся в тексте образы ожерелья, ниток жемчуга, отсылающие к такому структурообразующему принципу). В годы работы над «Тремя прыжками Ван Луня» Дёблин считал: «... если роман не может быть поделен на части, словно дождевой червь, и так, чтобы каждая из частей шевелилась сама по себе, то такой роман ни на что не годится» [*«Bemerkungen zum Roman», 1917*]; многие фрагменты «Трех прыжков Ван Луня» можно безболезненно изъять из контекста романа – и они будут восприниматься как отдельные произведения. Подобная организация художественного целого, что подметили уже первые рецензенты романа, дезориентирует читателя, и именно использование этого приема сближает дёблиновский роман с произведениями современной ему живописи. «О подобном воздействии художественной атаки, – писал критик Карл Корн, – говорят приверженцы кубистской и экспрессионистской живописи» (*Korn K.: Via Peking zum Expressionismus // Die Glocke 2 (1917). S. 1036-1039*). Исследователь Э. Риббат (*Ribbat E.: Die Wahrheit des Lebens im frühen Werk Alfred Döblins. Münster, 1970*) называет изображенный Дёблином Китай «паратаксическим миром». К раздробленности и разнородности дёблиновского Китая читатель, с одной стороны, не может привыкнуть сразу, но, с другой стороны, он вынужден подчиниться насильственно

навязываемому ему способу видения. «Посвящение» содержит важную поэтологическую параллель: как рассказчик не может воспринять врывающуюся в окно реальность большого города, перебивающую его, рассказчика, размышления, – шум, движение машин, все происходящее за окном трудно воспринять одновременно, – так и читатель не сразу привыкает к повествовательной манере Дёблина, но в конце концов привыкание все-таки наступает. Кроме того, здесь косвенным образом проводится параллель между современным мегаполисом и Китаем восемнадцатого века – местами скопления больших человеческих масс.

Паратаксис, один из главных приемов в литературе экспрессионизма, был распространен уже в романтической литературе, им пользовался Новалис (1772-1801). (Здесь нужно указать, что роман Дёблина – и особенно его первая книга – имеет отдаленное сходство с романом Новалиса «Генрих фон Офтердинген», не только потому, что способ обращения Дёблина с историческим материалом напоминает о романтической манере обращения с источниками, но и потому, что первая часть «Трех прыжков Ван Луня» до определенного момента следует логике традиционного немецкого воспитательного романа). Стоит также заметить, что паратаксис (*Nebeneinander; Simultanität*) – одно из главных завоеваний литературы экспрессионизма. Как и многие произведения экспрессионизма, «Три прыжка Ван Луня» – это и «литература для внутреннего глаза», она рассчитана на воображение, работа которого начинается, когда читатель перестает сопротивляться непривычному тексту и полностью погружается в него, совершая нечто, подобное жесту повествователя, который закрывает окно и отгораживается от внешнего мира, чтобы уйти в себя и «вообразить» свой роман. Вместе с тем важно помнить, что симультанность, рядоположение являются важнейшими принципами восточной живописи и поэзии.

Стр. 7

Сперва надо притворить окно... Мотив открытого окна, через которое городской шум врывается в комнату художника, прерывая течение его мыслей (ср.: «Чтобы не забыть – О чем бишь я?») был распространен в литературе и искусстве начала XX в. Подобный пассаж можно найти в начале романа Р. М. Рильке «Записки Мальте Лаурдиса Бригге»; а в начале «Посвящения» Дёблин почти дословно цитирует прозаический отрывок поэта-экспрессиониста А. Лихтенштейна «Фрагмент» (1911). Важно, что в контексте романа, кроме указанного уже сходства между современным мегаполисом и традиционным Китаем, заметно и важное различие: если мегаполис является искусственно созданным организмом, то Китай представляет собой организм естественный (ср. роль различных биологических образов и аналогий в тексте романа).

Братья Маннесман, Макс (1857-1915) и Рейнхард (1856-1922), – немецкие инженеры и предприниматели, изобретатели способа производства бесшовных труб. В 1890 г. организовали крупнейший трубопрокатный концерн «Маннесманрёрен верке».

Стр. 8

Как же можешь ты обрести их и ими владеть? Цитата из даосского классического трактата «Лецзы», см. в: *Дао. Гармония мира.* М.: Эксмо-Пресс и Харьков: Фолио, 2000, с. 46 (пер. Л. Позднеевой).

Я хочу принести ему поминальную жертву (для чего и закрыл окно)... Примечательно, что как раз те вещи, которые отвлекают автора «Посвящения» от работы и вынуждают его закрыть окно, – проносящиеся по улице автомобили, фабрика, фабричные трубы, аэроплан, – Ф. Т. Маринетти в своем «Футуристическом манифесте» (1909) предлагал художникам воспевать. Таким образом, «Посвящение» указывает на отношение Дёблина к футуризму, это его ответ Маринетти: закрывая окно, он отрешается от объектов футуристического культа.

Лецзы (Ле Юйкоу) – предполагаемый автор трактата «Лецзы», живший, видимо, в 4 в. до н.э. Выходец из царства Чжэн. Согласно трактату «Чжуан-цзы», был бедным отшельником, достигшим сверхъестественной мудрости; придерживался доктрины «недеяния» (*у-вэй*), учил «ценить пустотность».

...посвятив ему свою не способную что-либо изменить книгу. Словосочетание, употребленное в оригинале, – *ohnmächtiges Buch*, «бессильная книга» – характерно для раннего экспрессионизма, для которого слова «бессилие», «беспомощность», «потерянность» были ключевыми понятиями, характеризующими существование человека в современном мире; в таком же лексическом регистре описывался и выхолощенный, опустошенный бессмысленной жизнью внутренний мир человека.

Книга первая. Ван Лунь

Стр.11

Чжили – нынешняя провинция Хэбэй.

...армия императора Цяньлуна... Имеется в виду Хунли (1711-1799), император маньчжурской династии Цин (1735-1795). Цяньлун – девиз его правления.

У-вэй – букв. «недеяние» (*китайск.*).

...с блеском выдержавший первый экзамен... В Китае все желающие (кроме слуг, детей актеров, проституток и т.п.) могли пытаться сдать государственный экзамен первой ступени (что для представителей низших сословий практически было трудноосуществимо), чтобы в случае успеха перейти в высшее сословие «ученых» (*ши*), то есть чиновников, и получить право на замещение уездных должностей.

Стр.12

...со шлюхами, освобожденными ими из «расписных домов», тоже присоединялись к движению. Героинями многих произведений Дёблина являются проститутки; интерес писателя к теме

женской сексуальности и проституции проявился уже в гимназическом сочинении «Модерн»; в 1910-е гг. психические расстройства, связанные с нарушениями в сексуальной сфере, были областью профессионального интереса Дёблина-врача: женская сексуальность, женские сексуальные патологии, истерия – все это оказалось в центре внимания психиатрии рубежа XIX-XX вв., а также литературы и искусства того времени.

Взгляды Дёблина на женскую сексуальность, изложенные в его статьях (*Über Jungfräulichkeit*, «О девственности»; *Jungfräulichkeit und Prostitution*, «Девственность и проституция», – обе в: *Der Sturm*, 3, 1912), хотя и были во многом основаны на собственных наблюдениях, перекликаются с известным трудом О. Вейнингера «Пол и характер» и работами З. Фрейда («Очерки по истории истерии»). В эти годы Дёблин рассматривает женщину в качестве «дефектного пола», который должен «удовлетворять потребности мужчин»; женщине, по его мнению, присущи «не позитивные, а экспансивные установки: пассивность или садизм», а также «стихийность» – неустойчивые и непредсказуемые психические состояния, «отражающие ее странную биологию и странное развитие». Женские образы в «Трех прыжках Ван Луня» во многом напоминают «благородную проститутку» Мицци, героиню дёблиновской пьесы «Комтесса Мицци» (1910): графиню, которая по своей воле стала проституткой; ее тело «отдано каждому мужчине, каждой женщине», душа же «благочестива и добра».

Императорский, или Великий, канал (построен в 13 в.) – крупнейший в Китае судоходный канал, который проходит от Пекина до Ханчжоу, пересекая реки Хаунхэ, Хуайхэ и Янцзы.

...когда их должны были отвести в дом их общего супруга, обвязались одной веревкой и прыгнули в канал. У китайца могло быть много жен, одна из которых считалась главной. Дёблиновский эпизод с шестью девушками, возможно, основывается на реальном случае: «В 1873 г. восемь молодых девушек, живших недалеко от города Гуанчжоу, решили утопиться, чтобы избежать принудительной помолвки. Они оделись в свои лучшие платья и ночью направились к ближайшей реке. Здесь они

обвязались вместе одной веревкой и бросились в бурлящий водный поток» (В.Я. Сидихменов. *Китай: страницы прошлого.* 3-е изд. М., 1987, с. 558).

Стр. 14

Цунь значит «деревня».

...его отец числился среди первых в тамошней корпорации рыбаков... В Китае система корпораций, или гильдий, распространялась на все профессии, вплоть до самых презираемых – мусорщиков, ассенизаторов, нищих, проституток.

Стр. 17

Нежный, скорее желтоватый оттенок кожи второго из братьев-близнецов не темнел невзирая ни на какую жару. Дёблин использует здесь распространенный мифологический мотив братьев-близнецов; очевидно, что в этой паре Ван Лунь уподобляется солнцу, а его брат-близнец – луне. Этот мотив нужен писателю, по-видимому, для того, чтобы еще больше подчеркнуть «солярную», героическую природу Ван Луня. Ход жизни Ван Луня соотносится с природными циклами: не считая рассказа о детстве главного героя, действие романа охватывает четыре года (приблизительно по году в каждой из книг романа), и каждый раз Дёблин точно указывает время года, на которое приходится то или иное событие: весной Ван Лунь покидает деревню и отправляется в странствие (1 книга) и весной же он возвращается к своим соратникам (4 книга); летом происходят события, которые становятся судьбоносными в жизни Ван Луня (убийство Су Гоу, раскол секты, принятие Ван Лунем решения дать отпор императору); осенью – гибель «Расколотой Дыни», смерть таши-ламы, гибель Ван Луня. Зимой герой обычно скрывается из поля зрения автора и читателя. Появление Ван Луня каждый раз сопровождают или предвещают (ср. в 3 книге) многочисленные солярные символы. Антагонист Ван Луня – император – играет в мифологической связке солнце-луна противоположную, лунарную роль. Прямым указанием на это (кроме многочисленных косвенных) является его неудачная попытка самоубийства и возвращение к жизни в новолуние.

Стр. 18

...на малиновом фоне и с голубой каймой... Темно-красное с голубой каймой – цвета специального магического одеяния, в которое колдун облачается во время совершения церемонии. См.: Я.Я.М. де Гроот. *Война с демонами и обряды экзорцизма в Древнем Китае.* СПб, 2001, с. 361-366.

...на теплой лежанке... Имеется в виду глинобитная скамья (*кан*), под которой проходит дымоход.

Стр. 19

...мог назвать по именам... В Китае считается, что, назвав имя человека или демона, можно обрести над ним власть.

...тысячелетнюю Божественную Лису... Считалось, что, прожив тысячу лет, лиса попадает в Рай, где становится «Божественной Лисой». Божественная Лиса имеет шкуру золотого цвета и девять хвостов; она прислуживает в чертогах Солнца и Луны и знает все тайны природы.

...девятиголового демона-фазана... По китайским представлениям, демонами-оборотнями могли быть и животные, и птицы, и насекомые, и растения, и даже неодушевленные предметы. Ср.: «В правление императора Хуэй-ди... из области Чаншань императору доставили “птицу – раненую душу”. Она напоминала куропатку, но цвет перьев у нее был как у фазана» (Я.Я.М. де Гроот. *Демонология Древнего Китая.* СПб, 2000, с. 133).

Стр. 20

Бога Врачевания, популярного в китайской народной религии, упоминает в своей книге «Пекинские народные верования» Вильгельм Грубе: Wilhelm Grube. *Zur Pekinger Volkskunde.* B., 1901, S. 55.

Стр. 21

...жезл бога склонился к углу самой нижней полки. Такой способ выбора лекарства описан у де Гроота: *Война с демонами*, с. 428-429.

...в третью ночную стражу... Время от семи вечера до пяти утра делилось на пять «ночных страж» по два часа каждая; таким образом, первая ночная стража – время от семи до девяти часов вечера.

...туфли с вышитыми на подошвах цветами сливы, жабами, гусями и белыми лотосами. Такие туфли надевали усопшему, чтобы он перешел реку преисподней, ступая по цветам лотоса, подобно Будде.

...в праздничные дни первого месяца года (чаще всего в пятый день)... Речь идет о празднике Нового года, который высчитывается по фазам луны и выпадает на конец января – середину февраля. Праздник официально заканчивается в пятый день первого месяца, когда совершается обряд «проводов демона бедности».

Стр. 23

Дяо – связка медных монет в одну тысячу *вэней.*

Кэши – мелкая медная монета с квадратным отверстием в середине; *кэши* нанизывали на веревку, особенно распространены были связки по десять и сто штук.

Цзинань – главный город провинции Шаньдун; окончание «фу» указывает на то, что он является центром провинции.

Стр. 25

...отгоняя неприкаянных духов... Духи людей, не получивших должного погребения.

Единорог в Китае считается вестником счастья.

...в светло-зеленом одеянии с широкими рукавами... В одеянии даосского священнослужителя.

...ароматическими палочками и бумажными фигурками... Бумажные изображения животных, домов, повозок и паланкинов, предметов мебели, посуды, а также бумажные деньги и прочее в праздничные дни дарили умершим или духам предков; чтобы осуществить такой акт дарения, их надо было сжечь.

Стр. 26

Это был храм Хань Сянцзы, покровителя музыкантов. Один из Восьми Бессмертных, почитавшихся даосами; по преданию, ученый, живший ок. 820 г. до н.э. и достигший бессмертия. Его эмблемой была флейта, и он считался покровителем музыкантов. Вильгельм Грубе писал, что у китайцев «существуют боги-покровители плотников, горшечников, садовников, врачей, заклинателей бесов, прорицателей, цирюльников, актеров и т.д.; даже представители менее честных ремесел, например: игроки, воры и проститутки также имеют среди богов своих начальников и покровителей» (Грубе, «*Духовная культура Китая*» в: *История Китая. Духовная культура Китая*. М., 2003, с. 194).

...и попросил прямо сейчас внести его имя в список жертвователей, прикрепленный к стене храма... Богослужение за души утопленников упоминается у Вильгельма Грубе (*Духовная культура Китая*, с. 165); он же пишет: «На фасаде храма, в котором должно быть совершено богослужение, всегда наклеены подписные листы, на которых можно прочитать имена жертвователей и данные суммы» (*там же*).

Стр. 27

Восемь Бессмертных, или *Ба-сянь*, – легендарные персонажи, в их числе две женщины, которые жили в разные эпохи, принадлежали к разным слоям общества, но все приобрели бессмертие посредством изучения тайн природы. Им поклонялись последователи даосизма.

Стр. 31

...черепашье отродье... По китайским поверьям, черепаха способна забеременеть, просто подумав об этом; поэтому выражение «черепашье отродье» означает внебрачного ребенка.

Стр. 32

...бонза сам будет обеспечивать себе пропитание продажей ароматических палочек и проведением ритуалов, – все в конечном счете зависело от его усердия и умения... Ср.: «Расходы по сооружению

и содержанию [даосского] храма в большинстве случаев покрываются подпиской... Собственное духовенство имеют только большие храмы... маленькие же храмы, не располагающие определенными доходами, управляются жителями данного квартала, которые делят между собой обязанности по службе в храме, сменяясь помесячно. Эта служба состоит в ежедневном подношении богам требуемого количества курительных свеч, а также в содержании храма в чистоте и порядке. Бывают случаи, что житель квартала берет на себя постоянное управление храмом, за что иногда получает жалованье, а иногда и нет. Если храм располагает небольшим имуществом, то обычно предпочитают поручить управление им буддийскому жрецу – обычай, особенно резко иллюстрирующий индифферентизм китайцев в области религии» (Грубе, *Духовная культура Китая*, с. 163).

Стр. 33

...подарил ему красивую маску оленя, с роскошными рогами, – из тех, что используют в своих танцах тибетские ламы... Речь идет о ритуальной маске бога Шивы в образе оленя. Танцы с такими масками устраивались в праздник летнего солнцестояния. Шива считался на Тибете служителем бога смерти Ямы. Вообще Шива – воплощение плодородия и разрушительных сил природы, каратель и защитник; для него характерны состояния аскезы и экстаза. Маска Шивы – большая по размерам, надевается, как колпак с прорезями для глаз, на плечи. Она представляет собой оленью голову – серую или коричневую, с темными пятнами, с изогнутыми рогами. Ряженый держит в одной руке меч и исполняет очень быстрый, экстатичный танец.

Стр. 34

...в Запретном Пурпурном городе... Императорский квартал в Пекине.

Даотай – начальник области.

Стр. 35

Ямэнь – управа, присутственное место.

Нэтай – судья провинции.

Стр. 36

Нагрудник (*буфан*) с вышитым серебряным фазаном, *сапфир* и белый прозрачный шарик – эмблемы чиновников пятого ранга (всего было девять рангов; самый высокий – первый).

...солдаты из армии провинции, зеленознаменники – китайские солдаты (в отличие от маньчжурских).

Шейные колодки – три доски (*канга*) с круглыми вырезами для шей, скрепленные вместе; доски делались настолько широкими, чтобы заключенный лишь с большим трудом мог поднести ко рту пищу. Были и шейные колодки из длинных досок с несколькими вырезами, в которые одновременно заковывали трех и более осужденных.

Стр. 38

Командовал отрядом... «Батальоном» (*ин*), то есть примерно пятью сотнями человек.

Дусы – командир отряда, звание, примерно соответствующее «капитану».

Однако прежде, чем Су успел высказать, что́ у него накипело, дусы и два подскочивших солдата зарубили его саблями – прямо у стены. Героев многих произведений Дёблина объединяет следующее обстоятельство: импульсом для их поступков служит какое-либо сильное травматическое переживание, *Urszene* (убийство, смерть близкого человека, военная травма и т.д.), к которому они неоднократно возвращаются в воспоминаниях и которое обуславливает все их дальнейшее поведение; Дёблин не предлагает никаких объяснений, почему именно то или иное переживание является важным; не предпринимает он и анализа психологии своих героев – избегать психологии, описывать лишь поступки героев, внешние симптомы травмы, внешние проявления душевной жизни – таков принцип писателя. Искусство, по Дёблину, сближается с психиатрией (об этом он пишет в своей «Берлинской программе»), которая является «единственной нужной “современному” писателю

наукой, ибо она ограничивается лишь записью хода событий, движений» и не углубляется в опасный анализ.

Стр. 45

...рядом с деревянными носилками, на которых лежал продолговатый ком тряпья – грубая матерчатая кукла... Такой способ захоронения – в случае отсутствия тела – в Китае считается возможным. Он называется *чжао-хунь-цзан*, «погребение, манящее душу умершего». См.: Грубе, *Духовная культура Китая*, с. 209.

Ван достал нож, отрезал прядь своих распущенных волос, опустил ее на кучу тряпья. «Непосредственно после наступления смерти родственники умершего отрезают немного волос со своей головы и кладут их в руку мертвецу. Этот элементарный прием означает, что остающиеся желают быть связаны с покойником и в будущем воскресении его» (*там же*, с. 203).

...на место рта обернутый красной бумагой лист чая. «В Пекине принято класть на губы мертвецу чайные лепестки, завернутые в красную бумагу» (*там же*, с. 204).

Затем связал «умершему» голени шарфом из разорванных на полосы штанин, чтобы он не вставал из могилы, а покоился в мире. Считалось, что, если этого не сделать, покойник может превратиться в вампира: *там же*.

...колыхался, колеблемый теплым ветром, большой кусок мешковины: приманивал дух умершего. Имеется в виду т.н. «сопровождающее душу знамя», которое прикрепляют к высокому шесту, поставленному перед домом, где случилась смерть: *там же*, с. 205.

Яньло-ван – китайское имя буддийского бога смерти и повелителя мертвых Ямы.

...о празднике пятнадцатого дня седьмого месяца... Речь идет о буддийском празднике День Душ (кит. *Юланьбэйхуэй*), когда проводились ритуалы главным образом для бесприютных духов, то есть для духов тех, кто умер вдали от дома или не имеет никого, кто осуществлял бы для них культ предков. Дёблин здесь воспроизводит во всех деталях описание этого

праздника из книги В. Грубе «Пекинские народные обычаи» (Wilhelm Grube. *Zut Pekinger Volkskunde*. B., 1901, S. 78-80).

...в черном одеянии, подбитом тигровой шкурой, в фартуке и сапогах из таких же шкур... Согласно даосским представлениям, ад обслуживали писцы, чиновники и палачи, одетые в халаты, подбитые тигровой шкурой, – это свидетельствовало об их свирепости.

...шарики для голодных духов. Непременная часть похоронной церемонии – жертвоприношение голодным и бесприютным духам, для которого и используются такие шарики. См.: Грубе, *Духовная культура Китая*, с. 205.

Вспыхнула порезанная на полоски бумага – деньги для покойного... «Жертвенные деньги» (обычно из позолоченных или посеребренных полосок бумаги) сжигали на могиле покойного, чтобы в ином мире у него было чем расплачиваться.

Стр. 47

...перемалывали древесину и тальковые камни для свечей... Благовонные свечи, или курительные палочки, делались из смеси древесной пудры и ароматических веществ. Тальковая пудра используется как наполнитель в парфюмерии.

Стр. 48

Если кто-нибудь схватит его, то его потеряет. Дао дэ цзин, 29 (пер. Ян Хиншуна). В пер. Д. Конисси тот же отрывок звучит так: «Кто действует, сильно желая завладеть вселенной, тот никогда не достигнет желаемого, потому что вселенная есть божественное орудие, поэтому распоряжаться ее судьбою никто не вправе. Отсюда, кто покушается на это, тот нарушает порядок мира; кто хочет завладеть им, тот немедленно потеряет его».

Стр. 50

...на Путо, цветущем южном острове. Остров в Восточно-Китайском море, в заливе Ханчжоувань, напротив города Нинбо; один из четырех крупнейших буддийских центров в

Китае. Остров называли «Буддийским царством на море», там могли жить только монахи и монахини.

...у каждого под синими волосами... Синие волосы свидетельствуют о том, что будда обитает в небе.

Бодхисаттва *Гуаньинь* («Выслушивающая просьбы»), самый значительный храм которой находился на острове Путо; божество милосердия, дарительница детей, равно почитавшаяся и буддистами, и даосами.

Стр.51

Будда *Амитаба* («Бесконечный свет»), в китайском произношении Омитофо, – владыка Западного Рая, где может родиться вновь душа праведника, чтобы отдохнуть там в блаженстве и счастье.

...как принято говорить, справился с собой, преодолел себя, нашел прибежище в законе, в учении, в благочестивой общине. Буддист сказал бы, что такой-то человек нашел прибежище в Будде, в Дхарме (учении), в Санкхье (общине), но Ма Ноу – пример смешения буддийских и исконно китайских представлений.

...по четырем ступеням, ведущим к блаженству... Буддийская практика различает четыре ступени святости, или этапа, на пути к нирване:

1. *стропанна*, или «вступающий в поток», то есть на путь к спасению;

2. *сакридагамин*, или «тот, кто вернется еще один раз», то есть вступит в последнее перерождение, возвратится однажды в Сферу Желания;

3. *анагамин*, «тот, кто не придет», то есть пребывает в последнем перерождении, но возвратится однажды в Сферу Форм и Бесформенную Сферу;

4. *архат*, или святой, достигший высшего состояния.

Сфера Желания, *Сфера Форм* и *Бесформенная Сфера* – три сферы цикла существования (Сансары). «Строго говоря, три мира буддизма со всеми его местопребываниями есть не что иное, как уровни состояний сознания живых существ и

соотнесенные с ними планы существования» (*Буддийский взгляд на мир*. СПб, 1994, с. 238).

Архаты, или *лоханы*, – совершенные ученики Будды. Состояние архата – состояние обладания сверхъестественными силами и достижения нирваны. «Заслуженный и достойный» – обычный эпитет архата.

Духи ограниченного сияния... Ср.: «Второе [состояние медитативного сосредоточения в (мире форм. – *Прим. пер.*) включает ступени, именуемые:] ступени [богов] Ограниченного сияния, Безграничного сияния и Лучезарных» (трактат Васубандху, в: *Буддийский взгляд на мир*, с. 174).

...где нет ни мышления, ни не-мышления. Каждая из трех сфер Сансары населена людьми (достигшими различных ступеней медитативного сосредоточения) и богами (разных классов) и делится на несколько областей. Область Несуществования (у Дёблина – Область Ничто) и Область ни мышления, ни немышления – две высшие области Сферы бесформенного.

Стр. 52

...после окончания службы для моряков... Богиня Гуаньинь считалась покровительницей моряков.

Появилась Пальма. Человек, сидящий под пальмой, – обычное в Китае изображение отшельника.

...гигантская Серая Жемчужина. В одном из трех крупнейших храмов на острове Путо, в подземной пещере, имеется озеро, над поверхностью которого с горизонтальной панели свисает гигантская жемчужина, а на 9 подпорках панели выгравированы драконы, которые пытаются эту жемчужину схватить. По преданию, один рыбак некогда украл жемчужину, а потом вернул, ибо ему сказали, что она принадлежит царю драконов.

Стр. 53

...его направлял Дамо... Бодхидхарма (Дамо) – основатель традиции китайского чань-буддизма. Выходец из Индии, по

преданию – ученик Будды, жил в 6 в. в монастыре Шаолинь (совр. провинция Хэнань).

...вокруг священной горы Тайшань... Считалось, что божество горы Тайшань – судья, перед которым предстают все умершие, а злые духи трепещут от страха, и что тот, кто возьмет камень с этой горы, станет обладателем магической силы.

...сто восемь символов на ступнях Шакьямуни... Считается, что следы этих символов и благотворных знаков отпечатались на «Камне стоп Будды», который впоследствии многократно воспроизводился.

Восемнадцать выдающихся достоинств... Достоинства, всей совокупностью которых обладают только будды.

Стр.55

К НАЧАЛУ НОВОГО ГОДА... Согласно китайскому лунно-солнечному календарю, начало года приходится на январь-февраль.

Стр.61

...в какой-нибудь из восемнадцати провинций. Исконная территория Китая (без присоединенных в ходе завоеваний областей).

Стр.67

Найхэ – река мертвых.

Стр.68

Наги, или *лу*, – по тибетским представлениям, низшие божества, которые живут в подземном мире, в земле, в воде. Обычно они выглядят как змеи черного, белого или красного цвета, но могут по своему желанию принимать человеческий или какой-то другой образ. Они охраняют горные недра, деревья, источники, могут насылать на людей определенные виды болезней (например, водянку).

...из круга птицы-гаруды... Образ этой фантастической птицы восходит к индийскому богу Гаруде, получеловеку-полуптице, с

головой, крыльями, клювом и когтями орла и человеческим телом; Гаруда был крылатым вестником бога Вишну. В тибетском буддизме гаруда – птица, о которой говорят, что, едва отложив яйцо, она тотчас улетает, – считается символом просветленного сознания. См.: *Flight of the Garuda. Teaching of the Dzokchen Tradition of Tibetan Buddhism* (в Интернете). В сочинении Цонкапы, излагающем основы буддизма, рассуждение о том, что положение человека – самое лучшее во всех трех мирах, ибо он может совершенствовать свое сознание, иллюстрируется стихотворением: «Пути такого, что находит человек / ... решившийся вести существ и сильный духом, / ни боги не найдут, ни асуры, ни наги, ни птицы, знание хранящие – Гаруды...» (Чже Цонкапа. *Большое руководство к этапам Пути Пробуждения*. СПб., 1994, с. 134-135).

Стр. 71

...песен из «Ши цзин»... Древнейшее произведение китайской поэзии – «Книга песен», объединяющая тексты 9-6 вв. до н.э.

Стр. 72

...платили экстренные налоги – в личную мошну Лю, мудрого окружного начальника. В пассажах такого рода можно усмотреть критику современного Дёблину капитализма, который, как считали экспрессионисты, разрушает естественные связи между людьми (мотив, заявленный уже в «Посвящении»); Дёблин наглядно показывает зарождение капиталистических отношений, которые порождены «Алчностью... Пресыщенностью... Похотью... Жестокостью»; эти отношения, в то же время, сами являются «двигателями прогресса».

Стр. 77

...именовать себя Да Цин, «Великой и безупречной династией». «Великая и безупречная (чистая)» – так называли свою династию императоры эпохи Цин.

Стр. 79

Сын Неба (*Тяньцзы*) – император.

Стр. 81

Вершина, или Предел, *Царственного Великолепия* – согласно доктрине секты *У-вэй*, высшее состояние сознания. См.: De Groot. *Sectarianism and Religious Persecution in China*. Vol. 2. Amsterdam, S. 188-189.

Стр. 88

Дунъин («Восточное море») – монашеское имя Ду Гуантина (855-933), даосского философа, который писал комментарии к классическим даосским трактатам, а также работы о достижении высшего психического состояния.

Ли Бо, или Ли *Тай-бо* (701-762) – знаменитый китайский поэт танской эпохи, который вел странническую жизнь и во многих стихах воспевал даосских отшельников. В стихотворении «Пою о расставании с горой Матерь Небес, по которой гулял во сне» он описывает свое путешествие в царство бессмертных: «Горные сандальи / князя Се надел / По ступеням туч ненастных / во плоти взлетел...» (пер. Э.В. Балашова, в: *Китайская пейзажная лирика*. М., 1984, с. 89-91).

...пока не пришли к подножию Куньлунъ... Мифические горы на крайнем Западе земли, на вершине которых обитает во дворце с прекрасным садом мать Западного неба богиня Сиванму и живут бессмертные.

...о Вершинах Мира... Члены секты *У-вэй* верили в три предела, или «вершины», мира: *Тай цзи*, Великий Предел, – предельное состояние бытия; *У цзи* – Беспредельное; и Предел Царственного Великолепия – высшее состояние сознания. См.: De Groot. *Sectarianism and Religious Persecution in China*. Философ Чжоу Дунъи (1017-1073), автор книги «Объяснение схемы Великого Предела», понимал «Великий Предел» и «Беспредельное» как два аспекта единой сущности: «Беспредельное и Великий Предел! Великий Предел движется и рождает ян, покоится и рождает инь. Покой доходит до предела и вновь появляется движение. Движение доходит до предела и вновь появляется покой. Один раз движение, один раз покой – они коренятся друг в друге» (*Буддийский взгляд на мир*, с. 209).

Три Драгоценности (*сань бао*, санскр.: *триратна*) – буддийский термин, обозначающий наставника (Будду), учение (дхарму) и буддийскую общину (сангху). В секте *У-вэй* под «первой драгоценностью» понималась совокупность всех будд, святых и низших божеств – как буддийских, так и даосских (De Groot. *Sectarianism...*, S. 189).

Майтрейя («Милосердный»), или Смеющийся Будда, – мессия, Будда грядущих времен, счастливой эпохи Белого Солнца (в отличие от нынешней эпохи Будды Шакьямуни – эпохи Красного Солнца). Поклонявшиеся ему члены союза «Белый Лотос» принимали обет вегетарианства и носили белые одежды.

Стр. 89

Ван переправился через большую реку... Хуанхэ.

...держал в руке сигнальный посох... Посох с петлей на конце, на которой укреплены звенящие колечки. Нищенствующий буддийский монах носит такой посох, чтобы звон колечек отгонял от него все мирские звуки и предупреждал мелких животных, которых монах может раздавить или убить.

Стр. 90

Эта земля когда-то произвела на свет великого мертвеца-гиганта... Паньгу, «Великого ваятеля вселенной». После смерти этого первого человека, гиганта, его голова и конечности превратились в горы, плоть – в почву, кровь – в реки.

Стр. 94

Один *лян* равнялся тысяче *кэшей* (*вэнь*).

Стр. 98

...не стоит нарушать покой императора или цензоров... При императорском дворе существовал институт цензоров; цензоры наблюдали за исполнением всеми правительственными учреждениями и официальными лицами своих служебных обязанностей и за поведением государственных чиновников в частной жизни.

Книга вторая. «Расколотая Дыня»

Стр. 106

Баньгэ – командир роты, численностью менее ста воинов (*баньгэцзолин*).

...в «Высших трех знаменах»... Опорой маньчжурского господства были «Восемь знамен» – войска, состоявшие из маньчжуров, специально предназначенные для защиты династии. «Восемь знамен» делились на две группы: «Высшие три знамени» и «Низшие пять знамен». «Высшие три знамени» составляли лейб-гвардию императора и подчинялись непосредственно ему.

Нагрудник с вышитой пантерой – отличительный знак военного третьего ранга.

Стр. 108

Ведьма вдруг превратилась в черную кошку... О вере в кошек-оборотней, способных причинять вред людям, которая была распространена (по сохранившимся данным, в суйскую и танскую эпохи, в самом конце VI и VII вв.) среди наложниц императорского гарема, см.: Де Гроот, *Демонология Древнего Китая*, с. 118-120.

...обернулся – бросив взгляд в свое восьмиугольное зеркальце – белым тигром... В Китае тигр считался пожирателем и врагом демонов; по китайским поверьям, тигр, прожив на земле пятьсот лет, становится совсем белым – как седой старик.

Стр. 112

Мэнцзы (ок. 372-289 до н.э.) – древнекитайский мыслитель, разрабатывал конфуцианские этические понятия.

Нефрит – самый любимый в Китае и очень дорогой камень, которому приписывали разные волшебные свойства. Например, считалось, что нефрит обладает свойствами доброты, справедливости, ума, храбрости и чистоты, которые могут передаваться тому, кто его носит.

Стр. 113

...прикрепили к поясу – так, как он сам придумал несколько лет назад, – поместив между зелеными и лиловыми вышивками. Пояс

чиновника или военного представлял собой твердый негнущийся обруч, обтянутый кожей и украшенный в соответствии с рангом его обладателя нефритовыми, золотыми или роговыми пластинами, расположенными через определенные интервалы. Такой пояс не стягивал халата, а держался на пришитых к халату петлях.

Стр. 114

...перечеркнул один квадрат в нарисованной «молитвенной пирамиде». Такие листочки бумаги размером с человеческую ладонь с нарисованными на них квадратиками-«пагодами» были в ходу у членов секты *У-вэй*. Прочитав сто раз сутру, перечеркивали один квадратик. Когда оказывались зачеркнутыми все квадратики, листок сжигали, чтобы боги могли узнать о благочестии его владельца. См.: De Groot, *Sectarianism...*, vol. 1, p. 222.

Стр. 119

Виверры – ночные животные; они любят селиться вблизи человеческих жилищ.

Стр. 123

...во времена минского императора Сы-цзуна. Последний император династии Мин, покончивший с собой в 1644 г., когда крестьянское войско под предводительством Ли Цзы-чэна вступило в Пекин. В результате этих событий к власти пришла маньчжурская династия Цин (1644-1912).

Стр. 125

...с ароматными лепестками лотоса. Лотос – священное растение в Китае; он символизирует женское начало, связан с чистотой и целомудрием. Цветок соотносится с летом и является одной из эмблем удачного предсказания. Считалось, что ароматные лепестки лотоса способны отгонять от человека злых духов.

...справиться с ее темной и буйной натурой. Представления о женщинах в западном искусстве, литературе и медицине рубежа XIX-XX вв., нашедшие отражение во многих произведениях

Дёблина, оказались созвучными традиционным китайским представлениям о темном женском начале *инь* (первоначальное значение слова – «теневой склон горы»); *инь* ассоциируется с «севером, тьмой, смертью, землей, луной» и т.д.

Стр. 127

...как и все женщины с ножками-лотосами... В Китае девочкам из богатых семей специально бинтовали ноги, чтобы их ступни остались маленькими. Изящную женскую ступню называли «изгибом лотоса» или «золотой лилией».

...в высоких зарослях гаоляна... Растение из семейства злаковых, вид сорго; по виду напоминает кукурузу.

Стр. 138

...с криками показывая свое зеркальце. Металлическое зеркало – один из главных инструментов китайского колдовского искусства. Считалось, что зеркала способны разоблачать призраков, скрывающихся в обличиях разных живых существ, отражать внутренние органы человека и открывать тайны будущего. См.: Де Гроот, *Война с демонами*, с. 86-91.

...собственную тень, которую когда-то похитил у него один гнусный обманщик. Китайцы верили в существование не только человеческих душ, но и теней, число которых могло доходить до девяти и каждая из которых имела собственное имя. Тень по имени «Царь левой стороны» (первая из девяти) упоминается у Де Гроота: De Groot, *The Religious System of China*, vol. IV, S. 85. Китайцы верили, что одну или несколько душ (и теней, которые занимали подчиненное по отношению к душам положение) можно потерять в результате сильного потрясения, внезапного страха и пр. На Тайване до сих пор существуют колдуньи, которые специализируются на том, что возвращают людям потерянные ими души. См.: *Tales From the Dark Side – Understanding Chinese Ghosts* (в Интернете).

Тень по имени *Хайлиндай* (восьмая из девяти) тоже упоминается у Де Гроота: De Groot, *The Religious System of China*, vol. IV, S. 85.

Стр. 141

Луфу, Соу Гуань, Цзаояо – имена теней, упоминаемые у Де Гроота (*там же*).

Стр. 142

Яньло-ван – китайское имя индийского божества Ямы.

Стр. 149

...меж стен Ледяного Ада, к ненасытной Непреодолимой Реке, гонит от всех зеркально-гладких стен... По буддийско-даосским представлениям, ад (*ди-юй*, «подземная тюрьма») находится глубоко под землей на дне океана и состоит из многих ярусов-отделений. «Непреодолимая река», как считают буддисты, кишит ожидающими добычи змеями. Стражники ада загоняют грешников на мост, откуда они падают в эту реку.

Стр. 151

...ибо мы плывем к Золотым островам. Три Благословенных Острова, расположенные, согласно преданию, где-то в Восточном море, на которых обитают феи и бессмертные.

...как делал старик из Лу, деревянных коней, начиненных металлическими пружинами, чтобы ездить на них верхом или запрягать в повозки. Имеется в виду Чжугэ Лян по прозвищу Дремлющий Дракон, историческая личность, военный советник Лю Бэя, основателя династии Шу-Хань (221-263). Он родился в Шаньдуне, на территории древнего царства Лу, в 181 г., в молодости был отшельником, потом прославился как выдающийся стратег и инженер. Чжугэ Лян является одним из главных героев классического китайского романа «Троецарствие», где, в частности, рассказывается, что незадолго до своей смерти, во время войны с царством Вэй, он соорудил «деревянных быков и самодвижущихся коней» для подвоза провианта (Ло Гуань-чжун. *Троецарствие*. М., 1954, т. 2, глава 102).

...душ, которые живут в ваших легких, в вашей бурлящей крови, в ваших мягко вибрирующих кишках. По китайским представлениям, человек обладает тремя душами *хунь*, определяющими

функции сознания и мышления, и семью душами *по*, обуславливающими жизнедеятельность организма. Де Гроот упоминает еще о пяти душах-*шэнь*, обитающих во внутренних органах, и о душе, идентифицируемой с кровью (De Groot, *The Religious System of China*, vol. IV, p. 79-80). Легкие считались вместилищем справедливости и духовных помыслов, кишки – вместилищем сострадания и любви.

...отправитесь вслед за ним, верхом на этих скакунах. В Китае было распространено представление, что все духи умерших возносятся на небеса верхом на коне.

Стр.152

...крылатого зверя, чья голова, глаза, перья в полете непрерывно меняются под воздействием ветра... Таким китайцы представляли себе Дракона облаков. Дракон считался воплощением власти.

Стр.153

...капнул в стиснутый рот юноши – после того, как двое других с трудом разжали ему челюсти – горячую кровь. Такой способ возвращения людей к жизни, использовавшийся китайскими знахарями, описывает в своей книге Де Гроот.

Стр.162

Растение чжи – растение бессмертия – священный гриб, который, согласно легенде, растет на Трех Благословенных Островах, где обитают бессмертные. Тот, кто, попав на острова, съест этот гриб и выпьет воды из фонтана, обретет бессмертие.

Гуй – злой дух, который когда-то был человеком.

...наклоняя кроваво-красный хохолок. Считалось, что красная макушка у журавля наполнена ядом.

Стр.164

День цзинчжэ – букв. «пробуждение насекомых», 5 марта.

...втирают в уши и носы ребятишкам измельченные серные цветы, смешанные с вином, и рисуют на их лбах знак «тигр»... Грубе пишет, что в пятый день пятого месяца китайцы «пользуются

серными цветами, которые считаются верным средством против всякого рода вредных влияний. Поэтому в этот день многие пьют эти цветы, растертые в порошок и растворенные в вине. Точно так же детям втирают в уши и нос раствор серного цветка или, что еще полезнее, рисуют этим раствором на лбу знак ван, так как у тигра на лбу якобы есть четыре черных полосы, соответствующие по форме этому знаку; тигр же есть лучшее средство против демонов... а детей, отмеченных таким знаком, демоны примут за тигров» (Грубе, *Духовная культура Китая*, с. 195-196).

Стр.168

Цзунду – наместник.

Хунхузы, или хунхуцзы («Рыжебородые») – тайное общество в Маньчжурии XVIII в.

Стр.169

...богатого и ученого путешественника, хутухта... – «В Пекине представителем Далай-ламы является духовный владыка подвластных Китаю монголов, Чжанчжа Хутуку (в совр. написании – *хутухта. – Прим. пер.*); порядок наследования его совершается точно так же, как и у Далай-ламы путем возрождения» (Грубе, *Духовная культура Китая*, с. 178).

Стр.170

Челка – отличительный признак девичества.

Стр.173

...и их «совиных привычек»... В Китае существует пословица: «Сова не признает родства».

Стр.182

«Летящий ши» – в китайских медицинских трактатах «летящими *ши*» назывались призраки, вызывающие смертельные болезни. Они подразделялись на несколько видов; в одном сочинении к первому виду отнесены «летящие *ши*, просачивающиеся сквозь кожу и проникающие в кишки и внутренности;

когда бы они не действовали, они вызывают непрерывную острую боль» (цит. по: Де Гроот, *Демонология Древнего Китая*, с. 167).

...ученые из храмов Конфуция... Культ Конфуция – составная часть государственного культа, не очень популярная в народе, но обязательная для чиновничества; в каждом городе имелся по крайней мере один храм Конфуция, которому поклонялись не как богу, а как мудрому предку; в этих храмах регулярно совершались жертвоприношения.

Стр. 185

...в вышестоящую управу – цзунду ... То есть наместнику Чжили со ставкой в Тяньцзине.

Стр. 187

Гелонг («полный лама») – вторая (после настоятелей, *чэнпо*) ступень в ламаистской монашеской иерархии; священнослужитель, принявший все монашеские обеты. Две другие ступени – монахи и послушники (новиции).

Стр. 190

...покоились части алтаря и Семь Сокровищ... Имеются в виду Семь Сокровищ, когда-то принадлежавших Чакраварти, Повелителю Вселенной: Жемчужина, Золотое Колесо, Прекрасные Девушки, Лошади, Слоны, Божественные Хранители Сокровищ и Военачальники.

...священные символы пяти эмоций. Речь идет об изображениях Пяти Внутренних Органов, которые по китайским верованиям представляют эмоции и управляются Пятью Элементами: сердца (огонь), печени (дерево), желудка (земля), легких (металл), почек (вода).

...страницы которых помещались между деревянными дощечками. Такие книги скреплялись шелковыми шнурками. Страницы также могли складываться в папки из обшитого цветной материей картона.

Будда Лазуритового Света – имеется в виду Будда врачевания (Бхайшаджьяраджа, кит. Яован). В традиции «Лотосовой

сутры» он выступает ближайшим сподвижником Будды Шакьямуни, совершившим в предшествующих рождениях великий религиозный подвиг посредством актов самосожжения.

...два будды с львиными голосами... «Бодхисаттва Львиного рыка» упоминается в «Нирвана-сутре» – одной из наиболее почитаемых в буддийской традиции сутр, зачитанной Буддой Гаутамой перед вступлением в нирвану.

Стр.197

...соответствующей основной ноте гун... С глубокой древности в китайской музыке были приняты пять основных нот: *гун, шан, цзяо, чжи* и *юи.* Они примерно соответствовали западным нотам до, ре, ми, соль и ля. Потом добавились две вспомогательные: *бянь чжи* и *бянь гун*, где *бянь* означает «измененный» (основной тон). Китайский звукоряд состоял из двенадцати хроматических ступеней. Этим двенадцати полутонам соответствовало звучание двенадцати колоколов, которые имели свои имена и наделялись магическими свойствами. Первенствующая роль среди них отводилась тону «желтого колокола» (*хуанчжун*), воплощавшего, как считалось, звучание державной власти.

...передающая этот тон бамбуковая трубка... В императорском дворце в специальном помещении, где стены были обиты войлоком, хранились врытые в пол двенадцать бамбуковых трубок, служившие эталонами музыкальных тонов.

Стр.200

Золотая, или *нефритовая эссенция* – приготовленный из золота и нефрита эликсир, который, по верованиям китайских алхимиков, должен сочетать в себе все необходимое для достижения бессмертия и философский камень.

Стр.201

Ду Фу (712-770) – один из величайших поэтов Китая; во время междоусобной войны ему пришлось стать беженцем, и он окончил жизнь в нищете.

Ты видишь: ворота дворца Пэнлай... Из цикла Ду Фу «Восемь стансов об осени» (пер. А. Гитовича). Дворец Пэнлай – обитель небожителей, дворец владычицы Запада Сиванму (и загородный императорский дворец Дамингун, который строился как копия «небесных чертогов»). «Золотой столб», или столп Чэнлу («принимающий росу»), представлял собой медное изваяние небожителя с чашей в руке. В чаше собиралась утренняя роса – божественное питье, дарующее здоровье и долголетие.

Стр. 203

...на императорский центральный склад. В Китае существовала государственная монополия на горнорудный промысел.

Стр. 205

...из ведомства церемоний... Центральная администрация цинской империи состояла из следующих органов: государственной канцелярии (*нэйгэ*); шести ведомств (*любу*) – административного, финансового, военного, судебного, ведомства церемоний и ведомства общественных работ; палаты цензоров (*дучаюань*) и государственного совета (*цзюньцзюго*) – неформального совещательного органа при дворе.

...малолетних детей, чьи глаза, печень, кровь использовались в медицинских целях. Органы детей приобретали и с целью колдовства. В 1821 г. один из цензоров подал трону доклад, в котором говорилось о шаньдунских злодеях, «вырезающих органы у мальчиков и девочек». А в 1846 г. был издан императорский указ о преследовании получившей широкое распространение практики убийства мальчиков с целью использования их мозга, почек, сердец и печени. См.: Я.Я.М. де Гроот. *Демонология Древнего Китая*, СПб., 2000, с. 308 (пер. Р.В. Котенко). Об использовании человеческих органов в китайской медицине см.: De Groot, *The Religious System of China*, p. 379, 383.

Стр. 226

Цинмин, праздник «чистого света» (День Душ), приходится на конец 20-го лунного месяца (105-й день после зимнего солнцестояния, т.е. 5 апреля); он посвящен поклонению душам умерших и празднованию прихода весны.

Повсюду на свежем воздухе сооружали качели, украшенные пестрыми шнурами. Ср.: Wilhelm Grube. *Zur Pekinger Volkskunde.* B., 1901, S.65.

На могилы насыпали холмики из свежей земли. Ibid., S. 64.

По дорогам расхаживали женщины с вербными сережками в волосах – чтобы в другой жизни им не пришлось родиться в обличьи желтой суки. Ibid.

Поблизости от храма городского бога располагалось кладбище для проституток... Это было типично для китайского города: ibid., S. 65.

Стр. 230

...успели преобразиться в потешных сине-красных «львиных собачек»... Имеется в виду фантастическое животное *сечжи*, похожее одновременно на льва и на собаку.

Стр. 231

...жонглеры балансировали, удерживая зубами знамена с колокольчиками... У Грубе описываются жонглеры, которые подбрасывают в воздух укрепленное на шесте знамя с двумя колокольчиками и ловят его лбом, носом, зубами: Grube. *Zur Pekinger Volkskunde*, S. 66.

Стр. 232

В больших «чайных домах»... Так назывались в просторечии городские театры, где во время представления можно было закусывать, ходить по зрительному залу, разговаривать, даже подпевать актерам.

Стр. 236

Чжун Лицюань – глава Восьмерых Бессмертных, по преданию жил во времена династии Чжоу (1122-249 гг. до н.э.). Считается, что он обладал секретом изготовления эликсира жизни и порошка перевоплощения. В молодости, до вступления на путь Дао, он был полководцем. Его изображают с веером, с помощью которого он оживлял души усопших.

Патриарх Люй, или Люй Дунбинь, – один из Бессмертных; он в совершенстве овладел магией и получил волшебный

меч, при помощи которого в течение четырехсот лет убивал драконов и других чудовищ во всей Поднебесной. Он считается покровителем парикмахеров.

Стр. 237

Цао Гоцзю. Он был сыном премьер-министра первого императора династии Сун (Тай-цзу, 960-976), стал отшельником. Его изображают в придворной одежде и головном уборе, с кастаньетами в руках. Он считается покровителем театра и актеров.

На *белом муле* всегда ездил Чжан Голао – Бессмертный, который всякий раз, достигнув цели путешествия, складывал своего мула как бумагу и помещал в бутылку из тыквы, а потом по мере надобности снова оживлял, спрыскивая водой.

Стр. 251

...в большом красивом храме Богини Черной Оспы... Эта популярная у китайских простолюдинов богиня упоминается у В. Грубе: Grube. *Zur Pekinger Volkskunde*, S. 59.

Стр. 261

...о спесивых заказчицах, «окутанных дымкой цветах»... Имеются в виду певички-гетеры, которые обитали в особых кварталах – «пещерах дымных цветов».

Стр. 264

Пантера на нагруднике, прозрачный голубой сапфир на шапке – отличительные знаки военного третьего ранга.

Стр. 267

Царственная Матерь – царица Запада Сиванму.

Книга третья. Владыка Желтой Земли

Стр. 279

Мукден, или Шэньян, – город в северо-восточном Китае, на реке Хуньхэ; в 1624-1644 гг. столица маньчжурского государства, при династии Цин считался второй столицей Китая; ныне административный центр провинции Ляонин.

Калган, или Чжанцзякоу, – город в Северном Китае, в провинции Хэбэй (во времена Цяньлуна – Жэхэ).

Жилища там были пещерного типа, высеченные в лёссовых склонах, – с комнатами, сводами, коридорами. Ср.: «Многие местные крестьяне, ввиду отсутствия древесины и камня, живут в пещерах, вырытых в склонах лессовых холмов и порою заводят огород... прямо над собственным жилищем» (о пейзажах Лёссового плато: В.В. Малявин. *Китайская цивилизация.* М., 2001, с. 12).

Стр. 280

Перед ним спала чудовищных размеров черепаха. Черепаха для китайцев священна, она является символом долголетия, силы и выносливости; в соответствии с «Книгой Церемоний» она – одно из «четырех существ, наделенных душой» (наряду с единорогом, фениксом и драконом). Считалось, что черепаха может прожить до тысячи лет. Предельные размеры современных черепах – два метра.

Стр. 285

...императорские загородные дворцы. Имеется в виду летняя резиденция цинских правителей – дворцово-парковые ансамбли Юанминъюань и Ихэюань (Парк мира и гармонии), расположенные в 12 км к северо-западу от Пекина.

Стр. 286

Куньминьху – большое озеро в центре дворцово-паркового ансамбля Ихэюань – искусственное водохранилище, созданное для обеспечения водой города Пекина.

В этом храме император говорил со своими предками. Речь идет об острове Наньхудао (острове Южного моря), на котором стоит Храм Дракона – властелина вод. Остров был искусственно насыпан по распоряжению Цяньлуна и символизирует один из островов бессмертия (Пэнлай). Бронзовое изображение лежащей коровы находится не на острове, а на берегу, возле Семнадцатипролетного моста. Эта статуя тоже была установлена при Цяньлуне – как амулет, защищающий парк и весь Пекин от наводнений.

...узрел пурпурные стены... То есть когда он приблизился к Запретному (Пурпурному) городу.

Цзяцин («Прекрасное и радостное правление») – девиз сына Цяньлуна Юнъяня (1760-1820), который стал императором в 1795 г. (еще при жизни отца, передавшего ему высшую исполнительную власть) и правил до 1820 г.

...от старшей императрицы... Император мог иметь двух жен, старшую и младшую императрицу, и наложниц, которые различались по рангам (от первого до пятого).

Стр. 287

Изумрудно-переливчатый павлин расхаживал... Павлин в Китае олицетворял свет и день; эта птица считалась также символом красоты и достоинства.

Он сидел в колонном зале своих личных покоев... То есть в тронной палате Дворца Воспитания Сердца.

«Выбрасывание пальцев» – игра, во время которой играющие, одновременно разжимая кулаки, выбрасывают пальцы: тот, кто выбросит больше пальцев, побеждает.

Столешница покоилась на спине слона, массивные ноги которого служили для нее опорами... В китайской традиции слон считается символом мудрости и благоразумия; это животное для буддистов священно.

...обращаясь к длиннолицему Богу Литературы... Даосское божество, в прошлом, как считается, человек; обычно его изображают держащим кисточку и книгу, на которой надписаны четыре иероглифа, означающие: «Литературный успех определяется небесами».

Стр. 288

...в трудном походе против народности мяо... Речь идет о подавлении восстания народности мяо в Южном Китае в 1735-1736 гг., когда погибло около 500 000 мятежников.

Полуденные ворота – главный вход Запретного города – южные ворота Умынь.

...в Зале Высшего Согласия... Самое грандиозное сооружение в Запретном городе, центр дворцового комплекса, тронный зал. Использовался крайне редко – лишь для самых важных церемоний.

Ворота Цветов – ворота Сихумэнь.

...на встретившую его птичьим многоголосием Угольную гору. Император пересек Западный парк с озерами, расположенный в центральной части Пекина, к северо-западу от дворцового ансамбля Гугун, и поднялся на искусственно созданную гору Мэйшань («Угольная гора»), или Цзиншань («Гора прекрасного вида»), с пятью вершинами.

...в походе против джунгаров... Джунгария – составная часть Ойратского ханства, главного врага Цинской империи, окончательно разгромленного в ходе войны 1756-1759 г. Главные силы джунгаров были разбиты в июне 1757 г., в длившемся 17 дней генеральном сражении вблизи урочища Тарбагатай. Цинской армией тогда командовал Чжаохуэй.

Стр. 290

Храм Предков (Таймяо) расположен в Императорском городе, к северо-востоку от ворот Тяньаньмэнь. Это «домашний» храм, где хранились таблички духов цинских императоров.

Стр. 291

...издание энциклопедии... Эта энциклопедия представляла собой свод древних и средневековых текстов (в 36 тысяч томов) и называлась «Библиотека императорских рукописей по четырем разделам».

...передвинул фарфоровую вазу из «голубого семейства»... К «голубому семейству» относят фарфор с синей кобальтовой росписью, впервые такой фарфор начали изготавливать во времена императорской династии Мин; то обстоятельство, что ваза затем падает и разбивается, возможно, является знаком, предрекающим, что попытка Ван Луня посадить на трон «царевича династии Мин» окажется неудачной.

Стр. 292

Жезл жу и («по желанию») – предмет личного обихода китайских ученых (его использовали наподобие указки). Он стал особенно популярным в Цинскую эпоху, когда ему придавали форму волшебного гриба *линчжи*, украшенного различными орнаментами и благопожелательными символами. Такие жезлы изготавливали из яшмы, слоновой кости и пр.

...за пределами северной стены... Видимо, имеется в виду стена Внутреннего города – третьей зоны после Запретного (Пурпурного) и Императорского городов.

Стр. 294

Юаньминъюань – Название летней резиденции.

Цзетайсы (Храм Алтаря Монашеского Обета) – крупнейший буддийский центр в северном Китае, основан в 622 г.

...мерцанием моста Лугоуцяо... Мост в Пекине, более 200 м в длину, построен в XII в.

Стр. 295

Канси («Процветающее и лучезарное») – девиз правления императора Сюанье (1654-1722), деда Хунли (Цяньлуна).

Стр. 298

Храм Неба – храмовый комплекс в пределах пекинского Внешнего города, где императоры приносили жертвы в праздничные дни, в случаях неурожаев и пр.

Стр. 300

Таши-лама – вариант титула «панчэн-лама»: второе после далай-ламы лицо в тибетской иерархии; высший авторитет в религиозных вопросах.

...как вассал и данник восточного владыки... К середине XVIII в. восточные и северо-восточные области Тибета (на территории современных провинций Цинхай, Сычуань, Ганьсу) были включены в состав Цинской империи и подчинялись непосредственно маньчжурским властям. К 1792 г. в состав

Цинской империи были включены и другие, основные, районы Тибета. Власть на этой территории сохранялась в руках правительства далай-ламы, но цинский двор посылал в Лхасу своих резидентов (*амбаней*), которые осуществляли верховный контроль над деятельностью правительства.

Стр. 301

Ташилунпо – храмовый комплекс в городе Шигацзе; резиденция панчэн-ламы.

...покровительства Срединной империи. В 1793 г., когда Китай посетила английская дипломатическая миссия во главе с лордом Джорджем Макартнэем, Цяньлун направил королю Георгу III письмо, которое начиналось так: «Вы, о государь, живете далеко за пределами многих морей и тем не менее, движимый смиренным желанием приобщиться к благам нашей цивилизации, послали миссию, почтительно доставившую Нам ваше послание. Серьезные выражения, в которых оно составлено, обнаруживают почтительное смирение с Вашей стороны, что весьма похвально...» См.: А.А. Бокщанин, О.Е. Непомнин. *Лики Срединного царства.* М.: Восточная литература, 2002, с. 390.

Я теперь так стар, что единственным благом, которым я еще в состоянии насладиться, прежде чем покину сей мир, была бы возможность увидеть Вас и помолиться вместе с божественным ташиламой. Это строки из подлинного письма Цяньлуна ташиламе, ср.: Carl Friedrich Koeppen. *Die lamaische Hierarchie und Kirche.* B., 1859, S. 217.

...великая гора Кайлаш и на дне которого живет бог Шива... По индуистским представлениям, одним из мест пребывания Шивы является гора Кайлаш. Ламаисты же считали, что в эпоху калиюги Шива принял облик ужасного чудовища и бодхисаттва низвергнул его.

...в долине реки Нганчу. Букв. «Гусиная река» (*тибетск.*); более распространенное тибетское название этой реки – Цангпо; индийское название – Брахмапутра.

Стр. 302

Кхенпо – Знающих (*тибетск.*).

Стр. 304

...тронулся в путь к далекому Пекину. Описывая путешествие таши-ламы в Китай (1779-1780 гг.), Дёблин использовал те сведения, которые содержатся в книге Кёппена: Koeppen, *Die lamaische Hierarchie...*, S. 217-222.

Канджур – одна из двух основных канонических книг ламаизма, наряду с Танджуром (комментариями на тексты, включенные в Канджур); оба канона были составлены к XIV в.

Стр. 305

...великолепная чаша из человеческого черепа... Чаши, сделанные из человеческих черепов, ламаисты ставили на свои алтари.

Молитвенные барабаны – имеются в виду *хурдэ* – полые, обычно металлические цилиндры, в которые закладываются молитвенные тексты. Такие цилиндры бывают диаметром и высотой от нескольких сантиметров до нескольких метров. Через центры крышки и дна цилиндра пропущена ось, вокруг которой все сооружение может вращаться. Считается, что один оборот цилиндра равнозначен прочтению всех заключенных в нем молитв и священных текстов.

Кукунор – горный хребет в Китае, в составе Наньшаня.

Ямантака, самый устрашающий демон... Согласно буддийскому преданию, в горах Тибета когда-то жил святой отшельник. Он был убит двумя разбойниками, но ожил и приставил к своим плечам голову убитого ими же быка, после чего стал ужасным демоном-людоедом по имени Яма, нападал на людей. Тогда тибетцы призвали на помощь своего покровителя бодхисаттву Манджушри. Тот, чтобы победить Яму, сам принял облик ужасного чудовища по имени Ямантака («Победитель Ямы»), у которого было 9 голов, 34 руки и 16 ног. Яма спрятался в башне с 34 окнами и 16 дверьми, построенной им самим. Ямантака руками закрыл окна, а ногами – двери и стал

проповедовать Яме буддийское учение. Яма раскаялся, принес клятву защищать всех верующих буддистов и был назначен «Владыкой Смерти в Преисподней». Его сестра стала надзирать в Преисподней за женщинами-грешницами. Существуют ритуалы для умиротворения так называемых «ужасных божеств», важнейшим моментом которых является взывание к Ямантаке.

Стр. 306

Кумбум – город недалеко от Синина, центра нынешней провинции Цинхай. В Кумбуме (по-тибетски Гебем Гонба) по преданию родился Цонкапа; в 1577 г. здесь был построен монастырь, и вскоре город стал одним из крупнейших ламаистских центров, местом паломничества.

...учителя праведности, святого Цонкапы... В период средневековья в Тибете существовало множество ламаистских школ. Наиболее крупная из них, Гэлуг-па, была основана в конце XIV – начале XV вв. Цонкапой (1357-1419). С XVI в. главы этой школы стали носить титул далай-ламы. В середине XVII в. пятый далай-лама Агван Лобсан Джамцо (1617-1682) подчинил своей власти все основные районы Тибета, который таким образом превратился в теократическое государство. При пятом далай-ламе возник и институт панчэн-лам. Цонкапа после смерти был канонизирован и входит в ламаистский пантеон.

...подарил ему три сотни коней, семьдесят лошаков, сотню верблюдов, тысячу отрезов парчи, сто пятьдесят тысяч серебряных лянов. Этот случай описан в: Koeppen, *Die lamaische Hierarchie...*, S. 219.

Стр. 307

Мулань – летняя императорская резиденция в Жэхэ: охотничий парк и дворцово-парковый ансамбль на расстоянии семи дней пути к северу от Пекина, у Великой Китайской стены. Близ резиденции находится несколько крупных монастырей в китайско-тибетском стиле. В 1780 г., специально к приезду таши-ламы, здесь был построен новый дворец в стиле резиденции самого таши-ламы в монастыре Ташилунпо.

Стр. 308

...в анфиладу комнат, которые предназначались для духовного владыки... Специально к приезду панчэн-ламы Цяньлун приказал возвести монастырь Сюймифу-шоучжимяо (1780), названный в честь горы Сюйми (Сумеру), на склонах которой размещены райские миры. Выше по склону были построены жилые покои панчэн-ламы.

...с трех сторон его окна выходили в сад, и только торцовая стена сообщалась через дверь с главным зданием... Речь идет о зале Сычжи (Кабинет Четырех Знаний), где действительно летом 1780 г. император Цяньлун принимал панчэн-ламу. Отсюда галерея ведет к Павильону Долголетия, в котором находились комнаты членов царской семьи. За этим павильоном располагался двор с жилыми императорскими покоями.

Хутухта был постоянным сопровождающим панчэн-ламы во время визита последнего в Китай. Эти беседы втроем, и даже три кресла, поставленные рядом, упоминаются у Кёппена: Koeppen, *Die lamaische Hierarchie...*, S. 219.

Титул *панчэн ринпоче* означает «драгоценный панчэн(лама)».

«Гора Благоденствия» – значение названия монастыря Ташилунпо.

Стр. 310

«Я говорил о Судатте». Согласно буддийскому преданию, некий богатый человек, Судатта, семь раз разорялся и снова богател, потом, во время страшного голода, роздал последний свой рис пяти нищим, среди которых был и Шакьямуни Будда. С того дня Судатта стал самым богатым человеком в Индии и построил для Будды монастырь в парке Джеватана близ Шравасти, недалеко от города Капилавасту, где родился Шакьямуни.

Стр. 314

То было изображение Божьего Града на горе Сумеру, оси мира. Лобсан Палдэн Еше (1737-1780), третий панчэн-лама, сам описал такой город (Калапу) в своей книге «Путешествие в Шамбалу» (1775) – аллегорическом повествовании о совершенствовании

сознания. Препятствия и враждебные силы на пути в Шамбалу – это темные силы, таящиеся в глубинах человеческого сознания: ложные надежды, страх, иллюзорное противопоставление «я» и «другого». См.: *Jurga Ivanauskaite. «Eine Reise nach Shambala». Textauszug* (в Интернете).

Стр. 317

Капилавасту (Город Прекрасной Добродетели) – город на границе Непала, где родился Гаутама Будда.

Стр. 318

Канси и Юнчжэн – императоры династии Цин: Канси (Сюанье; 1654-1722) и Юнчжэн (Иньчжэнь; 1678-1735), дед и отец Цяньлуна.

Стр. 321

Это как камнепад в горах... Метафора, к которой Дёблин неоднократно возвращается в своих произведениях (например, в финале романа «Гамлет, или Долгая ночь подходит к концу»).

Стр. 322

...как если бы с него содрали кожу. Это буддийский мотив. Имеется, например, тибетская легенда о Лавапе, паломнике, достигшем просветления на горе Кайлаш; он снял со своего ученика кожу, чтобы тот увидел мандалу из 62 божеств внутри собственного тела. См.: *The Sacred Life of Tibet* (в Интернете).

Стр. 325

...как усиливается при дворе влияние «желтых накидок». То есть буддийских (ламаистских) монахов.

Стр. 326

Шаньхайгуань – город на Желтом море, на границе провинции Чжили (на границе нынешних провинций Хэбэй и Ляонин), от которого начинается Великая Китайская стена.

Стр. 327

Павильон Почитания Предков (Фэнсяньдянь), расположенный к востоку от личных покоев императора, служил своего

рода домашней кумирней, где совершались церемонии поклонения перед табличками предков.

Стр. 328

Гуаньхуа – язык столичных чиновников, пекинский диалект.

...совсем не понимала литературных аллюзий. Понимание литературных аллюзий было одним из важных навыков девушки из благородной семьи; на низкое, недостойное происхождение Бэй указывает также ее тяга к вину.

Богиня Зрения – популярное у китайского простонародья божество, о котором Вильгельм Грубе пишет: «На посвященных ей алтарях всегда можно видеть особые вотивные дары – изготовленные из хлопчатобумажной ткани и раскрашенные черным пары глаз, укрепленные на маленьких палочках, что выглядит как очки» (Grube, *Zur Pekinger Volkskunde*, S. 58).

Стр. 330

«*Главными*» считались царевны, рожденные от императрицы, «второстепенными» – рожденные от наложниц.

Стр. 331

Лев на нагруднике у военных – знак принадлежности ко второму рангу.

Стр. 335

Бог Долголетия – один из популярных в Китае «звездных богов» (то есть богов, связанных с созвездиями); часто изображается сидящим на олене.

Нефрит – поделочный камень; он может быть разных цветов, но наиболее ценным считается нефрит яблочно-зеленого цвета; китайцы приписывают этому камню свойства доброты, справедливости, ума, храбрости и чистоты, которые передаются тому, кто его носит (ср. историю Го, который находит фальшивый нефрит).

Стр. 336

...из синего дерева – печень, из белого металла – легкие, из огненно-красного шелка – сердце... В Китае считается, что пятью

внутренними органами управляют пять первоэлементов: сердцем – огонь, печенью – дерево, легкими – металл, почками – вода, селезенкой и желудком – земля. Пять внутренних органов связаны также с пятью цветами, пятью планетами и т.д.

Стр. 337

...прикрыла лицо золоченой божественной маской со змеиным языком... Змея в китайской традиции символизирует лесть, коварство, зло.

Дворец Продленного Счастья – один из шести «восточных дворцов».

Стр. 339

...шапку, украшенную павлиньим пером. Павлинье перо на шапке – высшая награда, которой мог удостоиться китайский чиновник. Различались перья с тремя, двумя и одним глазком.

...участия в заговоре царевича Поу Ана и его сестры. Способ колдовства, направленный на то, чтобы убить человека, «вырвав» из тела его душу, был широко распространен в Китае. В книге Де Гроота описывается реальное покушение на императора, произошедшее в 452 г. (в эпоху династии Сун), которое и послужило прообразом для дёблиновского эпизода: некая колдунья была представлена царевне, завоевала доверие наследника престола и другого царевича, которые по ее указанию сделали куклу из яшмы, изображавшую императора, и зарыли ее перед дворцом. В заговоре также принимали участие слуга и служанка царевны и один евнух. Евнух, опасаясь за свою жизнь, рассказал обо всем императору. Колдунье удалось бежать, одного из виновных царевичей император лишил ранга наследника престола, а другому приказал покончить с собой... См.: Де Гроот, *Демонология Древнего Китая*, с. 338-339.

Стр. 340

Сихуансы (Западный Желтый Храм) – храм тибетского буддизма. В 1780 г. панчэн-лама действительно провел здесь несколько недель и скончался от оспы.

Его путь от Мулани до Пекина был непрерывным триумфальным шествием. Резиденция в Мулани, отстоящая от Пекина на семь дней пути, соединена со столицей дорогой, вдоль которой построены дворцы с парками на таком расстоянии друг от друга, чтобы в них можно было останавливаться на ночлег.

Красное знамя – один из восьми столичных военных корпусов, относился к «Пяти младшим знаменам».

Стр. 341

...вошел в Монастырь Пятисот Лоханов... Имеется в виду Биюньсы (Храм Лазурных Облаков) рядом с загородным парком Сяншань (Душистые Горы): там есть Зал Лоханов, построенный в 1748 г., с пятьюстами деревянными фигурами *лоханов*, покрытыми лаком и позолотой.

Вофосы (*Храм Спящего Будды*) в 20 км к западу от столицы. Главная святыня храма – пятиметровой длины бронзовая статуя, изображающая Будду Шакьямуни в момент, когда он, погружаясь в нирвану, передает свои наставления двенадцати ученикам.

Стр. 342

...выплеснулось, потеснив Пустоту... В китайском буддизме существовали понятия *Сун кун*, «абсолютная пустота», основание спонтанного постижения собственной «природы будды», и *Сун лин*, «чистый ум», выражающий идею отсутствия индивидуального «я», или индивидуальной души.

...посетить женщин императорского гарема. Посещение панчэн-ламой гарема упоминается у Кёппена: Koeppen, *Die lamaische Hierarchie...*, S. 220.

Стр. 344

...оградой из молитвенных вымпелов, «благословляющих деревьев»... Так называются мачты или шесты с прикрепленными к ним молитвенными вымпелами.

...и «ритуальных шарфов». Льняные шарфы, обычно белого цвета, которые на Тибете принято подносить при встрече

как пожелание благополучия (получатель может тут же вернуть такой шарф дарителю, как бы со своим благословением).

Китайская *Богиня Оспы* упоминается у Вильгельма Грубе: Grube, *Zur Pekinger Volkskunde*, S. 59. В индуистской мифологии Богиня Оспы – Харити – была матерью многочисленных демонов-якшасов и питалась человеческими детьми.

Стр. 345

Соджонг – ритуал, в котором могут принимать участие только монахи и монахини. Он состоит в том, что каждый из присутствующих подтверждает свой обет праведной жизни, принося клятву всем буддам и бодхисаттвам; затем происходит «купание» почитаемого в данном храме бодхисаттвы; присутствующие медитируют, отождествляя себя с ним и молятся о благополучии членов своей общины.

...кувшином со священной водой... Имеется в виду вода, взятая из какого-то особо почитаемого источника.

Стр. 346

Мокса (*моха*) – практикуемый в Китае, с самой глубокой древности, способ теплотерапии. Мокса-сигары представляют собой завернутые в бумагу волокна кустарника *Artemisia vulgaris*; эти волокна горят медленно и равномерно; сигару поджигают и несколько раз подносят к телу, иногда касаясь его, а иногда – нет. Предварительно, чтобы не было ожогов, тело смазывают специальным маслом. Считается, что такое лечение стимулирует кровообращение, укрепляет в теле энергию *ян* и пр.

...были допущены шесть чёйкьонгов... Букв. «защитники дхармы»; так называли ужасных по своему облику божеств-защитников и прорицателей, одержимых духами этих божеств.

Они призывали ужасного бога Такмэ. Видимо, сокращение от тибетск. Так-лха-мэ-бар, «Тигриный бог пылающего огня» (эпитет главного бонского божества).

Те девяносто девять, что собираются на груди, должны все исчезнуть, как и гнойники оспы. Возможно, упоминание о лбе, горле

и груди связано с представлением о чакрах. Китайцы считали, что порчей или болезней, насылаемых демонами, всего бывает от тридцати шести до девяносто девяти. См.: Де Грот, *Демонология Древнего Китая*, с. 168.

Стр. 348

...волочил за собой свое Тело Излучения... Будда имеет три тела (*кайи*): *дхармакайю*, или Тело Явлений; *самбхогакайю*, или Тело Радости; *нирманкайю*, или Тело Излучения. Тело Излучения является опорой, неизменной *дхармакайей*; а источник его появления – великое сочувствие: тот, кто существует в виде *нирманкайи*, незримо помогает всем живым существам.

Стр. 349

Вместо губ нижнюю половину этой жуткой маски пересекали два тугих валика. Китайские физиогномисты выделяли «нижнюю часть» лица (*ди-гэ*, «земной чертог») и придавали ей особое значение.

Стр. 350

...пирамидки с рисовыми шарами и глиняными фигурками. Описывается приношение для голодных духов – трехступенчатые пирамидки, на верхние поверхности которых кладут шарики из теста и ставят пестро раскрашенные фигурки, обычно тоже из теста, см.: Grube, *Zur Pekinger Volkskunde*, S. 39-40.

Саркофаг в форме пирамиды-реликвария... В Тибете такие реликварии с мощами называются *чайтьями*, или *ступами*.

Стр. 351

...мраморная пагода, которую Цяньлун посвятил памяти святого... Пагода Алмазного Трона, существующая по сей день.

...в малом зале для приемов... В Китае «зал» обычно представлял собой отдельное, не разделенное перегородками строение – дом-залу.

Стр. 352

...таким изяществом и стройностью, будто то были не девушки, а юные евнухи. В Китае ценились женские фигуры, «блистающие

гармонией прямых линий». Девочкам в возрасте 10-14 лет стягивали грудь холщовым бинтом или специальным лифом, чтобы приостановить развитие грудных желез.

Стр. 355

Дух земли – божество, чья власть, как считалось, распространяется на один небольшой район. В каждой местности почитался свой дух; иногда ему посвящали особый храм, иногда его статую – в образе бодхисаттвы – ставили в буддийском храме.

«*Ли Цзи*» – «Трактат о правилах поведения», одно из главных произведений конфуцианской канонической литературы, составлялся в IV – I вв. до н.э.

Стр. 362

«*Промежуточное состояние*» (*бардо*) – центральное понятие Тибетской книги мертвых. Согласно этой книге, все существование представляет собой череду «промежуточных состояний», или *бардо*. В первой части книги содержится «Молитва для освобождения на опасной тропе бардо», которая должна помочь умершему войти в состояние Будды. См.: *Тибетская книга мертвых*. Пер. и ком. Намкая Норбу Ринпоче. СПб, 1999, с. 121-123. С точки зрения китайских верований, император в тот момент находился в «подвешенном состоянии», *цзюе*, – состоянии оцепенения, которое обычно наступает после похищения души призраком (в данном случае – ворожеей, которая воспользовалась куклой). См.: Де Гроот, *Демонология Древнего Китая*, с. 170.

Стр. 364

...сунул шею в веревочную петлю – и, вжав голову в плечи, отпихнул табурет ногами. По китайским поверьям, человека очень часто толкает на самоубийство призрак кого-то, кто повесился раньше, блуждающий по земле в поисках «жертвы-замены». Такой призрак обычно и делает петлю – из веревки, на которой когда-то повесился сам. В одном из китайских текстов, который пересказывается у Де Гроота, призрак имеет вид «женщины в голубом платье и с растрепанными волосами»,

которая прячет в рукаве веревку (Де Гроот, *Демонология Древнего Китая*, с. 191-192).

Стр. 366

...в петле торчала только сухая ветка с несколькими отростками. Ведьма, очевидно, не сумела распутать одну руку и отрубила ее; похожие истории описываются у Де Гроота, который обобщает их смысл так: «Раны, нанесенные дереву-демону в человеческом обличье, остаются, по китайским поверьям, и после того, как призрак примет свою изначальную форму» (Де Гроот, *Демонология Древнего Китая*, с. 149).

Стр. 368

Фазан является в Китае символом красоты и удачи.

Книга четвертая. Западный Рай

Стр. 373

...со своей «парусной тележкой»... Такие тележки с парусами из циновок были изобретены в Китае еще в VI в. н.э.

Стр. 376

Хуанхэ названа «ужасной» потому, что на ней регулярно случались опустошительные наводнения.

...к северу от Янцзы... В провинции Чжэцзян.

...другой, защищающей от морских волн дамбой... Речь идет о каменной стене, построенной в X в. вдоль морского побережья для защиты прибрежных селений от штормов и приливных волн.

Стр. 377

...удивительно нежно звенели прикрепленные к их хвостам свистульки, особенно когда птицы приближались. В Китае к хвостам домашних голубей иногда прикрепляли деревянные свистки, и когда целая стая птиц с такими свистками кружила в воздухе, получался особенно гармоничный звук.

...к длинным узким клетям-хранилищам, сооруженным на мелководье, вдоль берега. Такие хранилища, позволяющие держать

большое количество рыбы в проточной воде, теперь делаются из растянутой на рейках капроновой сетки.

Стр. 379

...приносили в клювах блестящих влажных рыб, роняли их в корзины, клевали. Этот способ ловли рыбы практикуется в устье Янцзы до сих пор. Бакланам перевязывают горло шнуром, чтобы они могли проглатывать только маленьких рыбок. Когда глотка забивается большими рыбинами, птицы возвращаются к плоту и выплевывают «лишнюю» добычу в корзины.

Стр. 392

Золотой фазан – отличительный знак гражданских чиновников второго ранга, *лев* – военных второго ранга, *пантера* – военных третьего ранга.

Стр. 393

...недоноски, у которых даже нет печени... По китайским представлениям, из печени исходят проекты, планы и замыслы.

Стр. 396

...зазывали покупателей продавцы нарциссов... В Китае эти цветы символизируют удачу; они же, тем не менее, являются и эмблемой обманутой надежды.

...мусорщики, общественные и частные, граблями и лопатами убирали грязь... Китайский рисунок XIX в., изображающий мусорщика с граблями, воспроизводится, например, в кн.: Малявин, *Китайская цивилизация*, с. 57.

Перед молитвенным залом, посреди гигантского двора, возвышалась открытая сцена. «В больших храмах часто находятся открытые сцены, в большинстве случаев – во дворе храма, против главной галереи... пьесы... обыкновенно носят вполне светский характер... Они преследуют лишь одну цель – служить забавой для богов и людей» (Грубе, в: *История Китая. Духовная культура Китая*, с. 166-167).

Феникс – второе из четырех сверхъестественных существ, наряду с драконом, единорогом и черепахой. Считалось, что феникс появляется только во времена мира и процветания.

Стр. 397

...Горбун упражнялся с глиняными шариками, стараясь уложить их на коконе цикады, чтобы они не скатывались вниз; когда ему удавалось удержать в равновесии одновременно пять шариков, он мог ловить цикад так, будто просто их подбирал, – ибо стоял неподвижно словно старый пень, руки держал точно сухие ветви; вся его воля сосредотачивалась только на этом. Здесь пересказывается эпизод из второй главы книги «Лецзы», см.: *Дао. Гармония мира*, с. 57 (пер. Л. Позднеевой).

Деревянный кумир городского бога... Речь идет об одном из *чэнхуанов* – богов-покровителей конкретных административных территорий. С эпохи Мин поклонение этим богам было прерогативой чиновников. *Чэнхуаны* должны были оберегать вверенные им города и чинить суд над душами местных грешников; в подчинении у них находились божества-администраторы, *туди-гуны*.

Ибо город на свою же погибель выпестовал в нем демона. Все детали о культе бога города, «отца стен и ограждающих рвов», Дёблин заимствовал у Грубе: *История Китая. Духовная культура Китая*, с. 167-171. В качестве таких богов часто выступали умершие чиновники, при жизни оказавшие городу какие-то услуги, а сам культ находился в ведении городской администрации.

...потайная дверца вела в большое здание ломбарда... «В старом Китае монастыри, помимо прочего, соединяли в себе функции ростовщической конторы, ломбарда и банка» (В.В. Малявин. *Китайская цивилизация*. М., 2001, с. 52).

Стр. 398

Ло Хуэй, или Ло Цин (1443-1537) – основоположник синкретической секты *У-вэй цзяо* («Учение о недеянии»). Его основное сочинение, «Пятикнижие Ло Цина», пользовалось популярностью у различных народных сект, в том числе у «Белого Лотоса». Главной задачей он считал возвращение к изначальной нерасчлененности сознания на субъект и объект и избавление таким образом от мирских заблуждений.

Стр. 399

...своих молитвенных вымпелов. Учитель почти дословно повторяет подлинные слова основателя секты *У-вэй* Ло Хуэя: «Небо и земля, горы и реки – это образы Будды... Ветер, облака, туман и роса – наши благовонные каждения... Удары грома... – это барабаны нашего Закона. Солнце и Луна – наши светильники... Пять озер и четыре моря – наши приношения чая... Движение ветвей деревьев – это колыхание наших молитвенных вымпелов» (см.: De Groot, *Sectarianism...*, vol. 1, p. 183).

Черная Драконова река – китайское название Амура.

Стр. 400

Я тоже иду по Чистому пути... То есть по пути будды Амитабы.

...потомки «ста семейств»... «После потопа Фу Си и Нюй Ва, вступив в брак, возрождают человечество, причем Нюй Ва рождает ровно сто бесформенных комочков плоти, от которых и пошел человеческий род, именуемый по-китайски "ста фамилиями"» (Малявин, *Китайская цивилизация*, с. 423).

Стр. 402

Волшебное слово «Мин» опять повисло в воздухе. Имеется в виду последняя исконно китайская династия Мин, правившая в 1368-1644 гг., до маньчжурского завоевания.

Стр. 403

Трое Чистых (*сань цин*) – верховная триада даосского пантеона, куда входят Нефритовый (или: Яшмовый) Император, Лаоцзы и Дао Чжунь, три ипостаси Лаоцзы.

Легенду о *Нефритовом императоре*, милосердном боге неба, и его родителях, воплощениях Солнца и Луны, пересказывает, например, Грубе: *История Китая. Духовная культура Китая*, с. 152-153.

Стр. 404

«Мин, его теперь звали Мин!» Чжу Юаньчжан (1328-1398) был основателем династии Мин; он стал императором в 1368 г. и правил под девизом Хунъу. Юаньчжан происходил из крестьянской семьи, в 1344 г. во время голода потерял родителей и в течение

короткого времени жил в буддийском монастыре. Возвысился он благодаря своему участию в крестьянском восстании.

Стр. 414

...закончив заниматься с солдатами гимнастикой и борьбой... Дёблин, возможно, приписал Го деталь биографии исторического Ван Луня, который был учителем боевых искусств (J.J.M. De Groot. *Sectarianism and Religious Persecution in China*. Vol. 2. Amsterdam, 1904, p. 297).

Стр. 418

Сотни женщин – в основном «сестер» – участвовали в сражении: стреляли из луков, преследовали вражеских солдат, бросали в них горящие головни, обливали из ведер кипящим маслом. О женщинах, принимавших участие в восстании Ван Луня, см.: De Groot, *Sectarianism*, vol. 2, p. 302. О женских кавалерийских отрядах в Крестьянской войне 1795-1805 гг. и восстании 1813-1814 гг. см.: Бокщанин, Непомнин, *Лики Срединного* царства, с. 406-408.

...варили и пожирали печень погибших «братьев» и врагов, чтобы присвоить их мужество. Об этом обычае см.: De Groot, *The Religious System of China*, vol. IV, p. 373.

Стр. 419

...покуривая «водяную трубку»... Имеется в виду миниатюрный кальян, который можно носить с собой.

Стр. 427

Цзетайсы (Храм Алтаря Монашеского Обета) – буддийский монастырь, расположенный на склоне горы Мааньшань, в тридцати пяти км к западу от Пекина; храм был основан в 622 г. и считается буддийским центром севера страны.

Цяньцингун (Дворец Небесной Чистоты) – первый из «трех тыльных дворцов», резиденция императора и старшей императрицы.

Стр. 429

Гирин – провинция в северо-восточном Китае, при династии Цин считалась доменом маньчжурского дома, до середины XIX в. переселение туда китайцев запрещалось.

Стр. 430

Тайцзун – посмертное храмовое имя Абахая (1592-1643), первого императора Цинской династии, который правил под девизами Тяньцун (Покорный Велению Неба) и Чундэ (Накопленная Благодать) в 1626-1643 гг.

Стр. 431

...пожертвовать кровь из гребня этого трехлетнего самца, чтобы облегчить их душам путь до могилы... Считалось, что петух отвращает демонов и что в случае внезапной смерти следует с помощью трубочки влить кровь из гребня петуха (желательно – черного) в нос умершего (см.: Де Гроот, *Война с демонами...*, с. 51).

Стр. 432

Шунчжимэнь, Хатамэнь и Цяньмэнь... Все перечисленные выше ворота расположены по периметру Маньчжурского города.

...огромный рисовый склад... Новый зерновой амбар и рисовый склад обозначены на карте Пекина (Маньчжурского города), воспроизведенной в изд.: *Meyers großes Konversations-Lexikon*. Bd. 15. Leipzig und Wien, 1906, S. 543.

Стр. 433

...с башен Верхних северных ворот... Ворота Шэньумэнь, северный вход в Запретный город.

...кроны туй и кипарисов... Непосредственно за воротами во второй, параллельной первой, северной стене Запретного города расположен сад Юйхуаюань.

Стр. 435

Дунчжимэнь и Чжихуамэнь – ворота в восточной стене Маньчжурского города.

Стр. 441

Нанкин – центр провинции Цзянсу.

Стр. 443

...памятку с указанием года, месяца, дня и часа своего рождения. Такая памятка с восемью иероглифическими знаками нужна была, чтобы астролог, сравнив ее с соответствующими

данными о невесте, мог составить прогноз о том, насколько удачным будет брак. См.: Grube, *Zur Pekinger Volkskunde*, S. 11.

Стр. 444

Ли – китайская миля, около 500 м.

Стр. 449

Тайцзун – см. выше, примеч. к *стр. 430*.

Стр. 452

...время цветения персиков... Лучшим временем для свадьбы в Китае считалась весна, первый месяц года – февраль. Именно в феврале в Китае цветет персик.

Стр. 455

...ларец с двойным символом счастья. Здесь и далее речь идет о традиционном наборе подарков, которые родственники жениха посылали невесте при обручении. См.: Grube, *Zur Pekinger Volkskunde*, S. 12.

Стр. 456

...«брак пяти демонов». Брак, которому угрожают пять несчастий – бездетность, болезнь мужа или жены, плохие отношения между супругами, бедность – и который поэтому считается неприемлемым.

«*Достопочтенная дама*» – одна из главных участниц маньчжурской брачной церемонии, которая доставляет в дом невесты подарки от семьи жениха, в день свадьбы забирает невесту из родительского дома и пр.

...в платье без рукавов и под красным покрывалом... «Почтенная дама» должна быть одета в длинное красное крепдешиновое платье без рукавов и красную закрывающую лицо вуаль. Красный цвет отгоняет злых духов.

На дворе усадьбы семьи Сюн был сооружен шатер... Речь идет о доме родителей жениха. Для угощения гостей на дворе сооружается специальный шатер из циновок.

...в шатре закусывали «господа»... Друзья семьи жениха, которым предстоит встречать невесту.

...окуривала ароматическими свечами красное шелковое покрывало невесты, наполняла вазу просом, зернами пшеницы, бобами, застилала брачное ложе. Покрывало и всю прочую одежду, кроме туфель и чулок, невесте дарит жених. Покрывало окуривают, чтобы отогнать от него злых духов. Деревянный сосуд, наполненный пятью видами зерна, должен принести в дом супругов изобилие и счастье.

...разложил по углам кровати четыре яблока, защитил комнату от злых демонов, уронив на порог два кусочка древесного угля. Четыре яблока – символ супружеского согласия; два связанных вместе уголька, называемых «военачальники-угли», – талисман, защищающий супружескую спальню от злых демонов.

Стр. 457

...по голубовато-зеленым шальварам... Свадебный наряд присылает невесте жених. Сочетание цветов – зеленоватый для шальвар и красный для остальных частей свадебного облачения – традиционно.

...две уточки дружно плыли по глади пруда... Символ супружеской верности; утка также является эмблемой удачи.

...восемь «господ», которым предстояло сопровождать невесту, выступили вперед. Забирать невесту первой приезжает «достопочтенная дама»; позже, когда невеста уже готова, за ней является процессия, состоящая из фонарщиков, музыкантов и друзей семьи жениха.

...в потешных зеленых халатах с красными горошинками, в плоских войлочных шляпах. Это традиционная «форма» для участников свадебной процессии, но только в том случае, если родители жениха и невесты являются чиновниками одного из трех высших классов.

Стр. 458

...пронесли красавицу-невесту над раскаленными угольями. Во дворе дома жениха невесту проносят над железной жаровней с тлеющими углями, чтобы очистить ее от возможных дурных влияний.

Стр. 463

...вкопали в землю красные древки, к ним привязали флаги, привлекающие души умерших. Использовать такого рода флаги имели право только маньчжуры, служившие в одном из Восьми знаменных полков. Все остальные маньчжуры (Дёблин описывает именно маньчжурский погребальный обряд) просто привязывали к шестам полоски жертвенной бумаги. См.: Grube, *Zur Pekinger Volkskunde*, S. 38.

На возвышении, в переднем дворе, над которым соорудили крышу, стоял открытый гроб... «Двор дома покойного посредством сооружения высокого каркаса из досок, который перекрывают циновками или деревянной крышей, превращают в просторный зал, в котором и происходят все траурные церемонии» (*ibid.*, S. 37-38).

Вытканные по всему покрывалу молитвенные формулы образовывали мелкоячеистую благодатную сеть, наброшенную на тело умершей. «Иногда в знак особой милости император жалует так называемое покрывало-*дхарани* с вытканными на нем молитвенными формулами» (*ibid.*, S. 37).

...сожгли красивые бумажные паланкины, ларчик из серебряной бумаги, мишурные наряды, миниатюрную сокровищницу, лютни и скрипки, любимые книги трагически погибшей невесты – чтобы она могла взять все это с собой, когда будет пересекать реку Найхэ. Сожжение всех этих предметов, по большей части сделанных из тонкой бумаги, наклеенной на каркасы из стеблей сорго, во избежание пожаров осуществляется на улице, но не дальше, чем на расстоянии одного *ли* от дома покойного (*ibid.*, S. 39).

Стр. 464

...со стонами бежали на каждый птичий крик... Птицы в Китае считались сверхъестественными вестниками.

Синее шелковое знамя рода Чжао несли двадцать четыре человека... Описывается *цзоу фань* – «длинное шелковое знамя, укрепленное на высоком древке, которое несут от двадцати четырех до тридцати двух носильщиков; оно может быть либо красным, либо синим, а тканный узор состоит из известной

пары драконов»; такое знамя имеют только маньчжурские военачальники первого ранга, служащие в знаменных войсках; оно не сжигается, а хранится в доме, передается из поколения в поколение *(ibid.*, S. 42).

Стр. 465

Четырехугольные веера с загнутыми внутрь концами, символизирующие начало *инь*; на них изображают знак луны и двух фениксов (*ibid.*, S. 44).

Стр. 466

Солунь и Гирин – города на северо-востоке Китая, в районе расселения маньчжуров.

Стр. 483

...торжествуя, шли через «тлеющее поле»... Об обряде прохождения через огонь см.: Де Гроот, *Война с демонами...*, с. 397-399.

Стр. 488

...тех мятежников, чьи имена удалось установить, сослали в Джунгарию или в Монголию... Этих ссыльных раздавали солдатам в качестве рабов или отправляли в места распространения инфекционных заболеваний. См.: De Groot, *Sectarianism...*, vol. 2, p. 301.

...назначает Цзяцина, помогшего ему примириться с предками, своим преемником. Цяньлун провозгласил Цзяцина императором (своим преемником) еще при жизни, в 1795 г.

«Если бы Конфуций был сейчас с нами, он все равно не мог бы действовать более основательно, чем я». Это – подлинная надпись Цяньлуна, которая цитируется в: De Groot, *Sectarianism...*, vol. 2, p. 302.

Хронология жизни Альфреда Дёблина
(Сост. А. Маркин)

1878

10 августа в прусском городе Штеттине (ныне польский Щецин) появился на свет Альфред Дёблин. Отец будущего писателя – портной, владелец швейного ателье Макс Дёблин (1846-1921), склонный к искусству и фантазированию; мать, Софи Дёблин, урожденная Фрейденхейм (1844-1920), – дочь торговца древесиной.

1888

Макс Дёблин влюбляется в швею Генриетту Цандер, которая моложе его на двадцать лет, и бежит вместе с любовницей в Америку. Альфред с матерью, братьями и сестрами переезжает в Берлин, где они живут на деньги отца и богатого брата матери.

1890

Отец Дёблина возвращается из Америки, поселяется в Гамбурге и пытается спасти свой прежний брак. Софи Дёблин с детьми переезжает к мужу, но вскоре обнаруживается его новая измена. Окончательный разрыв родителей. Мать Дёблина вместе с детьми возвращается в Берлин.

1896

У Альфреда пробуждается страсть к письму. Первое его произведение – «рассуждение» о Берлине «Модерн. Картина из современности» (*Modern. Ein Bild aus der Gegenwart*). Этот не опубликованный при жизни писателя прозаический фрагмент был написан под впечатлением от работы Августа Бебеля «Женщина и социализм». В центре повествования – судьба «безработной швеи Берты», разрывающейся между «пагубной любовной страстью» и «христианским благочестием».

1900

В возрасте 22 лет Дёблин (с трудностями из-за математики) заканчивает гимназию. В гимназические годы на него сильное впечатление произвела музыка Р. Вагнера, И. Брамса и Г. Вольфа, а также философия Спинозы, А. Шопенгауэра, св. Августина и Ф. Ницше. К любимым авторам Дёблин причисляет Г. фон Клейста (гётевская критика пьесы Клейста «Пентесилея» отвращает начинающего писателя от немецкой классики), Ф. Достоевского и Ф. Гёльдерлина. К началу 1900 г. он заканчивает свой первый роман – «Загнанные лошади» (*Jagende Rosse*). Часть рукописи молодой автор посылает философу и литературному критику Францу Маутнеру, но она теряется на почте. Герой «Загнанных лошадей» – «метафизический чудак, которого жизнь подвергает тяжелейшим испытаниям»; в финале романа герой обретает счастье на лоне природы, «величайшего лекаря человеческой души». Сохранившиеся фрагменты романа при жизни Дёблина опубликованы не были.

17 октября: Дёблин приступает к учебе в Берлинском университете. Его образование на медицинском факультете (отделение неврологии и психиатрии) финансируют старший брат Людвиг и родственники матери. Дёблин не ограничивается одной медициной: он также посещает занятия по филологии и философии.

Интенсивные занятия музыкой и начало многолетней дружбы с Г. Вальденом, будущим издателем экспрессионистского журнала «Штурм», который учится игре на фортепьяно у того же преподавателя, что и Дёблин.

1901

Новеллы «Пробуждение» (*Erwachen*, при жизни не опубликована) и «Адонис» (*Adonis*; опубликована в 1923 г.). Начало работы над романом «Черный занавес» (*Der schwarze Vorhang*).

1903

Дёблин принимает участие в собраниях берлинской богемы в «Café des Westens» и в винном погребке «Dalbelli»; значительно

расширяется круг его общения. Он знакомится с Э. Ласкер-Шулер, П. Хилле, Р. Демелем, Э. Мюзамом, П. Шеербартом, Ф. Ведекиндом и др. Участники собраний читают свои произведения, обмениваются мнениями о литературе, искусстве, музыке. Дёблин пишет два эссе о ницшеанской философии.

1904

Дёблин переезжает во Фрейбург в Бреслау. Практика в частной психиатрической клинике и подготовка к государственному экзамену по медицине.

В апреле сдает выпускные экзамены в Берлине.

Знакомство с А. Хольцем и Д. фон Лилиенкроном.

Возвращение во Фрейбург. Практика в городской психиатрической клинике. Подготовка докторской диссертации на тему «Нарушения памяти при корсаковском психозе» (опубл. 1905).

Окончание работы над книгой «Черный занавес. Роман о словах и случайностях» (*Der schwarze Vorhang. Roman von den Worten und Zufallen;* опубл. 1912), продолжающей традиции литературного символизма. Р.-М. Рильке читает этот роман по просьбе одного из издателей, которому Дёблин послал рукопись. Приговор Рильке неутешителен, в своем отзыве он пишет об «извращенном отношении автора [книги] к выбранному им материалу» и оценивает работу начинающего прозаика как «бесплодную и напрасную».

1905

Начало года: успешная защита диссертации; сдача последнего государственного экзамена.

16 ноября: Дёблин приступает к работе в психиатрической лечебнице в берлинском пригороде Регенсбурге.

1 декабря: пьеса Дёблина «Лидия и Максхен. Глубокий поклон в одном акте» (*Lydia und Mäxchen. Tiefe Verbeugung in einem Akt*) поставлена на берлинской сцене силами «Объединения искусств» Г. Вальдена, в один вечер с фарсом П. Шеербарта «Господин камердинер Кнечке». (На афише указан псевдоним Дёблина – Альфред Бёрне).

1906

С начала года Дёблин работает врачом-ассистентом в берлинском сумасшедшем доме Бух. Знакомство с шестнадцатилетней медсестрой Фридой Кунке. Избранница Дёблина не еврейка, поэтому ему приходится держать свою любовную связь в тайне от родственников, исповедующих ортодоксальный иудаизм.

Работа над новеллами сборника «Убийство одуванчика» (*Ermordung der Butterblume*).

Интенсивные занятия наукой.

1908

Новелла «Монахиня и смерть» (*Das Stiftsfräulein und der Tod*) опубликована в издающемся Г. Вальденом журнале «Дас Магацин».

Новое место работы: городская больница Урбан; одновременно Дёблин устраивается врачом неотложной помощи в муниципальную больницу в берлинском районе Темплгоф.

Усиленный интерес к заболеваниям внутренних органов: Дёблин приходит к выводу, что патологические процессы во внутренних органах и нарушение обмена веществ приводят к психическим патологиям.

1909

Начало близких отношений с Эрной Рейсс, дочерью преуспевающего еврейского промышленника, студенткой медицинского факультета Берлинского университета, которая проходит практику в темплгофской больнице.

Пьеса «Комтесса Мицци» (*Comtess Mizzi*), основанная на материалах нашумевшего уголовного дела, связанного с проституцией (при жизни не публиковалась; три литографии к рукописи пьесы выполнил в 1913 г. друг Дёблина, художник-экспрессионист Л. Кирхнер).

1910

Г. Вальден основывает журнал «Штурм» – один из главных печатных органов литературного экспрессионизма. Дёблин

становится постоянным автором и сотрудником этого журнала. В первом номере «Штурма» опубликовано около 10 статей и заметок Дёблина, несколько очерков о Берлине, три новеллы и трактат «Разговоры с Калипсо. О музыке» (*Gespräche mit Kalypso. Über die Musik*), в котором Дёблин формулирует свои взгляды на искусство и принципы своей поэтики.

1911

В журнале «Штурм» печатается с продолжениями роман «Черный занавес», а кроме того, в каждом номере – дёблиновские новеллы и обзоры культурной жизни Берлина: многочисленные рецензии на берлинские театральные постановки, музыкальные представления, концерты и книги.

В октябре Дёблин открывает собственную медицинскую (психиатрическую) практику в одном из рабочих кварталов Берлина.

14 октября на свет появляется первенец Дёблина – Бодо, ребенок Фриды Кунке.

1912

23 января: свадьба с Эрной Рейсс.

12 апреля: Дёблин официально признает своего незаконнорожденного сына Бодо и дает ему свою фамилию.

В марте Г. Вальден публикует в своем журнале «Футуристический манифест» Ф.-Т. Маринетти.

16 мая: открытие выставки футуристов в галерее журнала «Штурм». Дёблин лично знакомится с Маринетти и другими итальянскими футуристами. Футуристические манифесты производят на него сильное впечатление. В статье «Картины футуристов» (*Die Bilder der Futuristen*) Дёблин называет футуристическую живопись и провозглашенные футуризмом принципы «величайшим прорывом в искусстве».

27 октября: рождение первого сына в браке с Эрной – Петера. Дёблин официально выходит из еврейской общины и крестит сына по протестантскому обряду.

В ноябре: двенадцать новелл, опубликованных в журнале «Штурм» в 1910-1911 гг., выходят отдельной книгой под заглавием «Убийство одуванчика» (*Ermordung der Butterblume*). За Дёблином закрепляется слава ведущего прозаика экспрессионистского поколения.

В течение года: начало работы над «китайским» романом «Три прыжка Ван Луня» (*Die drei Sprünge des Wang-lun*), интенсивное изучение литературы, связанной с историей и культурой Китая, восточными религиями, мифологией Востока и т.п. Письменные консультации с философом М. Бубером по вопросам восточных религий.

Публикация в журнале «Штурм» двух научно-популярных эссе – «О девственности» и «Девственность и проституция» (*Über Jungfräulichkeit; Jungfräuligkeit und Prostitution*).

1913

Окончание работы над «Тремя прыжками Ван Луня». Безуспешные поиски издателя для этого объемного (рукопись на 2000 листах) романа.

Дёблин разочаровывается в творчестве футуристов, обнаруживая, что изложенная в манифестах теория футуризма во многом расходится с литературной практикой направления; кроме того, Дёблина возмущает авторитаризм Маринетти. Публикация в журнале «Штурм» «Открытого письма Ф.Т. Маринетти о его футуристической словесной технике» (*Futuristische Worttechnik. Offener Brief an F.T. Marinetti*) и «Берлинской программы» (*An Romanautoren und ihren Kritiker. Berliner Programm*), в которых Дёблин подвергает критике творческие методы футуристов, дистанцируясь от этого направления; конфликт с Г. Вальденом. Дёблиновские манифесты (косвенным образом защищающие непривычную поэтику романа «Три прыжка Ван Луня») призывают к разработке новой литературной техники, которая «соответствовала бы духу времени». Г. Апполинер присылает Дёблину одобрительное письмо, где называет манеру своего немецкого коллеги «дёблинизмом».

Дёблин открывает медицинскую практику в новом месте, в рабочем районе на восточной окраине Берлина.

1914

Август-декабрь: работа над «берлинским» романом – «Борьба Вадцека с паровой турбиной» (*Wadzeks Kampf mit der Dampfturbine*). Посещение заводов фирмы AEG, где Дёблин собирает материалы для своего нового произведения, в котором главным предметом изображения должен стать современный писателю Берлин.

В августе: начало Первой мировой войны. Дёблин служит военным врачом в Лотарингии. Он приветствует успехи немецкой армии.

1915

Дёблин находит издателя для «Трех прыжков Ван Луня»: Самуэль Фишер, владелец издательского дома «S. Fischer», соглашается напечатать роман. Фишер станет постоянным издателем Дёблина.

17 марта: рождение сына Вольфганга.

Цикл рассказов «Лобенштейнеры едут в Богемию» (*Die Lobensteiner reisen nach Bohmen*, опубл. 1917); большая часть рассказов посвящена Берлину.

1916

Дёблин служит в одном из лазаретов недалеко от Вердена, где в это время идут ожесточенные бои.

В марте выходит роман «Три прыжка Ван Луня» (с неправильным указанием года издания: 1915); критики (за исключением бывших коллег по «Штурму») с воодушевлением принимают роман и в один голос объявляют его важной вехой в истории новой немецкой литературы. В августе Дёблину присуждают самую престижную немецкую литературную премию – премию Теодора Фонтане. Тревожная атмосфера «воздушной войны» и

жуткие впечатления от службы в лазарете (Дёблин оказывает помощь тяжелораненым) приводят писателя к мысли создать эпопею о Тридцатилетней войне. Он начинает собирать материалы для романа об австрийском императоре Фердинанде II и полководце Валленштейне.

1917

В марте Дёблин заболевает тифом.

В конце апреля, оправившись от тяжелой болезни, Дёблин несколько недель изучает материалы о Тридцатилетней войне в Гейдельберге (куда он был направлен на лечение), в университетском архиве.

20 мая: рождение третьего сына в браке с Эрной – Клауса.

В результате конфликта с главным врачом лазарета (Дёблин был возмущен «неподобающим уходом за солдатами») Дёблина переводят в городок Хагенау под Страсбургом. В Страсбурге писатель проводит свободное от работы время в архивах и городской библиотеке, изучая документы, материалы и литературу времен Тридцатилетней войны. Начало работы над романом «Валленштейн» (*Wallenstein*).

Литературно-теоретические работы «О романе и прозе» (*Über Roman und Prosa*) и «Замечания по поводу романа» (*Bemerkungen zum Roman*), в которых Дёблин формулирует собственную теорию эпического произведения.

1918

19 января: Фрида Кунке умирает от туберкулеза.

Ноябрь: начало революции в Германии. Дёблин с семьей возвращается из Эльзаса в Берлин и становится свидетелем революционных событий. Он вновь открывает частную медицинскую практику в том же районе, где работал до войны.

Манифест «О свободе художника» (*Von der Freiheit eines Dichtermenschen*) – важный документ позднего немецкого экспрессионизма.

1919

Начало года: окончание работы над монументальным романом «Валленштейн».

12 марта: смерть сестры Дёблина Меты, которая была ранена случайной пулей во время уличных боев в Берлине, в дни «Спартаковского восстания».

Под псевдонимом Линке Поот Дёблин публикует статьи о политической жизни в Веймарской республике.

Финансовое положение семьи Дёблинов ухудшается из-за инфляции.

1920

Выходит «Валленштейн» – один из важнейших исторических романов немецкой литературы.

Вместе с коллегами по писательскому цеху Дёблин основывает профсоюз, призванный защитить литераторов от издательского произвола.

Чтение трудов К. Маркса и Ф. Лассаля.

В течение года Дёблин посещает собрания различных политических партий левого толка.

Пьеса «Лузитания» (*Lusitania*) об английском пассажирском пароходе, торпедированном немецкой подводной лодкой в 1915 г. (пьеса поставлена в 1926-м).

Многочисленные публикации на политические темы.

Смерть матери.

1921

Февраль: на маскараде Дёблин знакомится с Шарлоттой (Йоллой) Никлас, известным фотографом, дочерью берлинского банкира; Йолла моложе Дёблина почти на 20 лет. Их любовная связь будет продолжаться до 1940-х гг. Йолла увлекает Дёблина фотографией, Дёблин вновь вступает в берлинскую еврейскую общину. В конце года – статья «Сион и Европа» (*Zion und Europa*).

Мрачная пьеса о «религиозном экстазе и борьбе полов» – «Кемнадские монахини» (*Die Nonnen von Kemnade*) на сюжет из жизни средневековой Германии (впервые поставлена в Лейпциге в 1923 г.).

Статьи о Достоевском: «Гёте и Достоевский», «За и против Достоевского» (*Goethe und Dostojevski; Für und wider Dostojevski*).

Начало работы над научно-фантастическим романом «Горы, моря и гиганты» (*Berge Meere und Giganten*).

Книга статей о политической жизни Веймарской республики – «Немецкий маскарад» (*Der deutsche Maskenball*, под псевдонимом Линке Поот).

По финансовым соображениям Дёблин начинает работать берлинским корреспондентом газеты «Прагер тагблатт» и пишет многочисленные рецензии и обзоры культурной жизни Берлина.

Смерть отца.

1922-1923

Журналистская работа в различных немецких газетах.

Натурфилософское эссе «Вода» (*Das Wasser*).

Окончание работы над романом «Горы, моря и гиганты».

1924

Из печати выходит роман «Горы, моря и гиганты» – грандиозный визионерский опус о «конфликте между природой и техникой» в третьем тысячелетии. Дёблин описывает мир будущего, где у власти стоят марионеточные правительства, лоббирующие интересы «инженерной и биотехнической олигархии»; мутацию людей в расу гигантов, крайнее духовное оскудение масс и попытку ученых растопить льды Гренландии, которая приводит к мировой экологической катастрофе. Усложненное построение романа и его сюжет приводят критиков в замешательство.

Осенью Дёблин, чтобы выполнить заказ своего издателя С. Фишера, совершает поездку в Польшу. К концу года он подготавливает книгу репортажей о жизни польских евреев. Сильное

впечатление на писателя производит убранство польских католических храмов, в особенности алтарь в краковской церкви св. Девы Марии, при созерцании которого у Дёблина начинаются галлюцинации.

Документальный очерк «Подруги-отравительницы» (*Die beiden Freundinnen und ihr Giftmord*), написанный по материалам нашумевшего уголовного процесса. Дёблин пытается реконструировать мотивы преступления и психологию убийц. Книга Дёблина открывает популярную серию, выходящую под редакцией писателя Р. Леонгарда: «Аутсайдеры общества – Преступники наших дней».

Вопреки апокалиптическому взгляду на будущее, выраженному в романе «Горы, моря и гиганты», в эссе «Дух натуралистической эпохи» (*Das Geist der naturalistischen Zeitalters*), опубликованном в конце 1924 г., Дёблин с оптимизмом высказывается о перспективах западной цивилизации.

1925

Публикация «Путешествия в Польшу» (*Reise in Polen*).

Сближение с радикально-левыми писателями: И. Бехером, Э. Блохом, Г. Казаком, Э. Вайсом и Б. Брехтом. Последний публично высказывается о своем восхищении произведениями Дёблина.

Дёблин входит в число учредителей «Группы 1925» – левого объединения писателей.

1926

Работа над эпосом «Манас» (*Manas*) на сюжет из индийской мифологии. Писатель погружается в изучение древнеиндийских философских трактатов, индийской литературы и мифологии.

7 декабря: рождение сына Стефана.

1927

В мае в издательстве С. Фишера выходит экспериментальный эпос «Манас», написанный белым стихом; лишь два критика

восторженно отзываются об этом необычном для немецкоязычной литературы произведении – австрийский писатель и эссеист Р. Музиль и редактор издательства Фишера О. Лёрке.

Естественнонаучное эссе «Я над природой» (*Ich über der Natur*) выходит отдельной книгой в издательстве С. Фишера – но, как и «Манас», не имеет никакого успеха. С. Фишер намеревается расторгнуть контракт с Дёблином.

Осень: начало работы над романом «Берлин Александерплац» (*Berlin Alexanderplatz*).

1928

В начале года Дёблин становится действительным членом Прусской академии искусств.

Рецензия на немецкий перевод романа Джеймса Джойса «Улисс».

10 декабря: выступление перед студентами Берлинского университета с докладом «Устройство эпического произведения» (*Der Bau des epischen Werkes*).

1929

Октябрь: из печати выходит роман «Берлин Александерплац. История Франца Биберкопфа», который мгновенно становится бестселлером и который все критики расценивают как значительную веху в истории немецкой литературы. «Берлин Александерплац» приносит писателю всемирное признание, почти сразу же переводится на все европейские языки и издается даже в Советской России, несмотря на то, что главный герой произведения – сутенер. История бывшего «цементщика и грузчика» Франца Биберкопфа разворачивается на фоне Берлина времен Веймарской республики, и Дёблин пользуется необычными для литературы его времени техническими приемами, такими, как монтаж, к которому читающая публика в те годы еще не была привычна. Коллеги по писательскому цеху предлагают выдвинуть Дёблина в качестве претендента на Нобелевскую премию по литературе.

Пьеса «Супружество» (*Die Ehe*) – о том, как «современная капиталистическая экономика разрушает традиционную семью и брак», написанная в манере «эпического театра» Брехта.

1930

Постановка пьесы «Супружество» в Мюнхене приводит к скандалу: Э. Пискатор обвиняет Дёблина в плагиате концепции «эпического театра», пьесу запрещают как «пропаганду коммунизма», а Дёблин подает в суд на Пискатора за клевету – и выигрывает дело.

Менее чем за год немецкий тираж романа «Берлин Александерплац» достигает 30 000 экземпляров. В прессе к этому времени опубликовано больше 100 рецензий на роман.

В начале года: поездка во Франкфурт. Будучи представителем Прусской академии искусств в дирекции самой престижной немецкой премии того времени, премии Гёте, Дёблин прилагает все возможные усилия для того, чтобы премия досталась З. Фрейду.

В июне, поправляя здоровье после желудочной операции на одном из австрийских курортов, Дёблин встречается с Фрейдом.

Осенью: писатель начинает работу над сценарием фильма «Берлин Александерплац».

По настоянию жены семья писателя переезжает из бедной восточной части Берлина в престижный район на западе города; но Дёблин чувствует себя там неуютно; вскоре он закрывает практику на западе Берлина и возвращается на восточную окраину города.

Оратория композитора Эрнста Тоха «Вода» (*Das Wasser*) на текст Дёблина.

Старший брат Дёблина Людвиг кончает жизнь самоубийством.

1931

Двадцатрехлетний Г. Р. Хоке, будущий историк искусств и писатель, обращается к Дёблину с открытым письмом от имени немецкой молодежи – с просьбой помочь в выборе духовных

ориентиров. Ответ Дёблина – политико-философское эссе «Знать и изменять! Открытое письмо молодым людям» (*Wissen und Verändern! Ein offenes Brief an jungen Menschen*), которое становится предметом активного обсуждения в самых различных кругах немецкого общества и подвергается резким нападкам со стороны левых: потому что Дёблин критикует в нем коммунистов и призывает отказаться от практики классовой борьбы.

Премьера фильма «Берлин Александерплац». Фильм имеет сенсационный успех у зрителей и встречает резкое неприятие со стороны критиков.

1932

Завершение многолетней работы над естественнонаучным трактатом «Наше бытие» (*Unser Dasein*, опубл. 1933).

Роман «Гиганты» (*Giganten*) – новая версия книги «Горы, моря и гиганты», рассчитанная на массового читателя.

1933

Вечером 28 февраля, за день до поджога рейхстага и прихода к власти национал-социалистов, Дёблин, по настоянию друзей, бежит из Берлина. Поначалу он обосновывается в Цюрихе, но в ноябре переезжает с семьей в Париж.

Одна из глав трактата «Наше бытие» – «Обновление еврейства», призыв к созданию независимого еврейского государства, – выходит отдельной брошюрой в Амстердаме.

Работа над сюрреалистическим романом «Вавилонское странствие» (*Babylonische Wanderung*), в котором отразились впечатления от бегства из Германии.

1934

В Амстердаме выходит «Вавилонское странствие».

Работа над «маленьким берлинским романом» «Прощения не будет» (*Pardon wird nicht gegeben*), произведением отчасти автобиографическим, написанным под влиянием французской психологической прозы XIX в. (опубл. в 1935 г.).

1935-1936

Замысел романа «Земля без смерти» (*Land ohne Tod*) – о завоевании европейцами южноамериканских земель и разрушении цивилизации индейцев.

Дёблин отвергает предложение Брехта об эмиграции в Данию.

В московском журнале «Слово», издаваемом немецкими эмигрантами, опубликована литературно-теоретическая статья Дёблина «Исторический роман и мы» (*Der historische Roman und wir*).

Чтение трудов С. Кьеркегора, И.Таулера и Б. Паскаля.

Дёблин принимает французское гражданство.

1937-1938

В июне 1937 г. Дёблин знакомится с молодым германистом из Эльзаса Робертом Миндером, который до конца жизни писателя останется его ближайшим другом и доверенным лицом.

Интенсивное изучение материалов для «южноамериканского романа» в Парижской национальной библиотеке. В конце 1937 г. роман «Земля без смерти» (с 1947 г. – под названием «Амазонка») выходит в Амстердаме.

Дёблин завязывает знакомство с П. Сартром и С. де Бовуар.

Начало работы над монументальным циклом романов о Немецкой революции 1918 г. Писатель уверен, что ему удастся обнаружить истоки фашизма в исторических событиях и политических разочарованиях 1918 г.

На торжествах в честь шестидесятилетия Дёблина (август 1938-го) присутствуют почти все знаменитые немецкие эмигранты; с приветственными речами выступают А. Зегерс и Г. Манн.

Дёблин приходит к выводу, что он должен окончательно отказаться от занятий медициной ради литературы и общественной деятельности; это повергает его в тяжелую депрессию.

1939

В марте писатель попадает в автокатастрофу и почти месяц проводит на больничной койке.

Конец апреля: поездка в США, где Дёблин принимает участие в работе международного PEN-Клуба в Нью-Йорке – городе, который производит на него неизгладимое впечатление.

11 мая на банкете в честь деятелей культуры Дёблин был представлен американскому президенту Ф. Рузвельту.

С октября 1939 г. Дёблин работает во французском Министерстве информации, занимаясь вместе с Р. Миндером подготовкой пропагандистских листовок.

1940

К 16 мая Дёблин завершает работу над первыми романами тетралогии «Ноябрь 1918».

Начало мая: угроза оккупации Франции немецкими войсками. Жена Дёблина и его младший сын Стефан покидают Париж; Дёблин вынужден оставаться в Париже в связи с работой в министерстве; когда в июне писатель эвакуируется из города, выясняется, что он потерял связь с женой и сыном. Дёблин разыскивает их по всей Франции, не расставаясь в этих поисках с тяжелыми чемоданами, в которых он перевозит печатную машинку и объемистую рукопись романа «Ноябрь 1918».

21 июня сын Дёблина Вольфганг (Винсент), участник французского Сопротивления, кончает с собой, чтобы избежать ареста. (Дёблин узнает о смерти сына лишь после войны.)

В 20-х числах июня Дёблин находится в городе Менде; он «истово молится перед алтарем с фигурой распятого Иисуса» в кафедральном соборе, у него начинаются видения; писатель клянется принять католичество, если ему удастся найти семью. Одновременно его посещают мысли о самоубийстве.

В начале июля он случайно узнает, что его жена и сын находятся в Тулузе, еще не захваченной немцами, и отправляется к ним. В Тулузе семья принимает решение эмигрировать в Америку, где к тому времени уже обосновался старший сын писателя Петер.

К концу июля Дёблин – через Мадрид, Барселону и Лиссабон – добирается до атлантического побережья и покидает Европу.

В начале октября: переезд из Нью-Йорка в Голливуд, где Дёблин работает на голливудскую кинокомпанию MGM в качестве сотрудника сценарной группы.

1941

Январь: биографическая книга «Судьбоносное путешествие. Робинзон из Франции» (*Schicksalsreise. Robinson aus Frankreich*).

В Лос-Анжелесе: тесное общение с философом Л. Маркузе.

В октябре у Дёблина заканчивается контракт с MGM. Кинокомпания отказывается от возобновления деловых отношений; не помогают ни письменные обращения к дирекции MGM Томаса Манна, ни то обстоятельство, что два фильма («Random Harvest», реж. М. Ле Рой, и «Mrs. Miniver», реж. В. Вайлер, оба вышли в 1942 г.), над сценариями которых работал Дёблин, имеют кассовый успех. Материальное положение Дёблинов значительно ухудшается. Писатель и его жена с младшим сыном вынуждены жить за счет пособия для безработных, мизерной материальной поддержки со стороны Петера Дёблина и финансовой помощи еврейского банкира А. Росина.

30 ноября Альфред, Стефан и Эрна Дёблин на тайной церемонии принимают католическое крещение в одной из церквей Лос-Анжелеса. Сын Дёблина Петер в тот же день крестится по католическому обряду в Филадельфии.

1942-1944

Работа над религиозным трактатом «Бессмертный человек» (*Der Unsterbliche Mensch*, опубл. 1946) и окончание работы над романным циклом «Ноябрь 1918. Немецкая революция» (*November 1918. Eine deutsche Revolution*) в четырех томах: «Бюргеры и солдаты», «Народ, который предали», «Возвращение с фронтов», «Карл и Роза» (опубл. 1948-1950).

В августе 1943 г.: банкет в честь шестидесятипятилетия Дёблина, в котором принимают участие многие знаменитые немецкие культурэмигранты.

Младший брат Дёблина Курт вместе со своей семьей уничтожен в Освенциме.

1945

В апреле Дёблин получает телеграмму от сына Клауса, который участвовал во французском Сопротивлении и был членом еврейской антифашистской организации. Через несколько дней он узнает о смерти своего сына Вольфганга. Это известие вызывает у него тяжелейший душевный кризис.

Стефан Дёблин, которому исполнилось 18 лет, изъявляет желание вернуться в Европу и служить во французской армии.

В мае Дёблины возвращаются во Францию, а затем переезжают в Германию.

С 9 ноября Дёблин служит военным цензором в г. Баден-Баден. Особую неприязнь вызывают у него Г. Бенн и Э. Юнгер, чьи произведения он всеми возможными способами пытается не пропустить в печать. Дёблин вынужден ежемесячно прочитывать по 60-70 рукописей, из-за этого его зрение резко ухудшается.

Начало работы над последним романом – «Гамлет, или Долгая ночь подходит к концу» (*Hamlet, oder Die lange Nacht nimmt ein Ende*), посвященном памяти сына Вольфганга.

Последние годы (1946-1957)

В 1946 г.: создание литературного журнала «Золотые ворота» (*Das goldene Tor*), с которым сотрудничают многие видные литераторы того времени. В журнале Дёблин публикует свои поздние рассказы. В критических статьях рубрики «Ревизия литературных приговоров» Дёблин резко высказывается против Т. Манна, называет его «дегенератом от немецкой литературы» и тем провоцирует один из самых громких скандалов в послевоенной немецкой литературе.

В 1946 г. Дёблин пишет документальный репортаж о Нюрнбергском процессе. Репортаж выходит в виде брошюры с невероятным тиражом в 200 000 экземпляров (под псевдонимом Ганс Фиделер), но не имеет никакого спроса.

В 1949 г.: переезд в Майнц. Писатель становится соучредителем Майнцской академии науки и литературы.

4 марта 1950 г.: Дёблин читает доклад «Поэзия, ее природа и ее роль» *(Die Dichtung, ihre Natur und ihre Rolle*).

Политическая позиция Дёблина, который критикует культурную политику западногерманского правительства, приводит к конфликту с властями. Попытки сделать Майнц культурным центром послевоенной Германии терпят неудачу.

20 сентября 1952 г. Дёблин переносит инфаркт; до января 1953 г. он находится в больнице.

В апреле 1953 г. писатель случайно оказывается на празднике Христианско-демократической партии Германии и наблюдает, как «стройные колонны участников демонстрации под звуки марша из оперы "Аида" приветствуют Вилли Брандта». Эта сцена напоминает ему о нацистских демонстрациях, и он принимает решение немедленно уехать из Германии. 29 апреля Дёблин навсегда покидает родину. Брехт настойчиво убеждает Дёблина переехать в ГДР, но Дёблин с семьей отклоняет это предложение и возвращается во Францию. В том же году писателя снова выдвигают в качестве кандидата на получение Нобелевской премии по литературе.

В 1954 г. здоровье Дёблина резко ухудшается. С 1954 по 1957 г. Дёблин вынужден большую часть времени проводить в больницах и санаториях.

В 1956 г. в ГДР опубликован последний роман Дёблина «Гамлет, или Долгая ночь подходит к концу», для которого писатель безуспешно пытался найти издателя в течение 10 лет. Критики благосклонны к «Гамлету» и расценивают это произведение как квинтэссенцию всего творчества писателя. Успех романа у критиков и читателей воодушевляет Дёблина.

1957 г.: незавершенное автобиографическое эссе «О жизни и смерти, которых нет» (*Von Leben und Tod, da es beide nicht gibt*).

26 июня 1957 г., в полдень, Дёблин умирает.

28 июня 1957 г. его хоронят на деревенском кладбище в Усера во французских Вогезах, рядом с сыном Вольфгангом. Родственники Дёблина не публикуют официальных сообщений о смерти, чтобы не допустить на похороны немецких журналистов. Широкая общественность узнает о случившемся из американских газет через несколько дней после похорон.

15 сентября: жена Дёблина Эрна кончает жизнь самоубийством.

Альфред Дёблин
(Нина Павлова)

Альфред Дёблин (1878-1957) – один из крупнейших немецких писателей XX века. Его творчество не менее значительно, чем творчество Томаса Манна или Германа Гессе. Но русскому читателю это творчество по сути мало знакомо. На памяти у нашей читающей публики, пожалуй, лишь два его знаменитых романа: «Берлин Александерплац» (известность которого подкреплена фильмом Фассбиндера) и поздний «Гамлет или Долгая ночь подходит к концу». Между тем, романов он написал множество, среди них две трилогии, писал рассказы, пьесы, выпускал натурфилософские сочинения, был плодовитым эссеистом и театральным критиком. Его книги не только занимают большое пространство в немецкой литературе XX века – они осуществляют в ней особые возможности. Могучая эпичность Дёблина не имела аналогий, во всяком случае в первой половине века, представляя собой по художественной своей задаче противоположность высокому интеллектуализму Гессе или Т. Манна. И в прошлом Дёблину близки иные традиции. Для него, как и для его коллег-современников, важен опыт Жан-Поля, а отчасти и Гёте, но опыт этот воспринят иной своей стороной. Не Жан-Поль – «дух, необычайно легко и свободно играющий, живой тканью сопрягающий все противоположности[1]», а Жан-Поль, приверженный стихии вещественного; не Гёте – классик, а Гёте – естествоиспытатель, стремившийся обнаружить законы, связывающие воедино живую и неживую природу. В отличие от Гессе или Т. Манна Дёблин опирался на немецкое барокко, на «Симплициссимуса» Гриммельсгаузена, где Тридцатилетняя война, увиденная глазами ее современника, была представлена в ужасающей реальности, а в искусстве конца XIX века высоко ценил натурализм, не исчерпавший еще, по его мнению, своих возможностей.

Признаком подлинного эпического таланта Дёблин считал любовь к материалу, к материи жизни. Его опьяняло творчество

1 *Hesse H.* Jean Paul. – In: *Hesse H.* Gesammelte Werke: In 12 Bd. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1970, Bd. XII, S. 212.

«великого эпика» – природы, истории. Работая над романом «Валленштейн» (1920), он, как признавался потом, еле удерживался, чтобы не вставлять в текст целые страницы из хроник и географических описаний. Реальность – сотни лиц, сотни событий, многоголосый шум жизни, ее краски, запахи, формы, чересполосица малого и великого: от названия показывавшегося в 1928 году фильма, которое упоминается в романе «Берлин Александерплац», до космических сдвигов, запечатленных в утопическом романе «Горы, моря и гиганты» (1924), – придвинута в его книгах вплотную к читателю.

Интерес Дёблина к реальности демократичен: он не желал изгонять из своих книг ту повседневность, где существенны были «служебные неприятности или невозможность уйти в отпуск, а "идеи" обнаруживали свою сомнительность[1]». Духовность, интеллектуализм, изощренное мастерство своих современников-романистов Дёблин хотел заменить в собственных книгах жизнью. Рассуждения и рефлексия на страницах романов свидетельствовали, с его точки зрения, об отсутствии эпического дара, о неспособности автора к эпическому изображению[2]. Его не удовлетворял и «психологизирующий реализм», снимавший, по его мнению, слишком тонкий слой с реальности. Свой стиль Дёблин определял словом «густой» (*dicht*).

1

Альфред Дёблин родился в Штеттине, на северо-востоке Германии. Он рос в бедности и, когда отец оставил семью, должен был бросить школу, которую в конце концов закончил лишь через несколько лет, в Берлине. В 1905 году он получил диплом невропатолога и психиатра на медицинском факультете

---

1 *Döblin A.* Berlin und die Künstler (1922). – In: *Döblin A.* Die Vertreibung der Gespenster. Berlin: Riitten und Loening, 1968, S. 81-82.

2 Особенно подозрителен был Дёблину Томас Манн. В письме к А. Кутчеру (7 января 1947 г.) он говорит об «эпической слабости» манновских произведений, об эссеистичности, скрывающей неспособность изображать события.

Берлинского университета. В довоенные годы был практикующим врачом в бедных кварталах Берлина, а потом – военным врачом на полях Первой мировой войны. Медицина казалась ему более достойным занятием, чем литература. Но сам он, между тем, писал рассказы, объединенные в 1915 году в сборнике «Убийство одуванчика», и романы: «Борьба Вадцека с паровой турбиной» (опубл. 1918) и «Черный занавес» (опубл. 1919). Самым значительным среди ранних произведений Дёблина стал роман «Три прыжка Ван Луня» (опубл. 1916).

В «Трех прыжках Ван Луня» рассказывается об одном из многочисленных в Китае конца XVIII века религиозно-оппозиционных движений. Легко и уверенно, с всегдашней у него неистощимостью выдумки автор вводит читателя в незнакомый мир. Сын рыбака, бедняк и вор Ван Лунь становится проповедником, повторяя некоторые идеи древнего китайского философа Лао-цзы. Толпы бедняков стекаются к нему. Движение не преследует никаких практических целей. Соединившись вместе, оказывая помощь больным и бедным, отказываясь от любой наживы и от личного имущества, сторонники Ван Луня преданы одной идее – не сопротивляться! Ван Лунь призывает к «недеянию»: «Лягушка, как бы ни пыжилась, не проглотит аиста. [...] путь мира есть нечто жесткое, негибкое, не отклоняющееся в сторону. Если хотите бороться – что ж, поступайте, как знаете. Вы ничего не добьетесь [...]. Я хочу быть бедным, чтобы ничего не терять. [...] Не действовать; быть как прозрачная вода – слабым и уступчивым».

Этот роман, принесший автору первый заметный успех и премию имени Фонтане, в художественном отношении был попыткой передать столкновение двух сил, огромной массы объединившихся бедняков и наступавших на них правительственных войск, без посредничества автора, без описаний, без раскрытия внутреннего мира героев, без разрушения поверхности жизни, на которой происходила борьба. Это был нечастый в тогдашней литературе опыт максимального приближения к эпосу в его первозданном виде, эпосу, суть которого – действия героя, испытывающего давление внешних препятствий.

На протяжении более чем четырехсот страниц, лишенных интриги и лишь представляющих «картины действительности»,

писатель держит читателя в напряжении столкновением противоборствующих сил: «В горах Чжили, на равнинах, под многотерпеливым небом обитали те, против кого снаряжалась, готовя свои доспехи и стрелы, армия императора Цяньлуна». Стрелы еще не выпущены, доспехи еще не надеты, но уже этой первой фразой романа читатель введен в напряжение непрекращающегося взаимоборства. Порой оно показано нам на близком расстоянии: враги «вгрызаются» друг в друга, и тогда эти сцены, как впоследствии сцены из романа «Валленштейн», напоминают гриммельсгаузеновского «Симплициссимуса» и литературу немецкого барокко, в которых телесное показывалось в такой неоспоримой наглядности и весомости, что, казалось, содержало в себе какой-то важный, всеобщий и высший смысл. Порой события поданы с дальней дистанции, как общий план, – и тогда мы видим, как снимаются с места, стекаются, сливаются в одно целое сотни людей, против которых стоят наготове войска императора.

Мир романов Дёблина – это всегда широкое поле, необъятное пространство. Вплоть до «Гамлета», где горизонт сужается, автора занимает, как судьба задевает всех. Его мир населен тысячью лиц, представляет ли он Гѐрманию XVII века, Китай XVIII-го или Берлин 1928 года. Дёблин хочет дойти до предела – показать действительность во всех разновидностях каждого ее явления. В «Трех прыжках Ван Луня», применяя экспрессионистский способ нанизывания и перечисления (один из вариантов разработанной в романе «Берлин Александерплац» техники монтажа), он упоминает среди примкнувших к Ван Луню и убийцу, и подруг его жертвы, и благополучных отцов семейств, и добропорядочных служащих, охваченных неутолимой жаждой изменения. Перед нами тысячи снявшихся с места людей – всеобщее бегство, начало исторического сдвига, кризис эпохи.

В современной автору критике «Ван Лунь» был оценен как роман о непротивлении[1]. Но для Дёблина эта проблема имела и общий, космический отсвет. Характерная для его творчества

1 *Minder R.* Alfred Döblin. – In: Deutsche Literatur im 20. Jahrhundert. Gestalten und Strukturen / Hrsg. von H. Friedmann und Otto Mann, Heidelberg: Rothe Verlag, 1961, Bd. II, S. 147.

трагическая коллизия состояла в том, что человек не только противостоял действительности – он был включен в эту действительность. Лишь с известной долей неточности мы говорили выше о противостоянии человека и мира: против действительности, природы, космоса сражался тот, кто сам был подчинен ее общим законам.

Среди книг Дёблина роман «Три прыжка Ван Луня» наиболее виталистичен. Десятками уподоблений (Ван Лунь сравнивается, например, с выгнувшим спину зверем), а также тем, что он показывает неразумность, иррациональность своих героев, внезапность их решений и душевных порывов, Дёблин подчеркивает включенность людей в природное целое. Человек изображен не размышляющим, а по преимуществу действующим. В романе мало разговоров, а сказанное часто передается в форме косвенной речи, как когда-то произнесенное, но оторвавшееся от человека, ставшее частью жизни, «цитатой». Скупые диалоги часто лишены обычных «сказал», «ответил» – они присутствуют как объективно развивающаяся реальность. Поток действительности несет человека: «Его злило, что он утратил волю, не может решиться ни на что, а только бродит без цели. Он чувствовал себя так, как когда купался на дальней отмели Хуньганцуни в момент начала отлива: только что его вынесли на берег сильные волны, и вот они уже тащат его, слегка покачивая, назад по песку». Роман вырос на почве экспрессионизма: действуя согласно экспрессионистической эстетике, автор выводит внутреннее наружу, материализует душевное состояние в жесте, в движении, в одежде, в обстановке (дымящаяся штанина возмущенного Вана во время разговора с бродягами). Отказавшись от «фантасмагории психологизирующего реализма», «сломав гегемонию автора» (тезисы его так называемой «Берлинской программы», 1913[1]) и тем отбросив попытки проникнуть вглубь, к истокам человеческих чувств, писатель представил простейшие реакции человека, выливающиеся в действия, порывы десятков и сотен людей.

1 *Döblin A.* Berliner Programm. – In: *Döblin A.* Aufsätze zur Literatur. Olten; Freiburg im Breisgau: Walter-Verlag, 1963, S. 16, 18.

Главным героем романа «Три прыжка Вана Луня» является не только лицо, давшее ему название, не только друг и антагонист Вана – Ма Ноу (оба представляют разные варианты идеи непротивления), но и масса, некое органическое единство, почти что природное образование, плазма, растекающаяся повсюду: «Возбужденные люди собирались в группы, которые распадались и вновь образовывались».

Острее и раньше других немецких романистов («Ван Лунь» писался в 1912-1913 годах) Дёблин осознал значение масс – движущей силы современной истории, как и вообще удельный вес массы в современном мире («Для эпоса непригодны отдельные лица с их так называемыми судьбами», – писал он[1]). Многие годы спустя, в приветствии по поводу 60-летнего юбилея писателя, Б. Брехт отмечал «новаторское значение» выработанной Дёблином «в этой области писательской техники», без изучения которой вряд ли может обойтись тот, кто «посвятил себя описанию больших массовых движений[2]». Эта техника много раз применялась впоследствии самим Дёблином – вплоть до его грандиозной тетралогии о революции в Германии «Ноябрь 1918. Немецкая революция» (1939).

Однако присутствие масс в романах Дёблина имело и другой смысл. Масса, скопление людей, нагляднее, чем отдельная судьба, демонстрировала для писателя подвластность человека общим законам природы. Масса – сообщество, объединенное одной идеей или единым устремлением, – существовала для Дёблина по тем самым физическим законам резонанса (отклика, звучащего в унисон), который действует не только в неорганическом мире, но и в живой природе, являясь основой объединения животных, насекомых, растений по общности потребностей, положения, «интересов». Разительно отличаясь в этом смысле от большинства современных ему немецких писателей, Дёблин был

---

1 Цит. по кн.: *Soergel A.* Dichtung und Dichter der Zeit. – In: Im Banne des Expressionismus. Leipzig: Voigtiander Verlag, 1926, S. 875.

2 Цит. по кн.: *Döblin A.* Die Vertreibung der Gespenster, S. 544.

заворожен количеством. Его привлекали групповые соединения, комья, глыбы действительности (такой же отзывчивостью на «количество», масштаб, размер среди романистов XX века отличались американцы Томас Вульф и Уильям Фолкнер). Дёблиновские герои (не только в упоминавшемся уже утопическом романе «Горы, моря и гиганты») – часто почти великаны (таков Ван Лунь), большие, тяжелые, заметные в окружающей среде. Их сопоставимость с миром подчеркнута размером. Каждый из них должен быть заметным и в космическом круговращении.

Разные состояния массы – взволнованность или спокойствие, движение или остановка, натиск или расслабление – перемежаются в «Ван Луне» как вдох и выдох, как смена дня и ночи, как неизменный круговорот года. Именно это создает музыку книги, ее ритм, основанный, как и в самой природе, на законах соответствия и симметрии, на чередовании противоположностей. «Мы включены, – писал Дёблин в 1933 году в своей философской книге “Наше бытие”, – в течение всей нашей жизни в гораздо более стабильный порядок, чем это рисуется нашим воображением[1]». Человек работает, думает, любит, строит планы, надеется. А параллельно, лишь иногда властно напоминая о себе, идет деятельность желез внутренней секреции, распад, старение – одинаковые и неотвратимые у всех людей. «От земли ты взят – в землю возвратишься», – лейтмотивом звучит на страницах «Берлин Александерплац». Но суть дела заключалась для Дёблина не столько в трагической краткости всякого пребывания на земле (хотя он яростно опровергал Гёте, утверждавшего, что человек умирает тогда, когда исчерпаны его творческие возможности). Важнее для этого писателя была сама – успокоительная и драматичная – включенность человека в целое. Чувство включенности в общую цепь и вместе с тем трения между «я» и миром было у Дёблина настолько острым, что как нечто чужеродное по отношению к «я» он ощущал даже само человеческое тело – то, что могло болеть, причинять «мне» страдания. Соотношение

1 *Döblin A.* Unser Dasein. Olten; Freiburg im Breisgau: Walter-Verlag, 1964, S. 113.

внутреннего и внешнего, бесконечное трение внутреннего «я» о шершавую поверхность мира оставалось, существенно изменяясь, главной художественной коллизией в творчестве писателя. Исходной точкой была все та же завороженность материей, материальной поверхностью жизни. И в экспрессионизме Дёблину была близка мистифицировавшаяся предметность – «натурализм» экспрессионизма. Сам материал казался важнейшим для содержания и формы нового искусства.

Дёблин написал роман о широком антиправительственном народном движении, которое противопоставило насилию императора идею непротивления. В Германии накануне Первой мировой войны роман звучал предостережением против грядущего насилия и взаимоуничтожения народов. Но альтернатива насилие-непротивление, как было сказано, включалась для Дёблина и в более широкий контекст. «Поистине слабые» должны были растечься по стране, раствориться, уничтожиться как организованное целое. Предлагался рецепт существования, подобный тому, которому следовали участники таинственного путешествия в страну Востока у Г. Гессе («Паломничество в страну Востока», 1932). Однако действительность у Дёблина не принимала «поистине слабых». Его вселенная, жизнь, космос, «Дао» не были, как у Гессе, необъятным целым, способным охватить любые противоречия. Его «Дао», «путь мира», было «жестким, негибким, не отклоняющимся в сторону» (конец первой книги «Трех прыжков Ван Луня»). Растворение нарушало вечный закон живого существования – закон столкновения противосил. Интерес, с которым читается роман «Три прыжка Ван Луня» – отвлеченно-философское произведение на тему из старокитайской истории, – обусловлен именно тем напряжением, с которым хочет осуществиться и раз за разом терпит поражение попытка людей, включенных в природу, слиться с ней до конца.

В «Трех прыжках Ван Луня» Дёблин стремился к почти аскетической объективности. Он хотел показать процессы всемирного трения в обнаженном виде – без рефлексирующего анализа, без взгляда со стороны, без прослойки духа. «Содержание эпического произведения, – полагал он в то время, – это обезду-

шенная реальность[1]». Человек существовал в романе для единоборства с действительностью. Пережить эту действительность и это единоборство должен был не герой и не автор-рассказчик – пережить ее предстояло читателю.

В «Трех прыжках Ван Луня», как и в других ранних произведениях Дёблина (романах «Борьба Вадцека с паровой турбиной»; «Валленштейн»; «Горы, моря и гиганты»), перевес сил – на стороне внешнего, на стороне действительности. Художественно это выразилось в полной включенности в нее человека. Провозгласив высокую идею непротивления и самопожертвования, герои романа, за исключением нескольких эпизодических персонажей, не были сами этой идеей возвышены. Желая оградить своих сторонников от соблазна сопротивления в момент, когда город уже окружен императорскими войсками, Ван Лун с жестокостью одержимого выливает яд в питьевую воду. В муках гибнут сотни людей.

Произведение Дёблина должно было, по замыслу автора, остаться хроникой, незаинтересованным сообщением (*Bericht*), представляющим, а не описывающим и не истолковывающим действительность. Книга будто не хотела становиться романом с его концептуальностью и «лирикой». Дёблин твердо противостоял Гёте, определившему жанр романа как «лирическую эпопею», а вместе с тем и многим писателям-современникам[2].

Но если не героям, то читателю дано было ощутить в «Трех прыжках Ван Луня» тайную лирику. Говорили сама организация материала, выверенная конструкция книги, главный закон ее построения – череда ударов человека о глыбу жизни. Форма содержала в себе ту философию, боль, духовность, которые были изгнаны из романной действительности.

---

1 *Döblin A.* Berliner Programm, S. 17. – In: *Döblin A.* Aufsätze zur Literatur, S. 17.

2 Эта позиция сохранилась у Дёблина до конца его жизни: он всегда был противником «субъективизма» в романе (см. письмо А. Кучеру от 7 января 1947 г.).

2

«Город Берлин расположен на 52°31' северной широты и 13°25' восточной долготы, 20 вокзалов для поездов дальнего следования, 121 вокзал для пригородного сообщения, 27 станций окружной железной дороги, 14 – городской железной дороги, 7 сортировочных станций, трамвайное сообщение, автобусы, надземная и подземная железная дорога». На читателя романа Дёблина «Берлин Александерплац» (1929) обрушивается лавина сведений о жизни Берлина в неспокойном 1928 году. На страницах романа мелькают названия фильмов («Без родителей. Судьба одной сироты в 6 действиях») и рекламные объявления («Диодил – лучшее средство при атеросклерозе»), выдержки из речи рейхсканцлера Маркса и неофициальная интерпретация его идей («Германское государство – республика; и кто этому не верит, получит в морду»). Ломают большой универмаг, что на углу Александерплаца (в просторечии – Алекс); разные партии проводят свои митинги; кто-то, забредший на вокзал, удивляется: «Откуда у людей столько денег на разъезды?»; бегут трамваи по маршрутам № 41, № 99 и № 129 – шумит большой город Берлин.

Шум жизни оглушает. Отдельные голоса перебивают друг друга, будто кто-то крутит ручку радиоприемника. В информацию о политическом положении в стране врываются спортивные новости, а еще один голос твердит свое о погоде. Роман Дёблина с первой же фразы погружает читателя в ту гущу городской – бытовой, социальной, общей, обыденной – действительности, которая присутствует у Гессе и Томаса Манна в «снятом», просветленном, поднятом до уровня философских проблем виде. По сравнению с книгами Гессе и Т. Манна «Берлин Александерплац» производит то самое впечатление, которое получал его автор, возвращаясь в столицу после жизни на лоне природы: «Меня будто ударяло током, когда на вокзале я видел вокруг дома́, садился в трамвай, входил в магазин. Людской поток на Клеберплац, сотни лиц, сотни занятий, столбы, облепленные афишами, чистильщики сапог, воззвания властей, прямые, как стрела, кварталы вновь отстроенных улиц, торжественное и

деловое здание почтамта – это была моя стихия. Я ничего не понимаю в математике и машинах, но меня возбуждает шум динамомашины в подвале, мимо которого я прохожу... Он действует как оклик, я вновь ощущаю прилив сил[1]».

Но важны и другие отличия творчества Дёблина, а также близких ему в разных отношениях писателей (Джойса, Дос Пассоса, из соотечественников – Брехта, Э. Кестнера, Г. Кестена) от того типа творчества, который представлен Т. Манном и Г. Гессе. Ведь и у Т. Манна поражает завлекающая, тщательно выписанная предметность. Способность и этого автора к описанию вещей – как простых, так и наисложнейших, близких и весьма отдаленных – не знает пределов. Бесспорно и неизменное пристрастие Томаса Манна к безбрежности эпоса, так убедительно проявившее себя в тетралогии «Иосиф и его братья».

С другой стороны, и романы Дёблина вряд ли могут, да и хотели бы обмануть нас простой имитацией жизни; на самом деле они не менее интеллектуальны и философичны, чем романы Гессе и Томаса Манна. В способах растворять в объективном повествовании «тайную лирику, переодетую философию» (Г. Гессе) Дёблин как раз совпадал и с Гессе, и с Томасом Манном. Важно заметить, однако, и их расхождения.

Отличие начинается уже с малого – с иного характера самой предметности в романах Дёблина.

Очень зримо, со всеми подробностями описал Т. Манн в «Волшебной горе» ренессансное кресло, обитое плюшем, в котором расположился в ожидании Клавдии Шоша Ганс Касторп. Такого кресла «с высокой прямой спинкой и без ручек», или другого, но столь же подробно описанного, не найти в романах Альфреда Дёблина. В его наполненных бурлящей реальностью книгах (исключение представляет последний роман Дёблина «Гамлет») кресло будет или вовсе не замечено, или, в лучшем случае, опробовано на вес – как некий груз, как масса. В «Берлин Александерплац» к креслу будет привязан старик-сторож

1 *Döblin A.* Berlin und die Künstler // *Döblin A.* Die Vertreibung der Gespenster. S. 81-82.

в ограбленной конторе, и этим же креслом, поднявшись на ноги, он попытается выломать заваленную грабителями дверь. Больше того, у Дёблина не описан Берлин, который с такой реальностью встает перед нами в его знаменитом романе. Мы узнаем о количестве вокзалов, но не об их особенностях. Не замечаем общего колорита города. Едем с героем в тесноте надземки, как и он, смотрим в окно, но не видим открывающейся панорамы.

Нет ничего более противоположного манере Дёблина, чем описание. В его романах ничто не описано, не осмотрено чьим-то внимательным взглядом, как то ренессансное кресло в «Волшебной горе». «Описывать – неверное выражение», – бросает он тотчас по поводу собственной фразы о войне, «описанной» в «Валленштейне»[1]. «В романе, – гласит его формула, – надо наслаивать, скапливать, перекатывать, толкать» (*schichten, haufen, walzen, schieben*)[2].

В творчестве этого писателя все показано в беспрестанном взаимодействии, столкновении, накоплении сил, трении. На полях сражений Тридцатилетней войны бьются и уничтожают друг друга народы (роман «Валленштейн»). В утопическом романе «Горы, моря и гиганты» навстречу людям, сумевшим растопить лед Гренландии, движется огромная масса: ожили тысячи погребенных подо льдом древних организмов; раздавленные, разорванные члены срастаются в чудовищном смешении – круглые существа скатываются с гор в долину, вбирая в себя все, что встречается на пути.

В центре внимания Дёблина то, что оставалось за пределами романов Томаса Манна и Гессе, – картина непосредственного столкновения. Это и определяет композицию его романов. Главное в ней – не воспитание и развитие, не плавная восходящая кривая, а серия схваток, наскоков, прерывистая, рвущаяся

---

1 *Döblin A.* Entstehung und Sinn meines Buches «Wallenstein». – In: *Döblin A.* Wallenstein. Berlin: Rütten; Loening, 1970, S. 839.

2 *Döblin A.* Bemerkungen zum Roman (1917) // *Döblin A.* Die Vertreibung der Gespenster, S. 447.

линия. Именно этот смысл имеет название романа «Три прыжка Ван Луня» – три попытки героя разными способами сладить с действительностью. Три раза поднимается поверженный Франц Биберкопф, и все в сюжете будто начинается сначала: герой обзаводится новой любовью, снова выбирает себе занятие и утверждается в новом роде активности.

Важнейшим отличием романов Альфреда Дёблина является не обилие в них конкретных примет действительности (их лавина поражает лишь в «Берлин Александерплац»). Важнейшим является иной принцип изображения: человек и мир познаются через характер их реакций друг на друга.

В немецкую литературу Дёблин вошел как художник, воссоздавший облик современного города. Но его новаторство отнюдь не в теме (изображению города были посвящены, например, и страницы многих произведений натуралиста Макса Кретцера). Новаторство – в способах изображения.

Город Берлин не описан у Дёблина: он живет и действует – существует в его романе.

«Он стоял за воротами тюрьмы Тегель и был свободен. Вчера еще он копал картошку там, сзади, на поле вместе с другими, в арестантском платье, а теперь он в летнем желтом пальто; они там позади копали, а он был свободен. Он пропускал трамвай за трамваем, прислонясь спиной к красной ограде, и не уходил. Караульный у ворот несколько раз прошел мимо него... а он все не двигался с места. Страшная минута пришла (страшная, Франц? Почему страшная?), четыре года кончились. Черные железные створы ворот, на которые он поглядывал вот уже целый год с возрастающей неприязнью (неприязнью? Почему неприязнью?), захлопнулись за ним. Его снова выставили вон. Там, внутри, сидели остальные, столярничали, что-то лакировали, сортировали, клеили... Кому оставалось еще два года, кому пять. Он стоял на остановке. Наказание начинается». Таков первый абзац романа «Берлин Александерплац» о бывшем цементщике и транспортном рабочем Франце Биберкопфе, отсидевшем свой срок за нечаянное убийство, а теперь во что бы то ни стало желающем стать порядочным. Можно прочесть этот абзац,

так сказать, психологически – с пониманием и сочувствием к человеку, отвыкшему от свободы и страшащемуся новой жизни. Но тот же маленький кусок текста несет в себе и «информацию» о характере художественного мира, в котором оказался читатель. Привыкнув к законам этого мира, уже нельзя будет уйти от впечатления, что автор поведал нам сразу, с энергичной краткостью, о столкновении двух сил. Одна – человек, только что вышедший из тюрьмы. Но что прижало его спиной к красной кирпичной стене? Что держит его у ворот, несмотря на повторяющиеся самоувещевания «свободен, свободен»? С первых же строк ощутим напор действительности на человека. Еще не описанный, неведомый читателю Берлин уже присутствует в повествовании как сила, перед которой – лицом к лицу с ней – замер герой.

Потом в горячечном воображении оглушенного городом Франца крыши будут соскальзывать с пошатнувшихся зданий, улицы предстанут как бесконечная непроницаемая стена, окружившая человека. Но и в дальнейшем, когда Биберкопф утвердится в своей новой позиции, автор найдет десятки, может быть, менее очевидных, но зато разнообразных способов, чтобы продемонстрировать экспансию города в сознании человека.

Однако и добродушный Биберкопф оказывается не всегда безобидным.

Роман «Берлин Александерплац» часто истолковывался как книга о добром человеке, который меняется под неумолимым давлением обстоятельств. «И пока у него были деньги, он оставался порядочным. Но потом деньги у него кончились», – так писал А. Дёблин о своем герое. Роман, в самом деле, вобрал в себя широкий слой социальной действительности, в том числе и весьма характерную для тогдашней политической ситуации способность среднего человека меняться под давлением обстоятельств. В каком-то существенном смысле Франц Биберкопф и был тем добрым, но слабым человеком, тем «чистым листом», на котором история могла начертать любые письмена. Его участие в грабительских рейдах шайки Пумса-Рейнгольда, о котором мы узнаем позже, как и вся отраженная в романе атмосфера

укоренившейся преступности, несомненно, были предвестиями назревавшей в Германии политической катастрофы.

Однако Дёблину интересен не только политический аспект этой проблемы. Как у всякого большого художника, у него есть некий постоянный угол зрения, некая исходная ситуация, в которых запечатлелось характерное для него мировосприятие. Человек в представлении Дёблина всегда противостоит действительности. Биберкопф в качестве последовательно доброго или слабого человека, Биберкопф в роли брехтовкого Гэли Гэя (пьеса «Что тот солдат, что этот», 1926), послушно превращающегося на наших глазах из безответного бедняка в жестокого солдата колониальных войск и так повторяющего общий изгиб действительности, не привлек бы внимания Дёблина. Его герой периодически наливается силой. Он вновь и вновь бросается в атаку на жизнь, на устроенный по непонятным законам мир, на Берлин.

Мы ничего не знаем о внешности возлюбленной Франца Мицци, но сразу узнаем о ее мягких руках, о том, как нежно и ласково она прижималась к Францу. Мицци в романе – воплощение мягкости и любви. Она свободна от мук «трения» и даже способна позволить подруге Еве завести ребенка от своего Франца. Мицци будто сошла из рая, где люди и звери живут в полном согласии, «где никто не мучит другого», – рая, ироническое отношение к которому как к некоей немыслимости проходит лейтмотивом по всей книге. Только к концу романа, когда Мицци уже зверски убита дружком Франца Рейнгольдом, мы читаем в полицейском отчете, что одета она была в тот день в черную юбку и розовую блузку. Это сообщение поражает читателя как нечто подсмотренное со стороны, чужим глазом, как нарушение нашего интимного контакта с героиней, как сказанное о той, которую мы узнавали в живой трепетности поступков.

Герой Т. Манна – «рассказанный человек»[1]. О Рейнгольде, роковом друге Франца, нам не рассказано ничего. Лишь один раз мелькает его старая шинель, и по этой детали можно догадаться, что в формировании судьбы Рейнгольда главную роль сыграл не твердый уклад родительского дома, не строгий, одетый в черное

1 *Манн Т.* Собр. соч., т. 9, с. 386.

дед-сенатор, а война, вытолкнувшая его в деклассированные низы и сделавшая преступником. Мы не знаем внешнего облика Рейнгольда, мы видим только его слабые, волочащиеся, как у больного, ноги, а в сцене ночного грабежа вдруг чувствуем, как его стальная рука мертвой хваткой вцепляется в плечо Франца. Качества палача и жертвы в их конкретном, наглядном, действенном проявлении (слабые ноги, стальная рука) – все это перемешано в Рейнгольде, личности, вобравшей в себя черты времени. Писателя занимает прежде всего характер «сцепления» героя с миром. Не случайно и Франц, сброшенный Рейнгольдом под грузовик, теряет в этом своем первом поражении именно руку – слабеет его способность к борьбе и отпору. «У нас есть ноги, у нас есть зубы, у нас есть глаза, у нас есть руки, пусть-ка кто-нибудь сунется нас укусить... У нас нет ног, ах, у нас нет зубов, у нас нет глаз, у нас нет рук, всякий может сунуться, кому не лень...», – так говорится в романе.

Сама поза и жест у Дёблина материализуют степень внедрения героя в мир, запечатленный момент их соприкосновения, единоборства. «Вот он, довольный, стоит, широко расставив ноги, на берлинской земле, и если он говорит, что хочет быть порядочным, мы можем ему поверить, что он будет таким» – так стоит «утвердившийся» Франц Биберкопф. Но в предыдущей, первой, части романа все выглядело по-другому: «Наш герой стоял в вестибюле чужого дома и не слышал ужасного шума улицы, и не было перед ним обезумевших домов. Выпятив губы и стиснув в карманах кулаки, он хрюкал и подбадривал себя. Его плечи в желтом летнем пальто были приподняты, словно для защиты».

«Мир сделан из железа, с ним нельзя сладить, он надвигается, как огромный каток» – читаем мы в «Берлин Александерплац». Но жизнь человека, по концепции Дёблина, есть «бесконечное прорубание штольни» в этом неумолимо надвигающемся массиве.

3

«Берлин Александерплац», самая знаменитая книга Дёблина, дала критике основания для сопоставления дёблиновского творчества с рядом явлений мировой культуры двадцатых годов.

Этот роман постоянно сравнивали с «Улиссом» Джойса (1922, немецкий перевод 1927) и с «Манхеттеном» Дос Пассоса (1925, переведен в 1927-м). Писали и о близости «Берлин Александерплац» искусству так называемой «новой деловитости», характерному порождению немецкой действительности этого десятилетия.

Следует, однако, отметить не только зависимость дёблиновского типа романа от перечисленных выше образцов, но и его своеобразие: свойственное ему иное пространство художественного мира.

Несомненное соответствие с творчеством Дос Пассоса, Брехта и другими художественными явлениями, типичными для двадцатых годов, обнаруживается в напряженном внимании к тем процессам непрестанного трения, которыми связаны человек и действительность.

В воображении Дёблина, как живая картина, стояла грандиозная механика мироздания, подчиненного законам симметрии, периодичности, сохранения энергии и т.д. Многим его художественным произведениям предшествовали философские эссе и книги, писавшиеся ради решения последних вопросов, ради уяснения собственной концепции бытия. В 1927 году Дёблин опубликовал фантастическую «эпическую поэму» «Манас», написанную по мотивам восточного фольклора. Ей предшествовала философская работа «Я над природой», вызревавшая в течение первых послевоенных лет. Роман «Берлин Александерплац» также был воплощением, а отчасти и преодолением идей философской книги Дёблина «Наше бытие», опубликованной лишь в 1933 году. Дёблина как автора философских книг гипнотизировала масштабность единых для всего сущего процессов. Практикующий врач Дёблин пытался смотреть на природу с позиций натуралиста. Если для Томаса Манна дух был прерогативой человека, а человек – центром Вселенной, то Дёблин посвятил книгу «Наше бытие» обзору человеческого, животного, растительного, органического и неорганического миров, чтобы патетически восславить их единообразие. Расширяя понятия «поступок» и «действие» до таких пределов, чтобы они охватывали и физиологические процессы в организме, Дёблин объединял людей,

животных, растения, вообще органическую природу на основании того, что всем им присущи одинаковые процессы обмена веществ, роста, распада. Но его страсть ко всеохватывающей системности этим не исчерпывалась: особый пафос Дёблин вкладывает в описание роста кристаллов, протекающего по тем же законам симметрии, что определяют строение человеческого организма. «Человек как минерал» названа одна из глав «Нашего бытия». Томас Манн видел мир в четких разграничениях и, в отличие от своего персонажа композитора Леверкюна, не был склонен уравнивать неодинаковое. Дёблин, напротив, со страстью включал органическое в систему неорганической природы, видел общее – «торжество числа» – в движении небесных светил, расположении жилок на древесном листе, симметрии человеческого тела.

Натурфилософские работы Дёблина не имели научного значения хотя бы потому, что проповедовали давно известное и при этом – в духе вульгарного материализма («Бернары!» – мог бы воскликнуть Митя Карамазов). Однако они обладают колоссальной значимостью как документы, выражающие муку художника, который до известного момента, до начала работы над «Гамлетом», полагал, будто человек наглухо заперт в механизме космоса. В разные годы в своих работах Дёблин подчеркивал то одухотворенность мира – и тогда человеческое «я» оказывалось связанным со сверхчувственным «я» природы (эссе «Я над природой»), – то его мертвенную механистичность. Но свобода личности в обоих случаях могла быть только мнимой: по убеждению Дёблина, лелеющий свою независимость человек пронизан токами изменяющей его действительности[1].

Роман «Берлин Александерплац» подтверждает (на разных уровнях) интерес Дёблина к трению материальных поверхностей жизни, ко взаимному сцеплению отдельных ее

1 Натурфилософские книги Дёблина соприкасаются с экзистенциализмом, переосмысляющим мир с позиций личности. Сам Дёблин осознал эту связь в тридцатые годы, в пору своего увлечения Кьеркегором, который сыграл огромную роль в формировании различных экзистенциалистских концепций XX века.

элементов, к тем самым процессам сочленения, зажима и внедрения, о которых писали в 20-х годах теоретики конструктивистской архитектуры.

Именно как столкновение предметов изображено в романе убийство Иды: сильным двукратным ударом Франц «привел в соприкосновение» с грудной клеткой своей подруги венчик для сбивания сливок. То, что произошло дальше, тоже показано через геометрические образы и физические формулы: тело Иды «приобретает горизонтальное положение», ее ребра ломаются «согласно законам упругости, а также действия и противодействия», и т. д. и т. п. Человек рассмотрен как физическое тело, включен в механику всеобщего круговращения. (Любопытно вспомнить в этой связи аналогичный пример из «Улисса» Джойса, когда Блум, лежа в постели, рассказывает Марион о прошедшем дне: «В каком направлении лежали слушательница и рассказчик? Слушательница на восток – юго-восток; рассказчик на запад – северо-запад, на 53 градусе северной широты и 6 градусе западной долготы; под углом в 45° к земному экватору. В каком состоянии – покоя или движения? В состоянии покоя относительно себя и друг друга. В состоянии движения, поскольку обоих уносило к западу непрерывающимся движением Земли»).

Подобно близким ему романистам-современникам (Э. Кестнеру, Г. Кестену, Дос Пассосу), Дёблин строил сюжет «Берлин Александерплац» как множество лишь однажды соприкасающихся, а затем обрывающихся линий. В романах немецкой «новой деловитости», как и в «42-й параллели» или «Манхеттене» Дос Пассоса, появлялись десятки персонажей – и тут же бесследно исчезали. Человек рассматривался как отдельный кирпич, как строительный блок в огромном здании целого. Он был носителем не столько индивидуальных, сколько общих характеристик. Прослеживать дальше его судьбу (или хотя бы упомянуть где-то вновь, намекнув на неслучайность его присутствия в романе и в жизни) не имело смысла, так как ничья индивидуальная судьба не несла в себе влияющего на жизнь содержания.

Как и многие писатели двадцатых годов, Дёблин скептически смотрел на возможности человека – «части и противочасти

мира»[1]. «Нельзя требовать от человека слишком многого!» – назвал он одну из глав «Нашего бытия». «Тот, кто потребует от человека слишком многого, – варьировал ту же мысль Герман Кестен, – придет либо к разочарованию, либо к насилию»[2]. По существу, не менее скептичен был в этом отношении и Бертольт Брехт. В рядах немецкой революционной литературы, с которой он все теснее сближался к концу двадцатых годов, не существовало другого писателя, который столь же придирчиво относился бы к духовной высоте и доброте человека («Такие люди есть, но их не так много», – будет сказано потом в его пьесе о стойком пролетарии и бунтаре Матти). Отличаясь от Дёблина верой в возможность изменения жизненных обстоятельств революционным пролетариатом, Брехт не слишком верил в возможности отдельного человека.

Несмотря на стремительные взлеты и падения в судьбах персонажей писателей двадцатых годов (материальный успех и внезапное разорение, любовь, человеческая близость и обязательно следующий за ней разрыв), скачки сюжета в конечном счете выравнивались в прямую линию, столь любимую архитекторами-конструктивистами[3]. Благородство и доброта на редкость бессильны, всякое высокое чувство тотчас снижается его практической бесполезностью... Эта литература – а вместе с ней, несомненно, и Дёблин – была сосредоточена не на процессе развития, приводящем к новому качеству. Процесс казался неизменным, обозримым и вечным: он сводился к бесконечному трению. Вдуматься следовало не в сцепление причин и следствий, а в толщу и сутолоку одновременных событий, их рядоположенность (*Nebeneinander*).

Не менее существенны, однако, и различия.

---

1 *Döblin A.* Unser Dasein. S. 30.

2 *Kesten H.* Der Scharlatan. Roman. Wien, München, Basel: K. Desch Verlag, 1965, S. 182.

3 «В современном городе должна господствовать прямая линия... Прямая линия оздоровляет город», – писал Ле Корбюзье (*Ле Корбюзье.* Архитектура XX века. М.: Прогресс, 1978, с. 29).

Если бы роман «Берлин Александерплац» был выстроен автором на одной лишь горизонтальной плоскости, если бы, нарушая классические каноны, этот роман показывал бы, подобно многим характерным произведениям двадцатых годов, лишь втянутость человека в тысячи внешних материальных зависимостей, он в принципе не отличался бы от замечательного посвоему образца литературы подобного рода, уже упоминавшегося нами в связи с творчеством Дёблина: «Манхеттена» Дос Пассоса. Излюбленная Дёблином «симультанность»[1] предстала бы тогда лишь во внешнем ее проявлении – как одновременность не связанных между собой существований. Таких примеров действительно можно найти в дёблиновском романе сколько угодно.

Но существо расхождений Дёблина с «новой деловитостью» и родственными ей явлениями в мировом искусстве двадцатых годов как раз и состоит в том, что «Берлин Александерплац» отнюдь не сосредоточен лишь на ситуации времени, замкнувшей в себе человека. Дёблин будто ведет с читателем двойную (а может, и тройную) игру. В книге присутствуют все приметы распространенного в двадцатых годах мироощущения с его безысходностью и цинизмом, отразившимися в горькой сатире рисунков Отто Дикса и Георга Гросса, в песенках Вальтера Меринга, в стихах и прозе Кестнера. Но в нем есть и насмешка над ограниченностью подобного восприятия жизни.

На каком-то уровне повествования Дёблин, как и многие авторы «новой деловитости», представил читателю мир в момент, о котором еще не успело сложиться суждение. «За сейчас следует новое сейчас», – писал он в цитировавшейся выше философской книге[2], будто обосновывая жизнью, какой она ему представлялась, одно из главных своих требований к современному эпическому роману: роман не есть повествование о прошлом, как часто считают, его эстетический смысл – не в упорядочивающем обзоре уже отошедших в небытие событий;

1 Сам Дёблин видел истоки этой техники в экспрессионизме.

2 *Döblin A.* Unser Dasein. S.216.

действие романа, даже относящегося к прошлому, всегда разыгрывается перед читателем в настоящем[1]. «За сейчас следует новое сейчас...»

Однако миг текущего времени, «сейчас», наполнен у Дёблина, в отличие от многих авторов «новой деловитости», огромным напряжением: именно здесь происходит реализация всех скрытых в действительности энергий, здесь сталкиваются, вызывая вспышки и взрывы, разнозаряженные полюса жизни. Ни рассказ о прошлом, ни предчувствие будущего не сравнимы с этим моментом по интенсивности. Для Дёблина они – лишь слабый отблеск того, что каждый человек чувствует сию минуту.

В романах писателя прошлое и будущее так или иначе втянуты в настоящее. С плеч полководца Тилли в экспрессионистическом эпосе «Валленштейн» свисают, цепляясь за воротник, рукава, пояс, целые полки давно погибших солдат. Но и в последующие годы, когда экспрессионистическая техника вошла как органическая часть в реалистическое письмо Дёблина, он не выносил того, что называл «репродуцированием» действительности (а Брехт в те же годы – ее «пустым отражением»). Его не устраивало, например, натуралистически точное описание трупов на поле боя. По Дёблину, в той же реальности должен присутствовать и страх еще не погибших солдат, и муки и счастье родившей их матери. Время и жизнь в романе организованы по принципу, действовавшему в Библии: «Уже входят в дверь те, кто вынесет тебя отсюда». Важен каждый отрезок времени, каждое «сейчас», в котором «даны одновременно не только жизнь и бытие, но также исчезновение и полная смерть»[2].

Дёблин воспринимает действительность в той ее нерасчленимости – перемешанности разных слоев и фактов, отзвуков прошлого и предчувствий будущего, – в какой она видится живущему, действующему человеку.

Но толща сиюминутности разверста и вглубь. В тексте «Берлин Александерплац» то и дело наталкиваешься на ироничные

---

1 *Döblin A.* Der Bau des epischen Werkes (1929). – In: *Döblin A.* Die Vertreibung der Gespenster, S. 467.

2 *Döblin. A.* Unser Dasein, S. 217.

оповещения об этом, третьем измерении. Нам видны строки письма, заклеенного в плотный конверт, да к тому же опущенного в почтовый ящик. Нам сообщают о содержимом желудка только что отобедавшего человека. Мир показан как нечто, совершающееся во внутреннем и во внешнем. «Здесь я стою, здесь я умираю, говорит любая страница», – писал Дёблин о своем многослойном ви́дении жизни еще в 1917 году. Дальше следовала знаменитая формула: «Если роман нельзя разрезать, как дождевого червя, на десять отдельных частей и каждая часть не будет двигаться самостоятельно, он никуда не годится»[1].

Эта идея часто понималась литературоведами как требование линейной организации материала, обязывающее делить сюжет на серию коротких сцен. В ней видели принцип «новой эпичности», детально разработанной в театре Брехта, но находившей и множество других параллелей (так был построен, к примеру, «драматический роман» Фейхтвангера «Томас Вендт», 1920). Суть данного приема, однако, для Дёблина состоит не столько в членении сюжета, повышающем внимание к каждой сцене и, напротив, снижающем интерес к итогу-развязке, сколько в содержательности каждого «отрезка», его «протяженности» в глубину. Объясняя свою мысль, Дёблин приводит примеры из мировой литературы. Ганечка Достоевского, бросающий банкноты в огонь, Дон Кихот, сражающийся с ветряными мельницами, – каждая из этих сцен, писал Дёблин, затрагивает глубинные основы человеческой психики в их сцеплении с ситуацией в мире, в каждой полностью выражен характер отношений героя к жизни, так что, по существу, отпадает необходимость в дальнейшем сюжетном развитии, в каждой сжаты прошлое и будущее, истоки и перспективы.

В отличие от многих авторов «новой деловитости» Дёблин постоянно предлагает читателю не ограничиваться объективной данностью, попытаться постичь глубинный смысл жизни. Через все его творчество как некий сигнальный знак проходит многозначительное у этого автора слово «бурить». Можно еще не

1 *Döblin A.* Bemerkungen zum Roman, S. 448.

почувствовать его необычной нагрузки, когда в романе «Три прыжка Ван Луня» мы читаем: «На юго-востоке, над болотом Далоу, уже давно сияла нитевидная каемка облака; но теперь *солнце пробурило сквозную дыру, воронку, – и оттуда ударили длинные лучи*, под которыми зелень травы и деревьев разгоралась все ярче», – можно, хотя фраза переполнена обычной для Дёблина энергией взаимного столкновения. Но и более чем через тридцать лет, в романе «Гамлет», дознание, которое станет вести герой, будет определено все тем же словом. В «Берлин Александерплац» бурят саму площадку города, бурят с особенным рвением в районе Алекса, где скрещиваются пути героев. Земля разворочена и разрыта. Приходится перебираться через глубокие рвы по доскам. Строят метро, подземку. Но эта фактографическая деталь, которая могла бы встретиться в газетном очерке о Берлине 1928 года, имеет у Дёблина и вневременный, символический смысл. Читателю предлагается заглянуть в скрытые под поверхностью жизни бездны.

Но расхождения с «новой деловитостью» не исчерпываются этим.

В романе «Берлин Александерплац» Дёблин отчасти отказался от представления о неспособности человека вырваться из железных оков материального мира. Это означало огромный сдвиг в творчестве писателя, проявившийся не только в романе, но и в предшествовавшем ему стихотворном эпосе «Манас».

Дёблин начинал, как мы помним, с полного изгнания всякой субъективности, в том числе субъективности автора и героя. Сознание Ван Луня в романе не было представлено – только реализация этого сознания в поступках. «Мне не нравилась лирика, – писал Дёблин в 1948 году о своем раннем творчестве, – я хотел лишь течения событий, происшествий, образов – каменного фасада, а не психологии»[1].

Отменив свои ригористические требования к эпосу, Дёблин ввел в роман «Берлин Александерплац» думающее, чувствующее, страдающее «я» героя и автора. Совершился прорыв

1 *Döblin A.* Epilog. – In: *Döblin A.* Die Vertreibung der Gespenster, S. 140.

сквозь непрозрачную кору действительности, имевший для Дёблина колоссальные художественные следствия. Эпик, задачей которого было, как он считал, обращать внимание на объективное и внешнее, впервые заглянул внутрь. Во взаимодействие с материальной поверхностью жизни вступил поток сознания человека. Главная художественная коллизия творчества Дёблина – столкновение и трение – по-новому раскрылась на этой новой творческой фазе. Но тот психологизм, который разрешил себе автор, без которого он теперь считал невозможным глубокое постижение мира, по-прежнему существенно отличался от психологизма Томаса Манна и Гессе.

Отражение сиюминутности сочеталось отныне в творчестве Дёблина с постоянным присутствием «я». «Слово “есть”, – писал Дёблин в книге “Наше бытие”, – так же не сопоставимо со словами “было” и “будет”, как никакое другое слово не сопоставимо со словом “я”»[1]. В «Берлин Александерплац» Дёблин, по сути, развивал свой старый тезис о непосредственном восприятии жизни, без всяких прослоек и дистанций, – в момент ее течения, вдобавок не кем-нибудь, не другим, не третьим лицом, но именно «мною»: «В мир входят только через ворота “я”»[2].

Вальтер Беньямин отметил в рецензии на «Берлин Александерплац», что автор долго не дает своим героям слова, лишает их возможности заговорить[3]. На первых десятках страниц Франц Биберкопф, действительно, почти не разговаривает – он стонет, охает, мычит, хрюкает, издает, подобно немой скотине, нечленораздельные звуки. Потом его звучащая в диалогах речь то и дело замещается тем, что раздается в его душе. Фиксация такого – не произносимого вслух – слова порой занимает целые страницы. Но внутреннее слово дёблиновского героя совсем не похоже на внутренний монолог Гёте в романе Томаса Манна «Лотта в Веймаре».

---

1 *Döblin A.* Unser Dasein, S. 214.

2 *Ibid.*. S. 15.

3 A. Döblin im Spiegel der zeitgenossischen Kritik / Hrsg. von Y. Schuster und J. Boder. Bern und München, 1973. S. 252.

Т. Манн и Г. Гессе прибегали к этой технике в момент высокого духовного напряжения героя, когда он прозревал то, чего не было в окружающей материальности, что пока могло осуществиться только как мысль, как работа духа. Параллель к дёблиновскому методу скорее следует искать не у упомянутых писателей, а у Джеймса Джойса. «Поток сознания» создает в обоих случаях эффект присутствия читателя при душевной работе персонажа. Человек увиден не только снаружи, но и изнутри. Отпадает необходимость описывать внутреннюю жизнь или характеризовать ее через «соответствующую» состоянию героя обстановку. Внутренняя жизнь, как и внешние события, при таком методе предстают без опосредований: они просто свершаются.

Читатель вынужден сам разносить отдельные слова и реплики, отзывающиеся в душе героя, по их принадлежности тому или другому персонажу. В тексте дёблиновского романа они часто следуют друг за другом нерасчлененным потоком. «Руки, как лед, ноги, как лед, вот значит кто» (это сознание Мицци за несколько секунд до изнасилования и убийства Рейнгольдом). «Теперь ложись и будь ласкова, как полагается» (услышанная ею реплика Рейнгольда). «Это же убийца» (оставшаяся непроизнесенной ужасная догадка). «Подлец, негодяй!» (то, что только и вырвалось наружу – как оборона, отпор, активное действие). Результатом такой манеры письма стала необычайная энергия стиля, его экономность и многослойность. Были представлены не только действия, но и реакции, трепещущее сознание героев. Благодаря разработанной Дёблином технике ему удается втянуть в калейдоскоп романной действительности десятки персонажей.

В «Улиссе» Джойса поток сознания представлен на нескольких срезах – на уровне бессознательного, на уровне обыденного мышления и, наконец, на уровне высокого интеллектуализма. В романе Дёблина нет интеллектуала, подобного Стивену Дедалу, и внутренняя жизнь его героев уже поэтому менее духовна. Впрочем, что значит менее духовна? Поток сознания запечатлевает порывы низменные, но и высокие, подсознательные и разумные – остающиеся, однако, у необразованных героев

Дёблина неготовыми для оформления в слове. Проблема инстинкт/разум у Дёблина не решается однозначно. Во многих своих романах писатель подчеркивал присутствие в человеке бессознательных, темных и страшных движений души, его неспособность сопротивляться воздействующему на него потоку. Представление о том, что человек все-таки способен оказывать сопротивление, появляется и постепенно усиливается лишь в позднем творчестве Дёблина. До этого Дёблин всегда считал, что человек «не сильнее волны, которая его несет»[1]. «Поток сознания» открывает читателю сложную смесь из мыслей и чувствований героев. Произнесенное же слово в сравнении с непроизнесенным кажется негибкой, застывшей материей, из-за своей однозначности не способной передать богатство оттенков внутренней жизни.

О романе «Берлин Александерплац» нередко писали, что его автор перенял технику потока сознания у Джойса. Сам Дёблин неоднократно признавал свою близость к Джойсу, как и то, что он восхищен Прустом, но при этом с обидой подчеркивал, что не нуждался в заимствованиях[2].

Для Дёблина в потоке сознания скрыта своя актуальность. Специфически дёблиновский смысл этой техники сводится к возможности показать трение внутреннего и внешнего пластов действительности, т. е. все то же внедрение жизни в сознание человека («бурение»). «Франц вырывает через стол газету из рук толстухи. Там рядом два снимка, что, что, ужасный омерзительный страх, это я – я ведь, это ведь я, почему же из-за дела на Штралацерштрассе, почему же, омерзительный страх, это ведь я и рядом Рейнгольд, подпись: убийство, убийство проститутки в Фрейенвальде, Эмилии Парзунке из Бернау. Мицци! Что же

1 *Döblin A.* Ulysses von Joyce (1928). – In: Materialien zu A. Döblin «Berlin Alexanderplatz» / Hrsg. von I. Prangel. Frankfurt-am-Main: Suhrkamp, 1975, S. 50.

2 Об отношении Дёблина к Джойсу см.: Materialien zu Alfred Döblins «Berlin Alexanderplatz», S. 44, 48-52. О М. Прусте Дёблин писал в статье «Mit dem Blick zur Latinität» (1930). – *Döblin A.* Die Vertreibung der Gespenster, S. 401.

это такое – я». Содержание отрывка можно обозначить разговорным словом «дошло!». Мастерство Дёблина в том, что он показал, *как* «доходит». Строй фразы, повторы, прерывистость мысли, спотыкания демонстрируют сопротивление сознания, его неготовность воспринять факт. При этом поток действительности шире «потока сознания» героя. Отрывков, вроде приведенного выше, в романе Дёблина бесчисленное множество. «Поток сознания» никогда не растягивается, как у Джойса и Пруста, на десятки страниц: он то и дело прерывается, перемежается, сталкивается не только с разнообразными формами материальной действительности, но и с представленным короткими врезками сознанием многих других героев, а также, что еще более важно, с потоком сознания автора.

Появление автора на страницах «Берлин Александерплац» особенно значимо. Отчасти авторское сознание централизует, собирает повествование в единый фокус, – такое сознание отсутствовало в «Улиссе» Джойса и в «Ван Луне» самого Дёблина. Вместе с тем задачи этого автора-рассказчика не традиционны.

Повествователь у Дёблина – не скрытый от читателя всеведущий автор. Он пребывает внутри романа, живет в романной действительности. Повествователь у Дёблина – это еще один звучащий в романе голос, еще одно сознание, комментирующее, оценивающее, вслушивающееся и вглядывающееся в главную действительность романа. Но, вслушиваясь и вглядываясь, комментируя и оценивая события и героев, дёблиновский повествователь – и в этом его отличие от рассказчиков у Томаса Манна – никогда ничего не описывает, не «повествует» о той реальности, которая ему открывается. Он не может этого сделать хотя бы уже потому, что точка зрения, с которой он видит действительность, все время меняется. Кругозор повествователя то слит с кругозором героев (в совершенно необычной мере), то охватывает иные просторы. Его голос то почти теряется в шуме действительности, то звучит с определенной дистанции.

Главная материя «Берлин Александерплац» – непрерывный поток льющейся речи, «говорящей действительности». Этот

роман «звучит» даже там, где он показывает нам твердую материю жизни. «Дьявольский холод. Февраль месяц. Люди ходят в пальто. У кого есть шуба, ходит в шубе, у кого нет шубы, – ходит без шубы. Вся шантрапа куда-то попряталась от холода. Когда потеплеет, эти людишки опять высунут нос на улицу. Пока же они принимают двойную порцию водки, но в этой водке не хотелось бы плавать и мертвым». В этом отрывке из пятой книги романа отчетливо виден Берлин в зимнем месяце феврале. Но написанное трудно принять просто за объективную картину. Кто-то как будто говорит. Явственно слышен чей-то рассуждающий, оценивающий ситуацию голос. Он не нисходит с небес, этот голос. Его обладатель прекрасно знаком с некоторыми прописными жизненными истинами (например, с разницей между «иметь» и «не иметь»). Часто он вступает с этими прописными истинами в полемику, и тогда на страницах романа причудливо переплетаются и сталкиваются разные голоса, разные точки зрения: сознание автора и застывшее в стереотипном слове сознание некоего усредненного обывателя. «На углу Ландсбергерштрассе устроили полную распродажу бывшего универмага Фридриха Гана, скоро отправят и сам дом к праотцам. А дом, где был магазин канцелярских принадлежностей Юргенса, уже снесли, и на его месте красуется сейчас дощатый забор. У забора сидит старик с весами; контролируйте свой вес, цена 5 пфеннигов... Перед нами груда мусора. Из земли ты вышел, в землю вернешься, стоял здесь когда-то прекрасный дом, а ныне никто и не вспомнит о нем. Так погибли Рим, Вавилон, Ниневия, Ганнибал, Цезарь, все пошло прахом, помните это. На это я возражу, что теперь производят раскопки названных городов, о чем мы прекрасно знаем из воскресного выпуска, а во-вторых, эти города выполнили свое назначение, и можно приняться за постройку новых. Ведь не станете же вы горько плакать по поводу износившихся брюк, а просто купите новые. На том мир стоит». Последнее слово осталось за омертвевшим сознанием, ориентированным на сиюминутную действительность. Катастрофы прошлого теряют свой трагический смысл, будучи втиснутыми в ряд текущей информации. Однако те же события по-иному

воспринимаются иным сознанием и комментируются иным голосом: «Перед нами груда мусора. Из земли ты вышел, в землю вернешься». Авторский голос далеко не всегда звучит так торжественно. Он оперирует не только библейскими афоризмами, но и обыденной речью. Кому, в самом деле, принадлежит следующая за процитированной фраза: «... стоял здесь когда-то прекрасный дом, а ныне...». Авторская мысль о бренности бытия выражена, как будто, и в чужом, «обывательском» стиле, в форме тех присказок, песенок, поговорок, стереотипных речевых оборотов, которые во множестве рассыпаны по страницам романа («Ручками хлоп-хлоп, ножками топ-топ»; «Виды на урожай блестящи, впрочем, иной раз можно и ошибиться» – и т.д., в бесчисленных вариантах). Индивидуальная и субъективная правда автора в романе Дёблина «прорезывается» через городскую действительность, через звучащую объективность городской речи. Больше того, порой она разлита в ней.

Чем ближе к концу романа, тем вольнее и изощренней Дёблин перемежает и сталкивает субъективное и объективное, эпос и изгонявшуюся им раньше лирику, зримую действительность и кадры из потока сознания автора и героев.

Некоего второстепенного персонажа, Карлушку-жестянщика, помогавшего Рейнгольду скрывать следы совершенного им убийства, полицейские приводят в лес, чтобы он указал место, где закопано тело: «А вот и прогалина с покосившейся елью, все осталось так, как было в тот день. Я вся твоя, сердце ее убито, глаза убиты, уста убиты, не пройтись ли нам еще немножко, ах, не жми так крепко. Видите кривую ель? Тут оно и есть!». Если прочитать этот отрывок в полагающийся ему черед, то есть в середине восьмой книги романа, имея позади предыдущие, то он будет звучать разными голосами, напоминая читателю в кратком «резюме» то, что тому уже известно. «А вот и прогалина...» – это проносится в голове Карлушки, участника недавних событий. «Я вся твоя» – это «из Мицци», из ее приводившихся ранее слов, обращенных к Францу. Дальше после запятой: «сердце ее убито, глаза убиты...» – «цитата» из причитаний автора, отзвучавших сразу после убийства. «Не пройтись ли нам еще немножко, ах,

не жми так крепко» – из диалога Мицци и Рейнгольда в счастливом начале прогулки по Фрейенвальду. Кроме того, те же слова можно соотнести и с ощущениями свидетеля: руки его перетянуты веревкой, а думает он о том, как найти то самое место.

Совершается постоянное перемещение перспективы. Действительность увидена разными глазами. Как будто не только Карлушка с полицейскими, но и Франц, Мицци, Рейнгольд, повествователь идут вместе с ними к прогалине с темной елью. Или: будто сюда, в это дышащее прошлым мгновение, переносятся вдруг на секунду, в хватком сцеплении, их чувства и мысли из прежних дней.

Но если слово и мысль автора существуют в таком взаимопроникновении с чувствами и с действительностью героев, то каким же образом автор отделен в книге от так полно представленной им обыденности?

Каждый, кто читал «Берлин Александерплац», помнит суровые предуведомления повествователя о смысле истории Франца Биберкопфа, которую предстоит узнать читателю, и о ее страшном конце. Предуведомления эти, набранные особым шрифтом, помещены перед каждой частью и перед началом романа. Они не только заранее оповещают о том, что произойдет в очередной книге (наподобие надписей на экране, оповещающих зрителей в театре Брехта о содержании следующей сцены), но и несут в себе дидактическую идею, напоминающую те моралите, которые заключают у Генриха Манна каждую главу его дилогии «Юность и зрелые годы Генриха IV». Разрушение секрета дальнейшего хода событий нужно Дёблину не только для того, чтобы сосредоточить внимание читателей на каждом очередном эпизоде, но и чтобы подчеркнуть неотвратимость ожидающей Франца судьбы.

«Берлин Александерплац» может показаться одной из самых мрачных книг Дёблина: судьба героя предрешена. Но тот же плывущий над романной действительностью, порой иронический, шутовской голос создает ощущение свободы, воздуха, говорит о том, что и в конце рассказанной нам мрачной истории остается проблеск надежды: «... Я говорю вам: нет оснований

отчаиваться. Я уже кое-что знаю, и, быть может, те, кто это читает, тоже кое о чем уже догадываются».

Насмешливая, дистанцированная позиция повествователя, его внутренняя свобода сквозят в той стихии иронии и пародирования, которой пронизана книга: «Как выглядел меч Ахилла, я не знаю, – замечает, к примеру, повествователь, – но как был одет Франц Биберкопф, рассказать могу». Или: «Бюллетень погоды на сегодняшнее число: по метеорологическим данным следует ожидать некоторого прояснения погоды. Солнце уже снова робко выглядывает из-за туч. Всякий, кто сам водит шестицилиндровую машину NSU, в восторге: Туда, туда, где апельсины зреют, умчимся, милый, мы с тобой».

Ирония появляется на страницах романа по самым разным поводам. Но автор предусмотрел для нее и одну постоянную задачу. Ирония взрывает видимую благополучность жизни, желательную для Ф. Биберкопфа и множества других людей, населяющих большой город Берлин. Характерна часто встречающаяся форма зарифмованной и ритмизированной фразы. Обернувшиеся присказкой или стишком строчки будто утверждают в жизни свой порядок. Однако порядок этот непрочный, смешной и детский: «Ручками хлоп-хлоп, ножками топ-топ» – звучит повторяющийся рефрен. Мысль обывателя инфантильна и беспомощна. Она материализовалась, застыла. Перед нами полая форма мышления (без процесса думанья), мысль в обрубках, в окончательности, а не в развитии и протяженности, слово, которое обрело застылость предмета. Эту-то предметность и эту застылость взрывает своей иронией автор. Ироническая позиция повествователя дает Дёблину неограниченную свободу – возможность высказать свое критическое суждение, не только по частным поводам, но и о Германии накануне фашистского переворота.

Но главный смысл произведения, его «лирика» выражены в самой организации материала. Основной принцип организации – техника монтажа. У Дёблина это прием не столько «объективный», сколько субъективный и идеологический.

На всем протяжении произведения автор сочленял как будто не имеющие никакого отношения друг к другу, выхваченные

из разных эпох и «действительностей» куски, настойчиво прочерчивая одну внутреннюю тему, в бесчисленных ее отражениях и вариантах. Поэтому он с полным основанием называл свой роман «гомофоническим»[1].

Уже в первом вставном куске – рассказе встреченного Биберкопфом старика-еврея об удачливом албанце Цанновиче и его печальном конце, – читателю, по сути, подсказывается потаенная мысль романа, или во всяком случае один из главных ее аспектов: мысль об обреченности всякой самонадеянной силы в поединке с действительностью. Если в упомянутом эпизоде еще можно найти отрицательную моральную характеристику такой силы (безответственная авантюрность нечистого на руку Цанновича), то из следующих монтажных кусков становится очевидно: речь для Дёблина идет совсем не о морали и нравственности (во всяком случае, в их общепринятом смысле), а о жестоких и бессмысленных, с точки зрения сиюминутности и отдельного человека, законах мироздания, согласно которым эта сиюминутность и эта отдельность подлежат уничтожению. Не в первый раз со времен «Ван Луня», где та же тема выявлена иным способом, и не в первый раз в самом «Александерплаце» Дёблин задает свой главный вопрос: может ли человек противостоять миру? Без всяких уже переходов в повествование о судьбе Биберкопфа вклинивается рассказ о погибшем от дифтерита ребенке. Этот рассказ предвещает удар, который судьба вскоре нанесет самому Францу. Несомненную параллель к судьбе героя представляет и знаменитая глава о берлинских скотобойнях. Эта глава разорвана на две части, каждая из которых озаглавлена предостерегающей фразой из Ветхого завета: «Ибо с человеком бывает, как со скотиной, как эта умирает, так и он умирает», и: «И у всех одно дыхание, и у человека нет преимущества перед скотиной».

Монтаж весьма экономным образом расширяет пространство вместившейся в роман жизни. Легко объединяя разные куски единой темой, он позволяет увидеть одновременно

1 *Minder R.* Dichter in der Gesellschaft. Fr./ M., 1972, S. 192.

разные сферы действительности: от низшей, биологической и физиологической, до высшей, заоблачной, – вечных библейских, а иногда и античных мифов. Монтаж мощно раздвигает границы и средней, человеческой и исторической сферы, превращая «Берлин Александерплац» в один из самых впечатляющих художественных анализов действительности Германии конца двадцатых годов[1]. Именно в этой сфере Франц, Рейнгольд, шайка Пумса, содержанки Ева и Мицци действуют и чувствуют как определенные социальные типы. Подобно Гермине у Гессе («Степной волк»), Мицци и Ева с восторгом слушают записанные на пластинки модные шлягеры. Но насколько же эти героини Дёблина каждой своей чертой ближе к нечистому месиву жизни, к обману и кражам, к убийствам, совершенным не картонным ножом, насколько они банальнее, вульгарнее, насколько более многомерны и убедительны!

Однако благодаря сосуществованию в романе трех различных сфер Франц Биберкопф воспринимается не только как социальный тип. Вмонтированный между «небом» и «преисподней», он становится еще, как Касторп у Томаса Манна, человеком как таковым, *everyman*, точкой, в которой сошлись и соприкоснулись все сферы. Дёблин развертывает в своем романе историю хоть и жестокую, но не исключительную, обыкновенную и банальную, банальную в том самом смысле, в каком банальны душераздирающие городские романсы и пародирующие их (и подражающие им!) баллады молодого Брехта или пьесы

1 Сразу по выходе в свет романа немецкая пролетарская критика отметила, что писатель не отразил революционного движения, достигшего в Германии к концу 20-х годов небывалого размаха. Франц Биберкопф осуждался в этой связи как неудавшийся образ пролетария (см., например: *Biha Otto.* Herr Döblin verunglückt in einer Linkskurve. – Die Linkskurve, 1930, N 6, S. 24). Однако с дистанции десятилетий ясно, что Дёблин запечатлел в своем романе другие важные социально-психологические процессы, в частности, уже отмечавшееся деформирующее давление социальных обстоятельств на сознание человека.

австрийца Эдена фон Хорвата. Банальное, а не высоты духа, отражает, по убеждению этих авторов, самое существенное в жизни отдельного человека и в человеческом общежитии[1]. Именно поэтому Дёблин претендует на то, что, показывая читателю своего героя в некоторых простейших, распространенных, элементарных ситуациях, творит эпос современного мира.

Но монтаж не только расширяет эпическое пространство, он еще и воплощение «лирики». Ведь и Брехт, неоднократно писавший, что зрителю в его «эпическом театре» предоставлена полная свобода самому делать выводы из показанного на сцене, был в действительности концептуалистом и «лириком», и это в не меньшей мере определяло структуру его драматургии.

Так же и «большой», композиционный монтаж в «Берлин Александерплац» настойчиво доносит до нас «лирику» автора. Мы говорили о ряде побочных параллельных сюжетов, в которых главный для Дёблина вопрос – может ли человек противостоять миру? – получает отрицательное решение. Но стоит обратить внимание и еще на одну мысль, которую хотят внушить нам его картины.

Рассказ о судьбе Биберкопфа прерывается в момент, когда его предал друг («первый удар»), – картиной берлинских скотобоен. Но и эта картина разорвана вклинившейся вставкой – главой «Беседа с Иовом, дело за тобой, Иов, но ты не хочешь». Оторвавшись от монументальной картины гибели животных, автор переносит нас за облака: с библейским Иовом, лежащим в огороде у собачьей конуры (и тут монтажное сочленение разных пластов действительности), говорит голос Бога. Лишившийся своего имущества и близких, всеми покинутый, с ног до головы покрытый язвами, Иов молит об исцелении. Почему же «дело за тобой, Иов» и чего он «не хочет»?

---

1 По этому поводу Брехт писал: «Нельзя исправить вкусы публики, освободив фильм от безвкусицы... Пошлость вкусов у массы глубже коренится в действительности, чем вкусы интеллигентов» // *Brecht B.* Schriften zur Literatur und Kunst. Frankfurt am Main, 1967. Bd.1. S.165.

Ответ на этот вопрос имеет отношение к сокровенной сути творчества Дёблина. Не только в «Берлин Александерплац», но и во многих и многих его романах он ставится на различных уровнях, в разных сферах действительности.

Измученный, жалкий, больной Иов страдает, согласно Дёблину, больше всего от того, что он внутренне сломлен, что он перестал быть собой, что в нем нет желаний и силы. Подобное состояние, по убеждению писателя, непереносимо для человека. Об этом, а не только об активности и пассивности, о борьбе и непротивлении, был, в сущности, написан роман «Три прыжка Ван Луня». О том же с удивительной психологической достоверностью рассказано и в «Берлин Александерплац». Любящий Мицци и живущий на ее содержании Франц Биберкопф не может выдержать этого состояния не просто из нравственных соображений: он не выдерживает его потому, что так он – ничто, и, по чуткому замечанию своего друга Герберта, может еще невзначай, ни за что ни про что, убить Мицци, как когда-то нечаянно убил свою невесту Иду (до этого и действительно едва не доходит дело на следующих страницах романа). Героя что-то неумолимо тянет, как Раскольникова к Порфирию Петровичу, к самому опасному для него месту – в дом чуть не убившего его Рейнгольда, на свидание с ним. Сидя напротив Рейнгольда и «не дрожа» (так и вспоминается знаменитый вопрос: «Тварь ли я дрожащая или право имею?»), больше того, потребовав своего возвращения в шайку Пумса, Франц впервые с того времени, как был покалечен, чувствует себя совершенно счастливым и сильным. Он весь наливается этой силой, идет в атаку. Все последующие передвижения Биберкопфа по полю романа, вплоть до его окончательного краха, сопровождаются маршевой музыкой, маршевыми ритмами, на его пути то и дело встречаются марширующие по тем же улицам колонны солдат: «Какое счастье солдатом быть!» и «По-батальонно, в ногу, с барабанным боем...».

Ту же самую силу, тот же внутренний напор «голос» замечает в умирающем Иове: «Ты хотел бы не быть слабым, ты хотел бы сопротивляться, или уж лучше быть насквозь продырявленным, чтоб не было разума, чтоб не было мыслей, чтоб быть совсем,

совсем скотом». Как только этот напор иссякает, как только Иов, совершенно отчаявшись, падает, как бездумная скотина, без надежд и желаний наземь, совершается чудо: заживают его раны.

Неверно и плоско было бы толковать вышеизложенное как уравнивание человека со скотом (кстати, как будто бы не раз проявившееся и в главе о скотобойне). Дёблин стремится как раз к обратному, к утверждению духовного начала человека. Он мучительно ищет, каким образом человек может противостоять миру. Возможности разума, реализацию которых Дёблин видел прежде всего в техническом прогрессе, в этом смысле все-таки ограничены (роман «Горы, моря и гиганты»). Единственное, чем человек может противостоять железной механике мироздания, в которую сам он включен как живой организм, это не ответ силой на силу, а нечто прямо противоположное: сознательный отказ от силы, слабость.

В «Берлин Александерплац» Дёблин вмонтировал библейскую притчу об Аврааме, принесшем в жертву своего сына. У Дёблина эта сцена присутствует в «озвученном» и драматизированном виде, как спор голосов. Отклоняясь от библейского текста, отец уговаривает мальчика согласиться на жертвоприношение, которое иначе будет простым убийством, то есть, проще говоря, он уговаривает его захотеть своей гибели. Снова и снова проходит столь неслучайная для Дёблина тема жертвы. И все-таки главное – не эта тема как таковая. Даже у Гессе мотив жертвы имел гораздо более прямой и конкретный смысл, так как предполагал служение и растворение единичного в целом. Дёблина как художника не интересовало назначение жертвы. Самоотречение захватывало его как парадокс, по логике которого, отказавшись от себя, человек высвобождается из железных и примитивных механизмов природы, ибо возможным становится свободное проявление его духа[1].

---

1 Получалось нечто похожее на самоубийство Кириллова в романе Достоевского «Бесы». Но приносящих себя в жертву героев Дёблина занимает не столько собственная способность проявить «свободу воли», сколько место духа в механике космоса.

Не один только Дёблин, но и другие немецкие романисты парадоксальным образом высоко оценили в то напряженное время, на рубеже двадцатых-тридцатых годов, слабость или, выражаясь в других «терминах», доброту человека. (В начале романа «Берлин Александерплац» Дёблин называет своего Биберкопфа «добрым», беря это слово, как делает, по сути, и Брехт, в кавычки. В конце романа, когда, чудом избежав смерти, пережив трудный душевный кризис, смирившись и не имея больше строптивой силы, Франц, Карл Биберкопф – у него теперь и имя другое – тихо служит привратником на заштатной фабрике, он для автора действительно добр.) Немецкоязычные писатели (Р. Музиль, Г. Х. Янн) в эти годы как будто держат своих героев в некоторой незавершенности, не дают их судьбе отлиться в «развитие» и «путь», настороженно улавливая во времени и в человеке разные, в том числе и опасные возможности. Главное – не действие, а решение «вопроса о том, как правильно жить»[1].

Многих, писавших о творчестве Дёблина, не удовлетворяла концовка романа «Берлин Александерплац»[2]. Широкая социальная панорама тут внезапно сужалась до ситуации одного человека. Шум и натиск города утихали. На последних двух-трех страницах Франц – Карл – жил жизнью, о которой и «рассказывать нечего». Однако совершившийся в герое душевный переворот не становится от этого менее значительным. Его всепрощение и доброта не так уж бессодержательны: он научился «слышать других, ибо то, что говорят другие, касается и тебя», и отучился от бездумной доверчивости к словам, обещаниям, декларациям, лозунгам. «Надо быть начеку, постоянно быть начеку, в мире что-то как будто готовится... Когда начинается война и человека призывают, а он и не знает, за что война, тем более, что война и без него война, он все-таки виноват, и так ему и надо. Надо быть начеку, и

---

1 *Musil R.* Der Mann ohne Eigenschaften. – *Musil R.* Gesammelte Werke: In 9 Bd. / Hrsg. von A. Frise. Hamburg: Rowohlt, 1978, Bd. 1, S. 255.

2 См., например, одну из первых рецензий на роман, принадлежащую А. Эггебрехту (*Eggebrecht Axel.* A. Döblins neuer Roman (1929). – In: Materialien..., S. 64).

не надо быть одному». Состояние дел в современном мире впервые в творчестве Дёблина было поставлено в зависимость от душевной собранности и ответственности героя. Значение каждого человека и его ответственности повышалось. Если по поводу погибшей от руки Биберкопфа Иды говорилось: «Франц убил свою невесту Иду (фамилия тут, извините, не при чем)», и тут разговор обрывался, если смерть Иды была, как гибель скотины, смертью экземпляра, дополнительные сведения о котором неинтересны, то дальнейший ход романа перечеркивает такой взгляд на человека, как и на все живое. И после гибели Мицци перед читателем неожиданно распахивается все ее прошлое: «Чемодан, в котором лежала Мицци, раскрыт. Она была дочерью трамвайного кондуктора в Бернау. Ее мать бросила мужа и уехала, почему – неизвестно. Мицци осталась одна... По вечерам она иногда ездила в Берлин и ходила на танцульки к Лестману или напротив, несколько раз ее брали в гостиницу, потом уж бывало поздно возвращаться домой...» – рассказ льется и льется дальше. «Всему свое время, – переиначивает Дёблин слова библейского Экклизиаста, – зашить и разорвать, сохранить и бросить. И восхвалил я мертвых, которые лежат под деревьями и спят мертвым сном». После гибели Мицци эти деревья «качаются и колышутся. Каждое, каждое» – так еще раз пронзительной нотой звучит эта важная автору мысль, эта его сокровенная идея о ценности каждой жизни.

Потом, в романе «Прощения не будет» (1935) и в тетралогии «Ноябрь 1918» (1937-1941), дёблиновский герой свяжет свою судьбу с движением революционных масс. Его внутренний мир будет показан в состоянии той активности, для которой уже из-за владевшего автором «Берлин Александерплац» «духовного натурализма»[1] (читай – детерминизма) не нашлось места в этом романе. Но уже в «Берлин Александерплац» интерес к внутреннему миру и духовным возможностям человека – взгляд не только вширь, но и вглубь – привел к решительному изменению художественной структуры романа по сравнению с «Ван Лунем» –

1 Письмо к Петерсену 18 сентября 1931 г. – Ibid., S. 42

к введению потока сознания автора и героев. Продолжая двигаться по этому пути, Дёблин в дальнейшем существенно изменил созданный им тип романа.

4

В 1956 году увидел свет последний роман Альфреда Дёблина: «Гамлет, или Долгая ночь подходит к концу». Он писался в течение двух послевоенных лет, в 1948-1949-м, то есть через два десятилетия после «Берлин Александерплац». Именно в «Гамлете» наиболее отчетливо отразились изменения, произошедшие за это время в художественном мышлении писателя.

По сравнению с «Берлин Александерплац» последний роман Дёблина – это сдержанная, молчаливая книга. Еще слыша торопливый перебив голосов, раскрывавших нам в «Александерплац» разные сознания, читатель берет в руки дёблиновского «Гамлета» и поражается тому, что голоса молчат, мысли героев не выведены наружу. Подобное впечатление в сопоставлении с «Берлин Александерплац» производит именно стиль книги. На самом деле в респектабельном, по-английски чинном доме известного писателя Гордона Аллисона, куда после пребывания в клинике возвращается его искалеченный на войне сын Эдвард, обитатели только и делают, что рассказывают, собираясь по вечерам, длинные истории, в которых как будто с полной откровенностью раскрываются их жизненные позиции.

И все же, встречая уже на первых страницах романа слова вроде следующих: «Было ясно, что он много думал о мертвом», или: «Он скрестил на груди руки и задумался», мы замечаем, что мысли и чувства героев отгорожены от нас: они не высказаны все целиком, а остаются какой-то сокровенной своей частью в той самой груди со скрещенными на ней руками.

Многое связывает этот роман с предшествующим творчеством Дёблина[1]. Хоть пространство и сжато – вопреки

1 Эти связи отчасти прослежены в одной из первых рецензий на роман – отзыве К. А. Хорста (*Horst Ê. A.* Alfred Döblin im Spiegel der zeitgenossischen Kritik, S. 430).

декларации молодого Дёблина – до событий, происходящих в одном доме, перед нами все тот же великолепный эпик, пользующийся любыми способами, чтобы развернуть пестрый ковер действительности. Расширение поля романа в значительной мере достигнуто за счет вставных новелл, и в былые годы разрывавших повествование дёблиновских романов, а теперь составивших существенную часть текста.

Не ослабло и напряжение, с которым герой атакует действительность. «Гамлет» – это роман-расследование, предшественник разного рода дознаний и разбирательств, которые вскоре станет вести, пережив мировую войну и фашизм, мировая культура. На протяжении всей книги Эдвард пытается найти виновных в войне, выяснить степень виновности своих близких. Он, как Бекман в пьесе В. Борхерта, неустанно стучится в дверь (в одной из вставных новелл этот образ воссоздан буквально: мать, потерявшая на войне сына, стучит в двери церкви, добиваясь ответа от самого Господа Бога).

Как всегда у Дёблина, этот конкретный современный – социальный и политический – пласт содержания не исчерпывает всего его объема. По справедливому замечанию Роланда Линкса, «используя Эдварда в качестве “зонда”, Дёблин исследует не только поведение человека или группы людей, но и ищет – после пережитых военных “котлов”, городов, стертых с лица земли, летчиков-самоубийц и газовых камер – ответа на вопрос: “Существует ли человек?”»[1]. Существует ли человек, это тоже старая дёблиновская проблема: существует ли та сила, то человеческое в человеке, которое способно противостоять происходящему в мире; где возродившийся к новой жизни Франц-Карл Биберкопф; или, как формулируются те же сомнения в романе «Гамлет»: «Совершается ли история без участия в ней человека?», или же «Человек все-таки есть?».

Но как раз во взаимоотношениях человека и мира в романе «Гамлет», по сравнению с «Берлин Александерплац», произошли

1 *Links R.* Alfred Döblin. Leben und Werk. Berlin: Volk und Wissen, 1976, S. 198.

существенные изменения. Эти изменения, опять-таки, отчетливо заметны уже в форме и стиле. Умолкли «голоса», иссяк поток сознания (на страницах «Гамлета» его заменяет внутренний монолог: нам открываются в лучшем случае не произнесенные вслух мысли героев, но уже не беспорядочная сумятица едва оформленных чувств), а человек и мир будто бы разошлись в разные стороны, перестали вгрызаться друг в друга. Объективная подробность существует сама по себе – она больше не часть внутреннего мира героя и не соотнесена с его сознанием, как была соотнесена с сознанием Биберкопфа шумная и многообразная действительность Берлина. Внутреннее и внешнее сопрягаются посредством традиционного «как», подчеркивающего и их отдаленное сходство, и несомненную раздельность. Повествование потеряло в силе и краткости. Из обжигающего «сейчас» действие перенесено в какое-то общее время. События отдалились на некоторую дистанцию. Изображение заменено описанием, которое Дёблин прежде отвергал, считал противопоказанным созданному им типу романа.

В «Гамлете» мы следим за людьми, но они не раскрываются перед нами. Только присутствие всезнающего автора позволяет проникнуть в души героев. И автор не спешит поделиться своим знанием. Свое творчество Дёблин определял как раздумье в образах[1]. В «Гамлете» это выразилось в постепенном, но беспрерывном (не рвущемся на части, как прежде) ходе повествования, растворившего в себе течение все более и более углубляющейся мысли. В самом построении романа сказалось присутствие загадки, тайны, которая существует и в жизни, подойти к решению которой можно лишь при пристальном, терпеливом вглядывании в каждый предмет.

Задумаемся о смысле новелл, которые рассказывают персонажи романа, и об их назначении в структуре целого.

Распространенной ошибкой в интерпретации дёблиновского «Гамлета» стало противопоставление общественных позиций

1 *Döblin A.* Epilog. In: *Döblin A.* Die Vertreibung der Gespenster, S. 145.

Гордона и Эдварда Аллисонов. Действительно, из рассказанной Гордоном Аллисоном новеллы о Триполитанской принцессе следует, что люди совершают поступки отнюдь не по велению сердца и разума, а под влиянием воображения, фантазии или – развивают дальше его мысли слушатели – под давлением получивших широкое распространение идей, представлений, правил поведения, идеологий. Такая точка зрения не устраивает Эдварда: ему важно найти твердое зерно в человеке, определить его способность сопротивляться социальным механизмам. Именно поэтому Эдвард «бурит все глубже и глубже». Противопоставление двух позиций все более заостряется. Из слов отца Эдвард делает вполне последовательный вывод, что, по мнению первого, человек есть не что иное, как марионетка, фантом, не способный управлять не только историей, но и самим собой. «Мы все более отходим от самих себя», – соглашается Гордон Аллисон. В романе к нему пристала кличка «лорд Креншоу» – имя героя его рассказа, «вечного пассажира» автобуса, ездившего по кругу в надежде обрести утраченное «я» и, как хамелеон, менявшего личину в зависимости от окружения.

Долгое время Гордон Аллисон кажется читателям романа человеком-оборотнем, спрятавшимся в панцире своего тучного тела. Он любит расплывчатость и неясность, Эдвард же и его мать Алиса – абсолютную обнаженность и четкость мысли. Новелла, рассказанная Алисой о матери, ожидающей на Монмартре после конца войны своего пропавшего без вести сына, утверждает абсолютную устойчивость и незыблемость человека и его чувств: «Что может статься с матерью и ее ребенком? Они вместе, они едины. Как сердце не может выпасть из груди, так и дитя нельзя оторвать от его матери».

Дальнейший ход романа вносит, однако, существенные коррективы, заметные при внимательном чтении. Ближе к концу грудь Алисы оказывается (в переносном, разумеется, смысле), по неслучайно употребленному автором слову именно «развер-стой», и Алиса теряет вместе с доверием сына если не сердце, то «свою душу». На следующих страницах Гордон Аллисон роняет в разговоре с Джеймсом Макензи еще одну немаловажную

фразу. Вспомнив свой рассказ о принцессе Триполитанской, он говорит, что мысль о бессилии человека, его зависимости от «моды времени» не была его, Гордона, «действительным убеждением»: «Я целил в Алису, ее фантазии. Я видел, что на меня надвигается».

Истории, рассказанные героями, не являются, как кажется поначалу, отражением их жизненной позиции – чаще они выражают реакцию на происходящее, на некую сиюминутную ситуацию. Новеллы – не ярлыки, помогающие опознанию героев. Все в этом романе подвижно, все познается постепенно.

В «Берлин Александерплац» ветхозаветные мотивы подтверждали, подкрепляли, поддерживали главную идею печального повествования о бывшем каменщике и цементном рабочем Франце Биберкопфе. В романе «Гамлет, или Долгая ночь подходит к концу» старые сюжеты и образы связаны с ситуациями и героями менее прочными нитями. Миф, как и вставные новеллы, отражает сиюминутное состояние героя или возможный, но не единственно допустимый взгляд на него.

Алиса – легкая, светлая Прозерпина, прекрасная дочь античной Деметры, похищенная и силой взятая в жены властителем подземного царства Плутоном. Таково возможное мифологическое отражение судьбы Алисы и Гордона. Но Алиса – это еще и танцующая Суламифь, одержимая звериными страстями. К концу романа Гордон Аллисон открывается читателям как натура гораздо более цельная и самоотверженная, чем лелеющая свою неудовлетворенность, предающаяся фантазиям Алиса.

В рассказе Джеймса Макензи, переосмысляющем шекспировского «Лира», Гордон Аллисон представлен как дикий кабан, неотступно преследующий свою цель. Но то же уподобление отнесено Макензи и к Эдварду, к его неотступному, порой разрушительному правдолюбию.

Новеллы, старые сюжеты, мифы, как и любые истории о жизни людей, шире как будто бы вытекающих из них тезисов. Каждый сюжет поэтому подключается к ходу повествования по нескольку раз: между сюжетами обнаруживаются все новые точки соприкосновения. Даже Гамлет, вопрошающий принц датс-

кий, образ которого осеняет историю о молодом правдолюбце, ищущем виноватых во Второй мировой войне, связан с Эдвардом Аллисоном не навечно. Как это вообще характерно для романа XX века, давно вошедший в наше сознание образ (Одиссей в «Улиссе» Джойса, Фауст в «Докторе Фаустусе» Т. Манна) придает и большую определенность, и многозначительную широту поведанной читателям современной истории. Вызванная из прошлого – завершившаяся действительность раздвигает границы повествования, создавая простор для обобщающих истолкований.

Но сопоставление с «Гамлетом» пригодно автору не до конца. «Долгая ночь» кончается для его героев по крайней мере дважды. Она кончается, когда под напором расспросов сына рушится мирная жизнь в доме Гордона Аллисона. Бежит, чтобы в конце концов опуститься на самое дно жизни и там погибнуть, Алиса; исчезает, чтобы перед смертью вновь обрести любовь жены, Гордон. Правдолюбие Эдварда, его вечное «бурение» (*bohren*), обрушилось на семью Аллисонов, «как камнепад. Были убитые». Но оно оказалось необходимым, потому что в результате сместились – и стали ближе к истине – представления людей о себе и друг о друге.

Однако и сами расспросы, сама позиция Гамлета не являются абсолютно и вечно истинными. Если «человек движется не по кругу», как утверждает в конце романа Эдвард, если движение содержит смысл развития, то в конце концов всякие расспросы должны привести к результату, к хотя бы временной остановке в пути. «Прогони призрак Гамлета», – говорит Эдвард своему дяде на последней странице романа. «Долгая ночь» кончается для самого героя именно теперь, потому что теперь он замечает и принимает вызов того, частью чего является, – «этой ужасающе огромной жизни, этой массы, связанной со мной, с человеком, с его внутренним миром».

В отличие от требований, предъявлявшихся им к «Берлин Александерплац», Дёблин явно желал, чтобы последний его роман начинался с неопределенности. И не использовал в нем все те приемы, которые помогали читателю «Берлин Александерплац» понять не только героев (поток сознания), но и замысел

автора (присказки-рефрены, параллельный монтаж, комментарий повествователя и т.д.). Смысл «Гамлета» открывается постепенно. Как справедливо отмечал Р. Линкс, читатель не раз готов удивиться сужению повествования, начавшегося с поисков виновных в войне, до рамок банальной семейной истории[1].

Подобное впечатление, однако, ложно. И дело не только в том, что Дёблин не отстраняется от актуальных проблем современности, но решает их в этом романе, как Томас Манн в «Докторе Фаустусе», на некотором отлете от событий истории, на материале, по видимости (но только по видимости!) частном.

Чтобы представить себе полное содержание романа «Гамлет», надо вдуматься в смысл его новой для Дёблина формы. Если прежде главной задачей писателя было изображение постоянного трения человека и мира как двух материальных противосил, если эта борьба показывалась во всей ее бескомпромиссности, без дистанции и каких-либо опосредствований, без взгляда со стороны, без «прослойки духа», если в этой механике не было тайн, если она не знала качественного развития, то в романе «Гамлет» есть тайна, определившая само построение романа. Эта тайна – человек.

Франц Биберкопф не менялся вплоть до эпилога, и композиция романа лишь множила его атаки на действительность. Построение «Гамлета» опровергает однозначное представление о героях.

Подобно многочисленным авторам послевоенных десятилетий, Дёблин будто демонстрирует нам изменчивость и неустойчивость личности, способной менять личины и маски. Следуя логике детективного жанра, он вводит нас в заблуждение то насчет одного, то насчет другого персонажа. Однако смысл превращений, происходящих с его героями, особый. Как и Эдвард, дублирующий в этом романе труд автора, Дёблин ищет твердое зерно, светлое начало в человеке. Внутренний мир героев до времени скрыт от нас или показан нам лишь отчасти, но не по той причине, что (как это было в «Ван Луне») он не имеет значения и веса

1 *Links R.* A. Döblin, S. 200.

в круговращении жизни. Напротив, значение его для автора «Гамлета» стало так велико, что не поддается быстрому и полному учету. Именно поэтому непосредственное отражение жизни во всей ее сиюминутной полноте заменено столь неожиданным для Дёблина, прежде яростно им отвергавшимся описанием. Традиционное описание более скромно и терпеливо: ему доступна лишь видимая действительность. Описание следует за ходом событий, за изменением и развитием человека, постепенно нащупывая зерно личности. В поисках этого зерна Дёблин проводит своих героев через горнило страданий, заставляет соприкоснуться с жестокостью жизни, чтобы открыть в этом соприкосновении, на что способен – в крайней для него ситуации – человек. Когда на последних страницах Алиса Аллисон говорит по частному поводу, что вряд ли кто-либо способен теперь превратить ее в зверя, это имеет несомненное отношение к антивоенной теме романа. Железные механизмы действительности обрели противовес в тайне человеческой личности.

«Гамлет или Долгая ночь подходит к концу» – последний роман Дёблина. Дёблин писал его, вернувшись из эмиграции, после того, как прожил несколько лет сначала на юге Франции, потом в США. В 1946 – 51 годах он издавал в Майнце литературный журнал «Золотые ворота», стал одним из сооснователей Майнцкой академии. Однако как писатель он чувствовал себя забытым. Новый взлет известности и славы пришел тогда, когда Дёблина уже не было в живых. Он умер в 1957 году в санатории около Фрейбурга.

Послесловие издателя
(Вальтер Муш)

Роман «Три прыжка Ван Луня» писался с лета 1912-го по весну 1913 г., но впервые был опубликован только в 1915 г., в берлинском издательстве «С. Фишер», – и сразу сделал Дёблина знаменитым. Читатели восхищались «Ван Лунем» как шедевром экспрессионистического повествовательного искусства, как решающим прорывом за пределы бюргерской традиции немецкого романа. И действительно, он уже вмещал в себя почти все, что характерно для нового повествовательного стиля двадцатого столетия.

Автором этой гениальной книги был молодой врач, который работал в разных больницах, а потом открыл в одном из берлинских рабочих кварталов собственную практику, стал специалистом по внутренним и нервным болезням, и поначалу эта профессиональная деятельность оставляла ему много свободного времени. В эссе 1927 г. «Врач и поэт» Дёблин вспоминает: «Я был теперь практикующим врачом возле ворот Галле, в Берлине, много работал на скорой помощи, и днем и ночью, месяцами каждое утро наведывался в одну частную клинику, мотался то туда, то сюда. На лестницах, в пустые часы ожидания я писал – мог тогда писать где угодно, хоть стоя, хоть на ходу». Первым толчком к написанию этого романа стала для него заметка в газете, посвященная восстанию китайских рабочих на ленских золотых приисках и кровавой расправе над мятежниками, учиненной царскими войсками[1]. Тот факт, что люди, которые добывают золото, сами живут в нищете, показался ему достойным пристального внимания, так как он ощущал себя пролетарием и был социалистом – не из теоретических соображений, а просто потому, что он, сын эмигрировавшего в Америку еврейского портного, вырос в крайней бедности и всю жизнь принимал сторону обездоленных. В нем кипела ненависть к несправедливому общественному порядку и опьяненному своей властью

1 См.: Paul Lüth in: Alfred Döblin, *Auswahl aus dem erzählenden Werk*, S. 31 [Wiesbaden 1948].

кайзеровскому государству – и у него в какой-то момент созрел план написать книгу о беспорядках в Сибири, первый том которой он первоначально мыслил себе как роман о Ван Луне. Внезапно возникший интерес к Китаю повел его от событий на ленских приисках дальше в глубь веков, к восстанию Ван Луня. А в результате сама тема будущей книги передвинулась из сферы актуальной критики в сферу историческую, от политических проблем к проблемам религиозным.

Ван Лунь – фигура историческая; восстание, которое он возглавлял, в действительности произошло в 1774 г[1]. Это восстание было одним из звеньев в длинной цепи еретических движений, которые исстари захлестывали северные провинции Китая. Учение об *у-вэй*, «недеянии», восходит к Лаоцзы; доктриной определенной секты его сделал проповедник Ло Хуэй (умерший в 1647 г., в Пекине), чье имя в дёблиновском романе упоминает один из ораторов[2]. Приверженцы этой секты отказались от исполняемых священнослужителями ритуалов и культа изображений богов, то есть от всех атрибутов храмовой религии, казавшихся им ненужным хламом, и почитали в качестве единственного, лишенного идолов храма зримый мировой универсум. Горы и реки были для них богами, ветры и облака – благовонными каждениями, удары грома – священными барабанами, солнце и луна – праздничными светильниками, цветы и плоды, меняющиеся в зависимости от времени года, – приношениями, озера и моря – возлияниями. Члены секты не вкушали никакой мясной пищи, называли друг друга «братьями» и «сестрами» и образовывали тайное общество «тихих» – тех, кто посредством благочестивого смирения перед Дао, ниспосланной каждому судьбой, хотел обрести силу, чтобы вырваться из круга повторных

---

1 О восстании Ван Луня см.: J.J.M. de Groot, *Sectarianism and religious persecution in China* 296 f. [Amsterdam 1903]. Я благодарю за это указание синолога проф. д-ра Э.Х. фон Чарнера из Цюриха; сведениями, которые он любезно предоставил в ответ на мои вопросы, касающиеся романа Дёблина, я пользуюсь и в дальнейшем.

2 Подробнее о секте *У-вэй* см. в: De Groot 184 f.

рождений и найти путь к совершенству Нирваны. В этом мистическом учении о «Чистом пути» даосские и буддийские элементы соединялись с древними представлениями народной мифологии, что и делало его столь притягательным для самых широких масс. Нирвана понималась здесь не как место прекращения индивидуального бытия, но как потусторонняя обитель блаженства – «Западный Рай», «Вершина Царственного Великолепия». Приверженцы одной из ветвей этого мощного движения, «Белого Лотоса», почитали как свою покровительницу буддийскую богиню Гуаньинь; одним из посвященных ей ежегодных праздников была Переправа Божественной Матери в Западный Рай[1]. Описание этого праздника избавления, во время которого верующие просят Гуаньинь взять на свой корабль души любимых ими умерших и доставить их в край блаженства, является одной из вершин дёблиновского романа – у Дёблина праздник справляют члены вернувшейся к прежним верованиям секты «Расколотая Дыня».

Китайское правительство жестоко преследовало все такого рода секты, и не потому, что они исповедовали какие-то предосудительные взгляды: просто считалось, что любая нетрадиционная форма благочестия представляет опасность для конфуцианской концепции божественной власти императора. Императорский указ 1724 г. требовал беспощадного искоренения возродившихся в тот период еретических движений, прежде всего «Белого Лотоса» и христианства. А полстолетия спустя в провинции Чжили были разгромлены приверженцы Ван Луня, благодаря которому в тех краях вновь расцвела секта *У-вэй*. Сектанты оказывали вооруженное сопротивление и, совершив поход на север, поставили под угрозу возможность плавания по Императорскому каналу – важнейшей водной артерии, обеспечивавшей снабжение Пекина. Мятежников разбил – всего за один месяц – великий канцлер, которому император поручил эту миссию; после нескольких кровавых сражений в городе Линьцин на Императорском канале разыгралась последняя битва, которая кончилась уничтожением всех мятежников. Эти

1 Об этом празднике см.: De Groot 222 f.

события и нашли отражение в романе Дёблина. В общих чертах и во многих конкретных деталях (например, в описании визита таши-ламы к императору или гибели Ван Луня) роман согласуется с тем, что говорится в подлинных источниках, – но при этом связывает религиозный фон восстания с политическим мотивом и вообще основывается на свободной фантазии. Отдельные персонажи и сцены, изображение возникновения и внутреннего развития созданного Ван Лунем союза нищих прежде всего зримо представляют некий конфликт, который мучил молодого Дёблина. «Прыжки» Ван Луня – это разные решения, колеблющиеся между приятием и отвержением мира, между яростным протестом и безропотным смирением. Вопрос о приятии или отвержении мира чрезвычайно волновал и самого Дёблина. Эту главную мысль своего романа он не заимствовал из китайских источников.

Сын рыбака Ван Лунь, мальчик богатырского сложения, наделенный к тому же необыкновенной ловкостью и хитростью, подрастая, приобретает навыки вора и грабителя, убегает из дома, зарабатывает себе на жизнь, помогая обманщику-бонзе, своего рода коварному городскому шуту, и однажды оказывается выброшенным из привычной колеи, потому что становится свидетелем того, как под саблями полицейских гибнет ни в чем не повинный человек. Эта вопиющая несправедливость отнимает у него душевный покой; он, не находя себе места, бродит по окрестностям города и, в конце концов, задушив виновника происшедшего, командира военного отряда, бежит в горы, на перевал Наньгу, где проводит зиму с бродягами и в хижине отшельника Ма Ноу, беглого буддийского монаха; там он внезапно осознает, что его месть была ложным шагом. Мягкосердечные идолы Ма Ноу, в том числе хрустальная Гуаньинь, потрясают воображение разбойника Ван Луня, который прежде разделял только народную веру в демонов, нашептывают ему, что человек не вправе никого убивать, что только тот, кто не противится судьбе, обретет блаженство. «Не действовать; быть как прозрачная вода – слабым и уступчивым; соскальзывать, подобно лучу света, с каждого древесного листа». Эта идея о силе слабости

переворачивает душу Ван Луня, его страдание от несправедливости мира оборачивается страстным самоотречением. Он погружается в бездну отчаяния, но благодаря этому обретает таинственную силу. Ма Ноу отказывается от своей монашеской практики «погружений» и становится учеником Ван Луня; вокруг Вана собираются бродяги, благоговейно слушают его речи, в которых он истолковывает их бедность как благо, их бессилие – как присущую только им силу. Так у перевала Наньгу рождается движение «поистине слабых», увлекающее за собой Ван Луня, который этому противится. Все более полноводный поток изгоев, неудержимо притягивающий к себе всех страждущих и разочарованных, катится – поддерживая свое существование молитвами и сбором милостыни – по провинции Чжили. Он чреват опасными – из-за их неопределенности – надеждами: часть этих мечтателей наивно верит в грядущее чудо, другие чуть ли не обожествляют Ван Луня, которого считают колдуном и надеются с его помощью обрести сверхъестественные силы; а после того, как к движению присоединяются и женщины, принцип *у-вэй* начинает истолковываться превратно – как обещание земного рая. И пока Ван Лунь пытается добиться поддержки со стороны «Белого Лотоса», чтобы обеспечить для пестрого сообщества своих последователей хоть какую-то опору, отшельнику Ма Ноу, поначалу вопреки его воле, навязывают роль вожака. Приверженцы Ма Ноу, называющие себя «расколотыми дынями», отделяются от основной массы сектантов, отвергают обет целомудрия, вводят у себя институт священной проституции и оказываются втянутыми в движение мятежников, преследующих политические цели. Они бросают вызов судьбе и в итоге становятся ее жертвами: участвуя в оргиастических празднествах, они верят, что достигнут Западного Рая, но на самом деле их ведут на бойню. После нападения на них вооруженной банды эти обманутые ищут прибежища в монастыре, который монахи предоставляют им во временное пользование, но там подвергаются нападению со стороны императорских войск и несут огромные потери. Чудовищная бойня в монастыре становится поводом для народного восстания, и Ма Ноу вместе со

своими последними приверженцами создает теократическое царство – которое очень скоро гибнет в результате нового военного нападения. Ван Лунь, которого такой поворот событий приводит в отчаяние, вновь становится преступником и отравляет колодцы в той части города, где последняя горстка «расколотых дынь» заперлась в ожидании заключительной атаки солдат: он делает это, чтобы обреченные на неминуемую гибель люди встретили свою смерть в состоянии счастливого опьянения, воспринимая ее как Переправу в Западный Рай. Власти узнают о поступке Ван Луня, но попытки разыскать его ни к чему не приводят: к тому времени он уже живет под другим именем, как рыбак, в одной из южных провинций.

Теперь место действия перемещается, и мы видим главного противника сектантов, императора – человека, который высоко вознесен над судьбой, перемалывающей жизни бедняков. В его личности небо и земля как бы уравновешены; символ его не подвластного времени величия – гигантская черепаха, которую император благоговейно угощает травой в одной из сцен романа. Императора Цяньлуна беспокоит нарушение мира в стране, которое, как ему кажется, объясняется тем, что предки недовольны его правлением; он просит тибетского таши-ламу, представителя несовершеннолетнего далай-ламы, посетить его, императора, – так как хочет получить совет. Святой приезжает в сопровождении большой свиты, однако беседы с ним приносят императору разочарование, поскольку таши-лама не одобряет преследования еретиков и советует пощадить тех из них, кто остался в живых. Император злится на своего гостя и втайне торжествует, когда тот внезапно умирает от оспы, – но вскоре для него становится очевидным, что империя действительно больна. Некие лица при дворе с помощью колдовства совершают покушение на жизнь императора, и это приводит в еще большую растерянность и без того не уверенного в себе государя. У него происходит помутнение рассудка, и в припадке отчаяния он пытается покончить с собой, в то время как в провинции Чжили разгорается пламя все еще не подавленного мятежа. Выздоравливающий император поддается уговорам сановников

из своего окружения, приходит к выводу, что он должен истребить повстанцев, чтобы примириться со своими предками, и издает приказ о полном искоренении мятежа. Ван Луня же тем временем разыскивают его сторонники – и после сильного внутреннего сопротивления он соглашается принять на себя ответственность за судьбу основанной им, а ныне гонимой секты. Теперь он превращается в демона мести, вооружает своих людей и заключает тайный союз с «Белым Лотосом», черные знамена которого будут развеваться над его – Вана – последней битвой. Отныне целью движения становится изгнание иноземной Маньчжурской династии и восстановление почитаемой в народе Минской династии; этот лозунг находит отклик у всех – начиная от императорских гвардейцев и кончая страдающими от засухи крестьянами. Ван Лунь отказывается от своей прежней идеи, потому что жить в соответствии с принципами «истинно слабых» невозможно, и опять впадает в неистовство сопротивления. Его союз нищих, разрастаясь, превращается в революционное движение: Ван, как до него Ма Ноу, хочет основать теократическую империю; его войска штурмуют Пекин, но им приходится отступить из Императорского города, и в конечном итоге они оказываются запертыми в городе Линьцине. Допрашивая одного преступника, Ван внезапно осознает свою ошибку. Уже в канун неминуемой гибели он переживает вторичное обращение. Ван вновь возвращается к духу *у-вэй*, вновь находит адекватный этому духу язык: «Они [императорские солдаты], живущие в лихорадочном возбуждении, завоевывают чужие страны и вновь их теряют; все это суета, ничего больше». Среди сектантов начинается опьянение сознанием близости общей мученической смерти – единственное доступное для них счастье. В осажденном городе справляется праздник Переправы Гуаньинь, потом императорские войска уничтожают секту *У-вэй*.

«Было ли это хорошо? Как должен я понимать свою жизнь?» – спрашивает Ван Лунь незадолго до окончательной гибели секты у Желтого Колокола, своего благородного друга. Нет, это не было хорошо, это – трагедия. Таков смысл той похожей на притчу сцены, в которой Ван Лунь, трижды перепрыгивая через ручей,

объясняет Желтому Колоколу свою жизнь: прыжок из существования, полного насильственных деяний, в смиренное «недеяние», которое вскоре стало невозможным по вине «расколотых дынь»; второй прыжок – обратно в обычное бытие, в котором Ван Лунь, ценой своей слепоты, был счастлив; третий прыжок – к гибели под ударами могучих сил этого мира. Каждый из прыжков был отказом от чего-то, и третий оказался самым тяжелым: осознанным прыжком в смерть. Протест Ван Луня против мирового потока не мог не угаснуть, как пламя свечи в бурю. Последняя сцена, в которой Хайтан, потерявшая детей супруга победоносного военачальника, совершает паломничество к храму Гуаньинь и тщетно пытается заставить богиню отмстить за ее, Хайтан, горе, еще раз подчеркивает трагизм случившегося. Сценой паломничества и заканчивается круг образов этой книги, которая обрывается вопросом: «Быть тихой, не противиться – сумею ли я?»

«Ван Лунь» – результат встречи Дёблина с даосизмом. Дёблин знал Лаоцзы, Чжуанцзы и других создателей даосского монизма прежде всего по переводам классических произведений китайской философской и религиозной мысли, выполненным Рихардом Вильгельмом[1]. В 1911 г. была опубликована «Истинная каноническая книга прорыва в пустоту», написанная Лецзы, которому посвящен «Ван Лунь». Из 29-й главки «Дао Дэ Цзина» происходят слова, которые стали лейтмотивом романа: «Кто действует, сильно желая завладеть вселенной, тот никогда не достигнет желаемого, потому что вселенная есть божественное орудие, поэтому распоряжаться ее судьбою никто не вправе». Обращаясь к учению о «недеянии», Дёблин выступает как абсолютная противоположность всей современной социалистической мысли. Его китайский роман, несмотря на содержащийся в нем революционный заряд, представляет собой вовсе не обвинение, но жалобу –

1 Дёблин довольно хорошо знал и Конфуция; в 1940 г. он опубликовал в американской книжной серии «Живые мысли Конфуция» («The living Thoughts of Confucius» [bei David McKay Co., New York]) некую подборку текстов, но сам, естественно, написал только предисловие к ней.

причем такую, которая в принципе не обращена к какой-либо человеческой инстанции. Правда, описывая борьбу между императором и возглавляемым Ван Лунем воинством нищих, Дёблин выражает собственную точку зрения лишь косвенным образом, в завуалированной форме. Он показывает величие учения Лаоцзы, но одновременно и его несовместимость с существованием в этом мире. В отличие от того, что сделал Достоевский в романе «Идиот» или Герхарт Гауптман в романе 1910 г. «Юродивый Эммануэль Квинт», Дёблин в первую очередь показывает не личность вероучителя-еретика, но его влияние на массы. Идеи Ван Луня излагаются на удивление поверхностно, как бы вскользь, а сам он как персонаж на больших отрезках повествования вообще исчезает, уступая место картинам развязанного им движения, – и, по сути, не имеет лица. Истинный герой книги – не он, но созданный им союз «поистине слабых».

История Ван Луня стала первым произведением, в котором Дёблин вывел коллективного героя; с тех пор он все более дерзко экспериментировал в этом направлении, пока в конце концов не усмотрел в таком методе предательство по отношению к человеку. В «Ван Луне» содержатся массовые сцены, подобных которым в немецкоязычном романе до Дёблина не было: справляемый «расколотыми дынями» экстатический праздник Переправы Гуаньинь; их оргии у болота Далоу и в столице основанного ими царства; нападение императорских войск на занятый ими монастырь и их агония в Монгольском квартале Яньчжоу; наконец, штурм Пекина и другие страшные этапы гибели воинства Ван Луня. Стихия человеческой массы, которая со времен натурализма подмывала позиции прежнего литературного героя, масштабной и неповторимой личности, в этих сценах понимается уже не просто в количественном смысле, но как нечто, придающее происходящему новое качество. Возникновение секты Ван Луня, ее распространение по всей провинции трактуются как биологический процесс в теле китайской земли, китайского народа, и эта идея демонстрируется наглядно – посредством шокирующе неэстетичных картин. Вторая книга романа начинается словами: «Как фейерверк, взметнулся лозунг *у-вэй* над западным Чжили;

просвистел в воздухе, эхом отозвался в горах. Западному Чжили ревматически занеможилось – потянуло в локтевом суставе, в плечах, в подъеме ноги; и в зубе болезненно дергало, и над левым глазом покалывало». Роман изобилует подобными образами и сценами, показывающими жизнь как океанический единый поток всех одновременно происходящих событий, как «Тысячерукое-Тысяченогое-Тысячеголовое» божество, к которому и обращены языческие книги Дёблина. Китай околдовал Дёблина не только как религиозное откровение, но и как социальная действительность: как человеческое море с многонаселенными городами, как наглядный образец человеческой массы. Ван Лунь, сам того не желая, пробуждает в своих приверженцах также и новые социальные ожидания, его союз рождается из тоски и надежд неимущих; быстрое распространение этого движения представляет собой массовый процесс с опасной политической направленностью, а его гибель означает утрату надежды на возможность добиться для обездоленных лучшей участи. Ужасные сцены, изображающие конец «Расколотой Дыни», похоже, интересовали Дёблина только как пример коллективной катастрофы. Однако другие сцены – буйства орд сторонников Ван Луня в городе Шаньхайгуани – показывают, что даже тысячерукий будда, воплотившись в образе неистовствующей толпы, забывает об учении *у-вэй* и, подобно Ван Луню, оказывается вовлеченным в движение особой стихии: человеческой массы.

Дело в том, что одной из тем книги является глубинное тождество Дёблина и его главного героя. Ван Лунь, этот пария, который собирает вокруг себя всех обездоленных и, выступая в качестве их защитника, потрясает основы Срединной империи, есть не что иное, как завуалированный, идеализированный дёблиновский автопортрет. Он открывает собой ряд похожих персонажей, центральных для последующих романов Дёблина: персонажей, в которых внимательный читательский взгляд распознаёт виртуозно замаскированные отражения самого автора. Создавая образ мятежника из Хуньганцуни, Дёблин продумал до конца свою собственную проблему – но так и не смог ее решить. Сам он тоже страдал от ударов судьбы, знал и состояния мистической

отрешенности от мира, и вообще был своего рода Тилем Уленшпигелем, за шутовскими выходками которого «таится нечто сакральное». Он тоже пытался превратить клеймо бедности в знак избранничества – чтобы оно, это клеймо, не стало опасным; он тоже был мятежником, которого мучили сомнения в осмысленности бунта, тоже колебался между активной и пассивной жизнью, между позициями борца и созерцателя, между неистовой яростью и смирением. Надев маску своего китайского двойника, он осознал неразрешимость терзавшей его дилеммы, тогда как прежде не был к этому готов. Ведь и «прыжок» Ван Луня навстречу гибели, гибели в борьбе, по существу ничего не решает. Правда, Ван Лунь избирает совместную мученическую смерть «поистине слабых» как последнее оружие, посредством которого он надеется победить императорскую власть, посеять в человеческих душах неискоренимые семена учения *у-вэй*. Мысль о том, что не способная к сопротивлению вода подтачивает даже скалу, есть плод подлинной политической мудрости, и Ганди с успехом применял ее на практике. Однако Дёблин изображает конец Ван Луня и его сторонников не как триумф, но как блаженство отчаяния. Эту сцену можно понимать как предсказание о трагическом финале классовой борьбы, но также и как предвестие последнего решения самого Дёблина: решения подчиниться неисповедимой воле Господней.

И все же желание автора разобраться в самом себе тоже нельзя считать самым глубоким слоем замысла книги. По сути, «Ван Лунь» – не религиозный, не социальный, не политический и не автобиографический роман. Все эти темы – только сверкающие разноцветные блики на той волшебной мантии, в которую облачен Дёблин, каким мы его видим здесь. Сама же волшебная мантия – это его неподражаемая фантазия. В решении поместить действие романа в китайский контекст таились неисчерпаемые возможности эстетической игры, и Дёблин с такой готовностью шел им навстречу, что центр тяжести книги целиком переместился из сколько-нибудь реальной, «вещной» сферы в сферу чистых форм. Вместо исповеди получилась фантасмагория. Насколько пластично выписаны отдельные сцены, настолько же фрагментарно, соткано из беглых намеков, местами похоже на игру

целое. Даже поход «поистине слабых», несмотря на наличие массовых сцен, не представлен зримо, в образах. Исторический фон обрисован на удивление плохо, мотивы действий часто остаются неясными, потому что объяснены слишком кратко. Этот роман – гениальная мистификация художника, наделенного редкой фантазией, который легкими мазками кисти запечатлевает судьбоносные вопросы своей эпохи и собственного существования, а потом дает им отлететь прочь, как роскошно переливающимся мыльным пузырям, и не подозревает, что когда-нибудь они вернутся, чтобы смертельно ранить его самого.

До конца серьезен автор этой книги был лишь в стремлении бросить вызов бюргерскому искусству начала двадцатого столетия. Как произведение искусства «Ван Лунь» представляет собой одну из величайших провокаций, в которых – как в ранней прозе Кафки или в стихах Георга Тракля – закладывались основы языка экспрессионистической литературы. Дёблин и о современном ему искусстве думал по-революционному, видел в нем «забаву для обеспеченных людей» и хотел посредством своей китайской ереси вышибить литературу из традиционных для нее рамок. Конечно, герой романа – исторический персонаж, да и Китай для Дёблина всегда оставался чудовищной реальностью, но в данном случае они понадобились ему прежде всего для опровержения всех европейских понятий, и особенно – всех западных представлений о красоте. «Верные слова не изящны. Красивые слова не заслуживают доверия», – говорится в последней главке «Дао Дэ Цзин». Дёблин тоже предпочитает говорить об уродливом, чтобы не пройти мимо правды. Его проза – вызывающе нелитературная, пугающе жесткая и холодная, лишенная ритма и мелодики (хотя в ней встречаются великолепные куски, отклоняющиеся от этого общего принципа). Она производит странное впечатление также из-за ничем не ограниченного, некультивированного, отчасти плебейского словарного запаса, который включает в себя, среди прочего, современный тривиальный сленг, – а при каждом удобном случае еще и демонстрирует свою несовместимость с любыми формами красноречия. Всех тонов, затрагивающих, так сказать, чувствительные

струны души, Дёблин избегает, все привычные образы заменяет непривычными, часто – грубыми. С безжалостной резкостью высвечивает он инстинкты китайского «массового человека», подчеркивает и странные для европейца черты китайцев: «Десять бритых голов с косичками на затылках сдвинулись, поднялся радостно-испуганный ропот». Особенно карикатурное впечатление производят сцены, показывающие веру китайцев в демонов, которой Дёблин уделяет преувеличенно большое внимание, и авантюрную возню вокруг даосских и буддийских святилищ. Читателю кажется, будто автор знает Китай досконально: со всеми его притонами, обычаями, запахами, дворцами и хижинами, многолюдными рынками и питейными заведениями.

Однако не может быть сомнения в том, что мы здесь имеем дело с чистой фантазией, с вымышленным миром. В «Ван Луне» нет объективных описаний, чужая реальность просто «цитируется» магически-произвольным образом, посредством использования ее знаков и имен. Поскольку Дёблин не знал китайского языка, он никак не мог избежать ошибок: в описании обычаев, в интерпретации обиходных речевых оборотов, вообще в понимании «специфически китайского». Даже имена он не всегда транскрибирует правильно (например, везде пишет «Чакьямуни» вместо «Шакьямуни», начиная это имя с заглавной С вместо Ç). Но он не очень заботился о строгой научной достоверности, ибо добивался нужного ему необыкновенного эффекта именно за счет смешения достоверных фактов с порождениями своей фантазии. Такой метод придает наколдованному им Китаю видимость осязаемой реальности, сохраняя обволакивающую все предметы дымку загадочности. Вещи называются их китайскими именами, но сами эти имена не объясняются. Некоторые многократно употребляемые слова (*даотай, дусы, цзунду, ямэнь, гаолян* и прочее), такие имена, как Майтрейя и Амитаба (обозначения Будды), обычаи вроде поднимания косички на затылок – все это нигде не объясняется. «Иное» обольщает именно потому, что остается наполовину непонятым. На него смотрят снаружи, а не изнутри, и его «инаковость» часто даже намеренно подчеркивается. Люди, предметы, события – их отдельные детали

ярко вспыхивают, выхваченные чьим-то зорким взглядом, но сами они не обладают трехмерной телесностью, а остаются подвижными цветными тенями. Особенно массовые сцены с типичным для них безумным мельтешением фигур производят впечатление галлюцинаций, однако такое же ощущение часто возникает и при чтении более спокойных отрывков.

Галлюциногенные свойства присущи и языку романа. Отдельные предложения слабо связаны друг с другом, они как бы пребывают в свободном парении, колышутся – и потому легко забываются, подобно ярким образам из сновидений. Некоторые фразы сформулированы столь небрежно, что остаются неясными; другие, похоже, были написаны в состоянии транса, а после намеренно не правились. Особенно примечательно многообразное, характерное для Дёблина на протяжении всего его творческого пути отображение не произносимой вслух, а только внутренне переживаемой речи. Этот прием снимает различие между внутренним и внешним миром, то есть лишает реалистический стиль его главной опоры; а сверх того, и на изображаемый таким образом внутренний мир Дёблин смотрит совершенно по-новому – взглядом врача. Вот, например, как он описывает в начале романа созревание у Ван Луня мысли об убийстве: «... маску ведь можно напялить на голову *дусы*, задушить его, отбросить мертвое тело прочь. Хорошая идея. Ван был счастлив. Напялить маску на *дусы*, а самому потом – прочь. Напялить – и сразу прочь, прочь». При изображении реальных событий приближение синтаксиса к примитиву достигается за счет пропуска логических связок, прежде всего союза «и». Так возникает нечто вроде архаической формы предложения, удовлетворяющейся простым называнием, перечислением вещей и явлений. «Мелькание фонарей между угольно-черными стволами. Хруст веток, приглушенные голоса, зевота, потягивания, топот, толкотня». Этот предельно сжатый, обрывочный стиль достигает кульминации в военных эпизодах и сценах массового экстаза. «Тишина, затаившие дыхание зрители. Гигантские театральные подмостки, визг связанных сестер, обнаженные нежные тела, палки, с треском обрушивающиеся на головы братьев, рев, конский топот, хныканье больных, пустая

равнина, дождь». По всему роману разбросаны подобные куски, вплоть до эпизода паломничества Хайтан в самом его конце: «Освещенные солнцем зубцы гранитных утесов. Сновидческие, погруженные в себя ландшафты. Стройные колонны пальм, и над ними звонкие птичьи голоса. Камелии – десятками, сотнями тысяч. Пруды, выдыхающие пар, и лотосы на воде. Среди кустарника, за каменистой тропой, – храм у подножья горы. Туго натянутое небо». Такая повествовательная манера легко вырождается в манию, особенно в «Валленштейне» и в «Горах, морях и гигантах», где Дёблин утомляет читателя нагромождениями «голых предметов» и минималистских высказываний, в результате чего у него получаются не наглядные картины, а водопады из чуждо звучащих слов. В «Ван Луне» он еще не заходит так далеко. Сравнение окончательного текста с его источниками показывает, что Дёблин, к примеру, намеренно ограничивал себя в использовании китайских выражений и имен. Волшебство дёблиновского китайского романа заключено в особенностях его стиля: он весь – как акварельный рисунок с редко разбросанными цветовыми пятнами. Легкая рука мастера подгоняет один образ к другому, создавая переливающееся яркими красками видение нереального мира. Здесь мы сталкиваемся с искусством околдовывания, с шаманской поэзией.

«Магичность» стиля проявляется также в избыточном изобилии и в самом характере художественных образов. Эти образы тоже взрывают все литературные конвенции и несут в себе нечто небывалое, неслыханное. Вот, например, как описываются прогулки Ван Луня на берег моря: «Часто по утрам море ядовито поглядывало на него мутно-желтыми глазищами, выхаркивало комки мокроты, недовольно ворчало. Но потом все-таки меняло свой серо-черный наряд на другой, пурпурный, – царственно роскошный. Под свежим ветром гордо неслись к берегу волны – колесницы, запряженные жеребцами в сверкающей сбруе...» В этом пристрастии к барочному изобилию метафор Дёблину не всегда удается избежать «холостого хода». Но в романе встречаются и такие места, где читатель переживает конец реалистического повествования, сталкиваясь с каким-то иным

законом формотворчества. Это происходит там, где чувственные ощущения описываются не ради них самих, но превращаются в образы-знаки, в зримые символы, и соединяются в такую мозаику, которая отображает уже одну только духовную сферу. Вот, например, что сказано о ландшафтном контексте оргий у болота Далоу: «Угольно-черные глыбы ночи медленно расползались в стороны. Серый газ просачивался в щели, раскалывал ночь на куски, кусок за куском исчезал. И из тьмы выступили катальпы – бараны, нагнувшие рога». Здесь ландшафт как будто целиком заменен образами, передающими чувственные ощущения, – а в удивительном отрывке, который я сейчас процитирую, он замещен человеческой фигурой: «...к тому же погода была великолепная, набрякшая снегом: словно ребенок наклонился над пропастью, и шелковые покрывала, тонкие шали округло выгибаются, раздуваемые ветром, над его головой; и ты видишь только эти колышущиеся ленты, полотнища, пестрые матерчатые пузыри, но между ними мелькают, как тебе кажется, еще и хитрый веселый взгляд, и хлопок в ладоши, а нос твой с жадностью втягивает воздух, пропитанный ароматом имбиря». В таком же символически-абстрагирующем стиле изображены «гигантский, беснующийся на ветру цветок мака» – охваченный пожаром Пекин – и битва под Инпином, происходящая во время грозы: «Из черного воздуха на невидимом шнуре свисал – висел над обеими армиями – гигантский гонг, его удары раззадоривали противников. Два снежных барса прыгнули друг на друга».

Сталкиваясь с чем-то подобным, ты понимаешь, что отречение от красоты в «Ван Луне» не абсолютно. Оно лишь порождает иную красоту, которая вбирает в себя бесформенное, пугающе непривычное и уродливое, чтобы опять обрести способность тревожить человеческие души. Несмотря на свой жесткий и холодный стиль, «Ван Лунь» остается произведением, красота которого доставляет блаженство, – остается еще наполовину романтической, грандиозной китайской сказкой. Дёблин наверняка и сам какое-то время жил в этой сказке как в заколдованном царстве. Ее чары сильнее всего действуют в сценах, связанных с императорским двором, – самых далеких от

первоначального замысла романа. Здесь оргии масс находят противовес в сверхчеловеческих личностях императора и таши-ламы, которые приковывали к себе внимание Дёблина прежде всего в силу их непроницаемого величия. Эти дворцовые эпизоды отличаются ювелирной отделкой, они будто хотят превзойти экзотическое великолепие неоромантизма, каким он предстает, скажем, у Гофмансталя. Это особое, изысканное искусство, к которому Дёблин прибегал, например, рисуя портрет больного императора: «Они, тяжело дыша, с трудом влачили свои тела между пальмами и кактусами, прогуливались туда и обратно. Серебристый фазан гордо расхаживал по обрызганным водой мраморным плитам, каждый раз переставляя красные лапки как бы в силу внезапно принятого благого решения, и церемонно выгибал иссиня-черную шею, красовался блеском переливчатых перьев». Описывая разговор императора с Суном и Ху по поводу поэтического искусства, Дёблин демонстрирует глубокое понимание эстетических проблем, и те слова, которые император говорит таши-ламе, можно с полным основанием отнести к самому автору романа: «Я – владыка величайшей империи мира, и я не собираюсь превращаться в кого-то еще. Я родился как Сын Неба и умру на Драконовом троне». Автор «Ван Луня» тоже пока ощущает себя в безопасности на «Драконовом троне» Фантазии. Этот Китай, несмотря на свою осязаемую отчетливость, все-таки не что иное, как греза, в которую его создатель бежал от действительности. Результатом другого подобного бегства, в ходе которого перепутывались разные континенты, сплавлялись в единое целое интуитивные прозрения и плоды научных изысканий, когда-то стал «Западно-восточный диван»; а через несколько лет после написания этой книги Гёте высказался о ней так: «Все восточное, что там есть, как и то, что относится к порывам страсти, уже перестало во мне существовать; осталось, как сброшенная змеиная кожа, лежать на дороге».

Дёблин рассказывает в «Судьбоносном путешествии», как среди ужасов 1940 г., лёжа на нарах во французском бараке для беженцев, он с неудовольствием вспоминал о своей прежней писательской деятельности: «Странная это штука, сочинительство.

Я никогда не принимался за него прежде, чем замысел достигал определенной степени зрелости, что случалось, когда он представал передо мной в речевом облачении. Когда же такой образ появлялся, я, наконец, отваживался вместе с ним, моим лоцманом, покинуть гавань – и очень быстро замечал стоящее на якоре судно, большой океанский пароход; я поднимался на его палубу, пароход отчаливал, и я оказывался в своей стихии: путешествовал и делал открытия; лишь спустя много месяцев я возвращался домой из такого большого путешествия, насытившись впечатлениями, и мог снова ступить на землю. Мои путешествия при закрытых дверях переносили меня в Китай, в Индию, в Гренландию, в другие эпохи, даже за пределы времени. Что за жизнь!» В послесловии 1948 г. к изданию его избранных произведений Дёблин сравнивает уже написанные им книги с каменным зданием, отделившимся от собственной материальной сущности, вид которого вызывает у него, автора, ощущение легкой тошноты. «Характерной для таких периодов была особая предрасположенность, особая "аура". Она наделяла меня ни на что не похожим знанием, своего рода ясновидением. Что знал я о Китае или о Тридцатилетней войне? Я жил в этой атмосфере только в те короткие промежутки времени, когда писал. И тогда – назойливо, упруго – передо мной возникали целые пластичные сцены. Я хватал их, описывал – и стряхивал с себя. И видел, что они уже запечатлены черным по белому. Я радовался, что мне больше не придется иметь с ними дело».

Процесс этого демиургического творчества в случае «Ван Луня» можно достаточно хорошо проследить по оставшимся после Дёблина бумагам. Они показывают: картина, нарисованная самим Дёблином, – неполная, поскольку он умолчал о том, что занимался предварительными изысканиями, а потом очень тщательно работал над рукописью. Где пролегала граница между знаниями и интуицией, сейчас установить невозможно; да и о той быстроте, с которой он освоил гигантский объем материала, мы можем судить лишь по косвенным данным. Он обладал необыкновенной способностью погружаться – вживаться – в чужие миры, и впервые в полном объеме применил ее именно при написании

«Ван Луня». Газетной заметки о восстании на сибирских золотых приисках в архиве Дёблина не обнаружилось, однако другой, сохраненный им газетный лист от 1 августа 1912 г., с заметкой о подавлении мятежа в горах Месопотамии, показывает, что и к моменту начала записывания текста автор еще помнил о том актуальном событии, которое стало первым толчком для создания романа. Процесс погружения Дёблина в китайский мир нашел отражение в отчасти сохранившихся выписках из специальной литературы, которые делались карандашом, химическим карандашом или чернилами на разрозненных листах бумаги, иногда – на больничных и библиотечных бланках или на конвертах. Дёблин – часто с педантичной точностью – составлял для себя заметки о встречающихся в Китае животных, растениях, драгоценных камнях, ландшафтах, городах; о культе Конфуция, об одеяниях священнослужителей и о ритуальной утвари; об одежде монахов и солдат; о танцах, играх, музыкальных инструментах, лекарственных средствах; о специальных терминах, употребляемых в речи лекарей и военных. Он конспектировал описания храмов и праздников, религиозных обрядов и верований, отмечал для себя конкретные детали, касающиеся административного управления провинциями, должностей и титулов, системы государственных экзаменов и ученых степеней, положения евнухов при императорском дворе. В его архиве сохранилось несколько скопированных от руки, тушью, географических карт. По отмеченным им названиям видно, что он пользовался историческими и географическими работами, а также отдельными выпусками востоковедческих и этнографических журналов, в которых находил нужные ему сведения о театральных постановках, оружии и т.п. Один двойной лист сплошь заполнен колонками китайских имен, на другом выписаны поговорки, на третьем – изречения Лаоцзы, тут же можно обнаружить листки с цитатами из Ли Бо, Чжуанцзы и других китайских классиков. Имеются карточки и с цитируемым в романе стихотворением Цяньлуна, записанным на чайной чашке, и с текстом песни на стихи Ду Фу. Сохранились конспекты неназванных источников с описаниями императорских покоев и города-монастыря Ташилунпо, резиденции таши-ламы (в обоих

случаях приложены архитектурные планы). Дёблин собрал гораздо больше материалов, чем потом использовал, видимо, потому, что первоначальный замысел в ходе работы менялся. Он любил факты и исторические документы ради них самих; это видно, например, по остаткам маленькой записной книжки с алфавитным регистром: на ее страницах он записывал все мыслимые «ключевые слова», часто с указанием источника, чтобы при необходимости быстро найти то, что ему понадобится. Насколько глубоко он погружался в детали, показывают, например, выписанные им изречения из «Книги тысячи шестидесяти восьми слов» (которая упоминается в романе и из которой он заимствовал образ «Расколотой Дыни»), или цитируемые в «Ван Луне» строки из подлинного письма Цяньлуна таши-ламе – оно воспроизводилось в старых отчетах английской дипломатической миссии. По сохранившимся заметкам можно установить, какой литературой пользовался Дёблин, хотя они не всегда содержат отсылки на авторов конспектируемых работ. Очевидно, что очень полезной оказалась для Дёблина книга Вильгельма Грубе «Религия и культ у китайцев» (Лейпциг, 1910), откуда он заимствовал множество подробностей (например, в сцене похорон Су Гоу или в описании храма городского бога); кое-что взял он и из другой книги Грубе, «Пекинские народные обычаи» (скажем, детскую песенку о лотосах-лампадках и описание праздника поминовения умерших). Из книги К.Ф. Кёппена о ламаистской иерархии (Берлин, 1859) Дёблин делал пространные выписки, среди прочего и о визите ташиламы в Пекин. К числу важных для него источников, видимо, относились и работы Де Гроота: зловещая история о нефритовой кукле, двойнике императора, выписанная Дёблином на отдельном листке, приводится в пятом томе книги Де Гроота «Религиозные системы Китая». Представление Дёблина о значительной роли богини Гуаньинь, возможно, восходит к книге Эрнста Бёршмана «Путошан, священный остров Гуаньинь, богини милосердия» (Берлин, 1911), которую он знал; в книге подробно описывается тот самый южный остров, с которого в дёблиновском романе убегает отшельник Ма Ноу и к которому в заключительной сцене совершает паломничество Хайтан. Изучая классические

работы по синологии, Дёблин не пренебрегал и рассказами путешественников: так, в туристическом буклете «Из Китая» он нашел сведения о боях сверчков и перепелов.

Но обнаружив источники Дёблина, мы только узна́ем, откуда он черпал свое «сырье»: без искры костер никогда бы не вспыхнул, весь ворох собранных сведений остался бы лежать мертвым грузом. Плоды чтения лишь давали пряжу, из которой его фантазия, пребывая в особом состоянии, которое можно назвать «трезвым опьянением», ткала свой ковер: повествование о «поистине слабых». В период глубокой сосредоточенности, когда записывался текст романа, разрозненные фрагменты мгновенно соединялись в калейдоскопические картины, где каждая деталь занимала подобающее ей место. Китайские реалии и имена и сейчас сбивают читателя с толку: они возникают слишком неожиданно, без объяснений. И все же было бы ошибкой комментировать непонятные слова – разрушать их колдовские чары; читатель сам постепенно научается понимать их в той мере, в какой это необходимо. Вторую фазу создания романа тоже можно проследить по архивным документам. Дёблин сперва упорядочил материал, то есть сделал эскиз книги, «ключевые записи». Они трудно читаются, изобилуют стенографическими знаками, написаны с использованием разных писчих материалов и сохранились лишь в виде фрагментов: такой, наверное, и была та рукопись, которую Дёблин создавал в промежутках между своими врачебными обязанностями. Она легла в основу второй, беловой рукописи, которая написана ровным почерком, со сравнительно редкими корректурами, и сохранилась практически полностью. Эта рукопись начинается со сцены, не вошедшей в печатное издание, в которой Дёблин пытается дать историческую экспозицию (нынешнее дерзкое начало он, следовательно, придумал позже) и содержит еще некоторые не вошедшие в печатный текст куски; оба описания оргиастических празднеств «расколотых дынь», а также отдельные дворцовые сцены и пр. позже были сильно сокращены, а вся рукопись несет на себе следы сплошной стилистической правки. Тем не менее, и в своем окончательном виде она во многих местах отклоняется от не сохранившегося в дёблиновском

архиве печатного текста; еще одна отчасти сохранившаяся копия рукописи, сделанная женой Дёблина, тоже имеет многочисленные стилистические отклонения, отличающие ее от других версий. Из «Автопортрета 1927 года» мы знаем, что рукопись «Ван Луня» долго блуждала по издательствам, «от города к городу, по всей обширной Германии».

На обороте одной из подготовительных карточек стоят – ни с чем больше не соотнесенные – такие слова: «Еврейский мотив: Изгнанник. Нар[од] как личность». Выходит, бродячее воинство «поистине слабых» напоминало Дёблину о странствовании израильского народа по пустыне, в теме человеческой массы для него скрытно присутствовал мотив судьбы избранного народа. В этом и заключается самый глубинный смысл его самоотождествления с китайским сектантом Ван Лунем. Сам не понимая, что делает, он уже в первом своем романе выразил неосознанный страх перед новыми блужданиями по пустыне, к которым его принудили в 1933 г. Прямая линия ведет от священного царства «Расколотой Дыни» к трилогии «Амазонки» – написанному в эмиграции эпосу об иезуитском государстве, которое было создано посреди джунглей; от «прыжка» Дёблина в Китай – к его финальному отречению от профанного искусства. Помешательство на этой последней идее было характерно чуть ли не для всех великих поэтов нашего столетия. Китайский роман Дёблина до сих пор остается живым, хотя и восстает главным образом против литературы кануна Первой мировой войны. В неукротимом буйстве его образов, в свойственной ему меланхолии уже угадывается беспокойный дух того человека, который однажды, по прошествии скольких-то лет, оценит это торжество собственной фантазии как бессмысленное наваждение...

Текст нашего нового издания в целом следует первому изданию 1915 г., но мы сверили его с рукописью и внесли многочисленные поправки[1]. <...>

1 Дальше до конца статьи объясняются принципы исправления погрешностей в немецком тексте романа. – *Прим. пер.*

Письма Альфреда Дёблина Мартину Буберу

Мартину Буберу

Берлин, 18. VIII. 12

Уважаемый господин,

Господин Эренштейн сказал мне, что Вы, возможно, разбираетесь в китайской религии и философии и тому подобном и что у Вас имеются книги по этой тематике. Я был бы Вам весьма благодарен, если бы Вы поделились со мной тем, что у Вас есть; я работаю над китайским романом и собираю любые так или иначе доступные мне материалы (особенно о сектах, о даосизме). Заранее благодарю.

С совершенным почтением,
д-р Альфред Дёблин
Берлин Блюхерштр. 18

Мартину Буберу

Берлин, 13. X.12

Уважаемый господин,

Я возвращаюсь к китайским делам, по поводу которых писал Вам, когда Вы были в Италии.

Ergo: я знал обе вещи, которые Вы мне порекомендовали. Но так как Вы человек сведущий, я бы хотел попросить Вас назвать мне еще какую-нибудь китайскую литературу (я с трудом ориентируюсь в большом каталоге Кордье). Для «находящегося в работе» романа (Вам, наверное, будет небезынтересно узнать, что он выйдет в начале 1913 г. в издательстве Георга Миллера в Мюнхене; там же в самые ближайшие недели или даже дни выйдет известный Вам том моих новелл) мне нужны всевозможные китайские подробности, гарантирующие правдоподобие. Все, что так или иначе было мне доступно, я уже прочитал. Но, возможно, многое упустил из виду.

Нравоописания, повседневный быт, проза, в особенности 18 века (период Цяньлуна): об этом, разумеется, мне хотелось бы узнать больше. Не знаете ли Вы каких-нибудь приличных биографий Цяньлуна? Я перерабатываю судьбу секты *У-вэй* (под предводительством Ван Луня); не известны ли Вам монографии об этой или подобных ей сектах)?

Я завалил Вас вопросами. Если отвечать письменно Вам кажется чересчур утомительным, быть может, я мог бы еще раз порасспрашивать Вас обо всем – как-нибудь вечером в Café des Westens или в другом удобном для Вас месте?

С почтением,
д-р Альфред Дёблин

ПЛОВЕЦ В ПОТОКЕ СУДЬБЫ:
о повествовательной стратегии Дёблина
(Татьяна Баскакова)

> ...голос Калафа страшно выныривал и тут же вновь пропадал...: однообразно гудело внизу народно-серое, всё перемалывающее море; в то время как на поверхности, наполовину уже задушенное, пыталось сопротивляться искусство.
>
> Арно Шмидт, *Каменное сердце*

> С точки зрения народной психологии, китайская народная религия в высокой мере поучительна именно тем, что тут особенно ясно обнаруживается, как чистые продукты фантазии, раз только они приняли характер навязчивых представлений, могут в практической жизни получить несравненно более высокую степень реальности, чем все реальные силы действительности.
>
> Вильгельм Грубе, *Духовная культура Китая*

> *Настоящий поэт во все времена сам был одним из фактов.* Дело поэта – показать и доказать, что он есть факт и кусок реальности...
>
> Альфред Дёблин, *Структура эпического произведения*

Тридцатипятилетний врач-психотерапевт Альфред Дёблин в 1913 году закончил очень странный роман: по всем признакам, вроде бы, исторический, но совершенно не похожий на то, чего обычно ждет от подобных произведений читающая публика. В этой книге не было ни захватывающего сюжета, ни любовной интриги, ни любования историческими корнями – идеальной, пробуждающей ностальгические чувства картины Германии, или Европы в целом, или хотя бы прародины европейской культуры, античного Средиземноморья. Вместо всего этого – малознакомый для немецкоязычного читателя муравейник китайской цивилизации, отвратительные сцены массового насилия, зловонная мертвая голова в ведре с солью, которую непонятно для чего

волокут на ручной тележке через три провинции и обратно... Множество персонажей, множество ненужных, казалось бы, подробностей, отступлений от основного сюжета... Да и вообще – в чем он, этот сюжет, состоит? Или, хотя бы, кто является главным героем – героями – книги? Ван Лунь и его друг-соперник Ма Ноу? Император Цяньлун и его собеседник, тибетский ташилама? А может, персонажи второго плана – Ю, Желтый Колокол, Красавица Лян Ли? Или же те, чьи судьбы так ярко запечатлены в двадцати, или только в пяти, или в трех предложениях? Спившаяся беглая проститутка? Мать избалованного мальчика-урода? Безымянные бандиты, ставшие на перевале Наньгу свидетелями и участниками создания союза «поистине слабых»? Философ Лецзы, упомянутый лишь однажды, – ведь весь роман, как сказано в Посвящении, есть «поминальная жертва» этому человеку?

Ответить на эти первые вопросы не так уж трудно. Достаточно присмотреться к композиции, к тому, о чем идет речь в каждой из частей книги, чтобы увидеть: сквозной стержень романа образует не судьба какого-то человека или нескольких людей, а судьба массового движения, история секты «поистине слабых», сыгравшая (так это представлено Дёблином) ключевую роль в позднейшей истории китайской империи[1]. Секта проходит в своем развитии четыре фазы: возникновение (книга первая);

1 Такая точка зрения вполне согласуется с мнением многих современных китаистов. Они пишут о том, что с конца восемнадцатого века (с правления Цяньлуна) начался упадок китайской империи, отчасти обусловленный взрывообразным увеличением населения, нехваткой ресурсов, появлением огромного количества безработных, постоянно перемещавшихся из одной части страны в другую. Этот период был отмечен мощными народными движениями: восстанием Ван Луня (1774), крестьянской войной с участием союза «Белого Лотоса» (1796-1804), восстанием секты «Восьми триграмм» (1813) с попыткой штурма Пекина, унесшим 70000 жизней (в романе эти три события смешаны, соединены в одно). См. сайты: *A Short History of China* (By Tim Lambert) и *What were the*

раскол, приведший к конфликту с государственной властью и уничтожению отколовшихся (книга вторая); процесс перерастания мирного сектантского движения в крестьянскую войну (книга третья); ход войны и поражение мятежников (книга четвертая). Относительно же героев впечатление складывается такое, что для Дёблина *все они одинаково важны.* Что для него нет неинтересных людей. Однако полнота описания того или иного персонажа зависит от того, насколько большое влияние он оказывает на историю движения – поток общей судьбы. Потому что каждый из переломов в истории секты в романе связывается с определенными решениями конкретных людей. Дёблин, собственно, изображает не просто массовый процесс, а *узлы пересечения* этого процесса, противостоять которому очень трудно, с индивидуальным человеческим сознанием, человеческой волей. И самое удивительное, что единичное сознание, сталкиваясь, так сказать, с мощным потоком истории, или всеобщей судьбы, у него никогда не оказывается бессильным. Вот как выглядит распределение основных действующих лиц по структурным частям романа:

Книга первая (возникновение секты): основатель секты Ван Лунь и те люди, которые оказали влияние на формирование его личности, – бонза Тоу, Ма Ноу, Су Гоу;

Книга вторая (раскол): виновник раскола Ма Ноу и его «оппонент» Ван Лунь;

---

problems China faced in the first quarter of the nineteenth century? (в Интернете). По мнению профессора Лейпцигского университета, специалиста по китайским народным религиям Хуберта Зайверта, именно после восстания Ван Луня начался процесс (продолжающийся до настоящего времени) непрерывной и все более ожесточенной конфронтации между сектантами (раньше, в 16-17 вв., не ставившими перед собой политических целей) и правительственными силами: «Ликвидация лидеров [народных движений] приносила только временную передышку, потому что невозможно было истребить всех сектантов и очень скоро появлялись новые лидеры» (*China's Repression of Folk Religions*, by Hubert Seiwert. – в Интернете).

Книга третья (переход к вооруженному конфликту): император Цяньлун, принявший решение о преследовании сектантов, и тибетский таши-лама, который пытался такое решение предотвратить;

Книга четвертая (война). В данной стадии процесс нарастания насилия с обеих сторон становится неуправляемым; на этот процесс уже невозможно влиять, но, по Дёблину, каждый человек *до конца* сохраняет возможность отстраниться от него или, по крайней мере, из него выйти. Таким выходом для Ван Луня становится самоубийство. В самом конце романа в фокус попадает еще одна героиня, Хайтан (жена подавившего восстание военачальника), которая, уже после разгрома мятежников, пытается принять решение о мести – или отказе от мести – за своих погибших детей.

До сих пор речь шла о главных персонажах, «сильных личностях», влиявших на судьбы многих (исключение тут – Хайтан, чье решение коснется только ее самой). Но если посмотреть, в каком ракурсе изображены все другие, даже самые «мелкие», персонажи, то станет очевидно, что Дёблина интересует почти исключительно следующее: причины, толкнувшие этих людей на присоединение к секте; на участие в насилии; на решение остаться вместе с обреченными на смерть, хотя, как подчеркивается, например, в рассказе о гибели приверженцев Ма Ноу, возможность спастись бегством – для всех сектантов, но если бы они действовали поодиночке, – была реальной.

Диалог с прошлым

В предисловии к роману Дёблин находит нужным специально сформулировать свое представление о соотношении между настоящим и историческим прошлым:

> ... людей на тротуарах я знаю. Их беспроволочный телеграф – действительно новшество. А вот гримасы Алчности, недоброжелательная Пресыщенность с выбритым до синевы подбородком, тонкий принюхивающийся нос Похоти,

Жестокость, чья желеобразная кровь заставляет сердца дрожать мелкой дрожью, водянистый кобелиный взгляд Честолюбия... Эти чудища тявкали на протяжении многих столетий, и именно они подарили нам прогресс. [...]

Да, но я хотел о другом –

В жизни нашей земли две тысячи лет проносятся, как один год.

Приобрести, захватить... Один старый человек сказал: «Ты идешь, не зная куда, стоишь, не зная на чем, ешь, не зная почему. Во вселенной сильнее всего воздух и сила тепла. Как же можешь ты обрести их и ими владеть?»

То есть, по его мнению, существует технический прогресс, но природа человека на протяжении веков не меняется, а интересует Дёблина именно эта человеческая природа, и, значит, возможен некий *диалог, ведущийся напрямую через века*, – например, со старцем Лецзы, создателем одной из канонических книг даосизма. Или, иными словами: роман о Ван Луне, жившем в Китае конца восемнадцатого века, может быть ничуть не менее «актуален» для современников Дёблина, чем, скажем, роман о Германии начала двадцатого столетия. Казалось бы, сказанное мною есть общее место, и вряд ли кто-либо стал бы оспаривать право Дёблина написать роман о чем угодно – хоть о Древнем Китае, хоть о путешествии на Луну. Все это так, только Дёблин, относившийся к своему писательскому труду чрезвычайно серьезно, понимал идею диалога (общения) с прошлым *буквально*. Диалог возможен лишь при наличии реального собеседника. Дёблину нужен не выдуманный, а настоящий Китай, с которым он, романист, хочет обращаться так, как обращался бы с современной ему Германией: не нарушая правдоподобия характеров и среды и соответствия одного другому. Он хочет – как художник – осмыслить *реальный* исторический опыт, пусть и отдаленный от нас во времени.

Что берет Дёблин в свой роман из «настоящей» истории и что привносит в него «от себя»?

Очень многое указывает на то, что Китай казался Дёблину идеальным местом действия для романа о насилии и ненасилии,

о терпимости друг к другу: потому что это страна, где издавна бок о бок существовали разные народы, разные идеологии. Дёблин выбрал эпоху, от которой осталось множество документов, целые архитектурные комплексы. Он знакомился с китайской культурой по весьма обстоятельным немецко- и англоязычным трудам этнографов и историков религии, по качественным фотографиям и музейным коллекциям. Роман построен так, что в нем зримо представлены *детали быта, трудовых процессов, праздников и т.п.*, причем, насколько это удалось проверить, все они соответствуют действительности. Но детали эти обыгрываются таким образом, что создают нужное Дёблину впечатление культурного многообразия, сосуществования в культуре разных, порой – казалось бы – взаимоисключающих элементов. Такая контрастность присутствует, скажем, в подробном описании храма и расположенных рядом с ним (что типично для Китая) театральных подмостков:

> Перед молитвенным залом, посреди гигантского двора, возвышалась открытая сцена. Ее создатели использовали все средства, чтобы она выделялась своей *избыточной роскошью* на фоне *сдержанного великолепия* храма; она поднималась с земли, словно обворожительная танцовщица, которая, медленно обводя зрителей томным взглядом, заставляет их забыть обо всем на свете. [...] Мощно стоял храм, не слушал музыки, доносившейся с театральных подмостков, утаивал все движения гордыни, как бы в насмешку над ней пропускал совсем мало света в собрание духов и богов, которым предоставил убежище[1].

Свадьбу Най и затем, позже, ее похороны Дёблин описывает очень подробно, в мельчайших деталях воспроизводя соответствующие данные, собранные в исследовании Вильгельма Грубе «Пекинские народные обычаи»[2]. Но его повествование, в

---

1 Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, курсив в цитатах мой. – *Т.Б.*

2 Wilhelm Grube. *Zur Pekinger Volkskunde.* B., 1901.

отличие от текста Грубе, отличается повышенной эмоциональностью и подчеркивает тот факт, что в самой китайской культуре запечатлена некая цикличность: противоположность жизни и смерти, радости и скорби, вновь и вновь переживаемая в обрядах, выраженная в красках, в характере музыки. Вот как, например, он передает звучание погребальных мелодий:

> Под хныканье дудок, под монотонную барабанную дробь утром в день похорон вышли из гордого дома мальчики; шелестящая музыка хваталась за стены неуверенными руками чахоточного больного...

Второй пласт подлинных исторических материалов, который очень активно использует Дёблин, это *сведения о различных религиозных идеологиях. Структурообразующую роль для формирования замысла романа* сыграло исследование Де Гроота «Сектантство и религиозные преследования в Китае» (1904)[1]. В первой части этой двухтомной работы особенно подробно описываются две секты[2]. Верования той и другой носили синкретический характер и были результатом адаптации заимствованных буддийских идей к китайской народной религии, сильно окрашенной даосскими представлениями[3]. Члены первой секты, *У-вэй* («Недеяние»), сочетали почитание «Трех Драгоценностей» буддизма (Будда, учение, община) с культом различных божеств и святых, как буддийских так и даосских, и духов предков. Они стремились

---

1 De Groot. *Sectarianism and Religious Persecution in China.* Vol. 1-2. Amsterdam, 1904. И Вильгельм Грубе (1855-1908), и Яан Якоб Мария де Гроот (1854-1921) были крупнейшими синологами, чьи труды не утратили своей значимости до сих пор. О них см.: *Китайская философия. Энциклопедический словарь.* М., 1994, с. 71-72.

2 См.: De Groot, *Sectarianism...*, S. 185-231.

3 Об особенностях восприятия буддизма в Китае см.: *Буддийский взгляд на мир.* СПб., 1994, с. 237-267 (Глава 3. Взаимодействие буддийских и традиционных китайских представлений о мире).

согласовать поведение человека с «Путем мира» (Дао) и отказывались от храмового культа, от поклонения рукотворным кумирам, потому что считали, что «небеса и земля, горы и реки суть образы Будды» (и так далее, Дёблин почти дословно воспроизводит эту аргументацию в том месте, где рассказывает о собрании приверженцев Вана и союза «Белого Лотоса» перед началом решающего этапа вооруженной борьбы). Вторая секта, *Лунхуа* («[Учение] Цветов дракона»), хотя и считала себя очень близкой к первой, сделала еще один решительный шаг по пути вульгаризации идей буддизма, приспособления их к потребностям народных масс. В этой секте идея нирваны, то есть нравственный идеал, была заменена идеей достижения (в результате соблюдения определенных внешних обрядов и правил поведения) Западного Рая; наряду с Буддой Шакьямуни особым почитанием пользовались будды Майтрейя и Амитаба, а также богиня Гуаньинь, причем их культ был очень наглядным, конкретным и выражался в многочисленных праздниках, описание одного из которых – Переправы богини Гуаньинь в Западный Рай (сожжения корабля) – Дёблин дважды воспроизводит в своем романе (оба раза – в эпизодах, связанных с Ма Ноу). В Китае существовало множество сект, но эти две носили парадигматический характер, и в романе Дёблина разница во взглядах между ними лежит в основе сложных взаимоотношений сторонников Ван Луня, с одной стороны, и Ма Ноу – с другой.

В романе достаточно полно представлены взгляды не только сектантов, но и приверженцев других важнейших для Китая идеологических систем: тибетского буддизма (панчэн-лама), конфуцианства как государственной религии (император), даосизма в сочетании с народной «низовой» религией с ее практицизмом, верой в демонов и колдовство; бегло упоминаются даже китайские мусульмане (Су Гоу). И, опять таки, Дёблин очень хорошо ориентируется во всех этих идеологиях: мы не просто узнаем что-то о теоретических доктринах, но видим, как они претворяются в практику, как преломляются в сознании разных и всегда далеких от совершенства людей; Дёблин умеет, например, представить этапы буддийской медитации так, что они кажутся адекватным, хотя и упрощенным (очищенным от специальных терминов)

отражением классических руководств по буддизму[1]; изображение в романе народной религии, представлений о демонах опирается на многотомное исследование Де Гроота[2], и т.д. Роман, фактически, представляет собой диалог между разными религиозными сознаниями – не имеющий аналогов, насколько я знаю, в мировой литературе. Своеобразие его заключается в том, что эти сознания раскрываются изнутри: фокус все время смещается, мы видим события то глазами буддиста, то глазами почитателя демонов – и демоны органично входят в реалистическое, как будто бы, повествование, миры реальный и фантастический смешиваются, граница между ними оказывается очень зыбкой (как, например, в сценах, где Цяньлун, а еще прежде его сын, видят ведьму, подталкивающую старого императора к самоубийству). Еще один пример такого раскрытия изнутри чуждого для европейца сознания – одно из обвинений, которое Ван Лунь предъявляет Ма Ноу: «Я тебя встретил, Ма Ноу, два дня назад. Это был ты, не правда ли, – ну признайся! У пруда, меж двумя ивами. Ты был тем журавлем, что никак не хотел отвязаться от меня, а все расхаживал поблизости на своих кичливых ногах, ярко-пурпурных, и выхватывал из травы лягушек». При всей невообразимости для нас подобной реплики, она – как становится очевидным в контексте романа – не бессмыслица, а просто результат иного способа восприятия и описания реальности (в данном случае речь идет о реально присущем Ма Ноу качестве – высокомерии, которое делает его непригодным для роли вероучителя).

Да и вообще, по мнению Дёблина, само воображение тоже есть реальность, реальная сила, а «реальность» в обычном понимании относительна (ибо в каких-то пределах этой силе

---

1 В этом можно убедиться, сравнив описание видения Ма Ноу в первой книге «Ван Луня», например, с трактатом Васубандху (см.: *Буддийский взгляд на мир*, с. 173-176) или книгой Чже Цонкапы (Чже Цонкапа. *Большое руководство к этапам Пути Пробуждения*. С-Пб., 1994, т. 1, с. 366-368, 374, 378).

2 De Groot. *The Religious Systems of China*. Vol. 1-6. Leiden, 1872-1921. В романе использовано множество материалов из этой работы.

подчиняется); поэтому о сектантах, наблюдающих за своими товарищами, переодетыми в «Восьмерых Бессмертных», он может сказать:

> Для тех же всё было *подлинной реальностью*, а не игрой. Они смеялись и протягивали руки, с нетерпением ждали осуществления своей мечты, и слезы счастья стояли в их глазах. Ведь сами бессмертные махали им с холма!»

Неважно, считаем ли мы возможным общение с близкими нам умершими; важно, что такое общение реально для Цяньлуна – и потому влияет на принятие императором решения, которое оказывается судьбоносным для всей страны.

Третья особенность дёблиновского обращения с историей связана с его попыткой создать истинно китайские характеры, отразить *китайский менталитет*. Ван Лунь, император Цяньлун и его сын Цзяцин, панчэн-лама Палдэн Еше, военачальник Чжаохуэй – исторические фигуры. Но в намерения Дёблина явно не входило создание академически выверенного очерка крестьянской войны или точных портретов ее основных протагонистов. Он, похоже, больше доверял не единичным историческим феноменам, но *повторяющимся орнаментальным узорам на историческом полотне, на полотне народной культуры*. И в своем романе хотел представить все главные элементы «китайского орнамента». Поэтому, изображая восстание Ван Луня (1774 года), одно из многих в ряду подобных движений, он добавляет эпизод штурма Пекина – действительно имевший место, но немного позднее, в 1813 году (при Цзяцине)[1].

Центральные персонажи романа представляют определенные идеологии: Цяньлун – конфуцианство в его «огосударствленной» форме; панчэн-лама – буддизм; Ван Лунь и Ма Ноу – две

1 Оба восстания подробно описаны в книге Де Гроота о сектантстве: De Groot, *Sectarianism...*, vol. 2 (главы X и XIV). В главе о восстании 1813 г. упоминаются – как участники заговора – царевич Мэнькэ и главный евнух Шан (с. 423), которых Дёблин сделает персонажами эпизода покушения на императора.

формы народного синкретического сектантства; Чжаохуэй – взгляды служилой, зависимой от императора, относительно безразличной к религии прослойки т.д. «Исторические» Цяньлун и Палдэн Еше таким ролям соответствуют. И Дёблин воспроизводит их подлинные высказывания или действия (подобные случаи отмечены в комментариях), в то же время очищая образ императора от всего лишнего, неинтересного для задуманного романа. Так, в романе совсем не упоминаются многолетние бесчинства Хэшэня, могущественного временщика Цяньлуна, – эпизод, о котором Дёблин вряд ли мог не знать, но который демонстрирует лишь «случайные» слабости императора. И наоборот, очень точно пересказывая события, относящиеся к визиту панчэн-ламы в Китай, Дёблин добавляет от себя один эпизод, который мгновенно и великолепно высвечивает суть расхождений между Палдэном Еше и императором (как между буддистом и тем, кто воспринял буддизм лишь поверхностно): эпизод с «трупами цветов», на которые панчэн-лама не желает наступить. Роль победителя Ван Луня Дёблин передает Чжаохуэю, который на самом деле не участвовал в подавлении этого восстания[1], но прославился крайне жестокой расправой над жителями Джунгарии – и как раз его джунгарские «подвиги», готовность выполнять функции палача многократно упоминаются в романе. Что касается исторического Ван Луня, то о его биографии и человеческих качествах почти ничего не известно, а то, что известно, Дёблин за ненадобностью отбрасывает (подлинный Ван Лунь занимался тем, что лечил больных методом дыхательных упражнений и преподавал боевые искусства – последнюю характеристику Дёблин передает менее значимому персонажу, Го; члены семьи Ван Луня и восемнадцать его приемных сыновей участвовали в восстании и все погибли; восстание продолжалось всего два месяца[2]).

---

1 Подавлением восстания Ван Луня занимался как раз временщик Хэшэнь; неудачи этого генерала в борьбе с мятежниками стали одной из главных причин его падения, см.: *Rebellion and Revolution. Section a3. The White Lotus Rebellion* (в Интернете).

2 Подробное описание восстания Ван Луня сейчас можно прочитать на сайте: *Rebellions and Revolutions in Chinese History*.

Чтобы правдоподобно обрисовать психологию своих героев, Дёблин прибегает к очень интересному методу: он приписывает им те качества, которыми сами китайцы (прямо или косвенным образом, через систему символов) наделяют своих богов, императоров, священных животных и пр. Так, один из многочисленных способов характеристики императора в романе – простое «соположение» его образа с образом черепахи, одного из четырех самых почитаемых в Китае животных (наряду с единорогом, фениксом и драконом):

> ...И тогда из-под панциря высунулась серая ороговевшая голова – удивительная *бесстрастная* голова на морщинистой шее, покрытой чем-то вроде сухой рыбьей чешуи. Как у ожившей царской мумии: медленно вытягивалась поблекшая шея, *с насмешливой невозмутимостью* поворачивался треугольный череп. Равномерно и уверенно, как рубанок, заработали челюсти. Ноздри – будто пробитые сверлом. А с боков – лишенные век, неподвижные, *умные (мудрые) глаза: окна охладевшего разума.*

Этот зрительный образ становится лейтмотивом того портрета Цяньлуна – «человека, смертельно уставшего от жизни», – который рисует в своем романе Дёблин.

Образ Ван Луня, вероятно, вообще родился, как большое растение вырастает из зерна, из такого созданного народом символического образа: образа единорога (оленя с волчьей мордой). Единорог в Китае – символ доброты и сострадания ко всем живым существам. Эти качества Ван Лунь приобретает, хотя и не сразу (ср.: «Он все последовательнее занимал позицию защитника своих братьев. И чувствовал, что должен сражаться за всех отверженных китайской земли»). Но провозвестие его будущего обращения – тот факт, что, едва прибыв из родной деревни в крупный город Цзинань, он поселяется на улице Единорога. А в сцене, почти непосредственно предшествующей основанию союза «поистине слабых», бег Ван Луня к хижине Ма Ноу (где и произойдет его внезапное обращение) изображается так:

Прежде чем он сообразил, что с ним, его руки уже раскачивались как деревяшки, а изо лба вырос серп, которым он рассекал ночь. Он прыгал по утесам Шэнъ-и. Его тело двигалось, ничего не ощущая; он мчался вперед, все так же ровно дыша, оседлав собственные пружинистые ноги. Он радовался тому, что нечто увлекло его за собой и теперь скачет вместе с ним. По холмам, вверх по скалам. К Ма Ноу, к Ма Ноу. Тому же, должно, быть, мерещился перестук маленьких копыт серны, которая приближалась к его хижине, выбираясь из тенет разлегшейся на горе Ночи.

Еще важнее то, что на образ единорога накладывается другой, тоже связанный с народной культурой: образ оленя-Шивы. В Цзинани Вану дарят тибетскую ритуальную маску оленя (маску бога Шивы[1]), с помощью которой он потом совершит переломный для его жизни поступок – убийство *дусы*. Но Шива – воплощение необузданных сил природы (и человеческой души? неокультуренной души простолюдина?), любви *и* смерти; по китайским представлениям – один из помощников бога преисподней («...имя Ван Лунь будут произносить как имя одного из богов преисподней», – говорит о себе Ван после штурма Пекина). Необузданность, сочетание противоречивых порывов (но и подлинная любовь к жизни, к людям, порой оборачивающаяся «бесполезным» шутовством и игрой) – главные особенности Ван Луня, каким его изображает Дёблин:

Решительно нахмуренный низкий лоб; под ним глаза – то печальные и полные беспокойства, то вдруг вспыхивающие слепой яростью. И широкий крестьянский рот с выпяченной нижней губой производил такое же впечатление: иногда раззявливался, *как голодная волчья пасть*, но чаще оставался вялым, безвольным.

Они [бродяги] представляли его человеком мягкосердечным, но наделенным огромной физической силой, которую

1 См.: *«Tsam» Dancing in Mongolia* (в Интернете). На этом сайте имеется и фотография маски Шивы-оленя.

он не знал как употребить. Время от времени им овладевают опасные демоны, которых, однако, он научился усмирять.

Впрочем, благодаря прогулкам в долину Ван уже вновь обрел свою дерзкую, по-детски непосредственную веселость. [...]

Решающим преимуществом оказалось его умение обращаться с людьми как бы играючи. [...]

Люди постарше его побаивались. Их поражала его способность по-детски заигрываться [...]

В портрете Вана, конечно, образ единорога/оленя – лишь каркас, на который наслаивается многое другое (Ван вообще – самый сложный, именно в силу наличия у него множества потенциальных способностей, тщательнее других выписанный персонаж романа); и все же умение Дёблина разглядеть за религиозным образом чувства людей, отлившиеся в этот образ, свидетельствует о его неординарном историческом чутье.

Что касается Ма Ноу, то он в романе отождествляется с драконом, это как будто бы следует из двух мест в тексте. Первый раз дракона – в не очень понятной связи – поминают «братья», встретившие Ма Ноу в тот час, когда их младшие товарищи насиловали женщин:

И потом гулкие мужские голоса в долине: «Ма Ноу, Ма Ноу, дракон летит! Ма Ноу, там ведь наши сестры!»

В другой раз Ма Ноу сравнивается со «зверем», который не называется, но чье описание соответствует китайскому «дракону облаков»:

Его [Ма Ноу. – *Т.Б.*] лицо приняло сходство с ликом крылатого зверя, чья голова, глаза, перья в полете непрерывно меняются под воздействием ветра; когда же он опускается на ветку дерева, черты его становятся неразличимыми: потому что нет уже ни ветра, ни полета.

Однако с этим отождествлением все не так просто, потому что в Китае дракон – самый распространенный символ власти,

а значит, в некотором смысле «драконом» можно считать и Ван Луня, и императора, и всех вообще «лидеров», обладающих властью над жизнями людей. Действительно, Ван говорит о себе: «...я сам пуст внутри, я – пожелтевший лист, бумажный дракон, пестро раскрашенный и с сиреной в утробе, наподобие тех, которых на юге носят впереди похоронных процессий». И в другом месте, имея в виду свое повстанческое войско: «У меня – чешуйчатое тело дракона, растянувшееся на сотню *ли*. И я буду волочить его по земле, пока не найду красивую и теплую пещеру!»

Фраза о Ма Ноу и летящем драконе, похоже, может быть понята в свете классической «Книги Перемен». В самом начале этой книги, в комментариях к первой гексаграмме, сказано:

> (5)... Сильная черта на пятом месте.
> Летящий дракон находится в небе.
> Благоприятна встреча с великим человеком.
>
> (6) Наверху сильная черта.
> Возгордившийся дракон.
> Будет раскаяние.
>
> При действии сильных черт смотри, чтобы все драконы не главенствовали.
> Тогда будет счастье[1].

Тема ответственности человека, облеченного властью, – одна из центральных в романе Дёблина. Разница между Ма Ноу и Ваном не в том, что первый – «дракон», а второй – нет (единорога тоже китайцы иногда называли «лошадью-драконом»[2]), но в том, что Ма Ноу – «возгордившийся дракон». В эпизоде встречи двух предводителей сектантов Ван определяет основные качества Ма Ноу как «Тщеславие и Властолюбие», и хотя сам Ма Ноу прибавляет сюда третье определение, тоже справедливое –

---

1 См. Ю.К. Шуцкий. Китайская классическая «Книга Перемен», в: *Конфуций. Уроки мудрости.* М.-Харьков, 2000, с. 661-662.

2 Энциклопедия восточного символизма. М., 1996, с. 113.

«Не Неверный», – первые два качества играют очень важную роль в его судьбе.

Образ (двух) драконов, борющихся за жемчужину, – мотив, чрезвычайно часто встречающийся в китайском изобразительном искусстве. При этом жемчужина (которая ассоциируется с луной и женским началом *инь*) понимается по-разному: просто как сокровище, или как Дао, или как мудрость, или как просветление, или как бессмертие[1]. Но даосизм истолковывает любую борьбу за обладание теми или иными благами (и любое притязание на владение высшей мудростью или истиной) как нечто бессмысленное; эта идея выражена, например, в той фразе из трактата «Лецзы», которую Дёблин цитирует в предисловии к роману и которая определяет главную тему книги:

> «Ты идешь, не зная куда, стоишь, не зная на чем, ешь, не зная почему. Во вселенной сильнее всего воздух и сила тепла. Как же можешь ты обрести их и ими владеть?»[2]

И неслучайно образ жемчужины всплывает в видении Ма Ноу, безрезультатно пытающегося приблизиться к ней:

> Что-то серое, большое стремительно приближалось к нему – Яйцо, гигантская Серая Жемчужина. Когда он увидал это, в нем шевельнулось безумие; он застонал, собрался с

---

1 См., например: *Der chinesische Drache (lóng): Symbol für das Gute und Edle; Chinesische Glückssymbole auf deutschen Porzellan von 18. Jahrhundert bis heute; Wer ist Quan Yin auch als Kwan Yin bekannt* (три сайта в Интернете). «Жемчуг просветления» и дракон как символ духовности, ума, силы, способности к трансформации специально ассоциируются с богиней Гуаньинь.

2 Начало этого отрывка звучит так:

«Ограждающий спросил своих помощников:

– Могу ли обрести путь и им владеть?

– Собственным телом не владеешь, как же можешь обрести путь и им владеть! – ответили ему» (*Дао. Гармония мира.* Харьков, 2000, с. 46).

силами, побежал по колосящемуся полю, поплыл, напрягая силы, вокруг Жемчужины – и потерялся где-то напротив нее, в слизнувшей его волне.

Неслучайно так жалок впадающий в безумие император, когда он пытается собрать, удержать в руке рассыпавшиеся по полу жемчужины. «Жемчужину» нельзя схватить, нельзя ни к чему принудить – но она как будто является сама, в самом конце романа, истерзанной горем Хайтан; является и проплывает мимо – то ли богиня, то ли внезапное озарение, то ли просто жемчужный лунный свет:

> Что-то прошелестело. Лужица света растеклась по земле. И в сиянии только что выглянувшей луны мимо нее проплыла узкобедрая Гуаньинь, Перламутровая Белизна. Диадема на вьющихся волосах сверкнула изумрудно-зеленым, когда наклоненная голова чуть-чуть повернулась. Богиня, улыбнувшись, взглянула на Хайтан и сказала: «Хайтан, пожалей свою грудь. Дети твои спят у меня. Надо быть тихой, не противиться – да-да, не противиться».

Организация диалога: «поминальная жертва»

В «Ван Луне» множество поразительных, неожиданных для западного читателя особенностей. Но более всего поражает, пожалуй, серьезность намерений автора, проявляющаяся, среди прочего, в неразрывной слиянности идей и формы. Идеи становятся формой, прорастают сквозь нее, обретают осязаемость вместе с ней. Диалог Запада и Востока, современности и прошлого на уровне формы выражен в смешении приемов архаического, еще не отделенного от мифологии и религии, и самого современного на момент написания романа – экспрессионистского? какого-то иного, только зарождающегося? – искусства.

В романе есть место, где император Цяньлун рассуждает о поэзии (какой она представляется китайскому эстету и верующему

конфуцианцу). Глядя на работающую в поле крестьянку, он говорит:

> ...И нет как будто никакого повода, чтобы запечатлеть это мгновение в стихотворении; оно просто наличествует – и не может быть превзойдено. Но, допустим, я поддамся искушению, захочу его воспеть; тем самым я приму на себя обязательство – по отношению к этой реальности [...] *Обязательство обходиться с духом этого мгновения почтительно и бережно, принести ему жертву, как положено приносить жертвы порождениям земли* [...]
>
> Итак, я должен выбрать самую красивую, самую мягкую бумагу; и приготовить красную и черную тушь самых насыщенных тонов. Только теперь я начинаю рисовать иероглифы. *Это совсем не сообщения, хотя они могут служить и для сообщений; это округлые, исполненные смысла образы, отклики на книги мудрецов; каждый знак красив сам по себе, и они красиво соотносятся друг с другом. Такие образы суть крошечные души*, к существованию коих причастна и бумага.

Но ведь и Дёблин, уже от своего имени, в предисловии к роману утверждает:

> Я хочу принести ему поминальную жертву (для чего и закрыл окно), принести жертву этому мудрому старику [автору трактата о «недеянии». – *Т.Б.*],
>
> Лецзы,
>
> посвятив ему свою не способную что-либо изменить книгу.

О каком обязательстве, или жертве, идет речь? Видимо, о памяти, о поминальной жертве, о почтительном *отклике* – на мгновение реальности, на «книги мудрецов». Не о голом «сообщении», но об «исполненных смысла образах», *живущих самостоятельной жизнью* – ибо они «суть крошечные души». Я не знаю, произносил ли Цяньлун слова, которые приписывает ему

Дёблин. Но слова эти подходят для описания китайской эстетики – *и* эстетики дёблиновского «Ван Луня»[1].

Даосские трактаты «Лецзы» и «Чжуанцзы», известные Дёблину, представляют собой мозаику притч, не связанных внешним сюжетом, но демонстрирующих мироощущение даосизма; в них действует множество самых разных персонажей и порой встречаются очень яркие образы, соединяющие абстрактное и конкретное (например: «Жизнь человека между небом и землей так же мимолетна, как белый жеребенок, промелькнувший мимо щели»[2]). Дёблин тоже отказывается от сюжета в привычном нам смысле, но создает иной сюжет, в центре которого – то, что можно назвать массовым процессом, или Дао, или коллективной судьбой. Его роман тоже мозаичен[3], но Дёблин умеет даже в крошечном элементе этой мозаики воссоздать целую человеческую судьбу. Он иногда использует притчи классического «восточного» типа (притча о трех прыжках или о дереве, которое вбирает Ван Луня в себя), и для него очень характерны *зрительные* образы, соединяющие нечто трудно выразимое с чем-то

---

1 В статье «Замечания о романе» (1917) Дёблин писал, что в произведениях больших писателей «момент за моментом оправдываются сами из себя – точно так же, как каждое мгновение нашей жизни есть совершенная реальность, оно круглое, наполненное. [...] Если какой-то роман нельзя, как дождевого червя, разрезать на десять частей таким образом, чтобы каждая часть двигалась сама по себе, значит, он ничего не стоит» (Döblin, *Die Vertreibung der Gespenster,* S. 448).

2 «Чжуанцзы» (пер. Л. Позднеевой), *Дао*, с. 295.

3 Точнее, дёблиновский роман представляет собой не (статичную) мозаику, а переплетение множества относительно независимых друг от друга мотивов. В статье «Структура эпического произведения» Дёблин сравнивает тот тип современного романа, к которому относит свои книги, с музыкальной симфонией (Döblin, *Die Vertreibung der Gespenster*, S. 485); один из разделов этой статьи озаглавлен: «Динамика и пропорциональность как формальные законы, участвующие в порождении содержания» («Dynamik und Proportion als Formgesetze und Mitschöpfer des Inhalts», *ibid.*, S. 483).

сугубо конкретным. Приведу два примера, выбранных наугад из бессчетного множества:

> Когда через несколько часов Ван поднялся, он был спокоен. Как будто внутри его грудной клетки что-то наконец заснуло, забаррикадировав выход шкафами и столами.

> Из напитавшихся благовонным дымом коридоров ужасный слух выскользнул черной кошкой – крадучись и прижимаясь к стенам; пересек дворы; оттолкнувшись задними лапами, высоко подпрыгнул – и обернулся летучей мышью, шире расправил крылья; издавая пронзительный свист, полетел, уже как желто-серая комковатая туча, к горизонту, закрыл собою все небо.

Второй момент. В даосизме основополагающую роль играет представление о слиянности человека и природы. В классических даосских трактатах это выражено не только в философских тезисах, но и в том, что там наряду с человеческими персонажами действуют такие, например, «личности», как Дуб, Безначальный Хаос, Северный Океан Жо, Ветер, Лягушка, Бесконечность, Свет и Небытие, Тень и т.п. Для Дёблина идея единства человека и природы также крайне важна, по его мысли природа, *людская масса* и человек подчиняются сходным законам, и он несколько раз выражает эту мысль через систему сложных, иерархически соподчиненных, но, как и в даосизме, *антропоморфных* образов:

> Союзы и были самой этой землей с ее длинным телом и незрячими глазами; на ней люди обделывали свои мелкие делишки, справляли праздники, рожали детей, приносили дары предкам; сюда приходили военачальники, солдаты, царевичи, разные авантюристы, и все возобновлялось по кругу: битвы, победы, поражения; по прошествии какого-то времени земля начинала дрожать и колебаться, глаза-вулканы бросали вокруг огненные, но отнюдь не любящие взгляды, и проседали целые долины; гремел, разевая широкую пасть, гром; потом взбаламутившаяся земля, перевернувшись на бок, вновь засыпала; и опять все шло хорошо.

> Однако каких бы великих императоров ни дарила Маньчжурская династия, сколь непреходящими ни были бы ее достижения, она оставалось чужой для приверженных старине, но ущемленных в своих правах китайских общин. Как бы любовно и самоотверженно ни заботились сильные чужеземцы о Китайской Земле, им не удавалось пробудить ни одной искренней улыбки на устах этой красавицы-вдовы, которую они насильно – но навечно и нерушимо – сделали своей женой.

Идея *у-вэй*, «ненасилия», раскрывается и в антропоморфных – зримых – образах стихий: «*лишенные мускулов* мягкие руки метели», языки пламени, которые «хватались руками за резные весла, налегали на них – *лишенные мускулов* гребцы».

Пристрастие Дёблина к антропоморфным образам, необычное для европейского писателя Нового времени, связано, как кажется, еще и с тем, что он придает огромное значение человеческому сознанию; он, похоже, считает, что все, увиденное глазами человека, не остается безразличным объектом наблюдения, но окрашивается человеческими эмоциями, оживает. Так, в нижеследующем отрывке *здание* монастыря отождествляется с безутешной вдовой, потому что горюют опечаленные отъездом панчэн-ламы *монахи*:

> Златоглавый монастырь смотрел подведенными черным глазами-окнами вслед удаляющемуся священному каравану – как вдова, у которой от холода замерзают на ресницах слезы.

Третий – на мой взгляд, наиболее показательный – момент. Философия даосизма (и восточные философии вообще) проникнута идеями терпимости к другому, отказа от эгоистического «я». Эти же идеи составляют главное содержание дёблиновского романа. Я приведу два отрывка из даосских трактатов, где *сформулированы* (в первом случае – в форме притчи) те представления, которые Дёблин в «Ван Луне» сумел выразить *стилистическими средствами*, самой тканью повествования:

> Четыре человека – Сговорчивый, Самовластный, Захватчик и Одиночка – бродили вместе по свету. Каждый из них

следовал своим склонностям, и до конца дней своих они не взглянули друг на друга. Каждый из них считал себя отвечающим своему времени.[1]

«Я» – это также «не-я», «не-я» – это также «я». У «я» свои правда и неправда, у «не-я» также свои правда и неправда. Действительно ли существует различие между «я» и «не-я»? Действительно ли не существует различия между «я» и «не-я»?[2]

Точно так же, как это сделано в первом примере, Дёблин кладет в основу текста не сюжет, но принцип со-существования разных персонажей, каждый из которых выражает определенные взгляды и, по сути, считает именно себя «отвечающим своему времени». Каждому из них он дает возможность обстоятельно эти взгляды обосновать, и *каждое* обоснование выглядит вполне убедительным. Более того, каждый из центральных персонажей романа действительно хочет блага, готов на любые жертвы ради достижения *своей* благой цели и в этом смысле является персонажем *идеальным*[3]. Парадокс «Ван Луня» заключается в том, что страшная трагедия имеет своим источником исключительно нежелание – или неспособность – этих идеальных персонажей понять друг друга.

Чтобы дать своим персонажам возможность высказаться, выразить себя, Дёблин создает полифонический роман (в самом буквальном смысле: полифония есть «вид многоголосия...

---

1 «Лецзы» (пер. Л. Позднеевой), *Дао*, с. 114.

2 «Чжуанцзы», *Дао*, с. 159.

3 Вот как, например, это выражено применительно к императору:

«У императора была жесткая, однако не чуждая справедливости рука»; «Когда в дни перед жертвоприношением Небу он постился и на его неподвижном лице остро посверкивали глаза, все – и слуги, и священнослужители, и ближайшее окружение – знали, что этот человек ничего не делает только для видимости. Ему хватало единственного взгляда, чтобы обнаружить механическое, рутинное в *их* действиях. Цяньлун молился по-настоящему, с ужасающей серьезностью – *как и подобает Сыну Неба*».

основанный на *равноправии составляющих фактуру голосов*»[1]) и использует (или открывает самостоятельно, впервые) самые изощренные средства из арсенала философского романа двадцатого века:

> *(поток сознания)* Стягивающие тело конвульсии, ощущения внутренней опустошенности и головокружительного заглядывания в бездну, состояния упругой просветленности сменяли друг друга. Давящая усталость куда-то улетучивалась. И всплывали белые стены родного монастыря, матовым золотом вспыхивали его крыши. Покойный далай-лама быстро проходил мимо под своим зонтом. Только бы совладать с этими образами, опомниться, опомниться! Короткая передышка в белых залах. Люди, сколько же их – на верблюдах, повозках, тысячи падающих ниц людей. Монастырские ворота, паланкины, гонги. Помощь на море, большие лодки, малые лодки. Он – гигантский, бесплотный – волочил за собой свое Тело Излучения с фосфоресцирующим шлейфом, был столпом высотой до неба, который медленно поворачивался вокруг собственной оси. Никакой дрожи он больше не чувствовал. И вообще не знал, его ли это ощущения – то, что он сейчас испытывает, – или же ощущения других, многих, неисчислимых сознаний. [...] (*панчэн-лама*).
>
> *(коллективный поток сознания, выраженный через несобственную прямую речь*[2]*)* Все хотели подробностей, подробностей, подробностей. Что же это, как же это, почему?

---

1 БСЭ, т. 20, с. 227.

2 О несобственной прямой речи см.: В.Н. Волошинов (М.М. Бахтин). *Марксизм и философия языка.* М.: Лабиринт, 1993; С.Н. Бройтман. *Историческая поэтика.* М., 2001, с. 283-306. Очень интересный пример анализа функций несобственной прямой речи в конкретном тексте – статья Н. Павловой «Форма речи как форма смысла: "Процесс" Фр. Кафки» (в: Н.С. Павлова. *Природа реальности в австрийской литературе.* М., 2005, с. 148-168). В этой статье кратко характеризуются случаи использования несобственной прямой речи немецкоязычными авторами начала двадцатого века (первым немецким автором, употребившим – в 1901 г. – несобственную прямую речь, был Томас Манн).

(изображение поэтапного созревания образа-мысли в больном сознании; несобственная прямая речь) Вдруг пять сабель рассекли воздух в десяти шагах от него – там, куда он смотрел. И все смешалось в сером облаке пыли.

Су Гоу, его добрый и рассудительный брат, лежал – неспасенный – на улице.

Су Гоу был его братом.

Су Гоу не удалось спасти.

Су Гоу лежал на улице.

У стены.

«Где же эта стена?»

Его прижали к побеленной стене. Су Гоу хотел закончить кое-какие дела. Продать дом; и посоветоваться с муллой; насчет нового места жительства. Он хотел всего лишь пройти вдоль стены. Почему же Су Гоу – его брату – помешали? Ему [Ван Луню] было жарко, и его знобило.

(абсурдистский диалог: персонажи, по существу разговаривающие на разных языках) «Все, о чем говорит августейший повелитель, звучит превосходно. Но августейший повелитель вовсе не нуждается в помощи жезлоносного ламы. Повелитель сейчас просто выныривает из сансары – после того, как услышал зов».

«Я – император, и я не живу в сансаре. Я не хочу идти по путям, которые ведут к Будде; моя империя прекрасна, она никогда не казалась мне – и сейчас не кажется – адом. Палдэн Еше, не будьте же глухи ко мне, умоляю вас!»

«Пусть Цяньлун не будет глухим! Как еще может происходить пробуждение в человеке, если не таким вот образом – через беспокойство, страхи, ночные бдения, стискивание рук, взывания на все четыре стороны света...»

В ряду других голосов (наряду с голосами буддизма, конфуцианства, даосизма) порой звучит голос самого Дёблина – врача, социолога, человека двадцатого столетия. Он дает *свою* трактовку событий, пользуется характерной для его современников (отчасти научной, отчасти журналистской) лексикой:

Они [бродяги] были общительными людьми, с особыми представлениями обо всем на свете, хорошо знали жизнь и во многих отношениях *превосходили средний уровень других, законопослушных жителей империи.* Среди них едва ли нашлось бы хоть пятеро, которые не казались бы себе гонимыми и не считали бы, что действуют не по собственной воле, а под давлением внешних обстоятельств.

Сотни и сотни людей сгрудились под знаменем «Расколотой Дыни»; но никто не готовил для них переправу к чаемому прибежищу, никакая тихая гавань не ждала этих исстрадавшихся отщепенцев. И происходившее нельзя было назвать иначе как *бессовестным обманом, злодеянием.* Потому что их всех вели на бойню – на бойню, а отнюдь не в Западный Рай.

Священнослужители, высочайшее благо мира, явились среди бедняков, которые *на свой дилетантский лад* стремились достичь – гораздо более кратким и горестным путем – Небес Блаженства.

Чжаохуэю подчинялись пользующиеся дурной славой ветераны джунгарской войны, в свое время огнем и мечом опустошившие долину Или; *власти не отваживались распустить эту армию солдат-убийц* [...].

В одном случае Дёблин прямо вступает в полемику с даосизмом:

...Ибо тот, кто несет в себе Дао, не хочет видеть, не хочет ощущать вкус, не хочет слышать. Предательски отвергает собственное тело. Воспаряет над ним.

Так и было. Темный, жаркий молитвенный хмель овладел Монгольским городом. Одержимые эти хмелем телесные оболочки недвижимо сидели на улицах – немые, слепые.

А иногда проявляет свои человеческие *эмоции* – употребляет эпитеты вроде «поразительный», «гигантский», «чудовищный»,

«ужасный», вставляет в текст романа реплики-комментарии, выражающие его возмущение или удивление:

> И он [Ма Ноу] принудил себя и их обернуться, издали, через лессовую равнину, наблюдать, как бандиты насильничают над братьями и сестрами, глотать этот горький яд. По его указанию братья – *что было неуместно и глупо* – запели. [...] Потом столпились вокруг коленопреклоненных – *возносивших хвалу насилию?* – вожаков.

> Вот и сейчас у Ма было чувство, будто судьба склонилась перед его волей, и он нерешительно заигрывал с представлением – *на самом деле таким смехотворным!* – что каким-то непостижимым образом его собственный путь совпал с путем Дао.

> В предгорьях Тайханшаня происходило нечто *удивительное, сказочное – наивное, как народные песни.*

Все это не случайные описки, а свидетельства того, что сам Дёблин присутствует в тексте *как персонаж*, как участник диалога[1] (что, собственно, выражено уже в предисловии: «Я [Дёблин] хочу принести ему [Лецзы] поминальную жертву...»). Интересно, что этот персонаж-Дёблин несколько раз однозначно осуждает Ма Ноу, из-за своего тщеславия загубившего многие человеческие

---

1 Позже, в статье «Структура эпического произведения» (1929), Дёблин напишет: «Вправе ли автор в эпическом произведении говорить наряду с другими (*mitsprechen*), вправе ли он впрыгивать (*hineinspringen*) в тот мир? Ответ: да, он вправе, и он даже должен, обязан. Мне вот сейчас припомнилось, что́ это такое, что́ сделал Данте в «Божественной комедии»: *он сам прошел сквозь свою поэму*, сам простукивал своих персонажей [как простукивает больного врач: *hat beklopft. – Т.Б.*], сам вмешивался в события, *и не играючи, а на полном серьезе...* Он принимал участие в жизни своих персонажей. Он как царь Давид танцевал перед победоносным войском своих героев». Здесь и далее статьи Дёблина цитируются по изданию: Alfred Döblin. *Die Vertreibung der Gespenster.* Autobiographische Schriften. Betrachtungen zur Zeit. Aufsätze zu Kunst und Literatur. Berlin, 1968.

судьбы, но такая оценка *релятивизируется* столь же вескими аргументами Ван Луня, который уже после смерти своего друга восхищается тем, что Ма Ноу до конца остался верным идее *у-вэй*, или субъективными ощущениями Ма Ноу, в целом *совпадающими* с ощущениями его приверженцев:

> Время, проведенное у болота Далоу, подарило секте все, о чем она могла мечтать, – восторг, трепетное упоение, счастье. Но только здесь, «на Острове», братья и сестры получили *надежное убежище*. Это было наивысшим достижением Ма Ноу. [*Курсив Дёблина*].

Второй приведенный выше пример из китайского трактата раскрывает характерное для Востока представление об *отсутствии четкой границы между «я» и «не-я»*. Мне представляется, что роман о Ван Луне вообще невозможно понять вне этой концепции, вне осознания того, что Дёблин искал пути преодоления западного индивидуализма[1]. На структурно-стилистическом уровне это выражается в очень широком использовании несобственной прямой речи[2] (во всевозможных комбинациях – с обычным повествовательным текстом, с косвенной речью, с

---

1 Противоположная моей точка зрения выражена в недавно защищенной магистерской диссертации Александра Ассизи (Университет им. Марка Блоха, Страсбур) «Я и его деятельность в романе Альфреда Дёблина “Три прыжка Ван Луня”». По мнению автора работы, главная идея романа заключается в том, что человек должен защищать свое «я» от политического угнетения (третий «прыжок»), а образ Вана совпадает с представлениями самого Дёблина об идеальной личности. См.: *Das Ich und sein Handeln in Alfred Döblins «Die drei Sprünge des Wang-lun»* (Zusammenfassung der Magisterarbeit) – в Интернете.

2 Несобственная прямая речь как раз и отличается от прочих форм высказывания тем, что ее основа – «не аналитическое расчленение «я» и «другого», а их изначально нерасчленимая интерсубъектная целостность» (Бройтман, *Историческая поэтика*, с. 291).

диалогом). Границы между репликами отдельных персонажей, между этими репликами и авторским комментарием, между мыслью-ощущением и произносимыми вслух словами Дёблином намеренно стерты. «Всезнающего» автора в «Ван Луне» нет, но читатель постоянно переносится *вовнутрь* то одного, то другого сознания (иногда – многократно на протяжении одного диалога, так же быстро, как сменяются реплики), *учится видеть происходящее глазами другого, других* – а может, и весь роман в целом допустимо интерпретировать как *медитацию* Дёблина, переживающего на себе процесс обучения умению вчувствоваться, вжиться в другого[1]. Этот прием настолько необычен, что хотелось бы разобрать несколько примеров его применения. Вот традиционный, казалось бы, рассказ о диалоге между Ван Лунем и бонзой:

> Увидав степенно приближающегося Вана, бонза почтительно кинулся ему навстречу, поблагодарил за богатое

---

1 Постоянные перемещения «фокуса» в «Ван Луне» (вовнутрь разных сознаний) напоминает описание одного из классических буддийских духовных упражнений в книге Александры Давид-Неэль: «...ученик, выбравший предметом созерцания дерево, забывает свою человеческую природу и ощущает, будто его тело – жесткий, негнущийся древесный ствол с ветвями [...] Затем уже в качестве дерева, ставшего субъектом, он должен созерцать сидящее перед ним человеческое существо, ставшее объектом, рассматривать его и изучать во всех подробностях. После этого, переместив свое сознание в сидящего человека, он снова начинает рассматривать дерево, затем в качестве дерева будет опять созерцать человека. *Чередующееся перемещение из субъекта в объект и наоборот* повторяется столько раз, сколько потребуется. [...] Такая тренировка дает возможность испытывать состояния, совсем отличные от обычно нам свойственного, позволяет выходить из условных границ, поставленных нами самими нашему “я” и, как следствие, ясно *постигнуть, что “я” не существует*» (А. Давид-Неэль. *Мистики и маги Тибета*. М., 1991, с. 190-191; курсив мой. – *Т.Б.*).

пожертвование в пользу утонувших, спросил, как себя чувствует его – очевидно страдающий от какого-то недуга – благодетель. Затем с самым серьезным видом прибавил, что вверенный ему храм переживает трудные времена. В этом спокойном квартале объявилась *коварная разбойничья банда*, взимающая мзду с *бедного* Хань Сянцзы и *его скромного слуги Доу Цзэня* (так, значит, звали бонзу). Ван, глядя на собеседника сверху вниз, с интересом выслушал эту историю и после глубокомысленной паузы спросил, как мудрый Доу Цзэнь намеревается обезопасить себя от преступников.

Рассказ о том, что говорил бонза, строится с использованием косвенной речи, незаметно переходящей в несобственную прямую речь бонзы (со слов: «В этом спокойном квартале...»). На то, что дальше следует именно реплика бонзы, указывают выделенные мною слова, характерные для его – бонзы – лексики и миропонимания. Завершается эта фраза словами в скобках: «(так, значит, звали бонзу)», которые можно принять за комментарий Дёблина, но скорее они выражают мысль *Вана*, реакцию Вана на болтовню бонзы (*его* несобственную прямую *внутреннюю* речь). Дальше в тексте действительно говорится о реакции Вана. То есть читатель сначала воспринимает речь бонзы отстраненно, со стороны (как то, о чем ему только рассказывают, – как косвенную речь), потом переживает эту речь более непосредственно, как разворачивающуюся здесь и сейчас (несобственная прямая речь), потом переносится в сознание Вана и уже изнутри этого сознания оценивает речь бонзы.

Другой пример, диалог между Ваном и Чэнем:

Оба обвязали себе рты и носы шелковыми шарфами, которые принес Чэнь.

Сколько же их всего в горах Наньгу?

Была сотня, когда он уходил, сейчас – может, четыре сотни, может, тысяча.

Почему так неопределенно – может, четыре сотни, может, тысяча? Как могли они так быстро умножиться в числе?

Они едины в своих взглядах. Они все много страдали. Они защищают друг друга.

Еще раз: кто он таков, откуда родом, какова его роль – у них?

Реплики, которые я выделила курсивом, скорее всего принадлежат Чэню, а за ними следуют ответы Вана. Но в тексте Дёблина они отделены одна от другой только тем, что каждая начинается с новой строки, – и, собственно, не маркированы как реплики (ни кавычками, ни тире). Поэтому данный отрывок многозначен: его можно понять как описание диалога, воспринимаемого изнутри сознания Чэня – или изнутри сознания Вана – или изнутри сознания Дёблина, который вспоминает (воображает себе?) этот диалог. Или перечитать несколько раз, последовательно становясь на каждую из этих позиций.

Еще один подобный пример, разговор со многими участниками:

После быстрого обмена репликами между несколькими коренастыми моряками, которые, казалось, были здесь за главных, один из них, с заячьей губой, подошел к Вану и вежливо поинтересовался, кто они такие. На замкнутом лице бронзоволицего чужака тут же заиграла извиняющаяся улыбка: *он, мол, простить себе не может, что забыл представиться, – но на проселочных дорогах быстро привыкаешь к дурным манерам. Они все из разных сел, из северной части Шаньдуна; а собрались вместе, чтобы пробиваться на юг, в более благодатные края; только им ни в чем не было удачи: под Пекином они присоединились к повстанцам, но тех вскоре разбили; потом пару дней перебивались одним «собачьим рисом» в Палате Великого Человеколюбия, в Пекине; и вот теперь хотят попытать счастья на море.*

Почему же они таскают с собой столько оружия?

Чтобы больше никого ни о чем не просить.

Здесь выделенные курсивом слова – реплики Вана, переданные несобственной прямой речью. Но подчеркнутая мною фраза – это маркер, переносящий читателя непосредственно в

сознание участвующих в диалоге моряков. Потому что «бронзоволицым чужаком» Ван может казаться только тем, кто видит его в первый раз.

И последний пример:

> Императора окружили тени его могучих предков: они давили ему на плечи, пристально рассматривали своего потомка, у которого от слабости подгибались колени. Но император выдержал, устоял; *то были Канси и Юнчжэн – они должны принять его в свой безмолвный круг.*

Здесь перед нами вообще не диалог, но описание внутреннего состояния, может быть – видения. Описание начинается в отстраненном тоне – и вдруг читатель переносится в сознание императора, потому что выделенную курсивом фразу – с ее императивной интонацией – автор-рассказчик не мог произнести от своего имени. Это несобственная прямая речь, использованная для передачи внутренних ощущений Цяньлуна. Однако как только мы это понимаем, амбивалентный смысл приобретает первая половина той же фразы (подчеркнутая мною): что это – авторский текст или, опять-таки, ощущения императора, переданные несобственной прямой речью?

Я хочу сказать, что Дёблин, очевидно, воспринял восточную философию и, в частности, даосизм, как импульс для собственных исканий, философских и *стилистических;* что самой стилистикой своего романа он *выражает* – и заставляет читателя *пережить*, прочувствовать – идею, очень близкую к той, которую задолго до него по-иному воплощал в своем творчестве Л.Н. Толстой, тоже, кстати, вступавший в диалог с китайской философией[1]:

> «Несчастное, жалкое создание человек с его потребностью положительных решений, брошенный в этот вечно

1 См.: Л.Н. Толстой. Изложение китайского учения. – в: *Конфуций. Уроки мудрости*, с. 952-955.

движущийся океан добра и зла, фактов, соображений и противоречий! Веками бьются и трудятся люди, чтобы отодвинуть к одной стороне благо, к другой неблаго. [...] Ежели бы только человек выучился не судить и не мыслить резко и положительно и не давать ответы на вопросы, данные ему только для того, чтобы они вечно оставались вопросами! Ежели бы только он понял, что всякая мысль и ложна и справедлива!» («Люцерн», 1857)[1].

Предмет диалога: человек и судьба

У Дёблина (несмотря на то, что почти все его персонажи – очень достойные люди) получился страшный роман. Настолько страшный, что, читая какие-то страницы, трудно отделаться от ощущения, будто их писал человек, уже переживший и революции нашего столетия, и гражданские и мировые войны, и апробированные в недавнем прошлом изощренные методы психологического давления (чтобы оказать такое давление на Вана, ему и доставляют «мертвую голову» его погибшего друга, которую я упоминала в самом начале статьи). Веско – как слова очевидца – звучит фраза Дёблина о том, что «воюющие стороны старались превзойти одна другую в жестокости»; да ему и предстояло стать очевидцем подобных событий – совсем скоро («Ван Лунь» еще не успел увидеть свет, как началась война; роман напечатали только в 1916-м). Потому ли он сумел их предугадать, что обратился к китайской цивилизации, где уже давно прошли обкатку некоторые процессы, характерные для такого общества, где отдельный человек рассматривается властью как легко заменяемый

1 Значение этой идеи для творчества Толстого А. Зверев оценивает так:

«В “Люцерне” эта диалектика, позволяющая охватить и мелкое, и очень значительное явление жизни с разных сторон, обнаружив его внутреннюю неоднородность, только декларирована. Впоследствии она станет одним из самых драгоценных свойств искусства Толстого» (Алексей Зверев, *Тени в раю*, ИЛ 9 [2002], с. 204).

«винтик», ничто? Наивная сентиментальность Дёблину не была свойственна, ни в малейшей степени. Он знал, что *один и тот же* человек способен и на благородные, и на низменные поступки, да и качества народа в целом оценивает – устами своего героя Палдэна Еше – достаточно жестко: «Какой добрый, работящий, по всей видимости веселый народ разыгрывал здесь свое действо; и как властно он угнетал соседние народы!»

Выше я назвала дёблиновских героев «идеальными», а теперь хотела бы сказать нечто противоположное – чтобы потом эти две точки зрения соединить. Зверства, описанные в романе, творят не только «солдаты-убийцы» Чжаохуэя, но и те «братья и сестры», которые в другое время «относились друг к другу с несказанной нежностью». Сцены разрушительного безумия толпы (которых в романе не так уж много) показывают: в эти жестокие акции оказываются вовлеченными люди, в другое время совершенно нормальные. Если попытаться реконструировать точку зрения Дёблина на эту проблему, то получается следующее: ничто не мешает человеку творить насилие и заниматься развратом; а также, уже отойдя от такого образа жизни, позже вернуться к нему – возвращаться много раз. Вообще все герои «Ван Луня» ошеломляюще непредсказуемы. Их поступки и эмоции можно логически объяснить, но, так сказать, – постфактум. Даже о Желтом Колоколе, воплощении благородства, один раз говорится, что он «разразился смехом, который был бы уместен в хлеву или казарме, но уж ему-то никак не подходил, и всем показалось, будто завеса над его прошлым чуть-чуть приоткрылась». Даже Ван, проникнутый чувством ответственности за своих сторонников, в какой-то момент оказывается на грани того, чтобы стать таким же «властолюбивым», как Ма Ноу:

> ... его голос приобрел по-военному отчетливое, резкое звучание. Когда он смеялся, из груди вырывались клокочущие раскаты, похожие на конское ржание. Он смотрел уверенно, прямо перед собой – или направо, налево, – но всегда испытующе, взглядом начальника; и говорил тоже уверенно – так, что создавалось впечатление, будто его слова имеют силу

приказа, ознакомления с окончательным решением, непререкаемого разъяснения.

Такова позиция Дёблина в диалоге с даосизмом, с даосским идеалом «недеяния» и представлениями о совершенной личности: действительность с ее жестокими катастрофами, «темная» человеческая натура часто одерживают победу над любыми идеалами. Это возражение касается и буддизма, *тоже* призывающего человека к совершенствованию и добру: буддийские идеалы преломляются в конкретных личностях, и результат может получиться достаточно непредсказуемым, а порой и уродливым – что очень подробно показывается в романе на примере Ма Ноу. В романе даже панчэн-лама, это почти совершенное воплощение буддийской святости, однажды обнаруживает неподобающую его роли человеческую слабость:

> Палдэн Еше в последнее время располнел; какие-то черточки смертного, маленького человека поднялись на поверхность из закоулков души и стали различимыми сквозь купол его духа. На протяжении тех двух дней, когда он колебался, восточный император Цяньлун означал для него нечто весьма конкретное.
>
> *Еше боялся за свою бренную плоть.*
>
> Зато теперь глаза этого несравненного человека вновь сияли теплом и состраданием к другим; немного стыдясь себя, он отошел от окна.

И все-таки Дёблин не знает иного ответа на катаклизмы времени, кроме того, который предлагается классическими восточными учениями – отказ от эгоистического «я» (идея, противоположная западному индивидуализму), бережное отношение к миру, способность меняться соответственно изменяющимся условиям, терпимость:

> Ходить, не ведая куда; останавливаться, не ведая зачем; сжиматься и разжиматься вместе со всеми вещами, *плыть с ними на одной волне*, – таково главное для сохранения жизни[1].

1 «Чжуанцзы», *Дао*, с. 304.

> Злых свойств – пять. Основное – считать главными собственные достоинства. Что это означает? Это означает – превозносить собственные достоинства и порицать тех, кто поступает по-иному[1].

Авторы даосских трактатов исходили из убежденности в том, что стремление жить на основе таких принципов свойственно самой человеческой природе, тогда как алчные и прочие страстные порывы суть нечто этой природе постороннее, противоестественное, – потому Чжуанцзы и может сказать:

> Я называю сокровищем не обладание милосердием и справедливостью, а лишь предоставление свободы своим природным чувствам. Я называю чутким не того, кто слышит других, а лишь того, кто слышит самого себя. [...] Тщательно сохраняй природное, не теряй его – это я назову возвращением к своему истинному[2].

Дёблин, похоже, разделяет эти идеи, но для него в такой концепции остаются мучительные неясности, которые и становятся отправными пунктами для его собственных рассуждений – для построения романа – для стилистических экспериментов.

Главное, что его волнует: какой механизм может толкнуть человека на «возвращение к его истинному». Подавляющая часть рассказанных в романе отдельных историй рассказана с той целью, чтобы показать, что́ конкретно (какие события или переживания) привело того или иного персонажа к идее *у-вэй*. Этому сюжету целиком посвящена первая часть романа (история Вана *до* основания им союза «поистине слабых»), большие куски во второй части, не говоря уже о пространной «социологической врезке» в первой части (эпизод основания союза), где та же проблема решается не применительно к отдельным персонажам, а применительно к целым группам людей. Ответов много, ответы разные, иногда речь идет о каких-то *случайных* факторах,

---

1 *Там же*, с. 375.

2 *Там же*, с. 202 и 257.

приводящих в союз людей, которые потом уходят – или остаются по доброй воле и в результате неожиданно обретают счастье, которого они в своей прежней жизни даже не искали. И, в общем, можно считать, что Дёблин нашел для себя ответ – хотя, конечно, не высказывает его в категоричной форме. Как следует из всех этих историй, к идее *у-вэй* приходят люди, по тем или иным причинам *смертельно уставшие* от жизни – измотанные бедственным существованием маргиналов; или, напротив, ничем не ограниченной возможностью безудержно предаваться своим страстям (случай Го и Красавицы Лян); или своим участием в убийствах, в насилии вообще. Бродяги на перевале Наньгу неслучайно объединяются в союз вскоре после того, как учинили резню в селении Бадолин. Об их чувствах в романе сказано:

> Беспорядочный поток прошлых злоключений вновь оживал перед их глазами; и они испытывали *ощущение гадливости*, будто увидали ров с копошащимися змеями.

Дёблиновское ви́дение жизни трудно назвать оптимистическим, и все же оно оставляет место надежде (потому что зло, по Дёблину, *некомфортно для того, кто его совершает*, ибо – тут Дёблин согласен с даосами – противно человеческой природе). Многочисленные «обращения» в романе как будто ничем не мотивированы, но на самом деле, если к ним присмотреться, всегда обусловлены накоплением такого рода усталости от *душевного* дискомфорта. Ван Лунь говорит об этом так: «Решениями – силой – ничего в себе не изменишь. Все должно прийти само собой». В романе есть повторяющийся мотив: в какой-то момент человек, *перестав обращать внимание на себя*, вдруг замечает окружающую его природу, которая и подталкивает его к решению жить, не противореча своему естеству. В таких сценах обычно упоминается снег (иногда – свет), чаще всего как еще не осуществившаяся, потенциальная возможность:

> Тихое озарение, которое расширило тесный – а каким он мог быть в горах? – горизонт ***Ма Ноу***, пришло однажды вечером, после ухода Вана, когда Ма поймал себя на том, что с

ним происходит нечто удивительное: в состоянии как бы расплывающейся сосредоточенности он созерцал *набрякшее снегом небо*, одновременно ясно сознавая, что Ван возвысился над ним, – и не страдал.

Заставил себя: вспомнить тот блаженный час, когда он созерцал *набрякшее снегом небо* и впервые понял, что любит Вана [воспоминание ***Ма Ноу*** о предыдущем эпизоде].

Ма Ноу шагал по дороге к подножию затененного листвой холма. Широкой ладонью разгонял *клочья серой сумеречной пелены*, еще висевшие в небе; с торжественной невозмутимостью парили над его головой *белые лебеди света* [состояние ***Ма Ноу*** перед введением им в своей секте института священной проституции].

Слепящую белизну забрасывала через порог зима [сцена «инициации» ***Вана***, перелома его сознания в хижине Ма Ноу].

...к тому же погода была великолепная, *набрякшая снегом* [...] Или во всем виноват этот *набрякший снегом воздух*, эта *серая дымка*, льнущая к голому склону... [сцена, описывающая, как у ***Го*** возникает желание остаться с братьями].

Снег танцевал над Пурпурным городом; ***император*** опять взял бразды правления в свои руки.

На утро третьего дня стена, окружавшая монастырский комплекс, подернулась *инеем*; золотое покрытие похоронных часовен прежних лам померкло [...]

[...] теперь глаза этого несравненного человека [***Палдэна Еше***] вновь сияли теплом и состраданием к другим; немного стыдясь себя, он отошел от окна.

Дух Будды [освободившийся из тела умершего Палдэна Еше] к тому времени уже давно бродил по любимым *заснеженным полям* и пастбищам, гладил косматых яков, искал ребенка, которого ему захочется сделать своим новым прибежищем.

> НА ВОСТОКЕ над черными тучами протянулась слепящая полоска. *Серый дымчатый покров мира быстро светлел.* Он был отброшен изнутри – или взорвался – или, как пузырь, лопнул. И тогда открылся цветущий ландшафт (утро дня, когда в ***секте Ма Ноу*** был введен новый порядок).

Этот белый снег или свет – неуловимый, подвижный, – возможно, ассоциируется (для кого-то из героев? для Дёблина?) с «белым буддой» счастливого грядущего, Майтрейей; или с жемчужиной, которую нельзя получить силой; или с богиней милосердия Гуанинь – «Перламутровой Белизной»; или с буддой классического буддизма, воплотившемся в смертном теле панчэнламы; или с надеждой на существование в человеке (каких бы взглядов он ни придерживался) той самой тяги к естественному, к добру, на которую уповали авторы даосских трактатов. Однако такая белизна имеет своего антипода – *неподвижную* белизну смерти, траурных одежд, глухой тупиковой стены («белая стена» преследует Вана в видениях об убийстве Су Гоу, а позже, ощущая себя загнанным в тупик, он говорит своим последователям: «...стоило мне вернуться, и вы обступили меня как глухие белые стены, как деревянные колоды»).

Много страниц романа посвящены обоснованию (через посредство стилистики – в зримых образах) *восточной* концепции личности в противоположность концепции западной. Дёблин показывает: как раз то, что на Западе принято считать неповторимыми особенностями человека, есть нечто случайное, постороннее и враждебное по отношению к его истинной природе. При этом он акцентирует трудность борьбы с такими внутренними «демонами», возможность их возвращения в любой момент:

> С рычанием – словно тигр – выломилось что-то из его груди, рванулось прочь; он, онемевший от ярости, мог бы рубануть это «что-то», будь у него с собой меч. Потом оно тигром набросилось на него, а он, растопырив пальцы, этого тигра душил; потом, не меньше получаса, держал на вытянутых

руках уже обмякшее неживое тело и, не помня себя, все тряс и тряс. Большеглазого мальчика с нарумяненными щеками; Гэн Цзуна [...] (о Го, освобождающемся от *любовного чувства* к Гэн Цзуну).

Его *высокомерие* дудело в медные трубы – с грозной силой, так что сотрясался пол комнаты. Внутри него разворачивалось императорское шуршащее знамя. И Ма совершал обход вокруг этого знамени. Он не подпускал к себе никого, ибо хотел непрерывно слышать шуршащее полотнище [о Ма Ноу].

...она вывозила на эти прогулки свое откровенное *тщеславие*: смотрела сквозь окутывающие ее покрывала и занавеси паланкина на других дам и испытывала смешанное чувство отвращения, ненависти, иронии [о подруге Желтого Колокола].

Почти против воли участвовал он в сражениях – но в сутолоке боя, *опьяненный наркотиком ярости*, чувствовал себя счастливым [о Го].

Но уже мазнуло кистью, смоченной *Слабостью*, по всей внутренней поверхности его головы. Почти теряя сознание, падая, он все-таки успел осознать, что́ с ним происходит, охнул, чудом удержал равновесие, выпрямился.

С холодным огнем в глазах оглянулся вокруг. Ощутил: толчок, с которым сверкающее *сознание собственной власти* выскочило из него, стукнулось о землю, бросило назад холодный взгляд. [...] Он с затаенным страхом понял, что *нечто неведомое вышло из него – и одержало над ним верх*. И – что он победил Ван Луня. Одурманивающий ужас медленно вливался в костный мозг. [О Ма Ноу.]

К числу наихудших относились горячие головы, люди мстительные и *не знающие удержу в своих чувствах*. Такие – как правило, еще в юности – из-за честолюбия, или влюбленности, или жажды мести совершали какой-то роковой шаг [...] потом, озлобившись, бродили где придется, проклинали

самих себя, без конца пережевывали жвачку своих страданий. *Таким ничто уже не могло помочь; и они были способны на все* [...].

Напротив, качества, подлинно характеризующие человеческую личность, у всех одни и те же, и Дёблин перечисляет их в конце романа (противопоставляя этому перечню лишь одно возражение, как раз и делающее финал романа открытым, – «*сумею ли я?*»):

> Только обладая смирением и жалостью, может человек терпеть все ужасы жизни, выдерживать железные удары обрушивающегося на него горя. [...] *Обретать себя под ударами судьбы* – так зовется Чистый путь. Льнуть к событиям, как вода льнет к воде; приспосабливаться к течению рек, к земле, к воздуху, всегда оставаясь братьями и сестрами; любовь – так зовется Чистый путь.

Принимая это учение о личности, об обретении себя, Дёблин делает одной из главных тем своего романа вопрос о том, насколько вообще оно совместимо с реальностью, с независящими от человека процессами – с «судьбой». В классических даосских трактатах судьба рассматривается как нечто *не связанное с поведением человека*, который, тем не менее, должен стремиться соответствовать своей истинной природе *независимо* от выпадающих ему на долю удач и неудач: «Все, что само по себе таково, но неизвестно, почему таково, – от судьбы. [...] Верящий в судьбу не делает различия между “я” и “не-я”[1]». «Судьба» как персонаж высказывается о себе так:

> «Разве я кем-то управляю, хотя и называюсь судьбой? Разве я отвергаю правых, а покровительствую неправым? Они долговечны сами по себе или недолговечны сами по себе; неудачливы сами по себе или удачливы сами по себе; знатны сами по себе или незнатны сами по себе; богаты сами по себе

1 «Лецзы», *Дао*, с. 113-114.

или небогаты сами по себе. Разве могу я об этом знать? Разве могу я об этом знать?»[1]

В романе Дёблина судьба – это скорее не предсказуемые заранее последствия взаимодействия разнонаправленных воль. То, что кажется благом последователям Ма Ноу или Ван Луня, не может казаться таковым представителям государственной власти[2]. И потому даже когда император решает послушаться панчэн-ламу, отказаться от преследования мирных сектантов, это не спасает положения: чиновники устраивают провокацию.

Тем не менее, на протяжении всего романа подчеркивается, что человек *не совсем* бессилен против «судьбы». Ван накануне своей гибели высказывается о судьбе так:

> Знаешь ли ты, Желтый Колокол, как выглядит судьба? Как труп: с ней нельзя заговорить, ее нельзя ни умилостивить, ни рассердить; можно только приманивать ее душу вымпелами – укрепив их в саду, и на крыше, и перед дверью, и во дворе!

Это значит, в частности, что злую судьбу человек «приманивает» своим неразумием. Поэтому о Ма Ноу сказано: «Но ведь судьба не нападала на священнослужителя. Он сам алчно притягивал к себе беду, словно безумец, не умеющий отличить съедобную пищу от яда». И точно так же те люди, которые стали последователями Ма Ноу, а позднее – жертвами его честолюбия, выбрали такую судьбу сами: «Они сами – добровольно, настойчиво – предлагали ему себя в качестве объекта его власти».

---

1 *Там же*, с. 106.

2 Хорошей иллюстрацией непримиримости государственной и сектантской идеологических установок может служить «Священный декрет» деда Цяньлуна, императора Канси, где, в частности, говорится: «Уничтожай еретические системы, ибо таким образом возвышается ортодоксальная доктрина. [...] Усмиряй вражду и несогласие, *ибо тем самым ты защищаешь человеческие жизни*» (курсив мой. – *Т.Б.*). См.: *The «Holy Edict» of K'ang-Hi translated by Paul Carus with (Daisetz) Teitaro Suzuki* (в Интернете).

Поток судьбы «жесткий» (это точка зрения Дёблина[1]), но человек может нырнуть в этот поток или уклониться, по крайней мере: в таких пределах он всегда свободен. Прежде, чем основать союз «поистине слабых», Ван говорит бродягам:

> ...я ныне порываю с теми, кто живет как в бреду и не желает опомниться. Один старик сказал о таких: их могут убить, их могут оставить в живых, но, так или иначе, *судьба их будет определена извне.* [...] *хочу отклоняться в сторону – туда, где не убивают.*

Убийство – индивидуально совершенное или участие в массовом насилии – в романе не то чтобы осуждается, но изображается как абсолютный тупик. Когда в Ване созревала мысль об убийстве *дусы*, еще неясная для него, его «угнетало ощущение, *что посягнули на него самого*, на что-то в нем – пугающее и глубоко сокровенное. И встревожила его не бесцеремонность посягательства, но собственный ужас перед этим сокровенным». И, напротив, бродяги, присутствовавшие при основании союза «поистине слабых», «испытывали чувство возвращения к чему-то родному, но вместе с тем и освобождения от цепи». Огромная *ответственность*, как показано в романе, лежит на тех, кто отвечает не только за себя, но за судьбы многих. О Ма Ноу, который невольно спровоцировал власти на преследование членов союза, сказано:

> Судьба – она жесткая, ее так просто не согнешь. Хорошо, конечно, учить братьев не противиться ходу вещей; но сие не значит, что позволительно самому разыгрывать из себя судьбу и ожидать от других – братьев и сестер – покорности такой судьбе. Те, что поверят, будто в итоге останутся целы, могут совершить тяжкие ошибки.

---

1 Вспоминая, уже семидесятилетним, о своем писательском пути, Дёблин писал: «Я видел, что мир – природа, общество – подобно железному танку весом в тонну катится по людям, по людям. Ван Лунь, герой моего первого большого романа, испытал это на себе» (*Epilog*, in: Döblin, *Die Vertreibung der Gespenster*, S. 133-134).

После какого-то рокового шага судьба становится неконтролируемой. *Для тех, кто ее выбрал* – предпочел, по тем или иным причинам, не уклониться:

> Членов союза спаяла в одно целое их общая судьба. Счастье летних месяцев померкло. Ужасающую серьезность взятых на себя обязательств многие из них осознали только теперь.

Читающему роман понятно, почему последователи Ван Луня оказались вовлеченными в борьбу с императорской армией: этих людей хочется оправдать, им можно сочувствовать и можно восхищаться их стойкостью. Но, так или иначе, вступив в борьбу, они совершили насилие над собой, непоправимо себя искалечили:

> Бряцая оружием, как стая диких зверей ворвались солдаты Ван Луня в город: *озлобившиеся из-за насилия, совершенного над их душами*, теперь они действительно жаждали мести.

На заключительном этапе войны Ван «сам часто не знал, в чем состоит его долг, мечтал о мягком пути “недеяния” и видел, что вовлечен в бесконечную, *безнадежную* череду убийств. Он *не находил дороги к самому себе*». И такие же чувства испытывали другие «братья» и «сестры». Их чувства, собственно, и выражает Го, когда говорит:

> Но теперь я понял: было бы лучше, если бы мы все погибли, как те сотни наших сестер и братьев, которых Чжаохуэй уже убил. Это было бы в десять, в тысячу, в миллион раз лучше – поверь мне, Ван Лунь, прошу тебя, поверь, – чем то, что ты вошел в этот город, сеешь здесь смерть, и, если тебе повезет, создашь новое царство, которое очень скоро станет таким же неправедным, как другие.

Поэтому когда Ван совершает третий «прыжок» – принимает решение о последнем *самоубийственном* сражении – его поддерживают все, и он по праву утверждает: «Мы все в одночасье стали *свободными*» (свободными *не делать* того, что противно человеческой природе).

Хотя о Дёблине часто вспоминают как о художнике, изображавшем массовые процессы, и это действительно так, доминирует в «Ван Луне» – будем ли мы судить на основании сюжета романа, или его композиции, или стилистики – идея ответственности отдельного человека и огромной значимости процессов, происходящих в его сознании. Скажем, вся история движения *у-вэй* комментируется (устами Дёблина-персонажа романа?) так:

> Однако ни присоединение женщин, ни разделение движения на несколько потоков [то есть *главные внешние события* в истории секты. – *Т.Б.*] не оказали столь сильного воздействия на судьбу «поистине слабых», как та *перемена, которая произошла с Ма Ноу*. Этот бывший священнослужитель с острова Путо, чудаковатый друг воронья с гор Наньгу, оказавшись в Чжили, сперва неимоверно вознесся, совершив княжеский, исполненный страсти поступок, а потом сам погубил, принес в жертву своей распоясавшейся гордыни и себя, и значительную часть «поистине слабых».

А *мысль/видение* Ван Луня об убийстве *дусы* оказывается чуть ли не реальнее, значимее самого убийства:

> ...ночью он уже десять, если не пятнадцать раз задушил *дусы*, прикрываясь маской, – *все самое главное уже состоялось*. Но он все-таки побежал; он должен был побывать на том месте, чтобы оно отпечаталось в его сознании. И в результате произошло реальное убийство: как жертва, которую он принес самому себе.

Но если это так, если сфера сознания играет, по мнению Дёблина, столь важную роль, то чрезвычайно возрастает *и ответственность художника* – ведь он своими произведениями воздействует на сознание многих.

Дёблин всю жизнь размышлял над религиозно-нравственными вопросами, хотя к религии как таковой пришел поздно. В семьдесят лет, подводя итог своей жизни, он писал:

> Какое еще содержание может иметь человеческое существование, какую задачу перед нами ставить, чем оправдывать темную сторону нашего бытия – кроме: очищения, возвышения, выпрямления, подготовки к освобождению от зла, от заблуждений, от униженности злом [...] Я с раннего возраста был одержим сочинительством. В четырнадцать лет делал первые наброски в маленькой синей тетради. И что же я тогда записывал? Бог это добро. В мире есть добро. В этом и заключается решение загадки «Бог» («Эпилог», 1948, с. 146 и 131).

В другой, более ранней статье, он вспоминает, какое сильнейшее впечатление произвели на него, двадцатичетырехлетнего, Достоевский и Ницше: Раскольников дал ему «*новую реальность*», что же касается Ницше... – «я увидел, что здесь все жутко серьезно, что речь здесь идет о Боге и что я к этому причастен» («Я испытываю и расспрашиваю себя», 1941, с. 112-113). В той же статье он пишет, что в определенном смысле все его произведения были «молитвами», попытками проникнуть глубже «поверхностей», размышлениями на тему «природных форм» и «нехватки праведности в этом мире» (там же, с. 119-120).

Став писателем (а он сам полагал, что по-настоящему его творчество началось с «Ван Луня»), Дёблин всегда причислял себя к тем, кто работает в жанре эпического романа. Он считал, что задача автора такого романа – «вплотную подойти к реальности и пробить ее, чтобы добраться до простых и великих, элементарных основополагающих ситуаций и архетипов человеческого бытия» («Структура эпического произведения», 1929, с. 490). В другом месте он формулирует ту же задачу несколько по-иному – так, что становится понятно, что́ он имел в виду, когда говорил в предисловии к «Ван Луню» о «поминальной жертве»: «переместить уже ушедшее – живьем – в наш мир, открыть уста умершим, заставить двигаться их высохшие скелеты»; организовать «особого рода спор [*Auseinandersetzung*], такой, чтобы он возникал не отдельно от материала, а выявлялся через персонажей и сюжет»; «Куски истории, те ее части, которые он [автор] выбрал, должны стать частями его самого, должны выставляться одна за другой,

чтобы в итоге получился действительно живой, проявляющий себя во всей полноте мир. [...] Ибо мы – из того же теста, что и те, лежащие в могилах, и обстоятельства, в которых мы живем, делают возможным, чтобы мы – на время – приютили у себя и тех, других, лишь по видимости не похожих на нас» («Исторический роман и мы», 1936, с. 516, 519-520). Создавая условия для такого диалога с прошлым, художник творит «сферу *новой правды и совершенно особой реальности*»[1] («Структура эпического произведения», с. 466) – именно потому справедливо утверждение Дёблина, вынесенное в эпиграф этой статьи:

Настоящий поэт во все времена сам был одним из фактов.

Дело поэта – показать и доказать, что он есть факт и кусок реальности...

---

1 Интересно, что известный исследователь поэзии Целана Петер Сонди говорит практически о том же самом в статье с характерным подзаголовком «Опыт интерпретации современного стихотворения» (а это значит, что Дёблин в «Ван Луне» предвосхитил одну из важных тенденций, появившихся в литературе *после* Второй мировой войны): «Поэзия – уже не мимесис, не отображение реальности: она сама становится реальностью. Правда, реальностью поэтической – текстом, который больше не следует за действительностью, но сам проектирует и конституирует себя как реальность. Поэтому не следует ни *читать* этот текст, ни *смотреть* на картину, которую он мог бы описывать. Поэт требует от себя и от читателя одного: *идти* вперед по той *области*, которой является его текст» (*Durch die Enge geführt*: *Versuch über die Verständlichkeit des modernen Gedichts*, in: Peter Szondi. *Celan-Studien*. Frankfurt a.M.: Suhrkamp Verlag, 1972, S. 52). Курсив П. Сонди.

(ОТ ПЕРЕВОДЧИКА)

Благодарю доктора Альфреда Дёблина за то, что он написал удивительный китайский роман и предложил в нем рассматривать книги как поминальные жертвы – людям или неповторимым мгновениям.

Благодарю тех, кто участвовал в создании этой книги, украсив ее своей любовью к Дёблину: Вальтера Мушга, подготовившего немецкое критическое издание романа и написавшего послесловие к нему, русских исследователей дёблиновских текстов Нину Сергеевну Павлову и Александра Маркина.

Благодарю Дмитрия Волчека – издателя и, что еще важнее, ценимого мною коллегу, решившегося эту книгу напечатать.

Благодарю за помощь в интерпретации китайских и тибетских реалий китаиста Олега Ефимовича Непомнина и моего старого друга Элину Драйтову.

Благодарю всех коллег из Переводческой коллегии в Штралене, деливших со мной те дни и ночи, когда я заканчивала эту давно начатую и прошедшую через многие злоключения работу.

И с благодарностью дарю русский перевод «Ван Луня» любимому мною человеку.

Татьяна Баскакова

СОДЕРЖАНИЕ

ТРИ ПРЫЖКА ВАН ЛУНЯ, *перевод Т. Баскаковой* 5

Посвящение 7
Книга первая. Ван Лунь 9
Книга вторая. «Расколотая Дыня» 103
Книга третья. Владыка Желтой Земли 277
Книга четвертая. Западный Рай 371

А. Маркин, Т. Баскакова. Комментарии 493

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Александр Маркин. Хронология жизни А. Дёблина 550
Нина Павлова. Альфред Дёблин 569
Вальтер Мушг. Послесловие издателя,
перев. Т. Баскаковой 616
Письма А. Дёблина М. Буберу, *перев. А. Маркина* 638
Татьяна Баскакова. Пловец в потоке судьбы 640
(От переводчика) 686

Альфред Дёблин
ТРИ ПРЫЖКА ВАН ЛУНЯ
Китайский роман
Перевод Татьяны Баскаковой

Книги издательств «МИТИН ЖУРНАЛ», «KOLONNA publications» можно купить

в московских магазинах:

«Проект ОГИ», Потаповский пер., дом 8/12, стр. 2 • «Пироги на Дмитровке», ул. Б. Дмитровка, дом 12, стр. 1 • «Ад Маргинем», 1-й Новокузнецкий пер., 5/7 • «Фаланстер», Малый Гнездниковский переулок д. 12/27 • «Книжная лавка при Литинституте им. А.М.Горького», Тверской бульвар, дом 25 • «У Кентавра», ул. Чаянова, дом 15 • «Молодая гвардия», ул. Б. Полянка, дом 28 • «Московский Дом Книги», ул. Новый Арбат, дом 8 • «БУКБЕРИ», Сеть книжных супермаркетов • «Москва», ул. Тверская, дом 8 • «Индиго», ул. Петровка, дом 17, строение 2

в Интернет:

• «Ozon» – www.ozon.ru
• «Межкнига» – www.mknіga.ru
• «Лавка Я+Я» – www.shop.gay.ru/books/

По вопросу
оптовых продаж
книг издательств
«МИТИН ЖУРНАЛ»,
«KOLONNA publications»
обращаться в ООО «БЕРРОУНЗ»,
телефон 095-104-68-36

Для заказа книг по почте
наложенным платежом
редакция просит обращаться
по адресу:
170024, г. Тверь, а/я 2448
в интернет:
www.mitin.com

KOLONNA Publications:
Россия, 170024 Тверь, а/я 24048
Формат 84X108/32, объем 43 п.л., подписано в печать 16.03.2006 г. Гарнитура NewBaskerville.
Тираж 1000 экз. Заказ № xxxx. Отпечатано с готовых диапозитивов издательства.
ОАО «xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx»,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Интернет/ Home page - www.tverpk.ru.
Электронная почта (E-mail) - sales@tverpk.ru.